

Михаил Зенкевич

СКАЗОЧНАЯ ЭРА



ShkolaPress®

Круг чтения:

Школьная программа



Михаил Зенкевич

СКАЗОЧНАЯ
ЭРА



Михаил Зенкевич

СКАЗОЧНАЯ ЭРА

Сказки




Михаил Зенкевич

СКАЗОЧНАЯ
ЭРА

Круг чтения:

Школьная программа





Стихотворения
1906—1969

*

На стрежень

*

Мужицкий сфинкс



Михаил Зенкевич

**СКАЗОЧНАЯ
ЭРА**

*

*Стихотворения
Повесть
Беллетристические мемуары*

Москва
"ШКОЛА-ПРЕСС"
1994

Составление, подготовка текстов, примечания,
краткая биохроника *Сергея Зенкевича*

Вступительная статья *Льва Озерова*

Зенкевич М. А.

3 56 Сказочная эра: Стихотворения. Повесть. Беллетристические мемуары/Сост., подготовка текстов, прим., краткая биохроника С. Е. Зенкевича; Вступ. ст. Л. А. Озерова.— М.: Школа-Пресс, 1994.— 688 с. (Серия «Круг чтения: школьная программа»).

ISBN 5-88527-075-9

Михаил Александрович Зенкевич (1886—1973), имя которого стоит в ряду таких блистательных поэтов, как Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, мало и скупое издавался в советское время. Настоящий сборник наиболее полно отражает творческое наследие одного из последних представителей Серебряного века. Большая часть произведений поэта публикуются впервые, что позволит по-новому увидеть и понять судьбу, роль и место этого замечательного мастера слова в литературном процессе XX столетия.

Издание дополнено вступительной статьей, примечаниями, краткой биографической хроникой.

Для учащихся, учителей и широкого круга читателей.

3 4702010000-058
С79(03)-94

ББК 84

ISBN 5-88527-075-9

© Тексты М. А. Зенкевич, Е. М. Зенкевич, 1994
© Составление, примечания, С. Е. Зенкевич, 1994
© Вступ. статья, Л. А. Озеров, 1994
© Издательство «Школа-Пресс», 1994

Михаил Зенкевич:
ТАЙНА МОЛЧАНИЯ

Эта книга — открытие. Для большинства читателей — открытие имени, им не известного. Но это открытие и для тех, кто знает творчество Михаила Зенкевича, но, оказывается, лишь частично и неполно. Так случилось, что большая часть стихотворений этого поэта и вся проза при жизни не были напечатаны. Литературное наследие Михаила Зенкевича бережно хранилось его семьей: женой — Александрой Николаевной, ныне покойной, а также сыном — Евгением Михайловичем и внуком — Сергеем Евгеньевичем.

Даже те любители и знатоки поэзии, которые читали первую и самую знаменитую книгу стихов Михаила Зенкевича — «Дикая порфира» и позднейшие скупо представленные сборники «избранного», удивятся обилию произведений, не опубликованных при жизни автора. В Содержании они отмечены звездочками. Корпус этих «новых» сочинений весьма многозвезден и многозначен.

Вполне закономерен читательский недоуменный вопрос: в чем причины такого долговременного молчания поэта, такой поздней публикации произведений в стихах и прозе, лежавших под спудом более полувека? Ответить на этот вопрос можно, только познакомившись с судьбой поэта и произведениями, ее отразившими, а также с эпохой, в которую жил и творил поэт.

Есть по меньшей мере две причины, объясняющие молчание творца.

Первая. Некоторое, притом небольшое, число произведений не были своевременно опубликованы свободной волей автора: он был не до конца ими доволен или вовсе недоволен и продолжал работу над их совершенствованием. Возможно, он готов был напечатать завершённые стихи, но наступили иные времена. И в этих «иных временах» — вторая и главная причина последующего молчания. Новые произведения рождались, но их нельзя было публиковать по цензурным условиям. Власть предрержащие в государстве и в литературе не забыли, что Михаил Зенкевич — друг Гумилева, Ахматовой, Мандельштама, Нарбута... Эти имена и представляемый ими акмеизм как литературное течение

были запрещены и загнаны в «зону» презрения и в лучшем случае не упоминались. Все это самым прямым и непосредственным образом отразилось на творческой судьбе Михаила Зенкевича. Он стал свидетелем трагического конца многих своих сверстников, друзей, соратников, современников, разгрома «Серапионовых братьев», «Перевала» и других литературных групп и объединений, объявленных враждебными советской власти. Михаил Зенкевич, чудом избежав тюрьмы и ссылки, тем не менее не избежал мучительных лет напряженного ожидания расправы, державного проклятия, слезки, негласной опалы. Он был обречен, как и многие другие, на молчание и работу для ящиков письменного стола. Поэт томился, жил в постоянном предчувствии катастрофы, и, надо полагать, немало его рукописей исповедального характера были уничтожены.

Судьба сохранила Михаила Зенкевича для творчества, для «звучков сладких и молитв», по слову Пушкина. Человек чести, он был горд, не угодничал, не прислуживал и жил, трудясь во благо культуры, как мастер-предтеча, хранитель тайн высоко почитаемой литературной традиции русской поэзии.

Последний поэт поколения акмеистов Михаил Зенкевич замыкает собой им же самим физически продленный Серебряный век. Даже в условиях тоталитарного режима поэт не переставал создавать стихи и прозу, хотя для интеллигентной публики его имя связывалось в основном с переводческой деятельностью, и прежде всего с открытием поэзии Америки для русского читателя.

И вот — всему приходит срок! — читатель наконец впервые открывает полноценный том сочинений Михаила Александровича Зенкевича — обильный материал для суждений о его творческом пути и вместе с тем о русской литературе примерно шести с лишним десятилетий нашего, двадцатого века.

Издательство «Школа-Пресс», публикуя этот сборник, дает возможность читателям, и прежде всего — учителям-словесникам, глубже, разностороннее и полнее представить поэзию Серебряного века, которому по праву принадлежит и Михаил Зенкевич. И кто-то из юных читателей, я уверен, назовет его своим поэтом и выберет творчество Михаила Зенкевича для более пристального изучения.

Михаил Зенкевич думал о судьбе искусства в пору, когда свобода, в том числе свобода слова, трактовалась только как «осознанная необходимость»:

Искусства участь нелегка.
Была такой во все века.
Во времена средневековья
Служанкой быть у богословья,
Придворной дамой королей
Притворный расточать елей.
А в век аэроплана, танка
Оно — политики служанка.

Вот вам из древности пример:
Был волен, но и нищ Гомер.
И одой должен разгораться
Поэт придворный, как Гораций.
Ведь даже пролетариат,
Как Август, льстивым строфам рад.

Горькая мысль поэта и беспощадная ирония посредством которой мысль выражена, звучат удивительно современно. А ведь эти стихи, как и многие другие, свыше полувека хранились в «зоне» молчания.

Жизненную и человеческую позицию поэта, его творческое кредо во многом помогает понять стихотворение, которое называется «Будь стойком» (1963):

«Все суета и суета сует», —
Провозгласил давно Екклесиаст,
Но ею движется, живет наш свет,
И стойкости житейской не придаст
Библейской древней мудрости Завет.
Но если ты стремишься к высшей цели,
Чтоб в брэнном теле дух твой не ослаб,
Будь стойком, как цезарь Марк Аврелий,
Как Эпиктет, мудрец и римский раб.

В другом стихотворении, написанном спустя шесть лет, вновь упоминается Марк Аврелий, философ-стойк, автор книги «К самому себе» (иногда название переводят — «Наедине с собой»). В пору господства единственно-верного учения выйти на газетную, журнальную, книжную полосу с такими стихами было невозможно.

Как известно, школа стойков основана Зеноном в Афинах около 300 лет до нашей эры. Стойки полагали, что реально существуют только тела, что Бог-логос (он же — творческая первосила) порождает четыре первоосновы: огонь, воду, воздух, землю. Все тела взаи-

мопроницаемы и делимы. Время — мера движения мира, а мир, считали стойки, единый саморазвивающийся организм.

В учении стойков первым естественным побуждением человека признается потребность в самосохранении. Человеческое счастье определяется как жизнь согласно Природе. Человек в высшем выражении — мудрец, достигший бесстрастия, или апатии, «довлеющий себе», не зависящий от внешних обстоятельств. Симпатии Михаила Зенкевича к стойкам объясняются этим стремлением к внутренней свободе в эпоху тоталитаризма.

Однако поэт-стойк иногда не выдерживает самому себе поставленных условий. Его лирические признания приоткрывают подлинные чувства, которыми он жил. Так, в августе 1953 года Михаил Зенкевич записывает строфу:

В доме каком-нибудь многоэтажном
Встретить полночь в кругу бесшабашном,
Только б не думать о самом важном,
О самом важном, о самом страшном.
Все представляя в свете забавном,
Дать волю веселью, и смеху, и шуткам,
Только б не думать о самом главном,
О самом главном, о самом жутком.

Такое восьмистишие легко заменит дневниковую тетрадь. В нем сгущены переживания длительного периода. Оно многое говорит о поэте и об его эпохе.

Интерес Михаила Зенкевича к философии не подчеркнут и не выделен из круга других его интересов (история, антропология, геология, зоология). Можно предположить, что немалое влияние на занятия поэта философией оказал его саратовский друг, известный религиозный мыслитель Г. П. Федотов (1886—1951).

Итак, «будь стойком, как цезарь Марк Аврелий» или «Эпиктет, мудрец и римский раб». Что цезарь, что раб — одно и то же: человек.

Время склоняло всех, в том числе и Михаила Зенкевича, к политике, к кругу общественных наук. Его же, как, впрочем, и некоторых других поэтов, тянуло совсем в другую сторону. Жизнь его была нелегкой. В ней было немало скрытого, затаенного, непроявленного противостояния существующему режиму.

Много лет Михаил Зенкевич прожил под знаком ка-

тастрофы. Его друзей и соратников по акмеизму постигла трагическая участь: Николай Гумелев в 1921 году был расстрелян, Осипа Мандельштама преследовали и в конце концов загубили так, что и могилы его не отыскать. Анна Ахматова, хотя и не была репрессирована, перенесла адовы страдания и может быть признана великомученицей русской литературы. Владимира Нарбута, человека и поэта, наиболее близкого Михаилу Зенкевичу, подвергли остракизму. Их последователи и ученики, оставшиеся на воле, каждый день ждали ареста. Долгое испытание страхом выпало на долю и Михаила Зенкевича. Какой запас человеческой прочности и мужества должен быть, чтобы выстоять и остаться собой в этой унижающей достоинство мрачной атмосфере безвременщины!

Но Михаил Зенкевич знал, что второе имя поэзии — свобода. И здесь важно кратко проследить творческий путь поэта.

Первые его стихи стали регулярно появляться с 1908 г. на страницах петербургских журналов «Весна», «Современный мир», «Образование», «Заветы» и других. Об этом самом раннем периоде творчества осталось мало письменных свидетельств. Единственный критический отзыв — редакционная заметка в журнале «Весна» (1908, № 7) в разделе «Почтовый ящик»:

«М. Зенкевичу. Ваши стихотворения взяты. Они вычурны, но образны. Есть удачные метафоры. Но, к сожалению, ни одно не обходится и без неловкостей. Так, в стихотворении «Моя душа», хотя ваш гладиатор и мертв, незачем его докалечивать и превращать из «гладиатора» в «гладиатра». Тут же «вольнотпущенник былой, капиталист». Слово «капиталист» не подходит к стилю стиха, — слишком современно, научно, брошюрно. «Возбужденье страсти», — «живот»... А в «Крике сычей» — «судоржно»... В общем, работайте. Чеканьте, но прислушивайтесь к удару молота».

Стихи эти Михаил Зенкевич никогда не перепечатывал. Они, однако, любопытны: в них угадывается язык «Дикой порфиры» и других будущих книг поэта.

В 1909 году Зенкевич встречается с Николаем Гумилевым, который способствует публикации стихотворений своего нового знакомого в «Аполлоне» (1910, № 9). С образованием в октябре 1911 года первого «Цеха поэ-

тов» Михаил Зенкевич стал его активным участником (интересно, что в 1960-е годы сам поэт датировал период существования «Цеха» 1912—1915 гг.). К группе акмеистов первого «Цеха поэтов» Михаил Зенкевич причислял помимо себя также Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Анну Ахматову, Владимира Нарбута.

В конце февраля — начале марта 1912 года вышли первые книги издательского товарищества «Цех поэтов»: «Вечер» Анны Ахматовой и «Дикая порфира» Михаила Зенкевича. 10 марта состоялось заседание «Цеха поэтов» — чествование дебютантов (теперь это называется «презентация»). «Дикая порфира» имела шумную прессу (до двадцати рецензий и отзывов в периодике и книгах в 1912—1913 гг.).

В 1917 году Михаил Зенкевич возвращается на родину, в Саратов, и вскоре издательством «Гиперборей» (Петроград) публикуется его вторая книга — «Четырнадцать стихотворений».

В 1921 году появляется третья книга Михаила Зенкевича — «Пашня танков» в обложке работы Б. Зенкевича. Еще одна книга стихов — «Лирика», оформленная художником А. Кравченко, не увидела света. Также не был издан сборник «Порфибагр» (стихи 1909—1918 гг.), в состав которого поэт включил «Дикую порфиру» и «Под мясной багряницей».

В пору жительство в Саратове Михаил Зенкевич создает драму «Альтиметр» (он называл ее «трагорельеф в прозостихе»). Среди окружения поэта в эти годы — философ Г. Федотов, писатели А. Скалдин и Л. Гумилевский. В конце 1921 года поэт ненадолго выезжает в Москву и Петроград, встречается с Анной Ахматовой, Михаилом Лозинским, Федором Сологубом. Именно тогда у Михаила Зенкевича рождается первоначальный замысел крупного прозаического произведения, которому суждено стать беллетристическими мемуарами «Мужицкий сфинкс».

В 1925—1937 годах Михаил Зенкевич много переводит с французского, немецкого, английского, участвует в создании антологии «Молодая Германия» (1926), «Антологии новой английской поэзии» (1937), книг «Песни Первой французской революции» (1934), «Кабардинский фольклор» (1936):

Войдя в поэзию как акмеист, Михаил Зенкевич

интересуется и другими литературными течениями. Его притягивает Маяковский, особенно в 20-е годы. Увлеченность им проявилась хотя бы в том, что Зенкевич стал графически давать стихи «лесенкой» и «рубить» строку. Но это длилось недолго. Более сильным было притяжение Пастернака. Этому тоже есть подтверждения. Например, стихотворение «Ноябрь» (1926):

Ты вдруг напомнишь о весне,
И март начнет бурлить и капать.

Общим и более глубоким объединительным моментом в творчестве этих двух поэтов является то, что оба они под конец впали «в неслыханную простоту». Но в этом, скорее, уместнее видеть влияние Пушкина, Баратынского, Тютчева, Фета, Анненского: и Пастернак, и Зенкевич подключились к вечным темам, составляющим основу основ высокой поэзии.

Примерно в те же 20—30-е годы выходят авторские книги поэта: «Под пароходным носом» (1926), «Поздний пролет» (1928), «Машинная страда» (1931), «Избранные стихи» (1932, 1933), «Набор высоты» (1937), биографическая книга «Братья Райт» (1933). Работа поэта и переводчика перемежается частыми поездками по стране (Ленинград, Харьков, Ташкент, Нальчик, Мурманск...). В июне 1934 года Зенкевич вступает в Союз писателей. Круг его творческого общения достаточно широк: В. Нарбут, Э. Багрицкий, Б. Пастернак, В. Казин, М. Голодный, П. Антокольский, Г. Петников, С. Обрадóвич, А. Шпирт и многие другие литераторы. С выпуском антологии «Поэты Америки. XX век» (1939 г.; совместно с Иваном Кашкиным) определяется магистральное направление его работы в течение трех последующих десятилетий — переводы современной и классической американской поэзии.

Во второй половине 30-х годов Михаил Зенкевич пишет масштабную поэму «Торжество авиации» (доселе не опубликована). В первый месяц войны семья поэта (жена и двое сыновей) была эвакуирована в г. Чистополь на Каме. Сам Михаил Зенкевич жил там осенью 1941 года до вызова в конце декабря в Москву Политуправлением Красной армии. Хотя поэт не был признан годным к военной службе, он рвался на фронт и неоднократно выезжал в действующую армию с чте-

нием своих стихов. В Москве деятельно сотрудничал в журнале «Интернациональная литература», выступал по радио и на вечерах поэзии, готовил сборники переводной антифашистской поэзии. Самое крупное произведение военных лет — неопубликованная поэма «К Сталинграду от Танненберга» (1943). В послевоенные и 50-е годы выходят книги переводов Михаила Зенкевича («Из американских поэтов», 1946); драмы Шекспира «Мера за меру» (1949), «Юлий Цезарь» (1959), поэма П. Негоша «Горный венец» (1948; 1955); изредка появляются в периодике собственные стихи (большой успех имело стихотворение «Найденыш», 1955).

В 1964 году вместе с Л. Н. Чертковым и С. Г. Шкловской поэт готовил книгу избранных стихов В. Нарбута (Париж, 1983). В 1965 году в серии «Мастера поэтического перевода» выходит книга Анны Ахматовой «Голоса поэтов» под редакцией Михаила Зенкевича.

Его книги 1960-х годов: «Сквозь грозы лет» (стихотворения, 1962), «Поэты XX века» (1965), «Американские поэты в переводах М. Зенкевича» (1969). Последнее прижизненное издание — поэтическое «Избранное» (1973).

Но вернемся к литературному дебюту Михаила Зенкевича — его первой книге. В ней ярко проявились особенности творческого метода поэта, поняв которые, можно проследить дальнейшую эволюцию его творчества во времени, читая последующие произведения, в том числе и впервые здесь публикуемые.

Далеко не всегда первые книги поэтов определяют характер и дальнейшее направление их творчества, не всегда с достаточной полнотой и внятностью выявляют их манеру самовыражения и индивидуальность. Николай Гумилев может быть в этом смысле определен по первым трем книгам («Путь конквистадоров», 1905; «Романтические цветы», 1908; «Жемчуга», 1910), вышедшим на протяжении приблизительно пяти лет. Существует весомое мнение, что первые две книги предварительные, а подлинно первой следует считать третью — «Жемчуга». Нечто схожее — у Бориса Пастернака («Близнец в тучах», «Поверх барьеров», 1917; «Сестра моя — жизнь», 1917—1922). От первой автор отрекся, вторую считал первой, третью — второй.

Первые книги Анны Ахматовой («Вечер») и Осипа Мандельштама («Камень») оказались на своем месте. Они послужили открытию этих поэтов и стали отправными точками их пути. «Дикая порфира» Михаила Зенкевича — книга такой же пробы. Более того, она оказалась в эпицентре всего творчества поэта. В ней Михаил Зенкевич выступил не с заявкой, как теперь говорят, а с полноценной поэтической программой, имевшей важное значение и для поэзии акмеистов и для всей русской поэзии.

«Дикая порфира» была замечена и отмечена. Не надо забывать, что в пору, когда она вышла, в русской литературе активно работали Иван Бунин и Максим Горький, Леонид Андреев и Федор Сологуб, Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, Константин Бальмонт и Юргис Балтрушайтис... Всего два года тому умер Лев Толстой и три года назад — Иннокентий Анненский. Начавшийся век еще не знал своего лика, не ведал, что он будет назван Серебряным.

Первая книга Михаила Зенкевича была подготовлена его стихотворными пробами 1906—1909 годов. Эти три-четыре года многое определили в творческом облике молодого поэта. «Казнь», «Бред», «Крик сычей» и другие стихи из первобытной туманности приводят автора к реальности бытия:

В хаосе дымных мирозданий,
Как хищный коготь,— лунный диск.

(«Крик сычей»)

Определяется образная система поэта. Он все более и более поворачивается к Земле в ее исторических и доисторических срезах и напластованиях. Чем древнее эти срезы и напластования, тем привлекательней они для Михаила Зенкевича.

«Дикая порфира» предварена эпитафией из Баратынского:

И в дикую порфиру древних лет
Державная природа облачилась

Весомая, тяжкая поступь стиха, окликающая Ломоносова и Державина, Бодлера и Эредиа,— характерная особенность книги. Поэта интересуют первоначальные основные стихии мира: земля, вода, камни, металлы. Если перечисленные здесь четыре слова взять в ка-

вычки, мы получим названия важнейших стихотворений «Дикой порфиры». Это действующие «лица» исторической драмы, осмысляемой поэтом. Такими же действующими «лицами» оказываются животные: ящеры и махайродусы. Они оживают под пером поэта, и мы ярко представляем их древность и мощь.

Земля-владычица! И я твой отпрыск тощий,
И мне назначила ты царственный удел,
Чтоб в глубине твоей сокрытой древней мощи
Огонь немеркнувший металлами гудел.

Ощущением древнего родства, ауканьем многих эпох Земли сильна «Дикая порфира». И когда возникает в книге человек (и это слово можно взять в кавычки — так называется одно из стихотворений), поэт предостерегает его от беспамятности, от упоения властью:

К светилам в безрассудной вере
Все мнишь ты богом возойти,
Забыв, что темным нюхом звери
Провидят светлые пути.

Слова «светила» и «светлый» равно обращены и к звездам и к людям — единство тех и других провозглашает поэт. «Голод волчий» к жизни не покидал Михаила Зенкевича. Стихи поэта дают это почувствовать. Вещи, растения, звери, люди изображены плотски-весомо, смачно, крепко. Витальная сила этих произведений передается читателю непосредственно. Стихи о древних земных кладах, в которых почивают первобытные звери, вовсе не воспринимаются как некий зоологический музей. Читатели этих художественных произведений как бы обретают историческую и доисторическую память, даруемую им современным поэтом, просвещенным и наделенным инстинктом, который Тютчевым назван «пророчески слепым».

О предки дикие! Как жутко крепок
Союз наш кровный. Воли нет моей,
И я с душой мятущейся — лишь слепок
Давно прошедших, сумрачных теней.

(«Темное родство»)

Темное родство только оттеняет крепость кровного союза, которым определяется сама жизнь. Древность перетекает в современность. В книге естественно появ-

ляются такие стихи, как «На Волге», где «краснели глинистые горы» и плавилась «медь колоколов», как «Князья», которые «в стремених раззолочёных» с гиком гонятся «за мясистым туром», как «Слепцы», где «подняты кверху трубы судные и архангелы одеты в молнии», где «небо зорями кровавится да росую плачет Богородица...»

От ящеров и махайродусов поэт возвращается на волжские берега, на речной стрежень, в отчий дом. Это происходит органично, с достоинством и непринужденностью. Рядом с полевыми просторами, рыбалкой, снегами не случайно возникает «стремительный гелий» — символ русской науки из таблицы Менделеева. И стих движется легким шагом четырехстопного ямба.

«Дикая порфира», как уже сказано, вызвала много откликов, рецензий, статей.

Вадим Шершеневич посвятил «Дикой порфире» несколько страниц своей книги «Футуризм без маски» (1914), указав, что Зенкевич — единственный поэт, на ком в русской современной поэзии отразилось влияние создателя так называемой научной поэзии — Рене Гиля.

Знаменательна рецензия Василия Гиппиуса (1912). В частности он пишет: «Книга М. Зенкевича оставляет впечатление больших возможностей, большой борьбы и равно частых поражений и побед. Значительно и ново прежде всего его ощущение мира, проникновение в то, что Баратынский назвал «дикой порфирой» природы, а Вл. Соловьев — «грубою корою вещества». Пропитанный научным натурализмом, видящий в «радостном мире» человеческого тела прежде всего «алое мясо и розовый жир», М. Зенкевич обладает тем же «кровожадным нюхом», как герой его Коммод, который любил, «как конюх, пар конюшен и запах бойни, как мясник». Далее В. Гиппиус говорит о поэтике Михаила Зенкевича: «Стих его насыщен и груб, часто намеренно груб, но именно потому он иногда достигает большой изобразительности».

Рецензия Бориса Садовского (подписана инициалами «Б. С.») появилась в том же, 1912 году в «Современнике»: «Зенкевича влекут к себе неумирающие тайны природы, хороводы солнц, перед величием которых замирает пылливый дух; ему слышится вечный рев миров, провидятся их «вихревые сдвиги». Вознося гимны

к материи, г. Зенкевич стремится прикинуть к «темной мудрости звериной».

Сергей Городецкий в пространной рецензии в газете «Речь» писал о Михаиле Зенкевиче и его первой книге: «Пытливым духом современной науки проникнута его поэзия. О, это не та «научная поэзия», которую во Франции насаждает Рене Гиль главным образом при помощи прописных букв, которыми он снабжает общие понятия. Нет, поэзия Зенкевича научна в полном и истинном смысле этого слова. Темами его вдохновений служат данные современной палеонтологии, геологии, физики и химии, и первым своим учителем, конечно, должен он считать Михайлу Ломоносова...» И далее: «В „Дикой порфире“ есть два многозначительных перевода, из Леконта де Лиля и из Бодлера <...>. В Леконте де Лиле Зенкевича поразила мощь в изображении первобытной природы. <...>

Глубокая человечность отличает миросозерцание Зенкевича. Он любит кровеносные сосуды, он тело земли мыслит как тело человека...»

Отзывы на «Дикую порфиру» были многочисленны, но не однозначны. Книга пришлась по вкусу одним, у других вызвала противоречивые чувства, третьим внушила глубокий интерес к поэту. Иные же полагали, что в «Дикой порфире» возможности автора реализовались не полностью, и, возлагая на даровитого поэта большие надежды, ждали его новых книг.

При разрозненных отзывах, которые требуют особо пристального анализа, наметились линии дискуссионные, наиболее четко проявившиеся у Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова. Оба столпа русского символизма ревниво приглядывались к новой поэтической поросли. Отклики двух поэтов старшего по отношению к Михаилу Зенкевичу поколения носят, несомненно, полемический характер. Это оправдывает более полное цитирование их статей.

В обзорной статье «Сегодняшний день русской поэзии» (1912) В. Брюсова, считавшегося высоким судьей всех стихотворных начинаний, сказано: «Хотелось бы приветствовать молодого поэта с этими попытками вовлечь в область поэзии темы научные, методами искусства обработать те вопросы, которые считаются пока исключительным достоянием исследований рассудочных. Но чтобы подобное творчество

имело свое значение, надобно, чтобы оно не довольствовалось повторением научных данных, а давало нечто свое, новое. Поэт во всеоружии знания должен силой творческой интуиции указывать пути вперед, давать новый синтез за теми пределами, на которых останавливается ученый. Всё это еще не под силу г. Зенкевичу, и большею частью он довольствуется пересказом известных данных о «допотопных» чудовищах, о металлах и т. д. Не выработан и язык поэта, который слишком любит шумиху громких слов, думая, вероятно, что они лучше выразят «стихийность». В действительности воображение решительно отказывается что-либо представить, когда ему предлагают строфы вроде следующих:

И в таинствах земных религий
Миражем кровавых паров
Маячат вихревые сдвиги
Твоих кочующих миров.

Тем не менее, эта часть книги г. Зенкевича остается наиболее интересной, так как в ней он пытается внести что-то новое в русскую поэзию. В стихах, посвященных современности, он продолжает быть не шаблонным, местами интересным, но в них слишком много надуманности, нет легкого взлета подлинной поэзии».

Вызывает удивление быстрота откликов на книгу и сопутствующая ей быстрота полемики откликающихся на нее. Мы невероятно отстали от мастеров 10-х годов нашего века.

В качестве возражения Брюсову Вячеслав Иванов дал свою характеристику «Дикой порфиры» в обзорной статье «Marginalia»:

«Живо заинтересовала меня книга стихов Зенкевича «Дикая порфира» (изд. «Цеха поэтов», СПб. 1912); и так как Валерий Брюсов («Русская мысль», июль, «Сегодняшний день русской поэзии»), приветствуя автора, тем не менее, дает более холодную оценку его книги, чем какой она, по моему мнению, заслуживает, мне хочется высказать по ее поводу несколько замечаний.

Мне кажется она доказательством возможностей крупного дарования. Сила, строгость и самостоятельная звучность стиха примечательны, контуры и замысла, и словесного воплощения обличают большую самобытность, преодолевающую подчинение образцам.

Пафос Зенкевича вовсе не научный пафос: дело не в попытках вовлечь в область поэзии «темы научные», и я бы не упрекнул молодого поэта в том, что он «довольствуется повторением научных данных». Зенкевич пленился Материей, и ей ужаснулся. Этот восторг и ужас заставляют его своеобразно, ново, упоенно (именно упоенно, пьяно, несмотря на всю железную сдержку сознания) развертывать перед ними — в научном смысле сомнительные — картины геологические и палеонтологические.

Поэтическая самостоятельность этих изображений основывается на особенном, исключительном, могущем развиться в ясновидение чувствовании Материи. Оно же так односторонне поглощает поэта, так удушливо овладевает его душой, что порождает в нем некую мировую скорбь, приводит его к границе философского пессимизма. Между строками его гимнов слышится тоска по искуплению и освобождению человеческого духа, этого прикованного Прометея. Отсюда ропот и вызов — глухие, недосказанные, отнюдь не крикливые и не площадные, какие столь типичны были в период недавнего модного «богоборчества».

Перед нами отпечатлелась в этих стихах начальная работа самобытно ищущего духа. Я желал бы только, чтобы автор не развлекся и не утешился — ну, хотя бы литературным мастерством и ремеслом. Настал век специалистов по стиху, эта специальность может пострадать от излишней серьезности и всяческой «духовной жажды»... Мудро предостерегал Вал. Брюсов молодых поэтов наших дней: им «при всем их порывании в стихийность угрожает одно: впасть в умеренность и аккуратность». Со словами Брюсова, обращенными к Зенкевичу: «поэт, во всеоружии знания, должен силой творческой интуиции указывать пути вперед, давать новый синтез за теми пределами, на которых останавливается ученый; все это еще не под силу г. Зенкевичу», с этими словами я также вполне согласен; но дело, разумеется, не в выработке научнообъективного синтеза, а в обретении путей собственного духа... Со страхом смотрю я на будущее Зенкевича: если он остановится, его удел — ничтожество; если не успокоится — найдет ли путь?»

Характеристика Вячеслава Иванова, его замечания

и его прогнозы начала века удивляют своей точностью и глубиной сейчас, в конце века. Он многое угадал в Михаиле Зенкевиче, в его дальнейшем пути, хотя этот путь проходил в трагическую эпоху, предсказать характер которой не мог никто.

Рецензенты сходились на том, что в «Дикой порфире» чувствуется мощь. Поэт, носитель этой мощи, испугался ее. Таковы логика и алогизм поэзии в революционную эпоху. Личности дано было в ту пору сомнительное «благо» — отдать свою мощь толпе, всеобщему, стихийному, раствориться в нем.

Уже за пределами «Дикой порфиры» (в стихах 1912—1914 гг.) видится как бы традиционное, но глубоко естественное и — главное — присущее Михаилу Зенкевичу тонкое, акварельное, а подчас и графическое, черно-белое письмо:

Парным дождем мутились дали,
И медленней и тяжелей
С курлыканьем на луг спадали
Станицы взмокших журавлей.
Когда ж сошник свой врежет ярко
Пред ночью в тушь кровавый диск,
То кобчики меж сучьев парка
Визгливой поднимают писк.
И в сумерках пугливо-чуток
На лиловой синеве
Шумливый спуск усталых уток
К болотной молодой траве.

(«Уже за хищной бороною...»)

Если говорить о влияниях, то они многообразны и трудно определимы в силу того, что все эти влияния Михаил Зенкевич переплавил в своей плавильне. Здесь и Ломоносов, и Державин, и Бодлер с его «Цветами зла», и Эредиа с его «Трофеями». Не лишне упомянуть Брюсова, Городецкого с его языческой «Ярью» и Хлебникова с его страстью обнажать корни истории и слова. Если кому-либо захочется к этому перечню добавить Леконта де Лиля, то он не будет неправ, тем более что Михаилу Зенкевичу принадлежит прекрасный перевод его стихотворения «Сон ягуара», включенного в книгу «Дикая порфира» и идущего рядом с его же блестящим переводом «Утренних сумерек» Шарля Бодлера.

В свою очередь «Дикая порфира» Михаила Зенкевича оказала и, смею утверждать, продолжает оказывать влияние на поэзию последующих за ее выходом де-

сятилетий. Следует назвать «Рысь» и ранние стихи Ильи Сельвинского, «Орду» и «Брагу» Николая Тихонова, «Юго-Запад» Эдуарда Багрицкого, «Золотое сечение» Леонида Лаврова, «Устойчивое неравновесие» Георгия Оболдуева, «Память» Бориса Слуцкого, который признался мне в одной из бесед в учении у Зенкевича.

Обозревая творческий путь поэта, незачем искать у него буквального соответствия образов конкретным фактам и событиям: вот канун революции, вот революция, гражданская война, пятилетки, Отечественная война и т. д. Михаил Зенкевич принадлежит к мастерам, которые не рассматривали свое творчество как иллюстрацию к истории и современности. Творчество, хотя, несомненно, и связано с историей и современностью, имеет самоценное значение — как выражение той или иной индивидуальности, личности, таланта или гения.

На переломе истории после октября 1917 года уже заполняли воздух и печатные полосы многочисленные голоса ораторов и журналистов, а с ними и стихотворцев, беллетристов, драматургов, яростно откликающихся на злобу дня: одни — «за», другие — «против». Процветали, ибо поощрялись властью, оды, дифирамбы, марши. Михаил Зенкевич не торопился, не ломал свой голос, не приспособлялся к новым условиям. Он продолжал воплощать в слово то, что и прежде. Новые его произведения, созданные после «Дикой порфиры» и именовавшиеся «Четырнадцать стихотворений», «Под мясной багрянницей», «Лирика», «Пашня танков» и другие, могли бы выйти под названием «Дикая порфира, книга вторая», «Дикая порфира, книга третья». Намечался же Осип Мандельштам после первой книги «Камень» следующую за ней назвать «Второй камень» (назвал «Tristia»).

Не было недостатка в названиях. Но подобно тому, как у Бориса Пастернака «Поверх барьеров» это не только название книги, но и целого периода творчества, а заодно и манеры, так и для Михаила Зенкевича «Дикая порфира» тоже метафорическое имя значительного периода творчества и поэтической манеры.

Критика отмечает фламандскую словесную живопись Михаила Зенкевича. Да это видно и без особых указаний. Поэт в статье «От автора», оставшейся нео-

публикованной (ею он намеревался открыть книгу «Сквозь грозы лет»), дает такое объяснение: «В противовес эстетизму и красивости поэзии того времени я не боялся касаться физиологических основ жизни и смело вводил темы и образы, считавшиеся прозаическими, слишком грубыми, антипоэтическими». Это авторский комментарий. Я склонен ему доверять. Этот автор никогда не добивался признания нетворческими путями. Ему рекомендовали преодолеть физиологизм. Он не спешил. А вместе с тем сама жизнь внушала ему взгляд на мир: «бронтозавры» обрели особую броню и стали танками. Поэта увлекла авиация, первые мертвые петли Нестерова и Пегу, ледовое плавание Седова, открытие Северного полюса. Это не было данью входившей в моду героике. Это было естественное расширение поэтического мира.

Еще в 1914 году на вечере акмеистов в Литературном обществе Михаил Зенкевич предлагал: «Если хотите, назовите акмеиста неореалистом. Такое название для него почетнее названия символиста или романтика. Но этот «неореализм акмеизма» не имеет ничего общего ни с обывательским реализмом, ни с подновленным академизмом парнасцев». Противник терминологических игр, Михаил Зенкевич говорит о существовании своей поэзии, о программе не на узкий период, а на всю жизнь.

Такие написанные после «Дикой порфиры» стихотворения, как «Смерть лося», «Бык на бойне», «Свиней колют», «Тигр в цирке», «Пригон стада», «Мамонт» и некоторые другие, продолжают циклы «Дикой порфиры» и находятся в русле этой книги. Конечно, Михаил Зенкевич на протяжении десятилетий менялся, обретая новые качества, но не будет ошибкой утверждать, что проявившиеся в «Дикой порфире» личность, стиль, манера сохранились на всю жизнь. Это — любовь к плоти, молодости, яркости, движению, взгляд на вещи и явления пронизательный, сумеречный, трагедийный.

К особенностям «Дикой порфиры», сохраненным надолго, на всю жизнь, годы добавляли новые краски. С чувством времени соединяется чувство пространства: Крым — Кавказ — Сибирь — Украина — Средняя Азия. Это находит выражение в эпических мотивах, а всего более — в лирике, любовной по преимуществу. Потрясения 20-х годов отразились в строе и облике сти-

хов Михаила Зенкевича. В стихотворении с тихим названием «Дорожное» читаем:

Земля кружится в ярости,
И ты не тот, что был, —
Так покидай без жалости
Всех тех, кого любил.

И детски шалы шалости
И славы, и похвал, —
Так завещай без жалости
Огню все, что создал.

Это поэт написал 22 сентября 1935 года по дороге из Коктебеля. Уже умер, задохнувшись без воздуха свободы, Блок, убит Гумилев¹, прокляты акмеисты, пошли одна за другой победоносные пятилетки, выматывавшие людей, приближались черные дни неправых массовых судов, арестов, ссылок, смертей... Жестокость и «ярость», окружавшие поэта, он нашел и в себе, и себе же повелел покинуть «всех тех, кого любил», и предавать «огню все, что создал». Помимо беспощадных революционных трибуналов существовали «трибуналы», навязанные каждому себе, своей совестью, своей воле. Это было всеобщим явлением, за крайне редкими исключениями.

Встречаясь, увы, далеко не часто, с Михаилом Александровичем, я хотел у него спросить, пишет ли он новые произведения, почему редко встречаю его в печати. Хотел спросить, но не решался. Деликатный вопрос, серьезный, тяжелый. Мне казалось, что поэт с такой энергией жизни, с таким эмоциональным зарядом не может молчать. «Пыжиться» Михаил Зенкевич не привык, не умел. Творчество для него — акт свободного волеизъявления. Это ему принадлежит ироническое четверостишие:

Поэт, бедняга, пыжится,
Но ничего не пишется.
Пускай еще напыжится, —
Быть может, и напишется.

¹ После гибели Николая Гумилева Зенкевич работал над переводом «Ямбов» Андре Шенье. Это не было издательским заказом. Это была душевная потребность. В трагедии Шенье поэту виделась трагедия Гумилева. В этой общности судеб вставали проблемы: личность и государство, власть и свобода, революция и культура, проблемы, которые волновали и самого Михаила Зенкевича.

Нетрудно было понять, что произошла катастрофическая ломка быта, бытия, обычаев, нравов, культуры. Опасаясь сыска, преследования, угроз, арестов, ссылки, люди бросали в огонь дневники, исповеди, произведения, которые могли бы счесть недозволенными.

Не эмигрировавшие поэты для того, чтобы спасти себя и свое оригинальное творчество, «уходили в перевод» (почти термин). Общей участи не избежал и Михаил Зенкевич. Он и вошел в когорту сильнейших мастеров русского поэтического перевода, создав свою школу, особенно в переводе американской поэзии. Не будет преувеличением сказать, что Михаил Зенкевич открыл Америку поэтическую, открыл для русской читающей публики.

И только порой по отдельным прорвавшимся в печать стихам можно было догадаться, что муза его не замолчала, а мастерство набирает силу.

В «Избранном» (1973) мы находим стихи, говорящие о неувядаемости таланта поэта. Так, например, «Смерть лося» — словно живопись в движении, не застывшая моментальная фотография, а динамика кино.

...заломив рога, вдруг ринулся сквозь прутья
По впадинам глазным хлеставших жестко лоз,
Теряя в беге шерсть, как войлока лоскутья,
И жесткую слюну склеивших пасть желез.

Это не только видишь и слышишь, это делает тебя, читателя, очевидцем, а отчасти и участником действия. Момент смерти лося дается без смакования, сочувственно и трепетно. Художник как бы сам испытывает боль животного.

С размаха рухнул лось. И в выдавленном ложе
По телу теплomu перепорхнула дрожь
Как бы предчувствия, что в нежных тканях кожи
Пройдетя, весело свежюя, длинный нож.

Здесь останавливает внимание удивительно точный глагол в отношении дрожи — «перепорхнула». Это увидено изнутри. «Дрожь» корреспондирует не только к этому глаголу («перепорхнула»), но и к следующему словосочетанию «как бы предчувствия».

У Михаила Зенкевича живопись словом сходна с манерой барбизонцев, импрессионистов, экспрессионистов: купанье, пригон стада, рассвет, закат, ночь... Например, купальщицы у него:

То плещутся со смехом в пене,
Лазурью скрытые по грудь,
То всходят томно на ступени
Росистой белизной сверкнуть.

Поэт не просто рисует пейзажи, но за внешним изображением передает скрытую суть наблюдаемого. Вот ястреб выследил жертву. Поэт предчувствует неотвратимое. Но он вместе с тем видит не только темную знойную точку в небе — ястреба, но и его страсть.

Роковые, гибельные, трагические мгновения жизни, границы жизни и смерти, их зыбкое состояние, борение — это всего более привлекает поэта. Гибнет «Титаник», гибнет Пушкин, гибнет усадьба и с ней рояль («Мы — призраки прошлого. Горе нам! горе! Мы гибнем. За что? за что?»), гибнут пять декабристов (по стихотворному медальону — каждому из них). Поэт становится летописцем гибнущего мира. Но «в духе времени» он (точнее, его герой, возвращенный безжалостным временем) не хочет скорбеть о былом. И он попрекает себя в неуместной чувствительности, в интеллигентской жалости.

Невольно приходится думать о драме поэта в вихревую эпоху, в смутное время. Поэту с такой неистовой жадной жизнью, какой был наделен Михаил Зенкевич, надо прилагать огромное усилие, чтобы не сломаться, не опозорить свое имя, мужественно пройти сквозь цепь крушений и разочарований. Он с иронией относится к тем, кто «пыжится», прибегает к самонасилию и суррогатам искусства. По отношению к другим. А по отношению к себе? Степень взыскательности здесь еще большая:

Зачем писать такие стихи,
Бесполезные и никому не нужные?

Редко, все реже и реже выступал Михаил Зенкевич со стихами. Он не желал участвовать в литературной ярмарке, в борении амбиций подхалимов и прихлебателей.

Холопство ль, недостаток ли культуры,
Но табели чинов растут у нас,
Как будто «генерал литературы»
Присваивает званием указ.

Здесь сказались не только старая закваска Михаила Зенкевича, его воспитание, но и истинный вкус и

такт художника, честно и прямо глядящего на мир и в глаза современников. Он себя не готовил в литературные генералы. Это было ему чуждо.

Когда в 1966 году к почтенному юбилею он получил телеграмму, в которой были слова: «...от души приветствуем поэтического патриарха», последовал его стихотворный ответ:

Стал я сразу вдруг
Всех поэтов старше.
Дайте ж мне клубук
Белый патриарший!

Михаил Зенкевич не афишировал своего внутреннего несогласия с порядками, царившими в стране и литературе. Он ждал суда читателей, пусть эти читатели и придут позднее, в будущем. Строже всех поэт судил самого себя. И это в обычаях русской поэзии.

Нет безжалостней, нет беспощадней судьи,
Он один заменяет весь ревтрибунал,
Он прочтет сокровенные мысли твои,
Все, которые ты от всех близких скрывал.

Наблюдение и автобиографическое признание, мимо которого нельзя проходить, оценивая творчество поэта в целом.

От него ты не скроешься даже во сне,
Приговор его станет твоею судьбой.
Так по вызову совести, наедине
Сам с собою ты будешь в ночной тишине
Суд, расправу вершить над самим собой.

Это сказано в 1956 году. Поэту семьдесят лет. Чувство, разум, совесть продолжают бодрствовать. Еще более, еще острее и воспаленней, чем в молодые годы.

При слове «акмеисты» сразу же возникают три имени: Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам. А дальше? Дальше — недоуменная пауза.

И только немногие знатоки и любители поэзии называют Михаила Зенкевича. Мы не обращались к модным сейчас социологическим опросам, не собирали мнения. Наше участие в литературной жизни подсказывает нам это прочное и звонкое имя: Зенкевич, Ми-

хаил Александрович Зенкевич. Цифирь редко дружит с поэзией. Четвертый, так четвертый. Внятно. Внук поэта Сергей Евгеньевич Зенкевич убедил нас в правомерности такого счета. Он, конечно, условен. Куда уместнее сказать: «Златокудрый Миша». И вот почему.

Это словосочетание, это прозвище я услышал из уст Анны Ахматовой. Она оживилась, рассказывая мне о днях молодости, о Царском Селе, откуда друзья-акмеисты часто ездили в Петербург. Это были совместные веселые поездки. И веселье это происходило во многом от «златокудрого Миши». Анна Андреевна причисляла Михаила Александровича Зенкевича к истинным акмеистам. Иногда она говорила: «Нас было шестеро», подчас: «Нас было семеро». Мы же ныне скажем: он был акмеистом и этого вполне достаточно. Равным среди равных. Он прошел большой жизненный и творческий путь и, наверное, всегда помнил слова, сказанные его другом Николаем Гумилевым о «Дикой порфире»: «Дикая порфира» — прекрасное начало для поэта. В ней есть все: твердость и разнообразие ритмов, верность и смелость стиля, чувство композиции, новые и глубокие темы. И все же это только начало, потому что все эти качества еще не доведены до того предела, когда просто поэт делается большим поэтом. В частности, для Зенкевича характерно многообещающее адамистическое стремление называть каждую вещь по имени, словно лаская ее. И сильный темперамент влечет его к большим темам, ко всему стихийному в природе или в истории».

«Дикая порфира» — это не сборник стихов, а именно книга. Книга в ее единстве и цельности. Как «Сумерки» Баратынского, «Кипарисовый ларец» Анненского, «Ямбы» Блока.

Дело, конечно, не в какой-то особой «научной поэзии». Дело в том, что Михаил Зенкевич в большей степени, чем другие поэты, интересовался естественными науками, историей, философией. Это не могло не сказаться на его творчестве. Не зря критика утверждала, что из всех акмеистов определенным мировоззрением обладает именно Михаил Зенкевич. Он не боялся научных терминов, законов науки, ее творцов. Он сделал решительный шаг к ним.

Свою «Дикую порфиру» молодой акмеист, как я узнал, вез вместе с «Вечером» Анны Ахматовой на извоз-

чицей пролетке в книжный склад. Жизнь была впереди. Она обнадеживала...

Он стал большим поэтом. Учителем называл его Эдуард Багрицкий, влияние Зенкевича испытали на себе Леонид Лавров, Николай Тарусский, Марк Тарловский, Георгий Оболдуев, Яков Хелемский, Андрей Сергеев, Михаил Синельников и пишущий эти строки. Несомненно влияние поэзии раннего Зенкевича на поэзию украинского мастера Миколы Бажана.

Метафоризм, живопись словом, «фламандской школы пестрый сор», властно-тяжелую поступь стиха — все это мы впитали в себя с юношеских лет, и это соединилось с именем Зенкевича (наряду с именем Нарбута).

С Михаилом Александровичем Зенкевичем меня познакомил Василий Васильевич Казин весной 1933 года. Это было в поэтической редакции Гослитиздата, помещавшегося в Большом Черкасском переулке. Я был горд — передо мной человек, который был на «ты» с самим Николаем Гумилевым. Казин внимательно прочитал мою первую стихотворную тетрадь. Эту тетрадь при мне он передал Зенкевичу, который и сам прочитал ее и показал Багрицкому, жившему в Кунцеве.

— Эдуард Георгиевич вас ждет. Ваши стихи у него, — сообщил мне Зенкевич в том же Гослитиздате при следующей встрече.

К тому времени я уже был недоволен стихами первой тетради и мне хотелось написать по-новому, более убедительно, и я начал новую тетрадь.

Встречу с Багрицким по легкомыслию и застенчивости я отложил. В феврале следующего, 1934 года в Киеве, находясь на каникулах, я развернул газету и увидел имя Багрицкого в траурной рамке. Вероятно, тогда впервые со скорбной определенностью я понял, что ничего в жизни нельзя откладывать, особенно встречи с примечательными и очень большими людьми.

Много позднее, почти через тридцать лет, Михаил Александрович Зенкевич на своей подаренной мне книге «Сквозь грозы лет» (1962) сделал надпись: *На память о первой встрече, когда Эд. Багрицкий и я принимали Ваши еще юные стихи в журнал «Новый мир».* Помнится, в этот журнал принимали мои более поздние стихи Михаил Зенкевич и Павел Антокольский, ведавшие поэтическим отделом «Нового мира».

Ко времени знакомства с Михаилом Александровичем я уже знал его мощную книгу «Дикая порфира», о которой только что шла речь, и более поздние книги, выходявшие все реже и реже, уступившие дорогу переводам, прежде всего драгоценной антологии «Поэты Америки. XX век» и «Американские поэты в переводах М. Зенкевича».

В передаче русского поэта я впервые узнал Лонгфелло, Уитмена, Дикинсон, Мастерса, Роберта Фроста, Элиота, Майкла Голда, Карла Сэндберга. Внешне, если судить по портретам, этот последний похож, как мне казалось, на своего переводчика. Когда я сказал об этом Михаилу Александровичу, он улыбнулся, ему, очевидно, понравилось сравнение.

Открытие поэтической Америки благодаря Михаилу Зенкевичу состоялось. Книгу читали. Вот свидетельство этого интереса: стихотворение Роберта Фроста «Цветочная поляна» в переводе Михаила Зенкевича стало любимой песней студентов в 60-е годы. Всюду, где они собирались, возникала эта песня. Многие знали, что это стихотворение Фроста, но только единицы помнили, что это перевод Зенкевича.

Михаил Зенкевич прожил до 1973 года — большую для горемычных акмеистов жизнь: восемьдесят семь лет. Он был всесторонне одаренным и основательно образованным человеком. Он не дал себе права пойти поперек судьбы и следовал завету Достоевского: «Смирись, гордый человек». Возможно, этот стоик сам перешел себе дорогу и не дал свободно развиваться заложенному в нем дару?

Витальное начало наиболее ощутимо у раннего Михаила Зенкевича. Торжество плоти. Доисторическое существование. Мощь жизненных сил, рвущихся к созиданию. Физическая тяжесть строки.

«Огнетуманные светила» («Марк Аврелий»), «Выгнувши конусом кратер лунный, потоками пальм истекает вулкан» («Грядущий Аполлон»), «Серебристая струйка детского голоса» («Тигр в цирке»), «И мглился блеск» («Купанье»), «Растоплена и размолота лунонощной лазури ледяная гора. День — океан из серебра. Ночь — океан из золота» («Мамонт»). Это примеры образности раннего Зенкевича. В поэзию ворвались геология и зоология. Они вошли в плоть и кровь его образов.

«Поэт предельной крепости, удивительный метафорист» — эти слова о Михаиле Зенкевиче принадлежат Борису Пастернаку, который, в свою очередь, сам был «удивительным метафористом», за творчеством которого автор «Дикой порфиры» следил с напряженным интересом. В наших с Михаилом Александровичем беседах Борис Пастернак занимал большое место. Зенкевич — метафорист в пределах двух-трех слов (см. первый приведенный здесь пример — «огнетуманные светила»), в пределах строки и строфы, целой книги (имеется в виду невышедшая — «Со смертью на брудершафт»).

Вместе со стихами Михаила Зенкевича я знакомился и с произведениями незаслуженно забытого Владимира Нарбута, тоже истинного акмеиста. Я в жизни так и не встретил его. Зенкевич урывками, каждый раз недоговаривая и обещая договорить, создавал устный портрет своего победоносного и горемычного друга.

Первые книги стихов после 1910 года выходили одновременно или одна за другой. Это было зело урожайное время для русской поэзии. «Жемчуга», «Вечер», «Камень», «Дикая порфира» и — обязательно надо добавить — «Аллилуйя» Владимира Нарбута. Книга «Аллилуйя» вызвала протест властей, автора осудили за порнографию. Он должен был оставить Петербургский университет, расстаться с близким другом Михаилом Зенкевичем и уехать из России. По опубликованным Л. Пустильник письмам Нарбута к Зенкевичу видно, сколь тесной была дружба этих поэтов: «Мы ведь как братья, по крови литературной, мы такие. Знаешь, я уверен, что акмеистов только два — я да ты». Нарбут предлагал Зенкевичу совместное печатание: «Это будет наш блок — „Зенкевич и Нарбут“». «...Хотя голодно, хотя плохо и трудно, но все-таки я бы хотел, чтобы ты был рядом со мной».

Было для меня заметно, что Михаил Александрович намеренно загнал себя в тень, вернее — добровольно выбрал тeneвую позицию. Ему было неуютно в эпоху после 1917 года. Неуютно и зябко. Зябко и тягостно. Серебро все больше и больше добавлялось к его золотым кудрям. Потом возобладало серебро. О Зенкевиче забывали. Правда, были люди, которые продолжали восторгаться им, а известная актриса Вахтанговского театра Зоя Константиновна Бажанова, жена Павла

Антокольского, неизменно считала Михаила Зенкевича первым российским поэтом. Так и произносила — как формулу. И внушала это другим. Она упоительно читала стихи Михаила Зенкевича за кофе, на улице, на Пахре.

«Первый российский поэт» в эпоху унификации старался пригасить свой блеск, выключить фары. Так он жил. Не вдруг открывалась тайная драма этого человека. Эта драма видна в малом и большом. В 1924 году Зенкевич говорил о Пушкине:

...он наш целиком! Ни Элладе,
Ни Италии не отдадим:
Мы и в ярости, мы и в разладе,
Мы и в хаосе дышим им!

Ярость — разлад — хаос. Этим триединством определяет Зенкевич эпоху. Много раз я молча вспоминал это триединство и наполнял его все новым и новым смыслом. В последние годы Зенкевич «хаос» поменял на «радость». По своей воле или воле редактора — неведомо. Позволю себе, при всем высоком уважении к автору, остаться при «хаосе». Он, хаос, вместе с яростью и разладом больше передает дух времени, чем дежурная радость неунывающей прессы. Маяковский хотел «вырвать радость у грядущих дней». Зенкевичу (или его редактору) «радость» понадобилась как идеологический бантик, «затычка». Зенкевич не являлся исключением. Это делали все, почти все, кто меньше, кто больше. Не был избавлен от этого и пишущий эти строки, вот почему только что написанное мною не является упреком Зенкевичу. Эта подмена («радость») — частность большой драмы.

Нередко Михаил Зенкевич взбадривал себя беседами с людьми, которым доверял, хочется сказать — ограниченно доверял. С тишайшим из поэтов Александром Шпиртом он бывал на всех футбольных матчах и по-юношески переживал превратности судьбы любимых игроков.

Он продолжал переводить. Мицкевич, Стивенсон, Шенье. Среди этих переводов встречаются решительные удачи — например, черногорец Негош. Несомненно, он писал, он не мог не писать. Писал, но не показывал. Томился, чувствовал себя представителем старой школы, о которой принято было говорить уничтожительно.

Он был застенчив. В этой застенчивости укрывалась гордыня. Гордыня непризнанности? Нет, не только. Честь поэта, достоинство творца, кровно ощущающего традиции русской поэзии.

Безвестность он переносил, как мне казалось, легче других. Более того, умел радоваться чужим удачам. Своей удачи вроде бы избегал. Но однажды избежать не смог. В журнале «Октябрь» появился его гениальный «Найденыш». В небольшом стихотворении просматривается кубатура поэмы или повести. Можно сказать, о чем это стихотворение. Вернувшийся с войны солдат застаёт в своем доме ребенка, рожденного в его отсутствие. Сюжет, можно сказать, банальный, как и сюжет «Анны Карениной». Но — наполнение, образы, интонация!

Солдат вошел в избу. Жены нет. Есть девочка Аленушка. Пропускаю начало, добрую половину стихотворения:

«А дочь ты чья?»

Молчит...

«Ничья.

Нашла маманька у ручья.

За дальнею полосонькой,

Под белою березонькой».

«А мамка где?»

«Укрылась в рожь.

Боятся, что ты нас убьешь...»

Солдат воткнул в хлеб острый нож,

Оперся кулаком о стол,

Кулак свинцом налит, тяжел.

Молчит солдат, в окно глядит

Туда, где тропка вьется вдаль.

Найденыш рядом с ним сидит,

Над сердцем тербит медаль.

Как быть?

В тумане голова.

Проходит час, а может, два.

Солдат глядит в окно и ждет:

Придет жена иль не придет?

Как тут поладишь, жди не жди...

А девочка к его груди

Прижалась бледным личиком,

Дешевым блеклым ситчиком.

Взглянул:

у притолки жена

Стоит, потупившись, бледна...

«Входи, жена! Пеки блины.

Вернулся целым муж с войны.

Былое порастет быльем,

Как дальняя сторонушка.
По-новому мы заживем,
Вот наша дочь — Аленушка!»

Всякий раз, перечитывая это стихотворение, я испытываю нечто, случающееся со мною в живой жизни, а не от встречи со словесностью. От Михаила Зенкевича такого не ждали, сказать по правде, ничего уже не ждали: люди быстро привыкают к несправедливой молве о человеке. Но на пустом месте такое произведение появиться не могло. И — верно, мы теперь узнали, что существует созданный поэтом солидный корпус стихов, есть проза — мемуарный роман «Мужицкий сфинкс» (название восходит к Ивану Сергеевичу Тургеневу; создавался в 1921—1928 гг.).

В беседах наших то и дело прорывались меткие характеристики людей, пережитое, прочувствованное, понятное-непонятое. Но Зенкевич одергивал себя. Я ждал от него прямой мемуарной книги. Он написал беллетризованные мемуары. Вот как он сам объясняет, почему поступил так, а не иначе:

«Зачем понадобилось автору идти самому и манить за собой читателя по горячечной пустыне сыпнотифозного бреда к оазисам живой действительности? Что особенного хотел сказать автор своей вещью и почему он выбрал столь странную форму разговора с читателем?

Ответ не должен быть однозначным. Пользуясь приемом бредового смещения событий в искаженной перспективе времени, автор выплескивает из глубинных тайников души до отчаяния близкие образы, давно канувшие в Лету.

И потом: кто осудит горячечного больного, если в неясном для окружающих бреду он скажет заветное, дорогое? Одни презрительно усмехнутся, другие не поймут, но, может, найдутся и такие, кому «тени далекие» проникнут в душу, разбудят любовь и печаль».

Автор здесь не называет милых его сердцу имен. Такие были тогда времена и нравы. Рукопись романа Зенкевич дал Фадееву для прочтения и, возможно, для рекомендации в печать. Фадеев ответил:

«Первая часть никак не увязывается со второй. Разнородные, разнохарактерные они какие-то, — заключил он. — Никакой связи нет между ними. Да и зачем все эти Гумилевы, Пуришкевичи, Распутины, Ахматовы?..

Нельзя это печатать! Иное дело — вторая часть, «деревенская». Свежо, со вкусом! Давай выделим в одну книгу, доработаем и тогда с ходу пойдет!»

Конечно, Михаил Зенкевич испытывал мощное давление агитпропа. В лице А. Фадеева агитпроп требовал, чтобы в романе «Мужицкий сфинкс» были оставлены только «деревенские» главы, а главы «акмеистические», «петербургские», «урбанистические» удалены.

«С этим предложением,— пишет Михаил Зенкевич,— автор не мог согласиться. В отличие от маститого рецензента, он видит нерасторжимую связь между всеми частями книги. В том числе между средой «Аполлона», петербургских литературных ресторанчиков, «посмертной» встречей Распутина и Пуришкевича с «мирским испольтником» Семеном Палычем, его «ладанкой с зерном», заводом «Серп и Молот» и разгадкой тургеневского «мужицкого сфинкса».

Михаил Зенкевич в свое время познакомил с рукописью Анну Ахматову. Я не знал об этом. Об этом сообщил мне внук поэта, деятельно и серьезно занимающийся наследием деда. Анна Андреевна тогда сказала: «Какая это неправдоподобная правда!» Автор и героиня романа понимали друг друга...

Среди сравнительно недавно (1991) опубликованных стихов я прочитал «Надпись на книге», подаренной автором Анне Ахматовой и упомянутой мною выше («Сквозь грозы лет»):

Тот день запечатлелся четко
Виденьем юношеских грез —
Как на извозничьей пролетке
Ваш «Вечер» в книжный склад я вез
С моею «Дикою порфирой»...
Тот день сквозь северный туман
Встает, озвучен, осиян
Серебряною Вашей лирой.

Под «Надписью на книге» дата — 8 декабря 1962 года. Та же книга подарена была мне в том же году. Это непримечательное для других совпадение во времени лично для меня ценно и важно. Кроме того, оно как бы закольцовывает мою попытку вспомнить о поэте и поразмышлять над его тайной.

Помнится, однажды Михаил Александрович сказал

мне: «Ничто так трудно не исправляется в России, как репутация. Можно сказать, вовсе не исправляется. Если уж привыкли к тебе как к переводчику, положи на стол достойнейшую книгу оригинальных произведений, все равно тебя будут именовать переводчиком...» Не уверен в буквальности высказывания, но за точность мысли могу поручиться. Наступила пора, когда мы можем внимательно прочитать полновесную книгу бесцензурного поэта и открыть его сначала для себя, а затем и для русской литературы XX века.

И вот теперь я хотел бы назвать еще одну причину молчания Михаила Зенкевича. Ее можно обозначить, думается, так. Не все, что пишется по горячим следам событий, бывает воспринято современниками, тем более, когда мир разламывается и люди оказываются по разные стороны баррикады. Слову нужно дождаться читателя, способного не судить, а понять автора, обстоятельства, в которых он творил, и те вопросы, на которые он мучительно искал ответа. Ответить на них тогда он не смог. Сможем ли мы это сделать сегодня?

Читая Михаила Зенкевича, будем же размышлять над вопросами, которые он адресует и нам «сквозь грозы лет». Разгадывая тайну его молчания, мы, быть может, разгадываем и самих себя, и время, в которое живем. И вместе с тем определяем свое поведение в нашей нынешней жизни и находим те нравственные опоры, на которых держится сама жизнь.

Лев Озеров

Стихотворения
1906—1969





КАЗНЬ

Их вывели тихо под стук барабана,
За час до рассвета, пред радужным днем —
И звезды среди голубого тумана
Горели холодным огнем.
Мелькнули над темной водой альбатросы,
Светился на мачте зеленый фонарь...
И мрачно, и тихо стояли матросы —
Расстрелом за алое знамя мстит царь.

.....

Стоял он такой же спокойный и властный,
Как там среди неравной борьбы,
Когда задымился горящий и красный
«Очаков» под грохот пальбы.
Все взглядом округленным странно, упрямо
Зачем-то смотрели вперед:
Им чудилась страшная, темная яма...
Команда... Построенный взвод...
А вот Березань, точно карлик горбатый;
Сухая трава и пески...
Шеренгою серой застыли солдаты...
Гроба из досок у могилы, мешки...
На море свободном, на море студеном,
Здесь казнь приготовил им старый холоп,
И в траурной рясе с крестом золоченым
Подходит услужливый поп...
Поставили... Саван надели холщовой...—
Он гордо отбросил мешок...
Взгляд грустный, спокойно-суровый
Задумчив и странно глубок.

.....

Все кончено было, когда позолота
Блеснула на небе парчой огневой,
И с пеньем и гиканьем рта
Прошлась по могиле сырой.

.....

Напрасно!.. Не скроете глиной
И серым, сыпучим песком
Борьбы их свободной, орлиной
И бледные трупы с кровавым пятном.

1906



Нам, привыкшим на оргиях диких, ночных
Пачкать розы и лилии красным вином,
Никогда не забыться в мечтах голубых
Сном любви, этим вечным, чарующим сном.
Могут только на миг, беглый трепетный миг
Свои души спаять два земных существа
В один мощный аккорд, в один радостный крик,
Чтоб парить в звездной бездне, как дух божества.
Этот миг на востоке был гимном небес —
В темном капище, осеребренном луной,
Он свершался под сенью пурпурных завес
У подножья Астарты, холодной ночной.
На камнях вместо ложа пестрели цветы,
Медный жертвенник тускло углями горел,
И на тайны влюбленных, среди темноты
Лик богини железной угрюмо смотрел.
И когда мрачный храм обагряла заря,
Опустившись с молитвой на алый песок,
Клали тихо влюбленные у алтаря
Золотые монеты и белый венок.
Но то было когда-то... И, древность забыв,
Мы ту тайну свершаем без пышных прикрас...
Кровь звенит. Нервы стонут. Кошмарный порыв
Опьяняет туманом оранжевым нас.
Мы залили вином бледность нежных цветов
Слишком рано при хохоте буйных речей —
И любовь для нас будет не праздник богов,

А разнузданность стонущих, темных ночей.
Со студеной волною сольется волна
И спаяется с яркой звездой звезда,
Но то звезды и волны... Душа же одна,
Ей не слиться с другой никогда, никогда.

<1908>

БРЕД

Лежал в бреду я и в жару.
Мне чудилось, что на пиру
Мой череп, спаянный кольцом,
Наполнен был цветным вином
И белой пеной благовонной
Обрызгал шелк кудрей червонный.
И в кубок тот смотрела ты.
Я видел косу и черты,
Бледны, загадочны, смуглы,
Как тучи предзакатной мглы.
Лишь темных глаз янтарь смолистый
Светился грустию огнистой.
Порою чувствовал вдруг я —
Касались губы о края.
То был твой снежный поцелуй.
Оранжевел блеск винных струй.
И от холодности бесстрастной
Кипел мой череп влагой красной.
И усмехалась ты потом
Своим девичьим, тонким ртом.
В ответ веселые бубны
Звенели серебром луны,
И вдруг среди пестроты туманной
Гремел вальс дикий и вакханный...

<1908>

КРИК СЫЧЕЙ

Тих под осенними звездами
Простор песчаный, голубой.
Я полон музыкой, огнями

И черной думой, и тобой.
Я вижу в бледности сияний
Трубы фабричной обелиск;
В хаосе дымных мирозданий,
Как хищный коготь, — лунный диск.
Чу... Крик отрывистый и странный.
То там, где дробятся лучи,
На белой отмели песчаной
Перекликаются сычи.
Зачем-то нужно тьме зеленой
Зародыш кровавой зачать —
И будет вопль их воспаленный
До солнца судоржно звучать, —
Чтоб тот, как и они, незрячий,
В холодной мгле один кружил,
Потухший метеор бродячий,
Осколок огненных светил.
Я вдруг тебя увидел рядом —
На черни кос отлив зарниц,
И светится над темным взглядом
Сеть черных месяцев — ресниц...
И все — лишь крови шум оргийный
Да звон безумств седых веков?
Сычей крик хищный и стихийный
Над мертвым серебром песков?

<1908>



Мы носим все в душе — сталь и алтарь нарядный,
И двух миров мы воины, жрецы.
То пир богам готовим кровожадный,
То их на бой зовем, как смелые бойцы.
Мы носим все в душе: смрад душный каземата,
И дикий крик орлов с кремнистой высоты,
И похоронный звон, и перебой набата,
И гной зеленый язв столетнего разврата,
И яркие зарницы и мечты.
Смеяться, как дитя, с беспечной, острой шуткой
И тайно изнывать в кошмарах и тоске,
Любить стыдливо, — с пьяной проституткой

Развратничать в угарном кабаке;
Подняться высоко, как мощный, яркий гений,
Блеснуть кометою в тумане вековом;
И воспаленно грезить средь видений,
Как выродок в бреду безумном и больном.
Мы можем все... И быть вождем-предтечей...
Просить на паперти, как нищие слепцы...
Мы сотканы из двух противоречий.
И двух миров мы воины, жрецы.

<1908>

БЫВАЮТ МИНУТЫ

Бывают минуты... Как красные птицы
Над степью раздольной в лиловом кругу,
Махают крылами глухие зарницы
В разгульно-кроваво шумящем мозгу
Тогда гаснет глаз твоих сумрак червонный,
Отлив твоих галочки-черных волос,
И нервы, и вены волной воспаленной
Зальет сладкий морфий, кошмарный гипноз.
И чужд тогда станет мне путь звездомлечный,
Вопль грозный пророков про Мечь и про Суд...
Гремит в свете факелов хохот беспечный,
Кентавры грудь пьяных весталок сосут
И я вместе с ними полночью пирую,
И жертвенник винною влагой мочу,
И белые груди бесстыдно целую,
И хрипло пою, хохочу и кричу.
Умолкнет пусть клекот сомнений, печалей,
Могучая музыка солнечных сфер!
Пусть только звенит гимн ночных вакханалий
И блещут открытые груди гетер...
А с бледным рассветом холодное дуло -
Бесстрастно прижать на горячий висок,
Чтоб весело кровь алой струйкой блеснула
На мраморный пол, на жемчужный песок.

<1909>



Ты, смеясь, средь суеты блистала
Вороненым золотом волос,
Затмевая лоск камней, металла,
Яркость мертвенных, тепличных роз.
Прислонясь к камину, с грустью острой
Я смотрел, забытый и смешной,
Как веселый вальс в тревоге пестрой
Увлекал тебя своей волной.
Подойди, дитя, к окну резному,
Прислонись головкой и взгляни.
Видишь — вдоль по бархату ночному
Расцвели жемчужины-огни.
Как, друг другу родственны и близки,
Все слились в алмазном блеске мглы,
В вечном танце пламенные диски —
Радостны, торжественны, светлы.
То обман. Они ведь, так далеки,
Мертвой тьмой всегда разделены,
И в толпе блестящей одиноки,
И друг другу чужды, холодны.
В одиночестве своем они пылают.
Их миры громадны, горячи.
Но бегут чрез бездну — остывают,
Леденеют жгучие лучи.
Нет, дитя, в моей душе упреков.
Мы расстались, как враги, чужды,
Скрывши боль язвительных намеков,
Горечь неразгаданной вражды.
Звездам что? С бесстрашием металла
Освещают вечность и хаос.
Я ж все помню — ласку рта коралла,
Сумрак глаз и золото волос.

<1909>

ДИКАЯ ПОРФИРА

1912

И в дикую порфиру древних лет
Державная природа облачилась.

Баратынский

*

Пары сгущая в алый кокон,—
Как мудрый огненный паук,
Ткет солнце из цветных волокон
За шелковистым кругом круг.

И тяжким тяготеньем сбиты,
И в жидком смерче сгущены,
Всего живущего орбиты
И раскаленны и красны.

И ты, мой дух слепой и гордый,
Познай, как солнечная мгла,
Свой круг и бег алмазно-твердый
По грани зыбкого стекла.

Плавь гулко в огненном удушье
Металлов жидкие пары
И славь в стихийном равнодушье
Раздолье дикое игры!

1910

Гимны к материи

*

Ты дико-сумрачна и косна,
Хоть окрылил тебя Господь,—
Но как ярка, как кровеносна
Твоя железистая плоть!

И в таинствах земных религий
Миражем кровавых паров
Маячат вихревые сдвиги
Твоих кочующих миров.

И грузно гнутся коромысла
Твоих весов, чтоб челюсть пил
В алмазные опилки сгрызла
Все, что твой горн не растопил.

В осях, в орбитах тверды скрепы —
Пласты огня их не свихнут,
И необузданный, свирепый
Стихийно-мудр твой самосуд.

И я молюсь, чтоб ток багряный,
Твой ток целебный не иссяк
И чтоб в калильные туманы
Тобой сгущался мертвый мрак!

*

Всему — весы, число и мера,
И бег спиралями всему,
И растекается во тьму
За пламенной сферой сфера.

Твой лик в душе — как в меди — выбит,
И пусть твой ток сметет ее
И солнце в алой пене вздыбит —
Но царство взвешено твое!

В длину растянется орбита,
И кругом изогнется ось,
Чтоб пламя вольно и открыто
По всем эфирам разлилось.

Струить металл не будет время,
Пространство перестанет течь,
И уж не сможет в блуде семя
Прах мертвый тайнами облечь.

И выход рабьему бессилью
Из марев двух магнитных смен —
Раскинет радужною пылью
Вселенная свой легкий тлен.

Два полюса

МАГНИТ

От тьмы поставлены сатрапами,
Тиары запрокинув ввысь,
Два полюса, как сфинксы, лапами
В граниты льдистые впились.

Глядят, как россыпью алмазною
Сверкают снежные хребты,
Как стынут тушей безобразною
Средь льдов затертые киты.

И средь сияний электрических
Вращая тусклые зрачки,
Ждут, чтоб до зарослей тропических
Опять низринуть ледники.

И как удав кольцом медлительным
Чарует жертву, так пьянит
На компасе путеводительном
Их плавно пляшущий магнит.

И сквозь горение бесплодное,
Бушующее бытие
Все чудится его холодное,
Его тупое острие!

ТАНЕЦ МАГНИТНОЙ ИГЛЫ

Et le pôle attire a lui sa fidèle cité *

Тютчев

Этот город бледный, венценосный
В скользких и гранитных зеркалах
Отразил Владыку силы косной —
Полюс и Его застывший прах.

И в холодном мраморе прозрачном
Обнаженных северных ночей,
И в закатах, с их отливом мрачным,
Явлен лик Его венцом лучей.

То пред Ним, как перед тягой лунной,
Вдруг от моря, вставшего стеной,
Влагой побуревшей и чугунной
Бьет Нева смущенная отбой.

Повелев магниту — легким танцем
Всколыхнуть покой первичных сил,
Это Он в ответ протуберанцам
Лед бесплодный кровью оросил.

И когда стояли декабристы
У Сената — дико-весела
Заплясала, точно бес огнистый,
Компаса безумного игла.

Содрогнувшись от магнитной бури
Перед дальним маревом зарниц,

* «О полюс! — город твой влечется внязь к тебе» (фр.; пер. В. Брюсова).

Чрез столетье снова morituri *
С криком ave! ** повергались ниц.

Намагнитив страсти до каленья,
Утолив безумье докрасна,
Раскололись роковые звенья
Вечно тяготеющего сна.

И опять недвижно стрелка стала,
И, свернувшись, огненная мгла
У Его стального пьедестала
Лавою застывшею легла.

Но неслышно, прыгая тенями
В серой слизи каменных зеркал,
Веют электрическими снами
Марева, как перья опахал.

СВЕРШЕНИЕ

И он настанет — час свершения,
И за луною в свой черед
Круг ежедневного вращения
Земля усталая замкнет.

И, обнаживши серебристые
Породы в глубях спящих руд,
От полюсов громады льдистые
К остывшим тропикам сползут.

И вот весной уже не зелены —
В парче змеящихся лавин —
В ночи безмолвствуют расщелины
Волнообразных котловин.

Лишь кое-где между уступами,
Вскормленные лучом луны,

* Идушие на смерть (лат.).

** Здравствуй! (лат.) (Из обращения римских гладиаторов к императору перед боем: «Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть тебя приветствуют!»)

Мхи, лишай, как плесень, струпами
Вскарабкались на валуны.

А на полдневном полушарии,
Где сохнут, трескаясь, пласты,
Спят кактусы, араукарии,
Раскрыв мясистые цветы.

Да над иссякнувшими руслами —
Ненужный никому металл —
В камнях кусками заскорузлыми
Сверкает золото среди скал.

Да меж гранитными обвалами,
Где прилепились слизняки,
Шевелят шупальцами алыми
Оранжевые пауки.

И, греясь спинами атласными
И сонно пожирая слизь,
Они одни глазами красными
В светило желтое впились.

1909

ЗЕМЛЯ

О мать Земля! Ты в сонме солнц блестела,
Пред алтарем смыкаясь с ними в круг,
Но струпьями, как Иову, недуг
Тебе изрыл божественное тело.

И красные карбункулы вспухали,
И лопались, и в черное жерло
Копили гной, как жидкое стекло,
И, щелями зияя, присыхали.

И на пластах застывших изверженья
Лег, сгустками запекшись, кремнезем,
Где твари — мы плодимся и ползем,
Как в падали бациллы разложенья.

И в глубях шахт, где тихо спит руда,
Мы грузим кровь железную на тачки,
И берем потухшие болячки,
И близим час последнего суда...

И он пробьет! Болезнь омывши лавой,
Нетленная, восстанешь ты в огне,
И в хоре солнц в эфирной тишине,
Вновь загремит твой голос величавый!

1911

ВОДЫ

Вы горечью соли и йодом
Насыщали просторы земли,
Чтоб ящеры страшным приплодом
От мелких существ возросли.

На тучных телах облачились
В панцирь громоздкий хрящи,
И грузно тела волочились,
Вырывая с корнем хвощи.

Когда же вулканы взрывом
Прорывали толщу коры,
То вы гасили приливом
Пламя в провалах норы.

И долго прибитые к суше,
В пене остывших паров,
Распухшие, черные туши
Заражали дыханье ветров.

Теперь же, смилив своеволие,
Схлынул ваш грузный разбег,
И в почве, насыщенной солью,
Засевает поля человек.

И Ксеркс, вас связать не властный,—
Он кабель, как цепи, метнул
В пучину, где в глине красной
Свалены зубы акул.

И скоро за пищей богатой
Поплывут, вращая винтом,
Стальные голодные скаты
С электрическим длинным хвостом.

Не скрыть вам дремучие рощи
И добычей усыпанный ил,
И вымерших ящеров мощи
В глубях их царских могил.

И вот — под гул ураганов —
Тянет вас лунная муть
Приливом Пяти Океанов
Ось земную свихнуть!

1910

КАМНИ

Меж хребтов крутых плоскогорий
Солнцем пригретая шель
На вашем невзрачном просторе
Нам была золотая купель.

Когда мы — твари лесные —
Пресмыкались во прахе ползком,
Ваши сосцы ледяные
Нас вскормили своим молоком.

И сумрачный дух звериный,
Просветленный крепким кремнем,
Научился упругую глину
Обжигать упорным огнем.

Стада и нас вы сплотили
В одну кочевую орду

И оползем в жесткой жиле
Обнажили цветную руду.

Вспоен студеным потоком,
По расщелинам, сползшим вниз,
Без плуга в болоте широком
Золотился зеленый рис.

И, вытянув голые гоги,
С жиром от жертв на губах,
Торчали гранитные боги,
Иссеченные медью в горах.

Но, бежав с родных плоскогорий,
По пустыням прогнав стада,
В сырых низинах у взморий
Мы воздвигли из вас города.

И рушены древние связи,
И, когда вам лежать надоест,
Искрошив цементные мази,
Вы сползете с исчисленных мест.

И, сыплясь щебнем тяжелым,
Черные щели жерла
Засверкают алмазным размолом
Золота, стали, стекла.

1910

МЕТАЛЛЫ

Дремали вы среди молчанья,
Как тайну вечную, сокрыв
Все, что пред первым днем создання
Узрел ваш огненный разлив.

Но вас от мрака и дремоты
Из древних залежей земли
Мы, святотатцы-рудометы,
Для торжищ диких извлекли.

И, огнедышащие спруты,
Вертите щупальцы машин
И мерите в часах минуты,
А в телескопах бег пучин.

И святотатственным чеканом
На отраженьях Божьей мглы
Сверкают в золоте багряном
Империй призрачных орлы.

Но тяжелый грохот ваших песен
Поет без устали о том,
Что вы владык земли, как плесень,
Слизнете красным языком;

Что снова строгий и печальный
Над хаосом огня и вод
Дух — созидатель изначальный —
Направит легкий свой полет!

ТЕМНОЕ РОДСТВО

О темное, утробное родство,
Зачем ползешь чудовищным последом
За светлым духом, чтоб разумным бредом
Вновь ожило все, что в пластах мертво?

Земной коры первичные потуги,
Зачавшие божественный наш род,
И пузыри и жаберные дуги —
Все в сгустке крови отразил урод.

И вновь, прорезав плотные туманы,
На теплые архейские моря,
Где отбивают тяжкий пульс вулканы,
Льет бледный свет пустынная заря.

И, размножая легких инфузорий,
Выращивая изумрудный сад,
Все радостней и золотистей зори
Из облачного пурпура сквозят.

И солнце парит топь в полдневном жаре,
И в зарослях хвощей из затхлой мглы
Возносятся гигантских сигиллярий
Упругие и рыхлые стволы.

Косматые — с загнутыми клыками —
Пасутся мамонты у мощных рек,
И в сумраке пещер под ледниками
Кремень тяжелый точит человек...

О предки дикие! Как жутко-крепок
Союз наш кровный. Воли нет моей,
И я с душой мятущейся — лишь слепок
Давно прошедших, сумрачных теней.

И, им подвластный, солнечный рассудок,
Сгустив в мозгу кровавые пары,—
Как каннибалов пляшущих желудок,
Ликуя правит темные пиры.

1911

ЯЩЕРЫ

О ящеры-гиганты, не бесследно
Вы — детища подводной темноты —
По отмелям, сверкая кожей медной,
Проволокли громоздкие хвосты!

Истлело семя, скрытое в скорлупы
Чудовищных, таинственных яиц, —
Набальзамированы ваши трупы
Под жирным илом царственных гробниц.

И ваших тел мне святы превращения:
Они меня на гребень вознесли,
И мне владеть, как первенцу творенья,
Просторами и силами земли.

Я зверь, лишенный и когтей и шерсти,
Но радугой разумною проник
В мой рыхлый мозг сквозь студень двух отверстий
Пурпурных солнц тяжеловесный сдвиг.

А все затем, чтоб пламенем священным
Я просветил свой древний, темный дух
И на костре пред Богом сокровенным,
Как царь последний, радостно потух;

Чтоб пред Его всегда багряным тронем,
Как теплый пар, легко поднявшись ввысь,
Подобно раскаленным электронам,
Мои частицы в золоте неслись.

1911

МАХАЙРОДУСЫ

Корнями двух клыков и челюстей громадных
Оттиснув жидкий мозг в глубь плоской головы,
О махайродусы, владели сушей вы
В третичные века гигантских травоядных.

И толстокожие — средь пастбищ непролазных,
Удобривая соль для молочайных трав,
Стада и табуны ублюдков безобразных,
Как ваш убойный скот, тучнели для облав.

Близ лога вашего, где в сумрачной пещере
Желудок страшный ваш свой красный груз варил,
С тяжелым шлепаньем свирепый динотерий
От зуда и жары не лез валяться в ил.

И, видя, что каймой лилово-серых ливней
Затянут огненный вечерний горизонт,
Подняв двупарные раскидистые бивни,
Так жалобно ревел отставший мастодонт.

Гудел и гнулся грунт под тушею бегущей,
И в свалке дележа, как зубья пил, клыки,
Хрустя и хлюпая в кроваво-жирной гуще,
Сгрызали с ребрами хрящи и позвонки.

И ветром и дождем разрытые долины
Давно иссякших рек, как мавзолеей, хранят
Под прессами пластов в осадках красной глины
Костей обглоданных и выщербленных склад.

Земля-владычица! И я твой отпрыск тощий,
И мне назначила ты царственный удел,
Чтоб в глубине твоей сокрытой древней мощи
Огонь немеркнувший металлами гудел.

Не порывай со мной, как мать, кровавых уз,
Дай в танце бешеном твоей орбитной цепи
И крови красный гул и мозга жирный груз
Сложить к подножию твоих великолепий.

1911

ЧЕЛОВЕК

К светилам в безрассудной вере
Все мнишь ты богом возойти,
Забыв, что темным нюхом звери
Провидят светлые пути.

И мудр слизняк, в спираль согнутый,
Остры без век глаза гадюк,
И, в круг серебряный замкнутый,
Как много тайн плетет паук!

И разлагают свет растенья,
И чует сумрак червь в норе...
А ты — лишь силой тяготенья
Привязан к стынувшей коре.

Но бойся дня слепого гнева:
Природа первенца сметет,
Как недоношенный из чрева
Кровавый безобразный плод.

И повелитель Вавилона,
По воле Бога одичав,
На кряжах выжженного склона
Питался соком горьких трав.

Стихии куй в калильном жаре,
Но духом, гордый царь, смирись
И у последней слизкой твари
Прозренью темному учись!

В ЗООЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Г. П. Федотову

Ловя сирен далекие отгулы,
От голода в изнеможенье злом
Лежат недвижно серые акулы,
Как бабочки, проткнуты под стеклом.

И разомкнули тучные удавы
Колец волшебных блещущий извив,
Как бы во сне — желудочной отравой
Проглоченную чертву не сварив.

И повествуют о веках размытых,
Как железняк о пламенных мирах,
Кровь мамонтов из дебрей ледовитых,
Их мускулов, волос тяжелый прах...

Но что для глаз слепых и равнодушных
Божественных гармоний пестрота,
Земных, наземных, водных и воздушных —
Всех фаун мощных слепки и цвета!

И только дети шумно на свободе
Меж чучел и витрин гурьбой снуют —
Не так, как мы, причастные природе,
Пред ней восторг неложный унесут.

Они — с животной жизнью материнства
Глухую связь порвавшие едва —
Одни поймут нам скрытое единство
Живой души, тупого вещества!

1911

РАДОСТНЫЙ МИР

Un tyrsse de chair. *

E. Verhaeren

О какой это радостный, сказочный мир,
Управляемый солнцами двух полушарий
И стремящийся вечно в пустынном пожаре,—
Это алое мясо и розовый жир!

Здесь на дымных углях непрерывных сгораний,
На калильном огне ослепительных руд
Обновляют, сочась, свой цветной изумруд
Саламандры прожорливых, слизистых тканей.

И в тягучие устья пурпурных артерий,
Отлагающих в дельты свой илистый груз,
Словно стаи хрустальных и хрупких медуз,
Собираются полчища жадных бактерий.

И из серого мозга, вкруг полюсов двух
Очертивши магнитами красное поле,
Золотое единство божественной воли
Разлагает на радуги радостный дух!

МЯСНЫЕ РЯДЫ

А. Ахматовой

Скрипят железные крюки и блоки,
И туши вверх и вниз сползать должны.
Под бледную левую кровоподтеки
И внутренности иссиня-черны.

Все просто так. Мы — люди, в нашей власти
У этой скользкой смоченной доски
Уродливо-обрубленные части
Ножами рвать на красные куски.

И чудится, что в золотом эфире
И нас, как мясо, вешают Весы,

* Тирс из плоти (фр.). Э. Верхарн.

И так же чашки ржавы, тяжки гири,
И так же алчно крохи лижут псы.

И как и здесь, решающим привеском
Такие ж жилистые мясники
Бросают на железо с легким треском
От сала светлые золотники...

Прости, Господь! Ужель с полдненным жаром,
Когда от туш исходит тяжко дух,
И там, как здесь, над смолкнувшим базаром,
Лишь засверкают стаи липких мух?

1910-

МАРК АВРЕЛИЙ

Глупцы! Пьянящий вас напиток —
Лишь мутный виноградный сок,
И выделением улиток
Пылает пурпур царских тог.

Как камень кверху мечет сила,
Покорны бегу одному
Огнетуманные светила
И мы, идущие во тьму.

И понял твой суровый гений
Среди движения племен,
Что в золоте круговращений
Недвижен сумрачный закон.

Под северным дождем туманным,
На топи настелив валы,
Победно нес ты к маркоманнам
От крови ржавые орлы.

Но как тебе был час тот сладок,
Когда, затепливши ночник,
Ты вынимал из жестких складок
Свой покоробленный дневник.

А рядом рыжие германцы,
Щитами толстыми звеня,
Кружили неуклюже танцы
В лесу дубовом у огня.

И раз перед рассветом серым,
Светильник медный погасив,
К построенным легионерам
Ты вышел с сыном — молчалив.

Вот кесарь ваш! Над затхлой бойней,
Где с туш струится красный след,
Над сбродом варваров — достойней,
Чем мудрецы, царит атлет!

И в лихорадочной дремоте
Ты лег, почувствовав озноб,
И лоснился в предсмертном поте
На волчьей шкуре бледный лоб.

И, как цветное опахало,
Над ликом спящего царя
Огнистый пурпур колыхала
Всегда холодная заря.

1910

КОММОД

Ты, к славе предков равнодушен,
Величьем варвара велик,
Любил, как конюх, пар конюшен
И запах бойни, как мясник.

В сенате, с мрачным безразличьем
Внимая вкрадчивым словам,
Скользил тяжелым взглядом бычьим
По преклоненным головам.

И в полутьме глухого зала
Среди египетских жрецов
Анибус с головой шакала —
Ты вешал сердце мертвецов.

Но, кесарь сонный и суровый,
Как ты преображался вдруг,
Перед толпой многоголовой
Сступив рабом на красный круг!

Как весело, весь лоснясь потом,
До крови взмыливши узду,
Прорыть последним поворотом
В песке огнистом борозду.

И в жар полуденного часа,
Железом обвязавши грудь,
Как сладко свежий запах мяса
Ноздрями вздутыми вдохнуть!

И после меткого удара
Пред гладиаторским кружком
Средь чадной вони лупанара
Кичиться силой и венком...

Что если кровожадным нюхом
В истоки солнц — глухой тайник —
Ты, темный зверь, ясней проник,
Чем твой отец крылатым духом?

И мясом кесари не сыты:
Рабы стихий — мы пасть должны,
И бегом солнц потрясены
Ристалищ огненных орбиты...

1910

К АГУРЕ-МАЗДЕ

Ты красной волей ярко властен.

В. Иванов

Пылай и вечно не иссякни,
Струи эфирный легкий ток,
Агура-Мазда, древний Агни,
Предвечный и пречистый бог!

Иль таинствами всех религий,
Как дикари с кремнем твоим,
Не одного тебя, Великий,
Огнепоклонствуя, мы чтим?

Все времена, и все пространства,
И сумрачный полет Земли
Как огнецветные убранства
Ты преломил сквозь хрустали,

И соки сомы молочайной,
И солнечные мятежи
Двуострой искрометной тайной
Замкнул ты в грани и межи.

Пусть пред тобою только прах мы:
Ты облегчишь распад частиц,
Послав в круги тройные дахмы
Тяжеловесных, вещей птиц.

Мой тлен твоим стихиям сладок!
Я им тебя не загрязню —
Лишь вспыхну разложением радуг,
Приблизясь к твоему огню.

БАВИЛОН

Средь торжищ золота и мяса
В величии тупом косней,
Смолою сцепленная масса
Песка и глины и камней!

Как мавзолей грехопаденья,
На месте рая вырос ты,
Болезненное порожденье
По нем тоскующей мечты.

И в блеске мазей, в позолоте
Величественна поступь жен,—
Но уж давно бесплодьем плоти
Огонь их чрева поражен.

И башни, каменным пареньем
На ярус ярус громоздя,
Сверкают грузным воплощеньем
Прозрачных пламеней дождя.

И Белу, мрачному от зноя,
До пресыщения должны
Окрасить золото резное
В веселый пурпур сосуны.

И в русла загнаны стихии,
Покуда ночью на стене
Не вспыхнет все, что Еремии
Сокрять повелено на дне.

Пропахнувшие дымным салом,
Не вычислят твои жрецы,
Кому затменье краем алым
Размечет легкие венцы...

Но путь один с твоим владыкой:
Беги от идолов и смол
Впивать торжественный и дикий
И древний, как земля, глагол,—

Чтоб вымерших несчетных тварей
Чудовищная кровь и слизь,
Свой хаос обуздав в пожаре,
В тебе ядром огня слились!

НАВУХОДОНОСОР

Разметав убор павлиний,
От моих густых колонн
Вдоль расстроившихся линий
Дико мчался фараон.

И по жирным эфиопам,
Обагрив солнца спиц;
Я прогнал глухим галопом
Сотни тяжких колесниц.

Изломав сосуды Храма,
Увезли мои рабы
Море дивное Хирама,
Херувимов и столбы.

И над блудом Вавилона
Переплавленная медь
Будет, точно рай зеленый,
В пламени небес висеть.

Но, смирив мою гордыню,
С ложа пиршественных зал
К жвачным буйволам в пустыню
Бог пастись меня воззвал.

Лежа в тине топким поем,
Как сонливый бегемот,
Нюхал я пред водопоем
След к реке среди болот.

В тростниках по вязким скатам
Лез я, жажду утоля,
Между Тигром и Евфратом
С вепрями топтать поля.

Жаждой бешеной влекомый
От воды на темя скал,
Соки молочайной сомы,
Исцеляясь, я лизал.

Но мгновенно царство тени:
Тьмой постигнутой велик,
Вновь из сумрака затмений
Золотой выходит лик.

Чту теперь и чую силу
Древнего Иеговы —
Ту, что ночью Даниилу
Нё открыли ревом львы.

Он — творец ее единый, —
Точно золотом светил,
Темной мудростью звериной
Гордый дух мой просветил.

Поход Александра в Индию

Н. С. Гумилеву

I

Не внявши прорицаньям магов,
Через камни и солончаки
Безумец Александр от дагов
Повел на Индию полки.

Достигнут Инд. И все рассказы
И сказки превзошла она —
Тягучих ядов и заразы,
Огня и золота страна.

И Пор бежал с нестройным скопом,
Но были греки смущены,
Когда вдруг ринулись галопом,
В шеренгу выстроясь, слоны.

Все было странно — среди болота
Рабами запряженный плуг;
И пестрых тигров позолота,
Краснеющая сквозь бамбук.

И девушки — их поступь строже
Медлительной походки жриц,
Но как у змей, отливы кожи
И, точно когти, сгиб ресниц.

Зачем, как в шумные Афины
Ораторы и мудрецы,
Бегут в леса учить брамины —
Полубезумные жрецы?..

И через тинистые реки
И желтый, как парча, туман
С веселым шумом плыли греки
Вниз по теченью в океан.

Но часто — призрак прорицаний —
Им виден был на берегу
Брамин, нирвану созерцаний
Приявший в пламенном кругу.

Сгущался воздух испареньем,
Гудели древние леса,
И греки туже со смущеньем
Натягивали паруса.

II

Поход закончен. И от устья
С добычей флот повел Неарх,
Но страшен в ярости и грусти
На буйных оргиях монарх.

Отравленный странною чумной,
Ее дыханием сожжен,
Он ночью криком, как безумный,
Все гонит прочь какой-то сон.

И на пирах стрелой звенящей —
Нежданных молний острие —
В руке царя сверкает чаще
Окровавленное копье.

Он с колесницы грозным взглядом
Еще влечет через пески
Отравленные скрытым ядом
Свои тяжелые полки.

Но не Ворота Геркулеса —
Пределы покоренных стран,
Ворота темного Айдеса
Ему откроют океан.

Уже, измученный страстями,
Бесславно пал Гефестион,
И просмоленными стенами
Вдали чернеет Вавилон.

1909

НИТИ ПАРОК

Скрыв под рудой самоцветной, под йодистой влагой
От утомленных стихий ярость их древней борьбы,
хрустальной

Не высушит натронные рассолы,
Папирус кожи, пурпуры пелен.

И в ту страну, откуда нет возврата,
К недвижимым водам Ха, на Озирисов Лик,
На красное судилище заката,—
Зачем так медленно бредешь ты, мой двойник?

ВАЛГАЛЛА

Сонет

С утра звучит призывный вопль валкирий,
Как хриплый крик стервятника-орла,
И сохнет кровь, как черная смола,
И стынет мозг, как студень, в красном жире.

И в полдень, в знак наставших перемирий,
Трубят рога, и теплые тела
Сползаются у длинного стола,
До бойни вновь оживлены на пире.

И жарится на вертеле кабан,
И в пурпуре полярный океан
От марева железного чертога.

И, недвижим на возвышеньях льдин,
Меж двух волчиц из золотого рога
Кровавое вино сосет Один.

НА ВОЛГЕ

Синели дикие просторы,
Цвела невзрытая земля,
И, гребни мелом убеля,
Краснели глинистые горы.

И, чуя громовые гулы
Из огненных расщелин тьмы,—
Как пресноводные акулы,
Метались сонные сомы.

И войлоком на соли голой
Пестрели ярко города,
Где с диким гиканьем монголы
Пасли косматые стада.

И содрогались степь Ирана
И дряхлого Кремля кирпич,
Когда из воровского стана
До черни доносился клич.

И к побережьям ледовитым,
Где мамонты погребены,
К кольцу незыблемой стены,
Хранимой голубым нефритом,
Влеклись разбойничьи челны.

Но хищник царственный вначале —
Он стал поденщиком труда,
И с человеком измельчали
И лес, и степи, и вода.

Налетом радужным и сальным
Искрясь, на волны нефть легла,
И блещут золотом сусальным
Средь вихрей пыли купола.

И бурно-сохнувшее море
По отмелям зацветших вод
От зараженных плоскогорий
Миазмы моровые шлет.

Лишь там, где грузовым верблюдом
По трапам крючники бегут,
Полузабытым, давним чудом
Просторы прошлые живут:

Еще здесь мощны в дикой силе,
Как впившийся в поклажу крюк,
Узлы тугие сухожилий,
Кривые пальцы жестких рук.

Антихрист или самозванец
Всегда подняться здесь готов,
Чтоб золотом огнистый танец
Расплавил медь колоколов!

1910

ДВЕ КРОВИ

Любили мы свои низины,
Где мед тяжел и золотист,
Где над затоном легко свист
От взлета стаи лебединой.

И, рыб пугая красноперых,
Мы, в срезанный тростник дыша,
С оружием затаясь в озерах,
Могли лежать средь камыша.

И греки по гремучим трубам
Не раз на варварскую бронь,
На черепа с косматым чубом
Метали трепетный огонь...

Но между марганцем Урала
И Каспием пустырь ворот,
Лишь полая вода спадала,
Песком мостил монголам брод.

И полз со скрипом одноколок
По рыхлому помету стад
Степных пожаров алый полог
За пышным солнцем на закат.

И прели мертвые, густые
Озера Золотой Орды,
Где у становища Батыя
Вершились ханские суды.

И мы по телу рассосали,
Как застоявшийся нарыв,
Кровь орд, что весело плясали,
По трупам доски расстелив.

Смирись же, дух, и будь бессилен,
Велению не прекословь:
То меж причудливых извилин
С тяжелой кровью спорит кровь...

И стынет солончак от стужи,
И пышет зноем от жары,

И мы, как встарь, везем дары
На дальний дым, на рев верблюжий,
На пестроверхие шатры.

1910

КНЯЗЬЯ

Любо было вам, идя с похода,
Хлеб и соль встречать с поклоном в селах,
И чеканный ковш лесного меда
Пить с дружиной на пирах веселых;

И с утра с колчаном стрел каленых
В топкой чаще на болоте буром,
Стоя в стременах раззолоченых,
С гиком гнаться за мясистым туром.

И под праздник в светлые хоромы
Петь псалмы сползались к вам калеки,
Обнажая раны, переломы,
Красные, гноящиеся веки.

Но зато, когда из-за удела
Спор решали вы крутой расправой,
Долго по ночам земля гудела,
Досыта напившись крови ржавой.

Кто стрелой татарской убиенный,
Кто снедаем язвой моровую,
В черной схиме, в простоте смиренной
Все сошли вы к вечному покою.

Веря, что развеют тлен кромешный
Золотые ангельские трубы,
Вы легко вручали прах свой грешный
Смрадной смерти в смоляные срубы.

И старинного чекана раки,
Плесневевя в отсыревшем склепе,
Ваши имена гласят во мраке
Золотом церковных благолепий.

А в полях в страду, как прежде, шумно,
И скрипят возы с понишкой рожью,
И под солнцем златоверхи, гумна,
И вихриста пыль по придорожью.

Пусть, как кровь, звенящую по венам,
Взрывы солнца стрелкою мы метим,—
Вечный мрак с его зловонным тленом
Золотом каких стихий осветим?

СЛЕПЦЫ

Ой, подайте милостыню, рѳдные!
Церковь вся в иконах с позолотою,
А под нами паперти холодные
Мучат ноги сыростью-ломотою.

Легок грязный грош, а из-за медного
Вам с весов грехов не мало скинется.
Как умрем, с престола самоцветного
Сам Христос навстречу к нам подыметсЯ:

— Гой, вы, скажет, нищие несчастные,
Не видали вы очами слѳпыми
Мои солнца-звезды злато-красные,
Двери рая с радугами-скрепами.

Праздник мой встречали вы на паперти,
Лобызаньем братским не обласканы,
И за то серебряные скатерти
Вам накрыты с золотыми пасхами.

Бросьте посохи тяжеловесные,
Сумки, сухари ржаные, ржавые,—
Пусть омоют вам ключи небесные
Очи-язвы гнойные, кровавые!

И потом пропойте мне сказания,
Что сложили вы для умиления
Про земные страсти и страдания,
Про мой суд и светопреставление!!!

Заливаются своры борзые и гончие,
Трубят в охотничьи рога звонкие
Удалые доезжачие да ловчие.
Мчатся мимо Ветры-королевичи
И не слышны им плачи девичьи.



Как янтарь, золотистые зерна пшеницы,
Низкорослы овсы, ржаво-красен ячмень,
И спускается тихо лиловая тень
Остудить запыленные оси и спицы.

О, закат! Этот пурпур, пред ночью разлитый,
И огнисто-бесшумную бурю твою,
Точно рыбы у проруби, ломом пробитой,
Я, как красными жабрами, легкими пью!

В ПШЕНИЦЕ

Мечта иссякшая, кались в огне, как жницы,
И серп зазубренный тупи и вновь точи —
Там, в море разливном без края и границы,
Где ситцы синие средь золота пшеницы
Цветут, как васильки, как маки — кумачи!

Там слушай вечером, сокрывшись меж стеблями,
И меркнувшей зарей вдруг снова вспыхнет пламя,
Овеяв пыльный путь благоуханьем роз,
И белым призраком над тихими полями
С толпой апостолов пройдет вдали Христос.

С чуть слышным шелестом по сторонам дороги
Колосья пышные нагнутся до земли,
Но синие глаза задумчивы и строги,
И Он идет омыть запекшиеся ноги
В елее золотом — в размолотой пыли.

НА ОБРЫВЕ

Вдруг золотом нездешних ослеплений
Пред царством тьмы на несколько минут
Умастились стволы сырых растений,
Обрыв и купола, и жадно пьют
Лиловые сползающие тени
Прозрачный пурпур — блеск небесных руд.

Не так томит коса железных пыток
У солнечных, в крови скользящих спиц,
И чудится, что жизни преизбыток —
Избыток смерти, и у двух цариц
Один и тот же пламенный напиток
И золото победных колесниц.

СУМРАК АМЕТИСТОВ

Холодный сумрак аметистов...

И. Анненский

Я радостно смотрю, как ты идешь на убыль,
В дыму запекшийся мозг золотого дня,
О солнце! Жажду я, как и безумный Врубель,
Сапфирно-льдыстого безбольного огня.

Свои лучистые и длинные присосы,
Напившись, как паук, от сердца оторви!
В застенке огненном, как липкие колеса,
Останови миры, скользящие в крови!

Пусть гулы алые и алые движенья
Всех красных мускулов и тканей всех замрут,
И в бледной синеве, как аметисты тленья,
Пылают россыпи радионосных руд.

Летние кошмары

В ГОРОДЕ

С асфальтом черным дымные котлы
И пыль кирпичная с лесов построек,
И мучат мозг пласты слепящей мглы
Кошмарами больничных белых коек.

От зноя лихорадочных потуг
И душного, лазурного угара
Тревожен шелест крови, зычен стук
Глухого, молненосного удара.

О, если бы на миг один замкнуть
Ток раскаленный солнечной аорты,
Палящий черную земную грудь,
И жабры легких ливням распахнуть
Сквозь этот воздух мертвенный и спертый!

В СТЕПИ

Словно синий жар в печи
Под железною заслонкой —
Душны мгlistые лучи,
И сквозь воздух жаркий, звонкий
Блещут красной перепонкой
Крылья тучной саранчи.

И, как мокнувший лишай
Пыльной выжженной пустыни,
Посреди сухой полыни
Сочно вздулся молочай.

Ночью ж взмахами крыла
Глухо плещутся зарницы,
Слушая, как точит мгла
Золотой налив пшеницы.

1910

*

Ресницы — как с пылью черной
Тычинки маков кровавых,
И как в божнице у святых,
Печально-строг твой взор упорный.

Но воинств преисподних сила
Венец тяжелый, огневой
Из тусклой лавы возложила
Над этой гордой головой.

И если бы в средневековье,
Как у колдуний, прядь волос
Твоих, обрызгав свежей кровью,
Зарыли вечером в навоз, —

То, отогретые полуднем,
Бесстыдные, влачась в пыли,
Раздувшимся кровавым студнем
Как змеи б косы поползли;

И чернь среди потехи грубой,
Их толстой обувью топча,
Звала б со смехом палача
С плетями к вертящемуся срубу.



*

И нас — два колоса несжатых —
Смогла на миг соединить
В степи на выжженных раскатах
Осенней паутины нить.

И мы — два пышных пустоцвета —
Следили вместе, как вдали

Средь бледно-золотого света
Чернели клином журавли.

Но к ночи кочевая связь,
Блеснув над коноплей, бурьяном,
С межи заглохшей поднялась
В огне ненастливо-багряном.

И страшен нам раскат пустынный,
И не забыть нам никогда,
Как робко нитью паутинной
Ласкала стебель наш слюда!

1911

*

Подняв неслышно два прилива:
Желчь океанов, крови дев,
Луна пустынная лениво
Встает, средь серой мглы зардев.

И, вестник неизбежных зол, —
Сверкая золотом пурпурным,
Марс в бледное кольцо вошел,
Чтоб слиться с мертвенным Сатурном.

Но, неподвластная их гнету, —
Как ночью грозовая мгла,
В предчувствиях ты замерла,
Готовясь к огненному взлету.

*

Средь займищ травянисто-влажных,
Где радостны прыжки зарниц, —
Еще не слышно труб протяжных
Фалангою летящих птиц;

И в заводях лазурной пыли,
Где солнце ищет берега,

Так упоительно застыли
Лилово-красные снега;

Резвясь по хмурому жнивью,
Ты внемлешь звякающим бусам,
А душу дикую твою
Уж тянет к огненным улусам!



Пусть ищут мудрецы начало жизни хилой
В первичной извести и студне слизняков —
Вы солнечнее их своей магнитной силой,
Сокрытой в золотом затмении зрачков.

Как бороздят края их темных дисков взрывы!
Но обращен в себя притушенный их блеск
И слушает в крови приливы и отливы
И металлических паров тяжелый всплеск!

И я все чуда жду — что вспыхнет вдруг короний
Жемчужной зеленью из их минутной тьмы,
И хаос бешеный непонятых гармоний,
Как стройность дивную, на миг постигнем мы.



Отупевши от медленной боли,
Заглушаешь ты косной корой
Красный пульс золотых своеволий
С их извилистой, скользкой игрой.

И в безумии дикой тоски,
Точно солнечных ос миллионы,
Всех возможностей жутких ионы
Облипают слепые зрачки.



Как сгусток магических зелий,
Из тусклых хрусталиков глаз
Кометой свой пламенный газ
Все мечет стремительный гелий,

И в радугах солнечных тлений
Летучей материей ран
Свечусь я — стеклянный экран
Бесшумных твоих излучений.

СВЕТ ЛУНЫ

На камыш, на зыбкие растенья,
На сухие мхи и валуны
Синий свет таинственного тленья
Льют, как лаву, кратеры луны.

А на утро, синий свет познаний
У расщелин древних затая,
Вновь над кровью жертвенных заклятий
Гимны Солнцу запоеет Земля.

Лишь безумцам, тусклым изумрудом
Отстоявшись и оледенев,
Лунный луч сверкнет неожиданным чудом
В сумрачных зрачках влюбленных дев.



Что дневные все радости ваши
Приобщившимся огненной скверне
В золотой, всем протянутой чаше
Разметавшейся мглы предвечерней?

Если, детской лазури поверя,
Взор свой в девичий встречный я брошу —
На хребте багряного зверя
Видю царственно-тяжкую ношу.

Как Христово причастье, в сосуде
Всем доступны для блудного сева
И ее не кормящие груди,
И ее не носящее чрево.

И по шерсти и тканям узорным
Истекает из чаши истома...
Ночь, сокрой своим саваном черным
Наступающий праздник Содома!

*

На облачных снегах паря,
Без свиста, шелеста и гула
Уже закатная заря
Студеным полымем пахнула.

И в пышащих на кровь мехах
Двух легких радостно-я чую
Сквозь пыльно-золотистый прах
Холодную струю ночную.

И слышу, как из глубины
Под льдистой ясностью сознанья,
Взметнув кипящие желанья,
Плывут бесформенные сны.

МУСКУС

Почуя маток в топкой чаше,
Ломясь сквозь острые суки,
Сев, мускусом кровоточащий,
Теряли, как помет, быки,—

Чтоб, на пурпурные простыни
Упав, томились до зари
В гаремах течкою пустыни
Пресыщенные всем цари.

Так мы живем, внимая гулам
Сонливых водянистых жил,

Как те цари, былым разгулом
Разбросанных, как мускус, сил!



Дробя с могучего наскока
Рогов ветвистые концы
И в землю врезавшись глубоко,
Дерутся по весне самцы.

А самка тягостно мычит,
Подергиваясь в дрожи крупом,
Ждет — с кем борьба ее случит
Над трепыхающимся трупом...

Не так же ли и ты меж нами
Приемлешь красных севов день,
Как в дебрях девственная лань
Меж воспаленными самцами?

1911

РАССВЕТ

О предрассветный, воспетый Бодлером
И Брюсовым час,
Когда лиловеют с сумраком серым
Орбиты глаз!

Уже проститутки с улиц скрылись;
Притоны пусты.
И сипло сирены вдали развылись...
Разводят мосты.

И мнится, что тени в закоулках неловко,
Толкаясь, торопясь,
Спускают в саване труп с веревкой
В жидкую грязь.

И вещая зачатого дня нелепость
И сутолку лиц,
Над черной водой зажигает крепость
Огнистый шпиг.

1910

НА АЭРОДРОМЕ

Прерывистый и мощный гул,
И легкой сетью алюминий,
Напрягшись весь, свой хвост рванул,
С владыкой взмыл к вершине синей.

О воздух, вольная стихия,
Тягучая, земная бронь!
Не покоряйся, как другие —
Вода, и суша, и огонь.

В их безднах мним мы пустоту,
И с улюлюканьем, как идол,
Привязан к конскому хвосту
Тот бог, который тайну выдал...

О, будь лазурно-золотист,
Но падох лакомо до крови,
Чтоб укротитель наготове,
Дрожа, держал железный хлыст;

Чтоб грузная земная сила,
Прощупывая облака,
Слепыми жерлами следила
За хищным взлетом смельчака!

СОН ЯГУАРА

Lecompte de Lile

Насыщен мухами недвижный воздух пряный,
Вкруг черных акажу цветущие лианы,

Сползая до корней, сплели густую сеть,
Где в цепких зарослях качаться и висеть
Так любят попугай, паук и обезьяны.

Сюда в логовище под старый мшистый ствол,
Краснея в зелени пятнистой позолотой,
От стад и табунов, устав, с ночной охоты.
Голодный ягуар бредет угрюм и зол.

Своим прерывистым, дымящимся дыханьем,
Открыв от жажды пасть с запекшейся слюной,
Он будит ящериц, повыползших на зной;
Их изумрудный бег в траве блестит с шуршаньем.

И там, где свет дневной так сумрачен и слаб,
Улегшись на скале в непроходимых чащах, —
Слизнув лениво кровь с когтей и шерсти лап,
Он щурит желтые огни зрачков блестящих.

Но и во сне с глухим и рыкающим стоном
Порой он бьет хвостом дрожащие бока
И грезит, что в полях плантаций за загоном
Вновь в мясе бешено ревущего быка
Повис он на когтях всей тяжестью прыжка!

УТРЕННИЕ СУМЕРКИ

(Le Crépuscule du Matin)

Из Бодлера

Уж збóрю во дворе казарм трубят горнисты,
И в фонарях фитиль колышет ветер мгlistый,
И на экране дня, забрезжившем в окно,
Мигает лампы глаз, как красное пятно.
То — час, когда сквернят в мучительных соблазнах
На ложах отроков рои видений грязных;
И силится душа — под гнетом — побороть,
Как лампа свет дневной, очнувшуюся плоть;
И сырость в воздухе, как слезы, ветер сушит,
И хоры жалобных теней глушит и душит.

Поэт устал творить, и женщина сама
В любви пресытилась... Кой-где дымят дома...
Гетеры тупо спят, от пьяных ласк разбиты;
Как пятна группные, темнеют глаз орбиты.
И жены бедняков, чахоточную грудь
Напрягши, кашляя, спешат камин раздуть...
И в этот час сильнее в тисках капризной злобы
И тошноты томят беременных утробы,
И, точно прерванный кровотечением крик,
Зов сиплый петуха пронзителен и дик...
И залил все туман... В больницах среди зловоний
Слышней неровный храп медлительных агоний
И страшны смятые пустые тюфяки...
Домой распутники спешат и игроки...

И, розами сквозя под изумрудной ризой,
Все высится заря над Сеной буро-сизой,
И просыпается Париж, поденщик дня,
Средь грязи, копоти, и лязга, и огня.

СУМРАЧНЫЙ БОГ

Сумрачный бог многоцветного мира,
Творческий дух, не познавший себя,
Мчусь я по гуще тягучей эфира,
Сонную волю на токи дробя.

И, обнажая, как череп раскрытый,
Огненно-липкую жижую мозгов,
Стиснутый обручем темной орбиты,—
Солнцами вою в зигзагах кругов.

Чутко лелея душой остеклевшей
Тусклых туманностей мутные сны,
Чую, как пульс, под корой закосневшей
Пламенный вихрь золотой целины.

В жажде неплодной живого зачатья
Тщетно, тоскуя, тогда я хочу
В девах-планетах для мук и распятья
Дать воплотиться цветному лучу.

Но, отклоняемый силою злобной,
В небе раскинув лучистый послед,—
Вдруг низвергаюсь из тьмы их утробной
Красным ублюдком змеистых комет.

1912—1914

*

Над медвяною усладой
Трав, цветов и родников
Дышит пламенной прохладой
Синий воздух ледников.

И — приют семьи орлиной —
Гулко вдруг загрохотал
К яркой пышности долины
С кручи рвущийся обвал.

И, поддерживая лавой
Льда и снега вечный груз,
В тучах блещет страж двуглавый
Трона горнего — Эльбрус.

1912

ПРИМИРЕНИЕ

Там, где зверь очумелый от крови маточной,
Трубным ревом глуша воспаленную течь,
Перед самкой готовится, грянувши, лечь, —
В смертном зыке, как в музыке муки зачаточной,
Обретает Любовь свою первую речь.

По осинникам красным и торфу с оленями
Оттого, торжествуя, трубили стихи,
Что и мне, полыхнув пустырями осенними,
От тебя, оголтелой, лучились духи
И лицо мне сжимала ты мягко коленями.

Чья вина? Ты осталась желанной и суженой!
Здесь, как призрак, в жилье от живых вдалеке
Сядь со мной при свече и в молчанье отужинай,
Помиримся: пусть грузилом канет в виске
Та слеза, что казалась соленой жемчужиной
Для моих поцелуев на мокрой щеке.

ВЗЯТИЕ СКУТАРИ

Прожектор швабов над Белградом,
На горизонте — дым эскадр.
Но в ночь, под перекрестным градом,
С отцами чрез фугасы рядом
Прошли сыны в славянский Скадр.
И снова, чуя натиск вражий,
Весь с вами телом и душой, —
Ждет, ошестинившись на страже,
На севере ваш брат старшой.
Уже готов ответ наш гневный
И, если вызов будет дан,
Умолкнут пред валами Плевны, —
И наш Мукден, и их Седан!
Всем вопреки, на волю скоро
От Севастополя прорвет
Теснины павшего Босфора
Петровский, в сталь отлитый флот!

1913

УРОЖАИ

Кропилом золотым, молебнами
На поле молнии скликая, —
Все та ж мужицкая без края
Кочует Русь степями хлебными.

И стали, и огню рабочая
Страда приспела: паровозы,
С одышкой рычаги ворочая,
Волочат день и ночь обозы;

От бурь осенних скрыты молами,
Сопя, сонливы и угрюмы,
Зерно потоками тяжелыми
Вбирают пароходы в трюмы.

И шумны ярмарки с базарами,
Девчата, бабы — все, гурьбою
Вкруг лавок с красными товарами
Теснясь, берут обновы с бою.

Обрита степь — ветрам раздолие,
И бесшабашней, и угарней
С гармоньями у монополии
Гуляют пред набором парни.

<1913>

УЗЕНЬ

Верблюды и волы все реже. Глуше
И жарче степь... Узень уже иссяк,
И скоро сменит пласт налипшей туши
Пшеницы золото на солончак.

В ушах звенят, как травяные гусли,
Куящий скрежет, лязг и писк, и свист,
И видно мне, как жирен в хлебе суслик,
Как ястреб в небе плавлен и когтист,

А дальше гнезда вьет чума в улусах,
Густеет солью мертвая вода.
И от слепней и оводов в укусах
Под гулким зудом бесятся стада.

А там и Каспий пенит синьку вала...
Я, как Узень и Малый и Большой,
По плавням в камышах дробясь устало,
До моря моего спалюсь душой!

1913



Уже за хищной бороною
Средь шоколадно-черных нив
На солнце мастью вороною
Замаслился грачей отлив.
Парным дождем мутились дали,
И медленней и тяжелей
С курлыканьем на луг спадали
Станицы взмокших журавлей.
Когда ж сошник свой врежет ярко
Пред ночью в тушь кровавый диск,
То кобчики меж сучьев парка
Визгливей поднимают писк.
И в сумерках пугливо-чуток
На лиловатой синеве

Шумливый спуск усталых уток
К болотной молодой траве.

1913



Не впитывая с нежной шею
Твои лилейные снега,
Как в ризах у икон, тускнеют
В подушке синей жемчуга.

Где ж силы у души недужной
Себя с тобой разъединить,
Коль быть без ласк твоих жемчужной
Русалочья не может нить?

А ты так горестно глядела,
Шепча мне тягостно — „уйди“,
Как будто выкинуть хотела
Все сердце с кровью из груди!

1913

ПОЗДНИЕ ПОДСОЛНУХИ

Как бурый кирпич, косогоры,
Трава спалена и суха;
Тарангулов частые норы
Да редко гадюк шелуха.

И только как огненно-яркий
Платок темно-русой косы,
Подсолнухи шляпкою жаркой
Желтеют кой-где с полосы.

Сквозь воздух лучистый, прозрачный
Вдыхать без конца бы я мог
Пропахнувший гарью кизячной
И хлебом печеным дымок.

1913



Крестов позлащенных блистанье
Угасло. С бульвара слышней —
На небе ночном гоготанье
Высоко летящих гусей.

И галки у стрех колокольни
Крикливо в смятении злом
Встречают стальной треугольник,
Вдоль Волги скользящий углом.

А там по степному безлюдью
С бахчей урожай уже снят,
И вальдшнепы красною грудью
Сухую листву кровенят.

И где-то, смиря горячий
Разбег раззадоренных свор,
Из рога трубит доезжачий
В щетинистый бурый простор.

1913

БЕРЛИН ПЕРЕД ВОЙНОЙ

Студент, увязнувший с ногами в парте,
И даже шуцман в каске на посту, —
Все чувствуют: медовым стал Тиргартен,
И липы желтой резедой цветут.

За взводом взвод идет, за ротой рота,
И визгом воздух липовый прожег,
Стрельнувши в Бранденбургские ворота,
Автомобиля кайзера рожок.

И женщины — их больше налетело,
Чем в мае бражников у фонарей,
Дробить в стекле порхающее тело,
Пыльцу осыпать с крыльев поскорей.

И часто вечером я шел усталый
Куда-нибудь к окраинам в локаль,
В рабочие и дымные кварталы,
Чтоб в душу влить речей живую сталь.

И помню — перед университетом,
Отпрепарирован, от мозга пуст
И больше не смущаем майским цветом,
Стоял забытый, запыленный бюст.

Обточен, точно черный шар для кегель,
И в полированный отлит металл,
Передо мной в пустынном сквере Гегель
Покатой лысой бронзой сиял.

Как некогда Станкевич или Герцен,
Склониться перед ним я был готов,
Как будто бы во мне забилося сердце
Тридцатых и сороковых годов.

О, гений Пруссии, чья мысль питала
Из черепного голого сосца
Кудлатого и львиного юнца
Для логики железной «Капитала»!

1914

ПОД МЯСНОЙ БАГРЯНИЦЕЙ

1912—1918

I. ПОД МЯСНОЙ БАГРЯНИЦЕЙ

*

Под мясной багрянницей душой тоскую,
Под обухом с быками на бойнях шалею,
Но вижу не женскую стебельковую, а мужскую
Обнаженную для косыря гильотинного шею.
На копье позвоночника она носитель
Чаши, вспененной мозгом до края.
Не женщина, а мужчина вселенский испупитель,
Кому дано плодотворить, умирая.
И вдоль течения реки желтоводной,
Как гиены, царапая ногтями пески,
Узкотазые плакальщицы по мощи детородной
Не мои ль собирали кровавые куски?
Ненасытные, сами, приявши, когтили
Мою державу, как орлицы лань,—
Что ж, крепнувший скипетром в могильном иле,
Я слышу вопли: восстань, восстань!

1913

ПОСАЖЕННЫЙ НА КОЛ

На кольях, скорчась, мертвецы
Оцепенелые чернеют...

Пушкин

Средь нечистот голодная грызня
Собак паршивых. В сутолке базара,
Под пыльной, душною чадрою дня,
Над темной жилистою тушей — кара.

На лике бронзовом налеты тлена
Как бы легли. Два вылезших белка
Ворочались и, взбухнув, билась вена,
Как в паутине муха, у виска.

И при питье на сточную кору,
Наросшую из сукровицы, кала,
В разрыв кишок, в кровавую дыру,
Сочась вдоль по колу, вода стекала.

Два раза пел крикливый муэдзин
И медленно, как голова ребенка,
Все разрывая, лез осклизлый клин
И разрыхляла к сердцу путь воронка.

И, обернувшись к окнам падишаха,
Еще шепча невнятные слова,
Все ожидала буйного размаха
И свиста ятагана — голова.

1912

СМЕРТЬ ЛОСЯ

Дыханье мощное в жерло трубы лилось,
Как будто медное влагалище взывало,
Иссохнув и изныв. Трехгодовалый,
Его услышавши, взметнулся сонный лось:

И долго в сумраке сквозь дождик что-то нюхал
Ноздрей горячих хрящ, и, вспенившись, язык

Лизал мохры губы, и, вытянувшись, ухо
Ловило то густой, то серебристый зык.

И заломив рога, вдруг ринулся сквозь прутья
По впадинам глазным хлеставших жестко лоз,
Теряя в беге шерсть, как войлока лоскутья,
И жесткую слюну склеивших пасть желез.

В гнилом валежнике через болото краток
Зеленый вязкий путь. Он, как сосун, не крыл
Еще увертливых и боязливых маток,
В погонях бешеных растрачивая пыл.

Все яростней ответ, стремящийся к завалу,
К стволам охотничьим на тягостный призыв.
Поляны темный круг. Свинцовый посвист шалый —
И лопасти рогов, как якорь, в глину врыв,

С размаха рухнул лось. И в выдавленном ложе
По телу теплomu перепорхнула дрожь
Как бы предчувствия, что в нежных тканях кожи.
Пройдетса, весело свежужа, длинный нож,

А надо лбом пила. И петухам безглавым
Подобен в трепете, там возле задних ног
Дымился сев парной на трауре кровавом,
Как мускульный глухой отзыв на терпкий рог.

1913

БЫК НА БОЙНЕ

Пред десятками загонов пурпурные души
Из вскрытых артерий увлажняли зной.
Молодцы, окончив разделку туши,
Выходили из сараев за очередной.

Тянули веревкой осовелую скотину,
Кровавыми руками сучили хвост.
Станок железный походил на гильотину,
А пол асфальтовый — на черный помост.

Боец коротким ударом кинжала
Без хруста крушил спинной позвонок.
И, рухнувши, мертвая груда дрожала
Бессильным ляганьем задних ног.

Потом, как бритвой, полоснув по шее,
Спускал в подставленные формы шлюз.
В зрачках, как на угольях, гаснул, синяя,
Хребта и черепа золотой союз.

И словно в гуртах средь степного приволья
В одном из загонов вздыбленный бык,
Сотрясая треньем жерди и колья,
В углу к годовалой телке приник.

Он будто не чуял, что сумрак близок,
Что скоро придется стальным ногам —
С облупленной кожей литой огрызок
Отрезанным сбросить в красный хлам.

И я думал, смиряя трепет жгучий:
Как в нежных любовниках, убойную кровь
И в быке каменнолобом ударом созвучий
Оглушает вечная рифма — любовь!

1913

СВИНЕЙ КОЛЮТ

Весь день звенит в ушах пронзительный (как
скрежет
Гвоздей иль грифелей, водимых по стеклу),
Высокий, жирный визг свинарника, где режет
Кабанщик боровов к пасхальному столу.
Петлей поймают зад, за розовые уши
Из стойла вытащат, стараясь пасть зажать,
И держат, навалясь, пока не станет глуше
Визжанье, и замрет над сердцем рукоять.
И после на кострах соломенных щетину
Со вшами опалив, сгребут нагарный слой,
Льют воду ведрами, и сальную трясину,
По локоть пачкаясь, ворочают рукой.

Помои красные меж челюстей разжатых
Спустивши, вывалят из живота мешок,
И бабы бережно в корытах и ушатах
Стирают, как белье, пахучий ком кишок.
Когда ж затопят печь на кухне и во мраке
Апрельском вызвездит, — по ветру гарь костра
Как суку нюхая, со всех усадеб собаки
Сбегутся сворами, чтоб грызться до утра.

1913

ЦВЕТНИК

Когда пред ночью в огненные кольца
Оправлен череп, выпитый тоской, —
Я вспомню старика народовольца,
Привратника на бойне городской.
Восторженный, пружинный, как волчок,
Всегда с брошюркою, и здесь он у дороги
Перед воротами, где Апис златорогий
Красуется, разбил свой цветничок.
И с раннего утра, копаясь в туше хлябкой,
Быкам прикрученным под лобовую кость,
Как долото иль шкворень с толстой шляпкой,
Вгоняли обухом перержавелый гвоздь.
И, мозгом брызнувши, мгновение спустя,
С глазами, вылущенными в белковой пене,
Сочленными суставами хрустя,
Валился бык, шатаясь, на колени.
И как летающие мозговые брызги,
Все разрежаясь тоньше и нежней,
Под сводами сараев глохли визги
Приконченных ошпаренных свиней.
Там, за стеной, на угольях агоний
Хрусталики поющая слеза,
А здесь подсолнечник в венце бегоний
И в резеде аютины глаза.
Пусть размякают в луже крови клейкой
Подошвы сапогов, — он, пропустив гурты
Ревущие, под вечер детской лейкой
Польет свои приникшие цветы.
И улыбнется, обнажая десны,
Где выгноила зубы все цинга,

Как будто чувствует: плещут в тундрах весны,
И у оленей чешутся рога,
И лебеди летят на теплые снега,
И полюс выгнулся под гирей — солнценосный.

1913

ТИГР В ЦИРКЕ

Я помню, как девушка и тигр шага
На арене сближали и, зарницы безмолвнее,
В глаза, где от золота не видно ни зги,
Кралась от прожектора белая молния.

И казалось — неволя невластна далее
Вытравливать в мозгу у зверя след
О том, что у рек священных Бенгалии
Он один до убоины лакомый людоед.

И мерещилось — хрустящие в алом челюсти,
Сладострастно мусоля, тянут в пасть
Нежногибкое тело, что в сладостном шелесте
От себя до времени утаивала страсть.

И шелкнул хлыст, и у ближних мест
От тугого молчанья, звеня, откололася
Серебристая струйка детского голоса —
«Папа, папа, он ее съест?»

Но тигр, наготове к прыжку, медлительный,
Сменив на довольное мурлыканье вой,
От девушки запах кровей томительный
Почуяв, заластился о колени головой.

И усами игольчатыми по шелку щупая
Раздушенную юбку, в такт с хлыстом,
В золоченый обруч прыгнул, как глупая
Дрессированная собачонка с обрубленным хвостом...

Синих глаз и мраморных колен
Колодник голодный, и ты отстукивай
С королевским тигром когтями свой плен
За решеткой, где прутья — как ствол бамбуковый!

1913—1916

ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК

О, прости, о прости меня, моя Беатриче,
Без твоего светоносного тела впереди
Я обуздывал тьму первозданных величий,
Заколял, как на вертеле, сердце в груди.
И я с ордами мыкался. Кормясь кониной,
В войлок сваленой верблюжьим потником,
От пожарищ, пресыщенный лаской звериной
На арканах пленниц гнал косяком.
А ты все та же. В прозрачной одежде
С лебедями плескаешься в полдень в пруду,
Твои груди — мимозы и сжимаются прежде,
Чем я кудрями к ним припаду.
Вот смотри — я, твой господин и невольник,
Меж колен раздвинув передник из роз,
Целую на мраморе царственный треугольник
Нежно курчавящихся золотых волос.

1913

ЖЕНЩИНЕ

Хоть отроческих снов грехи
Средь терпких ласк ей не рассказаны,
Но с женщиною тайно связаны
Струнами зычных мышц стихи.
Как в детстве струи жгли хрустальные
И в зное девочки, резвясь,
Рядили холмики овальные,
Как в волоса, в речную грязь.
Мне акробаток снилась лестница
Под куполом, и так легко
На мыльный круп коня наездница
С размаха прыгала в трико.
И помню срамные видения,
И в гари фабрик вечера,
Но я люблю тебя не менее,
Чем робким отроком, сестра.
Сойди, зрачками повелительных
И нежных глаз разрушь, разъяв,
Сцепленья жвачных глыб, стремительных

Средь вод, и зарослей, и трав.
Пусть дебрей случных мы наследники,
Вновь наши райские сады,
Неси же в лиственном переднике,
Как Ева, царские плоды.

1913

*

Видел я, как от напрягшейся крови
Яростно вскинув трясущийся пах,
Звякнув железом, заросшим в ноздрах,
Ринулся бык к приведенной корове.
Видел, как потная, с пенистым крапом,
Словно хребтом переломленным вдруг
Разом осела кобыла, и с храпом
Лег на нее изнемогший битюг...
Жутко, услышав кошачьи сцепленья,
Тигров представить средь лунных лучей..
Нет омерзительней совокупленья
Винтообразного хлябких свиней.
Кажется, будто горячее сало,
Сладко топясь на огне и визжа,
Просит, чтоб, чмокая сочно и ало,
В сердце запело дрожанье ножа.
Если средь ласки любовной мы сами —
Стадо свиных несвежеванных туш, —
Дай разрешенье, Господь, и с бесами
В воду лавину мясную обрушь!

1913

ПЯТЬ ЧУВСТВ

Пять материков, пять океанов
Дано моей матери, и я пятью
Лучезарными зеркалами в душу волью
Солнечный ветер млечных туманов.
Приниженное искусствами Осязанье,

Ты царственной остальных пяти:
В тебе амеб студенистое дрожанье
И пресмыкающихся слизкие пути.
Мумму Тиамат, праматерь слепая
Любовного зуда, в рыбу дыру
Растерзанной вечности, не она ли, слепая
Катышами, метала звездную икру...
И вы, близнецы расщепленного рода,
Неразделимые — кто древнее из двух —
Присосы, манящие в глубь пищевода,
Или музыкой ароматов дрожащий нюх.
В вас прыжок электрический на кошачьих лапах,
Беспокойная вскинутость оленьего венца,
Прохлада источников и мускусный запах
Девственной самки, зовущей самца.
И вы, последние, нежные двое —
Зрение и Слух, — как млечный туман,
Без границ ваше царство радужное огневое,
Бушующий энергиями эфирный океан.

1913

УДАВОЧКА

Эй, други, нынче в оба
Смотрите до зари:
Некрашенных три гроба
Недаром припасли.

Помучайтесь немножко,
Не спите ночь одну.
Смотрите, как в окошко
Рукой с двора махну.

У самого забора
В углу там ждет с листом
Товарищ прокурора
Да батюшка с крестом.

И доктор ждет с часами,
Все в сборе — только мать
Не догадались сами
На проводы позвать.

Знать, чуяла — день цельный
Просилась у ворот.
Пускай с груди нательный
Отцовский крест возьмет.

Да пусть не ищет сына,
Не сыщет, где лежит.
И саван в три аршина,
И гроб без мерки сшит.

Эй, ты, палач, казенных
Расходов не жалея:
Намыль для обряженных
Удавочку жирней!

Потом тащи живее
Скамейку из-под ног,
Не то, гляди, у шеи
Сломаешь позвонок.

А коль подтянешь ловко,
Так будет и на чай:
По камерам веревку
На счастье распродай.

1913

ПЕТЕРБУРГСКИЕ КОШМАРЫ

Мне страшен летний Петербург. Возможен
Здесь всякий бред, и дух так одиноч,
И на площадках лестниц ждет Рогожин,
И дергает Раскольников звонок.
От стука кирпича и едкой гари
Совсем измученный, тащусь туда,
Где брошенные дети на бульваре
В песке играют и близка вода.
Но телу дряблему везде застеноч:
Зеленым пламенем рябит листва,
У девочек вокруг голеньких коленок
Под платьищем белеют кружева.

Исчезло все... И я уже не чую,
Что делается... Наяву? В бреду?
Наверх, в квартиру пыльную пустую,
Одну из них за лакомством веду.
И после — трупик голый и холодный
На простыне, и спазмы жадных нег,
И я, бросающий в канал Обводный
И кровяной филей, и синий стек...

1912

НОЯБРЬСКИЙ ДЕНЬ

Чад в мозгу, и в легких никотин —
И туман пополз... О, как тяжел ты
После льдистых дождевых крестин,
День визгливый под пленкой желтой!

Узкий выход белому удушью —
Все сирены плачут, и гудки
С воем одевают взморье тушью,
И трясут дома ломовики.

И бесстыдней скрытые от взоров
Нечистоты дня в подземный мрак
Пожирает чавкающий боров
Сточных очистительных клоак.

И в тревоге вновь душа томиться,
Чтоб себя пред тьмой не обмануть:
Золота промытого крупца
Не искупит всю дневную муть.

1912

ГРЯДУЩИЙ АПОЛЛОН

Пусть там далеко в подкове лагунной
Лучезарно стынет Великий Океан
И, выгнувши конусом кратер лунный,
Потоками пальм истекает вулкан.

Цепенеют на пурпуре синие тени,
Золотится на бронзе курчавая смоль.
Девушки не знают кровотечений,
А женщинам неведома материнства боль...

Прислушайтесь вечером, когда серо-слизкий,
На полярном закате тускло зардев,
Тушью клубясь по свинцовой воде,
Вздывает город фабричныеobelisks.

А на железопрокатных и сталелитейных
Заводах — горящие глыбы мозжит
Электрический молот, и, как лава в бассейнах
Гранитных, бушуя, сталь бурлит.

Нового властителя, эхом о стены
Ударясь, зовут в припадке тоски
Радующиеся ночному шторму сирены,
Отхаркивающие дневную мокроту гудки.

Гряди! Да воздвигнется в мощи новой
На торсе молотобойца Аполлона лик,
Как некогда там на заре ледниковой
Над поваленным мамонтом радостный крик.

1913

*

Хотелось в безумье, кровавым узлом поцелуя
Стянувши порочный, ликерами пахнувший рот,
Упасть и, охотничьим длинным ножом полосую,
Кромсать обнаженный мучительно-нежный живот.
А прорубь окна караулили цепко гардины,
И там, за малиновым, складчатым плотным драпри,
Вдоль черной Невы, точно лебеди, с Ладоги льдины
Ко взморью тянулись при блеске пунцовой зари.

1913



Небо, словно чье-то вымя,
В трещины земли сухой
Свой полуденный удой
Льет струями огневыми.
И пока, звеня в ушах,
Не закаплет кровь из носа,
Все полощатся у плеса
Ребятишки в камышах.
А старухи, на погосте
Позабывшие залечь,
Лезут с вениками в печь
На золе распарить кости.
И тревожно ловит слух —
В жидком огненном покое
Чем чудит угарный дух:
Пригорит в печи жаркое
Из запекшихся старух;
Иль, купаясь, кто распухнет
В синий трупик из ребят.
Иль дыханьем красным ухнет
В пыльный колокол набат.

1912



И у тигра есть камышовое логово,
И он, усталый от ночных охот,
Налакомившийся сладким мясом двуногого,
Залезая, языком кровавым лизнет
Проснувшийся, кинувшийся к матери помет.
Где ж спасенье от нее, от женщины пышнотелой,
Если шепчет вождю, прижимаясь, — люблю.
Или скажет за тебя мужское нет
С прорезиненными крыльями металлический скелет...
Пусть засвищет воздух... улю-лю... улю-лю...
В руль вклевшившись руками, головой оголтелой
Турманя, над черным муравейником проделай
Последнюю, затяжную, мертвую петлю.

Весна 1914



Тягостны бескрасные дни.
Для мужчины — охотника и воина
Сладостна искони
Не стервятника, а убоина.
Но крепит душа сомкнувшуюся глуть,
Погружая раскаленную оболочку в снег.
Отрезвевшая от любовных нег,
Черепную чашу пригубь,
Женщина, как некогда печенег.
Ничего, что крышка не спилена,
Что нет золотой оправы. Ничего.
Для тебя налита каждая извилина
Жертвенного мозга моего.

Весна 1914



Безумец! Дни твои убоги,
А ты ждешь жизни от любви,—
Так лучше каторгой в остроге
Пустую душу обнови.
Какая б ни была утрата,
Неси один свою тоску
И не беги за горстью злата
Униженно к ростовщику.
От женских любопытных взоров
Таи смертельный страх и дрожь
И силься, как в соломе боров,
Из сердца кровью выбить нож.

1913



В поднебесье твоего безбурного лица
Не я ль на скаку, встряхнув рукавицей,

Позволил каменной грудью взвиться
Белому соколу с золотого кольца.
Конец девичнику и воле девичьей.
Подшибленная лебедь кличет в крови.
Мой сокол, мой сокол под солнцем с добычей,
Терзай ее трепетную, когти и рви!

1913

В ЛОГОВИЩЕ

Пускай рога трубят по логу
И улюлюканье в лесу,
Как зверь, в родимую берлогу
Комок кровавый унесу.

Гоните псов по мерзлым травам,
Ищите яму, где лежу.
Я языком своим шершавым
Все раны сердца залижу.

А нет... Так, ошетинясь к бою,
Втянув в разрытый пах кишки,
С железным лязганьем открою
Из пены желтые клыки.

1912

ВЕРХОМ

Я вновь верхом в пространствах, взрытых
Плугами солнцу и ветрам,
И слышу предзакатный гам
Грачей прожорливых, несытых.
Ржет жеребец, почуя в темных
Полях за гумнами станиц
Шарахающихся и томных
Игриво-нежных кобылиц.
Но черно-бархатные губы
И трепет шерсти золотой,

Мой пылкий конь, смирю я грубо
Рот раздирающей уздой.
Ведь и меня средь пашен тоже
Она незримо позвала
И вновь над сердцем в хлябкой дрожи
Красны стальные удила.

1913

В ДРОЖКАХ

Дрожа от взнузданного пыла,
В лицо швыряя мне землей,
Вся в мыльном серебре кобыла
Блится шерстью вороной.

А я весь брызгами покрыт,
Зажмурясь, слушаю — как четок
Под бабками косматых щеток
В два такта бьющий стук копыт.

Мне в этот вольный миг дороже,
Чем красные пиявки губ,
В оглоблях прыгающих дрожек
Размашистый рысистый круп.

И мягче брызжущие комья
Весенней бархатной земли
Прикосновений той, о ком я
Грустил и грезил там вдали.

1913

КУПАНЬЕ

Над взморьем пламенем веселым
Исходит медленно закат,
И женские тела за молотом
Из вод сиреневых сквозят.

То плещутся со смехом в пене,
Лазурью скрытые по грудь,
То всходят томно на ступени
Росистой белизной сверкнуть.

И пламенник земным красотам —
Сияет вечной красотой.
Венерин холмик золотой
Над розовым потайным гротом.

И мглился блеск. Блажен, кто их
Пред ночью поцелуем встретит,
Кто в светлых их зрачках заметит,
Как вечер был огнист и тих,
Кому с их влажных уст ответит
Солоноватость волн морских.

Июль 1917

II. ЛЮБОВНЫЙ АЛЬБОМ

ЛОРА

Вы — хищная и нежная. И мне
Мерещитесь несущуюся с гиком
За сворою, дрожащей на ремне,
На жеребце степном и полудиком.
И солнечен слегка морозный день.
Охвачен стан ваш синее черкесской;
Из-под папахи белой, набекрень
Надвинутой, октябрьский ветер резкий
Взлетающие пряди жадно рвет.
Но вы несетесь бешено вперед
Через бурые бугры и перелески,
Краснеющие мерзлую листвою;
И словно поволокой огневой
Подернуты глаза, в недобром блеске
Пьянящегося кровью торжества.
И тонкие уста полуоткрыты,
К собакам под арапник и копыта
Бросают в ветер страстные слова.
И вот, оканчивая бег упругий

Могучим сокрушительным броском,
С изогнутой спиной кобель муругий
С откоса вниз слетает кувырком
С затравленным матерым русаком.
Кинжала взлет, серебряный и краткий,
И вы, взметнув сияньем глаз стальным,
Швыряете кровавою перчаткой
Отрезанные пазанки борзым.
И, в стремена вскочив, опять во мглу
Уносите. И кто еще до ночи
На лошадь вспененную вам к седлу,
Стекая кровью, будет приторочен?
И верю, если только доезжачий
С выжлятниками, лихо отдаря
Борзятников, неожиданною удачей
Порадует, и гончих гон горячий
Поднимет с лога волка-гнездаря, —
То вы сумеете его повадку
Перехитрить, живьем, сострунив, взять
Иль в шерсть седеющую под лопатку
Ему вонзить кинжал по рукоять.
И проиграет сбор рожок веселый,
И вечерами, отходя ко сну,
Ласкать вы будете ногою голой
Его распластанную седину...
Так что же неожиданного в том,
Что я вымаливаю, словно дара,
Как волк, лежащий на жнивье густом,
Лучистого и верного удара?

1916



Подсолнух поздний догорал в полях,
И, вкрапленный в сапфировых глубинах,
На легком зное нежился размах
Поблескивавших крыльев ястребиных.

Кладя пределы смертному хотенью,
Казалось, то сама судьба плыла
За нами по жнивью незримой тенью
От высоко скользящего крыла.

Как этот полдень, пышности и лени
Исполнена, ты шла, смиряя зной.
Лишь платье билось пеной кружевной
О гордые и статные колени.

Да там, в глазах под светлой оболочкой,
На обреченного готовясь пасть,
Средь синевы темнела знойной точкой,
Поблескивая, словно ястреб, страсть.

1916



И смертные счастливыцы припадали
На краткий срок к бессмертной красоте
Богинь снисшедших к ним — священны те
Мгновенья, что они безумцам дали.
Но есть пределы смертному хотенью,
Союз неравный страшное таит,
И святотатца с ложа нег Аид
Во мрак смятет довременную тенью.
И к брэнной страсти в прежнем безразличье,
Бестрепетная, юная вдвойне, —
Вновь небожительница к вышине
Возносится в слепительном величье.
Как солнце пламенем — любовью бей,
Плещи лазурью радость! Знаю — сгинут
Твои объятия и для скорбей
Во мрак я буду от тебя отринут.

1917



Толпу поклонников, как волны, раздвигая,
Вы шли в величье красоты своей,
Как шествует в лесах полунагая
Диана среди сонмища зверей.
В который раз рассеянно-устало

Вы видели их раболепный страх,
И роза, пойманная в кружевах,
Дыханьем вашей груди трепетала.
Под электричеством в многоколонном зале
Ваш лик божественный мне чудился знаком:
Не вам ли ноги нежные лизали,
Ласкаясь, тигры дымным языком?
И стала мне понятна как-то вдруг
Богини сребролунной синеокость
И девственно-холодная жестокость
Не гнущихся в объятья тонких рук.

1918

*

Вы помните?.. девочка, кусочки сала
Нанизавши на нитку, зимою в саду
На ветки сирени бросала
Зазябшим синичкам еду.
Этой девочкой были вы.
А теперь вы стали большой,
С мятущейся страстной душой
И с глазами, пугающими холодом синевы.
Бушует на море осенний шторм,
Не одна перелетная сгинет станица,
А сердце мое, как синица,
Зимует здесь около вас
Под небом морозным синих глаз.
И ему, как синицам, нужен прикорм,
И оно, как они, иногда
Готово стучаться в стекло,
В крещенские холода
Просясь в тепло.
Зато, если выпадет солнечный день
Весь из лазури и серебра,
Оно, как синичка, взлетевшая на сирень,
Прыгает, бьется о стенки ребра
И поет, звеня, щебеча,
Благодарность за ласку вашего луча.

Январь 1918

НАВАЖДЕНИЕ

По залу бальному она прошла,
Метеоритным блеском пламенея.
Казалась так ничтожна и пошла
Толпа мужчин, спешащая за нею.
И ей вослед хотелось крикнуть: «Сгинь,
О, наваждение, в игре мгновенной
Одну из беломраморных богинь
Облекшее людскою плотью брэнной!»
И он следил за нею из угла,
Словам другой рассеянно внимая,
А на лицо его уже легла
Грозы, над ним нависшей, тень немая.
Чужая страсть вдруг стала мне близка,
И в душу холодом могил подуло:
Мне чудилось, что у его виска
Блеснуло сталью вороненой дуло.

Август 1918

*

За золотою гробовою крышкой
Я шел и вспоминал о нем в тоске —
Быть в тридцать лет мечтателем, мальчишкой,
Все кончить пулей, канувшей в виске!
И, старческими веками слезясь,
В карете мать тащилась за друзьями
Немногими, ноябрьской стужи грязь
Месившими, к сырой далекой яме.
В открытый гроб сквозь газ на облик тленный
Чуть моросил серебряный снежок.
И розы рдели роскошью надменной,
Как будто бы их венчики не жег
Полярный мрачный ветер. А она,
На гроб те розы бросившая кровью,
От тяжкой красоты своей томна,
Неслась за птицами на юг к зимовью.

1918

*

В качалке пред огнем сейчас сидела,
Блистая дерзостнее и смуглей,
И вместе с солнцем дней истлевших рдела
Средь золота березовых углей.
И нет ее. И печь не огневает.
Передраассветная томится тьма.
Томлюсь и я. И слышу, близко веет
Ее волос и шеи аромат.
И червь предчувствия мой череп гложет:
Пускай любовь бушует до седины,
Но на последнем позлащенном ложе
Ты будешь тлеть без женщины один.

1917

*

Ты для меня давно мертва
И перетлела в призрак рая,
Так почему ж свои права
Отстаиваешь ты, карая?
Когда среди немилых ласк
Я в забвении, греша с другими,
Зубов зажатых скрывши лязг,
Шепну твоё родное имя,
Исчезнет вдруг истома сна —
И обаянье отлетело,
И близость страстная страшна,
Как будто рядом мертвой тело.
И мне мерещится, что в тишь
Ночную хлынет золотом пламя
И ты мне душу искогтишь,
Оледенив её крылами.

1917

*

Земля лучилась, отражая
Поблекшим жнивом блеск луны.
Вы были лунная, чужая

И над собою не вольны.
И все дневное дивным стало,
И призрачно мнилась даль
И что под дымной мглой блистало —
Полынная ли степь, вода ль.
И, стройной тенью вырастая,
Вся в млечной голубой пыли,
Такая нежная, простая,
Вы рядом близко-близко шли.
Движением ресниц одних
Понять давая — здесь не место
Страстям и буйству, я невеста,
И ждет меня уже жених.
Я слушал будто бы спокойный,
А там в душе беззвучно гас
День радостный золотознойный
Под блеском ваших лунных глаз.
С тех пор тоскую каждый день я
И выжечь солнцем не могу
Серебряного наважденья
Луны, сияющей в мозгу.

1918

*

Твой сон передрагасветный сладок,
И дразнит дерзкого меня
Намеками прозрачных складок
Чуть дышащая простыня.

Но, недотрога, ты свернулась
Под стать мимозе иль ежу.
На цыпочках, чтоб не проснулась,
Уйду, тебя не разбужу.

Какая гладь и ширь какая!
И с якоря вниз головой
Сейчас слечу я, рассекая
Хрусталь дремотный, огневой!

И вспомнив нежную истому,
Еще зовущую ко сну,

Навстречу солнцу золотому
С саженок брызгами блесну.

1918

III. ДАРЫ КАЛЕНДАРЯ

По Кавказу

I

Котомкою стянуты плечи,
Но сердцу и груди легко.
И солон сыр горный, овечий,
И сладостно коз молоко.
Вон девочка... С нежной истомой
Пугливо глядит, как коза.
Попорчены красной трахомой
Ее грозовые глаза.
Как низко, и грязно, и нище,
И кажется бедных бедней
Оборванных горцев жилище
Из сложенных в груды камней.
Что нужды! Им много не надо:
В долине у гневной реки
Накормится буйволов стадо,
Накопит баран курдюки.
И скалы отвесны и хмуры,
Где пенят потоки снега,
Где в пропасть бросаются туры
На каменный лоб и рога.
И утром, и вечером звонки
Под бьющей струей кувшины,
И горлышек узких воронки
Блестят из-за гибкой спины.
И радостна Пасха близ неба,
Где снежные тучи рассек
Над церковью Цминде-Самеба
Вершиною льдистой Казбек.

1912

Пусть позади на лаве горней
 Сияют вечный лед и снег, —
 Здесь юрких ящериц проворней
 Между камней бесшумный бег.
 Арагва светлая для слуха
 Нежней, чем Терек... У ручья
 Бьет палкой нищая старуха
 По куче красного тряпья.
 И восемь пар волов, впряженных
 В один идущий туго плуг,
 Под крик людей изнеможенных
 И резкий чиркающий стук
 Готовят ниву... Все крупнее
 У буйволов их грузный круп.
 У женщин тоньше и нежнее
 Дуга бровей, усмешка губ.
 И все пышней, все золотистей
 Зеленый и отлогий скат,
 Где скоро усики и кисти
 Покажет буйный виноград.
 Здесь, посреди непостоянства
 И смены царств, в прибое орд,
 Очаг начальный христианства
 Остался незлоблив, но тверд.
 И пред народною иконой,
 Где взрезал огненную пасть
 Георгий жирному дракону, —
 Смиренно хочется упасть.

1912

ПОД РЕСНИЦЕЙ

Вздохнет от пышной тяжести весь дом,
 Опять простой и милой станет зала,

Где в самый зной покойница лежала,
Эфиром заморожена и льдом.

И острый лик с пятнистостью лиловой
Поплыл на полотенцах в блеске риз.
На скатерти разложено в столовой
Приданое — серебряный сервиз.

И нянька с плачем у окна гостиной
Торопится ребенка приподнять,
И под ресницей золотистой длинной
В лазурь глазенок канет в белом мать.

1913

*

Золотые реснички сквозят в бирюзу,
Девочке в капоре алом нянька,
Слышу я, шамкает: «Леночка, глянь-ка,
Вон покойничка хоронить везут».
И Леночка смотрит, забывши лопаткой
Зеленой расшвыривать мокрый песок.
А в ветре апрельском брагою сладкой
В березах крепчает весенний сок.
Покачнув балдахином, помост катафалка
Споткнулся колесами о выбоины мостовой.
Наверно, бедному жестко и валко
На подушке из стружек подпрыгивать головой.
И в пальмовых листьях незабудки из жести
Трясутся, и прядает султанами четверня...
Леночка, Леночка, с покойничком вместе
Проводи же глазенками и уходящего меня.

1916

*

Под соснами и в вереске лиловом
Сыпучие бугры.
И солнца вечером в дыму багровом
Угарные шары.

И к редкой ржи ползет туман от луга
Сквозь лунные лучи,
И, как сверчки, перекричат друг друга
Не могут дергачи.
И — отблеск дня далекий и горячий —
Пылающая щель
Дает мне знать из ставен смолкшей дачи,
Что ты идешь в постель.

1913

*

В купоросно-медной тверди,
В дымном мареве полей
Гнутся высохшие жерди
У скрипучих журавлей.
И стоит понуро стадо
С течью пенистой у губ;
Чуют ноздри, как прохлада
Дует тягой в мокрый сруб.
Вот, дрожа, на край колодца
Плещет солнцами бадья,
И в гортань сухую льется
Мягким холодом струя.

1913

ПРИГОН СТАДА

Уже подростки выбегли для встречи
К околице на шелканье вдали.
Переливается поток овец
С шуршаньем мелких острых ног в пыли.

Но, слышно, поступь тяжела коровья —
Молочным бременем свисает зад.
Как виноград, оранжевою кровью
На солнце нежные сосцы сквозят.

И, точно от одышки свирепея,
Идет мирской бодливый белый бык
С кольцом в ноздрах, и выпирает шея,
Болтаясь мясом, хрящевой кадык.

Скрипит журавль, и розовое вымя,
Омытое колодезной водой,
В подойник мелодично льет удой,
Желтеющий цветами полевыми.

А ночью мирна грузная дремота,
Спокойна жвачка без жары и мух,
Пока не брезжит в небе позолота,
Не дребезжит волынкою пастух.

1913

*

Как будто черная волна
Под быстროходным волнорезом,
С зеленой пеной под железом
Ложится справа целина.
И как за брызжущей водою
Дельфинов резвая игра,
Так следует за бороздою
Тяжелый золотистый грач.
И радостно пахать и знать,
Что на невидимых свирелях
Дыханьем жаворонков в трелях
О ней звенит голубизна.

1912

*

Жарким криком почуяв средь сна,
Что подходит волна огневая,
Петухи встрепенулись, срывая
Саван ночи из лунного льна.

Облака — словно полог пунцовый,
А заря — из огня колыбель.
Глянь, — воскресшего Бога лицо
Выйдет разве сейчас не к тебе.
И душа твоя, птицам родня,
Онемевшие крылья расправит
И, в лазури плескаясь, прославит
Золотое рождение дня.

1918

*

Уж солнце маревом не мает,
Но и луны прохладный блеск
Среди хлебов не унимает
Кузнечиков тревожный треск.

Светло, пустынно в небе лунном,
И перистые облака
Проходят стадом сереброрунным,
Лучистой мглой пыля слегка.

И только изредка зарница,
Сгущая млечной ночи гнет,
Как будто девка-озорница,
Подолом красным полыхнет.

1918

Утренняя звезда

I

Ни одной звезды. Бледнея и тая,
Угасает месяц уже в агонии.
Провозвестница счастья, только ты, золотая,
Вошла безбоязненно в самый огонь.
Звезда, посвященная великой богине,
Облака уже в пурпуре, восход недалек,

И ты за сестрами бесследно сгинешь,
Спаленная солнцем, как свечой мотылек.
Уж месяц сквозит лишенный металла,
Но в блеске божественном твоём роса
Напоила цветы, и, пола касаясь,
По жаркой подушке тяжело разметалась
Моей возлюбленной золотая коса.
Задремала в истоме предутренних снов,
А соловьев заглушая, жаворонки звенят...
Сгорай же над солнцем, чтоб завтра снова
Засиять, о, вестница ночи и дня,
Зарей их слившая в нежные звенья!

II

На чьих ресницах драгоценней
И крупнее слезы, чем капли росы
На усиках спеющей пшеницы?
Чье сопрано хрустальней и чище
В колоратуре, чем первые трели
Жаворонков, проснувшихся в небе?
Пальцы какой возлюбленной
Могут так нежно перебирать волосы -
И душить их духами, как утренний ветер?
И какая девушка целомудренней
Перед купаньем на золотой отмели
Сбрасывает сорочку с горячего тела,
Чем Венера на утренней заре
У водоемов солнечного света?
Ты слышишь звездных уст ее шепот:
Ослепленный смертный, смотри и любуйся
Моею божественной наготой.
Сейчас взойдет солнце и я исчезну...

<1918>

В МАЕ

Голубых глубин громовая игра,
Мая серебряный зык.
Лазурные зурны грозы.
Солнце, Гелиос, Ра,
 Дажь
И мне златоливень-дождь,
Молний кровь и радуг радость!
Под березами лежа, буду гадать.
Ку-ку... Ку-ку... Кукуй,
Кукушка, моя года.
Только два? Опять замолчала.
Я не хочу умирать. Считай сначала...
Сладостен шелест черного шелка
Звездоглазой ночи. Пой, соловей,
Лунное соло... Вей
Ручьями негу, россыпью щелкай!
Девушка, от счастья ресницы смежив,
Яблони цвет поцелуем пила...
Брось думать глупости. Перепела:
«Спать пора, спать пора», — кричат с межи.

1918

*

На поле около болота —
Крест без могилы и межа;
Здесь, говорят, давно кого-то
Зарезали средь дележа.

А в небе, сумраком покрытом,
Заглохнул к югу перелет,
И подо мною конь копытом
Сбивает с лужиц тонкий лед.

Свинцов заката блеск неяркий...
Эй, ты, степное воронье,
Пред тьмой над падалью раскаркай
Предчувствий жуткое вранье!

1918

ГОЛОС ОСЕНИ

Над цветом яблонь и вишен в дремах
Лунных

струят соперники соловьи —

Один из сирени, другой меж черемух —

Сладчайших мелодий тягучие ручьи —

Но радости вешней для меня родней

Прощальная радость осенних дней...

Так,

Когда оставляет, отхлынув, мрак

На заре, осколок месяца сребророгого,

Превозмогая дремотную легкую лень,

Встряхивая червонных листьев логово,

Поднимает голову самец-олень.

И вдруг

Из вытянутого горла с прозрачным паром

Вырывается словно в смятении яром

Трубы всполохнувшейся — терпкий звук.

И скользнувши по мокрым листьям,

Тронутым холодом в блеске алом,

С грохотом эхо теряется там

Меж столетних стволов за туманным провалом.

Отрыгнувшийся трубный, глухонемой

Вопль животный, — но трепетно в нем,

Как в вечерней звезде, серебристым огнем

Свет любви вознесен перед тьмой.

Это — знак торжества,

Окончанья осенних нег,

Перед тем, как, спадая, листва

Золотая оденется в снег.

И вдали среброшерстная лань

Вдруг почувствует, как шевельнет

Между ребрами тонкую стлань

Трепыхнувшийся сладостно плод...

Осени голос и ты лови.

Слышишь, — как стелет сентябрь второпях

Коврами огнистыми пышный прах

Для багряного шествия твоей любви,

Последней любви!

1918

ВСТРЕЧА ОСЕНИ

С черным караваем,
С полотенцем белым,
С хрустальной солонкой
На серебряном подносе
Тебя встречаем:
Добро пожаловать,
Матушка-осень!
По жнивьям обгорелым,
По шелковым озимям
Есть где побаловать
Со стайей звонкой
Лихим псарям.
Точно становища
Золотой орды,
От напастей и зол
Полей сокровища
Стерегут скирды.
И Микулиной силушке
Отдых пришел:
Не звякает палица
О сошники.
К зазнобе-милушке
Теперь завалится,
Ни заботы, ни горюшка
Не зная, до зорюшки,
Спать на пуховики.
Что ж не побаловать,
Коль довелось?
Добро пожаловать,
Кормилица-осень!
Борзятника ль барина,—
Чья стройная свора
Дрожит на ремне,
Как стрела наготове
Отведать крови,—
Радость во мне?
Нагайца ль татарина,
Степного вора,
Что кличет, спуская
На красный улов
В лебединую стаю
Острогрудых соколов?

Чья радость — не знаю.
Как они, на лету
Гикаю — «улю-лю,
Ату его, ату!»
И радость такая —
Как будто люблю!

1916

ЗИМОВЬЕ ВОРОНА

Еще вдали под первую звезду
Звенело небо гогом гусей,
Когда с обрыва, будто пред бедою,
Вдруг каркнул ворон мощно грудью всей.

И сумерками ранними обвитый,
Направил над свинцом студеных вод —
На запад, в степь, неспешный, домовитый
Свистящий грузной силою полет.

Но вещей крик, что кинул ворон старый,
Моя душа, казалось, поняла,
Благоговейно слушая удары
По воздуху тяжелого крыла.

Он, не смутаясь пролетом беспокойным,
Не бросит оскудевших мест родных,
В нужде питаюсь мусором помойным
У ям оледеневших, выгребных.

Но сохранит в буранах силу ту же,
Что и в тепле, — а те из высоты
Низверглись бы на снег от первой стужи,
Как с дерева спаленные листья...

Меня ободрил криком ворон старый:
И я, как он, невзгодой не сразим,
С угрюмой гордостью снесу удары
Суровой из всех грядущих зим.

1918

ПОЗДНИЙ ПРОЛЕТ

За нивами настиг урон
Леса. Обуглился и сорван
Лист золотой. Какая прорва
На небе галок и ворон!

Чей клин, как будто паутиной
Означен, виден у луны?
Не гуси... Нет!.. То лебединый
Косяк летит, то — кликуны.

Блестя серебряною грудью,
Темнея бархатным крылом,
Летят по синему безлюдью
Вдоль Волги к югу — напролом.

Спешат в молчанье. Опоздали:
Быть может, к солнцу теплых стран,
Взмутив свинцовым шквалом дали,
Дорогу застит им буран.

Тревожны белых крыльев всплески
В заре ненастно-огневой,
Но крик, уверенный и резкий,
Бросает вдруг передовой!..

И подхватили остальные
Его рокошующий сигнал,
И долго голоса стальные
Холодный ветер в вихре гнал.

Исчезли. И опять в пожаре
Закатном, в золоте тканья
Лиловой мглы, как хлопья гари
Клубятся стаи воронья...

1918

IV. ПРОВОДЫ СОЛНЦА

ПРОВОДЫ СОЛНЦА

*Памяти брата Сергея, павшего в бою
20 августа 1915 г.*

Утомилось ли солнце от дневных величий,
Уронило ли голову под гильотинный косырь, —
Держава расплавленная стала — как бычий,
Налитый медною кровью пузырь.
Над золотою водой багровей расцвел
В вереске базальтовый оскал.
Медленно с могильников скал
Взмывает седой орел.
Дотоле дремавший впотьмах
Царственный хищник раскрыл
В железный веер размах
Саженный бесшумных крыл.
Все выше, все круче берет,
И, вонзившись во мгlistый пыл,
Крапиной черной застыл
Вспокоенный закатом полет.
Пропитанный пурпуром последнего луча,
Меркнет внизу гранитный дол.
У перистого жемчуга ширясь и клекча,
Проводы солнца справляет орел.
Словно в предчувствии полуночной тоски,
Кольца зрачков, созерцаньем удвоены,
Алчно глотают ослепительные куски
Солнечной, в жертву закланной убоины.
Но ширится мрак ползущий,
И, напившись червонной рудой,
На скалы в хвойные пуши
Спадает орел седой.
Спадет и, очистив клюв
И нахохлясь, замрет, дремля,
Покуда, утренним ветром пахнув,
Под золотеющим пологом не просияет земля...

От юношеского тела на кровавом току
Отвеяли светлую душу в бою.
Любовью ли женской свою

По нем утолю я тоску?
Никто не неволил, вынул сам
Жребий смертельный смелой рукой
И, убиенный, предстал небесам.
Господи, душу его упокой...

Взмывай же с твердыни трахитовой,
Мой сумрачный дух, и клекчи,
И, ширясь в полыме, впитывай
Отошедшего солнца лучи!
И как падает вниз, тяжел
От золота в каменной груди,
Обживший граниты орел, —
В тьму своей ночи и ты пади,
Но в дремоте зари над собою не жди!

1915

ТРАВЛЯ

На взмыленном донце, смиря горячий
Разбег раззадоренных, зарвавшихся свор,
Из покрасневшего осинника в щетинистый простор,
Привстав на стремяна, трубит доезжащий
Перед меркнувшими сумерками, — так и ты
Смири свою травлю до темноты.

Над закатным пламенем серебряной звездой
Повисла ночь. Осадив на скаку,
Останови до крови вспененной уздой
Вороного бешеного жеребца — тоску.

Звонче, звонче
Труби, сзывая
Своры и стаи
Голодных и злых
Замыслов — гончих,
Желаний — борзых!

Пусть под арапником, собираясь на рог,
С лясканьем лягут на привязи у ног.
Кровью незатуманенный светлый нож
Засунь за голенище, коня остреножь.
Тщетно ты гикал в степи: «Заставлю

Выпустить счастье мое на травлю».
Брось же потеху для юношей... Нет!
Пока не запекся последний свет,
Любимого кречета — мечту — швырну
Под еще не налившуюся серебром луну!

1916

В АЛОМ ПЛАТКЕ

Топит золото, топит на две зари
Полунощное солнце, а за фабричной заставой
И за топкими кладбищами праздник кровавый
Отплясывают среди ночи тетерева и глухари.
На гранитных скамейках набережной дворцовой
Меж влюбленных и проституток не мой черед
Встречать золотой и провожать багровый
Закат над взморьем, за крепостью восход.
Что мне весны девическое ложе,
Подснежники и зори, если сделала ты
Трепетной неопаленности ее дорожке
Осыпающиеся дубовые и кленовые листы?
Помнишь конец августа и безмгlistое начало
Глубокого и синего, как сапфир, сентября,
Когда — надменная — ты во мне увенчала
В невольнике — твоей любви царя?..
Целовала, крестила, прощаясь... эх!
Думала, воля и счастье — грех.
Сгнула в алом платке в степи,
С борзыми и гончими не сыщешь след...
Топи же бледное золото, топи,
Стели по островам призрачный свет,
Полярная ночь!
Только прошлым душу мою не морочь,
Мышью летучею к впадинам ниш
Ее ли прилипшую рясть взманишь?

1915

МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ

В тобой достигнутое равновесье,
О Франция, поверить не могу,
Когда на предполярном поднебесье
Ручных я помню коршунов Пегу

Все ждешь — свихнувшийся с зубцов уступа
Мотор, застопоривший наверху,
Низринется горбом на плечи трупа
В багряную костистую труху.

Но крепче, чем клещи руки могильной,
Руля послушливого поворот, —
И взмах пропеллера уже бессильный
Полощется, утративши оплот.

Мгновенье обморочное и снова,
Как будто сердце в плоти голубой,
У птеродактиля его стального
Прерывистый учащен перебой.

И после плавный спуск, — так бьющий птицу
О серебро кольца очистить клюв
Спадает сокол вниз на рукавицу
И смотрит в солнце, глазом не сморгнув.

О Франция, одни сыны твои
Могли сковать из воздуха и света
Для дерзких висельников колеи
Свободней и законченней сонета!

1915

МАМОНТ

Смотри —
Солнечную гирю тундрового мая,
Булькающую золотом и платиной изнутри,
Вскинул полюс, медленно выжимая.
Сотням Атлантов непосильный гнет,

Кажется, не выдержав, — тонкую пленку
Прободит и скользкой килою юркнет
Внутренность из напряженного живота в мошонку.
Нет! Как из катапульты, из кисти руки
Подбросил солнце и, извернувшись вкруг оси,
Подхватил на лету. Лососи
Вспенили устьев живорыбные садки.
И, отцепляясь, ползут
К теплым теченьям ледяные оплоты,
И киты, почуяв весенний зуд,
Разыгрываются, как нарвалы и кашалоты.
Нырнет и ляжет, отдуваясь от глубины,
И бьет фонтанами двойная струя.
А на заре, леденцом зардевшись, пригубит
Оленью самку парная полынья.
Дымится кровавая снедь —
В перешибленных моржевых бедрах
Хорьковой мордой белый медведь
Выскивает сальники и потрох.
Охорашивая в снежном трепете
Позвочника змеиный костяк,
Щиплют, разлакомясь, лебеди
Полярные незабудки и мак.
Слушай —
Словно из шахты ломов звон.
То мамонт, мороженой тушей
Оттаяв, рушит пластов полон.
Все упорней
Нажим хребта и удар клыков,
Желтых с отставшею мякотью в корне.
Чу... Лебединый зов
И гусиный гогот пронзил
Лопуховые уши,
Затянутые в окаменелый ил.
И травоядную мудростью тысячелетий кроткий,
Смолит на солнце в проломленный лаз
Исподлобья один прищуренный глаз,
А хрусталик слезится от золотой щекотки.
Подними ж свой удавный хобот,
Чудище, оттаявшее в черной крови,
И громовый гимн прореви
Титану, подъявшему солнце из гроба!
Растоплена и размолота
Полунощной лазури ледяная гора.

День — океан из серебра.

Ночь — океан из золота.

1915

СИБИРЬ

Художнику Льву Бруки

Железносонный, обвитый
Спектрами пляшущих молний,
Полярною ночью безмолвной
Обглаживает тундры Океан Ледовитый.
И сквозь ляпис-лазурные льды,
На белом погосте,
Где так редки песцов и медведей следы,
Томятся о пламени — залежи руды,
И о плоти — мамонтов желтые кости.
Но еще не затих
Таящийся в прибое лиственниц и пихт
Отгул отошедших веков, когда
Ржавокосмых слонов многоплодные стада,
За вожаком прорезывая кипящую пену,
Что взбил в студеной воде лосось,
Относимые напором и теченьем, вкось
Медленно переплывали золотоносную Лену.
И, вылезая, отряхивались и уходили в тайгу.
А длинношерстный носорог на бегу,
Обшаривая кровавыми глазками веки,
Доламывал проложенные мамонтом просеки.
И колыхался и перекатывался на коротких
стопах.
И в реке, опиваясь влагой сладкой,
Освежал болтающийся пудовой складкой
Слепнями облепленный воспаленный пах...
А в июньскую полночь, когда размолот
И расплавлен сумрак, и мягко кует
Светозарного солнца электрический молот
На зеленые глыбы крошащийся лед, —
Грезится Полюсу, что вновь к нему
Ластятся, покидая подводную тьму,
Девственных архипелагов коралловые ожерелья,

И ночами в теплой лагунной воде
Дремлют, устав от прожорливого веселья,
Плеззиозавры,
Чудовищные подоби́я черных лебедей.
И, освещая молнией их зменные глаза,
В пучину ливнями еще не канув,
Силится притупить, надвигаясь, гроза
Взрывы лихорадочно пульсирующих вулканов...
Знать, не зря,
Когда от ливонских поморий
Самого грозного царя
Отодвинул Стефан Баторий,—
Не захотелось на Красной площади в Москве
Лечь под топор удалой голове,
И по студеным омотам Иртыша
Предсмертной тоскою заныла душа...
Сгинул Ермак,
Но, как путь из варяг в греки,
Стлали за волоком волок,
К полюсу под огненный полог
Текущие разливами реки.
И с таежных дебрей и тундровых полей
Собирала мерзлая земля ясак —
Золото, мамонтову кость, соболей.
Необъятная! Пало на долю твою —
Рас и пустынь вскорчевать целину,
Европу и Азию спаять в одну
Евразию — народовластий семью.
Вставай же, вставай,
Как мамонт, воскресший алою льдиной,
К незакатному солнцу на зов лебединый,
Ледовитым океаном взлелеянный край!

1916

РОССИЯ В 1917 г.

С коих-то пор,
Тысячелетья, почай что, два,
Выкорчевывал темь лесную топор,
Под сохой поникала ковыль-трава.

И на север, на юг, на восток,
К студеным и теплым морям,
Муравьиным упорством упрямым,
Растекался сермяжный поток.
Сначала в излучах речных верховий
Высматривал волок разбойничий струг,
Готовясь острогом упасть на нови,
Как ястреб, спадающий камнем вдруг
На бьющийся ком из пуха и крови.
Выбирали для стана яр глухой,
Под откосами прятали дым от костров,
Кипятили костры со стерляжьей ухой,
По затонам багрили белуг, осетров,
Застилали сетями и вершами мель.
Так от реки до реки
Пробирались хищники, ходоки,
Опытовщики новых земель.
А за ними по топам, лесам,
К черной земле золотых окраин
Выходил с сохою сам
Микула — кормилец, хозяин.
Вырывая столетних деревьев пни,
Целиной поднимая ковыль седой,
Обливаясь потом, в пластах бороздой
Указывал он на вечные дни,
Где должно быть ей — русской земле.
Запекалося солнце кровью во мгле,
Ударяла тучей со степи орда, —
Не сметалась Микулина борозда.
С ковылем полегли бунчуков хвосты.
И бывая воля степей отмерла,
На солончак отхлынул Батый,
Зарылся в песках Тамерлан.
Так под страдою кровавой и тяжелой —
Всколосить океана иссякшего дно —
По десятинам мирскою запашкой
Собиралась Россия веками в одно.
А теперь... победивши, ты рада ль,
Вселившаяся в нас, как в стадо свиней,
Бесовская сила, силе своей?
Ликуй же и пойлом кровавым пьяней.
Россия лежит, распластавшись, как падаль.
И невесть откуда налетевшего воронья
Тучи и стаи прожорливой сволочи

Марают, кишащие у тела ея *,
Клювы стервлячи и зубы волчьи.
Глумитесь и рвите. Она мертва
И все снесет, лежит, не шелохнет,
И только у дальних могил едва
Уловимую жалобой ветер гложет.
И кто восстанет за поруганную честь?
Пали в боях любимые сыны,
А у оставшихся только и есть
Силы со стадом лететь с крутизны.
Глумитесь и рвите. Но будет и суд,
И величие, тяжкое предателям отцам,
Сыны и внуки и правнуки снесут
И кровью своей по кровавым кускам
Растерзанное тело ее соберут.
И вновь над миллионами истлевших гробов,
Волнуясь, поднимется золотая целина,
По океанам тоскующий океан хлебов,—
Единая, великая, несокрушимая страна!

Июнь 1917

ПОРФИБАГР

Залита красным земля.
От золота не видно ни зги
И в пламени тьмы мировой
Сквозь скрежеты, визги и лязги
Я слышу твой орудийный вой,
Титан! Титан!
Кто ты — циклоп-людоед
С чирнем глаза, насаженным на таран,
Отблевывающий непереваренный обед?
Иль пригвожденный на гелиометре
На скалах, плитах гранитной печи,
Орлу в растерзание сизую печень
Отдающий, как голубя, Прометей?..
Ты слышишь жалобный стон

* Ради сохранения рифмы устаревшая орфографическая форма дана без изменений.— *Сост.*

Родимой земли, Титан,
Неустанно
Бросающий на кладбища в железобетон
Сотни тысяч метеоритных тонн?..
На челе человечества кто поводырь:
Алой ли воли бушующий дар,
Иль остеклелый волдырь,
Взбухший над вытеком орбитных дыр?
Что значит твой страшный вой,
Нестерпимую боль, торжество ль,
Титан! Титан!..

На выжженных желтым газом
Трупных равнинах смерти,
Где бронтозавры-танки
Ползут сквозь взрывы и смерчи,
Огрызаясь лязгом стальных бойниц,
Высасывают из черепов лакомство мозга,
Ты выкинут от безмозглой Титанки,
Уборщицы человеческой бойни...
Чудовище! Чудовище!
Крови! Крови!
Еще! Еще!

Ни гильотины, ни виселиц, ни петли.
Вас слишком много, двуногие тли.
Дорогая декорация — честной помост.
Огулом
Волочите тайком по утру
На свалку в ямы, раздев догола,
Расстрелянных зачумленные трупы...
Мечь... Мечь... Мечь...

И ты не дрогнешь от воплей детских:
«Мама, хлебца!» Каждый изгрыз
До крови пальчики, а в мертвецких
Объедают покойников стаи крыс.
Ложитесь-ка в очередь за рядом ряд
Добывать могилку и гроб напрокат,
А не то голеньких десятка два
Уложат на розвальни, как дрова,
Рогожей покроют, и стар, и мал,
Все в свальном грехе. Вали на свал...
Цыц, вы! Под дремлющей Этной
Древний проснулся Тартар.
Миллионами молний ответный
К солнцу стремится пурпур.

Не крестный, а красный террор.
Мы — племя, из тьмы кующее пламя.
Наш род — рад вихрям руд.
Молодо буйство горнов солнца.
Мир — наковальня молотобойца.
Наш буревестник — Титаник.
Наши плуги — танки,
Мозжашие мертвых тел бугры.
Земля — в порфире багровой.
Из лавы и крови восстанет
Атлант, Миродержец новый —
Порфибагр!..

1918

СМЕРТЬ АВИАТОРА

После скорости молнии в недвижимом покое
Он лежал в воронке в обломках мотора, —
Человеческого мяса дымящееся жаркое,
Лазурью обугленный стержень метеора.

Шипела кровь и пенилась пузырьками
На головне головы, облитой бензином.
От ужаса в испуге бедрами и боками
Женщины жались, повиснув, к мужчинам.

Что ж, падем, если нужно пасть!
Но не больные иль дряхлые мощи —
Каннибалам стихиям бросим в пасть
Тело, полное алой мощи!
В одеянии пламенном и золотом,
Как он, прорежем лазурную пропасть,
Чтоб на могиле сложил крестом
Разбитый пропеллер бурную лопасть.

Зато
В твердь ввинтим спиралей бурав,
Пронзим полета алмазною вышкой
Воздушных струй голубой затор,
Мотора и сердца последнею вспышкой,
Смертию смерть поправ.

Покидайте же аэродром,
Как орел гранитную скалу,
Как ствол орудий снаряда ядро.

На высоте десяти тысяч
Метров альтиметром сердца мерьте,
Где в выси вечности высечь
Предельную скалу
Черных делений смерти!

1917

ИЗ КНИГИ «ЛИРИКА»

1918—1921

*

Эх, если бы украсть тебя от мужа
И ночью голую, не прошептав «люблю»,
В кошму закутать, прикрутить потуже,
Да припустить коня по ковылю.
Лишь свист в ушах. Безудержною скачкой
Несись, питомец бешеный степей,—
Но пеной, брызжущей с удил, не пачкай
Открытых плеч невольницы моей...
Уж близок полдень. В зное беркут клекчет,
И солончак сплит средь камыша.
Привстал скакун, и слышно — сзади легче
Добыча бьется, трепетно дыша.
Пора и мне раскинуться привалом,
Пусть бродит конь, покинувший узду.
И ты забудешь дикую езду,
Когда поднимет на восходе алом
Венера серебристую звезду.
Твои зрачки то полыхнут, то меркнут.
Я поцелуем пью с ресниц слезу.

И тенью точкою скользя вниз
Под солнцем, словно торжествуя, беркут
Мрачит железным клетком бирюзу...
Но тщетно тешусь грезой преступной:
Очнувшись, слышу ваш надменный смех
И вижу в блеске холод недоступный
Роскошных плеч, одетых в шелк и мех.

1918

*

Свершилось предрешенное. И вот
Для пытки медленной, для унижений.
Меня влекут на черный эшафот
К тебе в покой ведущие ступени.
А наверху, как будто лезвие,
На солнце иссекающее пламя,
Я знаю — ждет меня лицо твое
Безжалостное с синими глазами
Под мертвою плевою. А давно ль
По этим самым ступеням взбегая,
Я знал, что ждет меня (уймись же, боль)
Богиня радостная и нагая.
Здесь всё на миг. Где избранные те,
Чьи души движутся в любви бессмертной
Незыблемо, как звезды в высоте,
Вращаемые силою инертной.
Мужчине быть рабом любви — смешно.
Смири ж тоску железом и не требуй
От смертной женщины того, что небу
В его светилах солнечных дано.

1918

*

Я жду той полночи солнечно-золотой,
Когда, как яблоня в цветенье мая,
Закутанная млечной венчальной фатой,
С потупленными ресницами, застенчивая немая,
В пляшущих от факелов тенях — ты
Сойдешь королевою на корабельный трап
Моего Дельфина, океанской яхты,
Где я приму тебя, король твой и раб.
Грянет сигнал к отплытию — ты моя...
Дельфин среброспинный, острозубым тараном
Моря пересекая, уносишь, плыви
В тысячу и одну ночь, к сказочным странам
По Великому Тихому Океану Любви...
Тысяча и одна ночь неземного блаженства.
Качаясь на якоре в бухтах Цейлона,
Мы увидим в сиянье двойного торжества
.....

*

О, не сияй так, Луна! Луна!
На миг я видел в серебряной пене
Золотой треугольник, горящий, как нимб,
И после услышал в соловьином пеньи
Лай собак и крики нимф:
Где он? Где он?
Нечестивец смертный, стой.
Ты не избежешь, юноша пострел,
Смертоносных среброшерстных стай,
Златоперых стрел...
Эй, слушайте, нимфы! Я — Актеон.
Я тайну богини один подсмотрел,
Когда она в волны входила нагая...
Бегу, сворачивая, и слышу гон.
Все близятся своры, меня настигая.
О, сжался, Луна.
Ты не захочешь, чтоб у твоих ног
Лакали псы мои внутренности
И выли в небо над трупом нагим
Тобою затравленного оленя-юноши

Заливистым лаем твой волчий гимн
Я умираю от лучезарной ноши
Моей любви, Луна! Луна!

ЛОТЕРЕЯ ГИЛЬОТИНЫ

«Маркиз, вы спутаете опять менюэт.
Какой вы смешной и рассеянный сегодня!
Что с вами? Вам нездоровится?..» «О, нет,
Маркиза, мне вспомнился карнавал новогодний
И в ваших радостных глазах — ракет
Радужное золото...»

«Молчите, не вспоминайте — а то
Я ударю вас веером по руке.
Вы слышали новость? — в предместьях бунт.
Вчера туда опять погнали солдат...»

«О, мне не забыть роковой даты
Первого января и пурпурный бант
Ваших гибельных губ,
Вашей талии гибкой изгиб.
Маркиза, маркиза, в вечности целой
Мне будет мерещиться один поцелуй,
Насильно сорванный с ваших губ...»

Ах, как красиво горячая живая
Кровь с косыря гильотинного льет,
Пачкая голубого камзола золото,
Отложного воротничка кружева.
Две головы в искаженной усмешке,
Не в силах закушенный язык прожевать,
Падая, чокнулись и поцеловались в мешке...

Эй, граждане! Кому надо голов голье
С двух любовников,
Выигравших любовь
В беспроигрышную лотерею
Святой гильотины!



И я и ястреб распластан
В истоме тепла и плоти.
Без единого взмаха он
Плывет против ветра, планируя,
Бесшумно работающий кровью аэроплан,
Снизу узорный махаон,
Он взмыл, над землей измываясь,
И я таскаю такую ж тоску.
О, замогильный хищник, покуда
Не выцветила утренней сини
Полуденная полуда,
Вися неподвижно,
Из бронзовых крыльев неси
Священное египетское изображенье.
И я — с треб вечности
Залетный золотой ястреб.
И потому мои
Взлеты должны вечно нести
Мертвую ее печать,
Таская тоску
Томящегося в гранитной печи
Тысячелетнего кокона мумии
По размалеванному эмалью
Черному небу небытия,
.
Набальзамирована — она
Покоится.
Смотри — сколько ястребов,
Целая стая.
Они планируют и скользят на крыльях,
Управляя рулем хвоста,
Сверкают на солнце — эскадрилья
Самолетов истребителей,
Распятье ястребов из гробниц фараонов.
Мне мерещится — они спадают ниц
Золотым изображеньем на лоб покойницы.



Отчего ты с утра оделась в траур?
Узнаешь, невеста? Я твой жених.
В гонке часов золотой гонг
Полночи пробил для нас одних.
Как холодна твоя ладонь!
Ты утомлена. Отдохни.
Какими тлетворными душными духами
Сегодня ты надушилась.
Это не твои духи.
Их дурман похож на ладан.
Как посинели твои уста!
В твоём лице ни кровинки.
Ты устала
От музыки, танцев и вин.
О, целуй же, крепче целуй!
Мы одни теперь в вечности целой,
Дай причаститься смертной пены
Целомудренного ледяного поцелуя.
Я хочу позабыть мою вину,
Укрыть сердца красные раны
В лиловато-бархатный глянец гангрены.
.....



.....

О, ревность, ревность! Одной ее капли,
Как цианистого калия, довольно, чтоб остановить,
Истворожить только что за минуту пред тем
Полнозвучно и радостно бившееся сердце.
Знаете ли вы, какую нестерпимую пытку
Я выносил, когда вез вас к нему на автомобиле?
Сколько раз порывалась рука — одним
Мгновенным поворотом руля разбить
Вдребезги и машину, и себя, и вас,
Чтоб уничтожить копошащиеся там, в мозгу,
Как зародыши солитера, личинки ревности.

Нет! Лучше пуля в висок, нож в сердце,
Преступление, насилие. Все, что угодно.
Я не выдержу больше такой пытки.

.....

*

Какая пустота охватила меня,
Синевой твоих глаз в западню
Бетонированных траншей заманя...
Тралеры, черные бесшумные тралеры,
В трауре ночи крадучись,
Плавниками винтов копошась до утра,
Стальными сетями вытралили
Начисто
Все молнии — мины
Радости.
И солнце в опаловую опалу
Кровавьясь упало на запад.
Конец золотому дню.
И счастье минуло мимо.
Разве могло быть иначе...
О, я знаю, что я погиб
На приступе счастья.
В атаку в огонь брошены
Бешено
За частью часть, за частью часть.
И мне теперь не подчесть, не счесть
Кровавых потерь,
Не сомкнуть в рядах пробитые бреши.
Что ж, волокни, волокни
По терниям
Колючей электрической проволоки
Мои красные клочья и кинь
В бархатную яму волчью
Твоих напомаженных моею кровью губ,
Твоих один раз целованных моими губ.

ПАШНЯ ТАНКОВ

1921

*

Пусть, нагнетаясь, вспыхивает пустота.
Визжащему сопротивлению наперекор
В неустанном искании вперяясь вперед,
От старта до старости
Останься порывист, упорен и горд.
В аккумуляторах твоего черепа
Еще не исчерпан
Поэтических интуиций запас.
Еще не поставлен
И искровыми вспышками не записан
Твоих достижений предельный рекорд! *

ХОРЫ

Нервов нарыв,
Ноющее, окаянное я
Окунув, кануть
В миллионах, ионах,
Океанах — мы.
Я — в мы! Я — в мы!
В ямы! В ямы!..
Яичников яйцепроводы —
Головастиков спермы привады.
Плененный в совокуплении
Матерою маткою матери,

* Следующее далее стихотворение «Порфибагр» было включено М. Зенкевичем в кн. «Под мясной багрянницей» и воспроизводится в ее составе. — *Сост.*

Сперматозоид электронов — Я —
Прими в свое икряное нутро,
Мумму Тиамат, Тьмы Праматерь,
Бушующая энергиями — Материя,
Слепая, глухонемая,
Не знающая ни я, ни мы...
В тартарары, в тартарары
И мозга фосфоры, и крови пурпуры,
И волю, и разум!
От горько-соленого солонца
Горя,
На миллионосильном моторе
Торжественно горя,
Взлететь в Элизиум,
В Крематорий
Солнца!..



Довольно со скарбом скорби
По скале лет
Робко к черному нулю карабкаться,
Чтоб на красном экране паясничал, оскалясь,
Фиолетовой тенью скелет.
Обезвредим время! Наши черепа —
Всех его скоростей коробка,
От лучевых до черепаших.
Старости и смерти мертвые микробы —
Прививка бессмертия в солнечном теле.
Мы должны быть не рабы
Времен и пространств, а повелители!..

ПАШНЯ ТАНКОВ

Брызгая мозгом, расплющиваемые черепа
Лопаются, как под утюгом вши.
Сухопутные дредноуты, землечерпалки,
Карабкаясь по трапам трупов,
Танки тонут и тянут
Стонущие, черпающие пространство ковши...

Разворачивая утрамбованные воронками просторы,
По лугу черноземному, по лугу,
По бороздам волочат чудовищные тракторы
Орудиями утыканые плуги.
И под барахтающиеся в бархате
Штыков бороны —
Сеют пулеметов сеялки —
Полновесные, отборные
Человеческих жизней зерна,
Чтоб на жертвах из мертвых лучезарно
Взошли Будущего жатвы...
Так идут в атаку
Танки, по вспаханному
Елозя стальным пахом,
Нюхом разбухших от эрекции
Орудий обнюхивая ухающие горизонты,
Где свертывают бромом удушливые газы —
Легких и бронхов махровые газоны...
Огрызаясь лязгом на зуд
Осколков, колющих стенки брони,
Наступление пехоты обороняя,
Не оборачиваясь назад,
Оплодотворяя трупами — земли лоно,
Медленно, неуклонно
Ползут сквозь смерчи и взрывы
Бронированные бронтозавры —
Танки,
Как жующие мирную жвачку волю,
Твари, покорно творящие
Творческую карающую волю
Мировых революций...
А в небе зажатом в клубке
Разрывов авиаторам кажется,
Что в красной кашнице
На черно-золотом лобке
Земли — сотнями полощатся
Зудящие стальные плащицы.

<1918>

ГОЛОД ДРЕДНОУТОВ

Сирен отсыревшие басы.
Озябшей стали усталость.
Изголодавшихся дредноутов голодный бред.
До костей обглаживает ветер —
Норд-ост.
Растягиваясь в кильватер,
От натуги обезумевшие утюги
Утюжат, разглаживая
Топорщащуюся в складки угристой зыби
Угрюмую океанскую гладь...
Бессонных сигналов тоска живая.
Прожекторов астральные щупальцы,
Как долгие чугуннолитейный голод.
Недоедая, надоело
Стальным ихтиозаврам таскаться
По океану ночью вничью.
В холодном поту
Тринадцатидюймовые орудия
Пялятся тупо
В занавешенную облачным брезентом
Мертвую точку за горизонтом,
Куда ударяют молнии радио...
О, безопасность надежной базы.
В стойлах доков — теплый угол.
В люльке рейда — сонная качка.
В паровые котлы и турбины втяни,
Зеркальность палубы блестящими пачкая,
Черную жвачку — каменный уголь,
Золотую патоку радужной нефти!..
Тогда-то в открытую без утайки,
Распугивая стаи миноносцев и истребителей,
Со скоростью двадцати восьми узлов
Сорвавшиеся с якорной цепи,
Кровавою пеной по бортам заалев,
В крупы крупповской брони вцепились
Мертвою хваткой — «Лайон» и «Тайгер»,
Крейсера-дредноуты адмирала Битти...

1917

СТРАДА ПЕХОТЫ

Ни деревца золотolistvenного, ни кустика.
Все заглушили проволочные тернии.
Вспученными могильниками окопов оголясь,
Земля в воронки вихрится просторнее.
Чу... Первый проснувшийся голос
Сталелитейного прибора,
Вырываясь из кова
Замка, завыл, пробуя,
Какова
Утреннего неба акустика.
Крепче, крепче
Удерживайте в навинченной на череп
Стальной миске
Предохранительной каски
Готовые разлететься в дизентерийные брызги
Мозги...
Ничего.
Немного мяса, и чугуна
И глины куски...
Разве артиллерия, нас погребая,
Визжа,
Из жалости не бросит ни одного бутона
Пироксилиновых роз разрыва
В рвы, в погреба
Из железобетона...
На дне окопов,
Роя себе могилы, копошиться
По месяцам —
На каждую пушечную глотку
Из своих рядов в дань
Вычерпывая и вырывая в день
По ведерному крови глотку
И по пуду свежего мяса...
Какой головорез-авиатор, сгорая
От взрыва мотора, сравнится с вашей
Выдержкой, — о, серые герои
Безликой пехоты,
Средь орудийной и минометной пахоты
Облепившие миллионами вшей
Загаженные земляные складки и швы.
Легче, поднимаясь в небо,
Колесики шасси от земли оторвать,

Чем отяжелевшее тело ото рва,
И, вылезая, спотыкаясь, идти на бой,
Глазами лоя наступления цель,
Закрывая лицо лопаткой шанцевой,
Бросая мгновенно гложущее «ура»
В огонь ураганный,
Без единого шанса
На то, что останешься цел...
Высокий и светлый, он не мог дожидаться
Конца всесветной красной страды
И в серой шинели в солдатские ряды
Ушел с эшелонами в шрапнельные дожди —
Туда, на фронт, зная, что на верное
Назад не вернуться...

1918

СТАКАН ШРАПНЕЛИ

И надо мною, как над ним,
В лазури зрело,
Облачась
В золотоструйный нимб,
Дымчатое облачко...
Недолет... Перелет... Верно... В ряд
Ложился в жилые жилы
Земли, раскапывая
Окопов копи,
Месиво
Человеческого мяса мяса,
Разметывая туловищ опметки,
Размызгивая мозги,
Солнцем разрыва целуя цель,
Ложился
В бархатное черное ложе
За десятидюймовым снарядом снаряд...
И я вместе с ним, как на полигоне на стрельбище,
С горячностью, смешанной
С гордостью, смотрел в бинокль, корректируя
Родной батарее парадную стрельбу
По живой невидимой красной мишени...
А в утрамбованном небе в воздушном заторе

Нагнетая визжащими поршнями гнет,
Сверлами обнаженные нервы сверля,
В мой мозг, как в точку полюса, жаждали
Отмеренными меридианами
Опереться — издали
Спроектированные смертью траектории...

1918

АВИАРЕКВИЕМ

Пропела
И в смерти смерчей пропала
Бурная эра
Пропеллера.
Другая лазурная открылась за ней.
И только с лопастей могильного креста
Воздушным дредноутам сияет красота
В величии алых державных дерзаний...
Озабоченный меньше
Опасностью, чем неудачным полетом,
На своем моноплане, как буй, виляя,
В океанской зыби в Ламанше,
В ожидании миноносца неподмоченной трубкой
Спокойно затягивался Латам, —
После мотавшийся красною тряпкой
На рогах африканского буйвола...
Пить... Пить...
И призрак девушки, склонясь, вытер
С лица побелевшего предсмертный пот.
Какой ветер! Какой ветер!
Горящую голову в облачной марле
Замораживает Альп ледниковый компресс.
И в висках восковых умерли
Красные перебои... Шавез... Шавез...
Аэроплана кружащегося мошку
Издали на глазомер
В паутину прицела сажая на мушку,
Пулеметными челюстями залязгав,
Лавируя из жерл орудий прожорливых,
С лету кровавую жертву ловил
Безногий калека Гвинемер,

По небу катавшийся в ручной коляске...
Трех измерений наглое лганье.
Мы видели, как с неба в четвертое падали.
Винтовыми нарезамн взлета нанизав
Стоячую черную дрему
Муравейника, копошащегося внизу
В мураве по изумрудному аэродрому,
Выпустив руль, с трамплина педали
Прыжком пловца слетел Леганье...
Улучить мгновенье счастливого случая
И кувыркатся спазмами на биплане,
Две ревушие бешено машины случая
В воздухе в иступленном совокуплении.
И, в истоме застопоренного мотора замлев,
Блаженной улыбки с лица не стерев,
На труп противника спланировал к земле
С переломленным позвоночником мертвый Нестерев...
Вечно за жизнь свою с испугу
Дрожащие, смотрите! Смотрите!
Истлев и воскреснув в мертвой петле,
На экране неба в сумасшедшем прицеле
Снарядом летящего цилиндра
Обстреливая солнечные недра,
Экспроприируя вечность, производит Пегу
Амортизацию смерти...
Кровью и мозгом истекая,
Падали один за другим, презирая
В поставленных мировых рекордах призы
За цирковую небесную эквилибристику,
Презирая
И призрачной славы призывы,
И жизни и смерти фантастику.
Спите же, загонявшие кубарем винта
Пространств пристрацию,
Захлестнувшие в мертвых петлях в ремни
Сидений мнимость седеющего времени!
Спите, павшие! Спите, испившие
В смерти бессмертье!

1918

АЛЬТИМЕТР

Какая щемящая высь.
Пятидесятипудовый аппарат
Утратил мнимый вес.
Пропеллер полощась повис.
Мотора оплот
Исчерпан весь.
Призрачной стала плоть.
В безмерный вневременный простор
Авиапарад
Золотых плоскостей простер
Поэт и художник — пилот...
Нестерпим близкого солнца блеск.
Без стекол консервов ослепнуть легко.
Разрежен синий воздух горний,
И режущим холодом чрез респиратор
Эфир замораживает легкие.
И кровь створаживаясь угарней
Заклепывает сердца клапаны.
Страшного давления жженье.
На волос от взрыва мозга карбюратор,
До отказа завинчены нервов троса...
Полно. Полно.
Разве творцы, как трусы,
Умирают от радости
И полноты достижения.
Терция... секунда... не больше. Пускай
Неизбежен спуск центробежному пиру.
Назад к земле спускаясь,
В вихре вихляющийся аппарат
Выравнивая, ворожа виражи, планируй,
Скользи на крыло,
Чтоб головокружительное паденье
Медным цилиндром не накрыло
Череп, расщепленного в черепки...
Что в свисте спуска свистящая слава!
Божественен один ослепительный день,
Когда бессмертное празднует Я
Созданье совершенного произведения,
О пилоты звука, краски и слова!

СО СМЕРТЬЮ НА БРУДЕРШАФТ

1916—1924

СТАКАН ШРАПНЕЛИ

И теперь, как тогда в июле,
Грозовые тучи не мне ль
Отливают из града пули,
И облачком рвется шрапнель?

И земля, от крови сырая,
Изрешеченная, не мне ль
От взорвавшейся бомбы в Сараеве
Пуховую стелет постель?

И голову надо, как кубок
Заздравный, высоко держать,
Чтоб пить для прицельных трубок
Со смертью на брудершафт.

И сердце замрет и екнет,
Горячим ключом истекай:
О череп, взвизгнувши, чокнется
С неба шрапнельный стакан.

И золотом молния мимо
Сознания: ведь я погиб...
И радио... мама... мама...
Уже не звучащих губ...

И теперь, как тогда, в то лето,
Между тучами не потому ль
Из дождей пулеметную ленту
Просовывает июль?

1924

1. НОКАУТ

НОКАУТ

В бессоннице ночи, о, как мучительно
Пульсируют в изломанном безволием теле —
Боксирующих рифм чугунные мячи,
Черные в подушках перчаток гантели.
За раундом раунд. Но нет, я не сдамся.
На проценты побед живя, как рантье,
И поэт падет, как под ударами Демпси
И Баттлинг Сики пал Карпантье...
Слышать — как сорокатысячная толпа рукоплещет
И гикает, и чувствовать, как изо рта
И из носа кипятком малиновым хлещет
Лопнувшая шина сердца — аорта.
И бессильно сжимая сведенные пальцы,
В тумане обморока видеть над собой
Наклоненное бронзовое лицо сенегальца,
Упоенного победой, торжеством и борьбой.
Готовый к удару, он ждет. Но не встанет
Сраженный, и матча последний момент
Уже желатином эфирным стынет
В вечности кинематографических лент.
Боксер, иль поэт, о, не все ли равно
Как пораженным на месте лобном лечь.
Нокаут и от молний в глазах черно,
Беспамятство, и воли и поэзии паралич!

БУХГАЛТЕРСКАЯ БАЛЛАДА

Входи осторожно и дверь не торкай,
Заглянув в приоткрытую будущим щелку...
В конторе за составленной из гробов конторкой
Кто-то лысый сидит, на счетах щелкая.

Но почему, как свинец расплавленный, тяжести
И четко отчетливы и звонки —
На проволоку насаженные костяшки,
Высохшие желтые позвонки?

Ни секунды неучитанной не теряя,
С платком, повязанным на скуле,
Разносит время по тройной бухгалтерии,
Главный бухгалтер смерти, — скелет.

Обмер я, взгляд его впадин встречая.
Он же сидит себе, как истукан,
И перед ним недопитый чая
С плавающими мухами стоит стакан.

Потом, как назойливому просителю, чинно
Проскрипел под челюстей хлопающих стук,
Запахивая, пропахнувший от нафталина,
С какого-то покойника снятый сюртук.

«Чего же хочешь от жизни еще ты,
Отравленный счастьем кокаинист?
Все на костяшках отстучали счеты,
Баланс подбитый — верен и чист».

От книг и журналов ударило в трепет,
Хоть я и не понял в них ни черта, —
Статьи и параграфы, кредит и дебет,
Под нулями красная внизу черта.

Боже, как цифры точны и жестоки!
Этот ни за что не даст украсть:
Через всю страницу в последнем итоге
Прочерчен огромный черный крест.

Послушай, скелет! По счетной части
Помощником бухгалтера служил я сам.
Погоди, ростовщик! Заплачу я за счастье
Золотом стихов по всем векселям!

1922

Бессонница

I

И сон — как смерть, и точно гроб — постель,
И простыня холодная — как саван,
И тело — точно труп. Не на погосте ль,
Как в склепе, в комнате я замурован?

Веков десятки тысяч, не секунд,
У изголовья ж крест оконной рамы...
Но разве ночь лучи не рассекут,
О воскресенье весть не грянет пламя?

II

Рассветный саван раздирая, сипло
Горланят петухи, и как в тисках
У астмы сердце. О, на этот час налипла
Всех смертников предсмертная тоска.

Рассвет, он, как шофер, еще в зевоте,
Дыша сырцом, в сыром дождевике,
Весь перемазавшись, в грязи заводит
Завод и возится в грузовике.

Взорвавшись оглушительною вспышкой,
На весь тюремный вымощенный двор
Вдруг выстрелит как бы сигнальной пушкой
И заревет взъярившийся мотор.

И замурованные в склепах камер,
И тот, кто спал, и тот, кто не уснул,
Оцепенев, на койке каждый замер,
Услышав рвущийся сквозь стены гул.

Эй, складывай монетки. Узел жалкий.
Курнуть бы, да цыгарку не свернуть.
Поможет кто-нибудь и зажигалкой
Даст огоньку в последний страшный путь?

Скорей, скорей, чтоб солнце не видало.
Покуда день еще белес и сер,
Туда, где под березками вода
Весною вырыла в песке карьер...

Так наводнение дня волной свинцовой
Льет в комнату ко мне в оконный шлюз.
К последнему расчету неготовый,
На что теням вошедшим я сошлюсь?

Коль смерти грузовик подкатит тяжко
И совесть наведет в лицо наган,—
Последнею махорочной затяжкой
Кем будет братский поцелуй мне дан? *

ГИБЕЛЬ ДИРИЖАБЛЯ «ДИКСМЮДЕ»

— Лейтенант Плессис де Гренадан,
Из Парижа приказ по радио дан:
Все меры принять немедленно надо,
Чтобы «Диксмюде» в новый рейс
К берегам Алжира отбыл скорей.
— Мой адмирал, мы рискнули уже.
Поверьте, нам было нелегко.
Кровь лилась из ноздрей и ушей,
Газом высот отравлялись легкие.
Над облаками вися в купоросной мгле,
Убаюканы качкою смерти,
Больные, ни пить, ни есть не могли.
Пятеро суток курс держа,
Восемь тысяч километров
Без спуска покрыл дирижабль.
Мой адмирал, я уже доносил:
Нельзя требовать свыше сил.
— Лейтенант, вами дан урок не один
Бошам, как используют их цеппелин.
Я уверен — стихиям наперекор
Вы опять поставите новый рекорд.
— Адмирал, о буре в ближайшие дни
Из Алжира сведения даны.
Над морем ночью вдали от баз
В такой ураган мы попали раз.
Порвалась связь, не работало радио,

* Далее следует стихотворение «Смерть авиатора», которое также было включено М. Зенкевичем в кн. «Под мясной багрянцей» и воспроизводится в ее составе.— *Сост.*

Электрический свет погасили динамо.
Барабанили тучи шрапнелью града,
И снаряды молний рвались под нами.
Кашалотом в облачный бурун
Мчался «Диксмюде» ночь целую,
Боясь, что молниенный гарпун
Врежется взрывом в целлулоид.
Адмирал, в середине декабря
Дирижабль погубит такая буря.
— Лейтенант, на новый год уже
В палату депутатов внесен бюджет.
Для шести дирижаблей «Société Anonyme
De Navigation Aérienne» * испрошен кредит.
Рекорд ваш лишний не повредит,
Для шести ведь можно рискнуть одним...

И, слегка побледнев, лейтенант умолк:
— Адмирал, команда выполнит долг.

Улетели, а в ночь налетел ураган,
И вернуться приказ по радио дан.
Слишком поздно! Пропал дирижабль без следа,
Умоляя по молниенному излому
Безмолвно: «Диксмюде» всем судам...
На помощь... на помощь... на помощь...
После бури декабрьская теплынь.
Из пятидесяти двух командир один
В сеть рыбаков мертвецом доплыл
С донесением, что погиб цеппелин:
Стрелками вставших часов два слова
Рапортовал: половина второго!
С берегов Сицилии в этот час
Ночью был виден на небе взрыв,
Метеор огромный, тучи разрыв,
Разорван надвое, в море исчез.
Но на крейсере, как на лафете, в Тулон
Увозимый, в лентах, в цветах утопая,
Лейтенант Гренадан, видел ли он,
В гробу металлическом запаян:
Как вдали, на полночь курс держа,

* Анонимное Общество Воздушной Навигации (фр.).

Хватнуть бы спиртику после работы»...
«Эй, товарищи. Заря занимается,
Пора подниматься»...

О, безначальная звездная россыпь
Редеть начинающей ночи,
Рассыпь, рассыпь
Крупинки алмазного песка
В воронку запекшегося виска,
Высушивая черной крови чернила.

ЦАРСКАЯ СТАВКА

Ваше Величество, раз вы сели
В дьявольский автомобиль, уймите нервы.
Представьте, что вы едете на маневры
Гвардии около Красного Села...
Алые груди надрывая в ура,
Лихо в равнении заломив кивера,
С музыкой молодцевато и весело
Пронесут преображенцы штыков острия.
На кровных лошадях красуюсь гордо,
Палашами молнии струя,
Пылают золотом лат
Кавалергарды,
Словно готовые в конном строю
Захватить неприятельскую батарею.
Какой великолепный парад!
В безоблачном северном небе рея,
Фарманы и Блерио парят...

Манифест об отреченье — страшный сон.
Мчится автомобиль в ночь, и рядом
Шепчет испуганно прижавшийся сын:
— Папа, папа, куда же мы едем?
А помните Ходынку и на Дворцовой площади
Иконы в крови и виселиц помост.
Как Людовику XVI-ому, вам не будет пощады,
Народ ничего не забывает и мстит...
Что за зверские лица! Почему впопыхах
Они грузят в запас с бензином бидоны?
Какие приказанья им отданы?

Куда повезут? Не спросить никого...
Пустые опасенья за судьбы трона.
Вы не спали ночь, измучились за день.
Помазанника божия кто смеет тронуть?
Оглянитесь — вы видите — скачет сзади
С винтовками в чехлах, в черкесках, в папахах
Лейб-атаманского полка конвой...
Забыть про это дурацкое царство,
Все утопить хоть на миг в коньяке
На полковом празднике среди офицерства
И улизнуть незамеченным никем
Проветриться у Кшесинской в особняке.
Что это за казармы, черт подери!
Не солдаты, а пьяные мародеры.
Ваше Величество, повелите
Этим мерзавцам убраться отсюда,
Отдать их под военно-полевой суд...
Поздно! Из дома любовницы не выкинешь
Засевшие революционные броневики...
Последний раз всей семьей вы в сборе
На погребень. Как долго митрополит служит!
В мраморных саркофагах в Петропавловском соборе
Ни вам, ни императрице, ни наследнику не лежать.
Опять в Петрограде рабочие забастовки.
Георгиевских кавалеров послан отряд.
Досадно, пожалуй, придется из ставки
Выехать в Царское. Что за народ!
Нет, Ваше Величество, двуглавый орел
Насмерть подбит. Последняя ставка
Ваша бита и платеж — расстрел.
Только бы выбраться с семьей отсюда.
В зеленой Англии виллу купить.
Скрывшись от всех, за оградой в саду
Подбивать деревья, грядки копать...
От дождя разбухают скрипучие барки.
Студеный и желтый течет Тобол.
Опять переезд. Теперь в Екатеринбурге.
Нет! Никогда не уймется та боль,
Что осталась от отреченья, и не уйти от суда...
Услужливо открыли автомобиля дверцу,
Злобные лица в усмешку скривив:
Ваше Величество, мы прибыли ко дворцу,
Осторожней слезайте, не измажьтесь в крови.
Последний раз обнимите сына,

Жену и дочерей. Как руки дрожат!
Соблюдайте достоинство вашего сана,
Здесь нет камергеров вас поддержать...
На костер волочите их вместо падали.
Ничего, если царская кровь обольет.
У княжон и царицы задирайте подолы,
Шупая, нет ли бриллиантов в белье.
Валите валежник. Не поленитесь,
Лейте бензин, — золотом затопить
Последнюю царскую ставку — поленницу
Дров, огневеющих ночью в степи.

ЧАПАЕВСКИЕ ПОМИНКИ

Куда ты дивизию свою завел,
Эй, Чапаев!
Далеко залетел ты, красный орел,
Железными когтями добычу цапая.
Смотри, как бы в тальнике,
В камышах, на приволье кладбищенском
Не разбили себе чугунные лбы
Советские броневики
На привале под Лбищенском...

С Яика, гикая, налетели лавой,
Пики у стариков болтаются сбоку,
Под метлами бород образки на груди,
Шашками машут над головой.
В панике сонные обозы сгрудились...
С лезвий стекает кровища
По бородам на серебряные образки...
Утро, калмыцкими глазками смейся,
Красные, трахомные лучи раскинъ,
На трупные поленницы красноармейцев...
«За власть советов... Все, как один, умрем»...
Подхватил и оборвал напев запевала...
Искали товарищей, и от крови рвало,
Копали могилы, в степь грозя кулаком.
Как Ермак, в студеной воде утопая,
Сгинул в побоище ночном Чапаев,
Но зато, оправившись от заминки,
Справили чапаевцы по нем поминки...

Закрома, ометы, гурты — начисто.
Словно тому назад лет сто
Степь гола — ни двора, ни кола.
Вылетайте уток бить, сокола.
Плещись, осетр! Скачи, сайгак!
Никто не собирает с вас ясак.
От безумия голодом исцелена,
Под полынью иссохнувшая целина
Ждет, когда в тундры ковыльного мха
Врежутся тракторов лемеха!

1921

ПОВОЛЖЬЕ

Черношоколадные пашни
И любимые с детства
Золотовласые поля, в которых нежней,
Чем в косах девушки гребни черепашьи,
Увязают сноповязалки и жнейки.
О, по воле же
Дьявольской какой в трупоедства
И людоедства край обращенное Поволжье!
В поисках пищи по кладбищам странствуя,
Грежу и я, что снова лето
Знойное в ливнях и снова залито
Черное в червонное золото
Тысячеверстное пространство.
И вижу, как движутся непрерывно
Пыхтящие тракторы и локомобили,
В синем угаре горизонта меряя
Ломящиеся соломой от изобилья
Янтарного — пшеничные прерии.

III ТРАНСОКЕАНСКАЯ ТОСКА

СИРЕНА

Бывает, кажется ль туман сырей,
Угрюмей океан и неизбежней рейсы,
Норд-ост пронзительней и горизонт серей
Иль в гавань позовет маяк — согрейся,

Но и морских гигантов тянет взвыть,
И жаловаться, и реветь сиреной.
И к корпусу стальному ближе звать
Подруг, обвитых кружевной пеной.

Тоска трансокеанская! А здесь,
Как исполинской боли разрешитель,
Стихов сгоранье, взрывчатая смесь
И наглухо завинченный глушитель!

1916

*

В безвременье времени турбины воли,
Как океанские пароходы, роют винтом
Мгновенный поверхностный след, — не его ли,
Смотри, пожирают волны вон там.

Все призрак. Живет лишь один настоящий
Над нашими я, над смертью, для нас
Клокочущий яхонт, смарагд кипящий,
Опенивающий пароходный нос.

Ни на что не надеясь, ни в чем не каюсь,
Без прошлого и будущего, с бездной в ладу,
Под волнорезом настоящего плыть, кувыркаясь,
Обгоняясь, играя, как дельфин молодой!

*

О, тихоокеанский мертвый штиль,
Безветрие, бессилие такое.
Безвольный океан, заснул он что ль
Зеркальностью в слепительном покое.

Так злятся моряки: «Какого черта!»
С досадой в море сонное плюют.
Ни одного узла. Почти у порта
Уже неделю проторчали тут.

И вдруг ослабнет зноя страшный тормоз;
Почуяв нюхом парусов врага,
Со всех сторон овихрен воем шторма,
Замечется и заскрипит фрегат.

Так, истомясь безветрием и спячкой,
И я в волненье, рифы рифм беря,
Вдруг чувствую, охвачен мерной качкой,
Как волны строф накатывает буря.

У ЭЛЕВАТОРА

К сосцам бетонным — я смотрю —
Припал, сосет зерно китеныш,
И золотом налился трюм, —
Смотри, объешься и утонешь!

Сопит парами и сосет —
И кормит грудью элеватор
Трансокеанский пароход,
Изведавший и шторм и ветер.

Не все же в гавани дремать,
Припав под бок к пшеничной ниве,
И лентою ременной мать
Не все ж сосать, стальной ленивец!

Отшвартоваться и отплыть,
Цепями якорей заляскав.
Земные груди так теплы,
Но океан-отец — не ласков!

Земля, сытнее накорми
Детеныша янтарным кормом,
Чтобы от носа до кормы
Захлебывался в качке штормом!

1923

НА «ТИТАНИКЕ»

О, берегись, берегись,—
Ринувшийся в бешеном беге,
В рекордной горячечной гонке
От берега к берегу
Пересекать Атлантику,—
Только что от стальных сосцов стапеля
Отпавший новорожденный гигант,—
«Титаник»,—
Ты не смог утерпеть,
Чтоб не врезаться в полярное минное поле,
Где разбросаны ледяных торпед
Айсберги...

Целый час смотрела, за борт склонясь,
Как прыгали, резвясь, дельфины
В кипящий нарзан под пароходный нос...
«Знаешь, о чем я думаю?
С каким нетерпением дома, в Филадельфии,
Без конца перечитывая телеграмму,
Папа с мамою ожидают нас
Из нашего морского voyage de pose» *.
«Тебе холодно, Элен. Дай я укутаю
Твои ноги в плед.
Лучше, если б ты надела
Мой плащ...» — «О нет! Мне совсем тепло.
Знаешь, мне будет больно расстаться с нашей каютой,
Как раньше с моей девичьей комнатой.
Странно думать — мы будем дома
На той
Неделе...»

Багровое солнце в парусах фиолетовых
Спускает якорь в закатный рейд,
И белою чайкою вуалетка
Играет с брызгами ее кудрей...
Весенней океанской ночи темень,
И Венеры вечерней звездное ложе.
И я был между теми,

* Свадебное путешествие (фр.).

Кто платил юности безумные дани.
Отпуская все прегрешенья, возложи
Холодные ладони
Белоствольных рук на жаровню моего темени,
Снежной эпитрахилью твоих одежд осени
Коленопреклоненного меня,
Готовящегося принять евхаристию
Божественного счастья
Из вознесенного потира твоих колен.
Элен! Элен!
Серебряное солнце моей золотой осени!..

Толчком друг другу в объятия брошены,
Поскользнувшись, смешались пары,
В кают-салонах в вальсе
Кружащие кружевную канву, —
С замороженным шампанским звякнул хрусталь
Бокалов у лакеев на подносах, —
Когда на льдине, подведенной под нос корабля,
Стальными балками ребер хрустя,
С осколками льда в броневой брьюшине,
Застопорив пары,
Замер «Титаник» в предсмертной конвульсии.
Кипящие внутренности открыв,
Тщетно чавкают машины, пробуя
Помпами выкачать черную кровь
Океана, хлынувшего в пробоину.
В близкую гибель еще не веря,
Медлили. Живей! Живей! Поторапливайтесь!
Спущенные в воду шлепнулись шлюпки,
Выстроилась команда по трапам.
Трупным холодом по телу подуло.
«Расступитесь! Дорогу дайте —
Первыми сойдут женщины и дети!»
Обезумевших от страха парализуют дула
В упор наведенных револьверов...

«Ты опоздаешь, Элен... Торопись... Торопись...»
«Нет, я без тебя не пойду... не пойду...»
Отрываясь, поднял повиснувшую в обмороке
И в ужасе на миг оцепенел, смотря,
Как исчезал ее белый призрак во мраке
По пружинящим жилистым рукам матросов...

От утопающих веслами отбиваясь, крикам
Не внимая, отплывайте, — черной лавой
Уносимые, — по концентрическим кругам
От преисподней, разъявшейся над нашей головой!
Я должен пламенем душу омыть,
В волнах миллиардов лет купаясь.
Разве с твоим именем страшен черный омут,
Со мной золотой обручальный спасательный пояс.

Не прощай, а до свиданья, Элен! Элен!
Перед смертью я успел принять причастье
Из золотого потира твоих колен,
И теперь, как ты, бессмертен и чист я...

Гаснет электричество. Поют псалом.
От гиганта, в океане гибнущего, останется
Молящий о помощи молниеносный излом
В приемниках земных радиостанций...

1916—1917

IV. В БЕЛЫХ БАЛАХОНАХ



В балахонах белых в ночь такую
В саванах силятся поползти
Цепи метелей, атакуя
Железнодорожные пути.

Перебежка, поземок, — и защиты
Ища, окапываясь, лежат,
Но в заградительные щиты,
Как в заслон пулеметный, путь зажат.

Бросятся, и в ледяном дожде,
За атакой бешеною вслед,
Проволоку телеграфных заграждений
Ножницами режет гололед.

Свист и вой, и визг, и разрывы,
Ветром подкошены, угробясь,
Белые цепи ложатся в рвы
Братской могилою в сугробы!

*

Что они ноют томительным стоном —
Иль неумолчный рев и вой
Хотят звенящим своим камертоном
Настроить в реквием хоровой?

Или на них ночная атака:
Цепи воздушные опять
Подползли и бросились из мрака
Загражденья проволочные рвать?

Ветер, не бреди и не рви,
Как у больных зудящих зубов,
Обнаженные взвинченные нервы
Телеграфных застуженных столбов!

*

Дороги, какой поживы ища,
Визжа под полозьями, ночью в степи
Волчьей стаей куда вы бежите, склещась
Перекрестками так, что не расцепить?
Так и надо! — на слом приволье усадьбы,
Под пеньки столетние липы аллея.
Свищет ветер — пожаром ему поплясать бы,
На десятки верст в округу заалев.
Охрусталены, яблони в блеске застыли.
Что я слышу? с веранды как будто рояль?
«Ты сидишь одиноко...» Чей голос? Не ты ли
Поешь и к тебе склонился не я ль?
И лыжи примерзли, повисла двустволка.
Так волнуящ томительный голос твой,
Голос призрака, что и меня, как волка,
Под рояль твою тянет на жалобный вой.

Под луной на поляне и мне подвывать бы,
Где, взъерошив шерсть, скошась к весне,
На морозе крещенском волчьи свадьбы
Золотою мочой прожигают снег.

*

Налажены лыжи, и узлом сухожилий
Стрельнул, пересекши дорогу, русак,
И легкие ветром морозным ожили,
Как на льду у буера паруса.

Глазами двустволок смотреть и, оскалась,
В ознобе зубами курковыми ляскать
И касаньями лыж, еле слышными, вскользь
Нетронутую белую целину ласкать.

У горизонта, горячий след потеряв,
Сбившись в комок золотой, на ночлег
Падает солнце, как озябший тетерев,
Наевшись хвои, в пуховый снег.

За гуськом лошадей храпящих волочим
Арапник — а у млечного столба
В небе намазана салом волчьим
Месяца железная скоба.

*

Поцелуй на морозе. Осмелся попробуй!
Рот смеющийся — алая скоба,
У ворот посиневший от стужи пробой.
Поцелуешь, пристанешь к железу губами.
Не отцепишь и ласкою не отдаришь.
Приворот ее крепок. Усилий не трать,
Губы в кровь искровавишь, а не отдерешь,
У ворот простояшь, продрожжишь до утра.
И увидишь, примерзнувший к поцелую,
Как, боясь рассвету в силки попасться,
Лунными стаями побегут врассыпную
По снегам голубым голубые песцы.

КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНЬЕ

Изо льда, как из мрамора, крест иссеченный,
Ледяной с евангелием ледяным налой,
И морозом двадцатиградусным пригвожденный
К распятью раскрашенный Христос ледяной.

На горбах песков дорогой окольной
Колыхались кибитки ковровых саней
И небо в музыке колокольной
От голубиных стай казалось синей.

Пятерней прикрывая полость паха,
Бежали мужчины вперегонки,
Крестились и прыгали в прорубь с размаха,
И блестели саженками всплески руки.

Старушечье, темное, жабье тело
Опускали бережно на простыне,
И губами могильными шелестела,
Как ведьма, поджариваемая на огне.

И купалась девушка в льняной сорочке
И над глазами русалочьими у нее
Сверкали ресницы в оторочке
Вишней зацветшего инея.

О, ветер полярный, у отмели майны
Вкруг тел обнаженных в студеный май
На игрище языческой тайны
Всколосившейся метелью растай!

Не для нас ли издревле железом кипел,
У полюса прорубью парной пробитый,
Как серебряная крещенская купель,—
Океан родимый Ледовитый!

1920—1921

ПУШКИН

Черт меня дернул с умом и талантом родиться в России.

А. Пушкин

Пушкин! Пушкин! И кто его пестовал
Там, где дворню меняли на пса,
Где с петли оборвавшийся Пестель
Правду кровью своею писал?

Как зажгли самодуры-холопы
Это солнце в унылой стране,
Где, свежуха, шпицрутены хлопали
В плаче флейт по кровавой спине?

Здесь ведь, только убивши, оценят
И оплачут на смертном одре
Мрамор лба под венцом гиацинтов,
Шелк хмельной виноградных кудрей!

Все он знал, полубог и повеса,
Как отведавший яду Моцарт,
И под выстрел бретерский Дантеса,
Улыбаясь, он шел до конца.

Не открывши: «Вина это ваша...»
Не шепнувши: «Усну, я устал...»
Тише... тише... склонилась Наташа
С поцелуем к остывшим устам.

Но он наш целиком! Ни Элладе,
Ни Италии не отдадим:
Мы и в ярости, мы и в разладе,
Мы и в ужасе дышим им!

1924



На журавле в колодец неба
И солнца медное ведро
Заброшено и шарит, где бы
Черпнуть краями серебро.

И пегих нив пред водопоем
Сбежались пыльные стада
И ждут, когда от синих поем
Польет студеная вода.

Вот щелкнул молний бич и ну
Стегать по тучам и в угоду
Заржавшему их табуну
Плескаться холодом в колоду.

Насторожившимся ушам
Всех листьев хочется, чтоб вняли
Они широкий ровный шум —
Тяжелое паденье ливня.



Нега снегов. Не с ума схожу ли?
Рану под сердцем мороз не залижет.
Знаю одно —
Что опасность все ближе,
Двух зрачков голубые выстрелы.
Сладкая мука,
Хочется крикнуть на ветер — я твой!

Лыжи! Лыжи!
Золотые стрелы,
Ласково пущенные в снег
Шелковой тетивой
Малиновых сухожилий
С белого лука
Девичьих ног!

ВОДОСВЯТЫЕ РАСПУТИНА

Вот промелькнул и мост Тучков
И Тучков буян.
И во льду зимующие барки,
И на снег навалившаяся туча
Стволов, ветвей и сучков,
И берез-белые бирки
На болоте в Петровском парке.
Вспугивая деревьев полночные дремы,
Бешенством бега обуян,
Мчится, похрустывая от толчков,
Точно с экрана из кинемодрамы
Соскочивший призрачный автомобиль...
Вот и майна, крещенская прорубь,
Купель серебряная с живой водой,
И в черном небе пламенный голубь,
Голубем реет дух святой.
«Григорий Ефимыч, батюшка, приголубь,
Излей в утробу огонь золотой...»
«Велика сия тайна. Не трожь, не замай.
Дьявола воля, —
Окупнись разочек, слезу в майну...»
В кровоподтек свинцовый — в полынью,
Где створоженная мерзлая вода рябит,
Под лед метнули молнию
Из фонарных орбит
Вылупленными лупами незрячие
Глаза автомобильные рацы...
«Миленькой, зазябнул маленько,
Купаясь в крещенской воде...
Едем отогреться в Акварнум
Аль поближе в виллу Родэ.
Там с шансонетками заварим

По тебе поминальную кутью,
До утра до третьих петухов кутнем...
Аль к тебе на фатеру, козь больно зазяб.
Сладости, торты, наливки в графинах.
Чать отогреешься подле баб,
На фрейлинах, княжнах, да графинях...
Погодь здесь, покудова не рассвело.
Повезет тебя Вырубова к царице
Из мертвецкой в Царское Село.
Там отдохнешь в потайном склепе.
С тела оттаявшего водицей
Святою крещенскою окропи
Наследника, чтоб ему исцелиться,
И всю императорскую семью,
И царицу ласковую самою...»
Авось им припомнится водосвятье:
Как петропавловские верки шлют
Через иконы и хоругви — январское проклятье —
Картечью по Зимнему Дворцу салют...
Вспугивая полночные дремы,
Сжигая тысячелетнюю быль,
Выскочит, точно из кинодрамы,
Призрачный дьявольский автомобиль,
И грудой кровавой поедет в нем
Вся царская семья креститься огнем.

1916—1922

*

И проклятой, и окаянной,
И нищей по миру брела,
Но в золотые океаны
Себя ты снова убрала.

Пусть молодые место заняли,
Они расступятся — и он
Вновь выступит на состязаньи, —
Всемирный хлебный чемпион!

Зеленохвойная Канада,
Серебряная Аргентина,

Не доканала нас блокада,
Хлеб — наше золото и платина!

И лед пробьет к заморским странам,
Хотя б через Мурманск иль Аян —
Тоскующий по океанам
Ржаной пшеничный океан!

1923

КУРСКАЯ РУДА

Столетия соловьиные горла
Трелями на все лады,
Бурением, как алмазные сверла,
Искали в кварце ночей руды.

Кто же по зову братнину грянет
Поле щитами огородить?
Буй-тур Всеволод, твои ли курыне
У Курска оседланы наперед!

Не век же размыкивать Игоря горе,
Не все ж за арканом бежать в степи,—
Не пора ли в дымной доменной гари
Погреться, шеломами Дон испытать!

Не все же степей полон половецкий,
Не все ж в упоеньи звенеть соловьям...
Для залежей курских уголь донецкий
Лег на-гора у шахтенных ям!

Соловьи не слышали. Как ночь, процокали
Тысячелетье. И вот руда
Железная из стального цикла
Для пашен выплавливает года!

1923

БАЛЛАДА О БЕЗНОГОМ РОЯЛЕ

...Здесь розы в цвету и вина в пене,
И ты, и ты не моя ль?

И полдень в цикадах, и о Шопене
Влюбленный грустит рояль.

Мы хозяева здесь, это наша вилла,
Но зачем так зловец и злющ,
Точно им колоннады тревога обвила,
Кровавый ноябрьский плющ?

Ни клумб, ни бассейнов и двери все настезь;
В развалинах мы идем.
Как будто прошло буреломом ненастье
По парку, над виллой разгром.

И погреб раскрыт, точно склеп фамильный,
И в землю по грудам стекла,
Разбивши столетний покой могильный,
Виноградная кровь стекла.

Хрустит, осыпаясь с пробоин, известка.
Как люстра, луна с потолка
Лицо твое, вытопленное из воска,
Открыв, качнулась слегка.

Из зала, как эхо, как голос некий,
Призыв сквозь лунную мглу,
Безногий обрубок рояля-калеки
Лежит у эстрады в углу.

Не трогай! Не трогай! В нем пальцы оставишь,
Скорее отсюда бежим.
Ослаблен здесь в челюсти каждый клавиш,
Мне страшен их мертвый зажим.

Но ты не послушалась, тронула струны,
И сумраку наперекор
Вдруг арфою всхлипнул так звучно и странно
Торжественный, скорбный аккорд.

На нас здесь и стены обрушиться рады.
Скорее туда, где жизнь!
Бежим! За разрушенные баллюстрады
Цепляясь, держись! Держись!

Но что это сзади за грохот звенящий?
По лестнице... Слышишь? Там...

Рояля, как черного гроба, ящик
За нами ползет по пятам.

Плашмя и ребром, из дверей по ступеням
Безногий рояль-инвалид
Сползает, и грохотом струнным и пеньем
На вилле остаться велит.

Вот он в кипарисах шуршит, громыхая,
Он зубы о камни разбил.
И если догонит, с ним шутка плохая, —
Но где же автомобиль?

Бежать, но куда же? Отрезаны горы,
А в море — ноябрьский шторм.
Мы — призраки прошлого. Горе нам! горе!
Мы гибнем. За что? За что?..

1924

ПАВОДОК НА МОСКВА-РЕКЕ

Как двух столиц, двух рек глухая тяжба,
И разрушенья тяжестью нова,
Пусть временно на день, иль два хотя бы,
Москва-река — державная Нева!

Впервые в улицах кривых, горбатых
Я не почувствовал, как воздух сперт,
Как, ботиком загрезив о фрегатах,
Ища воды, сбежал отсюда Петр.

И ледоход идет, мосты погнувши,
Шлифуя каменных быков голыш.
Вон не на той ли льдине прошмыгнувшей
Положен след моих недавних лыж?

И позабыты водомеров мерки,
И клетки набережных, и туда,
Где отблеск белой ночи блекло меркнет,
Стремится шумным паводком вода.

1925



О, сколько б ни было вам весен,
Но этот миг и вам знаком,
Когда бескровный мозг иссосан
Брюхатым, серым пауком.

 Когда теряете вы веру
 В любовь и в счастье и в добро,
 И тянет череп к револьверу,
 И нож на сердце под ребро.

И на рассвете темный угол,
Веревку мраком просмоля,
Зовет попробовать — не туго ль
Затянута висит петля.

 Но жалок тот, кто вдруг, изверясь,
 Поверит страшным голосам
 И розы на лиловый вереск
 Сменяет, смерть позвавши сам.

Самоубийца! Даже красный
Тот гроб, в котором ты лежишь,
Свидетельствует, как прекрасна
И как неистребима жизнь!

 Нет! Все готов снести я молча
 И только б — об одном молил,
 Чтоб вечно к жизни голод волчий
 Во мне неутоленный выл.

1925

Пять декабристов

1. КАХОВСКИЙ

Каховский, ты? Здорово, брат!
По-прежнему в усердьи пылко
Все жаришь до ста раз подряд
Из пистолета по бутылкам?

Из темного угла не ты ль,
Сморгнувши выстрелом осечку,

Вдруг пулей загасил в бутылъ
Пустую воткнутую свечку?

Его скорее уберем,
Не то испортит всю пирушку,
И взбрендит спьяна, что с царем
Играет будто бы в кукушку.

А он, разлив стакан с вином,
Оцепенел и в ночь без цели
Прицелом глаз, уже в ином
Столетье, сумасшедше целит.

И брошен на пол пистолет,
Совсем разряженный. Что в этом?
Ведь долго ждать: через сто лет
Ударит пуля рикошетом!

2. РЫЛЕЕВ

В передней грудой кивера
Валялись, виснули шинели,
И шла азартная игра
На жизнь и смерть — уж не во сне ли?

Но комнаты еще в чаду
От дыма, крика, разговора.
«Прощай, Наташа, я иду», —
Пробрался в спальню тише вора.

Руками шею обвила:
«Куда? Зачем? Что это значит?»
Сама, как простыня бела.
«Уйми, пусть Настенька не плачет».

По лестнице бегом, — скорей...
Сенат и площадь недалече,
И в плотно сжатое каре
Стал под шпицрутены картечи.

Ушел!.. Ушел!.. И дом так пуст,
И только под ее руками

Все слышен тонкой шеи хруст,
Вдруг заскрипевший позвонками.

3. МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ

«Черниговцы! За мной вперед!
Где брат?» А он из дула пулю,
Бокалом вылив выстрел в рот,
Проглатывает, как пилюлю.

Каре картечью размело.
Их четверо всего. И, спешась,
Гусары, шашки наголо,
Его ведут, пинками тешась.

«Он рядом тут... Чуть свет пойду
Проститься». И повязка туже
Налипла. И кричит в бреду:
«Кузьмин погиб, а где Бестужев?»

А брат на глиняном полу
Лежит, и опухоль у глаза.
Губ мертвых страшный поцелуй.
Облобызайся с ним три раза.

Все кончено. Хотя б картечь
Насквозь прошибла череп вязкий,
Иль кровью дали бы истечь,
Сорвавши с головы повязку!

4. БЕСТУЖЕВ-РЮМИН

В бессоннице тоской шалей!
За золотую шпору шпнца
Ночь белая, кисейный шлейф
Задев, не может отцепиться.

И шепот «Я твоя... твоя...»
И с койки в ужасе сорвался.

Не девичья то кисея,
А саван вьется в ветре вальса.

«Я, как другие, мог бы с ней
Сесть на скамейку, там, под липы,
Мне двадцать три...» И вдруг к стене
Отворотясь, по-детски всхлипнул.

Но, с воли ласточкой под свод
Взлетев и склепы потревожа,
Чей голос звонко так поет
Из каземата: «Ты, Сережа?»

Пошатываясь, встал с колен
И вдруг пришел в себя, услыша
Далекий голос, из-за стен
Несущийся: «Мужайся, Миша!»

5. ПЕСТЕЛЬ

«Ужасно это дело, но —
Так надобно». Он не попросит
Пощады. Взгляд его стальной
Царя смущает на допросе.

«Что с нами сделать там хотят?
Я, право, даже не расслышал.
Скорей бы... все равно...» И, взгляд
Потупя, черный пастор вышел.

В дожде ночном ализарин,
И тушь граниты очернила.
Дождись: Нева алей зари
Разводит красные чернила.

И виселицы столб, в воде
Канавы обмакнув, как ручку,
Под «Русской правдой» выводи
Петлей намокшей закорючку.

Рассвет жавеловым листом
Забрезжит, но и с солнцем вместе
Заре не вытравить потом
Ночную подпись: «Павел Пестель».

1925

ЛУННАЯ СОНАТА

Голубая, венозная, то не кровь ли
Зазвенела, как музыка, распалась?
Для коньков, иль для роликов залил кровли
Скетинг-ринк, сверкающий Айспалас?
Изнывает полмира в лунной сонате.
Волны звуков, захлебываясь, лови.
О, луна, пощади же! Ведь я не лунатик,
Торжествует ведь песнь не моей любви!
Этот сон какой растолкует сонник?
Но я жду чего-то и жутко мне,
И ногами босыми на подоконник
Становлюсь, закутан в одной простыне.
Не дрожи и не бойся. Ведь не одна ты
Полнолунием полночи полонена:
Океаны хмелеют от лунной сонаты
И полмиром владеет безмолвно луна.
Оттого-то в сиянии золотистом,
От недавнего сна еще тепла,
Чуть прикрытая розовым батистом,
Ты по кровлям, карнизам ко мне сошла.
О, целуй же! Чуть крыши зарею займутся,
Знаю тоже, как от удара ножа,
Просыпаясь, с пронзительным криком, как Муций,
Упаду я с четвертого этажа.
Эта скрипка лучей! И все льются и льются
Звуки сладостных бликов под черным смычком...
Неужели и мне от кровавой поллюции
Суждено на асфальте очнуться ничком?

1925

Старая Москва

ШТУКАТУР

У жесткого дирижабля
Кровли почти на лету
(Только канат не ослаб ли?)
Болтается штукатур.

Палитра его — ведерко
Белил, а полотна — дома.
Покрикивает: «Эй, дергай
Веревку... Еще подымай».

Макает вихрастую швабру.
Саженною кистью подряд,
Плескаясь, размашисто храбро
Малюет кирпичный фасад.

Мурлычет какую-то песню.
Качается в люльке... Авось,
Ящик дощатый не треснет
И не поддастся гвоздь.

«Привыкши мы к этому риску...»
И сплюнувши, смотрит вниз,
Туда, где известкой забрызган
Еще не беленный карниз.

Сезонник — беспечный художник,
И что из того — коли рад
Будет и первый дождик
Попортить его колера.

Заказчики не обманули:
На год или два — все одно —
Музеи московских улиц
Повесят его полотно.

УГОЛЬЩИК

Прикрылся рогожей
И тянет свою,

На черта похожий,
Ектенью:
«Углей... углей... углей...»

Такой лошаденке
Под ноги стлать
Надо б не звонкий
Булыжник, а гать.
Углей... углей... углей...

Иль для потехи
С телегой такой
С проселка заехал
На тракт городской?
Углей... углей... углей...

Такой уж товарец, —
Как будешь тут чист?
Мне, видно, товарищ
Один трубочист.
Углей... углей... углей...

Угольщик! Угольщик!
А мера почем?
Ты, верно, испољщик
С лесовиком.
Углей... углей... углей...

От белой бересты,
От угольных ям,
От леса привез ты
Эхо камням:
Углей... углей... углей...

1925

ШОФЕР ОТ СТРАСТНОГО

Луна фонарем зажжена над бульваром,
Привинчена в небо. И ночь тепла,
Как налитая асфальтовым варом
Неостывшая внутренность котла.
С фильмы сорвавшись, вечером снова

К урочному часу — проси, не проси, —
Притушивши огни, встает у Страстного
Черный с номером желтым такси...

Эй, пешеход,
Что замедлил ход?
Зачем назад
Скосил глаза?
Полночью венчаны
Мертвые женщины,
Здесь до добра
Не доходишься, брат!

Стеклянная рубка —
Ветру упор.
Закусивши трубку,
Ждет шофер...
Захороводит,
Гляди, сейчас...
Мотор заводит...
Пятерка час...

Ну, да и девчонка хороша!
Охальная цепкая егоза,
Озорные, бесстыжие козьи глаза,
Карминные губы сизы, как шанкр...

Спрятала деньги
В ажурный чулок.
Забилась в сиденье
В уголок.
А что как кошкой
За горло хватать,
И в ночь с подножки —
Где тут поймать!..

Вылупил рачьи
Глаза мотор,
Не оборачивайся
Назад, шофер!
Летя к окраине,
Срезай на риск
Столбы трамвайные
И фонари!

Спущены шторы,
В стекле кувырком
Под взлет рессоры
Серебряный ком.
И в дрожи сладкой
Не разберешь,
Что у лопатки —
Сквозняк иль нож...

А к утру пустынно и тихо. И снова
Свой желтый полночный прокат проспала
Луна, не заметивши, что у Страстного
Заря вызолачивает купола.

1923

НОЯБРЬ

Ноябрьский день спросонок хмур,
Спеша дождливым шагом серым,
Проводит тучи, как в МУУР
Преступников под револьвером.
Отекшая шаталась мгла,
И шлепнулась, и, вставши, снова
По сточным лужам побрела
За проститутками с Цветного, —
Улечься на асфальт в толпе,
Иль в ящике отбросов сорных,
Иль в нужнике, где тлеет печь
Пред вшивой шайкой беспризорных...
Так листьев золото гноя,
Проходишь ты, Ноябрь!

Хоть бритвой молний о ремень
Точильный шаркни, — хоть о камень
Булыжника, как о кремень,
Сноп искр зажги с ломовиками.
Двух рачьих глаз взметнув огни,
Обдавши брызнувшю шиной,

С шофером пьяным прошмыгни
Шальной, взбесившейся машиной.
Чтоб тысячелудовый воз
Грузовиком встряхнулся, — чтобы
Вдруг, остеклив, меня увез
Ночной, сверкающий автобус...
Как воздух твой суров, но я
Дышу тобой, Ноябрь!

Ведь не доскажешь все слова,
Кармином не накормишь горесть.
Так горсти дай доцеловать
В перчатку, в лайковую прорезь.
Полночный разговор антенн,
Я знаю, бурей будет сорван,
И в мол шестиэтажных стен
Шторм отрыгнет с Мурмана ворвань.
Пропеллер хрустнувший разбей,
Заешь в моторе хлюпкий поршень,
Но искрометных голубей
Не тронь, не тронь, буранный коршун...
Искр многоточие, но я
Их шлю тебе, Ноябрь.

1926

ОТХОДНАЯ ИЗ СТИХОВ

На что же жаловаться, если я
Так слаб, что не могу с тобой
Расстаться навсегда, поэзия,
Как сделал Нарбут и Рембо!

Ее, как молодость, сбросить легко,
Попробуй, но только смотри:
Поэт — наркоман, а какой наркоз
Ужасней наркоза рифм?
И если среди корыстных забот
Ее ты совсем забыл,
Не думай, что ею ты тоже забыт,
Избегнул своей судьбы...

В бреду с больничных белых стен
Опухший пьяница Силен,
Встает старик Верлен:
«Ты забинтован? Что с тобой?
Смерть сделала тебе бо-бо,
О, мальчик мой Рембо!»
«Уйди! Ты грязен, пьян и лыс,
И юношеских ласк
Вновь просишь паройдохлых крыс
Под рифмами прикрас.
Уйди. Тебя уже почти
Не помню двадцать лет!»
А он одно всю ночь: «Прочти
Стихи. Ведь ты — поэт.
Не хочешь? Нет? Ты не готов
За мною в пустоту?
Так слушай: сам я из стихов
Отходную прочту».
И вот (вся жизнь не испита ль?),
Рифмуя эхо стен
(Иль здесь кабаки, не госпиталь?),
Кричит стихи Верлен.
Потом умолк. «Вот так, сестра,
Оставьте до утра.
Стихов не знал он двадцать лет,
Но умер как поэт».
И взял, целуя бледный лоб,
Последнее тепло:
«О, бедный мальчик мой Рембо,
Я примирен с тобой»...

Свершу самоубийство, если я
На миг поверю, что с тобой
Расстаться можно так, поэзия,
Как сделал Нарбут и Рембо!

1926

В СУМЕРКАХ

Не окончив завязавшегося разговора,
Притушив недокуренную папиросу,

Оставив недопитым стакан чаю
И блюдечко с вареньем, где купаются осы,
Ни с кем не попрощавшись, незамеченным
Встать и уйти со стеклянной веранды,
Шурша первыми опавшими листьями,
Мимо цветников, где кружат бражники,
В поле, опыленное лиловой грозой,
Иступленно зовущее воплем сверчков,
С перебоями перепелиных высвистов,
Спокойных, как колотушка ночного сторожа,
Туда, где узкой золотой полоской
Отмечено слиянье земли и неба,
И раствориться в сумерках, не услышав
Кем-то без сожаленья вскользь
Оброненное: «Его уже больше нет»...

1926

ТЕПЛУШКИ С БЫКАМИ

Дурманит степь цветами,
И, прикорнув друг к дружке,
Разлучены с фронтами
Спят красные теплушки.
 Тугой слюне — лизаться,
 Мычать — животной грусти.
 Мясных мобилизаций
 Приказ их не отпустит.
Забывтый полустанок,
Прождать бы здесь до снега,
Зажгется спозаранок
Огнем зеленым Вега.
 Дожевывайте жвачку,
 Лежите, — так спокойней!
 Пусть ночь степей горячку
 Остудит хладобойней.
Пусть сумрак супоросый
Зальет закатной кровью
И медным купоросом
Слезницы глаз воловьих, —
 Чтоб был за все в ответе
 Пред помхой лиловатой

Пшеничный знойный ветер
И белый элеватор!

1926

ВОЗКА СНОПОВ

Целый день с темного и до темного
По колеям, переваливаясь с боку на бок,
Поскрипывая, тащились из дальнего поля
Возы с золотознойной поклажей снопов,
Увязанных веревкой и придавленных гнетом.
Выбеленные ошинованные железом колеса,
Как мельничные грохота, летучим отсевом
Стлали размол коричневой пыли.
С охрипших от скрипа раскаленных осей
Капала варом испарина дегтя.
От налипших к крови слепней отмахиваясь
Головой и хвостом, с остановкой медленно
Взбирались в гору взмыленные лошади.
И, шагая рядом, с вожжами в руках,
Пересохшим от жары и пыли голосом
Подбодряли их измученные люди.
И, оттеснивши на зады убогую деревушку,
Раскидывал желтые войлочные шатры
Златоверхих одоньев, скирдов и ометов
Налетевший набегом с кумысных улусов,
Точно ханский ставленник, баскак, — урожай.
А вечером солнце, как последний
Захлопотавшийся в полях хозяин,
Нацепивши на тормоз заднее колесо,
Осторожно спустило с лиловой кручи
Груженую облачными снопами фуру
И свалило пылающий огненный скирд
У широкого черного тока ночи,
Где начали отвеиваться первые звезды.

1926

СЕВ ОЗИМЫХ

Хоть в золу, да в пору, а только сей.
На полборозды промочило хотя бы...
Дождались дождя. И деревней всей
На пары потянулся мужицкий табор.

Чернобарханного бархата толщи
На тысячи верст вдоль, поперек
Снова промерит мирской испольтник
Неторопливым аршинником ног.

Полдень. И лошадь пахать учена,
Глаз фиолетовый к солнцу кося,
Знает, что там на телеге бочонок
С водой, и припрятана торба овса.

Размашист и легок лапотный шаг,
И ливень зерна золотист и неспешен,
Но вот по увалам шимана шишак
Движет огромную тень среди пашен...

И уже незаметно там, наверху,
Озимы новой сев непроросший,
Млечного Пути золотую леху
Заметают метелица лунной порошей.

1926

НА ВОЛХОВЕ

Словно седой
Волхв,
Грозен бедой
Волхов.

Варом смоли
Днище,
Прочь от земли
Нищей.

Через моря
В реки —

Путь из варяг
В греки.

Как берега
Глухи.
Месяц — серьга
В ухе.

Ляг у костра,
Долог
Вверх до Днепра
Волок.

Темень. Ни зги.
Тучи.
Плещут круги
Щучьи.

Долго ль тут
До тревоги?
Слышишь, как бьют
Пороги?

Блещут глаза
Волчьи.
Ни вперед, ни назад
От полчищ.

Клекчет орел.
Куда же
Ты нас завел,
Княже?

На полях, черепами убелены,
О былом на память лежат валуны...

Эх, широка ты, ильменьская ширь!
Слободы дальние и монастырь.
Зори, затеплившись по куполам,
Небеса разрезали пополам.
Хрусталь драгоценный, а не вода,
Из шнурков серебряных невода.

Рыб таких золотых в садки
Разве что лавливал сам Садко...

В ладожской зыби затерян и сир,
Надорванно сипло ревет буксир.
На пеньковых канатах скрипят баржи,
Над кормой быстрокрылые реют стрижи.
- Беляки косматые хлещут о плот,
Не разметать им бревен оплот.
Солнечным тесом горит изба,
Петушится затейливая резьба.
От ветра забившись в угол сухой,
Котелок на тагане бурлит ухой...

Пробушевав, прокипев в ледоходе,
Тысячи сплыло, сошло половодий.
Эй, разгулявшаяся вода,
Не пора ль высекаться кремнем в провода?
Волны, горбом сырмятных спин
Не пора ль запрягаться в тягло турбин?
Бей челом, вековечное вече,
Воле покорствуя человеческой!
Волхов вольнолюбивый, строй
Гидростанцию — Волховстрой!

1927

ШТИЛЬ

Прибоя пульс отстукивая слабо,
Выпариваясь в солнечном меду,
Щекочет море колченогих крабов,
Баюкает беспомощных медуз.

Притягиваемы янтарной далью,
Над рябью серебристой рыбьих спин
Гоняются за скумбрией, кефалью
И парусник, и чайка, и дельфин.

И пляжи жесткие с гаремом схожи,
Из камня дикого сооружен
Бассейн, — и нежатся, золотокожи,
Забывши север, сотни светлых жен.

Ревнивое, со сброшенной сорочкой
Соперничая, перламутр колен
Им прикрывает море оторочкой
Шипучих, кружевных, ажурных пен.

Но как автомобиль, порвавший тормоз
Визжа пронзительно, летит с Байдар,
Так бешен неожиданного шторма
О берег гулко рухнувший удар.

Недаром скал потухшее огниво,
В томительном покое не вольна,
Облизываясь сытно и лениво,
Мусолит солью хлюпкая волна.

И, может, к бронзовым купальщицам на пляже,
Чтоб ванной солнечной согреться поутру,
Напоминанием о бывшем шторме ляжет
Утопленника просоленный труп.

1927

ОРЕЛ НА БРОНЗЕ

Насмерть раненный орел
Тросом жил,
Чуть охотник отошел,
Вновь ожил.

И, ручьем кровоточась,
Ширя пульс,
Трепыхаяся, тотчас
К краю сполз.

Камнем ринулся с Яйлы
К морю вниз,
На прибой молочной мглы
В синий бриз.

Судорожно веер крыл
Развернув,

Вкось, планируя, поплыл
На Гурзуф.

Но мотор сердечный пуст,
И не спас
И планирующий спуск
В этот раз.

Здесь, в гостиной, на стене,
Взрыв под фриз,
Чучелом окостенев,
Вдруг повис.

В смерти царственен и цел,
Он вонзил
В солнце люстры, как прицел,
Зоркость линз.

Но размах саженный пуст:
Крови вкус
Даст ли клюву в мясопуст
Бронзы кус?

1927

ПЛОВЕЦ

Как утопающий, и страх, и жалость
Внушая, вдалеке одна скала
То с головою в волны погружалась,
То, в пене вынырнув, опять плыла.

Обман ли зренья, иль самовнушенье, —
Но мне казалось — это Одиссей
Плывет обломком кораблекрушенья,
Один оставшись из команды всей.

Всю ночь во тьме, в могильной зыби роясь
И с мыса брошенный от фонаря
Спасательный неуловимый пояс
Хватая, будет он, как буй, нырять

И чудом наконец достигнув суши,
Шатаясь, выйдет на берег пловец,
И солнце соль в царапинах осушит
И водорослей йод на голове.

Забывши шторм полночный, на припеке
Выпариваясь в утреннем тепле,
Он погрузится сразу в сон глубокий,
Расправив мышцы узловатых плеч.

И вот золотосмуглая такая
У подсиненного волной белья
Стоит среди купальщиц Навзикая,
Сошедшая из горнего жилья.

1927

НА ЯЙЛЕ

Гнездовье грифов здесь, и озираю
С кормы утесистой я, как Язон, —
Золоторунный без конца и краю
От облачной овчины горизонт.

И мне понятна синих волн тревога:
Штурмуя штормами, они никак
Веками с голоду сглотать не могут
Яйлы акрополь, взлет известняка,

И этот выщербленный и высокий,
Такой бесплодный каменистый скат,
Где в бочках виноградин втайне соки
Настаивает розовый мускат.

1927

МУХАЛАТКА

Здесь сухой мускатный горный воздух
И горько-соленую свежесть бриза

Полной грудью впитывал Фрунзе
Перед тем, как в распяты полотенец
Лечь на белый операционный стол,
Глубоко вдыхая приторно-сладкий,
Небытием замораживающий хлороформ,
Отчеканивая, как слова красноармейской присяги
На первомайском параде на Красной площади,
Чужим оторвавшимся от тела голосом
Последние секунды померкшего сознания.
А в этой зыбкой мавританской беседке,
Повисшей на столбах проржавленных рельс
Над крутым лесистым обрывом к пляжу,
Любил сидеть по вечерам Дзержинский.
Слегка запыхавшись от быстрого подъема,
Успокаивая дающее перебой сердце,
Он смотрел на лиловые зубцы Яйлы,
Вырезанные на золотом закатном фоне,
На сиренево-молочное вечернее море,
Шелестящее внизу прибрежным кружевом.
И как часовые у подъезда ОГЕПЕУ,
На Лубянке, насторожась, вытягивались кипарисы...
И для меня такой же благостный вечер,
Жаркий стрекот цикад и солнце,
Звезды и соловьиная трель сверчков;
Скрип мажары, собачий лай из деревни,
Деревянная трещотка с виноградника,
И выстрел — по перепелу, иль лисица
Подкралась полакомиться черным мурведом.
А наверху светляком по спирали шоссе,
Гудя, раскручивается автомобиль...
Спасибо, Мухалатка, за гостеприимный приют,
Хоть я и явился к тебе непрошеным
Постояльцем с поклажей на грузовике,
И жил с шоферами возле гаража,
Любуясь, как машины, горячие от бега,
Принимали из шланга душ Шарко,
Смывая едкую известковую пыль
И смазываясь сытно жирным тавотом,—
Парадный натертый замшей «ройс»,
Серый с колчаковского фронта «кадиллак»,
Игрушечный «форд» и тяжеловоз «амо».
Застоявшиеся в душной конюшне лошади,—
Никому не позволяющий себя обскакать
Старый командирский конь Мишка,

Стройный Араб и пугливый Мальчик, —
Встречали меня приветливым ржаньем
И теплыми гуттаперчевыми губами мягко
Брали из моих рук куски хлеба.
По целым дням, голый, как полинезиец,
Я лежал и бродил на припеке у моря,
Отдыхая в прохладном каменном гроте.
И до сих пор по ночам ушные раковины
Гудят отдаленным эхом прибоя,
А на зубах холодком саднит оскомина
От чауша, у которого каждая виноградина —
Модель бочонка со сладким вином.
Пусть бронзу солнечных ванн из тела
Выпарит лыжным свитером мороз.
Нет! Не прощай, а только до свиданья, море!
Мне шумом дождей о тебе напомнят
Воздушные опреснители облаков,
Быть может, твою накачавшие воду.
Но зато там, в городе, резче слышен
Неумолчный грохот людской стихии,
Чей октябрьский шторм и через десять лет
Захлестывает гигантской волной буруна
Ступени у ленинского мавзолея...
Кто знает — каких великих событий
Еще участник и зритель я буду,
И на берег какой новой жизни
Выбросит меня гневная зыбь!

1927

Рассвет на Мясницкой

I

Три часа. Проснулся, когда не надо.
Хоть бромом себя усыпить заставь.
Не гудит рассветною канонадой
Из парка трамвайный снаряд от застав.

Что кухарку обуглил взорвавшийся примус,
Как мотор авиатора, — разве я

Виноват, — и что мыши прогрызли плинтус,
Что повесилась рядом в квартире швея?

Мне нет дела до них. Но мучительно слуху
Цедить у висков непрерывный звон,
Как будто подвешен к самому уху
Ночью включенный в сеть телефон.

Так кричи же «алло» — не получишь ответа,
В трубку черную с ветром вдвоем говоря.
Скорой помощи автомобиль-карету
За тобою не вышлет к подъезду заря.

Оттого-то и день так сереет сирю,
Что швеей той не кончен срочный заказ,
Что и солнце — как взломщик, и у кассира
Ночи — ключи несгораемых касс.

И я жду не дождусь, что он будет взломан,
Что, швырнув битюгам гололедиц раскат,
Громыхнет тысячепудовым ломом
По Мясницкой — металлосиндикат.

II

Как они упрямы!
Чуть лишь рассвело,
Сквозь двойные рамы
В мутное стекло

Все щебечут пуше
И зовут — вставай!
Ведь еще не пущен
Ни один трамвай.

Сгинул черный ужас,
И уже пора
Искупаться в луже
Посреди двора.

С нами прочирикай
Солнцу, хоть сейчас —

Серый и безликий
Воробьиный час!..

И с постели вскочишь,
Чуть глаза открыл,—
Счастья взлет короче
Воробьиных крыл!.

1927

ПЕРВЫЙ ТРАМВАЙ

Отмычка дня — твоя рукоять,
Вагоновожатый. Веревкой на провод,
Электричеством налитый, припаять
Лирой дугу... Повернуть... И готово...

Утренний первый трамвайный вагон
Гулко к заставе спешит без просыпа —
Грома рассветного радостный гон,
Зерна снопов зарничных просыпать.

Торопясь на работу вместе с людьми,
Рокотом этим разбужен рано,
Утреннеет, молодеет мир,
Моясь студеной водой из-под крана.

Ознобом прозяб, иль вчера кутнул...
В глазах песок, и никак зевоту
Не выдавить из сведенных скул...
Не задремать бы только... Вот он...

Каким вабиллом приманен и где,
И почему вдруг на рукавицу,
Мясом Мясницкой прикормлен, день
С Сокольников соколом садится?

Звонок захлебнулся, и к рельсам прирос
Грохот решетки упавшей. Но тормоз

Вестингауза скрежету колес
Не даст отведать мясного корма.

Стекло прослезившееся протри,
В небо взгляни: над домами высоко
В холоде утренней зари
Плавает тот белоперый сокол.

Хмурится утро. Ему невдомек —
Тискаясь в очередь перед посадкой,
Торопится вывесить свой номерок
Огненный за дождевою сеткой.

1928

СТИХ ГАФИЗА НА РИЗЕ

Когда одежды совлекает красавица
с мускусной родинкой, это луна, по-
добной которой нет по красоте.

*(Стих Гафиза, вышитый на подо-
ле ризы в Троице-Сергиевой лав-
ре. Вклад Василия Нагого в
1622 году)*

Беглянку гарема, капризницу
За что в наказание Гафиз
Вздумал запрятать в ризницу,
Скрыть под подолом риз?

Или, — как там, над ширазскими
Розами, — надо и впрямь
Петь над болотными рясками
В торфяниках соловьям?

Попутать Нагого Василия,
К фелони пришить, изорвав,
Вытканый для веселия
Пояс любви изорбаф!

И вот, никем не угадана,
Закутывала, как в кальян,

В дым панихидного ладана
Лунного стана изъян.

К схиме прижегши нищенской
Тавром огневое шитво,
Томила луною кладбищенской
Над сырой монастырской травой.

Алмазом стекло музейное
Режет, вдруг объявясь,
Клинопись золотозмейная,
Сабель дамасских вязь.

Ширазская эта красавица
С мускусной родинкой — мне
Не раз еще ночью представится
Обнаженной в морозной луне!

Красавица с родинкой мускусной,
Живет лишь Гафизов стих,
И вкус его, терпкий и уксусный,
Запекся в губах моих!

Поцелуями выискать родинку
Мускусную хоть во сне —
С чернью лиловой смородинку
На фаянсовой белизне!

1928

*

Подавившись обрубком дубового пня,
Запыхалась топка котельная.
На перекрестке улиц стряпня,
Варится каша артельная.

Чадным нагаром налипла на край.
Попусту не разговаривай,
Варильщик, наваристей замешай
Смрадное чертово варево!

Голодному городу всунута в рот,
Зернится для кладки готовая
На тротуаровый бутерброд —
Асфальта икра осетровая.

<1928>

*

Сгустился воздух, как вода.
Аквариумом стала зала,
И только музыка дерзала
Уплыть из времени — куда?

И, изогнув свой желтый таз,
К плечу в платок уткнувшись крепко,
Свой электрический экстаз
С эстрады изливает скрипка.

И канифолью струны вьет
Смычок и болью изошел,
Чтоб в танце о цветистый шелк
Затерся черный шевиот.

*

В полях бывает лишь такая
Пред тучей градовой тишь.
Грозе затишьем потакая,
Как изваянье, ты стоишь.

С губ несорвавшееся слово —
Трубой змеящаяся медь, —
Средь мертвой тишины готово,
Как выстрел, гулко прогреметь.

Без слез, без жалоб, без молений
Хочу в последний раз опять
Твои из мрамора колени
Сквозь черный шелк поцеловать.



Богиня к смертному на ложе
По прихоти небес сошла,
Слилась на миг в любовной дрожи
И вознеслась, чиста, светла.
Она — с богами в светлом круге,
А он блаженством с ней сожжен
И не найдет себе подруги
Средь девушек земных и жен.

ШТОРМ

А море все то же. И по сей день
Волны косматые пеной трясутся,
Когда вздымает их Посейдон
Острием проржавленного трезубца.

И разрушительной мощью влеком,
Вал крутогорбый по-прежнему вправо
Утрамбовывать водопадным катком
Скрежещущие гальку и гравий.

А водоросли — космы наяд,
С медузами вместе, в шипеньи яром
На пляже умерших, — еще хранят
Окраску йода и пахнут омаром.

Глухонемая ярость глубин
Слепорожденных. А может статься,
Что это только грохот турбин
Еще не использованных гидростанций.

1929

Кавказской ночью

I

Дорожкой платиновой серебрясь,
Отдохнувший от зноя в самшитовой роще,

Улетучиваясь от берега, бриз
Осторожно пробует парус на ошупь.

Потерявший прицельную мушку зрачок,
Расширенный ночным атропином,
Ловит искры с огнива подковы — чок... чок...
По кремням заплутавшихся горных тропинок.

Воровская ночь и другим не в пример.
Надрываясь заливистой трелью частой,
Каждый сверчок, как милиционер,
Охраняет свой полночный участок.

Так тревожно, призывно... Нет, не к добру,
Одурманенная кипарисовым вздохом,
Эта ночь по млечному серебру
Перекачивается звездным горохом.

И пока не забылся и не заснул,
Все не можешь, как море, прибором смириться
И, любовью ограблен, кричишь «караул»
Миллионной незримой сверчковой милиции.

II

Взамен светляков сверкают поодаль
Глазные натертые фосфором спички.
Видно, приелись отбросы и падаль,
Прсят мясо стрихнином напичкать.

Шакаля безлунная ночь! И надо ли
Знать и мне, и случайной звезде,
Что Бестужев-Марлинский где-то здесь
В стычке с черкесами пал у Адлера?

Под бараньей буркой до самой зари
Цокающий всадник не даст заметить,
Что с насечкой серебряной газыри
Оттиснулись кровью на белом бешмете...

1929

Без солнца

I

Прозрачна ночь, и до утра
Не разберешься: где ж
Граничат сумрачность утрат
И розовость надежд?

И охрусталив тень свою,
Заря собьет желток —
Прочистит горло соловью,
Чтоб громче петь он мог.

Надрезом сердца, как ствола
Березы, вспоминай, —
Когда любовь тебя звала, —
Любимой имена.

И столько нежности и ласк,
Что скомканный платок,
Ни разу не коснувшись глаз,
Росою слез намок.

II

Сухою охрою ли, в хну ли
Окрашена для торжества,
Пока ненастья не стряхнули,
Без солнца солнечна листва.

День — серенький, а на поверку
Как будто светел и цветист.
Я крикнул радостно, и сверху
От окрика сорвался лист.

Покуда снег еще не донял
И не осыпались года,
Цыганка-осень, по ладоням
Золотосмуглым погадай!

Из жатвы выбравши обильной,
Большой кленовый лист раскрой,

Лететь, трясясь в грузовике,
В обнимку,
 стоя,
 в ночь.
Все дальше,
 лунной мглой пыля,
И тьме наперерез,
Бригадой утренней в поля
На выручку заре...

Я знаю:
 скоро ты уйдешь.
Твоя любовь — мне дар.
Луна зовет,
 и молодёжь
Поет под звон гитар.

Сирень осыпала балкон.
И мне не уловить
И тень твою
 в трюмо окон
В сиянье
 половиц.

Целуй же!
 Обнимай!
 Шали!
Дразня и хохоча.
И ты уйдешь,
 как все ушли,
Последней из девчат.

Любовь мещанская пошла,
И вольной только гнет.
Уйди ж,
 как молодость ушла,
Уйди,
 как жизнь уйдет.

Одернешь смятой юбки шелк,
Вспорхнешь с моих колен.
И месяц тоже бы ушел

С тобой,
да светит: лень.

<1930>

Из поэмы «Машинная страда»

ЗАВОЛЖЬЕ

Прелой полынью дышать горячо.
Пыльный буран сыпуч, горяч...
Ач... Чок... Ач... Чок...
Ач! Ач! Ач!

Но не бегут верблюды вскач,
В развалку шаркают мягкой рысцой...
В бурый кирпич сожжено лицо...
Непечатая целина степи.
Не найти и колодца, где испить...

Гнилая вода. Ложбина. Камыш.
Орел-суслятник круглоголовый,
У норы притаившись, как кошка — мышь,
Дождидается терпеливо улова.

Не все же ветру выть: улюлю... улюлю...
Газом хлористым сусликов насмерть затуркай...
Не седовласиться здесь ковылю,
Колоситься пшенице здесь, белотурке!

МАШИННАЯ СТРАДА

От золотой бойни
Притомились комбайны.
Воду на skate пили,
Ошалев от жары,
Катерпиллеры...

Страда машинная трудней
Людской...

Бесконечная цепь трудодней...

Работают и по две, и по три
Смены.

Погодой одной предусмотрен
Их подъремный
Рабочий день, —
От темного и до темного, —
Летом

не ограничен
Никем и ничем,
Даже декретом о труде.
Их заработная плата
Выдается горючим пайком сполна.
Россыпи золотого зерна
От них отбирая,

увозят куда-то...

Хотя бы солнце

среди синих целин,
Колосящихся огненной жатвой тяжелой,
Охладило свой раскаленный цилиндр
Отлитой из туч водяной рубашкой.

Вечереет... Закат перламутрово-узкий,
Полымем обветривая лицо,
По лиловой пшенице-черноушке
Дымится розовой пылью.

Луны еще нет. А сумрак все гуще...
Отзываясь дрожью в каждом стебле,
Скользит пред ножами зарницей стригущей
Отбрасываемый вспышками блеск.

Продударничав двадцать часов рабочих,
Машины торопятся на стан —
Подле железных взрывчатых бочек
На ночевку встать по своим местам.

ВОЛЧИХА ВОЕТ НА ЛУНУ

Здесь даже полночь не тиха.
Здесь не бывает тихо.

Бензинный дым не прочихать.
Ощерилась волчиха...

В зерносовхозе на крыльце
Директорском собакой
Цепной лежать и дергать цепь,
Чтоб измывался всякий!

Волчиха морду подняла,
А в небе высоко
Блестит луна, кругла, бела —
Обглоданная кость.

Железом громыкает цепь.
Луна почти что на щипце...
Волчиха воет на луну:

Уу!.. Уу!.. Уу!..

Нет, не уснуть. И сон прошел.
Ах, это волчье соло!
Луна, серебряный мосол,
Скорей бы, что ли, села!

Вот спавший вместе со щенком
И к детям прирученный,
От горла отрыгнувши ком,
Стал подвывать волчонок.

Не волчье соло, а дуэт.
Как воет, сволочиха!
На первый голос тон дает
И учит выть волчиха.

Вдвоем завыли на луну:

Уу!.. Уу!.. Уу!..

Иль в самом деле ей луну
Так хочется сглотнуть?

А может, волчья есть тоска

Такая ж,
 как
 людская?

Такая же, как у тебя...
А ночью ласка чья-то,
Чтобы, сосцами теребя,
Зарылись в шерсть волчата,

Чтоб, заметелясь, ковыли
Ее на волю увели,
И чтобы от версты к версте
Пшеничная бежала степь...

Чтоб я стихами на луну
Ей подвывал:
 Уу!..
 Уу!..

<1931>

В такую ночь

I

После весенней последней вьюги
Вдруг просияло — точь-в-точь
Такая же бывает на юге
Бахчисарайская ночь.

Не обываем больше скучищей
Собачьей и волчьей (вглядись),
Как ярко у месяца начищен
Облачным мелом диск!

Мартовский снег, пружинивший липко,
Настом окрепнув, отлип.
И лыжи настраивают, как скрипка,
Наканифоленный скрип.

Елки — как балерины. И в свете
Призрачном не разберешь,
Что это — лыжницы белый свитер
Или береста берез?

Синие тени густеют апрелем.
Прислушайся и улови,
Как, осыпая иней, затрепят
Первые соловьи.

II

В такую ночь, где все бело,
Где лунный свет, как помело,
Как по сусекам, по потемкам
Дымится голубым поземком,

И белка серая бела,
Прижавшаяся у ствола,
И бел песец лакомо-падкий
До снежно-белой куропатки.

И заяц кружится беляк
Петлями нахлест так и сяк,
И на сосне вздремнувший ворон
Полночной черноте не верен.

И золотой твой волос бел,
И альбиносятся ресницы,
В такую ночь — шепну тебе —
Твой белый поцелуй мне снится,

И я не удивлюсь, ей-ей,
Что если где-нибудь над елкой,
Отряхивая иней, щелкнет
В морозе белый соловей!

20—21 марта 1932



Но как бы ни был ствол коряв,
Проржавлен, точно якоря, —
В прожилки веток, как в висок,
Ударил забродивший сок.

И почкам щекотно и узко,
И, набуханьем напряжен,
Голубенького неба блузку
Топорщит трущийся бутон.

Стволом бы напрягаясь весь,
На цыпочках привстать до кроны,
Чтобы сосок зеленый, в высь
Прорвавшийся, губами тронуть!

2 мая 1932

ОГОРОДНЫЙ СКАЗ С БОЛОТА

Народу-то сколь!
Еще б с эстолько!
Обсчитал-то на сколь?
Ну и вес только...
Что, трепач, пристал
К возу без толку...

Все народ-бородачи,
Огородники...
Кумачи в кровь мочи...
Подай, родненький,
Подай слепенькому...

Бел оструган кол,
Плаха-пень кому?
На Болоте — престол
Волжского водника
Степана-угодника.

Бел кол оструган.
На Москву сегодня

С Волги от струга
Протянуты сходни.
В таком разе
Из застенка
Вылезает Разин
Стенька.

На свет белый жмурится,
На бояр-бар хмурится.
Расправляется, разминается.
В прорези у ворота
Нет креста нательного.
Кожа с мясом вспорота,
Нет сустава цельного.
Словно крестный ход
На Болото идет.

В колокол ударили.
В башке — угар-мареву.
Жарко, знать, упарили
В баньке государевой
На полке, на дыбе.
Эх, кабы!..

Сплюнул с досады,
Кровью от надсады.
Пропал задарма
Из-за дерьма.
Кабы вовремя знать
Про казачью знать...

Помост — что корма.
Видно, дороги корма,
Чтоб соломки подостлать.
Пусто, голо, вишь, как.
Где тут лечь и как?
Чья головушка,
Да с чьих плечиков?

Знать, по воле скучал,
Да был гол, как сокол.
Голова, что кочан,
Высоко на кол...

Эй, кончать пора,
Думский дьяк-ярыжка!
Голова для топора
Ровно кочерыжка.
Чать, указ не Псалтырь,
Отчитал — и крышка...
Мошну-то не стырь...

На лице, что заря,
Занимается.
Пред народом что зря
Тебе каяться.

Гуторила голь —
Терпеть-то доколь?
Ты в Москве явись,
Где Спасы на крови,
Атаман
Степан
Тимофеевич!

И эх, кабы...
Да не так сюда
Слушать жалобы
Атаман-осударь
Пожаловал.

Не крестясь, поперек
Помоста лег
И на Фролку сбоку:
— Не скули, собака!

Эй, палач, бородач,
Рваная ноздря,
Что бахвалиться зря!
Чай не тушу рубить
Тебе бычью,
А душу губить...
Поклонись, перекстись
По обычаю.

И не глядя в глаза,
Четыре раза,
А и в пятый-то раз

За волосья напоказ...
Тут и весь-то сказ...
Тоска... Тоска...

В кабаке ль, во шинке...
Хошь руби, хошь шинкуй...

Заквашены чаны
Мясопустные.
Ой, туги кочаны
Капустные.

Любуй,
Милоч,
Любой
Вилоч!

1933

*

Боем Спасских часов насквозь
Тучи прошло радио.

После полуночи для чего-то,
Худей и выше кремлевских башен,
Над разинской кровью встает с Болота
Беглый мужик, оборван и страшен.

И до рассвета над красной Москвой
Побирается Христа ради...

Через Москва-реку посуху —
Лютой тенью тянется злее
К самой башне Спасской
К ленинскому Мавзолею,
Засунул руку за пазуху
(За хлебом, вошью, ножом?) —
Заглушивший в сивушной гари
Неубранных урожаев ужас,
Как две слезы мужицкого горя,
Выдавил два слова натужась —
«Погоди... ужо...»

Что ужо?
Что он там мелет —
Здесь «Серп и Молот» —
Бывший завод Гужон.

Сгинул с болота
Мужик со своим «ужо»...

ДОНОР

На лестнице свет
еще не был погашен.
Шестиэтажным колодцем пролет
Зиял —
И тенью перильной Гаршин
Ласточкой
пластался в полет.

И лист не весь
еще был исписан
И чернильные гусеницы вились,
Окукливались;
и бабочкой песней
Взлетая,
бились в беленую высь.

И вдруг
каким-то фантомом млечным,
Как поэтический мой двойник,
Высечен перебоем сердечным,
Нежданно-негаданно
он
возник.

Бледный и немощный,
как будто
Полномочиями облечен,
Тайно явился
от института
Переливания крови —
он.

Чем ваше
 пепельное
 ничто!
 Зато вы — творец. А я — ваше создание.
 И вас я поэтому переживу.
 Насыщенный кровью вашей,
 - как данью,
 Я буду мерещиться сном наяву.
 Захвачу и ваш стихотворный томик.
 Все ж это легче, чем целый том.
 Быть может, какой-нибудь праздный потомок
 Осилит его на досуге потом.
 Не беспокойтесь... Пишите... Сидите...
 Я ретируюсь...»
 И в саване штор
 Забрезживших
 скрылся ночной посетитель,
 До утра засидевшийся
 визитер.

К девяти
 в деловом Мясницком гаме,
 Спеша, как на службу, в бессмертье... И вот
 Кто-то вдруг Маяковского шагами
 Промерил
 лестницы эшафот.
 По три ступеньки,
 тяжко и быстро,
 Мимо огнетушителя... Через две
 Минуты
 оглушительно,
 как выстрел,
 Хлопнула
 брошенная дверь...

Взяв мозг свой в скобки
 холодных ладоней
 И в вену, как шприц,
 перо окунув

Вскинуть на плечи, чтоб с коромысла
Радость девичью плескать без смысла.

Целый день гоняясь, как мальчишка,
На одном коньке скакать вприпрыжку!

1933

II

Нет, не могу читать!

Кровь так звенит,
Как будто каждый шарик в ней — кузнечик.
(Похмелье гриппа или от лекарств?)
Да и слова, точеные, что камни,
Но мудрость их, как у камней, бесплодна.
Не лучше ль попросту глядеть в окно.
День солнечен, и снег, как в марте, синь.
И ветер свежий треплет, как флажки,
Морозом накрахмаленное туго
Белье цветное, женские рейтузы.
И полосатый кот так осторожно
Обнюхивает след и острым усом
Поводит, словно уссурийский тигр,
Привставший от подтаявшей зимовки.
А мальчик звонко палкой бьет о трубы,
Отряхивая хрустали сосуллек
С пятиэтажных и железных пальм.
Деревья ж чертят черными ветвями
По синей кальке неба свой чертеж.
Кругов и эллипсисов и парабол.
Они к земле прикованы корнями
И, неподвижные, всегда в движенье.
И если б подсчитать, хотя б за сутки,
Движенье всех мельчайших веток их,
То вышло бы такое расстояние,
Какое человеку не покрыть
За то же время без автомобиля.

1935

ВАХШ

По нагорьям холмов выгорает плешь.
А здесь
 в сумасшедшем вкусе
Коврами по зелени
 стелются
 сплошь
Махровые майские маки.

Никуда не укрыться от их погонь,
От наглого их изобилья.
Летят под колеса,
 и топчет огонь
Безудержность автомобиля.

Колеси без дороги
 и вкось, и вкривь,
Слома голову
 мчишь за джайраном,
Повсюду их пурпурная кровь —
В глаза приливом багряным.

Над их цветниками,
 любясь, не стой:
Пунцовые чашечки копят
На дне
 гангренозно-лиловый настой —
Индийский дурманский опий.
Вдохнешь,
 а из глянца их
 в бахроме
Ресниц
 (Ведь я не пьян же!)
Вдруг глянут глаза,
 и в томной тьме
Замерцает
 золото Пянджа.

А дойра громом рокошет:
 «Сумей,
Коль можешь,
 вбери губами

Из черных к коленям сползающих змей
Мотыльковое девичье пламя!»

И дойра рокочет:
«Спеши! Спеши!

Май минет,
померкнут маки.
Здесь только весны и хороши
В безудержно-вольном размахе!»

Жизнь скоро замрет,
ни мертва, ни жива,
И только верблюд получит
На желтые зубы
в жару пожевать
Охапку пыльных колючек!
Но сразу
(как стоп на полном ходу),
К дурманам таким не привыкши,
Я вдруг отрезвел,
как только подул
В лицо мне ветер от Вахша.

Вахш
веял свежестью снеговой,
Ревел,
и среди рева и рыка
Водопадом
отцеживал
на головной
Участок
воду в арыки.

Развертывая за каналом канал,
На тысячи километров,
Шоколадно-прохладную воду
он гнал
В долину зноя и смерти.

Чтоб рос виноград,
и хлопок рос
Чтоб, в засухе не умирая,
Земля цвела средь гроздей и роз
Древонасаждением рая.

1934

ТАНЕЦ ПОД ДОЙРУ

Чертов камень, чертовы пальцы
Склерозных старческих рук,
И как им попался,
и как в них распялся
Обтянутый кожей круг!
Он вскинут, как месяц,
и в этот вечер,
Блестя золотым ободком,
С пальцами вместе,
ломотой калечась,
Рокочет кожей человеческой
На мертвом наречье...
Каком?

Старик — заклинатель черных змей,
Гнезда под парчевою тубетейкой.
Музыкой вызвать их сумей,
Чтоб, расплзаясь,
змейка за змейкой,
Убыстряясь,
вскидываясь пьяней,
Гонялась по девичьей спине...

По шелку, как по сухим листам...
Там-там... Там-там...
И сновиденьем сладострастья
В танце халила,
Вскинув хрупкие запястья,
Девушка поплыла...

Старик,
тебе не по летам
С ней состязанье. Откажись!
Ведь страсть прошла, как жизнь...
Там-там... Там-там...

Халат — в цветах,
а сам ты высох.
На черепе — ни волоска.

Я, как она, устал,
 палим
Дойрой золотой...

Смотри:
 она изнемогла
И надвое переломилась.
Ждет, не поднимая глаз,
Умоляя:
 «Милость! милость!»
И вдруг от головокружений
 Упала на колени...

Две серебряные чаши,
Дрожат ладони на груди.
Звуки чаще...
 чаще... чаще...
Замедли вихрь, галопом мчащий
В пропасть страсти...
 Пощади!

Взгляни:
 там
 на стене за ней
В маковых пятнах сюзане...
 Там-гам...

И нежность после бури даря,
Рокочет дойра
 и вкрадчиво так
И страстно шепчет:
 «Знай,
Ведь я нежнее скрипки
 гиджак,
Нежнее флейты
 най...»

Ты победил, старик!
 И ее
Догнавший по легкому следу,
Взлетая литаврами,
 бубен бьет
Твою и свою победу,
И, к юности прошлой пригубясь,
 пьет

Ликующую усладу...

Зрительный зал бушует тьмой,
Как этот танец,
и вся так
Жизнь пролетела,
но и седьмой
Над страстью не властен
десяток.
В искусстве смерти и старости нет,
И все молодеет в его огне!

Руку к сердцу прижал,
и сухо-костист
Поклон стариковского стана, —
Уста Алим,
народный артист
Республики Узбекистана.

1934

САМСОНОВ ДЕНЬ

Кто поймет,
почему градовой снежок
Лиц цветущих мед
посшибал, пожег!
Сколько шариков
мороженого
На тротуаре
зря брошено...
Громом рухнув ниц,
накидал, нанес
Сколько градин яиц
голубятник гроз...
О, любимая,
и тебе на крыльцо
Голубиное
грозное яйцо!

А ведь все оттого,
что от молнии щель,

С тысячеверстного разбега
Прибоем горным бьет к тебе
От Эльбруса и до Казбека
Кавказский снеговой хребет.

Как на гранитных кручах пророс
И прицепился к облачной груди
Бутоном двух белых персидских роз
Эльбрус —

две девичьих снежных груди?

Но в день такой

(как Кавказ ни суров)

Смягчает даль бирюзовая нежность,
И ясно меж двух упругих шаров
Изваяна снеговая промежность.

Черная точка... Все выше и четче...
Что это — мошка в глазу иль орел?
Нет, ошибаешься. Это летчик
Круто на перевал пошел...

«А сколько лет прошло?» —

«Лет сто». —

«Не может быть». —

«Смотри и стой...»

И степь не та, и не те места.
И как просчитаться я только мог?
Не пушки оказии на пригорке,
А полевой тракторный стан.
Не фитили, а бензиновый прогорклый
Дымок...

Пшеница, подсолнух. Ну, и места!
Реку проедем и без моста.
Пушкин и Лермонтов — это я-то!
Что же ты встал?

Да радиатор

Опять закипел,
Конфорку сшибая, паром запел...

Бурный брод колюч и шершав.
По голышам и гальке шурша,
От жары в клокочущий пенный плеск

По колеса (как буйвол по брюхо) влез.
Смотри — еще вздумает сдуру лечь,
И так уже в кузов пробилась течь.

Стой! За пробег горячий и тяжкий,
За то, что засуха губ горька,
Нас угощает талою бражкой
Из жбана каменного — река.

И мы, и машина разве не вправе,
Слушая, как жерновами внизу
В пшено обдирается мелкий гравий,
Пить прохладительную бузу?

Иль до сих пор кочевым набегам
Платят ковыльные степи оброк,
Что на меня налетел он абреком,
И в горы повлек, и на плен обрек?

Еще и тени орлов не остыли
На раскаленной степной золе,
А я, отбившись (как Жилин, Костылин),
Очутился в его арканной петле.

Как будто бы пуля, жужжа, прозвенела...
Кубань обернулась в Черкесскую Псыж.
Немирный аул притаился — псы ж
В покрышки вгрызаются остервенело.

Мясца бы резинового не урвали.
И вдруг споткнулся машинный скакун,
И ночь угостила нас ливнем в Урвани,
Как настоем малиновым зноя — Кахун.

В колхозах кабардинских селений
(Зеюково, Псыгансу, Жамтала)
Сидишь ты, новый кавказский пленник,
Гостем московским у стола.

Хотя и не раненый, но оробелый,—
Твое смущенье всякий поймет.
На тарелках ломти баранины белой,
Чеснок в айране и светлый мед.

Рассевшись неторопливо и чинно,
Под каменный харс гремячей реки
(В шапках бараньих, в белой овчине)
Поют сказители-старики.

Гортанная песня о распре дальной
С шашек кровью бы течь могла.
И девушка пляшет. И нежен миндальный
Разрез ее черкесских глаз.

Вот так же кафу плясала Бэла,
Тамара — лезгинку, томя и маня
Печорина, Демона и меня,
И вдруг затихла и оробела,
Опечалена...

Хочешь; чтоб я бежал?
А после что? Со скалы прыжок,
В спину меж кос холодный кинжал,
Поцелуя смертельный ожог...

Те же глаза — не видно ни зги...
Сверкают огнем чернооким.
В лязге кинжальном лезгинкой сгинь,
Как там со скалы над потоком.

Бэла, довольно! Загнал я коня,
Нельзя же плясать до упаду.
Так, чтобы с кровью на пол, звеня,
Выпал кинжал из лопаток...

Ослеп, что ль, как этот певец слепой,
Хатиб Унагасов!

Хотя б не допета,
Песня переживает поэта,
Тамара и Бэла — вымысел. Это
Пляшет с заведующим сельпо
Зампредседательница сельсовета.

И она, как они, с любовью не шутит,
Но от разлуки б не умерла,
А если и сбросится — на парашюте
С аэропланного крыла.

Такой бы, как Нине Камневой,
в Тушино.
(Где мне! За демона я прошу.)
Такая, приземливаясь, потушит
Любовь, если нужно, как парашют!

И луна не та, и горы не те.
А поток, в котором она тонула,
Освещает, бушующая в темноте,
Светлицы и улицы аула.

Аула? Какого аула! Ведь скоро
Вон там, где камни грудой лежат,
Вырастет сказочный агрогород
И кукурузный комбинат.

А там... Взгляните — высь какая! —
Оттуда на турбинный стан,
Электричество в ярости высекая,
Ринется из ущелья Баксан.

Гор этих каменные ступени,
Этих рек снеговая бурда,
И ее по ним в гидростанциях вспенит,
Как бузу на празднике, Кабарда.

Как правильной:
Эльбруса или Эльбруса
Иль Эльборуса?
Нет, я не пьян.
Предсказывать будущее не беруся,
Но все ж за него поднимаю стакан.

Кровь ли бродит,
любовь ли бредит, —
Не знаю... Да здравствует поэт,
Который с оказией приедет
В плен на Кавказ через сотню лет!

Как имя? Не вспомню... Да, поэт
Из будущего, мой кунак.
Так пусть он и песню мою допоет,
Что я не dokonчу никак.

Очистите место ему... Ну, да,
Он будет у нас тамада,
И песни и девушки — все ему,

Пусть, вглядываясь в золотую тьму,
Как и я, он скажет:

«Нет, не пойму...
Те же глаза — не видно ни зги...
Бэла... Тамара... Нина...
В лязге кинжальном лезгинкой сгинь!»

Где Эльбрус? Равнина... Равнина..

1935

ДОРОЖНОЕ

Взмывают без усталости
Стальные тросы жил,—
Так покидай без жалости
Места, в которых жил.

Земля кружится в ярости
И ты не тот, что был,—
Так покидай без жалости
Всех тех, кого любил.

И детски шалы шалости
И славы, и похвал,—
Так завещай без жалости
Огню все, что создал!

*22 сентября 1935,
по дороге из Коктебеля*

Наперекор

I

Полымем побаловай,
В холодке горя,

Дымчатый, опаловый
Вечер октября.

И в червонной проседи
Клены и дубы,
Вы еще не просите
Скрипом: «Эх, кабы...»

Как под шкурой барсовой,
Смугл, золотоплеч,
Лес горящий, сбрасывай
Листья — землю жечь,

Чтоб — не молодым чета —
Солнечно опал
Жар последний в дымчатый,
Облачный опал!

2 октября 1935

II. ЗА СОЛНЦЕМ

Закат. И солнце — вновь у края
Земли, как огнедымный шар,
Для нас — победно умирая,
К другим — рождением дня спеша.

Как этот миг великолепен!
О, если бы за ним поспеть!
А сзади в сумеречном склепе
С востока ночь встает, как смерть.

Но слышал я: орлы, ширясь,
Взмывают, чтоб в хрусталик линз
Глазных, зрачками расширяясь,
Глотать огонь его целин.

Я на пригорок тоже лезу
Продлить молниеносный миг.
Нельзя ни стали, ни железу,
Так ты, о, легкий сплав, возьми!

Чтоб самолет к самосожжению,
Не тлея, плыл —
наперекор
Волчкообразному движенью
Земли,
как скоростной рекорд.

И ты со мной не удивишься,
Повиснув неподвижно ввысь
И приказав
Земле:
«Не движься!»
И Солнцу:
«О, остановись!»

6 октября 1935

ДОБЫВАНИЕ ОГНЯ

Любовь! Любовь!
Боженственное что-то
Таишь ты, чтоб тобой я чаровался,
И мотыльковое кружение вальса,
И нерест нарастающий фокстрота.

Сонаты лунные
чтоб петь могла,
Как скрипка, ночь смычком, волной дробимой,
И шелестящий шаг, и солнце
глаз
Твоей Единственной,
твоей Любимой!

Но оглашенных соловьев —
к чему
Их свадебное оглашение?
В стихах и в музыке
все — к одному

Приглушенное приглашенье!
Пойми... Зовет Завет, и мы не вправе
Противиться, ведь, сердцем кровь гоня,
В Век Электричества над нами правит
Обычай Добывания Огня.

Покорные, друг друга не коря,
Взаимным треньем нежными телами,
Как некогда два голых дикаря,
Добудем искру —
Жизни пламя!

27 октября 1935, утро, 8 ч.

*

Полет любви, он невысок,
Он коршуном над лугом стелется,
Где затаилось средь осок
Глазной дробинкою в висок
Простреленное птичье тельце.

Снегами сбилась простыня.
И вот, несметной звездной сметой
Выскальзывая от меня,
Вуалью млечною дразня,
Ты обнажилась Андромедою.

И твой морозный луч виной,
И я тянусь к тебе, чтоб выше мог
К зениту доплеснуть вино
Последних судорожных выжимок.

*

Стою один на месте том,
Где в первый раз ты отдавалась.
Один...

А день, —

как в золотом

Их нельзя напечатать ни в одном журнале,
Их нельзя декламировать с эстрады,
Их неловко прочесть даже близкому другу.
Их можно прочесть самому себе,
Удивляясь, что написал не то, что нужно,
И потом, не разрывая их из жалости,
Не перепечатав на пишущей машинке,
Как отходы поэтического производства,
Положить на долгие годы в стол.

И стихи лежат, и бумага желтеет,
Выцветают чернила, а слова все крепнут,
Как вино в закупоренной бутылке.
И когда прокатятся тысячи тонн
Рулонной газетно-журнальной бумаги
С поденками крикливых стихов
И с хвалебными о них статьями,
Прокатятся и исчезнут бесследно,
Уничтожаясь в мусорных свалках,
И в отстойных колодцах канализации, —
То какой-нибудь дегустатор-читатель,
Как бутылку, откроет старую рукопись,
И стихи шибанут ему в голову
Отстоявшимся в забвении хмелем,
Даря непонятную грусть и радость.
И тогда окажется, что никому ненужное
Было самым важным и нужным для всех,
Потому что эти стихи говорили
О самом глубоком и самом тайном
И самом человеческом в человеке;
Потому что в них было то брожение,
Которое, отстаиваясь годами,
Переживает плесень своего творца
И дает столетнее вино поэзии.

*

Искусства участь нелегка.
Была такой во все века.
Во времена средневековья
Служанкой быть у богословья,
Придворной дамой королей

Притворный расточать елей.
А в век аэроплана, танка
Оно — политики служанка.

Вот вам из древности пример,
Был волен, но и нищ Гомер.
И одой должен разгораться
Поэт придворный, как Гораций.
Ведь даже пролетариат,
Как Август, льстивым строфам рад.

РАЗГОВОР О ПОЭЗИИ

Пойми — другого нет пути:
В поэзии, как и на сцене,
Тот должен вовремя сойти,
Кто дар лирический свой ценит.

Дряхлеть в стихах я не хочу.
Немыслим даже Пушкин старый, —
Чиновный Вяземский, ворчун,
Строчивший желчно мемуары!

Лишь тот поэт, который юн,
Имеет признанное право —
Касаться всех сердечных струн
И зацвести кудряво.

Нет мудрости седых волос.
В эпоху ярости и бури,
Как в Оптиной, перевелось
И старчество в литературе.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ БАЛЛАДА

Хоть времени порядочно
Прошло (как говорят),
Все ж не забыл я святочный
Веселый маскарад.

Откуда мысль нелепая
Втемяшилась и как
Доверился так слепо я
Рядиться в старика?

Или наряда клоуна
В тряпье мне не нашлось,
Что я пошел рискованно
На золото волос?

Без выреза пикейного,
В слежавшийся сюртук
Отца, давно покойного,
Я обрядился вдруг.

Потом словоохотливый
Дешевый брадобрей
Мне выбелил заботливо
Густую темь кудрей.

И с желтой подмалевкою
Морщинок сеть и жил
Мне на лицо он ловкою
Рукою наложил.

И старикашка ветренный,
Юнец седой,— на чай
Еще и рубль серебряный
Я отдал сгоряча.

Туда, где елки звездилась,
Где шум еще не стих,
Из дома в дом мы ездили
На розвальнях больших.

И за ватагой ряженой
Тащился я молчком,
Смешно обезображенный
Никчемным старичком.

Монистною орлянкою
Швыряясь в грудь, хмельно
Плясала ты цыганкою
С каким-то домино.

И, пляской обессилена,
Расхохоталась вдруг,
Что я — пронафталиненный
И пахну, как сундук.

И кудри не обласканы
Остались, как тоска,
Как шелковые лацканы
И траур сюртука.

Лишь на заре на утренней
Мне удалось страсти
С волос налет напудренный
В звездинках конфетти.

Кляня свое дурачество,
Что старость взял займы,
Водой холодной начисто
Я все морщины смыл.

А в год разрухи яростной
Я, не пролив слезы,
Сюртук отца безжалостно
Продал на картузы.

Летела жизнь неистово,
И вот — черт подери! —
Как плохо смытый, выступил
Кой-где проклятый грим.

Поддался опрометчиво,
И не стряхнуть, не смыть
Посыпки, краски въедчивой
Далекой той зимы.

Но в зеркале недлинная
Дробится ртутью даль,
И пахнет так же хинная
Вода и вежеталь.

Я в той же парикмахерской,
Гляжу — и мастер тот,
Ус закрутивши ухарский,
Меня как будто ждет.

«Нельзя же, пригорюнившись,
Таким ходить в миру.
Скорей меня под юношу,
Как был, разгрядируй!»

А он в ответ с ухмылкой,
Передник отряхнув,
Взболтнет бутылку мылкую:
«Вам пиксафон иль хну?»

Присядьте к умывальнику...
Эй, воду для мытья!..»
И в зеркальце овальное
Взглянув, ссутулюсь я:

«Лей весь раствор твой знахарский!
Смой грим!..»

Да на беду
Нигде той парикмахерской
Никак я не найду!

1937

МОРОШКА

Мороз... Мороз...
Морозило сто лет... Сто лет...
Мир рос... Мир рос
Сто лет... Сто лет...
Но не в футляре пистолет
Разряженный, а на столе —
На блюде ягоды морошки.
Губами бы их в рот вобрать,
Не окисляя серебра
Чуть потемневшей чайной ложки.
Хотя б одну из них попробуй.
Как терпнет рот! Они горчат —
В них свежесть снежная сугроба
И выстрела похмельный чад.

Не по морозцу —
по морошку.

Как потолок вдруг стал высок...
По книжным полкам выше... выше...
Кончается... Уже не дышит...
Морошка...

Обморок...

И морок...

Мороз и сумерки.

Он умер.

Без выстрела сигнальной пушки
До глубины своих трясин
Гранитный город потрясен,
Как наводнением:

умер Пушкин!

Царь заплатил долги, но все ж
Не полон был его платеж:
Долг этой девке крепостной
В веках остался неоплатен,

Морошки кустик жестяной
Запорошен метельным плачем.
Народный счет неотразим,
Долг безымянный неоплатен,
И только мы чрез сотню зим
Теперь те ягоды оплатим!

1937

*

Облачные сердолики
Холодеют в халцедон.
Только тень моя, да лики
Скал зубчатят плоский склон.

Щебень камня и овечий,
Как табак, сухой помет.
Перелетный крымский вечер,
Кто тоску твою поймет?

Наливает зноем кисти
Темно-розовый мускат.
У купальщиц золотистей
Бедер обнаженных скат.

С прежней юношеской верой,
В юность и любовь влюблен,
Я люблюсь, как Венерой
Омаячен небосклон.

Сентябрь 1938

НА МЕДВЕЖЬЕЙ ГОРЕ

Кто мог ожидать перед кругом полярным
Такой золотистый загарный зной,
Воздух, расплавленный сгустком янтарным,
И небо синее в хвое резной;

И под обрывом песчаным вправо
Вблизи не замеченное никем
Озеро в гранитной оправе
И в малахитовом сосняке;

Кто мог ожидать, что будет такая —
Для купанья вовсе не холодна —
Вода хрустальная, как морская,
Прозрачная до самого дна;

Что, потревожены всплеском нагретым,
По-русалочки нежно чуть щекоча,
Кувшинки дотронутся златоцветом
До напрягшегося в саженках плеча.

За сосны, парящие хвоей на зное,
За тень, голубики твоей голубей,
Озеро Верхнее Хмельное,
За тихую ласку спасибо тебе!

7 октября 1938



Под солнцем тучка сушит кисею
И на поля, и на луга внизу
Роняет тень лиловую свою,
Предсказывая дальнюю грозу.

Орел распластан в небе недвижим,
И камнем тень его, на землю пав,
Терзает и когтит вдали под ним
Добычу, выхваченную из трав.

Высоко в небе самолет гудит,
И точкой тень его, пронзая свет,
Как будто для того, чтоб был он сбит,
Его наносит на земной планшет.

Чем ярче солнце жизни в высоте,
Чем выше дерзких взлетов потолок —
Тем резче фиолетовую тень
Вычерчивает смерть у наших ног.

15 мая 1939



Все это было миллионы раз:
Так было и у нашей колыбели,
В зарю младенческих молочных глаз
Отец и мать с надеждою смотрели...

Все это было миллионы раз:
Вдруг онемев от соловьиной трели,
В зрачки расширенных луною глаз
Влюбленные восторженно смотрели...

Все это было миллионы раз:
У тела еще теплого в постели
В неподвижность устремленных в вечность глаз
С рыданьем жалким близкие смотрели...

Все это было миллионы раз
До нас и будет после нас,
Все это будет миллионы раз.

16 октября 1939

*

В сознание сияет она, внушая,
Что с ней неразлучна вся жизнь моя,
Что в маленькой в ней бесконечно-большая
Вселилась Вселенная, вечность тая.

И в ослепление своем убогом,
Как солнце атомное, ярка,
Хочет она воплотиться богом
Микроскопического мирка.

И нет укуса ее ядовитей,
Язвительная, как змея,
Тая обиду, стоит в алфавите
Последняя буква:
Я.

29 февраля 1940

*

Хочу тебе сказать
Такое слово нежное,
Чтоб, как весна, опять
Вернулась юность прежняя.

Хочу тебе сказать
Такое слово нежное,
Чтоб расцвели опять
Под сединой подснежники.

Июнь 1940



Головок детских ласково касаясь,
По тортам и пирожным из песка
Вдруг тень бомбардировщика косая,
Нацелившись, скользнула свысока.

И где-то ухнули зенитки тяжко,
И, как осинник, трепыхнулся сад.
Смотри — на небе белые барашки,
Как ангелочки ватные, висят.

И ветер вдруг подул такой прохладный.
Не бойся, глупый мальчик, не дрожи.
Ведь бомбы их с начинкой шоколадной
Рассыпят шоколадное драже.

Скорей пошире растопырь ручонки,
Ведь ангелы — посланники любви,
И для себя и для своей сестренки
Гостинец, с неба сброшенный, лови!

Июнь 1940



Какая тьма! Нигде просвета нет.
Из темноты, как бражники ночные
Мертвоголовые, летят на свет
Бомбардировщики сверхскоростные.

Европа с мраком заключила пакт,
И победившей тьме сдалась на милость.
О, если б на луну надеть колпак,
Чтоб и она, как фонари, затмилась!

Совсем бы отменить сиянье дней
Иль сделать их по-зимнему короче,
Чтоб стало затемнение полней,
Как мрак полярной неподвижной ночи.

Тьма полная... Ни проблеска... Ни зги...
И улицы столиц, как в джунглях тропы.
Затмненны и окна и мозги.
Затмение... Затменье всей Европы.

Еще сквозь тьму не видима рука,
Но меч прожектора, скользящ и режущ,
Пронзает грозовые облака
Над подземельями бомбоубежищ.

Растет прибой многоголосый... Чу!
Наполнен громом звукоуловитель.
К прожекторному светлому мечу
Рукою тянется освободитель.

Июнь 1940

*

«Жизнь моя, как летопись, загублена,
Киноварь не вьется по письму.
Ну, скажи: не знаешь, почему
Мне рука вторая не отрублена?»

— Эх, Володя, что твоя рука!
До руки ли, до соленой влаги ли,
Если жизнь прошел ты от Цека
По этапам топким до концлагеря!

Как сполохами, сияет здание
Надписью «Ц. К. В. К. П. (б-ов)»...
Горло сжали, как петля, рыдания.
Где ж твой пропуск? Или не готов?

Этих букв сверкающая светопись
Будоражит мировую тьму...
Жизнь твоя загублена, как летопись,
Киноварью вьется по письму.

Стол... Окно... Но где Китайгородская,
Белокаменная где стена?
Видишь: ледяная ширь Охотская
Заполняет глубину окна...

В зале заседанья так накурено,
И без оселедца, неживой —
Восковой папиравкой Мичурина
В дыме виснет голый череп твой.

Там встречался ты с поэтом-тезкою,
Приносил стихи он в Прессбюро,
При тебе подчас с усмешкой жесткою,
Чтоб исправить, брался за перо.

Вновь весна! Надежда, как проталина....
Он не раз в присутствии твоём
Говорил, чтоб как-нибудь у Сталина
Для него устроили прием.

И дворец из стали нержавеющей
В честь его под площадью возник,
А тебе открылся мрачно веющий
Вечной мерзлотой земли рудник.

Два поэта, над стихами мучаясь,
Отливали кровью буквы строк,
И трагической, но разной участью
Наградил их беспощадный рок!

Ты мечтал, цингою обескровленный,
Что с любимой в полночный час
На звезде заранее условленной
Встретишься лучистой лаской глаз.

На мороз ты шел, как бы оправиться,
Ноги вспухшие чуть волоча,
Чтоб в глаза звездой могли уставиться
Два ответных ласковых луча.

Всей душою в лучезарной мгле топись!
Позабудь про скорбь, скорбят и тьму!
Жизнь твоя загублена, как летопись,
Кровь твоя стекает по письму!

Ведь и смерть, как жизнь, лишь дело случая,
И досками хлюпкими дрожа,
Затянула в трюм тебя скрипучая,
Ссылная рудничная баржа.

Но свиданье, что тебе обещано,
Не разъять бушующей воде:
Два влюбленных взгляда вечно скрещены
На далекой золотой звезде!

6—10 сентября 1940

НАД СЕВЕРНЫМ МОРЕМ

Над бурным морем Северным
Сражались истребители,
Стальные ястреба,
В свинцовом ливне веерном —
Вы видели? Вы видели? —
И глохнула стрельба
Над бурным морем Северным.

Над бурным морем Северным,
Над водными просторами
Заглох воздушный бой.
Как тучи, цугом траурным
С бесшумными моторами
Летят они гурьбой
Над бурным морем Северным.

Над бурным морем Северным
Прносятся валькирии,
Всех павших подобрал.
Вы девам смерти все верны,
Вы — званые на пире их.
В Валгаллу путь кровав
Над бурным морем Северным.

Над бурным морем Северным
Несутся истребители
Быстрее сверхскоростных
Кортежем черным траурным
К Валгалловой обители
В сверканьях расписных
Над бурным морем Северным.

12 ноября 1940



Все прошлое нам кажется лишь сном,
Все будущее — лишь мечтою дальней,
И только в настоящем мы живем
Мгновенной жизнью, полной и реальной.

И непрерывной молнией мгновенья
В явь настоящего воплощены,
Как неразрывно спаянные звенья, —
Мечты о будущем, о прошлом сны.

20 декабря 1940

*

Поэт, бедняга, пыжится,
Но ничего не пишется.
Пускай еще напыжится, —
Быть может, и напишется!

Январь 1941

*

Который год мечтаю втихомолку —
Сменить на книжный шкаф простую полку
И сборники стихов переплести.
О, Муза, дерзкую мечту прости!
Маячат деньги, пролетая мимо.
Мечта поэта неосуществима.

10 января 1941

ТЕОРЕМА

Жизнь часто кажется мне ученицей,
Школьницей, вызванной грозно к доске.
В правой руке ее мел крошится,
Тряпка зажата в левой руке.

В усердье растерянном и неумелом
Пытается что-то она доказать,
Стремительно пишет крошащимся мелом,
И тряпкой стирает, и пишет опять.

Напишет, сотрет, исправит... И все мы —
Как мелом написанные значки —
Встаем в вычислениях теоремы
На плоскости черной огромной доски.

И столько жестокостей и издевательств
Бесмысленно-плоских кому и зачем
Нужны для наглядности доказательств
Самой простейшей из теорем?

Ведь после мучительных вычислений
В итоге всегда остается одно:
Всегда неизменно число рождений
Числу смертей равно.

21 января 1941

*

Поэт, зачем ты старое вино
Переливаешь в новые меха?
Все это сказано уже давно
И рифмою не обновишь стиха.

Стары все излияния твои,
И славы плагиат тебе не даст:
«Песнь песней» все сказала о любви,
О смерти все сказал Экклезиаст.

27 января 1941

ЮЖНАЯ КРАСАВИЦА

Ночь такая, как будто на лодке
Золотистым сияньем весла
Одесситка, южанка в пилотке,
К Ланжерону меня довезла

И встает ураганной завесой,
Чтоб насильник его не прорвал,
Над красавицей южной — Одессой
Заградительный огненный вал.

Далеко в черноземные пашни
Громобойною вспашкой весны
С черноморских судов бронебашни
Ударяют огнем навесным.

Рассыпают ракеты зенитки,
И початки сечет пулемет...
Не стрельба — темный взгляд одесситки
В эту ночь мне уснуть не дает.

Что-то мучит в его укоризне:
Через ложу назад в полутьму
Так смотрела на Пушкина Ризнич
И упрек посылала ему.

Иль под свист каватины фугасной,
Вдруг затменьем зрачков потемнев,
Тот упрек непонятный безгласный
Обращается также ко мне?

Сколько срублено белых акаций,
И по Пушкинской нет мне пути.
Неужели всю ночь спотыкаться
И к театру никак не пройти.

Даже камни откликнуться рады,
И брусчатка, взлетев с мостовых,
Улеглась в штабеля баррикады
Для защиты бойцов постовых.

И я чувствую с Черного моря
Через тысячёверстный размах
Долетевшую терпкую горечь
Поцелуя ее на устах.

И ревную ее, и зову я,
И упрек понимаю ясней:
Почему в эту ночь грозовую
Не с красавицей южной, не с ней?

1941

*

Вот она, Татарская Россия,
Сверху — коммунизм, чуть поскобли..
Скулы-желваки, глаза косые,
Ширь исколесованной земли.

Лучше бы ордой передвигаться,
Лучше бы кибитки и гурты,
Чем такая грязь эвакуаций,
Мерзость голода и нищеты.

Плач детей, придавленных мешками.
Груди матерей без молока.
Лучше б в воду и на шею камень,
Места хватит — Волга глубока.

Над водой нависший смрадный нужник
Весь загажен, некуда ступить,
И под ним еще кому-то нужно
Горстью из реки так жадно пить.

Над такой рекой в воде нехватка,
И глотка напиться не найдешь...
Ринулись мешки, узлы... Посадка!
Давка, ругань, вопли, вой, галдеж.

Грудь в тисках... Вздохнуть бы посвободней...
Лишь верблюд снесет такую кладь.
Что-то в воду шлепнулось со сходней,
Груз иль человек? Не разобрать.

Горевать, что ль, над чужой бедою!
Сам спасай, спасайся. Все одно
Волжскою разбойною водою
Унесет и засосет на дно.

Как поладить песне тут с кручиной?
Как тягло тягот перебороть?
Резать правду-матку с матерщиной?
Всем претит ее крутой ломоть.

Как тут Правду отличить от Кривды,
Как нащупать в бездорожье путь,
Если и клочка газетной «Правды»
Для сигарки горькой не свернуть?

9 ноября 1941. Чистополь

ПРОЩАНИЕ

Не забыть нам, как когда-то
Против здания тюрьмы
У ворот военкомата
Целый день прощались мы.

В Чистополе в поле чистом
Целый день белым-бела
Злым порсканьем, гиком, свистом
В путь метелица звала.

От озноба грела водка,
Спиртом кровь воспаменя.
Как солдатская молодка,
Провожала ты меня.

К ночи день крепчал морозом
И закат над Камой гас,
И на розвальнях обозом
Повезли по тракту нас.

На соломенной подстилке
Сидя рядышком со мной,
Ты из горлышка бутылки
Выпила глоток хмельной.

Обнялись на повороте:
Ну, пора... Прости... Слезай...
В темно-карей позолоте
Зажемчужилась слеза.

Вот и дом знакомый, старый,
Забежать бы мне туда...
Наши возчики-татары
Дико гикнули: «Айда!»

Покатился вниз с пригорка
Утлых розвальней размах.
Поцелуй последний горько
Индевет на губах.

Знаю: ты со мной пошла бы,
Если б не было детей,
Чрез сугробы и ухабы
В ухающий гул смертей.

И не знаю, как случилось
Или кто устроил так,
Что звезда любви лучилась
Впереди сквозь снежный мрак

В сердце бил сияньем колким,
Серебром лучистых струй,—
Звездным голубым осколком
Твой замерзший поцелуй!

1942



Просторны, как небо,
Поля хлебородные.
Всего на потребу!
А рыщут голодные
С нуждою, с бедою,
Просят все — где бы
Подали хлеба,
Хотя б с лебедою.

Равнина без края,
Такая свободная,
А всюду такая
Боль
 подколотная,
Голь
 безысходная,
Дань
 непонятная,
Рвань
 перекатная!

С добра ли, от худа ли
Гуляя, с ног валишься.
Хмелея от удали,
Силушкой хвалишься.
С вина на карачках,
Над спесью немецкою
Встаешь на кулачках
Стеной молодецкою!

Так в чем же
 ты каешься?
За что же
 ты маешься?
Все с места снимаешься
В просторы безбрежные,
Как прежде, не прежняя
Россия — Рассея...
Три гласных рассея,
Одно «эр» оставив,
Одно «эс» прибавив,
Ты стала родною
Другую страну:
СССР.

Март 1942

И невозвратно
с весною расстались,

И вновь онемело,
как трупы, легли
На талое тело
воскресшей земли...

Металлом визжало,
взметалось пламя:
Живые сражались,
чтоб стать мертвецами.

5 апреля 1942

*

Землю делите на части,
Кровью из свежих ран,
Въедчивой краской красьте
Карты различных стран.

Ненависть ложью взаимной
В сердце народов раздув,
Пойти свирепые гимны
В пляске военной в бреду.

Кровью пишите пакты,
Казнь укрепляйте указ...
Снимет бельмо катаракты
Мысль с ослепленных глаз.

Все сотрутся границы,
Общий найдется язык.
В друга враг превратится,
В землю воткнется штык.

Все раздоры забудет,
Свергнет войны кумир,
Вечно единым будет
Наш человеческий мир!

Не дипломатов интриги,
Не самовластье вождей,
Будет народами двигать
Правда великих идей.

И, никаким приказам
Не подчиняясь впредь,
Будет свободный разум
Солнцем над всеми гореть!

10 июня 1942

РАССТАВАНИЕ

Стал прощаться, и в выцветших скорбных глазах,
В напряженности всех морщин
Затаился у матери старческий страх,
Что умрет она позже, чем сын.

И губами прильнула жена, светла
Необычным сиянием глаз,
Словно тело и душу свою отдала
В поцелуе в последний раз.

Тяжело — обнимая, поддерживать мать,
Обреченность ее пожалей.
Тяжело пред разлукой жену целовать,
Но ребенка всего тяжелей!

Смотрит взглядом большим, ничего не поняв,
Но тревожно прижался к груди
И, ручонками цепко за шею обняв,
Просит: «Папа, не уходи!»

В этом детском призыве и в детской слезе
Больше правды и доброты,
Чем в рычании сотен речей и газет,
Но его не слушаешь ты.

И пойдешь, умирать по приказу готов,
Распрощавшись с семьей своей,
Как ушли миллионы таких же отцов
И таких же мужей, сыновей.

Если б цепкая петелька детских рук
Удержала отцовский шаг,—
Все фронты перестали б работать вдруг
Мясорубками, нас не кроша.

Прозвенело б заклятьем над пулей шальной:
«Папа, папа, не уходи!»
Разом пушки замолкли б,— все до одной,
Больше б не было войн впереди!

16 июня 1942

ВОЛЖСКАЯ

Ну-ка дружным взмахом взрежем
 гладь раздольной ширины,
Грянем эхом побережий,
 волжской волею пьяны:
«Из-за острова на стрежень,
 на простор речной волны...»

Повелось уж так издавна:
 Волга — русская река,
И от всех земель исправно
 помощь ей издалека
Полноводно, полноправно
 шлет и Кама и Ока.

Издавна так повелось —
 в море Каспий на привал
Вниз от плеса и до плеса
 катится широкий вал
Мимо хмурого утеса,
 где грозой Степан вставал.

И на Волге и на Каме
 столбовой поставлен знак.
Разгулявшись беляками,
 белогривых волн косяк
Омывает белый камень,
 где причаливал Ермак.

Воля волжская манила
наш народ во все века,
Налегала на кормило
в бурю крепкая рука.
Сколько вольных душ вскормила
ты, великая река!

И недаром на причале
в те горячие деньки
К волжским пристаням сзывали
пароходные гудки,
Чтоб Царицын выручали
краснозвездные полки.

Береги наш край советский,
волю вольную крепи!
От Котельникова, Клетской
лезут танки по степи.
Всех их силой молодецкой
в Волге-матушки топи!

Волны плещутся тугие,
словно шепчет старина:
«Были были не такие,
были хуже времена.
Разве может быть Россия
кем-нибудь покорена!»

1942

На передовых

551-МУ АРТПОЛКУ

Товарищи артиллеристы,
Что прочитать я вам могу?
Орудий ваших гул басистый —
Гроза смертельная врагу.

Кто здесь в землянке заночует,
Тот теплоту родной земли

Всем костяком своим почует,
Как вы почувствовать могли.

Под взрывы мин у вас веселье,
И шутки острые, и смех,
Как будто справить новоселье
В лесок стрельба созвала всех.

Танк ни один здесь не проскочит,
И если ас невдалеке
Пикировать на вас захочет,
Он рухнет в смертное пике.

Здесь, у передовых позиций
Среди защитников таких,
В бой штыковой с врагом сразиться
Неудержимо рвется стих.

Пускай мой стих, как тост задравный,
Снарядом врезавшись в зенит,
Поздравив вас с победой славной,
Раскатом грозным зазвенит!

Мы все сражаемся в надежде,
Что будет наша жизнь светла
И так же радостна, как прежде,
И даже лучше, чем была.

Ведь час свиданья неминуем,
Когда любимая одна
Нам губы свяжет поцелуем —
Невеста, мать или жена.

И снова детские ручонки
Нам шею нежно обовьют,
И скажет «папа» голос звонкий,
И дома встретит нас уют.

Так будет! Но гангреной лапа
Фашистской свастики черна,
И нам в боях идти на Запад,
И к подвигам зовет война.

Заданье выполним любое.
Крошись, фашистская броня!

Команда: «Все расчеты к бою!
Огонь!»

И не жалеть огня.

ФРОНТОВАЯ КУКУШКА

Вповалку на полу уснули
Под орудийный гневный гром.
Проснулись рано в том же гуле
Раскатно-взрывчатом, тугом.

Я из землянки утром вышел
Навстречу серому деньку
И в грозном грохоте услышал
Певучее «ку-ку, ку-ку...»

Еще чернели ветви голо,
Не высох половодья ил,
И фронт гремел, а дальний голос
Настойчиво свое твердил.

Огонь орудий, все сметая,
Не причиняет ей вреда.
Поет кукушка фронтовая,
Считая долгие года.

На майском утреннем рассвете
На гулком боевом току
Бойцам желает многолетия
Лесное звонкое «ку-ку».

НЕОТРАЗИМАЯ ВЕСНА

Все это им давно знакомо,
Война не распугала птиц.
Стрельба для них раскаты грома,
А вспышки — отблески зарниц.

Как будто пересилить пушки
Хотят пернатые певцы —

Лесные горлинки, кукушки,
И жаворонки, и скворцы.

Взорвется мина иль ракета,
Но, не пугаясь, соловьи
Выводят трелью до рассвета
Коленца сложные свои.

Ведь каждая пичуга знает,
И трель прицельная ясна:
Зеленым фронтом наступает
Неотразимая весна.

В честь наступленья ураганный
Огонь, настроивши стволы,
Играет свой хорал органнй
Под куполом лазурной мглы.

В руке, как гриф, и ствол, и ложе,
Как скрипка — у плеча приклад,
И в блиндажах, в окопах лежа,
Бойцы под гром орудий тоже
О наступленья говорят.

1942

НА УЧЕТЕ ВОЕНМОРА

В тихой гавани Военмора
Держит стоячая вода.
Отсюда в море не выйдешь скоро,
Да и выйдешь ли когда?

4 августа 1942

ПОЭТУ

О, старая чиновная Россия,
И осоветившись, она жива!

Чины и ордена теперь другие,
Но прежние у них на жизнь права.

Холопство ль, недостаток ли культуры,
Но табели чинов растут у нас,
Как будто «генерал литературы»
Присваивает званием указ.

Мы, к сожаленью, редко вспоминаем,
Что, золотом мундиров затмеваем,
Почти не замечаемый никем,
Протискивался Пушкин боком, краем
В своем невзрачном штатском сюртуке.

Пусть среди чинов, и орденов, и премий
Не забывает истинный поэт,
Что беспощадный приговор над теми,
Кто был писателем, выносит Время,
Что выше судей не было и нет!

6 августа 1942

*

Вороны кружат и кричат с утра
На старых больных тополях,
Как будто им собираться пора,
Как птицам пролетным в полях.

Как будто сомненье гнездится в них,
Страшит и пугает зима:
Прокормят ли свалками ям выгребных
Ворон городские дома?

Как будто жаркие споры ведут:
В Берлин, в Копенгаген... Но где ж
В Европе сытней и привольней, чем тут?
В Париж через Гамбург, Лиеж...

Иль, может, по карте спуститься вниз,
Искать потеплее стран:
К Евфрату и Тигру через Тавриз?
На Индию чрез Тегеран?

Горластое, чертово воронье,
Чего тебе зря тужить?
Не так уж скверно дело твое,
В войну тебе только и жить!

Уйми неумный и злой галдеж,
Держись поближе к фронтам.
Там корма в досталь себе найдешь,
Довольно падали там.

Пускай бушует зима лютей,
Вопрос пропитанья ворон
В военное время у нас, людей,
Довольно легко разрешен.

Вороны нам благодарность хрипят.
Ведь их не пугает мороз.
А как мы прокормим своих ребят,
Вот это — сложный вопрос.

20 сентября 1942. Чистополь



Как странно, что сверчок запел за печкой
По-диккенсовски так тепло, уютно
В тот самый день, как принесли вдруг ордер
На выселение от коммунхоза
Моей жене и мальчишкам моим.
С электростанции не дали света
В тот вечер словно с умыслом, а ветер
Разгульный камский ударял в окно
И вышибал плечом гнилую раму,
Как будто торопя их с выселеньем
И выгоняя на осенний холод.
А наш сверчок (он сразу стал своим
В семье; и дети так его назвали),
А наш сверчок, за печкою-временкой
Расположась, все пел невозмутимо
О разогретом ужине в кастрюле,
О чайнике, вскипевшем на плите,
О радостях домашнего уюта

И верещал о скором возвращенье
В обжитое московское жилье,
Где ждет детей рождественская елка
И онемевший без прикосновений
Взлетевших женских рук тугой рояль,
Расстроенный от долгого мороза
В нетопленной квартире и от взрыва
Фугасной бомбы рядом в переулке.

22 сентября 1942. Чистополь

НОЧНОЙ МУЗЫКАНТ

Зал зрительный пред ним во мраке.
Темна его эстрада-щель.
Манишки белой нет во фраке,
Черна его виолончель.

Кромешной темнотой окутан,
Весь в черном с головы до ног,
Певец домашнего уюта,
Но сам бродяга, одиночек.

Всегда, но не стеснен футляром,
При музыканте инструмент.
Он требует, играя даром,
Полнейшей тишины взамен.

По нотам ночи без рояля
Играет он один мотив.
Навряд ли вы его видали,
Так он застенчив и пуглив.

Свет потушивши, в час обычный
Прилягте тихо на постель,
И вам сонатой скрипичной
Навеет сон виолончель.

В потемках запоем крылатый
Нечеловеческий смычок
И в грезы сонные сонатой
Безлунной увлечет сверчок.

24 сентября 1942. Чистополь



Сегодня по-каспийски зелёна
И в небе синева муаровая,
А под деревьями расстелена
Как будто шкура ягуаровая.

И листья словно виноградные,
Земля их опаданью радуется,
Огромно-желтые, нарядные,
Как груши спелые, как падалица.

И нам по-крымски вспоминаются
Плоды в янтарной их знакомости,
Но даже ветер удивляется
Их золотистой невесомости.

И в огненной своей мгновенности
Для нас вся эта роскошь царственная,
Как солнечный запас нетленности,
Как солнечная запись дарственная.

В огне, с фиалковой просинью,
Их две любви. Какая ж истинная,
Та с соловьями или, осенью
Зажженная, золотолиственная?

Заката не переупрямите.
Пусть гаснет, нас не опечаливая,
Как в облаках, и в нашей памяти
Последняя полоска палевая.

28 сентября 1942. Чистополь



Иди
 поттише
И ты
 услышишь,
Как все землистей

Кружатся
 листья,
Ложатся
 листья.

Иди
 потихе
И ты
 услышишь,
Как в блеклой прели,
Теряя прелесть,
Хрустит
 их шелест,
Грустит
 их шелест.

До первых снежинок
Отзолотеет
Их полыханье,
Их колыханье,
И зеркальца льдинок
Не запотеют
От их дыханья.

8 октября 1942. Чистополь

*

К тебе тянусь губами в темноте,
Ловлю во тьме твой поцелуй ответный.
Шепчу слова, но все они не те,
Исчез их сокровенный смысл заветный,
И в плотский мир планетного «люблю»
Я призрак твой никак не уловлю.

Нас разделают снежные простыни,
Их полотно из голубого льна
Наткала нам разлучница-луна.
Летя к тебе, мой поцелуй остынет
И на твоём окне к стеклу прильнет
Узорным инеем алмазный лед.

1 января 1943, ночь



Баратынский... Сумрачный
Северный гранит
В светлости полуночной
Тайны рун хранит.

В серых глыбах каменных
На века застыл
Извержений пламенных
Исступленный пыл.

Тютчев... Ослепительный
Блеск ночных зарниц,
Их сухой томительный
Всплеск из-под ресниц.

С ветром всколыхалось
И среди звезд в тиши
Гасит море хаоса
Свет твоей души.

К ним на суд ты юношей
Нес стихов тетрадь.
К ним теперь, осунувшись,
Ты идешь опять.

В розовой телесности
Лавой стыл металл.
С ними ты известности,
Славы не искал.

Будь в суровой гордости
Сердца и лица
Огненной их твердости
Верен до конца.

13 января 1943



Нелепая, она всю ночь над нами
Носилась слепо, яростно и зло.
А утром нерасцветенное в пламя
Белесым блеском небо рассвело.

И под сугробами по скату в яме
Заснеженные трупы замело...
Метель писала белыми стихами
Поэму белой смерти набело.

13 января 1943

ДУБ

Грозой он еще не повержен,
Могуч, долголетен на вид,
Железа топорного тверже,
Осанист, кудряв, сановит.

Но все же не скрыть червоточин,
Не скрыть под корою дупла —
Удар был рассчитан и точен,
Но молния в землю ушла.

А чуточку поодаль рядом,
Как лозы, стройны и гибки,
Светлея весенним нарядом,
Растут молодые дубки.

И дуб-великан у обрыва
Почти что на самом краю
Стоит и глядит горделиво
На буйную поросль свою.

Шумит, возвышаясь над всеми,
И сам зеленеет светлей:
Окрепло дубовое семя
Живучих его желудей.

Повалят его лесорубы,
Иль он загниет на корню,
Иль даст он, разделанный грубо,
Пыланье ночному огню,

Он знает:

на празднике жизни,
Не сгнув в земле и в огне,
Листвою сыновьей он брызнет
Победно навстречу весне.

19 мая 1943

ВСАДНИК ПОД БУРКОЙ

«Станичники, донцы, кубанцы, терцы!
Покажем им погибельный Кавказ...»
Его слова доходчивы до сердца.
Кто он такой, чтоб отдавать приказ?

Но властны голоса его раскаты.
Ни горец, ни казак. Чудно одет.
За поясом под буркою косматой
С серебряной насечкой пистолет.

По-командирски он кричит и машет
Лезгинской шашкою над головой,
И словно кафу свадебную пляшет
Под ним конь кабардинский огневой.

Дрожь пробегает по ногам точеным,
Как будто конь на воле в косяке,
И мощный крик летит по эскадронам
И эхом замирает вдалеке.

Марш... Все за ним по сабельному знаку.
Сигнал горниста проиграл — и смолк.
Казачьей лавою пошел в атаку,
Раскинувшись, кавалерийский полк.

Земля родная загудела тяжко.
Он вырвался из строя одинок.

Маячит впереди его фуражка,
И серебрится огненный клинок.

Вот перед ним взорвалась мина... мимо...
И по горам отдался громом гул,
А он через воронку невредимо
На вороном коне перемахнул.

Эх, здорово врагов мы рубанули!
Досталось им. Пришел и наш черед...
Иль он заговорен — его ни пуля,
Ни шашка, ни осколок не берет.

Кто этот всадник? Приглядиись получше.
Он ночью прискакал издалека.
Не узнаешь? То Лермонтов, поручик
Пехотного Тенгинского полка.

Так он скакал когда-то на завалы
С отчаянной командой смельчаков,
Под буркой в сюртуке, в рубахе алой,
В атаке первый, — он всегда таков.

Фанфара над полком гремит победно.
Клинки казачьи вложены в ножны,
А Лермонтов уже исчез бесследно,
Как будто в воду канул с крутизны.

И шумно по камням Подкумок мчится.
Насупился Бештау... Погоди,
Еще не раз с ним свидеться случится —
Ведь он всегда в атаках впереди!

1943

ТРИ АРТИЛЛЕРИСТА

Ты слышишь, ты слышишь, Сережа:
Архангельской грозной трубой
Могильный твой сон потревожа,
Гремит орудийный прибор.

По небу гремит многотрубно
Военный рокочущий зов...
Мы взяли Тернополь и Дубно,
Открыта дорога на Львов!

Салютом родной батарее
Гремит он: Вставайте! Подъем!
Вставай же, Сережа, скорее!
Вставайте все дружно втроем!

От плеч твоих рухнуть готовый,
Весенней водою размыт,
Пушистой землею кротовой
Твой холмик могильный стоит.

Все трое, высоки и прямые,
Так молоды, гибки, легки,
Вдруг выпрыгнули из ямы,
Как будто в атаку в штыки.

Откуда-то грянула пушка
И, галочий веточный сон
Спугнув, с деревянной церквушки
Зазвякал пасхальный трезвон.

Церквушка такая ж, как в «Вие»,
Заросшая чащей в глуши.
Но где ж огоньки восковые?
Лишь звезды... Вокруг ни души...

Однако же долго мы спали...
Скорей собирайся, копун!
Забрезжил рассвет... Не пора ли
На наш наблюдательный пункт.

Ты помнишь — вдали у овражка
В бинокль ты наметил цель...
Сквозит на затылке фуражка,
Тулью всю прошила шрапнель...

Быть затемно там не надейся,
Сереет рассвет за горой...
Какой же вы части? — Гвардейцы...
А мы гренадерской второй...

Махорочка есть? Ну так скрутим
И в дело, покудова цел...
Поможем гвардейским орудьям,
Укажем им точный прицел...

А ночь разметалась, звездиста
И в свой неизвестный маршрут
Три юноши артиллериста
По темной дороге идут.

И скорчилось время пред ними,
И дальнему грому в ответ
Зажегся над всеми троими
Огромный победный рассвет.

1944

ВЕСЕННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ

Какой неудержимый натиск
восставших всех весенних сил!
Они гремят: «Народы, знайте,
вас гром победный воскресил!»
Как половодий исступленье,
как мощное течение вод,
Так наших армий наступленье,
ломая, все преграды рвет.
Как сила солнца золотая
сгоняет рыхлый снег в овраг,
Так, в лужах крови быстро тая,
бесследно исчезает враг.
Величественны и бурливы,
уносят к морю свой разбег
Широководные разливы
освобожденных русских рек.
Петли злодейской нет у горла,
речная гладь светла, быстра.
Свободно морем дышат гирла
Днепра, и Буга, и Днестра.
Шуршат пшеницей-украинкой
под теплым ветром озимя,
А на заре прощальной льдинкой
сверкает утренник, дымя.

По чернозему бездорожий
 выходят танки на поля.
Ты стала нам еще дороже,
 родная русская земля!
По плату черному распутиц
 мы по тебе быстрее идем
Узлы дорог твоих распутать,
 на семь морей открыть наш дом.
Как ты изранена, изрыта,
 но любим мы тебя сильнее!
И мягко топают копыта
 легко подкованных коней.
Для нас ты припасла гостинцы
 в узлах твоих больших дорог.
Легко ступают пехотинцы,
 не чувствуя тяжелых ног.
Еще тесней по крови связи,
 ведь каждый городок любой
Отмечен в воинском приказе,
 огромлен пушечной пальбой.
От зверской ненависти лютой
 очищенные города
Бессмертной славою салютов
 гремят в грядущие года.
Они у нас в сердцах влюбленных
 и в золотом шитье шелков
На красных боевых знаменах
 дивизий славных и полков....

1944

В ПОЛОВОДЬЕ

С ветром залетая
В память, как в окно,
Песенка блатная
Мне звучит давно.
Вновь мозоли режет
Мокрое весло...
Эх, куда на стрежень
Лодку занесло!
Лодка — однопарка,

Только двое в ней.
После гребли жарко,
Зыбь несет ровней.
И говорит на гладкой
Отмели огонь,
И звенит трехрядкой
Волжская гармонь.
А под пароходом
Там, где вал вскипел,
Юношеский звонкий
Голос вдруг запел:
 «Пропал я мальчонка,
 Пропал навсегда,
 А года проходят,
 Как мутна вода»...

Нас ведь только двое.
Лодку понесло.
Даже кормовое
Вскинуто весло.
Я тянусь смелее,
Ближе, и во тьме
Ты сидишь, белея
Чайкой на корме.
Ты притихла грустно,
А из темноты
Наплывают грузно
Бревнами плоты.
Брось же скрип уключин
И коленкой стань,
С тьмою неразлучен,
У кормы на стлань!
Зарябили ярко
Звездные огни.
Лодку-однопарку
Не переверни.
Дрожью безотчетной
Только б не спугнуть
Чайки той залетной,
Что колышет грудь.
Дальняя угроза —
Вон причал. Смотри:

С Бабушкина взвоза
Тлеют фонари...

Сколько половодий,
Словно всплеск весла,
С луговых угодий
Волга пронесла!
Сколько счетов счастья,
Лепестковых слов
Разорвал на части
Соловьиный зов,
В белой и лиловой
Чаще — с той поры
Там у Соколовой
Рухнувшей горы!
Осокорь зажженный
Погасил свой пыл.
Юноша влюбленный
С девушкой уплыл.
Где за парходом,
В беляках каких
Юношеский звонкий
Голос тот затих?
 «Пропал я мальчонка,
 Пропал навсегда,
 А года проходят,
 Как мутна вода»...

4 августа 1944

*

Парк золотел в огне листвы.
«Я вас люблю!» — шепнули вы.

И я поймал слетевший лист.
Он был багряно-золотист,

На память о прогулке той
Багрянолистной, золотой

И все поэты русские стихами,
Собравшись в дружеский кружок тесней,
Сегодня в этой зале вместе с нами
Приветствуют Ваш скромный юбилей!

23 октября 1944

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

На душе тревога —
И копытный стук,
Дальняя дорога,
Холодок разлук.

Словно на рассвете
Дан к отъезду знак.
Стелет зимний ветер
По ногам сквозняк.

Кто-то в дверь выносит
Черный чемодан.
Кто-то мне подносит
Огненный стакан.

Пью я, не пьянея,
И чему-то рад.
Чьи же мне на шею
Руки вдруг взлетят?

Мне ведь не жениться,
Пусть в последний раз
Полыхнут зарницы
Непроглядных глаз.

По ветру без боли
Грусть-тоску раскинь...
Колокольчик в поле:
Динь-динь-динь... динь-динь...

1944

ПОД ЛЕД

Это масляной недели
подгулявший сказ
Или, может, в самом деле
так случилось раз?
В предвесенний день погожий
тропкой напрямиком
Через Волгу шел прохожий
малость под хмельком.
Вдруг навстречу из затона
тройка во весь мах.
От малинового звона
дребезжит в ушах.
Машет меховая полость —
черное крыло,
Звон весенний на всю волость
ветром разнесло.
От погони иль в погоне —
во всю прыть, вразлет
Скачут воронные кони,
бьют копытом в лед.
Зубы скалит, пенясь в мыле,
грузный коренник,
Пристяжные вихрем взмыли,
скачут напрямик.
Кто там тройку без оглядки
по реке пустил?
Крепче каменной укладки
ледяной настил.
Кто там скачет так бесстрашно?
Кто их разберет!
Сразу видно — бесшабашный
молодой народ.
Словно певчий гомон птичий,
ближе и звончей
Слышен смех и визг девичий
из больших саней.
С песней, с хохотом проскачут
табором сейчас.
Под цветным платком не спрячут
блеска темных глаз...
Вдруг исчезло наважденье —
звонкой тройки нет,

Лишь змеится в отдаленье
от полозьев след.
Только полынья плеснула
в ломкие края
И опять сомкнулась снуло,
западню тая...
Почему-то мне все мнится:
тот прохожий — я.
Пролетела тройка-птица,
стынет полынья...
На дуге позолоченной
в ленточках цветных
Серебристый звон влюбленный
подо льдом затих.
На блестящей новой сбруе
смокли бубенцы,
Камнем в ледяные струи,
в воду все концы!
Счастье тройкой с лету в омут
кануло на дно,
А могло примчаться к дому
прямо под окно!

1945

НЕГРИТЯНКА

Шумит маскарад новогодний.
Грохочет неистово джаз,
И ночь новогодняя сводней
Всех в пары свела напоказ.

О, пошлость банальной картины,
Как это избито, старо!
Нигде нет моей Коломбины,
В толпе я мечусь, как Пьеро.

Куда запропала беглянка,
Позором меня заклейма?
Узнал я: она — негритянка
И под руку сразу с двумя!

И голос знакомый, но грубый.
Я знаю — он нежен, не груб.
Как страшен мне смех белозубый
С изысканной тонкостью губ!

Я знаю — под маской-гангреной
На мраморе бледном лица
Грозит она черной изменой,
Ужасной развязкой конца.

Ответила резко и едко.
Стою я, растерян и нем,
И слышу: «Ведь я людоедка.
Отдайте мне сердце — я съем!»

Шутя, она правду сказала,
Но правда страшнее, чем ложь.
На кухню бреду я из зала,
Достать бы у повара нож.

«Что вам?» Отвечаю я кротко:
«Хочу я насытить ее.
Подайте же мне сковородку,
Чтоб сердце зажарить мое!»

Берет меня под руку кто-то:
«Ах, друг мой, вы очень пьяны!»
«А вам-то какая забота?
Лишился я черной жены!»

Зовут медногубые трубы,
Но снегом их зов замело.
От ревности мне и без шубы
На стуже январской тепло.

Пропала... И грусть безысходней
Исчезла на целую жизнь...
Ах, месяц, мой друг новогодний,
Хотя б до утра продержись!

ШАГНИ

Смотри: она стоит у плеса
Над тьмой асфальтовой реки.
Вихрятся, как миры, колеса,
Сиренами зовут гудки.

У ней в руке огнистый веер,
И шорохом шуршащих шин
У ног ее скользит конвейер
Готовых, собранных машин.

Она над ложью непреложной,
Как обольстительные сны,
Сияет с противоположной —
С другой, доступной стороны.

Смотри, отвергнутый влюбленный:
Она зовет. Какой восторг!
Шагни — и в мозг твой раскаленный
Вдруг холодом подует морг.

1945

НАЙДЕНЫШ

Пришел солдат домой с войны,
Глядит: в печи огонь горит,
Стол чистой скатертью накрыт,
Через край квашни текут блины,
Да нет хозяйки, нет жены!

Он скинул вещевой мешок,
Взял для прикурки уголек.
Под печкой, там, где темнота,
Глаза блеснули... Чьи? Кота?
Мышиный шорох, тихий вздох...
Нагнулся: девочка лет трех.

«Ты что сидишь тут? Вылезай».
Молчит, глядит во все глаза,
Пугливее зверенышка,

Светлей кудели волоса,
На васильках — роса —
слеза.

«Как звать тебя?»
«Аленушка».

«А дочь ты чья?»
Молчит... «Ничья.

Нашла маманька у ручья
За дальнею полосонькой,
Под белую березонькой».
«А мамка где?» — «Укрылась в рожь.
Боятся, что ты нас убьешь...»

Солдат воткнул в хлеб острый нож,
Оперся кулаком о стол,
Кулак свинцом налит, тяжел.
Молчит солдат, в окно глядит —
Туда, где тропка вьется вдаль.
Найденыш рядом с ним сидит,
Над сердцем теребит медаль.
Как быть?

В тумане голова.
Проходит час, а может, два.
Солдат глядит в окно и ждет:
Придет жена иль не придет?
Как тут поладишь, жди не жди...
А девочка к его груди
Прижалась бледным личиком,
Дешевым блеклым ситчиком...

Взглянул:
у притолки жена
Стоит, потупившись, бледна...
«Входи, жена! Пеки блины.
Вернулся целым муж с войны
Былое порастет быльем,
Как дальняя сторонущка.
По-новому мы заживем,
Вот наша дочь — Аленушка!»

Декабрь 1945

*

Холопство вотчиной досталось
В наследье нам. Когда-то встарь
В унижении писалось:
«Холопишко твой, государь».

И даже бурь гражданских буйство,
Громя насилие и зло,
Все ж подхалимства и холуйства
Железом выжечь не смогло!

Как государевы людишки,
Бьем до земли челом опять,
Низкопоклонничая, книжки
Холопские спешим писать!

Основатель Москвы

I

Опять споткнулся конь степной... Ещё бы —
В такую даль заехать довелось!
Тут и не конь — среди такой чашобы
Споткнется, в дебри забредя, и лось.

Медведю лишь берложить здесь да векшам
За елочными шишками скакать.
Здесь леший счет ведет годам протекшим,
Свалив столетний сухостой на гать.

И на коне степном по бурелому,
От хлестких веток заслонясь рукой,
Князь едет, словно по тропе знакомой
К обрыву над пустынною рекой.

Вдруг осадил коня над самой кручей
И смотрит вдаль, где синие леса
Шеломами под грозовую тучей
Подперли голубые небеса.

Ведет на Киев дальняя дорога
И в степи половецкие в поход —
От юности знакомая тревога
Трубой рокочущей опять зовет.

Да, знать, приволья князю приглянулись
Любует взорами лесистый холм
И видит просеки широких улиц,
Поляны площадей в лесу глухом.

Подъехала отставшая дружина
И ждет поодаль. Что замыслил князь?
Внизу река Москва течет пустынно,
По омутам и отмелям струясь.

От дум очнулся князь и молчаливо
Подъехал на испуганном коне
К вцепившейся корнями у обрыва
Высокой и раскидистой сосне.

Не топором, как в чаще дровосеки,
А словно в сече по врагу сплеча,
На бронзовом стволе сосны навеки
Зарубку высек лезвием меча.

И вот, подобные победным трубам,
Гремят дружине зычные слова:
«Здесь на холме детинец-крепость срубим,
И зваться городу сему — Москва!»

II

Недаром, Юрий-князь, ты Долгорукий:
Воистину долга твоя рука,

Простертая (твой меч тому порукой!)
К звезде кремлевской красной чрез века.

Как некогда на холм с дружиной ратной
От вспугнутых с озер лебяжьих стай,
Вложив в ножны тяжелый меч булатный,
На борзom бронзовом коне въезжай!

Гремит Москва, полна огня и света,
С восьми веков собравши славы дань,
И ты на площади у Моссовета,
Как витязь старины былинной, встань

И вот уперся конь, как над обрывом,
Чугунными копытами в гранит,
И пред тобой течением бурливым
Твоя Москва людской поток стремится.

24—25 августа 1947

ПРОГУЛЬЩИК

Бывает прогульщиком день никудышный,
В лохмотьях из туч под дождем на дворе
Толчется он без толку, будто бы лишний,
Лишившийся места в календаре.

Зевая, проснулся он нехотя, поздно,
Лениво сметая свинцовую тень,
Глядится в оконные стекла гриппозно
И выпросить хочет себе бюллетень.

Невыспанность, вялость какая-то в теле.
Как день этот праздный, и ты нездоров.
Бормочешь стихи, не вставая с постели
В томительных поисках солнечных слов.

Мышленье и мышцы сковала дремота,
Промозглая слякоть, тупая тоска,
И нужен стремительный винт самолета,
Чтоб к солнцу прорваться, пробив облака!

26 ноября 1947

ЖИВОЙ РОМАН

В нем Я — твое — герой любимый,
Ведь каждому судьбою дан
Единственный, неповторимый
Нравоучительный роман.

В нем дни — как чистые страницы,
И от сердечного толчка
Кровавой записью струится
В романе каждая строка.

Проходят, словно главы, годы,
И неуклонно, словно рок,
События все и эпизоды
Развязывает эпилог.

Никем не признанный писатель,
Ты непонятен никому,
И твой единственный читатель
Уходит с автором во тьму.

Под именем две даты тоже,
Но от забвенья не спасет
Тисненный золотом из кожи
(Из человечесьей!) переплет.

Истлеют в пламени страницы,
И до конца, как жизнь, сожжен,
Роман живой не сохранится
В книгохранилище времен.

10 августа 1948

ПРИЕМ ПОЭТА

Взбрело раз деревенскому парнишке
Нести стихи к Случевскому, о ком
Как о поэте знал он понаслышке,
С которым он не мог быть и знаком.

С безудержной напористостью юной,
Неся тетрадь заветную, как дар,

Вошел он в дверь, и сереброгалунный
Его остановил седой швейцар.

И в золотом расшитой треуголке,
В шинели форменной Случевский сам
Метнул в него свой взгляд стеклянно-колкий,
Уже собравшись ехать по делам.

В попытке дерзновенной втайне каясь,
Растерянно на их двойной вопрос
Пробормотал парнишка, заикаясь;
«К писателю... стихи... вот я принес...»

Как будто бы не удивясь нисколько
(Был изумлен швейцар, кому он сдал
Шинель и золотую треуголку),
Повел Случевский гостя прямо в зал.

Парнишка шел, боясь, чтоб на паркете
Он рваным сапогом не наследил.
Хозяин строго в кресло в кабинете
Непрошеного гостя усадил.

Тот, что-то бормоча несвязней, тише,
С тоской смотрел в широкое окно:
Уж лучше б там вон, на соседней крыше,
Резвиться с воробьями заодно.

Как будто стал ему вдруг чем-то ровня
Кудлатый паренек в заплатах дыр,
Забыл про чин и ордена сановник,
Померк шитвом гофмейстерский мундир.

Стихи выслушивая терпеливо,
Забыв про неотложность важных дел,
Насупив брови, чрез очки пытливо
Сухой старик на юношу глядел.

Там в министерстве ждут его... Не важно!
Не он бывает там — его двойник,
Чиновный, черствый формалист бумажный, —
Поэт же здесь, среди стихов и книг!

Все в сторону: «Правительственный вестник»,
Комиссии, Ученый комитет,

Когда зеленые приносит песни
К поэту старому юнец поэт!

29 сентября 1948

*

Душа — огромный колокол — таит громовый зык,
Да в медь не бьет раскатисто привязанный язык.
По облакам колышется без звона на ветру,
Нет отзвука, нет отклика литому серебру.
Не зря ведь разливается пунцовая заря,
Иль нет бывалой силушки в руках у звонаря,
Чтоб гулко в самый сладостный девичий чуткий сон
Ворвался солнцем радостный серебряный трезвон?

Не разъяснишь, не выскажешь, не подберешь и слов,
А подберешь, не вымолвишь, беззвучен тихий зов.
Слова любишь ласково, чтобы послать скорей
С колечком и повязкою летучих почтарей.
Наметь любимца турмана из голубиных стай
И в глубину лазурную с ладони ввысь бросай.
Клюют, воркуют голуби, а в небо не летят,
Боятся, что их ястребы в пушинки раскогтят.

Невысказанно, сумрачно ты в глубине таишь
Под спудом звездной россыпи сверкающую тишь.
Одну звезду-любимицу ты влагой приголубь,
Когда заглянет вечером в колодезную глубь.
Ведерком и серебряным ее не зачерпнешь;
Как ржавчина болотная, отравит правду ложь.

Пусть ждет звезда-красавица; не торопи тот миг,
Когда из тьмы появится, пробьется ключ-родник.
Взойди, звезда влюбленная, и, затаивши вздох,
Коленопреклоненная, ступи лучом на мох
И в дымке светло-розовой сиянием пригубь,
Как свежий сок березовый, прорвавшуюся глубь!

6 октября 1948



Мороз декабрьский дул и жег,
Гремел в полях железным ходом.
Вот первый легонький снежок
Всех поздравляет с новым годом.

Как белки серые, смелей
И зайцы-беляки заскачут,
И озими нагих полей
Зеленый шелк от стужи спрячут.

Пушистый, плотный снегопад
На двое или трое суток...
Пускай полозья заскрипят
И ляжет лыжный первопуток!

21 декабря 1948



Широкий путь проложенный
Остался позади.
Тропой, людьми не хоженной,
Все дальше в глушь иди.

Тоской раздольной мучая,
Как завыванье вьюг,
Шумит тайга дремучая
На сотни верст вокруг.

Не пиленный, не струганный
Лес мачтовый гудит.
Один лишь зверь непуганый
В зрачки тебе глядит.

С тобой зверь скоро свыкнется —
Ты с ним повадкой схож.
И эхо не откликнется,
Коль песню запоешь.

Почему ж ослепительно ярко
Блещут два ее черных крыла?

И на скорости самой предельной
Я лечу, позабыв обо всем,
Сияясь яростно в гонке смертельной
Призрак молнийный сбить колесом.

3 января 1949

РОЖДЕНИЕ ПУШКИНА

Не загремел салют орудий,
Не загудел трезвон с утра.
До хрипа надрывая груди,
Не грянуло в рядах «ура».

И ни один поэт народу,
Растроган радостью до слез,
На день его рожденья оду
Торжественно не преподнес.

Лишь голуби с покатою крыши,
Шестом подтряхнуты, взвились
И стаяй над Кремлем все выше
Взлетали в голубую высь.

Да две соседние церквушки,
Взлетевших голубей крестя,
Болтнули звоном, как старушки,
О том, что родилось дитя.

Возы крестьянские со скрипом
Несли поклон от деревень,
Еще не льнули пчелы к липам,
А в садике цвела сирень.

Старинный деревянный флигель
Раскинул по двору крыло, —
Его бессмертье в этом миге
Лучами в окнах расцвело.

Ребенок вдруг заплакал звонко,
Счастливая не только мать,
Но и Россия вся — ребенка
Хотела на руках поднять.

А он чрез годы лихолетья,
Как бы провидя свой удел,
Далеко в новое столетье
Глазами детскими глядел.

Тот день в глаза живущим глянул
Младенческой синевой
И солнцем золотисто канул
В поля ржаные под Москвой.

А мы победно поднимаем,
Как всех народов торжество,
Над каждым вновь зацветшим маем
Тот день рождения его!

12 мая 1949



Здесь все предрешено. Ты выйдешь на подмостки,
Герой, или простак, иль шут, или король,
Твой монолог избит, твои остроты плоски,
Но до конца веди заученную роль.

Не принимай всерьез игру, используй шутики,
От громких пышных слов не приходи в экстаз.
Не забывай о том, что из суфлерской будки
Доносится к тебе настойчивый подсказ.

Так дешевы хлопки. Не обольщайся ими,
С их шумом в пустоте ты скоро отгремишь.
Большими буквами мелькающее имя
Назавтра оборвут с бумагою афиш.

Все ж лучше, если б роль досталась покороче.
Что там на улице? Наверно, слякоть, снег...
Кому ж охота здесь торчать до поздней ночи
И после в темноте тащиться на ночлег.

А пьесы автор кто? Бесспорно, он бездарен,
Какой-то икс иль зет, иль просто аноним.
За выдумку ему будь также благодарен,
Пред рампой в темноту раскланяйся и с ним!

20 июня 1949



Гремит огромный океан
Великих мировых событий,
Тебе ж комочек жизни дан
В ракушке, бурями избитой.

Тебе, как хрупкая постель,
Мирок из перламутра дорог,
На бурю смотришь ты сквозь щель
Слегка полуоткрытых створок.

Что много думать о себе,
Замкнувшись мыслящим моллюском,
Болезнь о крошечной судьбе
Жемчужин в саркофаге узком.

С волной бушующей греми,
Сливаясь с бурей разъяренной!
Она швыряется людьми,
Взметает жизнью миллионы.

Жемчужина твоя — пустяк,
О ней тревожиться не стоит, —
Ростя пластами, известняк
Просторный материк построит!

6 июля 1949



Тот день прошелестел, блеснул
Нарядным лиственным узором,
В глаза глубоко заглянул

Прощальным лучезарным взором.
Как лист сорвавшийся в тиши
Среди лазурного покоя,
Вдруг с высоты на дно души
Упало слово золотое...

26 октября 1949

ХОККЕИСТЫ

Свет струится матовый
На зеркальный лед.
Крепче клюшку схватывай,
Устремясь вперед!

Вихрь обледенения
И пятерка вся
Мчится в нападение,
Шайбу унося.

Сам тридцатиградусный
Сибиряк-мороз
К быстроте их радостной
Крыльями прирос.

Ждет их запорошена
Лампочка побед.
Метко шайба брошена,
Вспыхнул красный свет...

Так вот все и кажется,
Что увидим их,
Что борьба завяжется
У ворот чужих.

И никак не верится,
Что им всем нельзя
Скоростью помериться,
На коньках скользя, —

Что для них затейною
Вязью серебра

Навсегда хоккейная
Кончилась игра!

19 января 1950

ЗА СТРИЖАМИ

Со скал домов многоэтажных
Срываясь, падают стрижи...
Забудь про важность дел бумажных,
Полет их вольный сторожи!
Внизу бурлящие потоки
Скалистых улиц, и до дна,
Хотя ущелья и глубоки,
Прозрачная их глубь видна.
Все шепчет на ухо проклятый:
— Что медлишь ты? Скорей сорвись!
Ведь, как стрижи, и ты, крылатый,
Полетом можешь смерить высь!
Полет их для тебя лишь повод
Лететь в такой счастливый день.
Но только за лучистый провод
Крылом скольльзящим не задень...

Стремленьем их полету вторя,
И я считаю этажи,
А снизу шум людского моря
Зовет так властно — это жизнь!
Довольно! Я не шизофреник
И не скольженьем на лету —
Шагами лестничных ступенек
Измерю лучше высоту!

27 июля 1950

*

С неба темного воспоминанья,
Из беспамятства ты, как звезда,
Вновь восходишь в трепетном сиянье,
Девственно-чиста и молода.

Узнаю в лучистой дымке очерк
Милого лица и, как упрек,
Разбираю юношеский почерк
Позабывших стихотворных строк.

Звездные алмазные кристаллы,
В них о счастье небывалом весть,
Но три звездочки — инициалы
Все никак я не могу прочесть.

Наш разрыв, я знаю, неминуем,
Но, как прежде, душу повлекло
За воздушным звездным поцелуем,
Вдавленным в оконное стекло.

Словно сон, воспоминанье меркнет,
Как созвездия, нас разделя,—
Только на губах кристаллом терпнет
Горьковатый привкус миндаля.

1950

НИЧТО

Что ты меня боишься? Я — Ничто.

Ты вышел из меня, мне всем обязан.
Исток и устье каждой жизни — я,
Со мной навеки неразрывно связан,
Ты — только часть ничтожная моя.

Как было я с тобой во тьме утробной,
Где ты у сердца матери дремал,
Так буду я с тобой во тьме загробной,
Где ты исчезнешь, бесконечно мал.

Ты порожден моей безликой силой,
Сознанием и мыслью наделен.
Как твой хранитель, ангел темнокрылый,
Тебе дарую я покой и сон.

И словно легкой тени дуновенье,
Предупреждая о твоей судьбе,

В биенье жизни каждое мгновенье
Напоминаю властно о себе.

Так в кислороде самом животворном
И в каждом выпитом тобой глотке.
Тебя я потчую своим снотворным,
Как в материнском сладком молоке.

В изысканнейших самых тонких яствах
И в самом светлом золотом вине,
Как и в микстурах взболтанных, в лекарствах,
Напомнит горький привкус обо мне.

Ты должен по законам непреложным
Во всем вкушать меня, вдыхать и пить.
Одним движением неосторожным
Ты можешь грань мою переступить.

Не я ль тебе на каждом перекрестке
Из-под колес услужливых машин
Подмигиваю в семафорном блеске,
Шепчу шуршанием скользящих шин?

Ты знаешь эту близость роковую,
Ведь в дружеском пожатье теплых рук
И в нежном и горячем поцелуе
Мой холодок ты ощущаешь вдруг.

А розовую раковинной уха
Улавливаешь ты, как над тобой
Из солнечных симфоний тьмою глухо
Вдруг нарастает вечный мой прибор.

Чего б ты ни достиг, стремишься в высь ли,
Свергаешься ли в бездну, — все равно
В твоем стремленье каждом, в каждой мысли
Маячит темное мое пятно.

Не зря к забвенью сном я приучало,
Ты отдаешь мне целой жизни треть,
Чтоб постигать мое первоначало
И в пустоту бестрепетно смотреть.

Живи, цветы, внимай любви и маю,
Трудись и создай, борись, твори!

Пред ночью жизнь твою я обнимаю,
Как две огромных золотых зари.

Когда же станет нестерпимо-больно
И непереносимо-тяжело,
То стоит лишь тебе шепнуть: «Довольно»,
Чтоб сразу же от сердца отлегло.

Явлюсь я, выключу твое сознание,
Как перед сном ты выключаешь свет,
И ты исчезнешь в бездне мироздания,
Как будто не было тебя и нет...

Что ты меня боишься? Я — Ничто.

15 декабря 1950

ДЕСАНТНИКИ

Вечная слава героям, 25-ти морякам
Ч. Ф., павшим в боях за свободу и независи-
мость нашей Родины 28 декабря 1941 г.

*Надпись на памятнике на берегу моря
в Планерском*

Бушует море Черное,
Справляя Новый год.
Громада волн упорная
О крымский берег бьет.

Гора гранитно-твердая
Дрожит, потрясена,
И даже бухта Мертвая
В такую ночь страшна.

До памятника плещется
Студеных волн раскат...
В такую ночь мерещится
Десантников отряд.

Все почему-то кажется
(На бухту посмотри!),

Как в сказке, вдруг покажутся
Из волн богатыри.

Шторм завывает бешено,
Гремит, ревет прибой.
Гранатами обвешаны,
Идут в последний бой.

От брызг обледенелые
Бушлаты — как броня,
А молодые, смелые
Сердца полны огня.

На бой непобедимые
Идут с морского дна...
Товарищи, родимые,
Скажите имена!

Корабль родной покинули
Вы ночью в шторм такой,
Но имена все сгнули
Под пеною морской.

Пусть золотом запишутся...
Один рукой махнул,
Да разве крик услышится
Сквозь этот страшный гул!

Блеснули автоматами.
Услышали иль нет?
Под гребнями косматыми
Изгладился их след...

Прошли герои-смертники,
Десантников отряд.
О них цветы бессмертники
Веночком шелестят.

Да пуще разыграется
Декабрьская волна,
Как будто бы старается
Открыть их имена.

11 марта 1952



Как свежий лист газетный за листом,
Должна быть выпечка к утру готова.
Нельзя молчать отшельником сурово,
Бросай стих за стихом, за томом том!

Чешуйной рябью в блеске золотом
Под солнцем дня легко прельщает слово.
Кричи же громче, повторяй все снова,
Чтоб не изгладился твой след потом.

Довольно блеска строк с узором ломким
У современников для торжества.

Но если хочешь что сказать потомкам,
Чтоб память о тебе была жива,

То голосом спокойным и негромким
Произнеси немногие слова.

—
20 ноября 1952

Пробуждение

I

Очнулся и смотрю, глаза открыв,
Как будто праздную свое рождение:
Во тьму не смытый сном, еще я жив,—
Как новый век, начну свой новый день я!

Не рассвело, но все растет прилив.
Как мутная волна от наводнения,
Холодный зимний день в окно сквозь звенья
Бесшумно льется, стекла не разбив.

Пока я здесь лежал во сне глубоком,
Земля погреться повернулась боком,
Чуть скрипнула, как позвоночник, ось

И люстрой высоко над облаками,
Просеивая матовое пламя,
Невидимое солнце вновь зажглось.

II

Проснувшись, с детским удивленьем
На все восторженно смотри:
Весь мир чудеснейшим явленьем
Открыт тебе в лучах зари.

Скорей вставай, ребенок глупый!
В постели ноги протяни
И тело теплое ощупай
Под пеленою простыни.

Какое чудо! Ты родился,
Воскрес от сна — в который раз!
Из тьмы небытия явился,
Открыв два солнца спавших глаз.

1953

*

Смерть-хищница пронырлива, хитра
И любит лакомиться молодыми,
Война — любимая ее пора,
Ее весна в сверканье, громе, дыме.

Ей нужен свежий цвет лугов, полян,
Где молодое, расцветая, спеет,
А стариковский высохший бурьян
Она и так всегда скосить успеет.

О, юноши, всей мощью юных сил
За право жить, любить, творить
боритесь —
Чтоб вас огнем до срока не скосил

Сокрывший под броней
скелет свой
витель!

30 января 1953

*

Для каждого, как для всего народа,
Чтоб вынести свою судьбу он мог,
Как веснам вольный ветер ледохода,
Хотя бы только на короткий срок,
Хотя бы часовой стоял у входа,
Хотя бы заперт был на ключ замок, —
Для всех необходимей кислорода
Один ее живительный глоток.

Порой ее порыв передрагасветный
Листы бумажные легко колышет
Иль в небе, как на полосе газетной,
На облаках набором молний пишет,
И льется в грудь струею незаметной —
Свобода, словно воздух, — ею дышат.

ПОМИНАНИЕ

Посмертное глухое забытьё,
Невозмутима тишина загробная,
Но будит имя спящее твое,
Как эхо гор, строфа громopodobная.

Для всякой славы тоже есть предел.
Забывчивость, — нельзя винить читателей,
Ведь у живых такая уйма дел,
Нельзя надеяться на почитателей.

Чтоб разнести стихи во все концы,
Нужны посредники, как передатчики:

С актерским ложным пафосом чтецы,
С набором слов разжеванных докладчики.

Всего надежней шумная молва
Народа хлопотливого московского,
Как поминание, не раз, не два,
А сотни раз на дню звучат слова:
«Вагон идет до Маяковского...
Кондуктор, дайте мне билет
До Маяковского...»

Доволен ты, поэт,
Что даром не растрчены усилия
И всем запомнилась твоя фамилия?

10 июля 1953

*

В доме каком-нибудь многоэтажном
Встретить полночь в кругу бесшабашном,
Только б не думать о самом важном,
О самом важном, о самом страшном.
Все представляя в свете забавном,
Дать волю веселью, и смеху, и шуткам,—
Только б не думать о самом главном,
О самом главном, о самом жутком.

Август 1953. Коктебель

*

Как я, и вы не спите:
Двух ярких звезд сближенье
Влечет воображенье.
Венера и Юпитер,—
Как этой ночью близки
Их пламенные диски!
Бессмертие какое
В блистательном покое,

Какое обаянье
В сближении планетном,
В бестрепетном сиянье
На небе предрассветном!
Богов ли то причуда,
Иль тяготенья чудо,
Но, чем-то вечным тронут,
Я все смотрю, покуда
Их диски не потонут,
Даря свою истому
Рассвету золотому,
Исчезнут, словно сон
Целебный, встретив солнце.

Август 1953. Коктебель

*

От попорченной в нерве настройки,
Как в приемнике, все — невпопад.
Целый день звон в ушах, словно тройки
С колокольцами мимо летят...

Или кто-нибудь неосторожно
Кнопку двери наружной нажал,
И звонок непрерывно, тревожно
Из прихожей вдруг задрезжал.

Иль с церквушки старинной, снесенной,
Цветником замененной давно,
Звон пасхальный, звон неугомонный
Льется с ветром апрельским в окно...

Звоном жаворонков и простором
Ввысь весеннее небо манит...
Отгадайте скорее, в котором
Это ухе так звонко звенит!

1 сентября 1953 .



Родник твоей души
Замшел в глуши
Водой стоячей
И ручейками
Ушел глубоко
Под лежащий
Камень...
Как одиноко,
Мрачно!
Напрасно ты приник:
Исчез родник,
Прозрачный
И холодный,
Плеснул улейкой,
Блеснул он змейкой
Подколодной...
Здесь даже птице
Не напиться.
Вода невдалеке —
Иди к реке
Широкой, многоводной,
К жизни всенародной,
Сливая с ней
Течение свое,
И вдоволь пей
И черпай из нее
Свободно!

20 апреля 1954



Сужается горная тропка,
Нельзя оглянуться назад.
Ступай осторожно и робко,
Полужамуривая глаза.

И вот ты уже у границы,
Где вдруг обрывается жизнь.

За выступ хотя б ухватиться...
Над бездной склонясь, задержись!

Полнеба зарей засияло,
Снега с облаками горят.
Конец или снова начало?
Восход это или закат?

2 мая 1954

*

С утра все окна настежь отвори
И дверь открой для всех гостей в передней.
И так живи, работай и твори,
Как будто каждый день — твой день последний.

Пусть слово каждое короткой речи
Значительно и ласково звучит,
Как будто бы не будет больше встречи
И голос твой навеки замолчит!

Июнь 1954

ЖИВУТ СТИХИ

Живут стихи, которые с трибуны
Бросают гулко громовой раскат.
От их порыва, как в грозу буруны,
Рукоплескания толпы гремят.

Живут стихи, которые с эстрады
Не прозвучат, но голос их знаком:
Прослушать их среди беседы рады
Собравшиеся дружеским кружком.

Живут стихи, которые, смущаясь,
Застенчиво смолкают при других,
Но, соловьиной трелью рассыпаясь,
Звонят в уединенье для двоих.

Живут стихи, которые напевно
Звучат лишь одному наедине,
О самом сокровенном задушевно
Беседуя в рассветной тишине.

29 декабря 1954

*

Большая мысль ночная
В рассветный час в тиши
Мелькнула, пролетая,
Над озером души.
Секунда помраченья
Прошла волной тревог,
Но я ее значенья
Понять сквозь сон не мог.
Слезинкой серебрится
Одна звезда во мгле,
А мысль — ночная птица —
Скрывается в дупле.
Вот солнце в ярком зное
Торжественно взошло.
Исчезло все ночное,
И на душе светло.
Но чувствую в смятенье:
Нет-нет да промелькнет,
Врезаясь в полдень, тенью
Ее ночной полет.

26 января 1955

СОЛНЕЧНАЯ ОСЕНЬ

Солнечная осень Подмосковья!
В этом примечательном году
Яблочный загар ее здоровья
Веет, как в мичуринском саду.

Золотые дни светлы, не жарки,
И не по-осеннему тепло

На Женевском озере, в Гайд-парке,
В Пратере, в лесу Фонтенебло.

Звонкой синью, серебристым светом
Переполнены сухие дни,
Словно стало вдруг с индийским летом
Лето бабье русское сродни.

Дышится легко, полней и шире.
Радость льется пеной через край.
Кажется, что без мороза в мире
Перейдет Октябрь в цветущий Май!

12 октября 1955



Поэту, как и кораблю большому,
Большое плаванье в морях дано,—
Не по искусственному водоему,
Где мелкой рябью не закрыто дно!

Был вытащен на берег черный остов,
(Так пришвартован для разделки кит!)
Весь в чешуе ракушечных наростов
И космами плавучими покрыт.

Беспомощен корабль, зажатый в доке.
Позадержался длительный ремонт.
Пора отплыть. Просрочены все сроки.
Маячит стаей чаек горизонт.

Большой корабль к большой воде пробился.
На берег лоцмана! Прошли проран...
Командуй, капитан! Вдали открылся
Необозримый вольный океан!

24 декабря 1955



У пропасти ты встанешь на краю,
Пусть лижет ноги бездна, угрожая.
Захочешь ты осмыслить жизнь свою,
А жизнь своя вдруг станет, как чужая.

И ты почувствуешь так ясно вдруг
Желаний и стремлений всех бесцельность,
Ты в световой волне, все шире круг,
А впереди и сзади — беспредельность.

И явственно из бездн небытия
В потоке звездном миллионолетий
Является твое земное Я
На переплавленной в огне планете!

19 января 1956



Перед разлукой неизбежной
Как ранит сказанное зло
В последней вспышке безнадежной
Последнее из горьких слов.

Вот так и пуля на излете,
Кончая свой полет косою,
Впивается, когда не ждете,
И жалит жгучею осой!

29 января 1956

ВЫЗОВ

Как сургуч — из запекшейся крови печать,
Срочный вызов — явиться к полуночи в суд.
Должен будешь за все ты пред ним отвечать.
Никакие увертки тебя не спасут.

Нет безжалостней, нет беспощадней судьи,
Он один заменяет весь ревтрибунал,
Он прочтет сокровенные мысли твои,
Все, которые ты от всех близких скрывал

От него ты не скроешься даже во сне,
Приговор его станет твоею судьбой.
Так, по вызову совести, наедине
Сам с собою ты будешь в ночной тишине
Суд, расправу вершить над самим собой.

1956

ОДИН ДЕНЬ

Каждый день — отрывной календарный листок,
И действителен он на короткий лишь срок,
В нем лишь двадцать четыре коротких часа,
Но какие он в мире открыл чудеса!
Он — билет на проезд мимо Солнца, Луны,
Мимо звезд, что в сиянии млечном видны.
Он — в туманную вечность полет на земле.
Яркий путь в бесконечность в сияющей мгле.
Сколько дал он волнений, хлопот и забот,
Сколько смелых стремлений, трудов и работ,
Сколько радостных лиц, неожиданных встреч, —
Если б память могла все любовно сберечь!
Этот день, словно поезд-стрела, промелькнул
И оставил в ушах затихающий гул...
Надвигается ночь, словно длинный туннель,
Время — передохнуть и улечься в постель.
Свой билет проездной ты сполна окупил
Дорогою ценой — напряженьем всех сил,
Взлетом мысли бесстрашной, кипеньем в крови.
День прожитый вчерашний спокойно сорви,
И пусть время тебе открывает, даря,
Новый лист отрывной у календаря!

1956



Десяток яблок я несу,
Они алеют в сетке,
Как стайка снегирей в лесу,
Собравшихся на ветке.

17 марта 1958

ЛАЙКА В НЕБЕ

За спутником первым над миром
Вознесся ракетной звездой
С безмолвным своим пассажиром
Искусственный спутник второй.

Но мозга собачьего мало,
Чтоб наши провидеть пути,
И все же она понимала,
Как трудно ее нам спасти.

Не знала, что скоро конурный
Летучий собачий приют
Сгорит метеорною урной,
Рассыпав победный салют.

Ей снилось, что с привязи нáзло
Она убежала в тайгу
И лапками всеми увязла
В глубоком сыпучем снегу.

А с кедра вертлявая белка,
Одетая в новенький мех,
Грызучими зубками мелко
Лушит за орехом орех.

Зверек в распушившейся шубке,
Ее не боясь и дразня,
Лукаво швыряет скорлупки —
Докучна такая возня.

В комочек сжимая все тело,
Давно потерявшее вес,
Она, как планета, летела,
Затеряна в безднах небес.

Со сном в ней желанье боролось:
Не в снежной, а в млечной пыли
Подать свой заливи́стый голос
Всем людям далекой земли, —
Залаять призывней и звонче
Серебряных всех голосов
В созвездии

Гончих

Псов...

1958

Ночная гроза

I

Пускай блестят над крышей в небе хмуром
Светила вечные в пустынной мгле —
Мне нужен спрятанный под абажуром
Кусочек солнца в матовом стекле.

Теплее света звезд и в летний вечер,
Когда закат над городом погас, —
Сиянье ясной мысли человечесьей,
Лучащейся из миллионов глаз.

Пусть, океаном грозным колыхаясь,
Вокруг моей Земли со всех сторон
Вздывается необозримый хаос —
Здесь человечеством маяк зажжен.

Сиянье звездное пред ним убого —
Божественно и мыслит, и творит,
И со Вселенной всей, лишенной Бога,
Здесь разум человека говорит!

18 января 1953

II

Вокруг тебя — безмолвье, мрак, покой,
Но призрачно, обманчиво все это.
Вглядись:

 кромешный мрак горит такой
Невидимой слепительностью света.

Прислушайся:

 как будто заиграл
Орган иль бьет морской прибой в тумане,
И в мертвой тишине гремит хорал
Неслышных и торжественных звучаний.

Стряхни обман привычный грез твоих,
Почувствуй, как мельчайшие частицы
Со страшной быстротой взметает вихрь,
Как все недвижимое куда-то мчится.

Покоя нет ни в чем! Сама земля
Качается стремительно под нами,
Как палуба большого корабля
Средь океана в бурю меж волнами.

Закутанный в неподвижность, мрак и тишь,
Комочек малый жизни незаметной,
Ты ярко светишь и звучишь, летишь
Со скоростью
 и яростью планетной!

31 декабря 1949

III

Словно огненное опахало,
Небо молниями полыхало,
До утра гроза не затихала
И без перебоя гром гремел,
Ливень и плескался и шумел,
Распахнуть окно я не посмел.

Мне казалось — грохот орудийный
Расколол железный небосвод,

И, бушуя в ярости стихийной,
Хлынул океан небесных вод...

Стихнули далекие раскаты,
Только беглый блеск голубоватый:
Будто в полумраке до утра,
Заняты работой спешной, жаркой,
Силились гиганты-мастера
Небосвод скрепить электросваркой,

1959

*

Дни, как страницы, листая,
Ты пропустил этот год,
Словно главу не читая,
Зная все в ней наперед,
Серой и скучной считая.

Может, пойдет не в зачет,
В жизнь твою дни не вплетая,
Этот пропущенный год.

19 мая 1959

ЛУЧШИЙ РЕЦЕПТ

Стал раздражителен, всем недоволен,
Валится всякое дело из рук.
Может, и вправду ты чем-нибудь болен,
Может, гнетет тебя тайный недуг.

Или несчастьем каким озадачен,
Ты приуныл и утратил мечту,
Как неприкаянный, бродишь ты мрачен,
Чувствуя привкус чернильный во рту.

Взобрался на крутой пригорок,
Стоит, как пугало зимы.
Для птиц голодных, видно, корок
Достать придется из сумы...

Все встречные еще в овчинах,
Старик же в армяке худом,
И в прутья гнезд пустых грачиных
Пахнуло пашней и теплом.

Еще поля под мерзлым настом,
Но золотой припек горяч,
И клювом крепким и долбастым
Стучит в дорогу первый грач.

II. НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Грохочет грузовик-трехтонка
По лужам, разбивая лед,
И лет семнадцати девчонка
Мотор, как рысака, ведет.

«Эй, дед, в колхоз идешь? Откуда?
Живей садись... Я подвезу».
Глядит Герасим — что за чудо!
Как ехать на таком возу?

А девушка рукой махнула
И черной бровью повела,
В кабинке дверцу распахнула,
Блеснула зайчиком стекла.

Молчит старик, не отвечает —
А что ей до грачиных стай.
Он сивой головой качает —
Своей дорогой проезжай!

«Простынешь, дед! Морозит к ночи,
Смотри — дойти не хватит сил.
Небось, и лапти и онучи
В студеных лужах промочил».

Что делать с ним — таким упрямым,
Не слушает... Чудной старик!
Поехала по снежным ямам
Куда-то полем напрямик.

Помчался грузовик быстрее,
Чем тройка, пущенная вскачь...
Стоит старик один, чернея,
Как на сугроб слетевший грач.

Чу... дальний звон, да не церковный,
Не колокольный разливной,
А звон кузнечный, четкий, ровный —
Призыв к весенней посевной.

То знак, что скоро из ремонта
На пашню выйдут трактора,
Расстелется до горизонта
Кормежка черная с утра.

Слетятся в деловитом гаме
(За них, старик, не хлопочи!)
И вслед за светлыми плугами
Пойдут неспешными шагами
Степенно — важные грачи!

III. ГРАЧИНЫЙ КРИК

Тут рифм не нужно никаких,
Беззвучно глохнет звонкий стих.
Сейчас грачей весенний крик
Значительнее веских книг.
Весь день кричат они о том,
Что пашни в блеске золотом,
Что снег в полях сошел везде,
Что прутья сложены в гнезде,
Что холод долгих зимних вьюг
Не заморозил их подруг,
Что некуда птенцам упасть
И можно яйца в гнезда класть,
Чтоб племя черное грачей
Горластей стало и сильней...

Кричат, чтоб крик зазорный их
Скорей переложили в стих.

1950—1960

Сказочная эра

I

По-старому ведем еще мы счет,
Оставив прежнее летосчисленье,
А время так стремительно течет,
Все ускоряя два круговращения.

И время уж не то, и мы не те:
Привыкли мы и в повседневном быте
К стремительной ракетной быстроте
Огромных, потрясающих событий.

Звезда большая в лучезарной мгле
Восходит Новым Солнцем на рассвете,
Как будто мы живем не на Земле,
А на другой, неведомой планете.

1957

II

В раздумье над Москвой-рекою
По набережной я иду...
Хочу протянутой рукою
Достать с небес одну звезду.

Доверчиво к звезде на елке
Ручонкой тянется дитя —
Ее лучи, стеклянно-колки,
Манят, обманчиво блестя...

Светла до белого накала,
Закутана в прозрачный газ,
Венера ярко засверкала,
Хотя закат и не угас.

К ней вестник наш междупланетный,
Как солнечный метеорит,
И телескопам незаметный,
Все ближе свой полет стремится.

Родной планете слово правды
Шлет старшая сестра — Земля,
Что прилетят к ней космонавты
Земного чудо-корабля.

А младшая сестра — Венера
Шлет ярко весть Земле-сестре,
Что солнцем сказочная эра
Восходит в золотой заре.

1961

НЕОКОНЧЕННЫЙ РАЗГОВОР

М. Голодному

В пылу неконченного спора,
Найдя потерянную нить
Запутанного разговора,
Хочу тебе я пояснить...

Но ты в ответ молчишь упорно,
И, слушая земную тишь,
Зеленым одеялом дерна
Накрылся с головой и спишь.

12 февраля 1961

ГУЛЯНЬЕ

Лазурный день сиял так ярко,
И, в беззаботности слепа,
По золотым аллеям парка
Гуляла празднично толпа.

Средь цветников играли дети,
И каждая считала мать,
Что много-лет еще на свете
Им воздухом земным дышать.

Как вдруг, подкравшись молчаливо,
Невидима и неслышна,
Дыханьем атомного взрыва
Дошла воздушная волна.

Незримо молния сверкнула,
Но мысль о смерти в голове
Ни у кого не промелькнула
На ярком шумном торжестве.

Кружилось весело гулянье,
Как разноцветный карнавал,
Ее тлетворного дыханья
В толпе никто не замечал.

Чуть тронул листья чуткий лепет,
И, глядя в зеркало воды,
Закликал вдруг тревожно лебедь
Глухим предчувствием беды.

6 сентября 1961

*

При хмурой погоде,
Как людям, природе
Неможется что-то:
Ломота, зевота,
Расхлябанность, робость,
Слезливость, хворобость,

Воронья крикливость,
Полей сиротливость,
Метельная скачка,
Сугробная спячка.

Ночь 29 сентября <1961. Венгрия>

КОСМИЧЕСКИЙ СОН

Так снилось иль было —
Никак не пойму:
Ракетная сила
Меня возносила
На небо сквозь тьму...

Космической ночью
Средь пламенных тел
И я к средоточью
Созвездий летел.

Торжественно-строго
Их мощный хорал
Хвалою, не Богу,
А людям звучал.

Но мчался я мимо
И даже во сне
Стремился к родимой
Земле и стране...

Так было со мною,
И вновь наяву
Всей жизнью земною
Полней я живу!

ПОДОЖДУ НЕМНОГО

Проснулся ночью...

Было не до сна:

Увидел я, как в переплет окна
Ломилась с неба полная Луна.



Скончался папа Иоанн,
По имени он двадцать третий,
Ведь римских пап духовный сан
Ведет свой счет из тьмы столетий.
В соборах он средневековью
Мерцал и золотом, и кровью.
А поэтическое слово
Древней, чем Рождество Христово.
Поэт, оно тебе дано
Спокон веков, давным-давно,
Как свет из тьмы тысячелетий.

Июнь 1963

НЕИЗБЕЖНОЕ

Вдруг снова,
Как в бурю на сушу
Едкая соль
Прибоя белоснежного,
Хлынула в душу
Горькая боль
Отчаяния
От
чаяния
Чего-то рокового,
Неизбежного.

10 июля 1963



Горечь соли,
Едкость йода,
Ветер с воли,—
Непогода.

Покой и тишина вокруг,
Но в мире где-то есть
Твой слушатель,
и он, как друг,
Твою уловит весть.

Кто скажет — есть звезда иль нет,
Но от нее струится свет,
Быть может, только давний след
В пространствах мировых.

Кто скажет — есть поэт иль нет,
Когда летит чрез бездну лет
Его лучистый стих!

6 сентября 1963

БУДЬ СТОИКОМ

«Все суета
и суета сует», —
Провозгласил давно
Екклесиаст,
Но ею движется,
живет наш свет
И стойкости
житейской
не придаст
Библейской
древней мудрости
Завет.
Но если ты стремишься
к высшей цели,
Чтоб в брэнном теле
дух твой не ослаб,
Будь стойком,
как цезарь Марк Аврелий,
Как Эпиктет,
мудрец и римский раб.

23 сентября 1963

ЧУДО

Явление великого поэта,
Как гения,
Всегда
Таинственно чудесно.
Так вспыхивает новая звезда
Во мгле небесной.
Как появился он? Зачем? Откуда?
Это —

чудо.

Ищите — из туманности какой
Над бездной мглы
Возникнул он, как светоч вековой.
Исчислите углы

и восхожденья

и склоненья

На небе нового светила,
Чтоб вам наука тайну приоткрыла.
Ищите, словно в славной
Родословной,
Происхождение его, —
Не разъясните этим ничего.
Сплетите новоявленное имя
С давно известными другими
В сверкающий созвездием веноч,
Поэт, как был, пребудет одинок,
Он не сливается с другим поэтом,
Он озаряет бездны

звездным

светом,

Таинственным,

единственным

своим...

Явление поэта —

Это

чудо!

19 августа 1964

Уясни, как мудрец, и осмысли,
Что мы еще варвары и дикари,
Что разум людской лишь проблеск зари
Пред восходом Солнца
Вселенской Мысли.

17 сентября 1964

*

Как это случилось, —
Зачем, почему
Вся жизнь облучилась —
Никак не пойму.

Незримое пламя
Пылает внутри,
Летя с небесами
К сиянью зари.

Подхвачен ракетой,
Как радостный сон,
В сиянье одетый,
Я ввысь вознесен.

А тело земное
Утратило вес,
Взлетая за мною
В пространство небес.

Шлет весть воскресенья
Безлюдных планет
Мое вознесенье,
Но здесь тепла нет.

Дорога как будто
До звезд далека.
Столетия — минуты,
Минуты — века.

Вновь к жизни сквозь муки
Открыты пути,



Все люди со дня рожденья
До конца в непрерывной борьбе
Таят и копят в себе
Яд
Самоуничтоженья.

20 февраля 1965



Атомная смета физики,
Бесконечных формул речь
Может ум живой завлечь
В царство мертвой метафизики.
Ведь все мысленные мостики
К звездам от земли сквозь мглу
Паутинят каббалу
Каббалистики
и мистики.

2 марта 1965



На темной улице
Лишь ветер встретится.
На темной улице
Фонарь лишь светится,
Горит, качается
И неспроста
Всю ночь с поста
Он ни за что, никак
В окрестный мрак
Не отлучается.

Зарей отметится,
Как трудно светится

И караулятся
На темной улице,
И как не терпится
Огню фонарному,
И как прилепится
Он к лучезарному!

1965

*

Как беззащитны голые деревья!
Пред зимней стужей нет у них
Тепла одежд людских,
Мехов зверей и птичьего кочевья.
Ей не переча,
Все ж они готовы
К встрече
С зимой суровой.
Ведь неспроста,
Одежды лиственные осыпая
Вплоть до последнего листа,
Они мертвеют, засыпая...
Сквозь снежный саван и во сне
Незеленеющим дыханьем
Им ветви черным колыханьем
Приносят вести о весне.
В их беззащитности —
Самозащита,
А в безнадежности —
Надежда скрыта.

20 октября 1965

*

На пригородном поезде в Москву
Я ехал с дачи (не своя — чужая),
Смотрел, как осень желтую листву
Богатого лесного урожая

К зажженной мечтою
звезде...

Все было для счастья
земного дано,
И все удавалось,
и все удалось,
Да только счастье одно
не далось!

26 августа 1966

*

Меченые атомы
Мечутся в крови,
Путь их по заклЯтому
Кругу улови.

Меченые атомы
Свет свой на бегу
Мечут и в мозгу —
Фосфором богатому
Разуму-уму.

Станет жизнь светла тому,
Кто хоть одному
Солнечному атому
Даст всех мыслей тьму.

26 января 1967

ТОЖЕ БУРЯ

Как в океане
В зыби зеленой,
Буря в стакане
Влаги соленой!

Как в океане,
Глубже, суровой

Буря в стакан
Сердечной крови!

ПОД УТРО

Очнись... Не спи,
Хотя
еще совсем темно
И далеко до рассвета...
Это
я,
Как планета
Юпитер,
Заглянул в окно,
Звездным лучом
Постучась...
Заглянул домой...
Узнаешь мой
Прощальный взгляд?..
Ты рад?
Да... Ты всегда
Зимой
В этот час
Вставал затемно,
Чтоб ехать затемно...
За город на работу...
Особенно рано в субботу.
Но...
сейчас
Нам помехой...
Впрочем,
Лучше, поверив чуду,
Буду
Смотреть на звезду.
А не то упрочим
Роковую
Беду...

25 февраля <1967>

ОДНА МИНУТА

Памяти недавно ушедших поэтов

Придет минута,
И вдруг, как будто
Ни с того, ни с сего,
Прервется
Биенье сердца твоего
Иль вдруг порвется
В мозгу какой-нибудь сосуд.
Врачи произнесут
Свой приговор, как суд —
«Инфаркт, инсульт», —
И не спасут.

Ты погружен во тьму,
И в мертвой тишине —
Конец всему,
Как будто бы —
Итог людской судьбы...

Нет! Ни земля, ни пламя
Не уничтожат вечного того,
Что создано бессмертными делам
В биенье сердца твоего,
В мышление мозга твоего!

28 марта 1968, 5 часов утра

ЗАБВЕНИЕ

Пусть не так закален я и стоек
В борьбе неустанной
на зло судьбе,
Но я говорю «К самому себе»,
Как Марк Аврелий,
философ-стойк.

В наш атомный век,
ускоривший время,
И в космосе
слышен нам
голос его:
«Близко забвеньё
тобой — всего,
Близко забвеньё
тебя — всеми!»

8 июля 1969

Проза
*
Повесть
*
Беллетристические
мемуары





НА СТРЕЖЕНЬ

Повесть

I

Конка, запряженная двумя опоенными клячами, дребежжа колокольчиком, тащилась так медленно и так долго ожидала на разъездах встречную, что Коля начал беспокоиться: не опоздал ли. На башенных вокзальных часах до отхода поезда осталось двадцать минут. В зале I и II класса, куда пропускает чистую публику сереброгалунный, такой же, как в гимназии, только подородней и повеличественней швейцар, — Карлушки не видно. Наверное, уже сел в вагон. На всякий случай Коля заглянул в базарную толкучку третьего и в проходе между лежавшими на замызганном, как в уборной, полу мешками и бабами с грудными младенцами увидел Карлушку. Он стоял с высоким студентом и двумя курсистками.

— Я думал, что ты не приедешь. Знакомься... Это две сестры, две Розы. Роза Черная и Роза Красная. Степан, а это тот парнишка, про которого я тебе говорил...

Кудрявая стриженная брюнетка с резкими, как от грима, чертами, похожая на оперного демона, задорно засмеялась, смутив Колю:

— Ой, какой вы еще юнец! Ничего, мы вас обрабатываем.

— Роза, зачем ты так? — остановила ее сестра (неужели они, правда, сестры?), некрасивая, вся в веснушках, с красно-рыжими (как Дурасов) волосами.

Долговязый студент (в зале разве один только жандарм у кассы подойдет ему по росту!) с длинными, светлыми, точно вымытыми перекистью, волосами, рассыпающимися из-под лодочкой смятой выцветшей фу-

ражки, ссутулясь, нагнулся и крепко, как взрослому, пожал Коле руку, сказав только одно слово:

— Балмашев.

Рядом с порывистым Карлушкой Балмашев кажется флегматичным. Он молчаливо стоит, запустив правую руку в карман черной шинели, точно придерживая что-то, а левой рессеянно пощипывает тощий золотистый кустарник на подбородке. И светло-голубые глаза его не вскидываются броско, как у Карлушки, а смотрят упорно-спокойно из-под пепельных ресниц. Но Коля почему-то смущается от этого простого взгляда еще больше, чем от смеха Черной Розы, и не знает, о чем разговаривать, и рад, что носильщик принес билет с плацкартой и что Карлушка, расплатившись с ним, сам подхватил свой багаж и двинулся к выходу.

Черная Роза протиснулась в вагон вслед за Карлушкой посмотреть, как он там устроился, и через несколько минут прыгнула с подножки прямо на Балмашева, ухватив его за рукав. Следом за ней в распахнутой шинели, как будто ему вдруг стало жарко на морозе, вылез и Карлушка.

— Не дури, Роза! — остановила ее сестра. — Когда же вас ждать, Карл?

— К Пасхе, не раньше.

— Ой, как долго! — шутливо ужаснулась Черная Роза. — Я не вынесу такой долгой разлуки! Это не в моем характере.

— Вряд ли ты засидишься в Киеве, — сказал Балмашев. — После такой заварухи университет, наверное, закроют. Чего доброго еще попадешь в солдаты. Теперь всего можно ждать.

— Там увидим, что будет.

И, подхватив под руку Черную Розу, Карлушка повел ее смотреть паровоз.

Наконец ударил третий звонок. Карлушка, распрощавшись со всеми и обнявшись с Балмашевым, вскочил на подножку и, держась за поручни, замахал фуражкой, крикнул старающейся поспеть за тронувшимся поездом Черной Розе:

— Смотрите же, Роза...

Конец фразы, оборвавшись, упал под колеса. Балмашев замахал высоко вскинутой фуражкой и потом с трудом нахлобучил ее на рассыпавшиеся от ветра волосы.

По выходе из вокзала Коля поспешил распрощаться со своими новыми знакомыми.

— Где вы живете? — спросил Балмашев. — Я найду к вам на днях. Не надо записывать, я и так запомню...

— Степан, приведите его к нам как-нибудь вечером, — предложила Красная Роза.

— В самом деле приведите! — горячо подхватила Черная Роза. — Вы ведь придете к нам? Непременно приходите...

— Приду, — буркнул, влезая в конку, Коля, польщенный приглашением, но втайне сомневаясь в его искренности: верно, хотят заглазить сорвавшуюся невольной обидную для него кличку «юнец».

Прошло более недели. Балмашев не приходил. Наверное, забыл адрес, решил Коля, которому надоело высиживать вечера дома в напрасном ожидании.

Но Балмашев зашел неожиданно часов в десять утра в праздник, когда хозяйка была у обедни. Коля сам открыл дверь и провел гостя к себе.

— Славная у вас комнатуха, — одобрил Балмашев. — И окошко в сад, а оттуда через забор на другой двор. Жаль только, что ход не отдельный.

Он бросил фуражку на стол и, взяв Колину гребенку, стал расчесывать рассыпавшиеся волосы перед стенным зеркалом, где оснеженный край соседней кровли отражался серебряным гробом, покрытым синим воздухом. Роговой гребень потрескивал невидимыми электрическими искрами.

— Я принес вам кое-что почитать, — вынул Балмашев из кармана шинели какую-то смятую тетрадку. — Только не засыпьтесь. Это нелегальная литература. Будьте осторожней с ней. Можете дать почитать своим товарищам, самым надежным, которые не выдадут. Я к вам найду через недельку.

В полутемной, пропахшей нужником передней перед тем, как пролезть в обитую войлоком дверь, Балмашев обернулся и сказал неожиданно:

— Зайдем как-нибудь вместе в гости к девочкам. У них весело. Сыграем на гитаре, споем.

Коля был разочарован. Он думал, что Балмашев, как Васильев, обстоятельно побеседует с ним, проверит его знания. А вместо этого он запросто занес ему нелегальную литературу, как какую-нибудь обычную книгу для чтения!

Измятая тетрадка, вроде общей, только без клеенки, со слипшимися глянцевыми страницами, испи-санными печатными от руки лиловыми буквами, та-кими же, как на листовках комитета сношений. Вместо заголовка стоит: «Отчего студенты бунтуют?», но фа-милии автора нет ни в начале, ни в конце. Коля два ра-за подряд, боясь пропустить хоть слово, перечел тет-радку. В комнате одному не сиделось, тянуло пойти и передать другим то, что он только что узнал сам. Спря-тав тетрадку в верхний карман куртки, Коля вышел на улицу. Ему вдруг стало (как после встречи с ней) радо-стно и чуточку жутко: словно что-то огнеопасное, взрывчатое запрятано на груди у сердца. Вот-вот само возгорится и разорвется от неосторожного движения.

Проходя мимо щеголеватого околоточного на углу Немецкой, Коля злорадно усмехнулся. Вот бы всполо-шился, если бы узнал, что у него в кармане! Засвистел бы в болтающийся аксельбантом свисток, переливча-тым горохом призывая на помощь постовых городских, и, вырвав револьвер из кобуры, кинулся бы в погоню за ним. А он, не оборачиваясь на тревожные свистки и предостерегающий выстрел вверх, нырнул бы в густую толпу гуляющих и, шмыгнув в знакомый проходной двор, одурачив преследователей, вышел бы как ни в чем не бывало на площадь к театру!

II

Под строгим секретом Коля дал брошюру Загруб-скому, а потом одному знакомому по кружку Ильина семикласснику. Балмашев зашел еще раз, но и второй его приход был так же мимолетен, как первый. Он не стал разговаривать с Колей о прочитанном, а просто взял брошюру и дал вместо нее другую, печатную, по-толще. Это был роман Степняка-Кравчинского «Анд-рей Кожухов». Коля начал читать его тут же после ухо-да Балмашева и не смог оторваться, пока не дочел до конца — часа в два ночи. И еще с полчаса в вол-нении прошагал по комнате, не скоро заснул и спал плохо: в сумбурных кошмарных снах ему мерещилось, что он участвует в каком-то террористическом заго-воре.

Вскоре затем вернулся из Киева Карлушка. Воз-

вращаясь из гимназии, с ранцем за плечом, Коля вдруг услышал из пролетевших мимо саней знакомый голос:

— Эй, Альтовский!

Хлопнув по плечу кучера, Карлушка остановил лошадь и, отстегнув отороченную мехом синюю суконную полость, отрезал коротко вместо разговора:

— Садись... Едем.

— Куда? — спросил Коля, после того как влез в сани.

— Ко мне в Покровск. Заедем только за Степкой Балмашевым.

— Но мне надо сначала зайти домой.

— Зачем?

— Пообедать... Оставить ранец с книгами.

— Ерунда. Закусим у меня. Ранец брось в ноги, под козлы.

Кучер, бритый немец-колонист, старается вести вороную крупную лошадь под рысака и разгоняет ее как на катании на Масленицу. Сани катятся вниз по Вольской мимо губернаторского особняка и сворачивают на плац-парад. На углу у деревянного домишки Карлушка вылез из саней и скрылся в калитку. Через несколько минут он вышел вместе с Балмашевым.

— А, и вы с нами? — немного как будто удивился Балмашев, увидев Колю.

В легких санках троим тесно, и Коле пришлось сесть на колени к Карлушке. Тот что-то оживленно рассказывает про Киев, но Балмашев больше отмалчивается. На крутом взвозе лошадь скользя оседает на задние ноги, потом с половины, убегая от подсекающих саней, размашистой рысью кидается вниз. Оборванный мальчишка попробовал было прицепиться сзади, но не удержался и, упустив укатившуюся ледянку, полетел под откос. Балмашев, обернувшись, погрозил ему шутливо пальцем.

Ровная издали дорога через Волгу горбылится ухабами, и сани ныряют, как лодка на волнах от парохода.

В проране между песками Карлушка что-то крикнул по-немецки кучеру, и тот повернул налево вдоль Зеленого острова.

— Halt, Johann! Halt! *

* «Стой, Иоганн! Стой!» (нем.).

Дав кучеру папиросу и закурив, Карлушка вылез из саней и вместе с Балмашевым полез зачем-то на остров.

— Подожди нас здесь, — сказал он, но Коля не выдержал и пошел за ними.

Под песчаным обрывом намело сугроб, и ноги, как в валенки, увязают выше колен в большие следы Балмашева. В незасыпанном снегом пещерном углублении чернеют остатки костра с рыбьими костями: пиршество какого-нибудь рыболова-любителя, терпеливо с колокольчиками на закидных удочках высиживавшего здесь осенью сазанов. Осыпанные известковой изморозью густые заросли ивняка гнутся зябко и шелестят сухо, как осока.

Куда они скрылись? Коля хотел было окликнуть их, но, выбравшись из чащи, увидел обоих. Что они там делают? Карлушка поставил стоймя доску у осокоря и отмеряет зачем-то шаги. Балмашев же стоит на бугре и в черной студенческой шинели с занявшимися на затылке волосами резко выделяется вместе с торчащими на берегу шорнштейнами паровых мельниц на широком вулканическом разливе заката. А его длинная тень, вытянувшись во весь рост, с петлей башлыка на шее, упала в негашеную известь снеговой ямы, как высокая Соколова гора, рухнувшая сизым обвалом на затон с зимующими в спячке пароходами и баржами. Только один крайний пассажирский, с огнями во всех стеклах, празднично плывет навстречу надвигающейся ночи, как в навигацию. И кажется, что кто-то, прощаясь, машет красным на борту.

Балмашев вытянул правую руку, и из черного мохростого рукава (точно чиркнул спичкой прикурить на ветру) выпыхнул огонек. Два слившиеся в один треском сухого эхо выстрела...

— Стой! — крикнул Карлушка Балмашеву, и оба пошли осматривать доску.

В двух местах — наверху и в середине толстая доска насквозь, как ржавым гвоздем, прошита пулей.

— Вот она где засела, — показал Карлушка и попробовал выковырнуть пулю перочинным ножом из дерева, но она глубоко ушла под кору.

— Ты зачем здесь? — строго прикрикнул он на подошедшего Колю. — Я ведь тебе сказал, чтобы ты не ходил за нами.

— Все равно. Пускай его,— заступился Балмашев. Карлушка взял револьвер и выстрелил два раза в доску, но попал только раз.

— Дай и мне выстрелить,— попросил Коля.

— Зачем? — презрительно обрезал Карлушка.— Ты и револьвер-то держать не умеешь.

— Нет, умею. Я стрелял раз из двустволки,— невольно соврал Коля.

— Дай ему.

Взяв у Карлушки револьвер, Балмашев показал Коле, как надо стрелять. Коля судорожно сжал черный холодный револьвер и, прищулив левый глаз, нажал спуск. Руку рвануло вверх, и в ушах звоном отдался тупой удар.

— Промазал. Эх ты стрелок!

Но Коля не поверил Карлушке и сам тщательно осмотрел доску, но следа от пули не нашел.

— Отойдите! — крикнул Балмашев и выстрелил еще два раза. Одна пуля отщепила край доски, зато другая ударила в самую середину.

— Все семь.

Балмашев перезарядил револьвер и, положив его в карман, закурил, глубоко затягиваясь.

— Смотри никому ни гугу про стрельбу,— строго сказал Коле Карлушка, оттаскивая в яму простреленную четырьмя пулями доску.

Синий айсберг Соколовой горы наплывает с берега на остров. Без призывных гудков, утопая в потемках, пароход потушил все огни. Рослый белокурый осокорь, командуя, машет по ветру ветвью, как шашкой. Не смея послушаться, с невнятным ропотом штыковые серые шеренги ивняка смыкаются вокруг черной шинели Балмашева. Смешанный с песком снег хрустит под его шагами, как посыпанная в холеру негашеная известь. Непогасший закат, он может извести перед тьмой своим томлением!

— Nach Pокrovsk, Johann! Гони! Schnell! Schnell! *

Вот и Покровск с метельным пустырем базарной площади вокруг благолепно теплющегося всеобщей собора и с хмельной горластой песнью п д рывки гармошки на раскатывающихся встречных розвальнях.

* В Покровск, Иоганн! <...> Быстро! Быстро! (нем.).

И, как трактир, керосиновыми фонарями снаружи и лампами изнутри заманивает каменный двухэтажный дом, перехваченный в пузатой талии пятисаженным железным поясом вывески с золотом букв по черному: «Бакалейный гастрономический магазин Братья Думлер». Дворник в тулупе предупредительно распахнул двухстворчатые ворота в острожном заборе, густо, как броня, утыканном гвоздями острием вверх.

— Иоганн,— по-русски сказал кучеру Карлушка с крыльца.— Распряги и покорми лошадь. Потом приходи ко мне наверх выпить и закусить. Понял?

— Яволь, яволь, Карль Егорич,— засуетился Иоганн.

В просторном доме пустынно и неуютно, как в кирке. Видно, что хозяева, разбогатевшие немцы-колонисты, ещё не обжили новых каменных хором и не освоились после крестьянства со своим второй гильдии купечеством. И сиротливо жметя в угол от наседающих пузатых комодов, взбитых перин и развешенных по стенам лютеранских изречений шаткая этажерка с книгами. Вероятно, поэтому-то Карлушка и предпочитает держать свою библиотеку не здесь, а в саратовской наемной комнате.

Нагнувшись, Балмашев стал греть перед огнем растопленной печки свои красные, зазябшие без перчаток руки.

— Вот это здорово! — одобрительно встретил он Карлушку, принесшего из магазина целый кулек закусок.— После сегодняшней удачной пробы можно и кутнуть. Верно, Карл? А как насчет двуглавой, царской?

— Есть, Степка, есть.

— А, Марихен! — Балмашев взял у раскрасневшейся голубоглазой Марихен ведерный кипящий самовар и держал его на весу, пока она накрывала скатертью стол.

— Ви гет эс? * Когда свадьба?

— Никогда,— смущенно, но довольно прыснула от смеха Марихен, быстро шмыгнув на лестницу и с размаху налетев на Иоганна.

Он — в новой синей поддевке и красной рубахе, рыжеватые волосы его лоснятся маслом, но даже махо-

* «Как дела?» (нем.).

рочный перегар его кривой немецкой трубки не перешибает принесенного им из конюшни запаха конского пота и навоза. Выпив одним махом полный стакан водки, Иоганн захмелел и, подмигивая, фамильярно захлопал Карлушку по плечу, уже без отчества, бессмысленно повторяя точно икая:

— Ик вайс я *, Карль... Ик...

— Оставайся ночевать. Охота тебе тащиться ночью через Волгу, — уговаривал Карлушка.

— Не могу. Мне непременно надо быть сегодня в городе, — стоял на своем Балмашев, и Коля решил ехать с ним.

Резкий переход из натопленной жарко горницы на мороз, от белой настольной скатерти с кипящим ярко вычищенным самоваром к суровой скатерти снегов с остывшим никелированным месяцем, приятно бодрит и возбуждает. От этого или от выпитого портвейна хочется выкинуть что-нибудь необыкновенное — выхватить вожжи у Иоганна и револьвер у Балмашева, выстрелить вверх и пустить во всю испуганную лошадь. Но Балмашев молча сидит рядом, подняв воротник с развевающимися по ветру концами башлыка и засунув руки без перчаток в рукава, как в муфту.

Иоганн сначала энергично дергал лошадь и покрикивал по-немецки и по-русски, а потом замолк и начал покачиваться на облучке... Задремал... Колю тоже тянет ко сну... Кажется, что он едет домой на Святки со станции, закутанный в чапан, убаюканный ухабами...

— Стой, Иоганн! Стой! — заорал вдруг Балмашев, выскочив одной ногой из саней и перехватывая вожжи. — Куда ты к черту едешь? Не видишь что ль — полынья...

Впереди перед упершейся лошадью, расплываясь, дымится большое черное пятно. Золотой поплавок месяца, не то заманивая, не то предостерегая, покачивается на ряби у другого края.

Полынья!

— Лошадь уперлась. А ты ее еще гонишь. Эх, голова стоеросовая!

— Ничево... ик вайс... ик, — оправдывался очнувшийся от дремоты Иоганн.

* «Я знаю» (нем.).

Вывхавтив вожжи, Балмашев повернул лошадь, оставляя темный след на талом снегу, и сам правил, стоя, пока не выехали на накатанную дорогу.

— Глупая история, — поежился плечами, вернув вожжи Иоганну, Балмашев. — Могли бы нырнуть под лед. Хорошо, что лошадь встала.

И только тогда, когда полынья осталась позади, Коле вдруг стало жутко. Вспомнился рассказ очевидца, как, заливаясь бубенчиками, с седоками в шубах, развалившимися в ковровых снях, мчалась чья-то масляничная тройка из Заволжья через Волгу к Увеку. Им махали, кричали с горы: «Назад... назад... полынья...» Но они не слышали, относил ветер, а может, пьяны были, и с разгона влетели в полынья, канули под лед. Даже ни одной шапки не всплыло. Неужели так могло бы случиться и с ними?

— А вы знаете, как надо выбираться из полыньи? — спросил, закурив, Балмашев. — Надо хвататься за лед против течения. Тогда поднимает ноги и легче выкарабкаться. По течению же тянет ноги под лед...

Стальные полозья чиркнули по песку. Отмель, а за ней — Тарханка. Тут не опасно — как ни пьян Иоганн, а в полынья не заедет... Вон и крутой Московский взвоз, накатанный розвальнями, как ледяная гора, с огневою шеренгой керосиновых фонарей по краям, и над ним сторожевою вышкой торчит старый собор с безногим калекой-сиротой у паперти — забытой пугачевской пушкой.

— Мы тут слезем и поедем на конке, — сказал Балмашев. — А ты, Иоганн, поезжай назад за обозом. Только не спи...

— Ик вайс я шон... * ик вайс, — заикал Иоганн, заваливаясь поудобней в сани и пуская лошадь вдогонку за скрипучим обозом крестьянских розвальней.

— Балда! — махнул рукой Балмашев и на ходу вскочил на конку.

Неловко идти так поздно по улицам с ученическим ранцем, и Коля прячет его, как портфель, под полой.

— Без обеда сидел до самой ночи! Без обеда си-

* «Я уже знаю...» (нем.).

дел! — хором начали дразнить его мальчишки, катавшиеся на санках по крутому взвозу.

Но Коля не удостоил их ответом. Если бы они только знали про стрельбу из револьвера, то с каким бы уважением и завистью посмотрели ему вслед!

III

— Альтовский, мне нужно поговорить с вами конфиденциально.

— В чем дело?

— Мне передавали, что у вас есть... запрещенная литература.

— Кто передавал?

— Я хотел попросить вас, чтобы вы дали ее почитать мне, — увиливая от ответа и от испытующего взгляда, мнетя Граве.

— Вам наврали. Никакой запрещенной литературы у меня нет. Я даже не знаю, что это за литература. Может быть, вы мне объясните? — отрезал Коля.

Уж если кому и давать литературу, то, конечно, не Граве. Он — новичок в классе, перевелся недавно из другого города и подозрительно неприятен своим вкрадчивым, заискивающим обращением не только с учителями, но и с товарищами. С какого казенного пакета считал он это канцелярское «конфиденциально»? От кого и как мог он узнать про нелегальную литературу? Уж не разболтал ли случайно Загрубский? Надо будет поговорить с ним по дороге из гимназии.

— Альтовский; — первым начал разговор Загрубский, в важных случаях он всегда обращается к Коле не по имени, а по фамилии. — Я должен предупредить тебя...

— Что такое? — насторожился Коля.

— Ты знаешь Николенко? Такой длинный... Шести-классник... Он всегда ходит с Желаном де ля Круа...

— Ну, знаю в лицо.

— У него отец жандармский ротмистр... Николенко передавал Дейбнеру, что видел на столе у отца какое-то письмо к директору гимназии о тебе... Он не успел прочесть, разобрал только твою фамилию и имя... Мне об этом рассказал сейчас Дейбнер.

— Может, враки, — усомнился Коля, но про себя

решил, что надо быть осторожней и не носить литературу в гимназию.

— Здравствуйте... Что ж это вы не узнаете своих знакомых? Нехорошо... нехорошо.

Черная Роза! Он действительно не узнал ее, задумавшись над тем, что сообщил Загубский!

— Почему вы не заходите к нам? Ведь вы же обещали.

— Я собирался... Балмашев звал меня, — смутился Коля под пристальным взглядом Черной Розы.

Ему стыдно за свой тюлений горб, и он, приспустив, прячет ранец за спиной.

— Знаете что? Приходите сегодня вечером... У нас собирается публика... Балмашев... Карл Думлер... Придете?

— Приду, — басит Коля, полупотупясь, глядя на шевелящиеся быстро тонкие вишневые губы и точеную клавиатуру зубов, ошеломляющую бурной музыкой не доходящих до сознания слов.

— Мы живем здесь, за углом... в середине квартала, за семинарией... Деревянный домик во дворе... в садике с беседкой... До свиданья...

— Олух! — ругал он сам себя, переходя из двора во двор в поисках подходящего домика в саду.

Как можно было не спросить ни их фамилии, ни даже номера дома? Впрочем, может, она сказала, да он прослушал... развесил уши... Как глупо... неужели придется вернуться домой? Надо обойти еще раз.

Отбрыкиваясь от яростно лающей собачонки, Коля пересек длинный пустырь и в конце концов увидел похилившуюся хибарку с садиком. Из неплотно закрытых ставен светилась щель. Он прильнул к ней снизу и изпод спущенной занавески увидел сидящего на кушетке Балмашева с гитарой... Здесь!

Стучаться не пришлось. В низких сенцах из распахнутой настежь двери тянуло едкой гарью, как от костра на Зеленом острове.

— Карл, это невозможно. Мы так угорим. Надо залить трубу. Потом разожжем снова.

В дыму курной клетушки Роза стоит с ведром воды и хочет залить самоварную трубу. Карлушка в одном сапоге (другой он снял и держит за ушки) отстранил ее и начал раздувать самовар голенищем так, что искры посыпались, как из паровоза.

— Карл, вы спалите нас! — остановила его Роза и, схватив за рукав, провела Колю за дощатую перегородку в горницу.

На низенькой кушетке Балмашев, без тужурки, в черной сатиновой рубашке, настраивает гитару. У стола сидит Красная Роза со студентом, которого Коля встретил раз в кружке Ильина, но тот, хоть и поздоровался, видимо, не узнал его. В горнице чисто, но обои, покособившись, отстали в углах от отсыревших стен, и по ним, шурша, через перегородку от беленой русской печи лезут рыжие тараканы. В простенке между окнами развешен целый иконостас, и посередине перед большим образом Николая Чудотворца теплится малиновая лампадка.

— Что вы так устались на иконы? — смутила вдруг Колю Красная Роза. — Удивляетесь, зачем у нас, евреек, столько икон? Хозяйка — старушка, она у нас очень богомольная, сдала комнату с условием, чтобы мы не снимали икон. И лампадку зажигает перед каждым праздником. А нам это на руку. С иконами безопасней. Верно, Петр?

Почему она называет студента Петром, когда рабочий, Воронов, звал его Алексеем?

— Пожалуй, — усмехнулся Петр (он же Алексей), — помню раз, когда я был арестован после демонстрации и от нечего делать спросил для чтения Евангелие, то ко мне стали сразу относиться лучше на допросе. А потом вскоре выпустили.

— Ну, брат, когда влипнешь по-настоящему, тут никакое Евангелие, даже Остромирово, не поможет, — не отрываясь от гитары, вмешался Балмашев. — Разве только вышлют попа с крестом для последнего напутствия...

Длинными костлявыми пальцами он подвинчивает грифы и перебирает струны, ноющие то низким шмелиным басом, то высоким комариным дискантом. По ногам тянет холодом. Из-за не доходящей до потолка перегородки слышится хохот Черной Розы и треск искр из раздутого Карлушкиным сапогом самовара.

— Карл, вы подожжете дом! — крикнула, закутываясь в цветную шаль, Красная Роза. — Закройте дверь, а то очень дует.

— Да, он у тебя разошелся, гудит как паровоз, а толку мало, — подтвердил Балмашев.

— Сейчас поспеет... подаем...

Сестры пододвинули к кушетке белый некрашенный стол, покрыли его вместо скатерти двумя газетами, нарезали калач, колбасу и очищенную воблу кусками. Карлушка принес большой медный помятый с боков самовар, захлебывающийся кипятком и чадящий синим дымком даже из-под крепко надетой заглушки.

— А, Кулка! — встретили все хором пришедшего последним студента-казанца, татарина Кулахметьева, закадычного друга Карлушки с гимназической скамьи.

— Не опоздал я на чтение?

— Нет... сейчас начнем... Ну, Степан, читай свой рассказ.

— Подождите минутку, пока мы разольем чай.

Балмашев достал из висевшей на гвозде тужурки ученическую тетрадь и положил ее перед собой на край стола, отодвинув локтем хлеб.

— Рассказ мой называется «Решение Николая». Конечно, он слабоват. Дело тут вовсе не в беллетристике. Мне просто хотелось изложить свои мысли о терроре. Да и написал я рассказ случайно как-то ночью за один присест...

— Не оправдывайся, Степка. Читай.

— Читайте, Степан, читайте.

Ровным, немного глуховатым голосом Балмашев прочел небольшой рассказ о студенте, который, возмущенный избиением на демонстрации, решил стать террористом и убить шефа жандармов. Сам террористический акт не описывался, только в эпилоге упоминалось, что студент был осужден за это на двадцать лет заключения в крепости.

— Здорово, Степан! — не выдержав, вскочил и заметался по комнате Карлушка. — Смерть за смерть! Кровь за кровь! Повтори-ка это место. Нет, дай лучше прочту я.

И, вырвав у Балмашева тетрадку, Карлушка продекламировал, как трагический монолог, понравившийся ему отрывок.

— Смерть за смерть! Кровь за кровь! Вот что теперь раскаленным железом сверлило его мозг. А абсолютная нравственность, запрещающая убийство при всяких обстоятельствах? Где же она? От нее остался только осадок, как от растворенного кристалла... Здорово,

Степан! Необходимость террора доказана у тебя математически, как дважды два четыре.

— Я так ясно представляю себе девушку-курсистку и драгуна, замахнувшегося на нее шашкой, точно я сама была там,— возмущенно сжала в кулак тонкую смуглую руку Черная Роза.

Четко, как самовар, выделяясь кудлатой медно-красной шевелюрой на фоне ситцевых обоев, как они, вся засиженная мушинами веснушками, Красная Роза усиленно затягивается папиросой на кушетке рядом со студентом.

— Ну, а ты, Петр, что скажешь?

— Я согласен с первой частью рассказа, но не со второй,— встрепнулся студент с белокурой бородкой.— Террор — это не выход, Степан. Место одного убитого министра займет другой, еще похуже. Надо организовывать рабочие массы на борьбу...

— Значит, вы против террора? За мирную работу, безопасную для собственной шкуры? — сверкая круглыми глазами, накинулся кобчиком Карлушка.

— Дело вовсе не в своей шкуре, — досадливо отмахнулся Петр-Алексей. — Как вы не хотите понять...

— А в чем же? В чем? — негодуяще перебила Черная Роза.

Вместо заглохшего самовара в комнате, ошпаривая собеседников горячими брызгами неосторожных слов, забурлил негодующий кипяток двупарного спора: Карлушка и Черная Роза с одной стороны, Петр-Алексей и Красная Роза — с другой.

— Что же вы молчите, Степан? — не выдержав, обратилась за поддержкой к Балмашеву Черная Роза.

— Мне спорить не о чем. Я сказал все, что нужно было, — тихо ответил Балмашев и, засунув тетрадку в карман повешенной тужурки, взял с кушетки гитару.— Давайте, Роза, лучше споем... мою любимую... про Валериана Осинского...

На том поле погост,
На погосте помо-ост,—

высоко горлом взял ноющую ноту Балмашев, и Черная Роза подхватила грудным, металлическим меццо-сопрано:

Крепко сплоченный,
Кровью смо-о-о-оченный...

Но почему он поет не то имя — Степан вместо Валериана? Верно, спутал...

А в толпе простона-ал...
Эх, Степа-ан... Эх, Степа-ан...

— Валериа-ан!.. Валериа-ан,— поет, не сбиваясь, Черная Роза, и оба голоса сливаются в один...

Голос плачущий-ий
И рыда-а-а-ющий...

— Эх, Степа-ан! Эх, Степа-а-ан! — настойчиво повторяет Балмашев, и Черная Роза не вторит, и все молчат, и вышитый ворот его черной сатиновой рубахи широко расстегнут, точно ему душно, давит горло.

Оборвав тягучую зауспокойную песню, Балмашев зазвенел всеми струнами сразу и перешел на застольную веселую.

Проведемте ж, друзья,
Эту ночь веселей!

Все дружно подхватили хором хорошо знакомую песню:

Пусть студентов семья
Соберется тесней!

Карлушка выволок из-под кушетки плетушку с пивом и стал раскупоривать перочинным ножом зеленые бутылки.

— Сыграйте русскую, Степан! Карл, отодвиньте стол в угол! Бейте в ладоши! Ну, кто за мной? — задорно крикнула Черная Роза и, взмахнув платком, пустилась в пляс.

С гитарой, не переставая играть, Балмашев пошел, притопывая, в догонку за Розой. Шаткие облупленные половицы ходят под ним ходуном, и кажется, что вдруг, выпрямясь во весь рост из присядки, он прошибит головой и обвалит штукатурку низкого потолка. Карлушка, прислонясь к косяку, горящими глазами смотрит на Черную Розу. Она пляшет русскую хорошо, но чересчур порывисто, по-цыгански подергивая плечами.

— Стойте, Степан! Уймись! Вы совсем развалите нашу хибарку! — останавливает, смеясь, Красная Роза.

Балмашева сменяет Кулка Кулахметьев. Малень-

кий, гибкий и ловкий, он волчком закружился в дробной присядке вокруг крылатого подола Черной Розы.

— Не могу больше! — запыхавшись, первой бросила она пляску и, подбежав к окну, распахнула настежь чуть не разбившуюся о ставню фортку.

— Смотри, Роза, простудишься! — остановила ее сестра. — У тебя была недавно инфлюэнца.

Карлушка встал рядом вплотную и что-то тихо говорит (за гитарой его слов не разобрать) и, до крови прикусив нижнюю губу, смотрит горящими глазами на ее высоко вздымающуюся грудь. Над морозным облаком, бьющим из сада в фортку, на черных ресницах ветвей, порывисто вздрагивающих от бурного дыхания мартовского ветра, повисла лучистой слезой огромная звезда: Венера.

IV

На последнем уроке в класс неожиданно появился Телятина и торжественно провозгласил:

— Михаил Никандрович, директор вызывает к себе Альтовского.

Весь класс, даже невозмутимый Никандрыч, начавший лениво считать следующий урок по учебнику Иловайского, уставился с любопытством на Колю: должно быть, что-нибудь очень серьезное, раз сам директор вызывает к себе с урока. Бравируя и стараясь показать, что он ничуть этим не обеспокоен, Коля направился сквозь строй упорных взглядов к выходу. Телятина важно и молча, без объяснений причин вызова, проконвоировал его через учительскую и канцелярию в тот самый зал, куда они недавно входили с венком к покойному директору.

— Пройдите в кабинет к Александру Корниловичу.

По желтому зеркалу паркета Коля решительно (Телятина наблюдает сзади) прошел в директорский кабинет, более запретный и таинственный, чем учительская, к большому, более страшному, чем экзаменационный, зеленому столу, за которым сидит директор, как будто намеренно для большей важности не замечающий вошедшего.

— Александр Корнилович, вы меня вызывали...

Придавив бумаги мраморным пресс-папье, Кахи-

перда (эта кличка нового директора стала каким-то образом известна всей гимназии еще до его появления) откинулся на кожаную спинку кресла, точно гипнотизируя очковым холодным взглядом.

— П-подойдите ближе.

Нафикстуаренная эспаньолка взвилась из крахмального стоячего воротничка ядовитым жалом, а сизый гуттаперчевый рот открылся свистящим змеиным глотком — Кахиперда слегка заикается, особенно при раздражении, и не сразу овладевает своим выработанным долголетней практикой красноречьем.

— Я п-получил... сведения... чт-то... вы занимаетесь распространением... н-нелегальной зап-прещенной литературы среди учеников в-веренной мне гимназии...

«Письмо отца Николенки, жандармского ротмистра!» — вспомнил мгновенно Коля, молча, не запираясь и не признавая, выдерживая очковый гипноз двух синевато-дымчатых стекол.

— Вы п-понимаете, чем это грозит и вам и всей гимназии?

Кахиперда даже встал от волнения с кресла и прошелся мелкими не по росту шажками вдоль зеленого барьера стола.

— Исключением из гимназии и тюрь-мой!

«Ой» проносится шипящим эхом по пустому залу. Кахиперда молча с минуту наблюдает за устрашающим эффектом своей угрозы, но Коля стоит безответно в столбняке, тупо уставившись (при объяснениях с начальством лучше всегда избирать какую-нибудь нейтральную точку для взгляда) на светящееся зеркальным паркетом пустое место, где недавно лежал в таком же синем вицмундире, такой же длинный, как Кахиперда, покойный директор. Коле даже кажется, что в грозную клекчущую речь нового директора примешиваются глуховатые устало-равнодушные нотки покойного.

— Но я не хочу губить вас... Вы еще совсем мальчик и не понимаете, что делаете... Я вызвал вашего отца... он должен будет взять вас в деревню до экзаменов... С завтрашнего дня вы свободны от посещения гимназии... С-ступайте!

И Кахиперда сделал рукой театральный отстраняющий жест.

Стоит ли возвращаться в класс? Сейчас будет звонок... Э, все равно.

— Альтовский! Колька! Зачем тебя вызывал Кахиперда? — набросились на него с расспросами товарищи.

— Ерунда! Насчет частной квартиры, — отрезывает любопытных Коля, хотя и видит, что ему не верят.

В тот же день вечером он отправился к Карлушке, чтобы сообщить о своем провале, и, не застав его, решил зайти к Балмашеву.

Деревянные домики так похожи, что не вспомнишь какой: угловой или следующий за ним? Спросить разве вон ту бабу с ведрами на коромысле.

— У вас тут живет студент Балмашев?

— Живет один. Долговязый такой, в патлах... Как войдешь в сенцы, вторая дверь, за кадкой в углу.

В сенях темно и приходится двигаться ощупью. Вот она, кадка с водой, и за ней обитая войлоком дверь. Он только дернул и не успел постучать, как изнутри раздался придавленный знакомый голос: «Кто там?»

— Это я... Альтовский...

— А, это вы, — удивился Балмашев, открывая дверь. — Входите... Входите... Как это вы меня разыскали?

— Я ведь заезжал тогда за вами с Карлом Думлером, когда мы ездили в Покровск. Помните?

— Как же, помню, помню.

— Я вам не помешал? Я на минутку, по делу.

— Ничего... Видите, какой я ерундой занят. — И Балмашев показал на разостланную на столе газету с кучками табака и пачками гильз. — Какое же такое у вас дело ко мне?

Коля, немного бравирюя, рассказал о своем разговоре с директором:

— Что ж, пусть исключат хоть совсем... Велика важность... Буду готовиться экстерном.

— Так... Так, — одобрил Балмашев, но по его упорному взгляду, устремленному куда-то вверх керосиновой лампы в черное окно, закрытое вместо занавески газетой, Коля замечает, что он плохо слушает и думает о чем-то своем.

Худые длинные пальцы его машинально втирают табак в белую пачку гильз.

— Кажется, кто-то постучался? — встрепенулся Балмашев.

— Нет, это ставня снаружи хлопнула...

— Сорвалась с петли. Все забываю прибить. А впрочем, теперь уже черт с ней.

Какая у него каморка, совсем как одиночка, решил почему-то Коля, хотя ему никогда еще не приходилось видеть одиночек. Не больше трех хороших шагов, стены голые, только одна черная шинель на гвозде торчит часовым у двери, и мебелировка — стул, две табуретки да железная низкая койка.

— Итак, вы, значит, уезжаете в деревню? Что ж, это неплохо. Захватите литературу для крестьян...

Балмашев встал и свободно (он, видимо, привык к такой тесноте) прошелся по косым половицам. Длинная тень его явно не укладывалась в тесный деревянный ящик и рвалась наружу.

В эту минуту в дверь действительно постучали, и Балмашев впустил какого-то бородатого в ушастом малахае. Сняв запотевшие с мороза очки, пришедший беспомощно щурился близорукими глазками на красноватый керосиновый свет.

— Куда же вы? — остановил Балмашев собравшегося уходить Колю. — Оставайтесь. Чай будем пить.

— Нет, я пойду. Мне нужно. Я к вам зайду по приезде, если разрешите.

— Прощайте! — ласково вместо приглашения улыбнулся Балмашев и крепко пожал Колину руку.

— Прощайте! — повторил он еще раз, приоткрыв дверь, чтобы осветить темные сени. — Не упадите — там творило открыто...

— Ничего... Ничего... Я вижу...

«Почему я не остался? Сорвался как с цепи, — с досадой подумал Коля уже на улице. — Ведь он сам оставлял меня. Значит, не помешал бы им...»

Жутко пересекать безлюдную белую от снега площадь. Посредине ее высятся помостом, двумя столбами с перекладиной, городские весы: к ним за железные крюки подвешивают в базарные дни бычьи и свиные туши.

«Совсем как виселица... Ах, почему я не остался!»

V

— Что угодно?

— Вы хозяин? Видите, в чем дело... Я хочу сделать подарок брату-офицеру. Можете вы сшить для него за

глаза полную адъютантскую форму? Мерку вы можете снять с меня. Рост и фигура у нас совершенно одинаковые.

— Сошьем. У нас заказчиками господа офицеры всех гвардейских полков.

— Только это нужно сделать в самый короткий срок. Я доплачу за срочность, если потребуется. Во сколько дней вы можете сшить?

— По-военному, в трое суток. Сегодня у нас 27 марта. В субботу 30-го утром будет готово. Разрешите снять мерку.

Заказчик, молодой высокий блондин в фуражке министерства юстиции, вытянулся и выпятил грудь, стараясь принять военную выправку. Закройщик (он хотя и шибзик, и в штатском, но усы у него так нафабрены и закручены, что сразу видно — это военный закройщик) привычными движениями неслышно и быстро прикидывает сантиметр — к груди, по сгибу руки, в талии; потом присел, скрипнув штиблетами, и осторожно смерил в шагу.

— Причинное место носить налево изволите?

— Что такое? Да-да, налево. Брат мой тоже носит налево.

Закройщик приподнялся на цыпочки и, меряя воротник, накинул холодную клеенчатую петлю на шею, отчего (непроизвольная неприятная ассоциация мыслей!) по спине побежали мурашки.

— В каком чине изволит быть ваш брат?

— Поручика... погоны поручика.

— За кем записать заказ?

— Моя фамилия Быков. Вот вам задаток...

— Куда прикажете, господин Быков, доставить заказ?

— Я сам зайду за ним тридцатого утром...

«Ах, черт! Забыл спросить о цене. Это может показаться подозрительным. Впрочем, не так важно. Подумают — богатый заказчик, подарок брату-адъютанту. Можно содрать лишнее. Сколько бы ни запросили, все будет дешево. Этой адъютантской форме нет цены: от нее зависит все...

Надо заглянуть в зеркало. Фуражка сидит по-студенчески косо, так питерские чиновники не носят, и взгляд чересчур сосредоточенный, тяжелый. Надо смотреть веселей и беззаботней, заглядывать игриво

под шляпки встречным женщинам. Недурна канашка! Пусть думают, молодой балбес, чиновник министерства юстиции, фатовато фланирует по Невскому.

Выбора нет. Опять придется засесть в Выборге. Но теперь не долго ждать. Если тридцатого он получит форму, то первого, второго... Только бы не сорвалось... Скорей бы, скорей! Как убить время? Как убить...»

Сипя клокочущей черной мокротой, маневрируя, перекликаются паровозы. Особенно один, зевластый. Видно не выспался, встал с левой ноги, с левых колес. Ему подремать бы в депо. Да не дают, гонят опять на мокрый балтийский ветер отмахивать по станционным часам осточертевшие перегоны. Балует машина, побалует и отмашет!

Финляндский вокзал сумеречный, серый.

— Сдачи не надо, извозчик... (Выбора нет. Он сам сделал свой выбор...) Билет первого класса до Выборга...

— В таком мундире можно прямо-таки на парад в Царское. Не беспокойтесь, все сшито по форме, как следует. Ручаюсь, что они останутся довольны.

«Кто это «они»? Очевидно, брат. О да, он будет доволен. А вот будут ли довольны они! Эти-то двое пока что довольны».

Хозяин магазина, молодой, но уже заплывший жирком, в разутюженном по всем складкам костюме, как на картинке венского журнала мод — для большего с ней сходства он даже держит незажженную сигару в оттопыренных губах, хозяин магазина, Сагалов-сын, осторожно двумя пальцами снял пушинку с обшлага и расправил расфуфырившийся павлином аксельбант. Ведь только при примерке можно так фамильярно обращаться с господами офицерами. Закройщик Вульф помог продеть в узкие петли пуговицы с накладными орлами и туго стянул крючками ошейник стоячего воротника.

— Не беспокоит? Не трет шею?

«Какая трогательная заботливость о его шее! Немного жмет, но ничего, сойдет. На такую мелочь не стоит обращать внимания. Надо поскорей кончать примерку».

— Отлично... Я беру заказ. Если что-нибудь придется переделать, то брат сам зайдет к вам... Сколько я должен заплатить за все?

— Сейчас сосчитаем... Материал... Приклад... Ра-

бота... — откидывает решительно на счетах для большей убедительности Сагалов-сын наперед известную ему сумму. — Сто одиннадцать рублей.

— Получите...

Как они долго возятся с упаковкой! Наконец-то драгоценный сверток у него в руках.

— До свиданья, господин Быков.

— До свиданья!

Сам хозяин проводил его до двери. Он надеется еще раз увидеться с покладистым выгодным заказчиком и увидится: поручкой тому золотой ярлык фирмы на изнанке — «портной Сагалов». Собственно, по полицейскому паспорту надо бы — Лейба Сегаль, но кто из господ офицеров согласится (даже при долгосрочном кредите) носить мундир с таким клеймом? Но этот таинственный офицер, рискнувший заказать за глаза, через брата, чиновника министерства юстиции, полную адъютантскую форму, не таков. Он не постыдился бы носить еврейскую фамилию под тугим шитым золотом воротником, который ему вскоре придется сменить на другой, еще более тугой, ее более трущий шею... Портной Сагалов, Лейба Сагалов-сын, и закройщик Вульф, спасибо за добросовестно выполненный заказ! До скорого свиданья...

Вот он, этот странный поручик в адъютантской форме с иголочки, фатовато вертится перед мутным трюмо в номере выборгской гостиницы «Континенталь». Надушился из флакона и прислушался, прильнув к запертой на ключ двери. Ждет какую-нибудь великосветскую даму из Петербурга. Конспиративное романтическое свидание, поездка вдвоем на Иматру. Бормашина поднимающего лифта сладостным замиранием отдается по позвоночнику. Хлопанье дверцы. Мягкие шаги по половику коридора... Легкий стук лайковым пальцем в дверь... Она!

— Я заждался. Думал, ты не приедешь...

— Ах, какой глупый! Целуется сквозь вуальку. Ты мне ее всю обслюнявил, как маленький.

Насмешница! Какие у ней свежие, озонированные апрельским ветром губы, а глаза еще синей и чудесней под синей вуалью.

— У тебя тут уютно. И белые розы на столе, как в Царском. Шампанское, фрукты... Я что-то зазябла дорогой... Чокнемся за наше тайное счастье! Ах, какой

ты нетерпеливый... Нельзя же так сразу... Милый... Милый...

Но нет! Дама из Петербурга не придет. Ваша возлюбленная обманула вас, господин поручик! Вам не поцеловать ее, даже сквозь вуальку. Вам не целовать больше женских губ. Снимайте-ка поскорей подобру-поздорову вашу адъютантскую форму, укладывайте ее бережно в чемодан и переодевайтесь снова в штатское. Поезда в Петербург сегодня больше не будет, и вам придется одному ночевать в номере под пуховой периной.

Поручик вынул револьвер. Неужто хочет застрелиться? От такого юнца все может статься. Надпиливает крестообразно новенькую блестящую пулю. Для верности, чтобы сразу наповал. Надпиливайте поглубже, иначе мельхиоровая оболочка не разорвется. Но зачем же так много, целых семь? Довольно и одной, двух в крайности. В висок стреляться не стоит: разрывная пуля обезобразит вам лицо. Самоубийцы из-за несчастной любви не могут пренебрегать своей посмертной наружностью. Ведь она непременно придет взглянуть... Что же вы медлите? Или ваш револьвер не в порядке, что вы разбираете его и отвинчиваете щеки?

Нет, он раздумал стреляться. Нашел какой-то другой выход. Насвистывает что-то веселенькое... Мотивчик из «Прекрасной Елены»: «Раз три богини спорить стали... Эвое...» Потом прошелся по номеру и продекламировал шутливо-трагическим полушепотом под Чацкого:

— Карету мне, карету!

Карету! Зачем ему карета? Уж не для дуэли ли со счастливым соперником?

С каретой устроиться будет легче. Он уже присмотрел, где ее можно достать. В каретном заведении на Бассейной...

Совсем как извозчиный двор. Экипажи под навесом с сеном, навоз, преющий в конской моче, голуби и воробьи у просыпанного овса. И кучер моет из ведра карету. Ну, если у них все такие колымаги, то дело не пройдет. Где тут у вас, голубчик, контора или хозяин?.. Верно, этот самый и есть. В поддевке, с бородой, сам служил выездным кучером у важных особ, пока не раздобрел так, что подушку под армяк подкладывает уже не требуется. Такая туша, а говорит сладким гостино-

дворцовским тенорком — как он только рыкал басом из нутра «пади»?

— Не извольте беспокоиться, сударыня. Карету на похороны подадим по первому разряду. Кучера оденем в черную ливрею. Фонари затянем крепом. Лошади с траурными султанами и под сеткой. И все за ту же цену, без всякой надбавочки... Вам что, молодые люди? Карету на свадьбу. Вы, значит, шафера. Невесту в церковь повезете... Можно, можно... Куда подать-то? На Большую Пушкарскую. А венчанье в какой церкви?.. Вам что угодно, господин?

— Мне нужно заказать карету на завтра.

— Для какой надобности? Какую карету?

— Для моего брата, офицера. Он приехал из Москвы и должен нанести визиты важным особам.

— Для визитов, — значит, двухместную.

— Только дайте карету получше и лошадой тоже.

— Сами знаем. Для господ военных плохой кареты не подадим... Извольте сами пройти взглянуть. Карета новенькая, только что отлакированная. Хоть камергера ко двору везти... Ах ты, подлец, что делаешь? (Вот он бас-то, рыкавший с господских козел!) Рази так в оглобли вводят!.. Изгадить лошадь хочешь?.. Я те покажу... (И снова гостинодворцовский тенор.) Куда подать прикажете?

— Завтра второго апреля к двенадцати часам дня к кофейной Филиппова на углу Невского и Троицкой. Для поручика Игнатьева.

— Будет исполнено в точности. Только денежки вперед уплатить извольте... За город не потребуется? На два часа. Значит, десять рубликов. Благодарствуйте...

«Знаем мы этих господ офицеров! Хуже всякого штатского: наездит и смоеется, не заплатив кучеру. Да еще шашкой пригрозит. Поди ищи с него! Так-то верней».

Карету получше... для поручика Игнатьева... Игнатьева... Игнатьева... Игнатьева...

Если бы так же удачно устроилось все завтра. До последнего момента нельзя быть уверенным в успехе... Терпение... Терпение.

Теперь в Териоки за вещами и на ночевку...

Териоки. Вот он сходит, затерянный, на дамбу платформы, и его обдает хвойный вой лесного приюта. А там

за зубцами сосен — тетеревиные тока и заря под облаками никак не хочет угаснуть. И не зря: ведь она знает, в ней обещанье белых ночей. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! По золотисто-сиреневому взморью заиграют по-девичьи в горелки, хлопая белыми юбками парусов, гоночные яхты, а девушки в белом будут крениться с теннисной ракеткой в руке, как яхты в крутом галсе. Брызги пены в лицо, и терпкая окись на губах от поцелуя. Териоки...

Впрочем, все это теперь не для него.

— Два места багажа. Да, это мои чемоданы. Есть здесь какая-нибудь гостиница поблизости? Постоялый двор? Все равно, вези на постоялый.... Есть у вас номер? Мне только переночевать. Нет, ничего не надо. Разбудите завтра в шесть утра на поезд...

«Главное, хорошенько выспаться... Надо заставить себя заснуть...»

Какой омерзительный сон! Он в парадной адъютантской форме с двумя голыми проститутками в номере дворянских бань. Одна на корточках на полу намазывает большим куском казанского мыла толстую бельевую веревку, а другая курит на лавке, закинув ногу на ногу, и говорит резким мужским голосом, сипя горлом: «Ты пожирней, пожирней намажь веревку-то!» Гнусные слова! Гнусный сон! Это оттого, что в номере натоплено, как в бане, — от большой кафельной печи пышет жаром, и он весь вспотел под периной. Открыть форточку... Какой свежий морозный воздух! И небо ясное, звездное. Что это за огромная звезда висит там над лесом? Три часа, еще рано. Это свет фонаря с угла, а не рассвет. Можно еще вздремнуть часика два-три...

Ты пожирней... пожирней... сипя... гнусный сон...

VI

«Проспал! Половина седьмого... Успею, успею... Только не торопиться, а то что-нибудь забудешь, напутаешь... Ах, черт! Метка на кальсонах: «К. Д.» Надо было купить новые. Но теперь не до этого. Придется спороть».

Он спарывает перочинным ножом красную метку на кальсонах. Ах, господин Быков! Господин адъютант! Пожалейте вашего портного Сагалова и закройщика

Вульфа! Адъютантскую форму вы теперь не вернете ни за какие деньги. Так спорите хоть ярлык! Ведь нас обоих вышлют из Петербурга, а заведение закроют... О, если бы мы только знали, господин пристав. Будьте уверены, он не вышел бы из нашего магазина... Господин Быков! Он самый. Он самый... не слышит. Забыл спорить ярлык. Ой, какая оплошность! Какая оплошность!

Адъютант, поручик (тот самый, что в Выборге, в «Континентале»), занят утренним туалетом, прихорашивается перед зеркалом. Пригладил щеткой пробор, расправил аксельбант, надушил из флакона мундир. «Лориган»? «Коти»? Ах, котик, ты всегда как-то особенно пахнешь! У тебя вкус в духах тоньше, чем у женщин! Коти... Котик... *Petit chat*... Какая пошлость!

— Сколько с меня следует? Поскорей. Я тороплюсь на поезд.

Господин офицер (вчера приехали в штатском) так спешили на поезд, что второпях изволили забыть свою шашку на стуле. Догнать бы его на вокзале и вернуть шашку — наверно, щедро дал бы на чай. Но его уже и след простыл в Териоках. Он прохаживается по платформе в Райвола, поджидая поезд в Петербург. Станционный жандарм отдал честь, и тут только, взглянув на него, офицер вспомнил: «Забыл шашку на постоем... Хорошо еще, что не забыл портфель или револьвер... Без шашки никак нельзя... Придется заехать купить... Балда!»

«Да-да... Да-да-да... Да-да-да», — охотно подтвердил стуком колес тронувшийся поезд. Офицер положил портфель на колени и, закурив, стал смотреть в окно, где под насыпью закружился хороводом, взявшись за ветви, болотный осинник вперемежку с молоденькими елками и березками. Этот древесный хоровод примелькался и не запоминается, он безрадостен и не нужен ни поезду, ни пассажирам. Но сегодня, второго апреля, и этот путаный хоровод понятен чем-то близким, зачем-то нужен. Может быть, потому, что скользящий по стволам разорванный дым от паровоза напоминает дымки от выстрелов. Только ему одному понятен и нужен.

— Ужин с француженками... не интересуетесь? А еще офицер. Не стройте из себя оригинала, молодой человек! В каком корпусе вы воспитывались? Не в Смольном же институте... Вы помните куплет про

институток? «Миноги вкусны для закуски... узки...» Ха... ха... ха... В Смольном...

Это не к нему обращаются, это рядом в купе назойливо бубнит жирным сиплым баском какой-то пошляк.

— Из-за француженок все и вышло... На этой самой дороге в поезде... Князь ехал из Шувалова с четырьмя француженками... Одной ему, как видно, мало было... Ха, ха... А Максимов, я с ним лично знаком... Бретёр ужасный... Три имения — свое и двух жен — спустил... Максимов открыл дверь и уставился на одну из француженок... Приглянулась ли она ему, или так что... Черт его знает... Та его и уязви: «Уж не фотографию ли вы с меня снять хотите?» А он ей в ответ: «Я, — говорит, — вашу фотографию всегда могу купить в публичном доме, где вы служите». Ловко? Ха-ха-ха... Мамзели в амбицию... Тут князь вмешался, все-таки как-никак дамы... Слово за слово... В результате дуэль. Дистанция двадцать пять шагов, по одному выстрелу из пистолета, стрелять по желанию в промежуток четырех секунд между счетом «раз... два... три... стой!» Князь выстрелил первый и промазал... Максимов ранил его в живот... Через двое суток князь скончался от заражения крови... Ну, конечно, скандал преогромнейший... Светлейший князь Витгенштейн, сотник конвоя его величества... Завтра третьего апреля как раз суд... Думаете, сядет? Ничего, выкрутится... Просидит в крайнем случае месяц в крепости и подаст на высочайшее... Вот увидите, помилуют... Максимов, хоть и отставной, а все же полковник запаса... Тут честь мундира обязывает...

Пошляки! Он им покажет, к чему обязывает честь мундира! Только бы не привязался этот старый болтун с расспросами — в каком полку... Шувалово... Теперь недолго... Петербург... Наконец-то!

Сегодня и он не так гранитно-хмур, как обычно, и встречает приезжих у вокзала бледным, не греющим солнцем с легким апрельским морозцем. Офицер сам вынес свои два чемодана на платформу и только тут передал их подбежавшему носильщику, приказав сдать на хранение. Полученную затем квитанцию он разорвал на мелкие клочки: «Все равно не пригодится. На всякий случай запомню номер».

Налегке, с одним портфелем, вышел офицер с Финляндского вокзала на площадь, где на него, наезжая и

сшибаясь пролетками, накинулись наперебой застоявшиеся извозчики:

— Пожалте, ваше высокоблагородие! Куда прикажете?

Честь везти господина офицера досталась старику извозчику, у которого у одного почему-то, несмотря на ясную погоду, оказался поднятым верх пролетки. Офицер сел, не торгуясь, сказав только:

— На Невский. К Гостиному.

Когда же извозчик, соскочив с козел, хотел было опустить верх, то офицер остановил его:

— Не надо. Оставь так. Поезжай поскорей. Прибавлю на чай.

Откинувшись в глубь пролетки, офицер молча курил всю дорогу одну папиросу за другой, а портфель держал на коленях — должно быть, там важные служебные бумаги.

«Сел не торгуясь. Да еще на чай пообещал. Сколько же запросить с них?.. Может, по таксии хочет платить...»

Извозчицьи сомнения разрешились самым благополучным образом. Благородный седок так и не спросил цены и заплатил не по таксе, а дал целую трешницу без сдачи.

— Покорно благодарим, ваше высокоблагородие... Счастливо оставаться... Вот это настоящий офицер, не шелкопер...

В Гостином дворе малоллюдно: еще рано, одиннадцать часов, покупательницы только начинают сходиться. Вот из шляпного магазина вышли две хорошенькие дамочки и, столкнувшись с молоденьким адъютантом, переглянулись, пересмеиваясь. Одна даже посмотрела через плечо — не идет ли сзади? Но адъютанту не до ухажерства: у него важное донесение в портфеле. Если бы не шашка, то он и не заглянул бы в Гостиный, в магазин офицерских вещей Иванова.

— Дайте мне шашку.

— Пожалуйста... У нас большой выбор.

Приказчик вывалил на прилавок несколько шашек и стал их вытаскивать из ножен, расхваливая клинки, но офицер не заинтересовался ими. Господа адъютанты плохие рубаки — им бы только эфес пошикарней, а в ножнах хоть деревяшка! Офицер взял одну шашку и надел на шинель перед зеркалом:

— Сколько?

Клинка он так и не потрогал, а вот, получая сдачу, зачем-то почесал за ушами сибирского кота, лежавшего белой папашой у кассы. Хоть крысам и мышам мало поживы среди офицерских вещей, но уж так полагается, чтобы в каждом порядочном магазине в Гостином сторожил такой огромный жирный евнух-кот.

— Теперь все в порядке.

Хлыщевато позвякивая шпорами и небрежно поднося к козырьку руку в белой лайковой перчатке при встрече с господами военными, адъютант пошел пешком по Невскому мимо Аничкового дворца к Фонтанке. И как раз когда он поровнялся на мосту со вставшим на дыбы чугунным конем, гулко ударяясь эхом о стены каменных зданий и набережных, прокатился пушечный выстрел с Петропавловской крепости. Двенадцать часов! А заказанной кареты на углу Троицкой еще нет.

Офицер вошел в кофейную и сел за свободным столиком в углу, сказав склонившемуся почтительно официанту:

— Стакан шоколаду. И потом, постойте. Тут должна приехать карета. Кучер будет спрашивать поручика Игнатьева. Скажите тогда мне.

— Слушаюсь.

Сидевшая напротив у окна за горшком бумажных цветов пышная накрашенная блондинка оживилась. Ей показалось, что офицер не столько пьет свой дымящийся шоколад, сколько смотрит на нее пристальным ищущим взглядом. Блондинка улыбнулась многозначительно, но офицер не ответил ей. Тогда она встала и прошла мимо его столика в дамскую уборную, соблазнительно шурша шелковой нижней юбкой. Вернувшись на свое место, она вдруг обнаружила, что офицер смотрит ищущим взглядом вовсе не на нее, а через нее в окно на угол Невского и Литейного, в сутолоку пролеток и экипажей. Наверное, поджидает какую-нибудь другую женщину.

— Ваше высокоблагородие, карета приехала.

Офицер быстро встал, не допив шоколад, бросил желтую бумажку на мраморный столик и, захватив портфель, зашагал к выходу, натягивая белые лайковые перчатки, не взглянув больше на пышную блондинку. Ох, уж эти мужчины! Вечно делают вид, что заняты

какими-то важными неотложными делами, а у всех самое важное только одно...

— Карета для поручика Игнатьева?

— Так точно-с... Пожалте, ваше сиятельство. Извините, задержался маленько...

Карета запоздала. Кучер Кузьмин, получив наряд от хозяина («Поручик Игнатьев, приехал из Москвы, может, граф Игнатьев»), долго снаряжался, и когда ударила пушка, то он еще запрягал. Но поручик Игнатьев («граф или не граф, все одно, за ваше сиятельство, чай, прибавит на чай») ничего не заметил насчет опоздания и, неловко стукнувшись головой, полез в узкую дверцу.

— Куда прикажете?

— К Адмиралтейству.

Стоявший на перекрестке городской, заметив карету, остановил движение, чтобы дать ей завернуть, и вытянулся, отдавая честь. Черная лакированная карета, запряженная парой вороных, гулко топочущих по торцам лошадей, мягко покатила на резиновых шинах по Невскому проспекту к устью его, туда, где за голубовато-пороховой дымкой блестит золотым обелиском адмиралтейская игла.

Кучер Кузьмин доволен и каретой, и лошадьми, и седоком, и собой. Вот только бы еще золоченый герб на дверце, и тогда совсем граф Игнатьев.

— Берегись! Чего зеваешь? — басом из нутра рыкнул Кузьмин на дворника в жилетке и малиновой фланелевой рубашке, собиравшего посреди улицы свежий конский помет в лоток.

Дворник посторонился и хотел было выругаться, но промолчал, увидев, что это не пролетка, а карета с военным.

Внутри темно и душно, пахнет не то духами кисейного свадебного платья, не то ладаном траурного крепа, а может, и тем и другим вместе. Надо открыть оконце в дверце — оно, кажется, опускается. Как смертельно хочется курить. Но ведь он только что курил в кофейной.

«Закурю в последний раз. Еще успею... Как бы не спутать пакеты».

Адъютант вынул из лежавшего на его коленях портфеля три больших запечатанных сургучом пакета. Вот

оно, секретное важное поручение, по которому он едет в карете, и не одно, а целых три.

Первое: «Его Высокопревосходительству г-ну Министру Внутренних дел Сипягину». Второе: «Его Высокопревосходительству г-ну Обер-прокурору Святейшего Синода Победоносцеву». И третье, безымянное, просто: «Его Высокопревосходительству».

Карета остановилась на Дворцовой площади у Адмиралтейства, как было приказано, но офицер крикнул кучеру:

— Поезжай дальше.

— Куда прикажете дальше?

— По набережной... К Николаевскому мосту.

В дверцу справа, с Невы, ворвался резкий ветер. Офицер затянулся в последний раз и бросил недокуренную папиросу. У моста карета остановилась, пропуская катившуюся со звоном конку. Шаловливо подняв для защиты книжку к закинутым мордам лошадей, через улицу перебежала смуглая по-южному девушка — верно, курсистка-бестужевка. А долговязый лохматый студент, с которым она шла с Васильевского острова, не успел, застрял перед каретой и злобно посмотрел (если бы он только знал, кто это!) на высунувшегося из дверцы офицера, решительно крикнувшего в ответ на третье «куда прикажете?» кучера:

— К Государственному Совету! К Мариинскому дворцу!

«Ко дворцу! Значит, граф, чай, его сиятельство не покусится на чай...»

К Мариинскому дворцу, такому же сумрачному, как и Финляндский вокзал, одна за другой подъезжают черные кареты. В час дня должно состояться заседание Комитета министров. Помощник швейцара, отставной гвардейский унтер Парфенов, в парадной ливрее, с медалями встречает снаружи их высокопревосходительств.

«Еще карета... нет, это не министерская, не к нам...»

Но карета, хотя и не министерская, подкатила прямо к подъезду дворца. Высунувшийся из дверцы офицер спросил подбежавшего Парфенова:

— Господин Министр Внутренних дел здесь?

— Никак нет. Еще не приезжали.

— Ну, я его, может, застану на квартире.

И офицер как бы с досадой махнул рукой кучеру.

— Поезжай на квартиру!

— Куда на квартиру, ваше сиятельство?

— Вернись обратно. Все равно не застану...

Карета завернула, сделав петлю, и подъехала снова к дворцу. Офицер в светло-серой шинели, с портфелем, звеня шпорами, ничего не сказав, прошел решительно мимо распахнувшего двери Парфенова («Адъютант, должно, курьер») в подъезд, где его на площадке лестницы встретил швейцар Лукьянов.

— Мне надо лично подать бумагу от Великого князя Сергея Александровича.

Швейцар Лукьянов, с седыми усами и бакенбардами под Александра II (помнит еще Плевну), услышав, что адъютант прибыл курьером от Великого князя, ответил почтительным «слушаюсь» и тут же отвернулся к двери, заметив сквозь стекла, что подъезжает знакомая карета. Стоявший в стороне адъютант пристально посмотрел на вошедшего в сопровождении выездного лакея министра, сбросившего на руки швейцара шубу, — весна запоздала в этом году, резкий ветер с Невы пронизывает и сквозь карету.

«Он... То же лицо, что на портрете, только желтей, одутловатей».

Достав из портфеля верхний пакет, адъютант решительно шагнул наперерез министру, щелкнув шпорами и встав навытяжку (честь отдать нельзя, обе руки заняты, в левой — портфель, в правой — пакет):

— Письмо к вашему высокопревосходительству от Великого князя Сергея Александровича!

Это не его голос, а чей-то чужой с силой вырвался из сдавленного горла и необычно звонко раздался под сводами мрачного дворца. Министр недоуменно поднял брови (он давно не в ладах с Великим князем) и, точно не расслышав, брюзгливо переспросил:

— От кого?

— От Великого князя... Сергея... Александровича! — вторично, молодо и звонко, отрапортовал адъютант.

Министр хмуро взглянул на адъютанта (на мгновение взгляды их встретились), а затем взял от него и тут же («странно! о чем пишет Великий князь?») надорвал большой пакет со вложенным внутри листом сложенной бумаги, но содержание ее прочесть не успел.

Адъютант быстро отступил на шаг назад и, выхватив освободившейся от пакета правой рукой из кармана шинели револьвер, два раза в упор выстрелил в министра. Все еще не выпуская пакета, министр, застояв, грузно повалился на пол.

Третий выстрел (швейцар Лукьянов успел схватить офицера за руку) отклонился в сторону и ранил в плечо выездного лакея Боброва (шуба министра тоже с бобровым воротником). Четвертый и пятый ударили в потолок: Лукьянову удалось поднять руку офицера вверх. Пять выстрелов! Пять пороховых огненных печатей по числу сургучовых пяти на оброненном на пол министром великокняжеском пакете.

— Не держите меня... Я сделал все, что было нужно...

Старый черт, а как вклешился в руку, задрал ее кверху оглоблей и широко, по-рыбьи открывает рот, но крика после выстрелов не слышно. По усталой малиновым половиком дворцовой лестнице сбегает чиновники, среди них есть и высокопревосходительства с заседания Комитета министров. Жаль! В портфеле осталось еще два пакета, а в револьвере — две пули, но его уже вырвали! Все равно он сделал свое дело!

— За что он его? За что?

— С такими людьми так и поступают... Это за последний циркуляр... («Циркуляр — такое объяснение им понятней, чем люди!»)

— Циркуляр... Какой циркуляр?

— Что ж он лежит на полу? Надо его поднять... Доктора, скорей доктора!

— Послали... В Максимилиановскую лечебницу, рядом...

Господина министра общими усилиями неловко подняли с пола и положили на ларь, на подостланный кем-то тюфячок (на нем спят дежурные сторожа), а под голову подсунули шубу, ту, в которой их высокопревосходительство приехали, швейцар так и не успел ее повесить, выронил на пол. Министр — без сознания, но вдруг открыл глаза и в ужасе отшатнулся: ему померещилось, что к нему снова подходит адъютант с пакетом.

— Не беспокойтесь, ваше превосходительство... Это доктор.

— Ах, доктор... голубчик, вот что случилось...

В бессильно свисающей к полу руке пульса почти

нет. Одна пуля засела в левой стороне шеи, другая в области печени. Крови на полотняной рубашке с чайной ложки. Внутреннее кровоизлияние... Хорошо, что он догадался захватить с собой шприц и мускус. Разорвать рубашку и затомпонировать рану...

А офицер все еще здесь, он стоит в двух шагах от министра, бледный, но спокойный, и швейцар зачем-то держит его за правую руку, хотя револьвер (семизарядный, без щек, чтобы не оттопыривал карман) у него отобрали.

— Да отведите же его куда-нибудь! Почему его до сих пор не забрали? Какое безобразие! Где полиция? Где жандармы?

— Дали знать. Сейчас заберут, ваше высокопревосходительство.

«Кто это «ваше высокопревосходительство» — министр, товарищ министра? Один из тех, кому адресован и не доставлен третий, безмянный пакет...»

«Должно, скоро выйдет...» — кучер Кузьмин отъехал в сторону от подъезда и стал дожидаться за другими каретами. Но вместо седока из дворца выбежал перепуганный швейцар Парфенов со сторожем:

— Ты привез офицера?

— Я привез.

— Никуда не уезжай... Смотри за ним, чтобы не уехал.

«Вот те и граф! Что натворил... Получай теперь чаевые. Эх, кабы знать, уехать бы сразу... Карету получше для поручика Игнатьева...» И-гнать-ева... И гнать его! И гнать его!»

Впрочем, кучер Кузьмин мог бы быть доволен тем блестящим съездом карет, который состоялся в тот же день вечером на Мойке. Кареты с гербами, с золотыми орлами, тысячные рысаки, бородачи-кучера, форейторы, суetyащиеся пристава и околоточные в белых перчатках, целые цепи полиции. Кареты министерские, дипломатические, дворцовые, и среди них в центре — царская. И все они сбежались сюда из-за скромной прокатной кареты с Бассейной.

— Еще не установлено... Преступник скрывает, кто он, но выяснено, что он вовсе не военный и надел адъютантскую форму для облегчения доступа к министру.

— Какая наглость! Переодеться офицером и

привезти пакет будто бы от особы императорской фамилии!

— Их Величества проследовали в комнаты вдовы...

— Ах, он умирал, как истый христианин... Последние его слова были: «Я желаю видеть Государя Императора»...

— Не слышали, кто будет назначен на место покойного?

— Еще не решено... Говорят, Плеве... Государь беседовал с ним на панихиде... Вячеслав Константинович Плеве...

— Плеве так Плеве... Наплевать... Едем ужинать к француженкам... Ты ведь известный любитель французского языка. Не отпирайся. Мне Сюзон Крово про тебя рассказывала...

Пышный церемониал, присутствие царской фамилии, самого Государя Императора — все это теперь неважно. Самое важное это то, что министр (он лежит на низком столе под серебряным глаzetовым покровом) прочел наконец и понял содержание оброненного на пол большого пакета. Это оно мучило его своей бредовой загадкой и обмороками, он все время силился и никак не мог прочесть. Мешали сосредоточиться и отвлекали ненужной суетой — доктора, уколы вспрыскиваний и подушки с кислородом, испуганная жена, наклонившаяся с поцелуем и фальшивым «усни, и тебе станет легче», священник с холодным золотым крестом и причастьем, которое застряло во рту — не мог проглотить. Но теперь он прочел, понял и успокоился: в оброненном им на пол большом пакете был вложен пустой белый лист слоновой бумаги. Белая пустота, запечатанная пятью огненными печатями выстрелов. И ее привез и вручил ему высокий голубоглазый офицер в адъютантской форме. Курьер от Великого князя... Нет, курьер смерти...

Офицер (впрочем, он больше не офицер — после допроса и фотографирования с него сорвали погоны, шашку, шпоры) тоже лежит на низкой тюремной койке и спит молодым крепким сном. Малюсенький глаз каменного сводчатого циклопа над дверью уставился с тупым удивлением на спящего:

— Спит! Как он только может спать теперь!

Но он так измотался, плохо спал ночь накануне, устал за день и теперь после удачно выполненного поручения

чения крепко заснул, хотя всего только девять часов. Прильнул щекой к ладони и чему-то счастливо, по-юношески улыбается во сне. Видно, ему снится хороший сон, не такой, как в Териоках, на постоялом...

Камера Петропавловской крепости — склеп. Нечем дышать — он все время, пока не заснул, подходил к оконной решетке. Белая сиделка-ночь (ночи будут дежурить посменно, утончаясь белей и белей) подносит к каменным губам каземата подушки с кислородом живительной невской свежести — иначе можно задохнуться. Соборная колокольня в известковом халате огромной золотой иглой делает уколы подкожных впрыскиваний облакам — у них тоже, как у министра, внутреннее кровоизлияние. Но ведь они все равно без сознания и тлеют лиловым, холодным пламенем.

Без сознания... Сон без сновидений...

Сон без снов...

Такой и будет через месяц.

VII

— Экстренный выпуск! Правительственное сообщение! Покушение на министра внутренних дел Сипягина!

— Газетчик! — Коля выхватил телеграмму, сунув за нее гривенник, и на ходу у подъезда вокзала стал жадно пробегать глазами набранные жирным шрифтом строки...

«2 апреля около 1 часа дня... неизвестный человек в военной офицерской форме... двумя пулями тяжело ранил... егермейстер Сипягин через час скончался... Следствие производится...»

Сухая, официальная телеграмма, но она вся насыщена грозным электричеством и обжигает пальцы, как подпольная прокламация!

Первая мысль Коли была почему-то о Балмашеве: пойти к нему на плац-парад и поделиться радостным сообщением, а по пути можно забежать и к Карлушке.

Все три подвальных окна занавешены белым, и на звонок никто не выходит. Наверное, в Покровске. Коля хотел было отойти от двери, как вдруг в щели для писем блеснул бронзовкой знакомый темно-карий глаз. Карлушка!

— Ты один?

— Один.

— Входи скорей. Что тебе нужно?

Вместо ответа Коля показал телеграмму.

— Знаю. Все знаю, — отмахнулся Карлушка, задвигая засов. — Болтать с тобой мне сейчас некогда... Я занят... Обожди здесь, в прихожей.

В комнату к себе он не пустил, но сквозь щель Коля успел разглядеть, что там двое студентов (один из них — Кулка, а другой стоит спиной) накладывают на черный противень, на котором обычно пекут пироги в праздник, и снимают с него листы бумаги. Один из этих листов сунул ему Карлушка, выпроваживая через черный ход.

— Прочтешь, узнаешь все. А теперь выкатывайся. Я к тебе забегу на днях. Тогда поговорим.

Спустившись к Волге, на бревнах у лесной пристани Коля прочел листовку, прикрыв ее газетной телеграммой.

Сипягина убил Балмашев! Степан Балмашев! А он только что собирался зайти к нему с телеграммой об убийстве!

В прокламации «Комитет сношений» сообщает, что министра Сипягина убил «наш саратовец студент Степан Валерианович Балмашев», а в конце обещает «выпустить фотографическую карточку и ознакомить с некоторыми из его литературных произведений». Очевидно, с рассказом «Решение Николая», который он читал тогда вечером, когда играл на гитаре и пел...

Коля старается представить Балмашева в офицерской форме, стреляющим из револьвера в Сипягина, как в доску на Зеленом острове, но почему-то все вместо дворцового вестибюля получается гимназический парадный подъезд с лестницей в учительскую, а у Балмашева из-под военной фуражки по-студенчески выбиваются длинные волосы. Где он сидит теперь? Что с ним будет за это?

Апрельское ошеломляющее сообщение о Балмашеве заслонило все другие события Колиной жизни. Даже такое важное, как неожиданное приглашение за подписью самого директора явиться на занятия в гимназию. Пришлось снова прийти в директорский кабинет и выслушать целую нотацию.

— Я н-надеюсь, что ур-рок послужит к вашему исп-

равлению и вы не бу-будете больше своим поведением навлекать п-подозрение на нашу гимназию. Я не х-хочу закрывать перед вами двери университета в будущем...

Отделенный зеленым полом огромного, как бильярдный, письменного стола Кахиперда вытянулся от-весно негнушима, как от столбняка, позвоночником и говорит, засунув обе руки в карманы под фалды синего вицмундира. В конце речи он неожиданно преодолел зеленое суконное пространство, подошел к Коле и мягко положил ему руку на плечо, заглянув в глаза и дыхнув гнилостным запахом изо рта.

— Дайте мне ч-честное слово...

Придется врать, отречься от той литературы, что давал Балмашев, от всего... Коля поднял голову и твердо выдержал испытующий взгляд острых директорских глаз сквозь две дымчатые луны.

— Я, Александр Корнилович...

— С-с-с,— фальшиво свистнул, сорвавшись в заиканье и дрожа кадыком, Кахиперда и махнул рукой.— С-ступайте на урок!

Что с ним стряслось? Почему он вдруг смягчил свое решение? Неужели правда, что про него рассказывают, будто он когда-то до директорства был передовым учителем, читал с учениками «Что делать?» и чуть не попал за это в ссылку? Вспомнил старое... Мало ли что болтают. Вот Аносов определенно уверяет, что Кахиперда болен сифилисом, поэтому живет один со старушкой матерью и так сильно душится. Духи у него действительно какие-то неприятные, пряно-тлетворные — какой-то парижский шипр, орхидея.

Одноклассники шумно приветствовали Колю и обступили его с расспросами. Временное исключение сильно возвысило его в глазах класса. Даже старшеклассники и некоторые из преподавателей посматривали на него с любопытством. Арбатский же на одном из уроков закричал:

— Политической экономией, батенька, занимаетесь, а в консекуцию темпорум путаетесь!

Все это льстило самолюбию, но только первые дни, а потом опять по-старому потянулась та же казенная ляпка, как будто и не было невольных «балмашевских» (как их назвал Коля про себя) каникул.

В газетах сообщались трогательные подробности о последних минутах министра («За что? Я никому не

сделал зла»...), описание церемониала похорон («Гроб с телом покойного вынесли Государь Император, Великий князь Николай Николаевич, граф Игнатьев... Похоронное шествие открывал взвод конных жандармов»), назначение нового министра внутренних дел Плеве («лично докладывал Александру II о ходе следствия по делу о взрыве в Зимнем дворце»). Но нигде ни слова о Балмашеве, даже имя его не упоминалось вовсе, как будто это не он совершил террористический акт.

Раз поздно вечером забежал Карлушка и дал спрятать рукопись Балмашева.

— Подержи у себя несколько дней. Мы ждем обысков и арестов... Этот балда Иоганн! Я его накачиваю водкой каждый день, но он может разболтать про стрельбу на песках...

Та самая тетрадка, исписанная рукой Балмашева, тот самый рассказ, который он читал тогда вечером... «Решение Николая» — это было его решение.

Коля, перед тем как запрятать, внимательно перечел рукопись и заучил наизусть, как стихи: «Смерть за смерть! Кровь за кровь! Вот что теперь раскаленным железом сверлило его мозг»...

Потом рано утром совершенно неожиданно явилась Черная Роза. Она была против обыкновения серьезна и не смеялась, только мельком заглянула в зеркало на стене (в то самое, перед которым недавно причесывался Балмашев) и поправила рукой выбившиеся из-под шляпки черные крупные, как у оперного «демона», кудри.

— Я к вам по поручению от Карла. Взять тот рассказ Степана...

Коля от смущения (это был первый женский визит в его комнату) не знал, что говорить, и даже не попросил ее сесть. Вдобавок кровать была еще не покрыта, а рукопись пришлось доставать из матраца.

— Прощайте. Я спешу.

Забрав драгоценную рукопись, Черная Роза энергично тряхнула Колину руку и скрылась, оставив после себя в комнате какой-то волнующий смутный запах. Что-то еще скажет хозяйка — а впрочем, наплевать!

Потом подошли пасхальные каникулы и поездка домой в деревню. Глухой, скликающий рожком топчущее стадо теплушек лесной полустанок (со станции не проедешь: разлив). Увязающие по брюхо лошади с за-

сученными узлом хвостами, ухающий с пригорков в овраги по ступицу (вот-вот поплывет) тарантас. Насторожившийся тягой, набухающий почками дубовый перелесок, чутко слушающий шлепанье луж, чавканье грязи и подбадривающий окрик: «Но-о, вывози!» А там, вверху, на нарастающем снежке облачка, — оброненная серебряная подкова месяца: на счастье кто поднимет!

Свободе каникул мешало обязательное говенье — об этом в гимназию необходимо представить особое свидетельство. Так нелепо на исповеди после коленопреклонения, положив толстую с золотым витьем свечку и рублевку на поднос, потупившись, виновато повторять на каждый испытующий вопрос священника: «Да, грешен, батюшка...» Хуже, чем перед начальством в гимназии, там по крайней мере можно, даже следует отпираться, за допросом последует кондуит или без обеда, а здесь вместо наказания новое коленопреклонение и осадок чего-то унизительно фальшивого. Подходя причащаться, Коля вдруг заметил впереди себя бабу с провалившимся носом. Сифилитичка! Она шла вместе со всеми, ничем не прикрыв ужасную, похожую на осевшую могилу яму. Священник сует ложечку с причастьем изо рта в рот всем подряд... Коля рванулся и протиснулся к алтарю, опередив страшную безносую причастницу.

— Аль безгашь, родимый? — шепнула, заметив Колин испуг, румяная молодка с грудным ребенком. — Не бойси... От святого причастья, как от крещенской водицы, никакая зараза не пристанет...

К заутрени Коля не пошел, но вышел по звону колокола к церкви, захватив пачку привезенных из города прокламаций. Белеющая в синей темноте колокольня обставлена, как в ярмарку, таборами крестьянских возов, а за ней за гумнами поблескивают многоверстным разливом поймы. Кажется, что Волга переместилась за сорок верст и грозит затопить все село — оттого-то и гудит насадным трезвоном белая вышка.

У подъезда четырехэтажного каменного корпуса земледельческого училища стоит какой-то высокий ученик. Кравченко! Коля узнал его и в темноте по светлой шапке кудрей.

— Примите литературу.

— От кого?

— От Комитета сношений! — важно, как пароль, сообщил Коля, исчезая в темноту.

Пасхальная заутреня! О ней дал знать и ему в каменный мешок гулками тремя холостыми раскатами орудийный салют... Если бы он мог выбраться из каземата наружу на полночную прогулку по двухсотлетним крепостным веркам, то ясная, слегка морозная мартовская ночь заверещала бы, завопила, как июльская степная, медными сверчками колоколов, а напротив, перекинув через черные полыньи Невы огненные мостки ярко освещенных окон, засиял бы обычно по-нежилому угрюмый Зимный дворец. Там только и ждал этого сигнала съехавшийся в каретах сановный Петербург, разбившись по ведомствам, рангам и чинам в дворцовых залах: в Николаевском — генералы и офицеры гвардейских полков, в Аванзале — чины флота и морского ведомства, в Фельдмаршальском — офицеры армейских частей и военноучебных заведений, в Гербовом — гражданские чины. В концертном же зале собрался целый кордебалет придворных дам и фрейлин в роскошных сарафанах, в кокошниках и ожерельях, сверкающих драгоценными камнями.

Третья пушка!

Придворные арапы в восточных костюмах распахнули двери Малахитовой гостиной, и выстроившееся шествие двинулось в церковь. Гоф-фурьеры и камер-фурьеры в красных мундирах, церемониймейстеры с жезлами, с голубыми бантами из андреевских лент... Государь Император в мундире лейб-гвардии саперного полка под руку со Вдовствующей Императрицей Марией Федоровной... Вся царская семья... Великие князья... Все министры... О, если бы только допустили к этой пасхальной заутрени и его в адъютантской форме, с револьвером без щек в кармане и нерасстреленной обоймой! Если бы!.. Христос воскресе из мертвых... смертью смерть поправ...

Они выжидают только конца Пасхи, чтобы расправиться с ним. Суд, военный суд, назначен на 26 апреля. Как раз в день его ангела... «Мама, что же ты не поздравила меня? Поздравь. Редко кто получает такой подарок в день именин...»

В три часа на рассвете его разбудил салют орудий. Выстрелы рвались один за другим так раскатисто гулко, что казалось, кто-то ударял прикладом в двери и

вызывал его... Нет, еще не в эту ночь! Это закончилась пасхальная заутреня царским многолетием... Мно-гая, мно-гая лета! В Малахитовом зале накрыт пасхальный стол для царского разговенья. В окне за решеткой совсем светло. Вот на таком же рассвете... Теперь после Пасхи скоро все решится. Теперь уже скоро...

VIII

Да, скоро экзамены. С первого мая всех распустили для подготовки. С утра — зубрежка, а вечером можно пойти на Волгу. Розоватая, как и пароходы «Самолет», самолетская пристань рядом с яхт-клубом служит почему-то излюбленным местом встреч и сборов учащейся молодежи. Здесь на носу конторки вечером второго мая встретил Коля Черную Розу. Она сидела на тумбе, на которую накидывают удавной петлей толстые причальные канаты пароходов, и сама первая окликнула его.

— Вы знаете, что Карл арестован? — тихо сообщила она. — Да, арестован и после допроса отправлен в Петербург по делу Балмашева... А вот и сестра с Кулкой. Мы собираемся на Зеленый. Поедьте с нами. Ведь вы умеете грести?

— Конечно, умею.

— Только имей в виду, что мы вернемся поздно, — предупредил Кулка.

— Ну так что ж? Хоть до утра! — отпарировал Коля второе обидное замечание.

Чтобы доказать, что он умеет хорошо грести, Коля не вставал с весел от самой конторки до Зеленого и натер на ладонях волдыри мозолей. После перевала от Исад, за островом, течение слабеет, и лодка идет легко по тихим заводям, рассекая, как камыш, залитые тальники.

— Слышите? Соловей!

— Это лягушки, Роза.

— Нет, не лягушки, а соловей. Я хорошо слышала. Бросьте грести.

Перегнувшись с кормы и черпнув бортом, Черная Роза ухватила за ствол торчавшего из воды зеленого деревца. Никелированные лунным сияньем заводи звенят надсадным водяным воплем и тинистым икряным

кваканьем. Неожиданно разнотонный лягушачий хор покрыла музыкальная чистая сольная нота. Соловей! Он щелкнул звучно несколько раз и смолк, прислушиваясь, какое колено выкинет невидимый соперник. Откуда-то подальше, из займища, послышалось ответное щелканье другого лунного солиста.

— Я говорила, соловей! — торжествовала Роза. — Давайте послушаем. Пристанем к берегу. Вот к этому бугру.

Но послушать соловья не удалось: он замолчал, как только причалили. Вместо этого, набрав сушняку, развели большой костер — у огня теплей и комары не так кусают!

— Эх, пива не взяли! — пожалел Кулка. — Были бы с нами Карлушка и Степка, непременно заехали бы у Исад к Федорову, захватили бы плетушку с пивом.

Странно подумать, что не только Карлушка, но и Балмашев могли бы тоже сейчас сидеть с ними здесь, на Зеленом у костра, пить пиво, петь, дурачиться...

— Сбе-ейте око-овы, да-айте мне во-оли, а на-учу-у вас свобо-оду любить! — затянула, лежа на песке, вполголоса Черная Роза, а потом, вскочив, предложила: — Давайте прыгать через костер! Кто за мной?

Подобрав юбку, она с разбегу перемахнула через пламя, наступив на конец головни, взметнувшей снопы искр.

— Что ты делаешь, Роза! Ты так загорисься, — остановила ее сестра.

— Ничего! Волга рядом. Можно броситься в воду. .

Назад лодка сама несется по течению. Можно не мозолить рук, бросить весла и сидеть спокойно. Так привольно, хорошо, что не хочется ни петь, ни разговаривать.

— Можно положить вам голову на колени? — смутила Колю неожиданным вопросом Черная Роза.

— По... пожалуйста...

Закинув руки, Роза легла, вытянувшись, на дощатую стлань. В заводях ее зрачков под черным ивняком ресниц дробятся и плавают две крошечные луны. Коля замер и боится шевельнуться. От легкой тяжести черной кудлатой головы, пахнувшей дымом костра и духами, колени затекают и сладостно немеют.

— Какая сегодня необычайно яркая луна! Словно ее кто вычистил мелом и оттер суконкой, — качнув лод-

ку, передернула плечами Роза.— Как это у Пушкина в опере поют русалки — «Нас греет луна». Мне кажется, она действительно чуточку пригревает.

Луна! Она владела полмиром и светила и там в краткий сумеречный промежуток двух зорь белой ночи так ярко, что его до двенадцати часов продержали в канцелярии: боялись, при переводе во дворе увидят заключенные из окон. Отчего-то нездоровилось, напала какая-то слабость и сонливость. Все хотелось прилечь. Он и прилег наконец на жесткий клеенчатый диванчик, задрал ноги и просматривая комплекты журнала «Нива». Глупое занятие, но помогало убить время.

«Дорогие мои! Что бы ни было со мной, будьте так же тверды и спокойны, как я...» Это начало письма к родителям. Странно, что он позабыл и не помнит, что писал дальше. Отца он так и не видел. Славный старикан. Ведь это он окрестил сына Степаном в честь Разина и шутя говорил про него: «Вот у меня какой террорист растет». Теперь, наверно, запыет с горя горькую... Мать он видел сегодня в пять часов перед отъездом в Петропавловской крепости через решетку. По ее глазам он понял, что она все хотела, но не решалась попросить его подписать прошение на высочайшее. Что бы ни было, прошения о помиловании он не подпишет. Да, студент Николай из его рассказа был счастливей, его приговорили к двадцати годам, а не к повешению...

В полночь стало немного темней — луну затянула светлая тучка, — и его перевели в старую тюрьму, в камеру номер пять. Ее целый день спешно готовили для нового постояльца: покрасили, провели воду и электричество, а за стеной рядом поставили телефон. Свежий ли запах масляной краски подействовал так успокоительно, одурманило ли чтение пыльных комплектов журнала или опьянил свежим ветром переезд по Неве из Петропавловской в Шлиссельбургскую, но только он по приходе почти сразу же крепко уснул. Койка закачалась и поплыла, и об нее с шуршаньем зашарпали, ударяясь, лебяжьим ладожским льдины. А мать (такой она и отпечатлелась в мозгу, когда его уводили) вцепилась судорожно в решетку и провожает его жалкой, растерянной улыбкой. Бедная мама!

Чудаки! Стоило ли заново ремонтировать для него камеру, если у них кипит другая потайная работа —

поважней? В тени, в углу, за старой тюрьмой напротив окон из камеры Иоанна Антоновича, втихомолку по-воровски (громко тукать топорами запрещено) сколачивают эшафот. Скоро все будет готово: виселица, две лестницы, веревка бельевая семи аршин (с запасом — вдруг оборвется), жирно намыленная куском простого мыла, саван, гроб и мешок негашеной извести у ямы. Боже, как все это убого и просто, и ужасно в своей простоте и убожестве! Она должна быть готова ко всему, бедная мама...

— Ма-ать вашу-у-у... сворачива-ай... — кто-то надсадно орет с баржи, от скуки, чтобы не заснуть на ночной вахте или просто для прочистки осипшей от перепоя глотки.

— А-ай! — отвечает по воде откуда-то из темноты от борта другой баржи не то отклик, не то эхо.

— Да это нам кричат! — спохватился первый Кулка, хватаясь за весла.

Над головами промелькнул черный туго натянутый канат и, ослабев, шлепнулся в воду. Ушедший вперед и заворачивавший буксир предостерегающе замигал красным глазом.

— Гребите! Гребите вправо!

В двух саженях от лодки проплыла черной китовой тушей длинная, глубоко загруженная баржа.

— Нашли место, где с бабьем тешиться! Посеред реки в проране! Аль утонуть захотели? — укоризненно, но уже мирно прогудел чей-то сиплый голос от скрипучего огромного руля.

— Ну, ну, полегче! — огрызнулся Кулка, но ответить похлеще не решился из-за девиц, опасаясь вызвать новую ругань поядренных.

В город вернулись на рассвете. Сняв для предосторожности гимназическую фуражку, Коля пробирался по пустынной улице вдоль пыльных дощатых заборов, через которые свешивалась цветущая лиловая и белая сирень, как вдруг отовсюду разом как бы по взмаху невидимой световой дирижерской палочки звонко-радостно зачирикали воробьи. Это их час, воробьиный час городского рассвета! Серенькое, воробьиного цвета небо. Серые, нахохлившиеся по-воробьиному дома. Серые голые булыжники. Серая мягкая пыль для купанья. Лошадиный помет с овсяными зернами для клеванья.

Да и его серая форменная куртка тоже ведь воробьиного цвета!

Осторожно открыв ключом дверь и пробравшись тихонько, чтоб не разбудить хозяйку, в свою комнату, Коля зачем-то взглянул на себя в зеркало, висевшее на стене. И вдруг из голубой глубины его со ртутного дна отблеском лунной ночи всплыло насмешливое смуглое лицо Черной Розы в папаше крупных кудрей и вслед за ней совсем неожиданно — другое, знакомое, бледное, вытянутое лицо с длинными светло-русыми волосами. Всего на секунду, на миг, но так отчетливо ясно, что можно было бы подумать, что это галлюцинация, если бы не знать, что ведь он действительно стоял недавно на этом самом месте перед зеркалом и причесывался Колиным гребнем... Балмашев!

За стеной шаги, разговор по телефону, там собрались приехавшие ради него ночью из Петербурга важные чиновники, а он все спит и не слышит.

— А я, знаете, до отъезда успел побывать на концерте Никиша в Таврическом дворце. Чайковский... «Полет валькирий» Вагнера... Замечательно...

— Да, конечно, Никиш...

— Эшафот готов?

— Так точно, готов, ваше высокоблагородие.

— Палач здесь?

— Приведен. Ждет у лестницы.

— Ну, а он как?

— Спит у себя в камере...

— Что ж, пора. Скоро четыре часа... пойдете, господа!

Спит... Как он только может спать! И так крепко, не услышал ни шагов в коридоре, ни шелканья замка в двери. Смотрителю тюрьмы ротмистру Правоторову пришлось подойти к спящему и тряхнуть его за плечо. Приподнялся и с недоумением посмотрел на пришедших, точно на выходцев с картинок из вчерашних комплектов журнала.

Приговор... должен быть приведен в исполнение... сегодня... сейчас...

Они затем и пришли, и стоят, как истуканы, эти чиновники в форме, военные, жандармы, и с ними седенький священник с крестом... Нет, от исповеди и причастия он отказывается... Ему нужно только несколько

минут, чтобы собраться с мыслями... с последними мыслями...

Он подошел к окну и, отвернувшись, молча стал смотреть на побледневшее небо. Но оно не давало ни простора для взгляда, ни кислорода для дыхания, низкое слепое небо тяжело привалилось снаружи к чугунной решетке пятириковым мешком негашеной извести и осыпало летучей едкой рассветной пылью. Эта страшная решительная минута, он так часто мучительно о ней думал, и вот она наконец настала. А мысли, последние мысли, не собираются, а уносятся со световой быстротой в пустоту, точно их вытягивает воздушной помпой окна. И так тошнотно сосет под ложечкой... Разве покурить, взять у них папиросу, вместо причастия? Они стоят за спиной и молча напряженно ждут. Наверное, суетливо наперебой станут предлагать папиросы из серебряных портсигаров. Нет, никаких одолжений от этих чиновных палачей!

Вместо затяжки он несколько раз глубоко вдохнул свежий запах масляной краски (этот живучий запах обманывал, обещая более длительное пребывание на новом месте!) и вдруг резко обернулся, отчеканивая звонким чужим голосом, как тогда, при подаче пакета:

— Я готов...

Готовиться к экзаменам... Надо было готовиться, а он прогулял на Зеленом до утра.

Высунувшись из окна, Коля дотянулся до большого куста сирени и сорвал крупную лиловую гроздь. Загадал и сразу попал на пятилепестковое счастье.

— Пять! Значит, выдержу завтра! Вздремну до девяти, а потом засяду зубрить. Еще целый день. Наверстаю...

В звонкое воробьиное ликование вонзился надсадным злым писком, напоминая о минувшей ночи, залетевший в комнату комар. Складки подушки впитывают дымок костра — так пахли волосы Черной Розы у него на коленях. Закинув руки за голову, она смотрит на него насмешливо и загадочно улыбается. Неужели сиреневое счастье нужно ему только для того, чтобы сдать какой-то дурацкий экзамен? И не для чего больше?

Ах, если бы мне было столько лет, сколько Карлушке! Тогда бы я мог...

IX

— Что там? Парад?

— А кто их знает. Солдаты стоят, не пропускают на Немецкую.

Растянувшись цепью, солдаты в белом по-летнему стоят вольно, переминаясь и опустив ружья к ноге. Два офицера в белых кителях, лучась серебряными погонями, расхаживают в ожидании чего-то вдоль фронта. Несколько околоточных с полицейскими осаживают толпу любопытных к Липкам. Совсем как перед парадом, только войска выстроены не на площади, а поперек улицы.

— Почему не пропускают? Пожар что ли?

— Да нет, дыма не видать... сказывают, беспорядки.

— Сам видел... в аккурат при мне началось на верхнем базаре,— возбужденно рассказывает вихрастый парень босиком, но с новыми сапогами под мышкой.— Подняли красный флаг, и давай разбрасывать листки в народ. Потом запели и пошли по Александровской... У Немецкой их остановила полиция.

— Их, дяденька, всех загнали во двор Рыбкиной,— сообщает мальчишка с забора.— И меня был забрали, да я убег. Пролез под ногами...

— В холерный год вот так же стояли солдаты у собора, а потом стрелять зачали. Как бахнут! Народ повалился наземь, и я упала со страху. Лежу ни жива, ни мертва. Насилу ноги уволокла.

— Без сигнала им стрелять никак нельзя. Горнист должен сперва три раза проиграть.

— Э, батюшка, когда рожок-то заиграет, тут уж поздно будет.

— Пойдем от греха, Васильевна. А то вместо кино-вечи угодим в участок...

Угол Александровской и Немецкой тоже оцеплен войсками. Как раз когда Коля протискивался вперед, в толпе загалдели:

— Ведут... ведут...

Ухватившись за выступ карниза, Коля увидел небольшую кучку арестованных, окруженных густым конвоем, и узнал по огненно-рыжей шевелюре Красную Розу, а рядом с ней ее сестру и Кулку. Они шагали за решеткой из штыков, весело улыбаясь, как будто шли

кататься на Волгу. Когда партия поравнялась с толпой, Черная Роза подняла руку и что-то звонко выкрикнула, но слов Коля не разобрал, так как вслед за этим на толпу кинулась полиция и начала разгонять. Пришлось соскочить с карниза и отойти в сторону.

Часам к четырем войска с песнями прошли в казармы, за ними куда-то проскакали пожарные. Немецкая приняла обычный вид, и только сплошная стена гуляющих по обеим сторонам улицы, как в праздник, напоминала, что сегодня не совсем будничнй день.

Прокламации о неожиданной демонстрации 5 мая Коле достать не удалось, но он понял ее значение, когда прочел правительственное сообщение:

«26-го минувшего апреля... рассмотрено дело о Степане Валериановиче Балмашеве... Военно-окружной суд... приговорил его... по лишению всех прав состояния к смертной казни через повешение... 3-го сего мая приговор приведен в исполнение...»

Третьего мая! Значит, в ночь со второго на третье... На рассвете... Как раз когда они были на Зеленом... Когда Роза слушала соловья и прыгала через костер... когда он, вернувшись, смотрел в зеркало на стене и ему вдруг померещилось...

Ошеломляющее известие требовало какого-то немедленного, решительного ответного действия. Роза с сестрой, Кулка, они нашли выход этому чувству, пойдя на демонстрацию. Ах, если бы он узнал об ней раньше! Что ж, пусть бы исключили из гимназии!

Сам не зная зачем, Коля пошел к памятному деревянному домишке на плац-параде. Постоял перед серыми воротами, тронул кольцо калитки, через которую, пригибаясь, пролезал недавно Балмашев. Зайти бы в его каморку, но что это даст? Излишняя сентиментальность.

На пустом плацу вихрем носится ветер, поднимая то рысью, то галопом свои пыльные эскадроны, да валется, уткнувшись лицом в лебеду, пьяный. У подъезда жандармского управления стоят два рослых жандарма. Наверное, там сегодня будет богатая пожива!

Нервное возбуждение требовало какой-то разрядки, хотя бы мускульной. Коля взял однопарку и усиленно греб, сначала вдоль берега, лавируя под канатами и мостками, а потом у Исад, где бурлит бурными буграми течение у рыбных садков, взял перевал наперерез

на Зеленый. Только тут, в займище, он вдруг понял, что приехал сюда с какой-то неясной для себя самой целью. Разыскать место, где они тогда жгли костер в ту ночь? Сейчас, днем, все кажется совсем другим, не таким, как при луне, но все же ему показалось, что он отыскал песчаный бугор с остатками костра. Как будто тот самый... И тут вдруг догадался, что ищет совсем не то. Нужно разыскать место, где зимой Балмашев пристреливался в доску. Но сколько Коля ни крутился на лодке между торчащих из воды, еще не залитых песков, сколько ни лазил по ивняковым зарослям, найти то место так и не удалось. Так изменило все половодье, унесло зимнюю дорогу со льдом, затопило пески, стерло проран, соединило коренную Волгу с Тарханкой и густо замело уцелевшие песчаные бугры вместо сугробов свежей зелены.

Хотелось припомнить все по порядку от первой встречи на вокзале до последней в хибаре у плац-парада... Ах, зачем он тогда не остался и не посидел дольше, ведь Балмашев оставлял его сам...

— А в толле простона-ал...
Эх, Степа-ан... Эх, Степа-ан!
Голос пла-ачу-щи-ий и рыда-а-а-а-а...

Отроческий голос не осилил, сломался на высокой протяжной ноте, и его подмял неожиданно налетевший хор.

Из-за острова на стре-ежень,
На простор речной волны-ы!

Это запела, выплывая из-за Зеленого острова, большая компания молодежи. Несколько сцепившихся лодок, густо утыканных ветвями, несло по течению на середину реки, точно смытый разливом большой обвал с зелеными деревьями.

Неужели она? Та самая гимназистка на руле задней лодки!

Коля сбегал с обрыва и, стараясь грести помолодцеватей, погнал узкую, юлящую стерлядкой лодку наперерез раздольной песне на стрежень бурно несущегося бурого половодья...

МУЖИЦКИЙ СФИНКС

Беллетристические мемуары

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Зачем понадобилось автору идти самому и манить за собой читателя по горячечной пустыне сыпнотифозного бреда к оазисам живой действительности? Что особенного хотел сказать автор своей вещью и почему он выбрал столь странную форму разговора с читателем?

Ответ не должен быть однозначным. Пользуясь приемом бредового смещения событий в искаженной перспективе времени, автор выплескивает из глубинных тайников души до отчаяния близкие образы, давно канувшие в Лету.

И потом: кто осудит горячечного больного, если в неясном для окружающих бреду он скажет заветное, дорогое? Одни презрительно усмехнутся, другие не поймут, но, может, найдутся и такие, кому «тени далекие» проникнут в душу, разбудят любовь и печаль.

Невежды легко судят ошибки других. Однако и эти «тени» были людьми из плоти, со своими грехами и достоинствами. Не казня и не возвышая их промахи, признаем очевидное — многих из них природа щедро наградила талантом творить и страдать. И они, исповедуя личную отвагу, благородство, честность, творили и страдали. Разумеется, их достоинства измеряются аршином даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня.

Впрочем, благородство и честь понятия вневременные. Перед Яном из Гусинец или Аввакумом Петровым из села Григорова и сегодня снимают шапку.

Когда-то автор познакомил с этой книгой Анну Ахматову. Анна Андреевна сказала: «Какая это неправдоподобная правда!» Автор и героиня романа хорошо поняли друг друга. Через весь фантастический лаби-

ринт лирического повествования, через размагниченное, интеллигентское «я» автор протягивает лишь один нерв — правда названье ему. Больше того — правда автобиографическая. Если автор в чем ошибся, то это не вина его, а беда. О себе всегда трудно говорить объективно.

А. А. Фадеев прочитал роман «по поводу напечатания».

— Первая часть никак не увязывается со второй. Разнородные, разнохарактерные они какие-то, — заключил он. — Никакой связи нет между ними. Да и зачем все эти Гумилевы, Пуришкевичи, Распутины, Ахматовы?.. Нельзя это печатать! Иное дело — вторая часть, «деревенская». Свежо, со вкусом! Давай выделим в одну книгу, доработаем, и тогда с ходу пойдет!

На это предложение автор не мог согласиться. В отличие от маститого рецензента, он видит нерасторжимую связь между всеми частями книги. В том числе между богемской средой «Аполлона», петербургских литературных рестораников, «посмертной» встречи Распутина и Пуришкевича с «мирским испольтником» Семеном Палычем, его «ладанкой с зерном», заводом «Серп и молот» и разгадкой тургеневского «мужицкого сфинкса».

Как из пламени Пустоозерского сруба на столетия разнеслось: «Не себе славы ищущу, а лишь совесть крепкую держу», так и я тихо скажу: «Не блага своего, а лишь истины ради».

Не взывайте!

М. З.

I

СИНЕЕ ПАЛЬТО ВМЕСТО КРАСНОЙ СВИТКИ

Какой дьявол занес меня в этот мертвый страшный Петербург! Помню, еще в Москве, когда я стоял перед храмом Христа Спасителя («этой гигантской чернильницей», как назвал его один знакомый футурист-художник), я вдруг почувствовал неожиданную радость при мысли, что завтра после четырехлетней разлуки

слова увижу Неву, гранитные набережные, Адмиралтейство, Исаакий, Сенатскую площадь с Медным всадником... Да, радость и волнение, такие же почти (хоть и не идет это сравнение к Петербургу), как перед свиданием с любимой женщиной. А теперь, добравшись сюда, я хочу одного — уехать как можно скорей, и боюсь, что не выеду, что этому помешает какое-нибудь неожиданное препятствие.

Первым делом по приезде я отправился на Васильевский остров взять свое английское демисезонное пальто, оставленное в семнадцатом году. Пальто уцелело и хранилось в надежном месте, но я все же беспокоился. У Академии художеств я слез с трамвая и не мог удержаться, чтобы не подойти к Фиванским сфинксам. Постоял несколько минут перед ними в созерцании, загнипнотизированный их притворно слепым под каменной плевой взглядом, и зашагал дальше. Надо снестить, трамвай только до шести вечера.

У одного из домов на набережной, около водосточной трубы, я заметил небольшое рукописное объявление: «Миллион рублей тому, кто укажет...» Заинтересовавшись, я стал читать: «...где находится женщина... ушедшая вечером... в платке...» В конце адрес и подпись: Федор Сологуб. Что за ерунда! Потом вспомнил, что рассказывали в Москве. Анастасия Чеботаревская, жена Сологуба, ушла из дому и бросилась в Неву в припадке психического расстройства. Сологуб как сумасшедший бегал по всему городу и расклеивал свои объявления, не верил в ее смерть и каждый день, садясь за стол, накрывал для нее прибор. Разве сорвать на память? Нет, крепко приклеено. Нехорошая история! Совсем как у него в рассказах. И вода в Неве свинцовая, холодная, и лететь с перил моста до нее долго — сажений пять или больше.

Эти линии на Васильевском, как солдатские шеренги на смотру, и все как одна. Трудно найти дом, уже сумерки и номера не светятся. Кажется, этот, хотя номера нет: разбит. Парадная закрыта, придется искать с черной. Долго лажу по лестницам, звоню, стучу, ищу дворника и вместо дворницкой попадаю в пещеру со сталактитами испражнений. Наконец со спичками разглядел номер квартиры. Дверь открыла молодая миловидная женщина. Пахнет жареной на постном масле

картошкой. В кухне на скамейке сидит бородатый, длинноволосый, апостольского вида мужчина и тачает сапоги.

— Я так долго искал вас, — говорю я, отдавая письмо и впадая в доверчиво-фамильярный тон от радости, что сейчас получу свое пальто.

Женщина смущенно перечитывает письмо.

— Вы хотите взять пальто, которое оставил Лев Александрович?.. Но его нет... его украли.

— Как украли? — заревел я. — Но мне сам Лев Александрович говорил, что пальто цело и находится у вас. И это было неделю назад.

— Украли через три дня после его отъезда... Помогите же, Коля, я не знаю, как ему объяснить. Он не верит. Объясни хоть ты.

— Расскажи все, как было, — стойчески спокойно наставляет муж, не отрываясь от своего сапога.

И она ведет меня, оцепелого, как после известия о неожиданной смерти близкого человека, по квартире и проводит в переднюю.

— Вот здесь на вешалке висело ваше пальто, как его оставил Лев Александрович. Мы его даже не трогали. А вот здесь комната Льва Александровича. Спустя несколько дней после его отъезда у нас ночевал со своей невестой один молодой человек. Мы не могли ничего заподозрить, он явился с письмом от самого Александра Христофоровича (это глава их растяпского религиозного кружка!). У нас было холодно, нетоплено. Он попросил разрешить ему накрыться вашим пальто. Утром мы с мужем рано ушли, а когда вернулись, то дверь на парадную была открыта. Пропало пальто, покрывало, белье. Подумайте, мы сами остались совсем голые...

Все в том же бесчувственном оцепении я выслушал горестную историю моего пальто, посочувствовал их несчастью, обещал еще раз зайти и на всякий случай оставил свой адрес.

Пустынные темные коридоры улиц, мертвые, нежилые корпуса домов. Вот линия, где были Бестужевские курсы. Сколько окон здесь светилось по ночам, сколько головок девушек наклонялось у цветных абажуров ламп над лекциями! После жаркого лета, собираясь сюда в осеннем слете, сколько приносили они в полярные сумерки мрачного города и тепла, и молодости, и

задора, и смеха! А сейчас, как мертвецкие, страшны эти неосвященные дома.

Но мысль о пальто заслоняла все: синее, из лучшего английского материала, на серой подкладке, совсем не ношенное, — оно так и маячило у меня перед глазами. И еще в расчете на него я перед отъездом обменял старый отцовский чапан на два с половиной пуда ржи. Только теперь я понял, что главной целью моего приезда были не стихи, не тоска по Петербургу, а это синее, английское демисезонное пальто. Ради него я рисковал заболеть тифом, спал в нетопленных вагонах, таскал на плечах багаж, затратил последние деньги, и вот — все напрасно!

С такими мрачными мыслями тащился я, плутая по темным улицам, с конца Васильевского острова на Петроградскую сторону к Плуталовой улице.

И все же я тогда не думал, что это синее английское пальто будет для меня чем-то вроде дьявольской красной свитки, за пропажей которой последует целый ряд необыкновенных приключений и событий.

II

НОЧНОЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ

Неудачи начались уже на следующий день. Из остальных вещей, оставленных в Академии художеств, вместо нового летнего пальто и визитной пары я получил только одну визитку, да и ту без жилетки. Я даже заколебался — брать ли? Все равно, возьму, в крайнем случае, как и сюртук, продам на картузы. Зашел в «Книжный угол» и предложил свою книжечку стихов.

— Сколько у вас экземпляров?

— Двести.

— И сколько хотите?

— По три тысячи.

— Всего, значит, шестьсот? Хорошо, мы возьмем все. Вот вам сто пятьдесят, остальные сможем отдать в конце следующей недели.

— Но я хочу послезавтра ехать.

— Рад бы, но не могу никак. В середине той недели постараюсь отдать.

Нечего делать, придется остаться на неделю. Я так

и знал, что меня что-нибудь да задержит и что выбраться из Петербурга будет еще трудней, чем попасть в него. Не бросать же деньги — ведь это почти полтора пуда ржи.

Отправился в Публичную библиотеку к Лозинскому. Он вышел ко мне в енотовой шубе и валенках. Руки у него забинтованы марлей: какие-то нарывы от цинги.

В нетопленной библиотеке холодней, чем на улице. Груды старых толстых книг лежат, как кизяки, и внушают только одну мысль: о топливе.

Заговорили о последних литературных событиях, о смерти Блока, об Ахматовой, но разговор прервало появление Сологуба, пришедшего к Лозинскому по какому-то делу. От коротконогой, кувалдой приплюснутой к полу старомодной фигуры, круглого чиновничьего, аккуратно выбритого лица со старческим румянцем и ровного бесстрастного глухого голоса Сологуба веет (или мне так кажется) чем-то передоновским: объявление у водосточной трубы, накрытый прибор для покойницы и пыльной метелицей по полкам, по грудам книг завихрившаяся недотыкомка. Хоть я и встречался с ним не раз, но он меня не узнал.

— Не припомню... А что, правда у вас на Волге мертвецов едят?

— Да, было несколько случаев трупоедства. Газеты писали, — ответил я и, избегая инспекторского недоброго взгляда Сологуба, уставился на большую не то бородавку, не то родинку над белой, похожей на облезлую зубную щетку бровью. — Там сейчас тяжело жить. Целый день отчаянный стук в двери и вопли голодных, которым нечего подать...

— А мне, знаете, как-то даже и не жалко. Мы с Анастасией Николаевной сами так голодали, — стукнул слегка палкой по полу Сологуб и, отвернувшись, стал разговаривать по своему делу с Лозинским.

Я распрощался и пошел обедать на Бассейную в Дом литераторов. Какое счастье: можно погреться! В роскошной дымной зале трещит камин, полный сосновых дров. Красные зайчики пляшут в зеркалах, на золоченых рамах и лепных потолках.

Обед не плох и не дорог — со скидкой двенадцать тысяч, но никак не удержишься, возьмешь кофе или пирожное, а это лишних пять тысяч. Рядом со мной кончает обед какой-то почтенный седовласый литератор или

ученый. Он поспешно встает, накидывает на плечи мешок, очевидно с пайком, и выходит. Подавальщица из кухни испуганно бросается к столу.

— Вы не видели, куда ушел господин, что здесь обедал? Он не заплатил за обед.

— Он только что вышел.

Подавальщица опрометью кидается на улицу и через несколько минут, запыхавшись от бега, приводит почтенного ученого или литератора. Тот возмущается, призывает администрацию, кричит, что это безобразие, что он оставил деньги на столе, но в конце концов великодушно платит во второй раз.

Я молча наблюдаю эту сцену, хотя и видел, что почтенный литератор или ученый никаких денег на столе не оставлял.

Уже больше шести — опоздал на трамвай. Остаюсь и слушаю какую-то скучную лекцию. Потом в одиннадцатом часу тащусь пешком на Петроградскую сторону.

Жутко пересекать пустынное темное Марсово поле — площадь Памяти жертв революции. Будь что будет, а даром последнее пальто не отдам, и я сжимаю в кармане перочинный ножик и подстегиваю под ремень полы на случай, чтобы легче было бежать. Ни одного попутчика, ни одного прохожего! Справа чернеет и хрустит сучьями Летний сад, белея стоячими дощатыми гробами статуй. Шелестит и низкорослый кустарник, которым засадили площадь так, что она стала похожей на поле из картины Верещагина «Панихида». Вот и могилы борцов революции. Те же деревянные, кажется, а может, и каменные в начале стройки (в темноте не разберешь) мостки. И передо мной проносится величественная манифестация похорон жертв Февральской революции. Сотни тысяч в колоннах, черные бесконечные ряды, а над ними плывут алые гробы и знамена, красные, малиновые, с золотыми кистями и буквами, гремят многоголосые, сшибающиеся, как волны, десятки оркестров, и перекачивается пение революционных гимнов. Где теперь эти сотни тысяч, сколько из них остались живы? Они прошли или пройдут, как и те. И мне мерещатся парады и смотры, что развертывались когда-то на Марсовом поле: рослые гвардейцы в киверах и мундирах, усатые красавцы в сверкающих латах на горячих кровных конях, проходившие ротами и гарцевавшие эскадронами перед глазами лежащих

теперь под мраморными саркофагами в Петропавловском соборе мертвецов. Когда особенно густой туман с Невы заполняет площадь и часы с крепости бьют полночь, то можно представить, что здесь разыгрываются призрачные ночные смотры, как в балладе Жуковского.

Вдруг я вздрогнул. Мимо, чуть не сбив меня с ног, бесшумно, без фонаря и без звонка, пронесся велосипедист и свернул на Миллионную. В темноте я успел разглядеть (ясно, как днем) где-то виденное раньше, красивое, нерусское смуглое лицо и черные глаза. В появлении велосипедиста не было ничего необычного, но, когда он исчез, на меня напал ребяческий непреодолимый страх. Я бросился бежать и только тогда успокоился, когда за памятником Суворову перед мостом встретил первых прохожих.

III

У КАМИНА С АННОЙ АХМАТОВОЙ

Анна Ахматова служит библиотекаршей в Агрономическом институте, и ее собираются уволить за сокращением штата! Для меня это не менее неожиданно, как и то, что она, оставив Гумилева, стала женой горбоносого ассириолога Шилейко.

В библиотеке института тоже холодно, но не так, как в Публичной. В небольшой комнате толпится кучка мужчин и женщин, одетых по-зимнему, — очевидно, библиотекари.

— Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь Анну Андреевну Ахматову?

При этих словах из хмурой кучки библиотекарей отделяется высокая женщина и с улыбкой протягивает мне руку: Ахматова!

— Здравствуйте. Мне Лозинский сообщил вчера о вашем приезде. Очень рада вас видеть. Идемте ко мне.

Тут же, через коридор, ее комната с двумя высокими окнами, золоченым трюмо в простенке и большим камином. В комнате холодно, нет ни печи, ни даже буржуйки.

— Затопите, пожалуйста, камин и подайте нам ка-

као,— отдает Ахматова распоряжение какой-то немолодой интеллигентной женщине, вероятно ухаживающей за ней из любви к ее стихам.

Мы оба в зимних пальто усаживаемся в кресла, от дыхания идет пар, но камин вспыхивает и празднично трещит сосновыми дровами, и в руках у нас дымятся поданные на подносе фарфоровые чашечки.

Да, она осталась все той же светской хозяйкой, как и в особняке в Царском!

— Это какао мне прислали из-за границы. Получили посылки я и Сологуб, и от кого-то совсем незнакомо-го. Ну, рассказывайте о себе.

По лицу Ахматовой, освещенному при дневном свете золотистым пламенем, проходят тени.

— Последние месяцы я жила среди смертей. Погиб Коля, умер мой брат и, наконец, Блок! Не знаю, как я смогла все это пережить!..

— Говорят, вы хотите ехать за границу?

— Зачем? Что я там буду делать? Они там все сошли с ума и ничего не хотят понимать.

Она рассказывает о последнем вечере Блока в Большом драматическом театре, вспоминает о веселых и шумных собраниях «Цеха поэтов» с дешевым красным вином и молодыми стихами, о Гумилеве...

— Для меня это было так неожиданно. Вы ведь знаете, что он всегда был далек от политики. Но он продолжал поддерживать связи со старыми товарищами по полку, и они могли втянуть его в какую-нибудь историю. А что могут делать бывшие гвардейские офицеры, как не составлять заговоры? Но довольно об этом. Давайте читать стихи.

— С условием, что вы читаете первая.

— Хорошо, я прочту стихотворение о смерти Блока. Лурье написал к нему музыку, и оно скоро будет исполняться на вечере памяти Блока.

И опять, как когда-то на собраниях «Цеха», — «Звонящий голос, горький хмель души расковывает недра», и четко вырезается на белой стене строгий, дантовский женский профиль с неизменной челкой на лбу.

При чтении Ахматовой передо мной проносятся обрывки воспоминаний. Вот она в первый раз, в отсутствие Гумилева, уехавшего в Абиссинию, читает в редакции «Аполлона» свои стихи, и от волнения слегка дрожит кончик ее лакированной туфельки, а Вячеслав

Иванов ее за что-то отечески журит. Вот я везу ее «Вечер» вместе со своей «Дикой порфирой» на склад к Вольфу, и на собрании «Цеха поэтов» мы сидим с ней в нелепых лавровых венках, сплетенных Городецким...

А Смоленская сегодня именинница,
Принесли во гробе серебряном
Александра, лебедя чистого...

И мне мерещится зеленое Смоленское кладбище, и я вижу, как поднимают упавшую после похорон в рыданиях на могилу Блока Ахматову.

— Скажите, Анна Андреевна, ведь это выдумка о вашем будто бы романе с Блоком?

— Кто-то сочинил эту легенду. Я ведь почти не видела с Блоком и только недавно узнала, что он любил мои стихи...

— Простите, Анна Андреевна, нескромный вопрос. Но я уже слышал о начале вашего романа с Николаем Степановичем, и даже то, как он раз, будучи студентом Сорбонны, пытался отравиться из-за любви к вам, значит, мне можно знать и конец. Кто первый из вас решил разойтись — вы или Николай?

— Нет, это сделала я. Когда он вернулся из Парижа во время войны, я почувствовала, что мы чужие, и объявила ему, что нам надо разойтись. Он сказал только — ты свободна, делай, что хочешь, но при этом страшно побледнел, так, что даже побелели губы. И мы разошлись...

Пламя в камине замирает, чашечки с какао стынут, стихи прочитаны, в окнах синеют сумерки — пора!

Я прощаюсь с провожающей меня Ахматовой и целую у наружной двери ее узкую руку.

Как она сильно выросла! Вместо прежнего женского тщеславия у ней появились какая-то мудрость и спокойствие. Да, как ни стараются ее ополщить поклонницы и подражательницы и женолюбивые критики, она все же остается Анной Ахматовой.

Мимо Инженерного замка вышел я на площадь Лассаля, бывшую Михайловскую, но, прежде чем сесть на трамвай, мне вдруг захотелось посмотреть «Бродячую собаку». В конце второго двора нашел я знакомый заколоченный вход в подвал. Как теперь было бы жутко спуститься туда, в сырость и темноту, и постоять там одному!...

У трамвая в очереди я вдруг почувствовал некоторую неловкость. Так бывает, когда кто-нибудь особенно пристально смотрит сзади. Я обернулся: в конце очереди какой-то человек в оленьей дохе точно лорнировал меня своим немигающим стеклянным взглядом, я был как бы в фокусе расхождения его косящих глаз. Как он похож на Гумилева! То же неправильное, холодное, деланно-высокомерное лицо и серые, слегка косые глаза! Публика задвигалась, подошел вагон. Я хотел поближе при свете рассмотреть похожего на Гумилева человека, но его в вагоне не оказалось.

IV

НОЧНОЙ ВИЗИТ ДОКТОРА КУЛЬБИНА

Скверно то, что я заболеваю и, кажется, серьезно. Боюсь, не тиф ли, хотя еще нет двух недель, как я выехал. Меня лихорадит и знобит, и я никак не могу согреться. Вдобавок живу я в парадных комнатах, уже закрытых было на зиму. Хотя печку и топят, но нагреть обширное помещение невозможно, да и дрова, мокрые, просмоленные бревна и доски с разобранный осенью баржи, дают больше угара, чем тепла, Кругом мебель из красного дерева и карельской березы, золоченые зеркала, шкафы с дорогими книгами, но холод.. холод!. Иногда является безумная мысль: свалить все книги в камин и жечь, жечь, пока не станет хоть чуточку теплее. Единственное средство — это накрыться с головой одеялом, зимним пальто и согреваться своим дыханием. Улегшись так, я скоро уснул и проснулся, когда уже стемнело. Голова болела и кружилась, в висках звенело, и я с трудом добрался до выключателя и зажег электричество. Комната показалась мне завуалированной синей мглой. Сомнения нет, я угорел, хоть печь уже остыла. Эта проклятая смола нет-нет да и вспыхнет из-под золы, прямо хоть совсем не закрывай вьюшек.

Я вымываю голову под краном, выпиваю зачем-то стакан воды, окрасив ее, как красным вином, кристалликом камня гиперморганика, — средство дешевое и, говорят, предохраняет от заразы. Потом достаю «Пиковую даму» Пушкина с рисунками Бенуа. Читаю, уку-

тав ноги одеялом и пальто, но ложиться боюсь — как бы совсем не угореть. Повесть захватывает меня своей чисто петербургской фантастикой, и я несколько рассеиваюсь.

Но вот сквозь звон в ушах ясно слышится телефонный звонок. Ерунда, это звон от угара! Звонок повторяется более длительный и настойчивый, я даже вижу, как слегка подергивается трубка аппарата на письменном столе, и, чтобы окончательно убедиться в обмане слуха, подхожу к столу, снимаю трубку и говорю машинально:

— Алло!

— Здравствуйте, голубчик! — слышу я вдруг чей-то знакомый, измененный телефоном мужской голос, но такой далекий, как будто говорят по прямому проводу из Москвы. — Не узнаете, дорогой? Нехорошо, нехорошо! Или забыли, как я давал вам медицинское свидетельство для поступления добровольцем в артиллерию, когда вы хотели геройствовать по примеру Гумилева?

— Кульбин?

— Он самый, Николай Иванович Кульбин, действительный статский советник, приват-доцент Военно-медицинской академии, главный врач генерального штаба и звание превышает всех — художник-футурист.

— Но ведь вы...

— Умерли, хотите вы сказать? Ха-ха, плохо же вы, батенька, знакомы с четвертым измерением, которое воспевали. Как там у вас про Леганье-то сказано...

Тут телефон на несколько секунд прервался.

— Но вы, я слышал, заболели. Вот что, дорогой мой, я заеду посмотреть вас перед съездом в «Бродячей собаке», часиков этак около двенадцати.

Телефон опять прервался и на этот раз уже окончательно. Сколько я ни слушал, ни нажимал аппарата, вызывая станцию, — ответа не было, лишь гудел глухой шум, как от телеграфных столбов.

— Вы так можете целый день звонить и все без толку, — раздался сзади меня спокойный басистый голос хозяина квартиры матроса-подводника. — Разве вы не знаете, что после взрыва на телефонной станции все телефоны в городе не работают.

— Но мне послышался звонок и голос по телефону.

— Это у вас звон от угара. Опять чертова печка наладила смолой. А сколько мы из-за этих дров бились,

в октябре по пояс в воде разбирали баржу. Пойдемте лучше к нам на кухню чай пить.

После чая и беседы с матросом о том, как он ловко на паях с товарищами провозил на подводной лодке контрабанду из Финляндии, согрешившись, я вернулся из черной жилой половины на свою парадную — нежилую.

К двенадцати обычно все засыпают, и только изредка раздается заглушенный плач грудного ребенка. Я полураздеваюсь, так как сплю в свитере и в шерстяных носках, и залезаю под одеяло и пальто. Спать не хочется, и я опять принимаюсь за «Пиковую Даму».

По коридору слышатся чьи-то шаги, потом легкий стук в дверь — дверь наполовину открыта для тепла, только занавешена.

— Кто там? Войдите.

В комнату вошел, но так неожиданно и быстро, что я не успел даже испугаться, Кульбин. Да, покойный Николай Иванович Кульбин — я его сразу узнал, — тот же лысый череп, желтое, слегка подкрашенное румянцем, как у мумии, лицо, поношенный военный китель хаки и брюки в генеральских лампасах. Даже не постарел, только высох и пожелтел и йодоформом страшно пахнет. И болтун такой же, сразу затараторил, как на футуристическом диспуте.

— Ну, еще раз здравствуйте, батенька! Как ваше самочувствие? Небольшой жарок, пульс слегка повышенный, — рука его, щупающая мой пульс, совсем не холодная, только какая-то необычно легкая, сухая. — Дайте я вас выслушаю. Ничего, не поднимайте свитера.

Он достал слуховую трубку и, нагнувшись, быстро выслушал и выстукал меня.

— Ничего, пустячки! Маленькая повторная испанка. Денек посидите дома и попринимайте порошки. Я вам сейчас пропишу.

Он присаживается к столу, отрывает листок настольного календаря и что-то пишет.

— Ну-с, дорогой, мне некогда. До свидания! Спешу — сегодня мой доклад в «Бродячей собаке» о теории относительности и футуризме. Жаль, что вы не можете быть. Увидимся в «Собаке» или заглядывайте ко мне, от семи до двенадцати вечера. Адрес, вы помните, старый. Тогда побеседуем подробнее.

Он исчез так же быстро, как вошел, не дав мне да-

же открыть рта. Но дверная портьера при его уходе не зашевелилась, и шагов в коридоре я уже не услышал.

Только после его исчезновения начал я чувствовать страх и чем дальше, тем сильнее. Я лежал в постели при зажженном электричестве, боялся встать, пошевелиться и не спускал глаз с занавешенной двери. В таком положении находился один мой знакомый студент-медик, вернувшийся в пустую квартиру, где лежал старичок покойник, и спокойно улегшийся спать в своей комнате. Уже в постели, в темноте, почувствовал он непреодолимый страх и лежал неподвижно, боясь встать, одеться и уйти,— ему казалось, что тогда случится самое ужасное,— пока его не выручили пришедшие старушки начетчицы.

Так лежал и я в напряженном оцепенении, не ощущая времени, пока не засветало и не раздались голоса и шаги рано встающих жильцов.

V

АПТЕКА НА РУЖЕЙНОЙ

Когда я проснулся около двенадцати часов дня, все вчерашнее показалось мне бредом. Меня смутил только календарный листок на письменном столе с какими-то каббалистическими знаками, нацарапанными чернилами. Странно!

Но разве не мог я их сам начертить в бессознательном состоянии, хотя и не помню этого? Тогда откуда чернила? Чернильница давно пересохла от холода. Я хотел в досаде разорвать листок, но раздумал и, скомкав, засунул его в записную книжку.

Вечером, возвращаясь из города и увидев аптеку, я соскочил с трамвая на Ружейной площади. Аптека знакомая — я когда-то жил здесь поблизости. В окнах обычные большие стеклянные шары с таинственной разноцветной жидкостью.

Я долго ходил по тротуару, не решаясь войти,— стыдно, в каком глупом положении я окажусь, подав вместо рецепта календарный листок! Однако все же лучше несколько неловких минут, чем эта мучительная неопределенность.

В аптеке нет никого, один старичок-провизор возится в сторонке, пересыпая какие-то ядовитые банки с наклеенными черными черепами. Я нерешительно топчусь перед стойкой.

— Что вам угодно? — сухо покашливая, оглядывается на меня наконец старичок.

Вместо ответа я смущенно подаю ему календарный листок. Старичок надевает очки, томительно долго рассматривает кабалистические знаки, потом открывает толстую, похожую на Талмуд, книгу и что-то шепчет над ней, перелистывая.

— Видите ли, я потерял рецепт, — извиняюсь я, — и принес эту записку на всякий случай, проверить, не рецепт ли это, хотя и сам вижу, что это не рецепт.

Но старичок не обращает никакого внимания на мои извинения и роется в книге.

— Это стоит два рубля двадцать семь копеек и будет готово через четверть часа. Угодно подождать?

— Пожалуйста, — опешил я.

Пока готовится лекарство, я оглядываю аптеку. Меня поразило, что, несмотря на сильный холод, стекла в окнах не замерзли и старичок-провизор даже не поеживается и расхаживает в белом халате.

Дверь звякнула, и в аптеку вошла молодая нарядная дама с ворохом мелких покупок. Она что-то спрашивает, платит из золотого ридикюля и выходит, обдавая издали духами и оглянувшись на меня из стекла двери с загадочной усмешкой.

Я взял лекарство и заплатил провизору три тысячи вместо двух рублей; он посмотрел на них с недоумением, протянул их мне обратно, но я только отмахнулся и побежал вдогонку за дамой.

На улице ко мне прицепилась нищенка.

— Подай, сынок, черненького хлебца старухе...

У этих голодных нюх, как у собак, откуда она узнала, что у меня в кармане черный хлеб? Я сунул ей на ходу кусок, и старуха забормотала:

— У, кормилец ты мой... Пусть на том свете родные за упокой твоей души молятся...

Сумасшедшая баба! Что она там мелет!

Я иду в нескольких шагах за дамой и нюхом ловлю в морозном воздухе возбуждающий будуарный запах ее духов.

Удивительно, как это она, такая шикарная, прогу-

ливается на морозе в летнем костюме! Не успеваю я пожалеть дамы, как она оборачивается, меряет меня высокомерным взглядом и исчезает в подъезде большого дома перед распахнувшим ей двери швейцаром.

Я не решаюсь следовать за ней и поворачиваю обратно.

Что за чертовщина! Аптека, где я только что был, не только заперта, но и заколочена снаружи. Пораженный, я начал дергать дверь.

— Тебе чаво тут надобно? — грубо окрикнул меня мужчина в овчинном полушубке, колющий у ворот дрова.

— Мне в аптеку надо пройти...

— Кака тебе тут аптека, мотри два года уж как заколочена. Отваливай подальше. Знаем мы вас — небось, доски у двери отодрать хочешь. А еще антилигент, пинсне на нос нацепил...

VI

ПАССЕИСТИЧЕСКИЕ ПИЛЮЛИ

Кульбинские порошки оказались вовсе даже не порошками, а пилюлями — мелкими, как охотничья дробь, вроде пилюль железа, в желтом, похожем на далматский, порошок. На баночке наклейка с надписью от руки: «Пассеистические пилюли д-ра Кульбина».

Повертев склянку и понюхав, я не утерпел, чтобы не попробовать на язык одну пилюлю. Безвкусно, привкус как от металлической окиси. Лизнув, я испугался, не отравился ли, но потом успокоил себя: ведь если все, что было со мной, только галлюцинация (а в этом сомнения нет), то и эти дурацкие пилюли тоже ее еще не рассеившаяся частичка и реального вреда от них быть не может.

Придя к такому заключению, я отважно проглотил одну пилюльку. А что если я покажу баночку кому-нибудь, например хозяину-матросу, — увидит он ее или нет? Но если он даже увидит ее, то где доказательства, что мне не кажется только, будто я их ему показываю?

Все же я пошел в кухню и подсел, заведя разговор,

к хозяину, наводившему пилу, чтобы пилить к вечеру свои смоляные вонючие и мокрые балки с баржи.

— А знаете, мне вот доктор прописал лекарство — пилюли. Смотрите, какие странные, не знаю, принимать или нет?

— Плюньте вы на все пилюли, — пробасил хозяин, слегка покосясь на меня от зубьев пилы, так что я не понял, видел он мою склянку или нет. — Лучшее лекарство от простуды — это стопка чистого спирта. У меня остался сырец, автоконьяк. Давайте выпьем, пока жена не пришла. Тащите только на закуску вашу саратовскую быковину.

После нескольких стопочек автоконьяка, сильно отдававшего бензином и еще какой-то дрянью, я не удержался, чтобы не рассказать о моих галлюцинациях.

— Это от угара, — успокоил меня хозяин. — После автоконьяка еще и не то бывает. У нас в экипаже был кондуктор Злобин. Тот, как напьется, ему завсегда какая-нибудь чертовщина представляется. Раз, уже спали мы, слышим выстрелы, думали, тревога, вскочили, бежим в комендантскую. Видим, сидит наш Злобин перед пустой бутылкой и жарит из нагана в угол. Насилу остановили. Что с тобой, спрашиваем. Он и рассказывает: сижу это я, говорит, за столом и пью, чтобы не задремать. Вдруг вижу, насупротив меня стоит покойный капитан первого ранга фон Старре. Зверь был, мы его промеж себя иначе как фон Стерва и не звали. Пойдешь к нему, бывало, на берег отпрашиваться, а он над тобой издевается, юродствует: «Спрашивайся у Государя Императора», — и показывает на царский портрет. Ну портрет, известно, молчит. «Вот видишь, — говорит, — не пускает, а коли сам царь не разрешает, то я и подавно не могу». Утопили мы его в Гельсингфорсе — слышали, небось, про офицерскую школу плавания? Да, вот, значит, Злобин и рассказывает. Одет, говорит, весь с иголочки, при орденах, как бывало на царском смотру, и глядит на меня в упор, по-рачьи, красными глазами, словно вот сейчас гаркнет, сымет белую перчатку с правой руки, чтобы не замарать, и поддаст снизу кулаком в скулу, почище зубодера. Я ему, говорит, и говорю: «Хоть ты и царский холоп и сволочь, но я теперь на тебя не сержусь. Давай выпьем за советскую власть». И протягиваю ему, значит, бутылку. Он ее взял и гаркнул: «Пью за нашего покойного Государя

Императора Николая Александровича!» И хлоп всю бутылку на пол. Тут уж наш Злобин не выдержал и давай садить в него из нагана. Потешались мы тогда над его рассказом. Долго потом к нему приставали: «Скажи, как ты вместе с фон Стервой за царя пил...»

Приход хозяйки нарушил нашу беседу, и я поспешил обратиться на свою половину.

Меня мутило. Надо выйти проветриться и вообще пойти куда-нибудь вечером развлечься. Довольно одиночества и пустых холодных комнат, которые вызывают галлюцинации. Пойду на собрание «Цеха поэтов» на Почтамтскую, заночую же во Дворце искусств на Мойке.

VII

НА ПРОСПЕКТЕ 25 ОКТЯБРЯ

Из тумана, залившего бывший Невский, теперь Проспект 25 октября, выдвинулась темная колоннада Казанского собора с двумя бессменными часовыми — Кутузовым и Барклаем-де-Толли. Золотой купол растворился в сумраке, и колонны кажутся руинами какого-то античного парфенона. Внутри несколько десятков молящихся сиротливо жмутся посредине перед тускло освещенным алтарем, придавленные рушащимся со сводов мраком. У воспетой Пушкиным гробницы Кутузова молится на коленях старенький военный в обтрепанной генеральской шинели. Вот и образ Николая Угодника, памятный мне по одной темной любовной истории, связанной с Гумилевым...

Выйдя из собора, я чуть не заблудился среди колонн — до того густ стал туман ноябрьский, никотинно-желтый, трудный для дыхания. В трех шагах ничего не было видно, и я продвигался по памяти, чуть не ошупью. Прохожих почему-то не попадалось, и мне стало жутко, как пехотинцу, оставленному в волнах газовой атаки. Сзади послышалось легкое позвякивание шпор. Я остановился, но никто не прошел мимо, и позвякивание прекратилось. Странно! Неужели это звенело у меня в кармане? Но только я тронулся, звон шпор и легкие шаги послышались снова, еще отчетливей, еще ближе.

Я несколько раз, проверяя себя, останавливался и оборачивался: звон шпор и шаги замирали и раздавались снова, лишь только я начинал двигаться.

— Кто там? — окрикнул я, не выдержав и отступая к стене. — Отвечайте или я буду стрелять!

Ответа не последовало, и мой голос, заглушенный ватой тумана, прозвучал как чужой.

Постояв немного, крадучись и оглядываясь, я стал пробираться вдоль карнизов. Пройдя несколько фасадов, я приободрился: сзади никого не было. Но только я вышел на середину тротуара и ускорил шаги, снова послышалось легкое, догоняющее позвякивание шпор.

Только бы перейти поскорей через Мойку — сейчас будет Дом искусств.

У Народного, бывшего Полицейского, моста я не удержался и побежал. Дорогу мне перегородил постовой милиционер. Обрадованный, я кинулся к нему и замер в ужасе... Под изогнутым подвесным фонарем, напоминающим фонарь похоронной процессии, стоял Гумилев. Он пристально и строго смотрел на меня своими слегка разведенными вкось глазами на бледном, как гипсовая маска, лице. Я отскочил к чугунным перилам, к зубчатой черной доске и ухватился за два пробочных шара для утопающих, стараясь их отцепить, — сам не зная для чего, для того ли, чтобы броситься в воду, или чтобы защищаться ими. Гумилев, мягко звякнув шпорами, шагнул ко мне. Внутри у меня все заглодело, точно лицо мое накрыли белой маской с хлороформом, и приторно сладкий противный запах замораживает улетающее сознание. И чувствуя уже обморок, я рванул от спасательных шаров и крикнул далеким, отделившимся от тела чужим голосом, как в счете при хлороформировании:

— Николай Степанович, это ты?

Гипсовая маска его лица не покоробилась, но он протянул мне руку и сказал деревянно, глухо, отчетливо:

— Здравствуй!

От рукопожатия через перчатку в локоть мне ударил тупой штепсельный разряд электричества, а слегка прикоснувшиеся в дружеском поцелуе губы его были так плотно сжаты и сухи, что мне вспомнились стихи Ахматовой:

— Все были так уверены в твоей смерти, что даже служили по тебе панихиду. И, оказывается, ты жив. Правда, мне рассказывали...

Я торопливо говорил, боясь ужаса молчания. При моем упоминании о панихиде Гумилев поморщился, точно я сделал бестактность.

— Оставим это,— процедил он сухо,— поговорим о чем-нибудь более интересном. Ведь мы не виделись несколько лет. Ты свободен сегодня вечером? Тогда зайдем посидим в ресторане, а потом отправимся на собрание в «Аполлон». Извозчик!

Он вежливо пропустил меня сесть первым на пролетку. Из тумана навстречу нам вырастает толпа, мелькают лица, слышатся крики «ура» и трубы оркестра.

— А у Исакия что делается! — обернулся извозчик. — Вся площадь полна народу. Громят германское посольство и коней чугунных с крыши сволокли в Мойку. И чего радуются? Разве мало народу перепортят... Лихо прокатил, ваши сиятельства. Прибавить бы на чаек надо рублик.

Гумилев сунул ему серебряный рубль, и мы вошли в ярко освещенный шикарный ресторан. За столиком в зале я несколько успокоился — все же здесь светло илюдно. Гумилев вынул бутылку из серебряной кадки со льдом и разлил вино по бокалам.

— Выпьем за самое дорогое для нас!

— То есть?

— Выпьем за поэзию и за стихи! — и он чокнулся со мной звонким баккара.

Вино сухое, золотистое, и от него в меня льется беспечная веселость. Щеки Гумилева розовеют, глаза лучатся, и мне уже не кажется, что передо мною призрак. Я мучительно стараюсь припомнить, где и когда мы с ним так сидели?

— Мне о многом хотелось бы поговорить с тобой (голос у Гумилева стал мягче, не такой деревянный и глухой). Я тобой очень недоволен. Куда ты пропал как поэт после своей «Дикой порфиры»? Писать стихи для себя, бросать их или прятать — разве это идеал поэта? Так делал Лермонтов, но не Пушкин. Поэт должен

быть в центре литературных движений, на виду у всех бороться и отстаивать свою поэзию. Стихи должны быть так же действенны и влиять на читателей, как «Анчар» Пушкина на героиню «Затишья» Тургенева...

Я вдруг вспоминаю — да, да, вот так же сидели мы в июле четырнадцатого года. Я встретил его в Гостином дворе с только что купленными сапогами. Он поступил добровольцем в кавалерию, советовал идти и мне в авиацию, говорил, что и сам бы пошел, если бы у него не было с детства боязни высоты. И еще говорил уверенно, что непременно получит Георгиевский крест.

Да, на груди у него среди желтых аксельбантов и сейчас висят два солдатских Георгия.

Гумилев расплатился, и мы вышли. Нас опять везет извозчик, но на этот раз какой-то карлик, шляпа сидит у него, как у пугала, прямо на плечах, и говорит он звонко, по-мальчишески, как бы извиняясь.

— Тятеньку сегодня забрали на мобилизации, я вместо его выехал. — И неловко дергает вожами, точно играя в лошадки.

Впереди что-то светлеет и быстро надвигается, как выход из туннеля. Лошадь, пролетка, извозчик, Гумилев делаются прозрачными и исчезают, как туман. «Тра-та-та-та», — слышится дробный грохот барабанов и топот тяжелых сапог по торцовой мостовой. И залихватски-весело гремит духовой оркестр — «на последнюю пятерку». Вслед за лихо марширующими кадровыми гвардейцами, еще в штатском, не совсем уверенно попадая ногу, шагают мобилизованные запасные. «Ура-а-а!» — несется с тротуаров. Толпа подхватывает меня и выносит на Дворцовую площадь, превратившуюся в людской муравейник. В зеленовато-голубом северном небе парит ангел Александрийского столпа и быстро-быстро, чуть не цепляясь за его победный крест, скользят небольшие, легкие облачка. Гудят церковные колокола, и гулко-празднично, как в Пасхальную ночь, раскатываются над Невой холостые пушечные выстрелы с верков Петропавловской крепости. В окнах Зимнего дворца что-то белеет. По толпе, как ветер, пронесится шепот, знамена склоняются, головы обнажаются.

— Господи, господи! — всхлипывает рядом со мной бедно одетая старушка. — Вот так же и сына моего убили в японскую войну под Мухденем.

— Товарищи... братцы,— хрипло кричит взгромоздившийся на карниз здания Генерального штаба немолодой уже рабочий.— Да разве же мы знали, что германцы так... Мы тоже со всеми... за Россию, значит.

Он выпивши, лицо у него красное, синяя блуза в масляных пятнах. Наверное, он оттуда, с заводских окраин, из-за Нарвской заставы или с Выборгской стороны, где еще несколько дней назад бастовали и опрокидывали вагоны трамваев, доходившие до центра с разбитыми стеклами.

Голова его с проседью. Может быть, он был здесь уже и помнит эту же площадь перед Зимним дворцом девятого января.

Что же это, неужели прощенье и примиренье?..

Колокольный трезвон так полногласно радостен, пушечные салюты так гулко-торжественны, толпа так восторженно наэлектризована, и белые далекие призраки там, в окнах дворца, кланяются так приветливо.

— Сполайкович, Сполайкович едет!..

И хлынувшая толпа отбросила меня к стене. Из медленно пробирающегося и тревожно гудящего автомобиля мелькает шитая золотом с плюмажем треуголка и улыбающееся горбоносое лицо сербского посланника. «Живио!» — перекатывается по площади.

С красной стены Генерального штаба маячат огромные черные буквы манифеста:

«Божию милостью, Мы, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая... В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение царя с его народом и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага...»

В штукатурку над моим виском с визгом ударяет пуля. Дворцовая площадь пуста, в пасмурно-осеннем небе над Зимним дворцом колеблется буро-белый, выстиранный дождями, выцветший, когда-то ало-красный флаг Февральской революции.

С Петропавловский крепости громяют выстрелы, но в них уже не торжество, а угроза и гнев. И, как эхо, гремят в ответ орудия с Невы.

От решетки Александровского сада к Зимнему перебегают, отстреливаясь от наступающей черной, серая цепь.

— Что вы здесь стоите, гражданин! Вас могут убить.

Рядом со мной две хрупкие фигурки: молоденький юнкер, брюнет с матово-желтым лицом, и черноглазая с кудряшками у козырька женщина-доброволец. Оба падают на землю и, щелкая затворами, стреляют. С угла Невского из-за штабелей дров выбегают матросы, передний в кожаной куртке хрипло кричит, командуя, и размахивает револьвером. Вскочивший юнкер пытается воткнуть в него штык, как на учении в соломенное чучело, но падает ничком от выстрела в упор. Женщина-доброволец, путаясь в длинной шинели, неловко, по-бабьи бежит к Зимнему. Рослый белобрысый матрос с недоумением смотрит на меня светло-голубыми глазами.

— Чего ж ты копаешься с ним? Скорей кончай! — доносится хриплый окрик.

— Да они в штатском и без оружия...

— Тогда дай ему по загривку прикладом, чтобы не лез, куда не просят!

Кто-то сзади больно стучает меня по затылку, в глазах темнеет, и черные буквы царского манифеста наливаются кровью, прыгают и рассыпаются по стене световым набором:

«Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета... Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!..»

VIII

ВЕЧЕР В «АПОЛЛОНЕ»

— Что же ты неходишь? — пробуждает меня от забытья глухой оклик Гумилева.

Мы стоим в темной подворотне перед поблескивающей дверной медной дощечкой с надписью «Аполлон», во дворе же сверкает электрическими лампочками букв подъезд ресторана «Аполло».

Знакомая широкая белая с малиновым половиком лестница — сколько раз с волнением поднимался я по ней, чтобы застенчивым и неловким юношей жаться в сторонке от блестящего общества! Старые барские

комнаты уставлены ампирной мебелью из карельской березы и увешаны по стенам стилизованной графикой. Собрание уже открылось. Гумилев, раскланиваясь, звякая шпорами и целуя ручки у дам, проходит вперед, я же сажусь у дверей на первое свободное место. Ко мне подходит затаенный, расшитый золотом толстозадый лицеист и протягивает мне свою треуголку:

— Пожалуйста, выньте билетик.

Я вынимаю из лицейской треуголки, как в лотерее, маленький белый билетик, к счастью пустой, мне не придется читать стихи.

Неужели я пьян? Мною утеряно чувство перспективы, и лица и предметы то кажутся близкими, то уменьшаются и становятся далекими, как будто я попеременно смотрю с двух сторон, прямо и обратно, в стекла бинокля. Так же сдвигаются и события в искаженной перспективе времени...

Этот двухэтажный темно-красный особняк с балконом на Мойку, по соседству с тем домом, где умер Пушкин, избрал накануне войны Аполлон Мусaget для своего парнасского святилища. И как на дельфийский треножник, в папиросном дыму садился на председательское место верховный прорицатель с Таврической Вячеслав Иванов, зажигая от электрической люстры над строгим моммзеновским лицом и черным пасторским сюртуком нимб серебряно-золотых косм, и звучным медоносным тенором изрекал свой суд над поэтами, посвящая их в дионисийские таинства: a realibus ad realiora *...

Перед этим покрытым длинной скатертью столом, как перед ящиком фокусника, расхаживал, беспрестанно умывая сухим потирающим жестом руки, с горящими теософским наитием глазами, с чуть просвечивающей в каштановых волосах тонзурой, неистовый Андрей Белый и мелом на доске, цифрами и чертежами вскрывал перед пораженными слушателями механику ритма. И казалось, что поэтическая алхимия раскрыта, что теперь уже каждый поэт сможет по этим кабалистическим рецептам изготавливать чистое золото поэзии. Но Андрей Белый уже умыл сухой астральной водой руки и, не чувствуя тяготенья, со скоростью бродячей

* От реального к реальнейшему (лат.)

кометы несется к дальней звезде новой философской системы... Только что вернувшийся из Италии Блок, отчеканиваясь на стене римским профилем и курчавой бронзой коротких волос, стоя, опираясь на спинку стула, неспешно, внешне бесстрастно трубил здесь глубоким грудным великорусским голосом „Равенну“ и „Благовещение“...

Кто это там читает стихи? Неужели сам Блок?

Рожденные в года глухие...

Мы дети страшных лет России...

Заостренный, крючковатый, как у оборотня из «Страшной мести» Гоголя, нос, примятые, развившиеся, как на гипсовой маске с Пушкина, кудри, щетинистая отваливающаяся челюсть... нет, это не Блок, это только страшная фотография с мертвого Блока блазнит у меня перед глазами!..

Остановите, вагоноважатый,

Остановите скорей вагон!..

Гумилев читает спокойно, обычным своим несколько напыщенным деревянным голосом, не вставая с места, не выпуская из пальцев закуренной папиросы, но под ложечкой у меня замирает, и я крепко вклевываюсь в точеные ручки, точно подо мной не барское кресло ампир, а хрупкое сиденье рушащегося в аварии с неба самолета.

Велимир Хлебников!

Из угла угловато-неловко отделяется, ботая тяжелыми ботинками, долговязый, сутулый, небритый солдат в гимнастерке без пояса, с обстриженной под полевой номер головой. Таким я видел Хлебникова летом семнадцатого года, рядовым запасного полка из Царицына, — начальство, придя в отчаяние от его полной неспособности к военной службе, не знало, что с ним делать, и записало его «чесоточным».

— Будетлянами сделано новое великое открытие. Изобретен способ писать стихи из одних знаков препинания, — лепечет отрывисто, как телеграфный аппарат, отсчитывая слова, Велимир Хлебников.— Я сейчас прочту одно такое стихотворение... точка... тире... запятая... двоеточие... восклицательный знак... многоточие...

Прочитав свое стихотворение, Хлебников опять за-

бивается в угол, рассеянно попыхивая солдатской махоркой.

Но что это за развязный белообрый молодой человек в нелепо сшитой из церковной парчи куртке лезет непрошенно на смену Хлебникову?

Приказчик из галантерейного магазина, одевшийся с шиком под Оскара Уайльда: цилиндр, лакированные туфли, белый жениховский галстук с рубиновой булавкой — нет, не галстук, а бинт вокруг шеи. Из бокового кармана парчовой куртки он вытаскивает бритву и размахивает ею, как камертоном.

— Рекомендуюсь,— сипит он ларингитным шепотом,— редактор «Петербургского Глашатая», Игнатьев...

И, пробормотав еще несколько неразборчивых слов, захлебнувшись спазмой, сует бритву в карман и, поблуднев, хватается рукой за горло, где сквозь белую повязку проступает кровь.

Игнатьев... Игнатьев... Помнится, раз он подвез меня ночью в таксомоторе к «Бродячей собаке». Богатый купеческий сынок, эгофутурист, родители хотели его остепенить и женить, но он перед свадьбой нелепо и неожиданно покончил с собой, перерезав горло бритвой.

На середину комнаты выходит другой молодой человек, еще более развязный, с широким плоским лицом, в потертом пиджачке, без воротничка, в обшмыганных, с махрами внизу брюках.

— Василиск Гнедов — сама поэзия, читает свою гениальную поэму конца. В книге под этим заглавием пустая страница, но я все же читаю эту поэму,— выкрикивает он и вместо чтения делает кистью правой руки широкий похабный жест.

Застучали отодвигаемые кресла, все встали. Два служителя начали разносить на подносах чай и печенье. У стола Гумилев разговаривает с кем-то высоким и седым. Анненский! Старомодное, умное с седеющими усами лицо, острый взгляд, где под привычной директорской сдержанностью блуждают озорные поэтические огоньки, профессорски ровный, с капризными нотками голос, сыплющий фейерверки афоризмов. Анненский шепетилен, как мимоза, чуть задень, и весь сожмется, уйдет в себя, ведь ему все еще неловко, что он в пятьдесят лет начинающий поэт с двумя тоненькими книжечками стихов. И запрокинутая навзничь голо-

ва, в зажиме крахмального воротничка на негнущемся, точно залитом гипсом, позвоночнике, — так же прямо, не сгибаясь, спеша на ночной поезд, поднимался он на ступени Царскосельского вокзала и вдруг, не успев схватиться рукой за выключенное смертью сердце, конулся затылком о камень и неопознанный лежал в море, в сообществе подобранных на улице трупов...

— Пойдем, я познакомлю тебя с интересной женщиной.

И, взяв под руку, Гумилев повел меня в соседнюю комнату. Он все такой же, непременно в конце вечера уединится куда-нибудь в сторонку с хорошенькой женщиной-поклонницей, под предлогом чтения ей своих новых стихов!

На диване сидит молодая дама, а перед ней стоят двое военных.

— Эльга Густавовна, — знакомит меня Гумилев, почему-то не назвав фамилию.

— Очень рада, — протягивает мне дама руку в длинной по локоть черной перчатке.

Та самая незнакомка, которую я встретил в аптеке на Ружейной! От неожиданности пробормотав что-то, я, неловко ткнувшись носом, поцеловал ее руку.

— Знакомьтесь, — кивнула дама на двух своих кавалеров.

— Разве вы не узнаете меня? Мы встречались в «Цехе поэтов», — обращается ко мне военный с забинтованной головой и с боевым малиновым темляком на шашке. — Александр Александрович Конге.

— Военмор Комаров, — коротко отрекомендовался безусый блондин с гладким через всю голову пробором, в черной морской форме с кортиком.

На стене над диваном висит рисунок тушью: на повороте узкой крутой лестницы четверо мужчин в черном спускают большой закрытый гроб.

— Вам нравится blanc et noir * Валютона «Le travail pas» **? Очень выразительно, не правда ли?.. — спросила Эльга Густавовна и поднялась с дивана. — Однако, все уже расходятся. Пора и нам! Конге и вас, Михаил... (Александрович, — подсказал я) Михаил

* «Белое с черным» (фр.)

** «Трудное место» (фр.)

Александрович, мы можем подвезти на автомобиле. А вы, Николай Степанович?

Гумилев о чем-то тихо заговорил с Эльгой Густавовной, и я уловил одну только ее резкую английскую фразу, которую почему-то отнес на свой счет:

— It is useless. He is a man without aim or hope... *

Помещение «Аполлона» уже опустело. Мы выходим последними и садимся у подъезда все еще сверкающего ресторана «Аполло» в автомобиль. Гумилев, поцеловав руку Эльге Густавовне, бросил мне на прощание:

— Будь завтра в «Бродячей собаке» к двенадцати ночи.

Военмор Комаров сел за шофера, и легкий «Ройс», бесшумно сорвавшись с места, мчится с Мойки через Дворцовую площадь по Миллионной на Марсово поле к казармам лейб-гвардии Павловского полка. Конге, распрощавшись, выскакивает и скрывается в подъезде.

— Не можете ли вы догнать и передать ему эту розу, которую я обещала, но забыла ему подарить, — попросила меня с улыбкой (значение которой я понял только потом) Эльга Густавовна. — Не бойтесь, вас пропустят. Мы подождем.

Я взял из ее руки помятую, отколотую от корсажа, пахнущую духами розу и прошел мимо неподвижного часового по лестнице на второй этаж. В зале с белыми колоннами и хорами горела паникадиллом электрическая люстра, и под ней на высоких помостах стояли четыре цинковых закрытых гроба с изваяниями почетного офицерского караула. У крайнего справа гроба припала щекой к цинковому углу немолодая уже женщина в крепе — мать. Седой отец в черном сюртуке и двое детей, мальчик и девочка, с испуганными, не по-детски серьезными личиками, держат в руках зажженные восковые свечи. Старший брат Саша, на которого они смотрели с таким обожанием, недавно только приезжал с фронта и, смеясь, подбрасывал их на руках к потолку, и вот он вернулся назад, — говорят, он спрятался за чем-то в этом большом серебряном ящике. На крышке гроба — офицерская фуражка и шашка, а на длинной траурной ленте от металлического с фарфоровыми цветами венка золотится надпись: «Товарищи по

* «Это бесполезно. Он — человек без цели и надежды...» (англ.).

полку... павшему геройской смертью... подпоручику... Александру Александровичу Конге».

Как будто сердце укололось
О крылья пролетающих лет,—

вспомнились мне две строчки из стихов Конге, которые похвалил в «Цехе» Гумилев. Конге был убит на фронте летом 16-го года и привезен в запаянном гробу — здесь, в этой зале казарменной церкви, был я у него на панихиде!

Я положил розу у гроба — от прикосновения к цинку по моей руке пробежала холодная дрожь, и мне почудился проникающий и сквозь металл легкий тошнотворный душок тления.

Осторожно ступая, оглядываясь, вышел я на лестницу и выбежал мимо часового на улицу.

— Куда же вы? — окликнул меня насмешливый голос. — Разве вы не поедете с нами?

Стыдясь своего бегства, я сел назад в автомобиль, и мы мчимся по Троицкому мосту мимо особняка Кшесинской, мимо голубой бухарской мечети на Каменноостровский — проспект Красных Зорь. Дорогой мотор звенит ровным ритмическим гулом, как музыкальная шкатулка, над радиатором, поблескивая, развеивает серебряный плащ полуобнаженная женщина — фабричная марка «Ройса». Струя ночного ветра, обтекая стекло перед шофером, бьет мне в лицо, я вдыхаю запах женских духов, такой острый, волнующий в весеннем воздухе, и слышу ласковый, слегка насмешливый голос:

— Вы, наверное, устали после всех сегодняшних впечатлений и не будете иметь ничего против, если мы прокатимся на Стрелку. Не зовите меня ради бога Эльгой Густавовной, зовите, как все мои друзья, просто Эльгой...

Эльгой! — отдается во мне сладкой музыкой ее вкрадчивый голос.

Что за чертовщина! Или я пьян, или у меня кружится голова, или военмор не умеет править и того и гляди размозжит нам головы о чугунные столбы трамвая! Один раз мне даже померещилось, что столб врезался в автомобиль и пролетел через сиденье между мной и Эльгой.

— Что с вами? Или вы не любите быстрой езды?

— Нет, но мне показалось...

— Что вам показалось?

Но тут уже не показалось... Впереди у костра грелся патруль. Один из красноармейцев вышел на середину улицы и поднял руку, давая нам знак остановиться, но автомобиль с разгону налетел на него, подмял и, не убавляя хода, промчался дальше. Я невольно вскочил и оглянулся назад. Только что перееханный красноармеец продолжал невредимо стоять среди улицы, как будто сквозь него пролетела струя ветра.

— Однако я считала вас более храбрым, — рассмеялась Эльга, приблизив ко мне почти вплотную огромные, расширенные атропином ночи зрачки.

Елагин остров. Голые черные деревья скрипят под ветром с моря. Зашипев покрышками, автомобиль остановился у края узкой береговой косы. Стрелка! Хорошо здесь в белые ночи, рядом с размечтавшейся спутницей, облокотясь на гранитный барьер под охраной двух каменных львов, игриво перекатывающих лапой шары, любоваться золотым размежеванием двух зорь, вечерней и утренней, слушать щелканье соловьев с зеленых островов, смотреть, как стройно скользят по сиренево-опаловой воде, накрываясь мачтой, как девушка с теннисной ракеткой, крылатые яхты.

Но сейчас на Стрелке мрачно, пустынно и глухо. Жалобный хруст в отчаянии заломленных к беззвездному небу сучьев, утопленнический плеск голодных волн, громящих ледяные глыбы и грозящих внезапным ночным наводнением...

— Смотрите! Смотрите! — схватила меня за локоть Эльга.

Черный горизонт над Кронштадтом рассекли два скрестившихся в поединке световых клинка.

— Это прожекторы с судов или фортов...

Но Эльга, чем-то напуганная, тянет меня к автомобилю.

— Скорей! Скорей! А то будет поздно...

Обратно мы едем через Крестовский остров. Эльга отодвигается от меня и молчит, взволнованная. Вот и Плуталова улица.

— Вылезайте скорей и до свиданья! Увидимся завтра в «Бродячей собаке». Возьмите монету, иначе вас не пропустят...

Эльга сует мне золотой пятирублевик, и «Ройс» исчезает за углом.

Уже светает. Железные ворота у дома, обычно открытые и ночью, заперты. На мой стук, громыхая цепью, отпирает незнакомый бородастый, похожий на мясника, дворник. Загородив проход, он подозрительно нехорошо смотрит на меня и держит в правой руке под тулупом колун. Не вступая в подворотню, я отдал ему Эльгин золотой.

— Проходи, проходи скорей, барин, от греха...

Боком прошмыгнул я мимо. Откуда-то из квартиры запел петух. Оглянувшись, я увидел, что ворота распахнуты настежь и дворника при них уже нет.

IX

A MAN WITHOUT AIM OR HOPE *

Почему мне врезалась так в память эта английская фраза, что я ощущаю ее почти физически, как ожог от хлыста или пощечину? Что, собственно, это значит порусски? Человек без цели и надежды, то есть не имеющий никакой цели в жизни и никаких надежд на будущее. Неужели я стал таким? Тогда нет ничего сверхъестественного и непонятного в том, что неуправляемое волей и разумом мое темное подсознательное «я» пропускает через освещенный экран сознания бессвязные смонтированные памятью фантастические по своей пуганице обрывки фильмов...

А ну их к черту, все эти страшные мысли! Так можно дойти до того, что пустишь себе пулю в висок или увидишь себя раздвоенным не только внутренне, но и внешне, увидишь своего двойника здесь же, наедине с собой в комнате, как в большом зеркале, но только не имитирующего, а делающего свои собственные независимые движения. Несомненно, я болен. Разве обратиться к психиатру? А вдруг он засадит меня в психиатрическую лечебницу. Нет, уж лучше добратся домой. Может быть, психиатрия тут и ни при чем. Просто это последствия тифа или паратифа, который я переносу

* Человек без цели и надежды (англ.).

на ногах. Нужно только поскорей выбраться из этого мертвого города, из этой холодной угарной квартиры. Отправляюсь сегодня же за пропуском на обратный проезд. И еще — надо уничтожить эти проклятые кульбинские пилюли. Легко сказать — уничтожить! Как можно уничтожить то, что в действительности не существует и только мерещится больному воображению. Все-таки попробую, может, что и выйдет.

Перед тем как зайти за пропуском, я сделал крюк с бывшей Дворцовой, теперь площади Урицкого, к Неве и, выбрав место, где не было льда, бросил склянку в темную воду.

Я видел ясно, как склянка погрузилась в полынью, и с радостью прощупал пустой карман. Теперь только больше не вспоминать о ней и скорей, скорей за разрешением.

В здании бывшего министерства иностранных дел, теперь отдела управления Исполкома, разрешения на выезд выдавал суровый с виду, чернобородый рабочий. Передо мною он наотрез отказал студенту сельскохозяйственного института и сокращенной со службы девице, желавшей поехать в Баку к родственникам.

— Никак не могу, товарищ. Сейчас нет каникул, и мы не можем потакать вашему институту, чтобы он давал студентам фиктивные отпуска по болезни для поездок за продуктами... И вам тоже не могу. Пусть бакинская биржа труда вызовет вас как безработную на место... Следующий! Ваши бумаги, товарищ...

Боясь отказа, я протянул свои документы.

Он внимательно их просмотрел.

— Возвращаетесь из командировки? Лито — что это за учреждение такое? Литературный отдел. Так. Мандаты в порядке. Приходите завтра в десять утра, получите разрешение...

Я сразу повеселел. Зашел на городскую станцию справиться, как достать билет. Город уже не казался мне таким мрачным. Даже погода разгулялась, и в зимнем, мгlistом небе блеснуло ртутное солнце.

На набережной, неподалеку от того места, где я выбросил склянку, ко мне подошел смуглый молодой человек в синем демисезонном пальто и попросил дать ему прикурить. Подозрительно поглядывая на его пальто (уж очень оно похоже на мое украденное!),

я рассеянно полез в карман за зажигалкой и вытащил вместо нее кульбинскую склянку.

— Делать нечего. Извиняюсь за беспокойство, — развязно раскланялся молодой человек, нехорошо как-то рассмеявшись, словно подходил он вовсе не за огнем, а за тем, чтобы показать мне опять эти проклятые пилюли.

Веселость моя улетучилась, и я опять начал чувствовать смутное растущее беспокойство. Добравшись домой, я стал укладывать вещи и собираться к отъезду, потом пошел в кухню пить чай к хозяину-матросу. Никакой мысли о том, что я куда-нибудь выйду вечером, у меня не было, и я собирался уже лечь спать, как вдруг неожиданно для самого себя в половине двенадцатого оделся и, крадучись, потихоньку вышел на улицу. Меня знобило до дрожи, до лязга зубов, но не от страха, скорей это был какой-то сладострастный озноб развратника, отправляющегося распутничать. И только где-то в глубине сознания горели страшные слова: *A man without aim or hope!*

Х

ПРОКАТНЫЙ ВЕЛОСИПЕД С МАРСОВА ПОЛЯ

Трамвайная остановка на углу Каменноостровского и Большого не освещена и безлюдна. На другой стороне, врезаясь башенным фасадом в полукруг площади, жутко чернеет неостекленными пробоинами окон и воровски распахнутыми в ночь балконными дверями заброшенный пятиэтажный дом. На остальных четырех углах окна кое-где светятся, но так же редко, как и зажженные через два-три по линии панелей газовые фонари.

Собственно, чего я жду? Ведь трамвайное движение прекращается в шесть вечера, а теперь скоро двенадцать. Все равно в «Бродячую собаку» вовремя мне не попасть, не лучше ли вернуться, улечься спать, а завтра утром выехать в Москву.

Со стороны Новой Деревни послышался отдаленный гул и заблестели слабые зарницы. Ночной рабочий вагон, исправляющий повреждения, — разъездной электрический эшафот с вышкой, откуда двое монтеров

бесстрашно сыплют из-под гуттаперчевых рукавиц зеленый и синий фейерверк. На прицепе — обыкновенный пассажирский вагон, только без освещения. Увидев, что на задней площадке решетка не задвинута, я вскочил на подножку. Медленно, изредка останавливаясь для починки проводов, катилась электрическая гильотина по безлюдной улице Красных Зорь на площадь Жертв Революции.

Около трибун копошились не то землекопы, не то плотники. Стоявший неподалеку броневик, борясь с черным пожаром ночи, выбрасывал насосом из шланга мощный поток света. Попав под ослепительную струю, я зажмурил глаза и отвернулся. Прожектор перекинулся по сухостою Летнего сада и болотцу Лебяжьего канала и заиграл фиолетовым зайчиком по стенам Инженерного замка.

Около задней площадки, почти касаясь педалью подножки, мчался вынырнувший из-под прожектора велосипедист, тот самый, который недавно испугал меня ночью на Марсовом поле. Он слегка кивнул мне головой и, обогнав, скрылся впереди.

На углу Инженерной я спрыгнул с подножки; несмотря на тихий ход, меня так отшвырнуло в сторону, что я растянулся на четвереньки. С тупой болью в коленках и кистях рук поднялся я с мостовой и побрел к «Бродячей собаке».

Деревянная щитообразная дверь забита снаружи гвоздями, но распахнулась от первого же моего толчка. Медленно, пересчитывая зачем-то ступени (четырнадцать!), спустился я по деревянной лестнице в освещенную электричеством раздевальню, где в ожидании ночного съезда гостей торчали пустые, тесно уставленные вешалки с номерками. У прислоненного к стенке под зеркалом велосипеда возился на корточках смуглый молодой человек в кожаной куртке и фуражке офицерского образца. Велосипедист с Марсова поля.

— А, это вы, — обернулся он ко мне, продолжая накачивать шину. — Николай Степанович уже ждет вас.

Он говорит со мной, как со старым знакомым, — где видел я его раньше, до встречи на Марсовом поле?

Подвал «Бродячей собаки» выглядел как обычно в 12 часов ночи перед съездом. На столиках, накрытых скатертями, стояли цветы: гортензии и гиацинты. На стойке у входа, как Евангелие на аналое, лежала рас-

крытая толстая книга для автографов посетителей. Сколько известных имен, не только русских, но и иностранных, занесено в этот синодик: Верхарн, Поль Фор, Маринетти... У затопленного камина, протянув к огню ноги в офицерских сапогах со шпорами, сидел Гумилев.

— Присаживайся,— пригласил он меня, не меняя позы.— Я уже думал, что ты не явишься. Наливай себе вина.

Гумилев молча курит и задумчиво смотрит на пламя. Несмотря на жар из камина и выпитое вино, меня пронизывают сырость и озноб. На стенах яркой клеевой краской рябит знакомая роспись: жидконогий господинчик Кульбина сладострастно извивается плашмя на животе с задранной кверху штиблетой, подглядывая за узкотазыми плоскогрудыми купальщицами; среди груды тропических плодов и фруктов полулежит, небрежно бросив на золотой живот цветную прозрачную ткань, нагая пышнотелая судейкинская красавица. На лавке дремлет, свернувшись калачиком, подобранный где-то на улице живой символ «Бродячей собаки» — лохматая белая дворняжка, с которой гостеприимный, никогда не знающий ночного сна распорядитель кабаре, артист без ангажемента Борис Пронин, выпроводив последних гостей, совершает обычно свою раннюю утреннюю прогулку, чтобы потом завалиться, иногда тут же в подвале, спать до вечера. На эстраде в окружении пюпитров для нот стоит драгоценный эбеновый ящик рояля, готовый распахнуть свои звуковые сокровища при первом же магическом прикосновении длинных виртуозных пальцев. Кажется, что вот-вот затхлый, отдающий застоялым ревматизмом прачек воздух подвала (раньше здесь была прачечная) дрогнет от всхлипа виолончели или выкрика читающего свои стихи поэта.

Черт возьми! Да здесь все по-прежнему, как будто я снова пришел сюда юношей. О, если бы можно было останавливать и переводить по черному циферблату лет золотые стрелки жизни так же легко, как стрелки карманных часов!

— Ты нам нужен,— прерывает мои воспоминания Гумилев,— но сначала для испытания мы хотим дать тебе одно ответственное и рискованное поручение. Оно потребует от тебя большой смелости и выдержки. Надеюсь, ты успешно выполнишь его и оправдаешь наше доверие. Леонид Акимович поможет тебе...

Велосипедист в кожаной куртке дружески протянул мне руку и многозначительно сказал:

— Мы с вами раньше здесь встречались, хотя и не были знакомы. Я — Каннегисер.

Каннегисер!.. Красивый черноволосый, смуглый, как араб, юноша поэт, которого я раза два видел здесь в «Бродячей собаке». Неужели это он? Потертая кожаная куртка вместо шикарной визитки с платочком в кармашке, зеленые галифе с обмотками и неуклюжие солдатские ботинки вместо английских брюк в полоску и лакированных ботинок. Свалявшиеся под фуражкой смоляные волосы вместо тщательно прилизанного пробора, огрубевшее обветренное лицо и казарменная выправка с остатками прежних лощеных манер. Каннегисер... с чем еще (я никак не могу вспомнить с чем) связано это имя?

Каннегисер сел за столик и, чокнувшись, залпом выпил стакан красного вина. Он казался чем-то обеспокоенным и часто прощупывал оттопыренный карман. В каморке за эстрадой из помещения дирекции зазвонил телефон. Гумилев вышел, потом вернулся и сообщил:

— Звонила Эльга Густавовна. Она просила передать тебе привет и желает успеха. Однако пора, скоро девять часов.

Неужели уже утро? Мне казалось, что со времени моего прихода прошло не более получаса. Впрочем, чем скорее я выберусь отсюда, тем лучше.

— Хорошо ли ты едешь на велосипеде? — спросил Гумилев. — Ведь это будет вроде гонки, только не по треку, а по улице. Леонид Акимович даст тебе все необходимые указания.

Мы чокнулись и выпили в последний раз за успех неизвестного возложенного на меня поручения. Каннегисер дал мне надеть свою кожаную куртку и фуражку, потом вручил мне заряженный револьвер Кольта и запасные пули.

— Револьвер бьет хорошо, нужно только сильнее нажимать курок. Велосипед я взял напрокат на Марсовом поле, — вот вам на всякий случай и квитанция на залог в 500 рублей. Вам придется развить максимальную скорость. Передача большая, но цепь немного попорчена. В вашем распоряжении будет две-три минуты во время паники. Не теряйте ни секунды и катите пря-

мо к дому № 17 на Миллионной. Велосипед бросьте в подворотне. Двор проходной, разделен на три части. Вот тут прачечная... Потом второй дворик... Перед третьим в левом углу темный коридорчик... Вы выйдете через него в парадный подъезд и оттуда прямо на набережную Невы. Там я вас встречу. Только не запутайтесь и не ошибитесь, как я... Смотрите, вот вам план двора...

Я рассеянно смотрел на то, что чертил на клочке бумаги химическим карандашом Каннегисер. Почему же они не считают нужным сообщить мне самое главное: в чем заключается само поручение. Что ж, так лучше. Я тоже не стану выпытывать, а просто сяду на велосипед и поеду к себе домой на Плуталову.

Мы вышли из подвала. Уже рассвело, но площадь по-ночному безлюдна.

— Садитесь,— скомандовал Каннегисер, держа велосипед за руль, как конюх под уздцы норовистую лошадь.

Я сел на велосипед. Каннегисер бегом покатыл его, придерживая за руль и седло, потом оттолкнул и выпустил, как хвост самолета, крикнув мне вдогонку:

— Не забудьте. Дом № 17 на Миллионной. Около Мошкова переулка.

Велосипед свернул влево на Инженерную и понесся вдоль канала мимо пряничного собора на месте убийства Александра II к Марсову полю. Педали вращались, как шестерни, захватывая мои ноги. Руль не поворачивался, и велосипед мчался, как вагон трамвая по невидимой колее, окончившейся только у подъезда темно-красного здания на Дворцовой площади перед Триумфальной аркой Генерального штаба. Я едва успел соскочить на тротуар, велосипед подпрыгнул и откатился к стене. Машинально вошел я в подъезд и сел на низкий подоконник направо, чего-то ожидая. Мне казалось, что я тоже двигаюсь по невидимой колее и действую, как заведенный манекен. Сквозь полуоткрытое окно виднелись руль и переднее колесо велосипеда, я мог бы даже дотронуться до него рукой. И все же я беспокоился, мне казалось, что если велосипед пропадет, то со мной случится какое-то страшное несчастье. Почему-то меня беспокоила также чугунная решетка в восемь прутьев: окно почти вровень с тротуаром и без нее так легко можно было бы выскочить на-

ружу и скрыться не велосипеде... Тесный сводчатый вестибюль старого здания царского министерства, занятого революционным комиссариатом, все еще веет насиженным столетним канцелярским покоем. Центральное место занимает большая, до потолка, кафельная печь. За ней влево виднеется темная лестница с шахтой грузной подъемной машины. Вход, чтобы не выпускать тепло, двойной, крытый, вроде беседки. Вдоль стены тянутся не скамейки, а низкие старинные лари. Солидно, не торопясь, бьют министерские часы, привыкшие годами ежедневно проверять свой ход по пушечному выстрелу с верков Петропавловской крепости.

Рослый швейцар из старых гвардейцев, еще не потерявший своей важности, в ливрее с потускневшими серебряными галунами, заботливо расправил смятый затоптанный половик. Направо от меня на ларе сидит пожилая дама в старомодной накидке и шляпе с лиловыми цветами и испуганно смотрит на меня вытаращенным глазом — другой, правый, закрыт у нее черной повязкой. Швейцар попросил ее привстать, открыл ларь и засунул туда щетки, посмотрел на меня, как бы собираясь что-то спросить, но ничего не сказал и отошел к двери. Часы показывали без пяти минут одиннадцать. К подъезду подкатил автомобиль.

— Давай подъемную машину! Товарищ Урицкий приехали! — крикнул кому-то вверх швейцар и распахнул двери.

Я вскочил с подоконника. Мимо меня быстро прошел невысокий бритый человек в пенсне, в серой фетровой шляпе и летнем пальто. Опережая его, швейцар пробежал в простенок за печью, к лифту. Вдруг над правым ухом у меня грянул оглушительный выстрел: чья-то чужая рука сзади выхватила у меня из кармана револьвер и, выстрелив, сунула его обратно.

В трех шагах от меня, у стены, ничком на каменном полу неподвижно лежал человек, только что подъехавший на автомобиле. Обращенный ко мне правый глаз его кровоточил, как вскрывшийся чирий. В фиолетово-алой лужице в выбоине широкой плиты блестело осколком разбитое пенсне на цепочке, рядом валялись портфель и шляпа. Пожилая дама в накидке металась и визжала, закрывая руками повязанный глаз. Швейцар, несколько секунд, так же, как и я, неподвижно стоявший около убитого, вдруг закричал и побежал вверх

по лестнице. Со второго этажа заботали по ступеням тяжелые сапоги. Я выбежал наружу и вскочил на велосипед. Шофер, возившийся у автомобиля и за шумом мотора не слышавший выстрела, не обратил на меня внимания. Велосипед понесся наперерез через площадь к Неве. Около Зимнего дворца, на повороте, я оглянулся: у автомобиля суетились люди, готовилась погоня.

Резко, как пастушеский кнут на выгоне, хлестнул выстрел из винтовки: стреляли или в меня, или вверх, давая предупреждение остановиться. Я еще ниже нагнулся к рулю и налег на педали. На Миллионной велосипед понесся быстрее по торцам и перелетел по горбтому булыжному мосту через Зимнюю канавку. Ветер свистел у меня в ушах, и сердце колотилось учащенно и гулко, как подвесной двигатель к велосипеду. Сзади заревел автомобильный гудок. Прячась от обстрела, я старался держаться почти вплотную к тротуару левой стороны. Только бы успеть добраться до дома № 17... Но как разглядеть номер при такой гонке... Если же замедлить ход, то все пропало... Но велосипед сам свернул на тротуар и проскочил в открытую подворотню. Я бросил его в закоулке у водосточной трубы и побежал, забыв про все наставления Каннегисера, на черную лестницу направо. Поскорей сбросить с себя эту проклятую кожаную куртку убийцы и его офицерскую фуражку, тяжелую, как стальной шлем!

— Что вы наделали? — нагнал меня Каннегисер. — Ведь я же вам объяснял, что двор проходной. Вы повторили мою ошибку. Вот ваше пальто и шапка. Скорее переодевайтесь... Мы еще успеем выйти на Неву... Ах, черт, они уже на дворе...

Сквозь пыльное, закрытое по-зимнему двойное окно площадки я увидел во дворе двух красноармейцев — один из них поднимал брошенный велосипед.

— Сюда, за мной... Мы пройдем через парадную лестницу...

Каннегисер шмыгнул в открытую кухонную дверь и, на ходу надевая в рукава захваченную с вешалки солдатскую шинель, провел меня через чью-то богато меблированную квартиру на парадную лестницу.

— Оставайтесь здесь... Вас они не тронут. Они примут меня за красноармейца. Я проскользну на улицу и скроюсь...

Каннегисер тихо сошел по лестнице, внизу загремели выстрелы. Я бросился к двери той квартиры, откуда мы только что вышли, но она оказалась закрытой. Тогда я побежал на верхнюю площадку и спрятался в углу за лифтом.

Выстрелы прекратились... А может быть, и правда меня не тронут? Ведь я тут, действительно, ни при чем. Надо только уничтожить все улики. Осматривая карманы, я нащупал склянку, вспомнил про пилюли и проглотил одну, запив накопленной слюной. На площадке внизу звякнула дверная цепочка и затараторили женские голоса.

— Голубушка, Матильда Иосифовна, скажите, что сегодня выдают по хлебным карточкам?

— Мари мне сказала, что на два дня, на субботу и воскресенье, будут выдавать по первой категории по четверти фунта хлеба и две штуки сельдей.

— А по третьей категории?

— А по третьей только две штуки сельдей.

— Ах, господи, опять эта вонючая селедка и ни кусочка хлеба!

На лестнице тихо, только слегка пахнет порохом. Я заглянул через перила в широкую, в несколько раз больше лифта, шахту. Никого. Даже женские голоса стихли. Осторожно по стене спустился я на вторую площадку. Вот и дверь, откуда мы вышли — квартира № 2 и на медной доске: «князь Меликов». Постояв, я решительно спустился вниз, к мраморному камину со старым трюмо... Однако какое у меня бледное, страшное лицо!

У подъезда в автомобиле окруженный конвоем красноармейцев с винтовками стоял Каннегисер. Он держался уверенно, спокойно, и на его смуглом, разгоряченном от бега лице сквозил румянец. Однако, когда он посмотрел на меня пустым, ничего не фиксирующим взглядом, я заметил, что он жадно, как рыба, выхваченная на берег, ловит ртом воздух.

— Давай сюда велосипед! — крикнул из автомобиля резкий голос.

Один из красноармейцев поднял на руки велосипед и вскочил с ним на подножку.

— Гороховая два, — скомандовал тот же голос, и автомобиль тронулся, протянув в воздухе голубую стартовую ленту газолинного дымка.

Меня никто не задержал, и я вышел на Марсово поле, где мне преградила дорогу толпа. Протиснувшись вперед, я взобрался на тумбу и увидел огромную площадь, всю вымощенную булыжником человеческих голов и усаженную алыми клумбами траурно-красных знамен. У деревянных трибун, где колыхались штыки и сияла медь оркестров, стоял черный катафалк с красным гробом. Над притихшей толпой, откуда-то издали, как из граммофона, доносился высокий теноровый голос.

— Кто это говорит, товарищ? — спросил я стоявшего рядом матроса с оборванной Георгиевской лентой гвардейского флотского экипажа.

— Зиновьев! — ответило мне сразу несколько голосов.

На виноградном, желто-зеленом фоне Летнего сада четко выделялась коричневая курчавая голова оратора с пухлым бритым, как у оперного артиста, подбородком. Приятный, звучный, слегка сиплый от натуги тенор нараспев выбрасывал отрывистые разреженные слова. До меня долетали только отдельные фразы:

...Вслед за убийством Урицкого было покушение на льва рабочей революции товарища Ленина... Раненый лев рабочей революции борется со смертью... Буржуазия и все, что стоит на пути рабочей революции, должно быть стерто с лица земли...

— Смерть им! — во всю глотку заорал стоявший рядом со мной матрос, и крик его тысячегласным эхом прокатился по площади.

Красный гроб на минуту всплыл над трибунами и исчез среди красных полотнищ склоненных знамен. Тугой пушечный выстрел, ударяясь о стены, прокатился по коридорам улиц. Второй... третий... Салют с верков Петропавловской крепости.

Я соскочил с тумбы. Голова у меня горела и кружилась, мне хотелось одного — поскорей выйти к Неве и намочить носовой платок, как компресс, в студеной ледяной воде.

ОТ МАДОННЫ РАФАЭЛЯ
К СИЛУЭТУ ТЕНИ НА СТЕНЕ

Тифозный психоз, раздвоение личности, шизофрения — неважно, как называется моя болезнь, — несомненно одно: она быстро прогрессирует. С каждым новым припадком галлюцинации становятся ярче, нелепей и мучительней. Если болезнь будет развиваться таким темпом, то вскоре я не буду в состоянии выехать без посторонней помощи. Последняя галлюцинация так напугала меня, что я решил немедленно уехать. Отчаяние придало мне энергию, и я в один день достал и разрешение на выезд и билет. С билетом в кармане я приободрился и повеселел. Пообедал напоследок досыта в Доме литераторов — все равно завтра еду и экономить нечего. На Литейном напротив Бассейной я заметил знакомую металлическую дощечку у подъезда: «Доктор Погорельский».

Жив ли еще этот старый чудак, ученый талмудист, доктор по нервным, внутренним и венерическим болезням, гипнотизер, автор книг о животном магнетизме, о сифилисе у древних евреев и об одной из мадонн Рафаэля, случайным обладателем которой он себя считал?

Я поднялся на второй этаж и позвонил несколько раз. Звонок ясно слышен, в квартире как будто даже играют на рояле, но мне никто не отпирает. Я уже собирался уйти, как вдруг за дверью послышался стариковский отхаркивающийся кашель и в щели за цепочкой показался сам доктор Погорельский, коротконогий плотный старичок с седыми усами и квадратной татарской головой. Он вопросительно смотрел на меня поверх очков, спущенных на кончик носа.

— Что вам угодно?

Я извинился за беспокойство и напомнил о себе.

— А, это вы. Пожалуйста, пожалуйста...

Лицо его сморщилось и изобразило подобие любезной улыбки.

— Посидите здесь минуту, я сейчас вас приму.

И, шаркая войлочными туфлями, он прошел в свой кабинет, оставив меня в большом холодном зале с мебелью в чехлах, с картинами, обернутыми в бумагу, и

с двумя занавешенными трюмо. Один только огромный рояль стоял в углу открытый, как будто на нем недавно играли. Однако черная лакированная крышка серела налетом пыли, раскрытые ноты пожелтели, как книги, долго стоявшие в витрине.

— Пожалуйста.

В углу кабинета по-прежнему стояла машина для электризации, а напротив, над кожаной кушеткой, на которую ложились для осмотра больные, и над грязным мраморным умывальником, в ведро которого старый неряха-доктор бросал гнойную вату и выливал мочу из пробирок, висела Мадонна Рафаэля. С легкой улыбкой на тонких губах она смотрела мечтательными прекрасными глазами одновременно и на зрителя и на золотокудрого младенца, прильнувшего к ее стыдливо и гордо полуоткрытой среди красной одежды девичьей груди. Сколько несчастных с язвами и гнойниками, со страшным ядом в крови ждало здесь исцеления, и над ними так же радостно сияла в петербургских сумерках символом блаженного материнства итальянская Мадонна!

— Вы пришли ко мне за советом? Вы больны, страдаете галлюцинациями?

И выцветшие старческие глаза гипнотизера-доктора испытующе хищно, чуя добычу, вклепились в меня из-под седых лохматых щеток бровей.

— Да,— растерялся я от неожиданного вопроса, так как вовсе не думал говорить о своей болезни.

— Скажите, вы не были контужены или отравлены газом на фронте? Нет... Не было ли у вас тифа? Иногда после него бывает психоз, поражение мозговых центров... Впрочем, вы всегда были неврастеником... Практикой я, к сожалению, теперь уже не занимаюсь... Но не беспокойтесь. Я вылечу вас заочным гипнотизмом. Пришлите только мне свою фотографическую карточку... Я сейчас как раз пишу большой научный труд «Психозы революции»... Вот посмотрите...

И он разложил передо мной целую серию портретов революционных деятелей и стал объяснять, как посредством колебаний золотого чувствительного маятника он учитывает излучение их магнетизма. Несомненно, старик немного тронулся. Он уже раньше, доказывая подлинность своей Мадонны Рафаэля, доходил до абсурда и прибегал к криптограммам и к качаниям золо-

того маятника. Потертое обручальное золотое кольцо, подвешенное на шелковой нитке к короткому толстому старческому пальцу, дрожало и вычерчивало какие-то эллипсы и круги над разложенными по столу портретами. Старый маньяк тут же заносил их на бумагу и измерял, как пути небесных светил в сложных астрономических вычислениях.

Рассеянно слушая его объяснения, я взглянул на Мадонну: в ее глазах и усмешке мне почудилось что-то недоброе, джокондовское.

— Извините, доктор, мне нужно идти.

Он не стал меня задерживать, проводил, шлепая туфлями, до передней и выпустил на лестницу, где я вздохнул свободней. На трамвае доехал я до Сенной и прошел на Вознесенский. Только тут сообразил я, что попал сюда не зря и что мне кого-то нужно. Конечно, ведь здесь где-то жил Кульбин, я у него был, и он выдал мне медицинское свидетельство для поступления вольноопределяющимся в артиллерию.

Я долго искал по памяти улицу и дом, пока в одном из этажей напротив за стеклом не мелькнул голый череп Кульбина и его поднятый иглой громоотвода указательный палец. Безотчетно повинаясь этому указанию, я вошел на лестницу и увидел на медной дощечке надпись:

Доктор медицины
Приват доцент Военно-Медицинской Академии
Николай Иванович

Кульбин

— Пожалуйте, пожалуйста, батенька. Можете не раздеваться, температура у меня достаточно прохладная, — засуетился, встречая меня в передней, Кульбин.

Сам он был одет, как и тогда ночью, в китель хаки и в синие брюки с красными лампасами и страшно пахнул йодоформом. И как и тогда, его лысый череп и желтое румяное лицо казались набальзамированными.

Кульбин провел меня в свою мастерскую и стал, суетливо разглагольствуя, показывать свои картины, в которых чувствовалась какая-то острота не то талантливого шарлатана, не то убежденного маньяка.

— Вот, дорогой, мое последнее изобретение. Живо-

пись на полированном серебре. Смотрите, как играют краски от внутреннего освещения! Вот этот мазок, совсем рубин, капля крови... Да что с вами, дорогой мой? У вас, я вижу, душа в пятки ушла. Ай, ай, нехорошо. Вы этак, пожалуй, в обморок упадете...

Кульбин пристально в упор посмотрел на меня, и в глазах его на секунду промелькнуло что-то большое, загадочное, мурашками зарябившее у меня вдоль позвоночника.

— Пора вам, батенька мой, знать, что слово «смерть» так же устарело в науке, как и в поэзии его рифма «твердь». Все эти дуалистические понятия и слова — жизнь, смерть, душа, тело — пора выбросить, как негодный хлам, и заменить новыми. Об этом я на днях буду читать публичную лекцию. Милости прошу послушать. Могу записать на афишу в число оппонентов...

И точно шулер, на глазах перекинувший карту, Кульбин увернулся от прямого ответа и впал в обычное шутовство.

— А зачем же вы, Николай Иванович, прописали мне эти проклятые пилюли, от которых я никак не могу избавиться?

— А затем, молодой человек, — вдруг рассердился Кульбин, — что это нужно для вашей же пользы. Вы больны модной интеллигентской болезнью — раздвоением личности, и, чтобы излечить вас от этого недуга, прописал я вам свои пилюли. И я вам советую, милостивый государь, слушаться меня как врача и пройти полный курс лечения. И еще также советую вам, для вашей же пользы, не задавать глупых вопросов, а лучше, пока еще ходят трамваи, отправляться домой. Ведь вы, думаю, не захотите заночевать у меня?

И опять впадая в благодушный тон, Кульбин засуетился, пожимая мне на прощанье руку и приглашая непременно принять участие в диспуте на его лекции.

Уже смеркалось, когда я, пройдя Биржевой мост, остановился на Александровском проспекте перед домом, где раньше жил. Мое окно, первое от ворот в нижнем этаже, светилось. Я хотел заглянуть внутрь, но кто-то ударил меня сзади по плечу. Вздвогнув и обернувшись, я увидел улыбающееся, бритое с бакенбардами лицо художника Георгия Нарбута.

— Айда ко мне в гости. Я теперь живу один холостяком. Угощу глуховской запеканкой.

Он подхватил меня под руку и потащил во двор соседнего дома.

Квартира Нарбута и он сам остались такими же, как накануне войны. Обои, мебель из красного дерева и карельской березы, канделябры для свечей, все до мелочей было с хохлацкой домовитостью подобрано хозяином-художником в стиле александровского ампира. Рядом стояли яркие глиняные и деревянные замысловатые кустарные игрушки, а один из столов был покрыт восточной московского изделия скатертью с желтыми павлинами на зеленом фоне.

На лежанке у жарко натопленной печки дремал большой черный кот. В комнатках было тепло и по-старинному уютно. Да и сам Нарбут с бритым лицом, с бакенбардами, с хохлатым лысеющим лбом казался выходцем с гравюр двадцатых годов.

Он достал из красного пузатого шкафчика хрустальный графин с наливкой и серебряную стопку, налил мне, но сам пить отказался.

— Не могу. Камни в печени...

Лицо его действительно желтело желчным налетом.

Потом стал показывать мне свои последние рисунки — иллюстрации к стихотворению брата «Покойник». Низенькие уютные комнатки старосветской гоголевской усадебки, куда вдруг вечером пришел с погоста покойник барин в николаевской шинели с бобровым вылезшим воротником; испуганно коробящийся на лежанке кот (тот самый, что дремал у печки); старушка барыня в тальме перед столиком со свечами, в ужасе откинувшаяся от пасьянса при виде разглаживающего бакенбарды и галантно щелкающего каблукими покойника мужа; дворовая дебелая девка, подметающая утром комнаты и выбрасывающая околыш от баринова картуза. Рисунки были сделаны тушью с сухим и жутким мастерством.

Мы стояли посреди комнаты у стола, и наши фигуры бросали горбатые тени на стену.

— Стойте, — спохватился Нарбут, — я сниму с вас силуэт. Не бойтесь, ваша тень от этого не пропадет, как у Петра Шлемиля...

Подведя меня к стене и поднеся лампу, он обвел на

месте бумаги контуры тени и быстро набросал тушью уменьшенный силуэт моего профиля.

Глуховская наливка оказалась такой густой и крепкой, что я скоро захмелел. Много и оживленно о чем-то говорил. Нарбут сидел молча у стола и расписывал какие-то украинские гербы, потом вышел со свечой проводить меня на темную лестницу.

По улице я шел, слегка покачиваясь. У фонарей несколько раз останавливался и смотрел, не пропала ли моя тень. Но тень была цела и невредима, с головой и шапкой. Все же я сожалел, что разрешил снять с себя силуэт и даже не захватил рисунка.

XII

КАРЕТА СКОРОЙ ПОМОЩИ

До отхода поезда оставалось три часа, но я уже увязал свой багаж и распростился с хозяевами, отдав им в благодарность за гостеприимство кусок быковины и восковой кружок деревенского топленого масла. Лучше подождать час-другой на вокзале. Как хорошо: через несколько минут эти нежилые холодные комнаты и все, что я в них пережил, станут только воспоминанием, а через три часа маркой тушью Колпинских труб сотрется с тусклого горизонта измучившее меня галлюцинациями мертвое петербургское марево.

Осматриваясь в последний раз, не забыто ли что-нибудь, я подошел к окну. По свежеснеговому за ночь снегу быстро катился черный крытый автомобиль: карета скорой помощи. Сквозь двойные рамы донесся пронзительный тревожный рожок. Карета остановилась у ворот, и из ее задка вылезли двое санитаров с носилками. Несчастный случай в доме, отравление газом или еще что-нибудь... Связав корзинку и узел веревкой, как носильщик, я вскинул поклажу на плечи — до трамвая придется донести самому. В коридоре шаги и стук — наверное, хозяин притащил вязанку дров. В портьеру, загораживая мне выход, просунулся по пояс невысокий человек с бородкой, в белом халате, в пенсне, вероятно, врач или лекпом; сзади него в коридоре стоят двое санитаров с носилками. Но почему же он не входит и стоит на пороге, прикрываясь портьерой,

как плащом, застегнутым зажимом пальцев? И взгляд маленьких глаз у него пристальный, неприятный, и голос резкий, петушиный...

— Где здесь пострадавший? Это вы?

— Нет,— хотел было я ответить, но почувствовал вдруг такую слабость, что спустил с плеч веревку и сел на узел с подушкой.

— Вам нехорошо? Понюхайте...

Поддерживая ладоною, он закинул назад мою голову и поднес мне к носу, неловко стукнув по зубам, темно-желтый флакон. Пронзительный, как нашатырный спирт, сладостный до тошноты, как хлороформ, запах перехватил мне дыхание, мгновенно замораживая все мускулы и нервы.

— Кладите на носилки... Осторожней... Чтобы голова не болталась...

Я слышал разговор хозяйки на кухне, крики играющих на дворе в снежки детей, хотел дать им всем знать, чтобы не позволяли уносить меня насильно, но не мог пошевелиться, не мог издать ни одного звука. На повороте крутой черной лестницы носилки накренились, и я пополз вниз, но кто-то ухватил и удержал меня за ноги. Мне стало вдруг смешно: совсем как на рисунке Валлотона — названия я вспомнить не мог. Рас... рас... рас... * ботали по каменным ступеням шаги санитаров. Белый ровный блеск: меня вынесли на улицу, но разницы температуры я не заметил, как будто это искусственный снег из ваты и блесток. Но когда носилки подняли и, как противень в печь, стали засовывать в черный под кареты, я перепугался. Мне почему-то казалось, что я в крематории и меня сейчас задвинут для кремации. Загудел рожок, и от страшного жара я потерял сознание...

Скрежещущий гвоздем по стеклу автомобильный рожок сменился тихим рокотом рояля. Грудное меццо-сопрано поет, как лирический тенор, вполголоса, нежно. Что это за знакомая песня? Да ведь это же лермонтовское:

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

* Шаг... шаг... шаг... (фр.).

Пение оборвалось, хлопнула, отдаваясь эхом арфы, крышка над клавишами, и высокая женщина наклонилась и освежила мне одеколоном лоб и виски. Сиделка, но почему она не в белом, а в черном? Лицо ее совсем близко и длинные пальцы осторожно приподнимают мне полузакрытое веко... Эльга!

— Вы очнулись, слава Богу! Я уже думала, что вы не придете в себя.

Эльга приподняла тяжелую свинчатку моей головы вместе с подушкой и дала мне выпить рюмку душистого крепкого вина.

— Вот так... Теперь лежите смирнехонько.

Улыбаясь, она обтерла мне своим носовым платком, как слюнявочкой ребенку, губы и подбородок — половину вина, захлебнувшись, я разлил себе на грудь.

Какая странная комната. Не то приемный покой, не то гостиная. Гладкие беленые стены и потолок, электрический матовый свет, накрытый белым длинный стол посередине, кожаная черная кушетка, окна наглухо занавешены темными шторами в волнистых воланах. А в углу большой эбеновый эстрадный рояль... Мне лучше, и я могу приподняться и сесть.

— Осторожней. Не ходите и не говорите много. Садитесь лучше в кресло и слушайте музыку...

Эльга пододвинула мне английское кожаное кресло и стала играть сначала Шопена, потом Скрябина. Охваченные внезапным шквалом клавиши тревожно-гневно бились и бурлили, как будто им не хватало тех новых созвучий, которых властно требовал обезумевший композитор. Вдруг музыкальный шторм, как тревожный вопль пароходной сирены, прорезал автомобильный рожок скорой помощи. Почувствовав снова дурноту, я отдернул руку, и в ту же секунду отдернула руки от клавишей и в ужасе отскочила от рояля Эльга.

Пуля от винтовки, пробив звено, ударила в клавиатуру и расщепила одну из клавишей.

— Если вы желаете пользоваться моим гостеприимством, то должны держать себя более благоразумно. Смотрите, что вы наделали! Вы не только испортили рояль, но и чуть не сделали меня беспалой...

И Эльга подняла свою левую руку: длинный розовый полированный ноготь мизинца обломался и слегка кровоточит.

XIII

П. Б. О.

— Все твои возражения неубедительны. Конечно, я не хочу преждевременно вводить тебя активным членом в П. Б. О., но ты должен ознакомиться с нашими целями и задачами...

Гумилев говорит медленно, делая небольшие цезуры пауз, отчеканивая глухим торжественным голосом каждое слово. Серые косые глаза его, как у портрета, смотрят куда-то мимо, в сторону, но все время держат меня в поле своего неуловимого взгляда. Я виновато и смущенно слушаю, как начинающий поэт, принесший ему стихи на строгий высокомерный суд в редакцию «Аполлона». Неторопливо вынимает он из кармана золотой портсигар и, постукав по крышке папиросой, закуривает. В табачном дыму мизинец его магически поблескивает крупным перстнем и длинным когтистым ногтем, совсем как «Помпей в плену у пиратов»:

И над морем седым и пустынным
Приподнявшись лениво на локте,
Посыпает толченым рубином
Розоватые длинные ногти...

Гумилев упрямым, и его не переспоришь, хотя он по-прежнему плохо разбирается в политике. Даже тогда, при первом знакомстве, признавая его авторитет в вопросах поэтических (недаром он еще на гимназической скамье был учеником Анненского), я поражаюсь его политической неграмотностью. За глухие стены привилегированной царскосельской гимназии не проникали революционные кружки самообразования и подпольные организации молодежи. А потом редакция «Аполлона» и лейб-гвардии Уланский Ее Величества полк. Ему бы уехать куда-нибудь в экспедицию; с Козловым в монгольские пустыни на поиски мертвого города Хара-Хото...

— Поедем на собрание. Неужели ты покинешь своего синдика?.. — шутливо закончил Гумилев, намекая, что в «Цехе поэтов» его в шутку называли синдиком.

Я стал решительно отказываться, но он, не слушая моих возражений, поднялся и взял меня под руку.

— Решено... Мы едем...

Голубой, как небо Бухары, изразец на куполе недостроенной мечети, а напротив двое чугунных матросов с затонувшего миноносца «Стерегающий», задраив за собой горловины, открывают кингстон, в дыру которого хлещет бурым металлом желтое Китайское море. На лево от моста Равенства — громоздкий несуразный дом на пустыре, бывший дворец Николая Николаевича. У развороченного гранитного борта набережной стоят на причале барки. Среди штабелей выгруженных дров у костра греется охрана с винтовками. Мы проходим через античные копыеносные с доспехами ворота и мощный двор на внутреннюю черную лестницу, где по стенам торчат чудовищные мохнатые головы беловежских зубров с серебряными пластинками, на которых выгравированы даты царских или великокняжеских охот. Во дворце пустынно и сумрачно — сквозь сплошные зеркальные окна падает отсвет уличных фонарей. Только в одной внутренней большой комнате горит неяркий электрический свет. При входе на столике, как обычно на собраниях, лежит лист бумаги для записи посетителей. Гумилев расписался первым, под тридцатым номером.

— Расписывайся и ты...

На листе уже 61 подпись. Вместо того чтобы расписаться 62-м, я только обвел пером последнюю подпись: 61. Комаров Матвей Алексеевич, военмор «Петропавловска».

Собрание похоже на заседание какого-то юридического общества. «Власть исполнительная и власть законодательная... Двухпалатная система... Государственная Дума... Иеринг... Еллинек... Профессор Муромцев... Максим Ковалевский», — бубнят над ухом знакомые слова, точно я сижу на лекции в аудитории университета.

— Это председатель комитета П. Б. О. профессор Владимир Николаевич Таганцев делает доклад о будущем государственном устройстве России. А рядом с ним полковник Шведов.

Издали я плохо разбираю лицо Таганцева, вижу только, что он молод — лет тридцати с небольшим, с русой бородкой. Голос его льется профессорски-плавно, лишь изредка в монотонный ритм его речи врываются нотки адвокатского красноречия. Я зачем-то пересчитываю собравшихся: 61 без меня, большинство ин-

теллигенты, молодежь, бывшие военные, некоторые в форме моряков, несколько женщин...

Негромкие, как в первых рядах партера, аплодисменты... Доклад окончен.

— Сейчас начнется секретная часть заседания, — шепнул мне Гумилев. — Тебе придется уйти. Ведь ты еще не принят в П. Б. О. Подожди меня в коридоре... минут двадцать, не больше...

Отлично, теперь я могу совсем уйти из этой каменной великокняжеской берлоги. После Февральской революции летом дворец был занят (из боязни, что его, как соседний особняк Кшесинской, захватят большевистские части) Управлением по сооружению железных дорог. Я здесь работал месяца два и приблизительно помню общий план. Выход на двор должен быть где-нибудь налево... Ища лестницу, я попал в какую-то комнату и наткнулся на умывальную раковину, приходившуюся мне по грудь... уборная Николая Николаевича... Здесь был кабинет одного из начальников отделов... Окна выходят на домик Петра Великого, значит, выход внизу... Другая комната — какой-то музей. В небольших аквариумах плавают губки или медузы. Нет, это не аквариумы, а большие банки со спиртом и препараты вроде гигантских вылущенных грецких орехов... Да ведь это же мозги, отпрепарированные, вынутые из черепной коробки человеческие мозги! У подъезда я видел надпись: «Институт по изучению мозга». Еще не хватало только разбить в темноте одну из банок и шлепнуться на пол на выплеснувшуюся со спиртом жирную, осклизлую массу... Слава Богу, вот и лестница с головами зубров. Стеклообразные глаза их злобно светятся. Кажется, вот-вот, встряхнув беловежскими колтунами, ледниковые быки в ярости вырвут замурованные в стены туши туловищ и ринутся разносить дворцовые загоны. На дворе меня догнал Гумилев.

— Ты здесь... А я-то тебя ищу. Все разошлись. Получили сообщение, что дворец окружают. Надо торопиться. Следуй за мной...

Мы пролезли в дыру деревянного забора и пошли напрямик через занесенный снегом пустырь. Напротив особняка Кшесинской нас остановил патруль.

— Откуда идете? Ваши документы.

— Проходи мимо. Не обращай на них внимания, — дернул меня за рукав Гумилев.

Нас пропустили, только один из красноармейцев дал мне какое-то воззвание, которое я сунул в карман.

— Не бойся. Иди тихо...

Но я, чего-то испугавшись, побежал. Сзади раздались выстрелы, и надо мной засвистели пули. Я споткнулся, что-то холодное острое пронзило мне затылок и застряло во рту, замораживая мятым леденцом язык и зубы. Я выплюнул леденец на ладонь и при свете фонаря увидел, что это пуля, блестящая, новенькая, еще не стрелянная пуля для винтовки.

— Зачем ты побежал? — упрекнул меня, догоняя, Гумилев. — Хорошо еще, что все обошлось благополучно, а то бы ты не отделался так легко.

XIV

СПИСОК 61-го

Этот мятный холодок на зубах, как оскомина. Я тщательно в два зеркала обследую рот и затылок. Сзади над мозжечком небольшое красное пятнышко вроде ожога, на одном из передних зубов щербатинка, но, может, это было у меня и прежде?

И такой же мятный сосущий холодок в груди, под сердцем. Мне все кажется, что оно вдруг остановится. Я часто щупаю пульс, не нахожу его сразу и замираю в страхе.

Но где же та бумажка, воззвание или объявление, которую дал мне один из красноармейцев? Я обыскиваю себя и наконец нахожу ее скомканную в кармане пальто.

Желто-серая, как оберточная, толстая газетная бумага со смазанным неразборчивым шрифтом:

По постановлению Петр. Губ. Чрезв. Комиссии от 24-го августа с. г. расстреляны следующие активные участники заговора в Петрограде:

1. Таганцев Владимир Николаевич, 31 г., бывш. помещик, профессор-географ. Главный руководитель Петроградской Боевой организации; поставил себе целью свержение Советской власти путем вооруженного восстания и применения тактики политического и экономического террора.

Ухтомский, б. князь, скульптор... Таганцева, б. дворянка, 26 л., замужем...

Номер за номером, фамилия за фамилией мелькают в тумане с грязного, подмоченного дождем листка. Вот он, номер 30-й:

Гумилев Николай Стапанович, 33 л., б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии изд-ва «Всемирной литературы», беспартийный, б. офицер. Участник П. Б. О., активно содействовал составлению прокламаций к.-р. содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности.

Комаров Матвей Алексеевич, 24 л., военмор Петропавловска, во время Кронштадтского восстания был комендантом ревкома... является руководителем «объединенной организации кроноряков», входившей в состав П. Б. О.

Внизу подпись: Президиум Петроградской Чрезв. Комиссии.

Какое счастье, что при входе на собрание я не расписался под номером 62, а только обвел последнюю, шестьдесят первую подпись военмора Комарова! Иначе, пожалуй...

В комнату вошла оживленная, пахнущая духами и морозом, только что вернувшаяся из поездки по городу Эльга.

— Что вы тут корпите над бумагой? Написали новые стихи?

И она наклонилась к столу через мое плечо, касаясь моей щеки завитками волос.

Но увидев заголовок списка, отпрянула, лицо ее побелело, расширенные глаза остановились, и из потемневших лиловых губ вырвался сдавленный вопль. Закрыв уши руками, она упала на диван и забилась в истерике.

— Что такое? Что... что ты с ней сделал? — закричал на меня вбежавший Гумилев.

— Бумага... у него в руке... список... в огонь... в огонь... — прорыдала судорожным хохотом Эльга.

— Брось, брось сейчас же эту бумагу в огонь!

Голос у Гумилева спокойный, но лицо его тоже побелело и губы дрожат.

Я бросил бумагу в камин. Пламя не сразу, пошипев, медленно охватывает ее и пожирает.

— Помешай кочергой!

Черный покоробленный листок рассыпается и исчезает в пламени.

Эльга сразу же успокоилась, встала с дивана и отклонила поднесенный ей Гумилевым стакан воды с валерьяновыми каплями.

— Какая я глупая! Ну разве можно было закатить истерику по всем правилам дамского искусства из-за такого пустяка!

И она с улыбкой кокетливо погрозила мне пальцем.

— Смотрите! Вы сумели меня напугать так, что я забылась и разнюнилась перед вами, как нервная институтка. Я вам этого не прощу и постараюсь отплатить тем же...

XV

СЕМЬ ЗЕРКАЛ ИЗ ЛУНА-ПАРКА

Мы сидим в гостиной, в сумерках при свете камина и пьем глинтвейн. Снаружи ветер, почти буря, шумят деревья и Нева, гремит, имитируя театральный гром, железными листами крыша. Огромные плотные массы воздуха с разбега, как прибой, ударяют о стены и окна. Пламя, давясь, жадно, торопливо гложет сосновые дрова, как голодающий кусок твердого, из размолотой коры хлеба, и с гулким уханьем летит навстречу проваливающемуся с воем в трубу ветру.

Гумилев с грустью вспоминает свои абиссинские путешествия, как он с ружьем ночью на дереве подкарауливал льва, как питался несколько дней в лесу одними неведомыми большими плодами, как бредил в палатке в приступе тропической лихорадки и видел вдали костры, слышал завывания готовящихся напасть на лагерь сомали.

Потом читает свои африканские стихи. Красноватый отблеск камина скользит по его бритой (чтобы скрыть проступающую лысину) голове и по лицу притихшей, задумавшейся Эльги. Она слушает молча, но в ее глазах, улыбке, во всей ее позе чувствуется что-то властное, хищное, напоминающее стихи Гумилева:

И тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Африка Стэнли и Ливингстона, которую с отрочества так полюбил Гумилев, что заставил о ней «шепотом говорить в небесах серафимов», — хорошо грезить о ее зное и тропических ливнях в предполярном сумраке и слякоти, но Россия, где же Россия? Не она ли, кровавою пеною знамен, хлещет по улицам и площадям, как Нева в наводнение, черными волнами манифестаций и грозит затопить, смыть все ей сопротивляющееся...

Гумилев, точно угадав мою мысль, читает стихи о войне:

Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть...
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей...

Потом о мужике, который «обворожает царицу необозримой Руси», о городе, где

Губернаторский дворец
Пышет светом в часы вечерние,
Предводителей жеребец —
Удивление всей губернии...

Но ведь это же Россия прошлого, которая никогда не воскреснет. А Россия настоящего? Как уловлять биенье ее красного сердца, чтобы не потерять, умирая заживо, ее мерного пульса в своей груди?

Эльга с нехорошей усмешкой наблюдает за мной.

— Что вы так насупились? Давайте чокнемся. От этой бури, от глинтвейна и стихов мне стало весело. Хочется шалить и проказить. Хотите быть моим компаньоном? Я покажу вам забавный фокус. Вы когда-нибудь видели зеркала в Луна-парке, которые дают уродливые и смешные искажения?

— Эльга, что за странный каприз! К чему это? — пытается остановить ее Гумилев.

— А если мне хочется подурачиться? Идемте...

Она взяла меня под руку и повела вниз по винтовой лестнице в небольшую комнату, выкрашенную белой масляной краской, с семью овальными зеркалами в размер человеческого лица. На противоположной стене висел какой-то прибор, вроде аппарата для рентгенизации.

Я заглянул в одно из зеркал, обозначенное первой буквой греческого алфавита — альфой. Оно дало

обычное, только несколько туманное отражение моего лица.

— Подождите. Я сейчас объясню вам, в чем заключается фокус. Если я из этой камеры начну пропускать через вашу голову тепловые лучи по шкале: альфа, бета, гамма и т. д., то эти семь зеркал покажут деформацию вашего лица такую же, какой оно подвергалось бы в разложении после вашей смерти. Вы слышали, что в старину вделывали иногда стеклянное окошечко в гробу над лицом покойника. Так вот, в этих зеркалах вы увидите то, что увидели бы, смотря в такое гробовое окошечко на самого себя. Это выходит очень забавно. Если хотите, я даже могу сделать фотографические снимки. Станьте вот так. Я пускаю лучи...

Несколько секунд в первом зеркале альфы отражалось мое живое лицо, потом оно изменилось в восковое, мертвенное, с открытыми стеклянными глазами. Во втором зеркале беты мое лицо выглядело уже потемневшим, с трупными пятнами.

Я не хотел продолжать опыта, но Эльга с силой, неожиданной для женщины, вцепилась мне в руку и заставила пройти через все семь зеркал, садистически любясь на отвратительную и ужасную деформацию моего лица. Эти отражения были столь страшны, что я почувствовал белый, очищенный от мяса и волос череп.

В последнем, седьмом зеркале никакого отражения уже не было, только на несколько секунд просиял и исчез световой абрис моего лица, точно рисунок, сделанный на стекле фосфором.

— Что вы так тяжело дышите? Вам нехорошо? Идемте наверх...

В гостиной Эльга подвела меня к трюмо и уличила в том, что я побледнел.

— Ну, теперь я получила реванш. Мы расквитались. Вы на себе испытали то же, что я из-за вашей проклятой бумажонки. Выпейте глинтвейну...

И, подняв бокал, она запела арию из «Травиаты»: «Нальемте, нальемте бокалы потнее и выпьем скорей за любовь...»

XVI

ЭЛЬГА

«Эльга! Эльга!..» — эти начальные слова стихотворения Гумилева не выходят у меня из головы целый день, как навязчивый мотив. Я пытаюсь сконцентрировать свои мысли на обладательнице этого древнего нормандского имени и дать себе отчет: кто же она и что она для меня?

Когда я долго думаю об Эльге, то мне кажется, что я вот-вот нападу на ее разгадку, найду конец длинного запутанного клубка, но всякий раз, как я ухватываю этот конец, он выскальзывает и теряется...

Я вижу Эльгу каждый день, подолгу гляжу на ее лицо, слушаю ее голос, но странно, как только она удаляется, у меня не фиксируется ее образ, и я не могу вызвать его в своем воображении, хотя у меня очень хорошая память на лица и я нередко узнавал через несколько лет случайно где-нибудь встретившегося раз человека: Помню, таким же неуловимым был у меня в детстве один бред. Он возникал при сильном жаре, каждый раз один и тот же, яркий, и я его узнавал маленькой вспышкой мысли, прорезывающей мрак сознания: вот он! Этот бред был бесконечен и при почти световой быстроте и разнообразии — медлителен и неизменен. Когда же он исчезал, я не только не мог вспомнить его, рассказать о нем, но даже и представить себе хотя бы приблизительно, в чем он заключался.

Как этот навязчивый бред, неуловим для меня и образ Эльги. Я не могу даже определить, каков цвет ее глаз и волос, блондинка она или брюнетка. Она, как водяная поверхность, меняет окраску от освещения и отражений. Утром в солнечные дни ее глаза кажутся прозрачно-голубыми, а волосы соломенно-золотистыми; вечером же, при электричестве, глаза ее наливаются темной водой, превращаются в одни сплошные зрачки, расширенные атропином, ее волосы окрашиваются хной. Так же изменяется и цвет ее лица, от нежно-розового до загарно-смуглого, и тембр голоса, от сопрано до контральто. Так же меняются и ритмы ее движений, очертания и линии ее тела. И однако при всех изменениях образ Эльги удивительно постоянен, неизменен, остается одним и тем же.

Мне кажется, что это происходит оттого, что образ Эльги не един, а сложен из нескольких, как спаянный из мелких крупный опал, как трюмо, искусно склеенное из осколков. И эти драгоценные осколки — мне кажется, я знаю, откуда они. В Эльге соединились в один близкие когда-то мне, обаятельные образы тех девушек и женщин, которых я любил или думал, что люблю. В ее глазах отражаются их глаза, в ее улыбке жемчужной рябью дробятся их улыбки, в ее голосе отдаются эхом их голоса, в ее движениях повторяются их движения — все сразу, все в одной, отдельные и неразделимые.

Но при всей своей обаятельности Эльга кажется мне страшной и ненавистной: она — невидимый центр, фокус, преломляющий и отбрасывающий на экран моего сознания мучительные галлюцинации и миражи.

XVII

ПАНИХИДА В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ СОБОРЕ

— Сегодня мы должны непременно отслужить панихиду. Я дала обет. Вы поедете со мной в Петропавловский собор...

Полувопрос, полуутверждение — все равно от этой поездки мне не увильнуть. Я даже не спрашиваю — по ком, почему именно в Петропавловском соборе и отчего Эльга одета совсем не по-панихидному, а разрядилась как будто в театр. Зато автомобиль в трауре: несмотря на теплую дождливую погоду, мотор закутан, как в сильный мороз, черной байкой. Комаров остается с ним на берегу Кронверкского пролива. Мы же с Эльгой по узкому деревянному мостику проходим в крепость через старые Петровские ворота, у которых грудастая, дебая, вымазанная, как дегтем, черной краской нимфа кокетливо держит в руке разбитое алебастровое зеркальце.

Собор внутри оголен и пуст, сняты все венки, ленты, знамена, пышные остатки былых императорских похорон. Вековые каменные стволы колонн вырастают золотой коринфской капителью в глубокие недра сводов, где по расписному потолку вокруг спадающего вниз хрустальным фонтаном голубого паникадила резвятся голые розовые амуры с венками и стрелами. Обнесен-

ные решеткой, одинаковые белые мраморные саркофаги с высеченными золотыми крестами и имперскими орлами на углах теснятся друг к другу точно из боязни, что не хватит места венценосным потомкам. Напрасно: более половины собора осталось навсегда незанятым.

— Иеромонах отец Антоний здесь?

— Так точно. Они у себя в алтаре.

И старичок сторож, в очках с железной оправой, с седой солдатской щетиной, покашливая, провел Эльгу к пышному барочному иконостасу, где она встала в ожидании, как причастница у резных царских врат с двумя выточенными из дерева золочеными архангелами по бокам. Из пустого алтаря просвечивает огромная икона седобородого бога Саваофа в изумрудных одеждах с зеленым, похожим на детский воздушный, шаром под рукой. От малахитового подножья отделилось темное пятно и выпрямилось в высокую фигуру. Иеромонах в шелковой рясе с золотым наперсным крестом. Оливково-матовое, нерусское, скорее греческое лицо его, окаймленное черной бородкой и вьющимися волосами, неприятно иконописной мертвенной красотой. Коричневые, блестящие, как надкрылья жуков, глаза обведены лиловым ободком.

Эльга подошла под благословенье и поцеловала его хрупкую смуглую руку. Иеромонах по-дамски шуршит шелком, пахнет ладаном и духами и при разговоре, близко наклоняясь к Эльге, шепчет что-то таинственно интимно на ухо, как интересной пациентке доктор по женским болезням.

В левом углу иконостаса горит лампадка перед иконой с изображением русобородого мужа в малиновой одежде, с мечом. На крайнем белом саркофаге у самого окна, как на столике кафе, поставлен горшок с розовато-голубой гортензией. Эльга кладет земной поклон, крестится и целует золотой крест на мраморе.

— Что это за икона?

— Апостола Павла.

— А могила чья?

— Императора Павла Петровича.

Старичок сторож разговаривает со мной строго и сухо, видимо считая зазорным такое невежество.

Иеромонах служит один, без дьякона. Звучным тенором, с деланой дрожью в голосе выкрикивает он нараспев, окая, слова панихиды, которые подхватываются

изголодавшимся по звукам эхом и гулко перекатываются, перевариваясь в каменном чреве соборных сводов.

— ...Убиенном рабе Божьем... императоре Павле...

Что за нелепая фантазия служить по нем панихиду! Впрочем, это считалось модным среди петербургского общества во время войны с Германией. Саркофаг украшался цветами, и около него непрерывно служились панихиды дежурящим в соборе духовенством по заказам великосветских и гвардейских дам.

Я туло смотрю на мраморную глыбу и вспоминаю портрет Павла: курносое красное лицо, рыжие волосы, оловянные безумные глаза и пышная со звездой мантия гроссмейстера Мальтийского ордена. Что от него там осталось? Череп на бархатной подушке в золотом ошейнике ветхого гвардейского мундира, еще топорщащегося на впалом корсете ребер, сморщенные жабрами лосинные рейтузы на обглоданных костях шенкелей, одетых в заплесневелые зеленые ботфорты...

Тяжелый удар, но не колокола, а крепостной сигнальной пушки наполнил густым протодиаконским гулом пустоту собора. Оливковые руки, благословляя, подставляют Эльге к губам золотой крест. Эльга пальцем манит приложиться и меня, но иеромонах, не дождавшись, прошуршав шелком, быстро скрылся в зеленом сумраке царских врат. Сторож задувает свечи и, покашливая, гремит тяжелой связкой соборных ключей.

— Уходить надо. Тут ведь теперь музей. Экскурсанты ходят. Нельзя панихиды служить. Вон и пушка стреляет. Должно, опять вода поднимается...

Снова выстрел с бастиона. Двухсотлетний салют — вестник наводнений. Верно, Нева поднялась сверх ординара. Золотой ангел (говорят, в нем несколько сажений, но снизу он кажется игрушечным), балансируя тяжелой ношей креста, махая крыльями, силится удержаться босыми ногами на скользком золотом шарике соборного шпика и вихляется флюгером в низко бегущих тучах.

XVIII ФЛАВИХР КУЗЬМИЧ

— Вы помните «Бобок» Достоевского из его «Дневника писателя»? Ну так вот у меня сегодня такое же настроение...

В глазах у Эльги опять бродит озорной болотный огонек, как в тот вечер, когда она показывала мне зеркала.

— Едемте в гости к Александру Александровичу Блоку.

— На Офицерскую...

— Нет, не на Офицерскую, а на о Смоленско-е...

Она лукаво растягивает по слогам последнее слово и, по-кошачьи шурясь, прижимается ко мне. Слюна во рту пересыхает, и я начинаю дрожать мелкой лихорадочной сладострастной дрожью.

С Кронверкского на Васильевский остров... Полным ходом влетает «Ройс» в раскрытые, словно для приема поздней похоронной процессии, ворота Смоленского кладбища. Из деревянной сторожки с надписью «Дежурная могильщиков» на гудок вышел здоровенный чернобородый мужик в овчинном тулупе, с слопатой (тот самый, что встретил меня ночью, как дворник, с колуном в руке у ворот на Плуталовой улице) и грубо выругался:

— Ишь куды приехали ссучиваться. Нет вам другого места что ли?

Эльга дала ему бутылку, вынутую из-под сиденья шофера. При свете фонаря в стекле плещется лиловая жидкость и чернеет ярлык: череп с двумя перекрещенными костями — яд, денатурат.

Дежурный могильщик, как слон французскую булку в хобот, быстро сглотнул бутылку в рукав тулупа.

— Проходите... Мы вас тут покудова покараулим...

Узкая мощенная плитами кладбищенская улочка, и по обеим сторонам ее обнесенные чугунными решетками, как дома-особняки, надгробные памятники. Кое-где (как будто владельцы их не спят) светятся огоньки лампад. У белеющей в сумерках церкви две старухи с корзинами торгуют иконками и бумажными цветами.

— Барин-красавчик, купи букетик для невесты.

Эльга взяла у них два пучка бессмертников и один дала мне.

— Подождите здесь. Я пойду за священником...

Старухи, закутанные в платки, сидят двумя каменными скифскими бабами по бокам крутой лестницы и тягуче, как спицами шерстяной чулок, вяжут прерванный нашим приходом разговор.

— Опился он, а не отравился...

— Вот болезнь-то была... Запомню, как называется...

— Холера?

— Ну да, холера. Свекровь и говорит: «Дай мне испить, чтой-то неможется». Я ей дала ковшик, а опосля сама испила. Она померла, а со мной хоть бы што...

— Значит, у тебе желудок лучше перерабатывает...

От сумрака и шума кладбищенских деревьев, от старушечьего разговора мне становится жутко.

— Что это за церковь?

— Тут, батюшка, два престола. Внизу Михаила Архангела, а наверху Троица...

Наконец-то Эльга! Я рад даже ей.

— Что за странность? Ни одного священника. Ну, все равно войдемте в церковь.

Крутые каменные ступени, осклизлые чугунные перила; у темной с крестом входной двери наверху белеет объявление: «Дешево снимаю покойников... Фотографирую в любую погоду...»

Посреди церкви празднично горит электрическими свечами паникадило; под ним аналой и расстеленный коврик.

Да ведь я был здесь... Флавиан, с таким цветистым именем, хромой, в пенсне, тихий, застенчивый помощник бухгалтера, страстный любитель цветов и фотографий голых женщин. В июле вечером у него на даче гостили сослуживцы, играли в карты, пили, а утром нашли хозяина в постели мертвым: умер от разрыва сердца. В этот день прошла сильная гроза, покойник сразу потемнел и так разложился, что гроб пришлось закрыть. Только здесь, в церкви, после панихиды открыли засыпанную цветами (фотографий голых женщин уже не нужно было) крышку, чтобы вложить венчик и отпускную грамоту,— и вся церковь, несмотря на раскрытые окна, наполнилась таким зловонием, что меня,

хоть я стоял далеко, затошнило. А потом, когда опускали гроб в мелкую полуторааршинную могилу (глубже рыть нельзя — вода) и насыпали холмик, то вдруг заметили (и, переглянувшись, не могли не улыбнуться), что на кресте крупными буквами-вместо Флавиана написано небывалое имя: Флавихр. Хотели сменить, но забыли, так и осталось: Флавихр Кузьмич...

Эльга взяла меня за руку и ведет на коврик, потом, постояв, надевает мне и себе на палец обручальные кольца и целует меня, как невеста. От ее поцелуя, как от анестезирующей ватки, губы мои холодеют и теряют чувствительность. По каменным ступеням гремят быстрые шаги... Комаров!

— Эльга Густавовна... скорей... кладбище заливает... наводнение!..

Слева в проходах между могилами стоит вода, но каменная дорожка еще не залита. Около автомобиля целое болото. Дежурный могильщик, шлепая по воде сапогами, открывает и запирает за нами ворота. Резиновые покрышки шумно разбрызгивают лужи.

Вдруг меня охватывает истерический припадок смеха.

— Что с вами?

Но я, захлебываясь, глотаю вихревую струю черного воздуха, обтекающего стекло перед шофером, и едва могу выговорить:

— Флавихр Кузьмич... Флавихр... вихр...

XIX

ЖЕНЩИНА С ПОДТЯЖКАМИ НА ШЕЕ

— Здесь бросали в прорубь Григория Ефимовича.

— Какого Григория Ефимовича?

— Распутина... Вон там, где светлое пятно... Видите?

Эльга показала рукой за перила туда, где гуськом переходят вброд Малую Невку, по горло в черной воде, бревенчатые сваи быков. Деревянный большой Петровский мост скрипит, как готовая сорваться с причала баржа.

— Давайте венок... Да потушите свет... Нас может увидеть милиционер из будки...

Вылупленные рачьи глаза мотора потухли. Небольшой металлический с фарфоровыми цветами венок звенит от ветра. Что они с ним будут делать? Ах, черт... В потемках я не заметил, что деревянный настил тротуара поднят на полчетверти, и, споткнувшись, упал на четвереньки.

— Осторожней... Вы так слетите в воду... Бросайте, Матвей Алексеевич!

Комаров, развернувшись, ловко, как спасательный круг утопающему, бросил венок. Эльга, перекинувшись через перила, следит, куда он упадет, но плеска в шуме воды не слышно.

С потушенными фонарями задним ходом — назад, на шоссе Петровского острова...

Тревожный протяжный гудок... Пароход... Нет, какая-то фабрика. Новая Бавария и Канатная. Все окна освещены. Неужели работают и ночью? Дорогу нам перегородили два грузовика.

— На легковом-то, пожалуй, не проедете. Там у Ждановки перед мостом вода без малого на аршин. А на Тучков и подавно нельзя...

Через Ждановку мы все же перебрались, хотя и с опасностью увязнуть и подмочить мотор. Но на Карповке около Каменноостровского, улицы Красных Зорь, машина, зашипев, встала.

— Что случилось?

— Мотор не в порядке. Придется остановиться. Здесь рядом есть ресторан-отель. Помогите мне сдвинуть машину.

Вдвоем с Комаровым мы вкатили парализованный «Ройс» во двор двухэтажного особняка с башенками на крыше и каменным крытым подъездом. У входа под стеклом золотом по черному отликает надпись — «Отель Ривьера».

— Матвей Алексеевич, вы еще долго провозитесь с мотором? Мы зайдем обогреться. Я промочила ноги и озябла.

И Эльга нажала несколько раз кнопку с надписью: «Ночной звонок к швейцару».

Вместо ливрейного отдельного швейцара двери открыл взлохмаченный заспанный коридорный в белой рубахе без пояса и в шерстяных деревенских носках.

— Все номера заняты. Остался только один за двадцать пять рублей. Угодно занять?

Расторопный позевывающий малый (на его неожиданный ночной звонок подействовал так же возбуждающе, как жужжанье запутавшейся в паутине мухи на сонного паука), мягко ступая, повел нас по устланному темно-красным половиком узкому коридору мимо запертых мертвых номеров на второй этаж.

— Что прикажете подать?

— Подайте нам кофе с ликером. Только поскорей...

— Слушаю-с.

Отведенный нам номер — большая нежилая комната с претензией на роскошь: голубая мягкая (но уже просаленная) мебель, зеркала, исчерченные камнями перстней (имена посетительниц с датами кутежей, на одном любительский неприличный рисунок), потертый, в пятнах, ковер и выцветшие, давно не выбивавшиеся портьеры на окнах и на арке в спальню.

Осторожный стук, и в дверь просовывается поднос с дымящимся на машинке кофе и бутылкой ликера — все, как в перворазрядном ресторане, но подает тот же неряха-коридорный, даже не подпоясался и не обулся. Разве в отеле нет другой, более приличной прислуги?

— Больше ничего не прикажете? Тогда позвольте получить... Не извольте обижаться. Такой у нас порядок... Посетитель теперь разный, по виду никак не узнаешь... Намедни господа офицеры напили-наели, а как подали счет, осерчали и давай шашками грозить... Сдачи не прикажете? Покорно благодарим...

Ретируясь задом, разговорчивый малый в шерстяных носках сунул мне в руку ключ и таинственно шепчет:

— Дверь извольте на ночь запереть изнутри. Сами знаете, время какое. У нас здесь полно всякого народу. Недавно один господин, с виду такой благородный, обходительный, голую женщину задушил в постели подтяжками...

Эльга разливает черный кофе в крошечные чашечки и золотой ликер в узкие рюмки.

— Вы помните своего сумрачного бога?

— Какого бога?

— Заключительное стихотворение вашей «Дикой порфиры».

— Кажется, помню, но...

— Почему я вдруг ни с того ни с сего вспомнила о нем? О, совсем не потому, чтобы оно мне нравилось.

Это стихотворение слабее других, но в нем вы удивительно верно почувствовали свою судьбу как поэта и как человека. Как верен этот ваш страшный приговор самому себе — вечная неплодная жажда живого зачатья, это постоянное «но отклоняемый силою злобной», эти недовершенные красные ублюдки змеистых комет вместо совершенных полнозвучных солнц. Как в поэзии, так и в жизни, в любви, во всем, во всем!

Эльга поднялась и говорит с трагическим пафосом, как актриса выигранный монолог. Но я плохо слушаю ее: мне почудился из-за портьеры блудливый женский смех и мягкое похлопыванье ладонью по голому телу. Неужели там, в спальне? Не может быть, наверное, через перегородку из соседнего номера...

— И эта иссушающая вас неплодная жажда живого зачатья, эта злобная всегда отклоняющая вас сила, — вы знаете, кто она?

Эльга вплотную подходит ко мне и берет своими руками обе мои (ее — холодны, как мрамор) и глядит мне гипнотизирующе в глаза. (Ее — один сплошной, черный, блестящий от атропина зрачок). Голос ее снижается до шепота, но такого пронзительного, что шипение его бежит мурашками по моему телу, шевелит портьеру и наполняет (я чувствую это) соседнюю страшную комнату.

— Это жажда, это сила — я! Я, только я одна раздваивала вашу волю, вашу любовь, вашу поэзию, убивая веру сомнением, любовь ревностью, жизнь смертью. Я, как аэроплан-истребитель, все время парю над вами, сбрасывая в ваш мозг разрушительные атомы бомб, маячу в нем сполохами, как магнитная точка полюса, в чье мертвое ослепительное безумие упираются меридианы всех ваших помыслов и желаний! И теперь разве не я играю с вами эту страшную шутку! Но сегодня... может быть, это слабость, мне вас жалко... Может быть, если еще не поздно, я освобожу вас... Если еще не поздно... Может быть...

Эльга, как медиум после сеанса, ослабев, опускается в кресло, подбирает ноги и съезживается в белый комок, напоминая залетевшего под абажур лампы осеннего бражника, забившуюся от бури в комнатную трубу перелетную птицу.

— Меня знобит... мне холодно...

Эльгу бьет озноб, как перед приступом малярии, лицо ее обескровливается и белеет.

— Нет, я не могу больше... Я теряю сознание... Ни огонь, ни ликер меня не согревают... Капните капельку крови в рюмку... Неужели вы боитесь сделать это для меня? Вот вам булавка, уколите себе палец и выдавите капельку крови.

Эльга протягивает мне отколотую от блузки золотую булавку с рубиновой головкой. Я покорно надкалываю слегка свой мизинец на левой руке и выдавливаю гранатовую капельку крови.

Глаза Эльги, беспокойно следившие за моими движениями, загораются хищной радостью.

— Вот так... Теперь капните ее в рюмку с ликером и дайте мне. Да что вы смотрите на меня с таким ужасом, точно я вампир?

Выдавленная из тюбика мизинца капелька крови падает и растворяется в светлом ликере. Эльга дрожащей рукой берет и залпом (как больная спасительное лекарство) осушает рюмку.

— Это действует, как веронал. Укройте меня и обнимите крепче.

Я держу Эльгу, притихшую и прильнувшую ко мне доверчивой девочкой. Уткнувшись лицом в мое плечо, она задремала.

Какая тишина! Даже из окна с улицы не долетает ни одного звука.

Что за чертовщина! На малиновой портъере под аркой, как на гробовом покрывале, неподвижно лежит обнаженная по локоть женская восковая рука.

Я хочу подняться и крикнуть, но вместо крика из сдавленного горла вырывается глухонемое жалобное мычание, как у спящего, увидевшего страшный сон. Руки Эльги крепко обвивают мою шею, и губы ее, раскрытые, но неподвижные и сухие, прилипают к моим. От ее поцелуя я ощущаю то же, что и в церкви: легкий холодок и потерю чувствительности в губах, точно их анестезировали ваткой, смоченной в эфире или кокаине.

Я сразу успокаиваюсь и уже без страха смотрю на восковую руку, шевелящую и размахивающую портъеру арки, откуда показывается высокая голая, такая же желто-восковая, как и ее рука, — женщина в черных ажурных чулках и лакированных туфлях на француз-

ском каблуке. Лицо ее, в резком контрасте с желтизной тела и ярко накрашенными губами, — лиловато-синего оттенка, точно завуалированное, и на шее ее висят затянутые галстуком-самовязом цветные мужские подтяжки. Женщина похотливо улыбается, поблескивая золотыми резцами, и, поманив пальцем, скрывается за портьерой...

Почему я так боюсь этой комнаты? В ней нет ничего страшного — обычная, как во всех таких отелях, спальня с катафалком и кроватью под балдахином, с розовым фонарем на потолке, с умывальными принадлежностями...

— Милый... милый... Наконёц-то я твоя... совсем твоя...

Эльга до звона в висках, до головокружения охватывает мою голову и прижимает к себе. Я вижу только одно: ее огромные синие, залитые блаженным блеском глаза, в глубину которых я падаю с аэропланной скоростью под ревуший гул яростно работающих кровью моторов сердца.

Но нет, это не Эльга! Я с отвращением отшатываюсь и вскакиваю. На постели лежит та голая женщина с синим лицом и мужскими подтяжками на шее. Она смеется золотыми зубами и показывает пальцем на свой обнаженный живот и ноги, вдруг превращающиеся в торчащие из ажурных чулок две желтые берцовые кости и скелет таза, в дыру которого виднеется залитая пятнами, как грязная скатерть, постельная простыня.

Кто-то сзади сильно толкнул меня, и я упал ничком поперек кровати и с размаху больно стукнулся лбом об острый выступ лобковой кости таза, рассыпавшегося от удара...

— Вам дурно? Вы так сильно стукнулись о ручку кресла. Я боялась, что вы рассекли себе висок...

Я поднимаю налитую свинцом в затылке голову из теплых душистых колен Эльги. Уже рассвело. В отворенное настежь окно льется холодный ветер с раздувшейся грязной Карповки и сладкий малиновый перезвон с четырехэтажного корпуса с голубыми и белыми узорными куполами — из женского монастыря Иоанна Кронштадтского.

— Выпейте рюмку ликера... Нам давно пора ехать... Какой вы, однако, нервный, всего одна капелька крови, и вы уже падаете в обморок...

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ КАПЕЛЬ НАШАТЫРЯ

Ночная автомобильная поездка с Эльгой не прошла бесследно: я начал страдать бессонницей. Правда, это бывало у меня и раньше, но не в такой острой форме. Я просыпаюсь перед рассветом с тупым безнадежным отчаянием, как осужденный на смерть перед казнью. Тщетно стараюсь я найти причины этого отчаяния и облечь его в конкретные формы. Чувство отчаяния беспричинно и бесформенно, как будто я надышался ядовитых газов, отравляющих нервную систему. Бессоннице предшествуют мучительные кошмары, которые я, проснувшись, забываю, помню только, что все они связаны с каким-то ужасным уродливым ребенком, что мне часто слышится во сне детский плач.

Один раз кошмар вылился даже в галлюцинацию (галлюцинация в галлюцинации, как пасхальное яйцо в яйце!). Я проснулся от детского плача и зажег электричество. По одеялу от ног к голове по мне полз голый головастик, выкидыш-мальчик месяцев пяти или шести. Он был весь покрыт зеленоватой слизью и оставлял за собой на постели пуповину мокрого следа. Пронзительным, гуттаперчевым, как у куклы, голосом он противно пищал басом на всю комнату: «Папа, папочка, возьми меня с собой» и, протягивая ручки, лез ко мне на голову.

В ужасе я вскочил и встряхнул одеяло. Ребенок исчез в складках и больше не появлялся, но заглушенный детский плач (тот же, что я слышал во сне) продолжался и наяву. Казалось, он исходил откуда-то из стены.

— Почему вы так плохо выглядите? Больны? — спросила меня за завтраком Эльга.

Я пожаловался на бессонницу и рассказал о слышанном ночью детском плаче.

— Ах, это я виновата, — смутилась почему-то Эльга. — Я забыла подлить свежего спирта и капнуть нашатыря. Сейчас мы это устроим.

После завтрака она поднялась ко мне в комнату и открыла дверцу потайного сейфа в стене. Внутри в стеклянной зеленоватой банке плавал заспиртованный трупик того самого отвратительного мальчика-вы-

кидыша, который лез ко мне по одеялу ночью. Жидкость от взмаха дверцы тихо заплескалась, и трупик слегка зашевелился, как дышащая жабрами, не совсем уснувшая рыба.

Эльга приподняла крышку и накапала в банку каких-то капель из пузырька.

— Если он будет кричать и беспокоить вас ночью, то нужно только накапать в банку четырнадцать капель нашатыря, и он утихнет. Вы можете делать это без меня, сами. Я покажу вам, куда я кладу ключ от сейфа. Может быть, в вас пробудятся нежные отцовские чувства и вы захотите взглянуть на своего ребенка...

Что она — издевается надо мной? Но в ответ на мой недоуменный взгляд Эльга смотрит совершенно серьезно, даже с упреком.

— Как, разве вы забыли «конец августа и безмгlistое начало глубокого и синего, как сапфир, сентября»? И неужели вы думали, что наше пребывание ночью в «Ривьере» пройдет бесследно? Только, ради Бога, держите это втайне от всех...

Панцирная дверца сейфа тяжело захлопнулась над зеленой урной колбы.

Мой ребенок? Нежные отцовские чувства? Какая чушь! При чем тут конец августа и ночь в «Ривьере»? И кто тогда мать этого уродца? Разве я обладал Эльгой там, в отеле, когда увидел в обмороке женщину с подтяжками на шее? И ведь с той ночи прошло всего несколько дней...

Что за дикая фантазия держать в комнате заспиртованный препарат выкидыша! Я охотно выплеснул бы его в помойную яму, но только как сделать это незаметно и не рассердится ли Эльга? И зачем надо капать в спирт четырнадцать капель нашатыря?

Да и стоит ли еще там банка с трупиком... Может быть, мне это только померещилось...

Осторожно открыл я оставленным мне Эльгой ключом панцирную дверцу и замер: из банки глядел на меня рыбьими глазами, слегка поплескиваясь в своей спиртовой ванне и двигая плавниками ручек и ножек, зеленоватый трупик. Казалось, что он сейчас приподнимет крышку, вылезет из банки и начнет опять карабкаться на меня с пронзительным резиновым писком «папа, папочка»...

Я в испуге захлопнул сейф, как взломщик, застигнутый на месте преступления, увидев, что в дверях стоит Гумилев. Но он только посмотрел на меня высокомерно и презрительно (так мне показалось) и повернулся, ничего не сказав. Вместо него в комнату вошел Комаров.

— Я к вам по очень важному делу, но не по своему, а по чужому поручению. Я, конечно, не буду касаться того, что произошло между вами и Николаем Степановичем... Я не имею права в это вмешиваться, хотя мне очень прискорбно, что все так вышло. Я пробовал его отговаривать, но Николай Степанович, как вы знаете, очень упрям... Одним словом, он решил вызвать вас на дуэль и передать вам вызов... Вы должны условиться со мной относительно секундантов...

Комаров официально торжествен, но немного волнуется и не уверен, так ли он выполняет возложенное на него ответственное поручение.

— Разумеется, все должно остаться в строгой тайне. Эльга Густавовна не должна ничего подозревать... С секундантами мы дело уладим... Вы можете положиться на меня... Николай Степанович хочет, чтобы дуэль происходила около Коломяг, на месте дуэли Пушкина, из пистолетов тридцатых годов... Думаю, вы как поэт поймете желание Николая Степановича и согласитесь...

Я согласился на все, не возражая, и, только когда ушел Комаров, спохватился... Какая нелепость! Драться ни с того ни с сего, да еще так театрально. Правда, Гумилев любит такую героическую бутафорию. Дрался же он когда-то на дуэли с Максимилианом Волошиным. Ну что же, обменяемся парадными выстрелами, попасть из старых дуэльных пистолетов не так-то легко. Но все же...

Эльгу я увидел только вечером. Молчаливая и задумчивая, она играла на рояле шумные бравурные вещи, на прощанье же неожиданно поцеловала меня в лоб и несколько раз перекрестила мелкими, как стежка иглой, крестиками.

— Не бойтесь, все обойдется благополучно.

DICSON SONS SHEFFIELD *

Почему привязались ко мне прилипчивыми слепня-ми эти три нелепых слова: Dicson sons Sheffield. Они навязчиво мельтешат печатными буквами, как световая реклама какой-то фирмы, зажженная в моем мозгу. Я не знаю, что они значат, но они кажутся мне страшно знакомыми, чем-то связанными с Гумилевым.

Из глаз сыплется фонтаном бенгальский огонь, растекается в круги и собирается в летучий огненный шар молнии — светящуюся голову какой-то женщины. В ее широко открытых зеленовато-серых глазах — девичья мечтательность и грусть, а в сомкнутых пухлых детских губах затаено столько неосознанной еще невинной чувственности! Голова приближается ко мне, я вдыхаю в аромате знакомых духов горький миндальный запах плеч и ромашку золотых рассыпанных по подушке волос.

Раскрытые в жажде поцелуев губы, обдавая легким испарением только что выпитого ликера, шепчут в забыты — звучащее нежным признанием «неужели я твоя, совсем твоя» — нелепое бессмысленное Dicson sons Sheffield...

Я приподнимаюсь, освещенная голова исчезает, только от подушки тянет легким запахом ромашки и знакомых духов.

По этому запаху, гончими, нападшими на след, залиvisto ринулись в чашу прошлого воспоминанья...

Первая встреча, незначительные слова, взгляды, движенья — в них, как в щепотке невзрачных семян, заключено уже все цветенье, все плоды будущей любви и страсти.

Мы познакомились на вечере акмеистов за столиком в «Бродячей собаке». Она взглянула большими наивными глазами и сказала:

— Как вы можете писать такие ужасные стихи, когда у вас столько нежности в губах? Вы знаете, что я раз ушла от него (она кивнула на приехавшего с ней поэта,

* «Сыновья Диксон, Шеффилд» (англ.).

моего приятеля), чтобы только не встретиться и не познакомиться с вами.

И больше ничего — мы пили вино, смеялись, говорили о пустяках. Но в парниковый красный грунт была брошена щепотка розовых семян, одно из них принялось и пустило нежный колючий росток.

Поэтому она сама пожелала, чтобы провожал ее я. Для влюбленного в нее молодого поэта, моего приятеля, это был тяжелый удар. Он долго с ней объяснялся, наконец уступил, но на прощанье крепко поцеловал меня, прося печатью дружеского поцелуя доставить в целости драгоценное поручение.

А потом надушенные розовые конвертики рассеянных писем, далекий нежный голос в телефоне, беглые, урывками, встречи (она всегда куда-нибудь торопилась) и неожиданное для обоих сближение, сладостное и мучительное, короткое, после поездки на острова, в кабине ресторана, под электричеством, с губами, пахнущими свежестью невского ледохода и настоем только что выпитого ликера.

Испугавшись неожиданного сближения, она стала избегать меня. Я мучительно ревновал, добивался свиданий, а тут еще вечер в «Бродячей собаке» и ухаживание Гумилева. Он не отходил от нее до утра, и она согласилась, чтобы он поехал ее провожать. Может быть, в этом не было ничего особенного, ей просто льстило внимание известного поэта, а Гумилев всегда приударял за хорошенькими женщинами. Но в подвале «Бродячей собаки», где терялось представление о времени, где в ароматах духов и сигар еще прела плесень шелока и застарелого ревматизма прачек, где на сырой штукатурке стен изысканнейшими художниками были намалеваны яркие извращенные изображения женщин, птиц и плодов, там все, особенно перед рассветом, принимало необычайные фантастические размеры, такие же, как и моя ревность.

С отчаянием блоковского Арлекина смотрел я, как усадил Гумилев мою подругу в извозчицью пролетку и увез кататься по Невскому. Во что бы то ни стало я хотел увидеть ее и объясниться. У подъезда ждать нельзя, столкнешься с Гумилевым, надо на лестнице у дверей квартиры. Швейцар, поблагодарив за данный ему рубль, беспрекословно пропустил меня, и я, прячась в темноте, как вор, вздрагивая от шума, ждал. Уже

рассвело, когда стукнула внизу парадная дверь, слышался ее оживленный голос и торопливые маленькие шажки по половику ступенек.

Объяснение ни к чему не повело. Ее рассказ о прогулке и о том, что она обещала Гумилеву быть у него в четыре часа дня в редакции «Аполлона», еще более воспалил мою дикую ревность.

Все во мне мучительно ныло, как обнаженный зубной нерв, требуя острого, оперативного вмешательства. Пешком отправился я на Финляндский вокзал. Ни пронизывающий ветер с Невы, ни бьющий в лицо ледяной дождь не успокоили моей боли. Я решил ехать в Выборг и купить револьвер — там для этого не нужно разрешения полиции. Если она придет в четыре часа к Гумилеву, я убью его.

Долго расхаживал я по платформе, слушая хриплую переключку маневрирующих паровозов. Подошел к зеркалу, из него глянуло на меня желтое страшное лицо. Потом отказался от поездки: у меня нет с собой паспорта, и я могу опоздать. Можно достать какое-нибудь другое оружие. На Морской я зашел в охотничий магазин и неторопливо, советуясь с приказчиком, чтобы не выдать себя (словно он мог догадаться, зачем мне нужен нож), выбрал длинный кинжал, каким прикалывают затравленного волка или кабана. Я боялся только одного, чтобы в последнюю минуту, ослабев, не сдала рука — она и так слегка терпит при одной мысли об ударе. Браунинг гораздо надежней — легкое нажатие пальца...

До четырех часов оставалось еще время, я побродил по Невскому, зашел в кафе, потом в Казанский собор. Около гробницы Кутузова теплилась облепленная свечами большая икона Николая Чудотворца. Тупо посмотрев на старческое коричневое лицо с седой бородкой и высоким ущемленным лбом, и я вслед за другими, не молясь и не крестясь, поставил свечку за Николая Гумилева. Но никаких колебаний и сомнений у меня не было.

Ровно в четыре часа я позвонил по телефону ей. Нежным усталым голосом она жаловалась на дурное настроение, говорила, что не будет у Гумилева, и просила меня встретиться вечером. Я чувствовал себя как приговоренный к смертной казни при объявлении о помиловании.

В редакцию «Аполлона» (у Пяти углов) я все же зашел. Как ни в чем не бывало сидел и дружески разговаривал с Гумилевым. Только раз при взгляде на его цветной жилет вспомнил, что вот сюда, распарывая материю, должен был вонзиться глубоко тот охотничий кинжал, что лежит у меня там, в боковом кармане пальто...

Далекая, нехорошая история, о которой я никогда больше не вспоминал!

Из темноты снова выплыла светящаяся женская голова и раскрытыми для поцелуя губами нежно шепчет, дыша легким испарением ликера: *Dicson sons Sheffield.*

Теперь я знаю, что значат три проклятых слова! Это — клеймо фирмы на клинке того кинжала, которым я собирался убить Гумилева.

XXII

ТЕПЕРЬ МЫ ПОКВИТАЛИСЬ

Как резко изменилась погода за ночь: вчера еще была железно-серая слякоть, а сегодня снег навален аршинными сугробами и деревья охлоплены инеем.

Высокие легкие санки, ныряя, позванивают острыми стальными полозьями. Запрокинувшись назад и привстав с козел, остриженный в скобку извозчик-лихач с павлиньим пером на шапке, прицокивая языком, придерживает синими струнами вожжей размашистого вороного рысака с забинтованными от растяжения сухожилиями. Края темно-малиновой попоны, развеваясь от бега, взлетают крыльями; из-под нее облаком, как из открытой двери чайной, валит густой пар. Заиндевший лошадиный круп с точностью заводного механизма выбрасывает мощные лопасти задних ног, швыряясь снежками и изредка на спуске слегка осекаясь подковными шипами о металлический передок саней.

— Николай Степанович будет доволен. Мне удалось достать хорошие дуэльные пистолеты пушкинского времени. Да и сегодняшней зимней день мало, я думаю, отличается от того... Вот только Нева не замерзла.

Комаров, накинувший на плечи, очевидно, для большей стильности николаевскую шинель, поглядывает

по сторонам с таким видом, точно он достал не только пистолеты тридцатых годов, но и декорировал зимний пейзаж.

Незамерзающая часть речки действительно кажется черной среди снежных берегов — дымящимся грязным стоком теплой воды с какой-нибудь фабрики.

— К самым Коломьягам прикажете?

— Нет, мы слезем тут, на шоссе. А ты обождешь. Давай вон туда, где лошадь стоит...

На Коломьяжском шоссе у матовых стеклянных шаров подстриженных деревьев второй извозчик-лихач с заиндедевшими усами заботливо застегивает попону и отряхивает метелкой иней с запарившейся лошади.

— Давно приехали?

— Да нет, только что... Господа пешком прошли... Вон они там, в леску, под деревьями-то...

В рыхлом снегу проложен свежий глубокий след шагов через пустырь к рощице, где движутся две черные фигуры: Гумилев и еще какой-то молодой военмор, второй секундант. Комаров сбросил на снег николаевскую шинель и положил на нее ящичек с пистолетами. Потом начал о чем-то совещаться со своим товарищем-военмором, отмеривать шаги и протапывать дорожку в снегу. Гумилев молча ждал, прислонившись к небольшому оснеженному обелиску-памятнику с неразборчивой залепленной инеем надписью. Так вот оно, знаменитое место дуэли Пушкина, на котором я еще ни разу не был, хотя и бывал на скачках и полетах на Коломьяжском ипподроме. Снежная белая поляна, круг деревьев в инее — подходящее место для арии Ленского «куда, куда вы удалились...» И из облаков показывается малиновое тусклое, как луна, морозное солнце. Зимнее утро, как вечер: солнцу не подняться высоко над ясным горизонтом. Мне очень хочется пить, и я сосу, как фруктового мороженое без сахара, снежки, застужая до ломоты пальцы.

Все приготовления окончены. Комаров подал мне заряженный пистолет и объяснил, когда и как надо будет стрелять.

— Держите пистолет крепче. Имейте в виду, что он сильно отдает... Целиться надо несколько ниже цели...

Громоздкое, неудобное оружие — мне никогда раньше не приходилось стрелять из пистолета, я видел их только иногда мирно висящими на коврах в кабинетах

любителей старины. Если бы не тяжесть, то мне казалось бы, что я держу большую детскую игрушку, стреляющую пробками. Да и вся эта бутафорская сцена дуэли как будто разыгрывается нами для аппарата какого-то невидимого кинооператора.

В нескольких саженях передо мной на снежном листе ватманской бумаги тушью графически четко вырисовывался Гумилев. Он был без шинели, на груди его резко выделялись желтые уланские аксельбанты и два солдатских Георгия с черно-желтыми бантами. Я навел пистолет на желтое пятно и сделал два шага. Неожиданно (нажал ли я случайно пальцем курок или, как мне показалось, самопроизвольно) пистолет мой выстрелил с таким грохотом и огнем, что я подумал — он разлетелся на части и оторвал мне руку. Невольно от сильной боли в ключице я выронил пистолет.

Когда дым от выстрела рассеялся, я увидел в нескольких шагах от себя наведенный чуть не в упор на меня пистолет Гумилева. Я смотрел в широкое черное дуло и на холодное решительное лицо Гумилева и ждал выстрела. На таком близком расстоянии он несомненно уложит меня наповал. Я хотел остановить его, но тяжелая правая рука висела по швам, как парализованная. Хотел крикнуть: «Николай Степанович, что ты делаешь?» — и не мог.

Оцепенение мое длилось несколько секунд. Потом я увидел, как вытянутая рука Гумилева, точно по ней кто сильно ударил снизу, взлетела кверху и из темного ствола выпыхнул красный язык пламени: выстрел в воздух!

— Теперь мы поквитались! — крикнул Гумилев и отбросил пистолет.

Я пожал ему руку. Комаров и другой секундант, военмор, поздравили нас с примирением. Но я рассеянно слушал их, не сводя глаз с брошенного Гумилевым пистолета: вокруг него на снегу растекалось малиновое талое (или это отблеск морозного солнца?) пятно, точно это был не пистолет, а насосавшаяся крови пиявка, выброшенная на соль.

Обратно я ехал вместе с Гумилевым. Между нами опять установились ровные приятельские отношения, как будто эта брошенная на соль снега пиявка дуэльного пистолета оттянула от наших затылков черную кровь ревности.

Эльга встретила нас весело, ни о чем не расспрашивала и только при прощанье тихо сказала:

— Как вам не стыдно заниматься мальчишескими глупостями в такое время...

XXIII

ПОЕЗД ПУРИШКЕВИЧА

Мы уже собирались ехать и стояли в передней, когда задребезжал телефонный звонок.

— Подойдите, пожалуйста, и спросите, кто говорит,— попросила меня Эльга.

Я взял трубку, но ответа на мое «алло» не последовало. Только в ухе ноющей зубной болью отдался тугой камертонный звон заиндевевшей проволоки. Наконец, на третье «алло» послышался отдаленный, как будто из-за сотен верст несущийся, слабый, но отчетливый певучий мужичий говорок:

— Эй, малый... слышь, што ль... скажи Ельке (я ясно разобрал — не Эльге, а Ельке)... пушай подойдет... Скажи, Григорь Ефимыч спрашивает... она знат...

Но Эльга уже и без того стояла рядом и брала из моих рук телефонную трубку.

— Григорий Ефимович?... Здравствуйте, здравствуйте... Очень рада... Я давно уже жду вашего звонка... Заезжайте, непременно заезжайте, но только попоздней. До десяти вечера меня не будет дома... Что? Я не разобрала... Ах, вы опять про то же...

И Эльга вдруг расхохоталась в телефон неестественным смехом, какого я у нее никогда раньше не слышал,— с игривым вульгарным повизгиваньем, как деревенская девка, которую парень ненароком щипнул за грудь.

— Ну, хорошо, хорошо... До свиданья... Я сейчас уезжаю.

Трубка повешена, но Эльга как-то неестественно возбуждена, глаза ее блестят, губы улыбаются, движения порывисты — точно из телефонного аппарата она получила разряд электричества.

На Гумилева, так же, как и на меня, неприятно подействовал смех Эльги, и он брезгливо поморщился.

— Вы хорошо знаете, что он нам необходим для на-

шего дела,— оправдывалась дорогой Эльга.— Только через него сможем связаться с крестьянством. И потом только он один сможет нам устроить свиданье с «ним».

«С ним» Эльга особенно многозначительно подчеркнула.

В молочном тумане блеснул золотыми звездами синий купол Измайловского собора, и темной тенью, как часовой, вытянулся чугунный обелиск из турецких пушек. Вот и Обводный канал — место, где когда-то под брошенной бомбой разлетелась лакированная министерская карета Плева.

Мы подъехали к Варшавскому вокзалу, но остановились не у главного подъезда, а у ворот, ведущих прямо на подъездные пути. Здесь во время войны грузились, обычно в сумерках, отходящие на фронт эшелоны запасных частей, гремела духовая музыка, перекатывалось «ура», разливались разудалые песни, заглушавшие тихие, подавленные всхлипыванья. Но теперь ни один паровозный свисток не разрывал молочный морозный воздух. Вокзал и полотно кажутся вымершими, хотя все пути загромождены пустыми неподвижными вагонами, теплушками, цистернами и платформами. С трудом пробирались мы по огромному железнодорожному кладбищу, пока нам не попался безногий инвалид в солдатской форме с Георгиевской медалью на груди.

— Где здесь стоит поезд Пуришкевича? — спросил его Гумилев.

— Так точно, ваше высокоблагородие! — гаркнул инвалид, взяв под козырек.— Так что, дозволейте провести.

И, не дожидаясь согласия, инвалид, переваливаясь, как Ванька-встанька, стуча деревяшками, юркнул под колеса вагона. Он ковылял так быстро, что мы едва успевали и нагнали его только перед составом из нескольких вагонов без паровоза.

— Спасибо тебе, братец,— поблагодарил Гумилев и сунул ему в руку скомканную ассигнацию.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие! — гаркнул инвалид и исчез под колесами.

Эльга постучала стеклом в одно из окон. Занавеска слегка приподнялась, и в стекле показалось усатое одутловатое лицо. На площадку вышел рослый грузный военный в форме врача и открыл нам дверь.

— Что вам угодно? Владимир Митрофанович занят и никого не принимает.

— Владимир Митрофанович сам назначил нам время приема на сегодня в десять часов утра. Разрешите с вами познакомиться. Ведь вы доктор Лазаверт? Тот самый...

— Да, тот самый, — угрюмо буркнул доктор, помогая все же Эльге взобраться на площадку и пропуская нас в вагон. — Не засиживайтесь только у Владимира Митрофановича больше десяти минут. Он всю ночь работал и, кроме того, еще не совсем поправился после тифа и быстро утомляется.

Несмотря на день, все окна в вагоне плотно занавешены и свет зажжен. Вагон — бывший международный, с остатками былой роскоши, сильно потускневший и поизносившийся. Доктор Лазаверт, постучавшись, открыл дверцу одного из купе. Навстречу нам с дивана поднялся Пуришкевич — я сразу узнал его, хотя раньше видел только на карикатурах. Он галантно поцеловал руку Эльге и поздоровался за руку с Гумилевым и со мной.

— Садитесь, господа, садитесь. Предупреждаю, я очень занят и могу уделить вам не более десяти минут. А потому сразу к делу.

— Мы явились к вам, Владимир Митрофанович, по поручению Петроградской боевой организации, — начала Эльга.

— Таганцевской? — перебил Пуришкевич. — Знаю, знаю.

Я не столько слушал разговор, сколько с любопытством рассматривал Пуришкевича. Он напоминал мне несколько Кульбина: тот же голый пергаментный череп и желтое, как у мумии, покрашенное румянцем, похожее на обезьянье, подвижное лицо. Одет он в походную форму и старается держаться по-военному сдержанно, но сквозь деланную выправку и собранность движений часто прорывается нервная торопливость и горячность, как у человека с повышенной температурой. Говорит он резким осипшим голосом, как военный, которому много приходилось кричать на морозе.

— Так, так. Все это прекрасно! Но что же вы хотите от меня? Из ваших слов я делаю вывод, что боевая организация рассчитывает на мое активное содействие и поддержку?

— Да, Владимир Митрофанович, мы все очень и очень рассчитываем на вас.

— Но я уже говорил Сергею Николаевичу Таганцеву, что стать во главе организации или принять в ней близкое участие я решительно отказываюсь. Вся моя жизнь до последней капли крови отдана России, и я не поколеблюсь выступить с оружием в руках, если этого потребует благо моей родины. Поручкой этому (Пуришкевич взял со столика из-под разбросанных бумаг револьвер) мой «Соваж», с которым я никогда не расстаюсь, даже в тифу лежал он у меня под подушкой, и я в горячечном бреде сжимал его бессильной рукою... Но выступать с вами сейчас я отказываюсь. Да, да, отказываюсь...

Голос Пуришкевича вдруг сорвался и перешел в свистящий шепот, и он стукнул о столик рукой, звякнув браслетом.

— И знаете почему? Только потому, что я не верю в успех и считаю, что всякое открытое выступление сейчас бесполезно и невозможно.

Пуришкевич вскочил и заметался, как волк в клетке, по купе. Потом остановился у занавешенного окна и нервно забарабанил пальцами по столику.

— Вчера почти всю ночь я перечитывал свой дневник. Ведь вы знаете, сегодня, 16 декабря, исполняется пятая годовщина убийства Распутина. Медленно, как священник в страстной четверг двенадцать Евангелий, перечитывал я, прерываемый хорами мрачных мыслей, свои отрывистые записи. Каждая фраза, каждое слово вызывало столько мучительных, страшных воспоминаний и призраков! И как раз забрезживший рассвет застал меня над заключительными словами: «Кто скажет? Кто ответит? Кто предречет поток событий в густом молочном тумане просыпающегося дня?» Эти же слова я повторяю себе и сейчас, как повторял их все эти пять страшных лет, носясь летучим голландцем со своим закрытым поездом по равнинам обезумевшей России. И так же, как и тогда, я не нахожу на них ответа.

Несколько секунд Пуришкевич, отвернувшись, смотрел в занавешенное шторой окно и шептал про себя, как стихи, слова: «Кто скажет? Кто ответит? Кто сдернет завесу и рассеет туман, застилающий грядущие дали?»

Потом обернулся к нам и заговорил уже более спокойно.

— Не думайте, я не раскаиваюсь, я ни в чем не раскаиваюсь. Пусть вышло совсем не то, что я ожидал, и убийство Распутина оказалось прообразом других роковых ужасных событий. Я не колеблясь и сейчас совершил бы все то, что сделал в ту ночь. Я не раскаиваюсь ни в чем, но за эти пять страшных лет, носясь со своим поездом летучим голландцем по фронтам России, я многое перевидел, узнал и передумал. И когда умирающий я лежал в сыпнянке и бредил в сорокаградусном жару, на меня вдруг нашло странное прояснение и успокоение. Я понял: мы все, вся Россия мечется в сыпнотифозном жару и бредит красным горячечным бредом. Красный сыпняк! Да, да! Мировая эпидемия красного сыпняка! Пусть перемрут все те, кто вынести его не в силах, и выздоровеют те, кто смог его перенести, и тогда эпидемия погаснет сама собой. Больная, пошатывающаяся на ногах от слабости Россия встанет и окрепнет для новой жизни. Нужно только верить и ждать. И когда я понял это, мне стало вдруг так легко и радостно, что я перестал ощущать тяжесть своего налитого раскаленным оловом тела и сорокаградусный бред сменился приятным спокойным сном.

Откинувшись на спинку сиденья, Пуришкевич с лукавой улыбкой смотрел на нас и играл лежащим у него на коленях «Соважем».

— И потому я не могу принять участия в выступлении вашей боевой организации, хотя и сочувствую вам всей душой. Нужно верить и уметь ждать, прежде всего уметь ждать, да иногда, как я, почитать на ночь стихи старика Горация. Что за прелесть, например, его ода — *O, navis referent in mare te novi fluctus!* — О, корабль, новые волны несут тебя в море! Разве это не современно?

— Но до каких же пор, Владимир Митрофанович, должны мы ждать? — перебила его Эльга.

— А этого я уже не могу сказать. Время покажет. Однако извиняюсь. Я проболтал с вами уже двадцать минут. Мне нужно ехать сейчас в Таврический дворец для доклада в комиссии Шингарева.

— Сергей Николаевич Таганцев просил нас напомнить вам, Владимир Митрофанович, что вы обещали быть у нас сегодня вечером на совещании.

— Помню, помню и не обману. Пока же до свиданья. Желаю вам успеха.

Пуришкевич опять поцеловал руку Эльге и проводил нас до двери купе.

Выходя из вагона, мы увидели доктора Лазаверта, возившегося около автомобиля, на котором большими красными буквами было написано: *Semper idem*.

— Семпер идем. Всегда тот же. Не думаете ли вы, Николай Степанович, что Пуришкевичу следовало бы теперь переменить свой девиз? — усмехнулась Эльга.

Когда мы пробирались к выходу, сзади нас из-под колес опять вышмыгнул безногий инвалид. Он кричал нам что-то вдогонку и грозился деревяшкой.

На мосту через Обводный канал нас обогнал несущийся полным ходом автомобиль: в нем сидел Пуришкевич, а вместо шофера правил доктор Лазаверт. Они как будто не заметили нас и скрылись за поворотом.

XXIV

КОМПРЕСС ИЗ РЕЗИНОВОЙ ГИРИ

Широкий стол накрыт суровой, вышитой по краям скатертью и уставлен расписными деревянными блюдами и ларцами с позолотой и затейливой резьбой в ложнорусском стиле. Посредине на круглом серебряном блюде кутья, вокруг бутылки с винами и наливками, торты, пирожные с шоколадным и розовым кремом, а среди них каленые яйца, кислая капуста и соленые огурцы. На табурете кипит пузатый никелированный ведерный самовар, а в углу под киотом с полотенцами стоит граммофон с огромной крашенной в полоску трубой. Нарочито аляповатая, как на сцене, безвкусица купеческих не то именин, не то поминок.

Я прислушиваюсь к голосам, доносящимся из-за запертой двери. Там идет какое-то важное конспиративное заседание, в котором кроме приехавшего Пуришкевича участвуют Эльга, Гумилев, профессор Таганцев, полковник Шведов и еще двое незнакомых мне лиц. Голоса то стихают, то повышаются до резких нот. Чаще всего слышится хриплый голос Пуришкевича и раздраженный, взволнованный голос Эльги. По-видимому, идет жаркий спор, но слов разобрать нельзя.

Мне очень хочется узнать, в чем дело, и я, подкравшись на цыпочках, осторожно прикладываю ухо к замочной скважине, но быстро отскакиваю в сторону, напуганный неожиданным шумом.

Проклятый граммофон! Как он меня напугал! Встряхнувшись от моих шагов, он вдруг захрипел во всю свою каучукую глотку американский марш «Янки-дудль».

Я хочу остановить граммофон, но в ушах раздается певучий мужичий говорок, тот же самый, который я слышал сегодня утром по телефону, только более четкий и громкий:

— Елька дома?

Обернувшись, я вижу в дверях столовой чернородого мужика в меховой шубе, похожего не то на торговца, не то на диакона богатого прихода.

— Ну, чаво вылупил буркулы-то? (И он досадливо махнул красным платком на граммофон, который мгновенно умолк.) Не знаешь, што ль, кто я таков. Ступай докладывай Ельке, Распутин, мол, Григорь Ефимыч пожаловал.

Распутин сбросил на диван меховую шубу и сошвырнул с ноги один бот (другого бота у него почему-то не оказалось), потом подошел к трюмо и разгладил рукой волосы и бороду. На нем была шелковая кремовая рубаха, подпоясанная малиновым с кистями поясом, и бархатные навыпуск брюки, из-под которых щегольски поскрипывали гармонии тяжелых сапог.

— Ну, чаво стоишь? Поворачивайся живком, сказано тебе — зови сюда Ельку.

Я ответил, что Эльга на заседании и скоро выйдет.

— Зосядат, зосядат,— передразнил Распутин.— Не бабьего ума это дело — секретные речи вести. Все одно без меня, мужика, не обойдется. Ну-ка, налей мне мадеры.

Я налил чашку и подал ее Распутину, но он остановил меня:

— Сперва сам испей, я опосля. Всю до донышка. Дай-кось я сам налью, а то ты еще подсыпешь какой порошок. Знаю я вас, все вы тут подговоренные.

Распутин залпом выпил чашку мадеры, рыгнул и обтер губы вышитой полой шелковой рубахи.

— Седни утрием это ты в трубку разговаривал? — обратился он уже более приветливо ко мне, бу-

равя меня алмазными сверлами своих блестящих пронзительных глаз.— Ты што ж, при Ельке наместо пробника состоишь? Для других ей хвост обнюхивашь?

И, прибавив смачное непечатное словцо, Распутин ослабился, и вокруг его глаз заморщинились лучинки смеха. Потом, ласково потрепав меня по плечу и приблизив ко мне почти вплотную свое лицо так, что я отчетливо различал каждую оспинку на его большом ноздреватом носу, желтый узелок родимого пятна у правого глаза и покрашенный белой мазью и присыпанный кровоподтек на виске, он зашептал вкрадчивым и елейным речитативом.

— А ты мотри, не больно к Ельке-то липни. Закрутит она тебя, пропадешь нипочем у меня на Гороховой. Эх, парен, парен, жалко мне тебя! Наскрозь я твое нутро вижу. Гресишь низом, а сам ответу боишься. А ты не робь. Все мы лакомы до бабьего секелька, как пчелки до медава стебелька. Ты скрозь грех, как скрозь дым, иди. Потепли свечу, сотвори молитву «Рай земной, не отступи от меня, будь во мне» и иди. Он к тебе и не пристанет. Как в баньке на полку, чище телесами станешь. Приезжай ко мне с Елькой на фатеру. Я твоя моей крещенской водицей из пролуби напою и спрысну. Как рукой снимет мраченье, одно веселье да легкость на душе останутся. Без вина пьян будешь, загудут сами ноги в пляс...

Распутин точно преобразился. Только что он смахивал на загулявшего ярмарочного торговца красным товаром или на пройдоху-подрядчика, спрыскивающего с инженерами выгодно сделанный казне подряд. Сейчас же он походил на раскольничьего начетчика, сектанта-изувера, прячущего под черной поддевкой и сухим догматизмом книжных изречений скрытый пламень, готовый снизойти на головы своих приверженцев языками пожара среди ночного хлыстовского радения или излиться на них кровью малой и большой печатей.

Лежащая на столе тяжелая ширококостная рука Распутина, крестьянская, несмотря на холеную белизну и сделанный какой-то великосветской поклонницей маникюр, взлетела со скатерти, и на меня вместе с запахом одеколона и помады пахнуло из-под широких рукавов его рубахи едким перегаром мужицкого пота.

— Не бойся, примай благословенье-то,— властно и ласково шепчет Распутин.

Я вижу его узкие, бледные, полураскрытые, как для христосования, губы, черную, лоснящуюся на шелковом кремовом фоне бороду и морщинистые, впалые, небольшие, светящиеся, как у волка, глаза и покорно тянущие к его широкому, большому туловищу.

Но принять благословение я не успел: дверь отворилась, и в столовую вышли участники заседания.

Увидав Пуришкевича, Распутин, как плясун в гопаке, быстро переметнулся в сторону выхода. Все растерялись и молча выжидали, что будет. Только в лице Эльги мелькнуло, как мне показалось, какое-то злорадство, точно она нарочно подстроила эту неожиданную встречу.

Несколько секунд враги, точно меряясь силой, пристально смотрели друг на друга. Распутин был бледен, Пуришкевич же побагровел так, что даже шея у воротника стала малиновой. Он выхватил из кармана френча свой «Соваж» и трясущейся от волнения рукой направил револьвер на Распутина, который вдруг оторвался от косяка и, вылетев на середину комнаты, ударяя себя кулаком в грудь, закричал высоким, как свиной визг, фальцетом:

— Стреляй! Стреляй! Думаешь — испугаешь! Што, взял? Думал, без меня лутче будет... Где твой царь, где твоя старопрежня Рассея с мундирами да еполетами? Я — один мужик доржал вас на горбу. Разлетелись без меня по ветру прахом, и косточек ваших не соберешь... Не ндравилась масляница Гришки Распутина, пришел великий ленинский пост...

Лицо Пуришкевича передернулось судорогой, и он, сразу придя в себя, сунул «Соваж» обратно в карман и, отстраняя Распутина жестом гадливости и отвращения, твердым шагом направился к выходу. Гумилев, Таганцев и полковник Шведов кинулись за ним. Эльга же подошла к Распутину, тяжело опустившемуся на диван и оттирающему платком потное, как после бани, лицо.

— Ну, ладно, ладно, проси прощения, — говорил Распутин оправдывающейся Эльге. — Вижу, что не за были. Годовщину по мне справляешь. Кутью сварила. Спасибо, душка, спасибо. И я тебя не забуду. Ну, спаси ты Христос! — и он три раза, точно христосуясь, облобызался с Эльгой. — Хозяюшка в дому, как пчелочка в меду. Садись за стол, угошай поминальника. По-на-

шему, по-сибирскому... Поелозьте, наши гости! Сами знам, налягам, наелызгались досыту...

С добродушным смешком Распутин, широко перекрестившись, уселся за стол по правую руку Эльги рядом с ведерным самоваром, недружелюбно покосившись на вернувшихся в комнату Гумилева, Таганцева и Шведова. Эльга пододвинула к нему кутью. Откинув широкие рукава рубахи, Распутин благословил блюдо, и Эльга наложила кутью на тарелочку каждому из гостей, как пасху. Все чувствовали себя неловко и не знали, что с ней делать. Один Распутин ел, пил и говорил за всех. Он стаканами пил мадеру, закусывая вперемежку то тортом с пирожными, то кислой капустой и солеными огурцами, и ластился к Эльге, поглаживая под скатертью ее обтянутые шелковой юбкой колени.

Эльга покорно сносила его ухаживанье и только изредка тихо отстраняла слишком назойливую руку.

— Ух, така манерна! — шепотком говорил ей Распутин. — Припала ты мне к душе, приглянулась, касатка-ласточка. Радошен я теперешний час, весел. Троеденный срок гулять мне даден, надуши меня своей ласкоткой, приезжай ко мне на свиданку-то...

Потом, вспомнив, очевидно, встречу с Пуришкевичем, Распутин от ласки перешел к упрекам.

— Пошто ты спуталась с Пуришкевичем? Што он супротив меня моет? Чаво он умет, окромя как балясы точить в Думе да охальничать пистолем. Нет, душка, без меня не обойдешься. Я один ее, революцию-то, наскрозь вижу. Нешто дал бы я Миколаю с Ерманией воевать, кабы меня сумашедша баба ножиком не пырнула. А кабы они не кинули меня с мосту в пролубь, нешто допустил бы я революцию? Не, душка, у меня все на примете было, да они, дураки, изгадили мое дело. Хошь выведу на чисту воду твоих ерников?

И, лукаво подмигнув Эльге, Распутин обратился к сидящим на другом конце стола профессору Таганцеву, полковнику Шведову и Гумилеву.

— Вот вы люди ученые, военные, а можете вы задачу решить, отколь у нас в Рассее революция пошла и куды ее обернуть можно? Не знаете, молчите. А я вот простой мужик, челдон, а знаю... От черного хлебца она пошла, от мучки. Помните, небось, очередя-то за хлебушком в Питербурхе? И ничем ее унять нельзя, окромя как хлебцем да мучкой. А у кого хлебец да мучка?

У мужичка-кулачка. И выходит на поверку, что вам без меня никак не обойтись. Трудно понять все это. Кто уразумеет, тот и разумеет...

Распутин, видимо, охмелел и стал икать.

— Кваску бы холодненького... Горит во мне все. То в огонь, то в лед бросат. Спокою себе не знаю...

Он тяжело облокотился о край стола и затянул высоким мужичьим фальцетом какую-то сибирскую песню, в которой вместо слов слышались одни только тягучие буранные перекаты гласных.

— Обноси по рядовой! Давай плясовую, цаганску! — стукнул он кулаком по столу.

Эльга послушно встала и сама завела граммофон, из трубы которого полились хриплые вскрики и визги цыганского хора.

Распутин, пошатываясь, вывалился на середину комнаты и стал подплясывать, ударяя в ладоши и покрикивая:

— Ай транды, каланды мои!

Вдруг среди пляса, побледнев и закатив глаза, он начал рвать на себе одежду, как охваченный пламенем. Потом, в припадке падучей, грохнулся на пол и, дергая головой, скрежеща зубами и скребя паркет вытянутыми вперед руками, силился на брюхе доползти до разостланной у дивана шкуры белого медведя.

Эльга с криком бросилась к Распутину. Общими усилиями мы подняли его тяжелую тушу и положили навзничь на шкуру. Распутин тяжело дышал, высоко поднимая грудь и передергиваясь в судороге, потом слегка приподнял голову и забормотал, одергивая рубаху:

— Гирьку... Гирьку... Кровь оттянуть...

Эльга сразу догадалась и вытащила из кармана его бархатных брюк черную резиновую гирю.

Распутин судорожно схватил ее и с остервенением стал бить себя со всего размаха по правому, подмазанному белилами виску, побрякивая от удовольствия, как парящийся венником в бане.

— Ничего, ничего,— остановила нас шепотом Эльга,— это поможет ему вместо компресса. Он сейчас придет в себя.

Действительно, Распутин скоро пришел в себя и, поднявшись, потребовал снежку и кваску. Умывшись свежим принесенным с улицы в тазу снегом, он вытер-

ся полотняным узорным полотенцем, снятым Эльгой с образов, и стал жадно пить прямо из горлышка графина поданный ему квас.

— Ух, как меня разобрало. Сшалел я. Насилу отошел, и сейчас шумят угары в голове. Ну, спасибо, милка, за угошенье. Пора и ко дворам...

Распутин нащупал ногой единственный свой бот, надел меховую шубу и, поцеловав Эльгу в щеку, направился к выходу. В дверях он обернулся и крикнул Эльге:

— Приезжай ко мне, милуша, на Гороховую. Авось сговорчивей будешь. Только мотри не ошибись номерком, не в ту баньку попадешь...

Полковник Шведов и я проводили Распутина до автомобиля. Влезая в него, Распутин поглядел на морозное звездное небо с запрокинутым серебряным ковшом Большой Медведицы и сказал, позевывая и крестя рот:

— Сохач встал на дыбки. Светать скоро начнет. Нонешний год урожайный будет, лед замерз темный, и куржак на деревьях. Скажи шоферу, пушшай меня в Царско Село везет, в мавзолей (он сделал ударение на «о» — шобфер и мавзблей).

Захлопывая за Распутиным стеклянную дверцу, я заметил оттиснутую на автомобиле золотом литеру «Д» с короной наверху.

XXV

ФАЗАН С ЦАРСКОЙ ОХОТЫ

Ледяная гладь залива застыла зеркальным катком и блещет под холодными полуденными лучами низкого, полярного солнца. Еще не лег жесткой коркой снеговой наст, не навьюжило сугробов, еще не нашвыряли льдин теплые западные штормы — ровная стеклянная поверхность кажется нарочно отлита для тройного алмазного резца, для безудержного скольженья некрещащихся зимних яхт. Редкостная золотая пора для буерного спорта: вобрав морозный ветер в полог заиндеветшего паруса, перепархивая через полыньи, можно нестись мимо Лисьего носа вдоль финских берегов далеко, далеко на запад, к Биорне и Ганге, туда, где в соле-

ных майнах зимуют обледенелые дредноуты и миноносцы...

Медленно развивая ход, выплывает буер из-под берега Крестовского острова. Рулем правит полулежа Комаров. На легкой деревянной решетке, на ковре, прикрывшись меховыми дохами, лежат Гумилев и Эльга. Лед под солнцем блестит так, что больно глазам. Дует резкий, пронизывающий ветер, но мне тепло от тела прильнувшей Эльги. Несколько буеров идут нам наперерез, не то сопровождая, не то обгоняясь. Я люблюсь их ходом: совсем как яхты, только без крена и без струи воды под носом, изредка разве при повороте забелеет под рулем у конька легкое ледяное кружево.

Скоро мы оставляем их позади и выходим на середину залива.

— Вы не замерзли? — спрашивает Эльга. — Не хотите ли чаю с ромом?

Гумилев достает термос, и мы все по очереди вслед за Эльгой делаем по несколько глотков. Сразу же становится тепло, хочется лежать неподвижно и дремать под скрежет коньков и убаюкивающее потряхиванье. Вдалеке виднеется не то Стрельна, не то Петергоф. Буер начинает лавировать, меняя галсы, и останавливается, врезавшись в снежную косу у низкого лесистого берега. Неприятно покидать нагревшееся меховое логово, вылезать на мороз и ветер.

Комаров остается у буера, Гумилев, Эльга и я на лыжах забираемся на берег. Они оба скользят очень легко, едва касаясь снега, я же цепляюсь, спотыкаюсь и отстаю.

Скоро мы вышли из мелколесья к широкой сосновой просеке. Гумилев взобрался на бугор и затрубил в охотничий рог. Ударяясь о сосновые стволы, мелодичный тугой звук звонко прокатился по лесу и замер в густом синем ельнике. Гумилев протрубил еще раз и прислушался. Издалека, из-за ельника, слабо отозвался ответный рог, который можно было бы принять за эхо, если бы не сопровождающее его еле слышное заливчатое собачье тявканье. Перекликаясь, звук стал приближаться, и вскоре из ельника выкатился человек на лыжах, в остатках формы не то лесничего, не то егеря, в финской шапке с наушниками, с ружьем и двумя гончими собаками на смычке.

Переговорив о чем-то с Гумилевым, он повернул

обратно в лес. Мы последовали за ним, стараясь не отставать.

Несмотря на мороз, небо у темно-зеленых проволочных верхушек сосен и елей какого-то удивительно густого, теплого синего цвета, точно крымское, и мреет вихревым фиолетовым куравом, точно в зной на хребте Яйлы. Лесная тишина нарушается только скрипом лыж да треском стреляющих от мороза стволов. Даже гончие смолкли и, зазябнув, вместо лая выпускают из горячих красных ртов клубы пара.

Шедший впереди егерь приостановился. Собаки обнюхивали ямку в снегу, вокруг которой темнели следы крови и валялись птичьи перья.

— Лиса, стерва, сожрала тетерева, — сплюнув, пояснил егерь. — Ну, попадись только мне, длиннохвостая.

Низкое, декабрьское солнце, побагровев, уже спускалось к горизонту и от малиновых стволов сосен упали на снег лиловые балки теней, когда мы подошли к лесной сторожке, запрятавшейся в сплошной заросли молодых елок. Егерь нажал щеколду и, открыв дверь, пропустил нас в горницу, поставив наши лыжи стоямя у стенки снаружи.

Внутри было темно, низко и тесно, как в деревенской бане, и пахло овчинами, дегтем и псиной. Почти половину помещения занимала большая русская печь с лежанкой. В ней еще теплился огонь, и егерь подбросил охапку сухого елового хвороста, который тотчас же ярко вспыхнул и осветил бревенчатые стены с иконкой Николая Чудотворца в углу, с чучелом рогатой головы лося и фотографией под стеклом в рамке. Под головой лося я прочел на медной дощечке дату великокняжеской охоты, а на фотографии перед двумя тушами убитых лосей узнал характерную долговязую фигуру Великого князя Николая Николаевича и среди солдат-егерей — нашего хозяина: то же усатое фельдфебельское лицо, только много помоложе. Егерь пододвинул к печи деревянную лавку, приглашая нас сесть пообогреться, потом отцепил от пояса убитого зайца и, отрезав ножом у мерзлых лапок пазанки, бросил их, цыкнув, собакам, которые улеглись грызть их в угол за печкой.

— Придется обождать, ваше высокоблагородие, пока солнце сядет, а то он в руки ни за что не дастся.

Говорит егерь почтительным тоном старого вышколенного служаки, но с сознанием собственного достоинства — и не с такими, мол, людьми дело имели.

— Прежде этих самых фазанов тут сотни водились. Придут, бывало, их императорское высочество, десятка два сразу настреляют. Потому уход был, присмотр и корма хорошие. А теперь всех распугали. Которые с голоду подошли, которые померзли, которых лисы поели. Почитай только и остался один мой фазанник, да и в ем одни последки. Кабы не ваше дело такое, нипочем бы не отдал.

Сидеть в тепле пришлось недолго. Егерь докурил трубку и вынул из кармана серебряную луковицу призовых часов.

— Пора, ваше высокоблагородие... Тубо, — цыкнул он на поднявшихся было собак.

Мы с Гумилевым вышли вслед за егерем, оставив Эльгу греться у печки вместе с двумя гончими.

Уже свечерело, и желтый отсвет заката мешался с голубым блеском наливающегося серебром месяца. Поскрипывая снегом, пошли мы по тропке через ельник к поляне, где виднелись какие-то строеньица, похожие на птичник. Егерь велел нам остаться на опушке, а сам пополз, осторожно раздвигая мохнатые ветви. Минут через десять он вернулся, дежа в руках бьющуюся тревожно птицу, оперенье которой и в сумерках отливало драгоценным металлическим блеском.

— Давайте сюда сетку, ваше высокоблагородие.

Егерь осторожно засунул в сетку фазана, заправляя неумещающийся длинный хвост. Потом завернул сетку в холщовый мешок и осторожно, стараясь не трясти, понес к сторожке.

Обратно к заливу мы пошли в сопровождении вызвавшегося нас проводить егеря. Он скользил на лыжах, хотя и быстро, но так ровно, что сетка у него на боку почти не тряслась и фазан не трепыхался. Идти было светло, как днем, от мерцания снега и голубого света луны с туманным кольцом вокруг на аспидно-синем небе. Иней на хвое искрился, как посыпанная блестками вата на рождественских елках. Разреженный, морозный воздух, казалось, улетучился, оставив легкую, эфирную оболочку вокруг серебряной земной поверхности.

Вдруг егерь пронзительно свистнул, точно призывая

оставленных в сторожке собак. По бугру метнулись, отрываясь друг от друга, две голубые тени, похожие на собачьи, и вспыхнули красноватые огоньки.

— Волки,— сказал егерь.— Не опасайтесь, ваше высокоблагородие, не тронут. Им не до нас. Они теперь свадьбу справляют. С Крещенья — самая волчья Красная Горка. А ежели что, так у нас ружье есть. Да и волк мелкий, польский. С фронту набежал...

За опушкой блеснули окутанная вуалью лунной дымки ледяная гладь залива и багровый, точно бакен, свет костра, разожженного Комаровым. Егерь передал Гумилеву сетку с фазаном, наказав идти осторожно и не ушибить птицу, и, пожелав нам счастливого возвращения, повернул обратно в чащу.

Загасив костер снегом, мы откатали буер от снежной отмели и тронулись в обратный путь. Ветер спал, и буер пошел значительно медленнее. Лежа под голубым заиндевевшим парусом, я укрылся с головой в одеяло и, согревшись, задремал. Мне примерещилось два не то кошмара, не то миража. Мне чудилось, что я проснулся от страшного грохота и гула, точно под нами треснул лед. Эльга, стоя у паруса, что-то кричит, но слов ее разобрать невозможно. Гумилев и Комаров, хлюпая водой, селятся стащить с места буер, засевавший около кучи темных навороченных льдин. Со стороны Кронштадта гудит канонада и, пересекаясь клинками, неистово рубят темноту белые мечи прожекторов. В свете одного из них я увидел делающие перебежку цепи сгорбленных людей в белых балахонах, похожих на мертвецов в саванах... Второй раз мне снилось, что за буером гнались, шаркая о лед гвоздями когтей, волки. Один из них вспрыгнул на буер и ухватился зубами за сетку с фазаном, а другой, с дымящейся лиловой пастью и вздыбленной, голубой, как у песка, шерстью, вцепился жгучими, как порезы стекла, зубами мне в ногу.

— Вставайте! — трясет меня за плечо Эльга.— Мы приехали.

Я вскакиваю, чувствуя, что правая нога у меня затекла и замерзла, высунувшись из-под ковра, и вижу, что буер стоит у яхт-клуба на Крестовском острове.

БУТЫЛКА С КРЕЩЕНСКОЙ ВОДОЙ

— Это я, Варечка, — Эльга Густавовна. Отворите. Григорий Ефимович дома?

Дверь (с оборванной обивкой из лилово-малинового, камилавочного цвета войлока на медных гвоздиках и желтой толстой, как костяной набалдашник, кнопкой звонка слева) слегка приоткрылась на железной цепочке, и в просвете щели показалась девичья голова, повязанная белой коленкоровой косынкой.

— Папенька отдыхают. Не велели никого принимать.

— Ничего, Варечка, меня он примет. Я посижу, пока он не проснется.

Эльга ласково поздоровалась с девушкой, поцеловав ее, но не в губы, а в лоб.

— Ну что, как ваше здоровье, Варечка? Лучше? Все кашляете?

Девушка действительно закашлялась сухим горловым кашлем. Когда она отняла платок от губ, на нем выступило темное, похожее на кровавое, пятно.

— Это младшая дочка Григория Ефимовича, — шепнула мне Эльга. — Бедняжка в последней стадии чахотки. Только и держится внушением отца.

Девушка — высокая и тонкая, со смуглым простым миловидным лицом и с выразительными глазами, напоминающими распутинские, но только пугливыми, избегающими встречного взгляда. Белая косынка и передник делают ее похожей на сестру милосердия или прислужницу в храме.

В комнате, куда она нас провела (направо, с двумя окнами во двор), — полный беспорядок: на столе — остатки еды и закусок, винные бутылки, недоеденные куски тортов, недопитые стаканы и рюмки, разбросанные окурки папирос; на полу — осколки разбитого стекла и следы рвоты, в которой валялась выпавшая роговая шпилька.

— Извините, Эльга Густавовна. Не успела прибрать. Вчера у папеньки были гости.

— Ничего, ничего, Варечка, не беспокойтесь. Мы здесь посидим в сторонке, подождем.

Эльга о чем-то пошептала с девушкой, и та, еще раз закашлявшись, скрылась в прихожей.

На цыпочках Эльга подкралась к неплотно затворенной двери в соседнюю комнату и, сделав мне знак рукой, шмыгнула в темноту.

Спустя несколько минут оттуда послышалось тяжелое скрипенье кровати и испуганный окрик Распутина:

— Кто тут? Што надоть?

Потом тон голоса сразу переменялся на радостный.

— Елька! Огонь-девка! Приехала, не омманула...

Распутин заговорил тихо, в чем-то убеждая Эльгу, и вдруг выкрикнул кликушески-страстно:

— Пошто мучишь? Доколь я коло тебя ходить буду?

Послышалась возня, и в столовую выскочила Эльга, за ней, ударившись о косяк, ввалился бледный взломаченный Распутин в парчовой серебряной рубаше с расстегнутым воротом, без пояса, в черных плисовых шароварах и цветных носках. Попав сразу на свет, он очухался и бросил преследовать Эльгу.

— А, и ты, дрючок, тута. Сидишь, окарауливашь, — недовольно и презрительно обратился он ко мне, потом с раздражением начал выговаривать Эльге.

— Ты што забываешься! Дерешься, царапашься, ровно кошка. Вишь каку рябину отпечатала перстнем у глаза. Ишь кака фря, недотрога. И почище тебя фреины под меня ложились. Самою царицу на руках носил, прижимал, целовал... Злюсь я на тя. Пошто любви моей чурашься? Все заповеди покорны любви. Одна любовь и существует на свете. Душа без любви, что колокол без серебра.

Распутин, видимо, поостыл и, икая, тяжело опустился на стул около Эльги.

— Ну ладно, ладно. Не ластись. Будь по-твоему. Не хошь ко мне в ондельну горницу, давай тута толковать о деле при свидетелях. Опосля отблагодаришь. Привезла, што ль, подарок-то? Показывай.

Эльга вынула черный футляр с бриллиантовыми серьгами. Распутин взял своими толстыми пальцами одну серьгу и, сощуриив глаз, начал ее рассматривать на свет. Он забыл про свой припадок страсти к Эльге и весь отдался созерцанию крупных бриллиантов. Теперь это был уже не бесшабашный гуляка, хлыст, а скарденый, хищный мужик-стяжатель.

— Сколь каратов-то в их? Пятьдесят тыщ, говоришь, стоят. А не фальшивые они, не поддельные? Мотри, надуешь, тебе ж хуже будет... Ну, ну, не обижайся. Знаю, не омманешь.

Распутин со вздохом бережно положил серьги в футляр.

— Эх, сколько я этого добра переслал в Покровское к Федоровне. Горы цельные, мебель, ковры, пьянино, картины, посуда серебряна, хрусталь, золото. И денег поболее сотни тыщ лежало в банке. Все сожрала проклята корова фараонова — революция... Ох, горе мятущимся и несть конца.

Распутин с досады сплюнул и хлопнул широкой ладонью по столу, отчего вся посуда зазвенела, а одна недопитая бутылка упала и разлилась на скатерть.

— Тужи не тужи, толк один. Давай лучше уговор кончать. Помнишь, што я тебе сказывал про мужичью мучку-то? Так вот, спосылай парня за ладанкой. Достанете, ваше счастье, нет, поминай, как звали... А к царю я тебе напишу скороспешну записку и водицы крещенской пошлю ему в подарок. Эй, кто там?

В столовую вошла Варвара.

— Почему сама идешь? А чесменски богаделки где? Небось, все по церквам шатаются... Кака ты у меня фуденькая. Кашляешь все? Ну, ну, ничево, сейчас отойдет.

Распутин положил руку ей на голову и ласково заглянул в глаза. Девушка перестала кашлять и застенчиво улыбнулась.

— Поди принеси чернила, да достань из-за кивота бутылку с крещенской водой.

Девушка принесла чернильницу с пером и листок почтовой бумаги, потом еще раз вышла и вернулась с бутылкой из-под водки.

Распутин взял бутылку, заткнутую тряпочкой, и посмотрел на свет.

— Вишь кака чиста, ровно водка. Пятый год стоит и не мутится. Особенная водица, благодатная. Из пролуби, куда меня с мосту бросили, Варвара зачерпнула. Господи, сними тяготу связи земной.

Он перекрестился и поставил бутылку на стол. Потом раздвинул посуду, неловко захватил в толстые пальцы ручку, обмакнул ее в чернила и начал медленно, со вздохом, точно священнодействуя, царапать

большие каракули. Окончив писать, подпер голову рукой и задумался.

— Невероятно это даже. Предупреждал я их. Ежели меня не будет, и вас не будет, кака моя смерть, така и ваша. Вот и вышло по-моему. Одним керосинцем миропомазали нас на Цар тво Небесное... А ты думаешь, мне не обидно? Всю жизнь бился, хоть бы бисеринку посеять истины. Пошто они меня позорили, жгли, как Гришку Отрепьева, и мавзолей мой (он сделал ударение на «о» — мавзоблей) рушили... Все венцы, значит, кровью достигаются... Ну, бери записку-то и бутылку. Самому ему в руки отдашь. А птицу не забудь зерном покормить с креста. Христос с тобой. Опосля сосчитаемся. Чать еще будешь у меня... Недужится мне седни после вчерашнего.

Он облобызал Эльгу в щеку, но провожать нас не стал и ушел в темную комнату. Когда мы вышли на лестницу, Эльга по моей просьбе показала мне записку Распутина. Наверху стоял крест, а под ним розвальни каракуль:



Папе маме алеши
Ольги Татьяне Марии Анастасьи

*Испейте водицы хрещенской исцеление язв огненных венеч
ваш и покой получите Единакупно с вами енергично мо-
люсь Господу*

Григорий Распутин-Новый

XXVII

ЛИВАДИЙСКИЕ РОЗЫ

— Но где яхта? — беспокоится Эльга. — Уже половина первого ночи...

Трудно поверить, что полночь. Не то золотой вечер, не то розовый рассвет. Только на короткое время, в промежутке между двумя зорями, набежало что-то похожее на легкие сумерки — полутень, полу гла, завуалировавшая сиреневое, перламутровое небо. Западная половина неба еще горит непогасшей вечерней зарей, а на востоке уже занялась утренняя, золотисто-палевая, необычайно нежная по своим цветам и оттенкам.

Не с этой ли небесной палитры брали в старину краски новгородские иконописцы?

Петербургский парк безлюден, не слышно птиц, неподвижна листва, деревья не отбрасывают теней, только пущенные зачем-то фонтаны бьют, как во время гулянья.

— Есть... Ошвартована у пристани. Идемте к берегу...

И Комаров показывает в сторону моря, закрытого от нас зеленью и фонтанной пылью. Под пригорком дворцовой площадки в широком бассейне на каменной глыбе великан Самсон раздирает мощными руками пасть льва, изрыгающего фонтаном китовую струю. Позолота с плеч Самсона пооблезла, и он кажется уже не золотым, а вымазанным желтой глиной. Некоторые обнаженные статуи еще блещут золотом, другие уже покрылись зеленоватой окисью. От розового дворца к взморью тянется водная аллея-канал, обсаженная голубыми елями и стеклянными гейзерами, бьющими из замшелых камней. Берег речной, низкий, поросший осокой, совсем не морской. Впрочем, и вода здесь пресная, невская, с легкой, почти незаметной примесью горько-соленой лазури. Пристань деревянная, некрашенная, на сваях, похожая на большую затонувшую баржу с грузом камней.

— Раньше здесь была прекрасная пристань, но ее разбило в наводнение 1924 года, — поясняет, как бы извиняясь за беспорядок, Комаров.

Ошвартовавшись пеньковыми удавами канатов о деревянные тумбы, как волжский теплоход, неподвижно, без качки стоит у пристани щегольская паровая яхта с высоким вызолоченным, как у цезарских галер, носом: «Полярная Звезда». По трапу вслед за Комаровым всходим на лощеную, как бальный паркет, палубу. У Эльги — кожаный ручной саквояжик, у Гумилева же — сетка вроде ягдташа, в которую зачем-то завернут трепещущий фазан.

Яхта такая же безмолвная, золотая и загадочная, как эта летняя белая ночь. Приглушенно, еле слышно пульсирует машина, тихо бурлит винт, газовой вуалью стелется дымок из черной трубы, застыл в стеклянной рубке рулевой, и только изредка молчаливо пробегают растрепанные молодцеватые матросы. Кажется, что они неподвижны и это отплывает, удаляясь, зеленый

кит берега, брызгая из золотой ноздри струей фонтанов.

Гумилев выпустил на палубу спутанного сеткой фазана, который выпрямляется, отряхивает перья и осторожно пробует двигаться. Я рассматриваю его роскошное червенно-радужное оперенье, и он кажется мне драгоценным слитком, осколком сказочной северной ночи. Фазан вытягивает свою крошечную зелено-голубую головку с жалом белого клюва и пристально, позмеиную смотрит на меня стеклянными светло-желтыми глазами из очкообразных малиновых подглазников. Белое кольцо на его шее у зоба намечает как бы место для удара косырем — если бы фазанам рубили головы, как курам. Фазан, точно уловив мою невольную мысль, попятился от меня, выправил свой крышеобразный раздвоенный на конце хвост и стал рвать шпорами ног опутавшие его тенета.

— Не надо его нервировать. Он еще нам пригодится, — остановила меня Эльга.

Яхта прошла мимо Кронштадта неподалеку от стоящего на рейде дредноута, похожего на огромный стальной утюг. Чудовищные хоботы 15-дюймовых орудий заворочались щупальцами, и двое матросов опрометью бросились приспускать в знак приветствия великобританский флаг. В бинокль я разглядел надпись на борту. «Queen Mary» * и вспомнил, что вот так же стоял этот дредноут из эскадры адмирала Битти около Кронштадта летом, накануне войны, когда я на парусной яхте из Стрельны ездил его осматривать. Вместе с ним были «Lion» ** и «Tiger» ***. Кто из них (уж не «Queen Mary»?) погиб потом в Ютландском бою?

Нос яхты золотым волнорезом рвет по шву голубовато-молочную ткань залива. Вода тяжелеет и становится зеленой, более похожей на морскую, потом начинает синеть. Нежные тона неба тоже меняются и превращаются в более густые, теплые. Струя воздуха теплеет не по-северному. Да и на севере ли мы? Разве это белая ночь?

В подтверждение моих сомнений из клокочущего

* «Королева Мария» (англ.).

** «Лев» (англ.).

*** «Тигр» (англ.).

нарзана под золотым волнорезом выпрыгивает голубоватая спина дельфина. Он резвится, играет и кувыркается, работая лопастями хвоста, как винтом, и состязаясь в скорости с яхтой. Рядом с ним выныривает второй, и игра делается еще более резвой, оживленной. Вдалеке на красновато-золотистом фоне зари вырисовываются мраморным акрополем лиловые очертания горного берега.

— Вы не догадываетесь, где мы сейчас находимся?

— Нет.

— Скоро будем подходить к Ливадии. Узнаете Ай-Петри? А вон там правее белеет Ялта.

Вдоль берега наперерез нам быстро идет небольшое военное судно — крейсер или миноносец. С бортов его взвиваются дымки орудийных выстрелов, тяжело, как валеки, хлопающих о воду.

— Не бойтесь! Это холостые выстрелы, — поясняет Комаров. — Салют желтому с орлом штандарту в Ливадии. Тридцать один выстрел...

Обложившись дымом, как ватой, отсалютовавшее судно удаляется в сторону Ялты. Яхта приближается к берегу, мы спускаемся в катер и, догоняемые волной прибоя, соскакиваем по сходням на пустынный, заваленный щебнем гальки пляж. Направо громоздятся камнями развалины пристани с уцелевшим домиком, налево среди деревьев белеет облупленная колоннада. Проржавленный чугунный столб фонаря без стекол торчит, как гигантский засохший стебель. Мы поднимаемся по крутой узкой тропе, изредка натываясь на остатки обвалившихся ступеней, и выходим на усыпанную гравием дорогу с каменным водостоком на краю. Одиравший парк напоминает сухое чернолесье. Где-то в овраге шумит вода, и цикады трещат так громко и с такой силой, что их можно принять за дергачей. Светло, небо розовеет, но солнца уже не видно.

Вот и площадка с цветниками перед Ливадийским дворцом — громоздким, безвкусным зданием, напоминающим железнодорожный вокзал. За чугунной решеткой виднеется пустынный внутренний дворик с мавританскими, под Альгамбру, колоннами и крытой галереей, чахлый розариум и каменный фонтан посередине. Напротив — церковь из белого инкерманского камня с высеченным крестом на стене и надписью; сквозь стеклянную дверь видны внутри белые колонны и пус-

той иконостас, паникадило, обращенное в люстру, развешенные плакаты и карикатуры — здесь теперь клуб и уголок безбожника.

На известковом источнике приклеена надпись: «Граждане, берегите воду». Я набираю в ладонь прохладную сладкую струю и жадно пью, стараясь не расплескать. Сзади ко мне тихо подходит какая-то белая фигура.

— Ничего... ничего, пейте досыта. Нам не к спеху, — ласково говорит он мне, когда я отодвигаюсь, чтобы уступить место.

— А вы что, служите здесь?

— Нет, мы тут в санатории пользуемся. А сами мы крестьяне Воронежской губернии... Грудь у меня застуженная. Кашель, и кровью харкаю. Ну, комиссия здравоотдела и отправила меня сюда на поправку.

— А кто же у вас остался на лето хозяйничать дома?

— Жена, сын-парнишка. Как-нибудь обойдутся. Вот подлечусь тут...

— А болезнь у вас с чего взялась?

— Болезнь-то? От белых, значит, от деникинцев прятался я осенью в болотах. Искали они меня, расстрелять хотели. Потому как я был в сельсовете, барскую усадьбу описывал... в девятнадцатом году...

— И много вас тут в санатории?

— Да поболее сотни будет... С разных губерний... Из нашего-то уезда только двое — я да еще один парень...

У него нездоровое, несмотря на загар, лицо, он отхаркивается и мягко шаркает одетыми на босу ногу сандалиями по гравию дорожки, как больной шлепанцами по палате. Он начинает пить, ловя ртом падающую из крана струю, а я тороплюсь догнать своих спутников, огибающих фасад дворца. На крыше мачтой торчит антенна, над воротами надпись красным: «Курзал», в открытое окно видна люстра и портреты Калинина, Рыкова...

— Боже, что они сделали с дворцом! — возмущается Эльга.

За раскидистыми синими елями и веллингтониями в зелени и плюще прячется старый дворец, хотя и построенный под бахчисарайский ханский, но скорее напоминающий уютный помещичий особняк.

По разошедшей скрипучей деревянной лестнице мы

поднимаемся во второй этаж в бывшую царскую опочивальню, где стоят две несуразные деревянные купеческие кровати с подушками и висят пестрые занавеси. В комнате сумеречно, и к затхлому камфарному запаху нежилого помещения примешивается ядовитый аромат цветников, проникающий даже сквозь затворенные окна.

У подножия потертого кожаного кресла на паркете обозначен черный крест. На этом месте умер когда-то Александр III. Здесь покоилось его огромное, тяжелое, раздувшееся от водянки тело, которое потом, набальзамированное бронзой, водрузилось чудовищным конным городовым на Знаменской площади в Петербурге.

— Подождите, надо сначала окропить спальню. Так велел Григорий Ефимович.

Эльга вынула из кожаного саквояжика водочную бутылку с крещенской распутинской водой и несколько раз, как священник кропилом, крестообразно окропила комнату. Потом, наклонившись к кресту на полу, посыпала на него зерен.

— Давайте скорей фазана...

Эльга распутала фазана из сетки и поднесла к кресту. Фазан жадно начал клевать зерна. Когда их больше не осталось, Эльга налила на блюде воды из бутылки и поднесла фазану, который так же жадно стал пить, запрокидывая голову и смакуя по-куриному клювом.

— А теперь скорее в розариум.

Эльга волнуется и торопится, точно боится, что у нее не выйдет какой-то сложный фокус или что ее захватят на месте преступления.

Около дворца по обеим сторонам аллеи виноградником раскинулись цветущие штамбовые розы. Выпущенный на свободу фазан засеменял шпорами по гравии дорожки и исчез, нырнул в колючую чашу. Все молча чего-то ждут и осматриваются. Вдруг Эльга радостно вскрикнула:

— Это он!

Из стеклянной оранжереи вышел невысокий пожилой человек в форме хаки, но без погон, с длинными повоенному закрученными усами и с подстриженной бородкой. Наверное, один из служащих или садовник — в руке у него большие садовые ножницы для

стрижки деревьев. При его приближении Гумилев и Комаров вытянулись, как будто становясь во фронт.

— Здравствуйте, господа! Вы с «Полярной Звезды»? — обратился к нам садовник, жестом показывая, что руки у него заняты и что он не может с нами поздороваться.

— Ваше Императорское Величество, мы явились к вам по поручению Петроградской боевой организации и должны передать вам письмо и посылку от Григория Ефимовича, — торжественно, по-актерски ответила за всех Эльга.

— Письмо и посылку от нашего друга! Он не забывает о нас даже при таких ужасных обстоятельствах. Аликс будет очень рада.

И он, быстро сунув за пояс ножницы, взял из рук Эльги водочную бутылку с крещенской водой и записку с каракулями Распутина.

Неужели этот невзрачный, серый человек в самом деле Николай II — бывший император и самодержец всероссийский? Николай кровавый, последний — еще в отрочестве узнал я эту его пророческую кличку, читая тайком с благоговейным трепетом первую нелегальную брошюру «Отчего студенты бунтуют», данную мне первым моим революционным наставником, чернявым киевским студентом Карлушкой Думлером, приятелем долговязого белобрысого Степки Балмашева, — с ним вместе ездил он зимой на Волгу пробовать браунинг, из которого потом были убит министр внутренних дел Сипягин. Только один раз видел я Николая вблизи — в Петрограде летом, незадолго до революции, на похоронах Константина Константиновича. В парчовых траурных ризах тянулось синодальное духовенство, шталмейстеры в шитых золотом мундирах вели под уздцы тысячных кровных лошадей в роскошных попонах.. А посредине медленно двигавшейся по Гороховой к Петропавловской крепости торжественной процессии, ступая неловко сапогами по мостовой, шел одетый в походную военную форму Николай II. Только редкая шпалера штыков отделяет его от сгрудившейся многотысячной толпы. И солдаты уже не прежние парадные, вышколенные гвардейцы, а бородачи-запасные, всего несколько недель назад согнанные сюда от своих изб и пашен. И казалось, что этой огромной толпе ничего не стоит вдруг сомкнуться, смять тонкое оцепление и раз-

давить своей ходынкой и эту венценосную куклу и ее золотое из эполет и риз окружение...

Желтое, одутловатое, с мешками и гусиными лапками под глазами лицо Николая похоже не на его румяные, подкрашенные портреты, а на карикатуры — такое же армейски-серое, невыразительное. Только иногда при улыбке лицо оживает и несколько напоминает известный портрет Серова. Голос глуховатый, но довольно приятный, слишком твердо и правильно, как по-печатному выговаривающий все звуки.

— Какого вы полка? — спросил Николай Гумилева.

— Лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка, Ваше Императорское Величество.

— А за что получили Георгия?

— За разведку в Восточной Пруссии, Ваше Императорское Величество.

— А вы? — обернулся Николай к Комарову и, увидев на нем нашивки революционного флота, улыбнулся извиняющейся улыбкой. — Впрочем, виноват, у вас нет погон...

— Я участник антисоветского кронштадтского мятежа, Ваше Императорское Величество, — отрапортовал Комаров.

Прогуливаясь по дорожке, Николай стал о чем-то беседовать с Эльгой и Гумилевым. До меня только изредка долетали отрывки фраз. Вдруг Николай остановился и сказал громко и резко:

— Нет, нет! Ради Бога не делайте этого. Не надо больше крови. В Екатеринбурге тоже было так — анонимное письмо с обещанием помощи, и потом вместо освобождения...

Николай не закончил фразы, он казался взволнованным и нервно подергивал плечом.

— Благодарствуйте, господа офицеры, за все ваши старания и хлопоты. Но ваша самоотверженность бесполезна. Теперь уже поздно. Мне больше помочь ничто уже не может, кроме молитв и вот этой крещенской воды от нашего друга. Прошу вас передать мою благодарность команде. Прощайте, господа!

Кивнув головой, Николай повернулся и, подергивая плечом, быстро пошел по дорожке к оранжереям.

С «Полярной Звезды» донесся призывный гудок. Мы торопливо стали спускаться к берегу. Обратный

переезд совершился так быстро, что, когда мы снова очутились среди Петергофских фонтанов, единственным реальным напоминанием о происшедшем осталась сорванная мною в Ливадии большая душистая белая роза с припавшей к венчику изумрудной бронзовкой. Золотая яхта исчезла бесследно, как фазан. Да и действительно ли эта роза — ливадийская?.. Может быть, она сорвана мною не там, на известковых виноградных склонах Яйлы, а здесь, в сыром зеленом Петергофе? Может быть, она, как и все, мною виденное, только болезненное порождение блазнящей белой ночи?!

XXVIII

ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕТЕР

Я проснулся от сильного толчка и с изумлением стал соображать, куда я и как попал. Я лежал на нарах в теплушке, где сквозь талый запах бычьего навоза и пота пробивался острый карболовый запах дезинфекции. Теплушка не двигалась, и через неплотно задвинутую дверцу виднелось плоское снежное поле, откуда дул оттепелью свежий, крепкий ветер. Голова моя болела и кружилась, как с похмелья. Мне смутно припомнилось, что случилось накануне: меня шумно и торжественно куда-то провожали, говорили речи, чокались со мной и качали, потом все исчезло и провалилось в темноту. Последнее, что я помнил, было: подозрительный усатый человек в передней, опрокидывающий стаканчик водки, поданный ему Эльгой, и бледный, с растегнутым у ворота френчем Гумилев, расцеловавшийся со мной на прощанье с напутствием: «Помни, достань во что бы то ни стало мужичью ладанку...» Было ли это все на самом деле или мне только приснилось?..

В отверстие дверцы просунулась голова в солдатской шапке, и в теплушку вскарабкался плотный усатый человек в коротком овчинном полушубке и смазных сапогах, с большим жестяным чайником в руке.

— А, ваше благородие, изволили проснуться. Долгонько же вы проспали, мы уж и от Москвы отмахали верст двести. Не угодно ли побаловаться горячим чайком? Нацедил сейчас с паровоза.

Незнакомец походил на бывшего военного, на крас-

ном обветренном лице его над щетинистым подбородком торчали закрученные стрелкой седеющие черные усы, но в манерах его к остаткам военной выправки примешивалась какая-то вкрадчивая лебезивость и беспокойная сторожка, как у человека, подвергавшегося преследованиям и унижениям. Несмотря на это, в его обращении со мной сквозь внешнюю почтительность сквозила покровительственная фамиллярность, точно я был поручен его попечению. Не ему ли сдали меня пьяного в передней?

Поезд, скрежеща несмазанными колесами и стуча буферами, лениво, нехотя сдвинулся с места, и теплушки запрыгали и затарахтели по стыкам рельс. Мой проводной поставил на ящик чайник, достал из мешка две жестяные кружки, черный хлеб, кусок свиного сала и пяток мороженых антоновских яблок.

— Пожалте к столу, ваше благородие, — пригласил он меня, — не побрезгуйте угощением.

Я попробовал было хлебнуть мутного желтого чая, но от него отдавало пареным венником, а сверху плавал жирный налет нефти. Зато одеревенелое мороженое яблоко съел я с жадностью.

— Отведывайте, ваше благородие, отведывайте, — угощал меня проводной. — Антоновское яблоко, рязанское. Вон и земля пошла рязанская, ровная, как стол, ни бугра, ни оврага. Черноземца только мало...

Я обернулся лицом к ветру и белой равнине, которая, несмотря на движение поезда, так мало менялась, что казалась вставленной в черную раму зимних пейзажей. Там, под этим ватным покровом, навстречу пригревающему солнцу уже тянутся, набирая соки, зелеными луковыми стрелками из преющих борозд озимя, а сверху, по серебряной корке наста и пуховой пороше, намечивают путаные петли следов зайцы, подбираясь к фруктовым садам, где, став на задние лапки, они могут полакомиться нежной корой и порослью молодых яблонь...

Напившись чаю и аккуратно уложив провизию и посуду в мешок, мой проводной закурил махорочную сигарку и долго молча вместе со мной смотрел в пролет откинутой двери. Потом вдруг заговорил, но не столько со мной, сколько выражая скрытый ход своих навеянных февральским ветром мыслей.

— Ненадежный месяц февраль, ветреный, переменный... нехорошую он мне память оставил...

Помолчав и затянувшись едкой пахучей махоркой, он начал неторопливо, обстоятельно рассказывать то, что, видимо, давно наболело внутри и просилось наружу.

— В семнадцатом году случилось в конце февраля, в аккурат об эти самые числа... Служил я в ту пору городовым в Питере при Литейной части. Время, сами помните, какое — военное, смутное. Служба трудная, хлопотная. По ночам облавы на дезертиров, обходы, обыски, а тут еще беспорядки пошли из-за недостачи хлеба. Только вернулся я вечером с наряда, собираюсь к себе на фатеру, вызывают меня к самому приставу. Вхожу это я в кабинет, остановился в дверях навытяжку, по форме, как полагается, а пристав пальцем манит меня к столу и говорит, да не громогласно, а тихо и вроде как бы доверительно: «Ты, мол, Герасимов, у меня на хорошем счету, по службе завсегда рачителен и примерен, и медаль у тебя Георгиевская за Японскую кампанию. Хочу тебе дать ответственное поручение по случаю беспорядков, потому немецкие агитаторы мутят народ, сеют измену и Государственную Думу переманили на свою сторону. Готов ли ты, — спрашивает, — послужить верой и правдой, согласно присяге, нашему Государю Императору Николаю Александровичу?» — и рукой показывает на стену, на царский портрет. «Так точно, ваше высокоблагородие, рад стараться», — репортую по уставу, как полагается. «А умеешь ли ты, — спрашивает пристав, — обходиться с пулеметом?» «Так точно, умею», — репортую, потому что я действительно на военной службе состоял последний год в пулеметной команде. «Так вот, — говорит пристав, — назначаю тебя в секретный наряд. Сегодня в ночь займешь пулеметный пост вдвоем с Пыжиковым на чердаке дома на Литейном проспекте. Как увидишь демонстрации с красным флагом, так открывай по ним стрельбу. В награду обещаю тебе медаль от самого Государя Императора и деньгами из казенных сумм тысячу рублей. Исполнишь в точности приказание?» «Так точно, рад стараться, ваше высокоблагородие», — репортую по уставу, как полагается в таком случае, хоть и взяло меня втайне сумление. Очень уж поручение-то экстренное, щепетильное. Ну, ничего, думаю, обойдемся, отзвоним, и

с колокольни долой, зато награда хорошая. Плохо я тогда соображал, в какую сторону дело обернется и что отсюда выйдет. Пошел я, значит, к себе на фатеру, передохнул, закусил, к двенадцати ночи явился опять в участок на службу. Доставили мы на автомобиле пулемет к дому на Литейном, неподалеку от Бассейной, втащили его по черной лестнице на чердак, так что никто не видел — знал один только старший дворник. Распоряжался всем сам помощник пристава. Дал он нам инструкции, указал, куда поставить пулемет, и велел мне с Пыжиковым оставаться на посту до следующей ночи. Ключи, говорит, я сам возьму и запру чердак снаружи, чтобы не было подозрения, а ночью приеду проверить вас и сменить. Дали нам ведро воды, бутылку водки для тепла да каравай хлеба. Остались мы вдвоем с Пыжиковым в темноте, посидели, покурили — тут скоро светать начало, голуби заворковали. Подтащили мы пулемет к слуховому окну, привели его в боевую готовность, как приказано по инструкции. Дом высокий, как колокольня, весь Литейный на ладонке. Ежели попрут с заводов, с Выборгской стороны на Невский, — в аккурат под наш пулемет, подметай народ начисто метлой до самого моста.

Товарищ мой Пыжиков — старый служака Семёновского полку, ходил на усмирение Москвы с полковником Минком и медаль заработал. Правда, стрелять нам вроде как бы и не пришлось. Народ внизу хоть и скоплялся, но больше, видать, из любопытства, по стенкам жался. Проезжали казаки, солдаты прошли с музыкой. Один раз видели людей с красным флагом, но их оттеснили казаки. Стало смеркаться, ну, думаем, теперь скоро конец нашему сиденью — отзвонили, и с колокольни долой. Только понапрасну мы ждали смены, никто к нам ночью не пришел. Внизу толпился народ, кричали, останавливали автомобили, но что делается — в темноте не разобрать. Вскоре пожар вспыхнул, загорелся окружный суд. На рассвете, глядим, у Арсенала вроде как баррикада цепочкой поперек улицы, пушки по бокам, и красный флаг воткнут. Зачали сновать грузовики с солдатами, кричат и вверх стреляют. Ну, думаем, заварилась каша, не разберешь, кто за что. Поскорей надо слезать с крыши, как смеркнется. Тут повалила толпа с Невского, народу тысячи, впереди солдаты с музыкой, при офицерах, и красные флаги.

А Пыжиков сдурел, что ли, от водки, открыл стрельбу из пулемета. Смотрю, народ разбежался по подворотням, а солдаты с тротуара показывают на наш чердак и целят вверх. Только я пригнулся, посыпались пули по крыше, ровно град. Утихла стрельба, подполз я к Пыжикову. Гляжу, он у пулемета лежит ничком, фуражка свалилась, и кровь течет изо рта. Не успел я Пыжикова прощупать, слышу, в дверь ломятся. Отскочил я в сторону и забился в темный угол за балку. На подловку вошли солдаты с винтовками, все обвешаны пулеметными лентами, с ними старший дворник. Увидали пулемет и убитого Пыжикова, давай дворника пытаться. Что же ты, мол, сказывал, что пулемета нет? Значит, ты заодно с полицией против народу? Дворник запирался и божился, что ничего не знал, но они его не стали слушать — разом прикончили. Пошарили по чердаку, взвалили пулемет и ушли. Осталось нас лежать трое — двое покойников, да я третий, тоже вроде как смертник. Лежу, дыханье затаил и слышу, как голуби опять заворковали. Ну, думаю, лежи не лежи, все одно ничего не вылежишь, окромя смерти. Вижу, никого нет и дверь на лестницу настежь. Стащил я одежду с мертвого дворника, переоделся и на лестницу. Только спустился на один пролет — навстречу баба с бельем. Приняла меня за дворника, спрашивает — открыт ли чердак, можно ли белью развешивать? Открыт, говорю, можно. А сам кубарем вниз. Грохнется сейчас, думаю, глупая баба, да завопит на весь дом. У ворот никого не было, вышел я на улицу и смешался с народом. Тут только я узнал, что, куда я там сидел на чердаке, внизу все перевернулось, и царя больше нет, и участок наш сожгли, и пристава увели под конвоем в Государственную Думу. Недели две я мотался по улицам, как неприкаянный, в ночлежках ночевал с галахами. Долго боялся идти и открыться, кто я. Хорошо, ежели арестуют, а как убьют на месте, мало ли нашего брата перебили тогда в феврале. Так все вещи и пропали у хозяев. В чем есть остался, как погорелец...

Затянувшись последний раз и сплюнув, он отбросил докуренную сигарку и смолк, задумчиво уставившись, как в огонь костра, в зелено-желтое пламя заката, выпыхнувшее из-под свинцовой заслонки низких, талых облаков.

Под впечатлением ли его рассказа или от шалого

шума февральского ветра передо мною замелькали обрывки воспоминаний о Февральской революции... Жуткие ночные тупики улиц, погашенные фонари и витрины магазинов, подозрительно куда-то затаившаяся, как накануне погромов, полиция, жмущиеся к подворотням кучки народа, разговоры о стрельбе на Невском, летучие слухи и томительная неизвестность.

Разгромленный, дымящийся изнутри пожаром особняк министра двора Фредерикса, а напротив — притихшие казармы Конногвардейского полка. Два бородатых сорокалетних солдата с винтовками, запасные последних годов или ополченцы, просят прикурить. Они ночью ушли из казарм, целый день ничего не ели и еще не знают, как их примут обратно.

— Ну, на сегодня наша взяла, — говорит один из них, поглядывая на пожарище.

— Вот этих бы голых еще смазануть, а то срам смотреть на них, — указывает другой на две обнаженные античные фигуры юношей с белыми конями на копыеносных воротах конногвардейских казарм.

Газет еще нет, но сообщение об отречении Николая уже расклеивается на углах. К Таврическому дворцу начинают тянуться первые манифестации, преимущественно военные. Я примыкаю к проходящему с музыкой, с красными флажками на штыках запасному батальону Преображенского полка. Дорогой нам попадается пристав, которого под конвоем ведут к Думе. Он без погон и без фуражки, смотрит растерянно и испуганно, как пойманный на базаре карманник, боящийся самосуда толпы. Из-под колонн Потемкинского дворца выходит приветствовать явившихся преображенцев Родзянко. Дородная, представительная фигура председателя Государственной Думы выпукло выделяется на возвышении за решеткой неподвижных штыков, и до меня доносятся бархатные раскаты его барского баритона, звучащего здесь на улице несколько слабо и разреженно.

Родзянко машет своей котиковой шапкой и кричит «ура», подхваченное солдатами, потом обходит фронт и здоровается за руку с офицерами...

А на обратном пути на Литейном у Бассейной среди манифестации — паника. Кучка солдат усиленно обстреливает крыши, говорят, что надо обыскать чердаки, что там засела с пулеметами полиция. Эти расска-

зы о пулеметах, найденных на чердаках, казались мне тогда легендой, и теперь эта осыпанная весенним градом пуль февральская легенда ожила передо мною снова...

Стало смеркаться, и ветер усилился. Он налетал порывами, шквалом, слясь затормозить движение поезда и сбросить вагоны под откос с насыпи, выдувая ничтожное количество тепла, скопившегося между тонкими дощатыми стенками теплушки. Пришлось задвинуть дверцу и улечься на жесткие нары, в темноте снова запахшие бычьим навозом и карболкой, запахами, пережившими и мычание быков, доставленных на бойню, и стоны больных, снятых в сыпнотифозных бараках.

XXIX

В ДАЛЬНОМ ПОЛЕ

Тамала!

Небольшая станция на стыке Тамбовской и Саратовской губерний, славившаяся своим продотрядом, беспощадно отбиравшим муку и продовольствие у мешочников и пассажиров.

Здесь снег уже сошел и повсюду стелется черная, жирная, как тина после полой воды, земля. В голых дубовых перелесках галдят и суетятся грачи, и скот уже бродит по влажным выгонам, выщипывая показавшуюся молодую траву и первые желтые цветы. В парном нежарком воздухе проветриваются и просыхают изголодавшиеся по янтарному пшеничному зерну бетонные закрома элеваторов.

Ртищево... Аткарск...

Покатая бурая равнина вздулась и заморщилась. Показались похожие на караван перепеченного хлеба лысые бугры с лощинами буераков и оврагов — начало Приволжской возвышенности. Там, где-то за сиреневым горизонтом, вбирая в себя несчетные мутные потоки полой воды, разлилась на десятки верст по займищам и поймам Волга. В бьющем нам навстречу теплом юго-восточном ветре даже как будто доносится свежесть широкого водного пространства.

Я стоял, прислонившись к дверце, и вдруг неожиданно для себя вылетел наружу, точно от сильного пре-

дательского толчка в спину. На мгновение увидел я под собой крутой скат железнодорожной насыпи с деревянным шлюзом для стока воды и ветлой около, потом несколько раз, как подстреленный на скаку заяц, перевернулся кубарем и покатился вниз. Последним моим ощущением было теплое мягкое прикосновение взрыхленной весенней земли, в которую я уткнулся лицом, потеряв сознание.

Когда я очнулся, боли в теле не было, только какое-то тупое онемение. Я лежал на спине на подостланном овчинном тулупе и слушал переливчатую радостную трель. Казалось, это пели не жаворонки, а мельчайшие частицы воздуха перетирались и издавали мелодичные, хрустальные звуки. Я вспомнил, что со мной случилось, пошевелил осторожно руками и убедился, что могу двигаться. Подле стояла распряженная телега, их по дороге было разбросано более десятка, целый табор, на небольшом расстоянии друг от друга, а кругом, ползая по пашне, как муравьи, со своими лошаденками, пахали, бороновали и сеяли мужики. Худая шелудивая собака, похожая на овчарку, с клочьями облезлой жесткой шерсти, вылезла из-под телеги и обнюхала меня, дружелюбно помахав куцым, как курдюк, хвостом. Один из ближайших пахарей, сивобородый невысокий старик в широкополой шляпе, довел борозду до конца, вытряс соху и подошел ко мне.

— Никак ожил, парень. А мы уж похоронили тебя. Хотели было в больницу доставить, да, думаем, время горячее, самый сев, что понапрасну гонять лошадь. К вечеру, мол, свезем в сельсовет да составим протокол. Ты што ж, с поезду, што ль, свалился? Нонче ехали мужики в Дально поле, нашли тебя на картовнице, край насыпи. Подумали спервоначалу — убитый, да крови ниде нет.

Словоохотливый старик осмотрел меня испытующе, словно желая убедиться, действительно ли я цел, потом замахал рукой и крикнул:

— Эй, Семен! Ожил твой упокойник-то!

На зов старика никто не откликнулся, но спустя некоторое время, неторопливо докончив работу, около нас собралось несколько мужиков. Они расспросили меня, как я упал, откуда и куда ехал. Потом, пользуясь передышкой, стали крутить и курить махорочные цигарки, разговаривая о своих делах.

— Я пшеницу зарекся было сеять навовсе. Гольный убыток. Три года кряду насилу семена собрал...

— А все калача охота проотведать...

— Знамо охота. А только знашь пословицу: рожь кормит сплошь, а пшеница, когда хошь...

— Ну, нонешний сев хороший. Земля, как творог. Соку много, на борозду смочило. Вон и птица играет, опять дождь будет...

— Уж больно липуча, измаешься палицу обивать. Старики-то правду говорили: сей хоть в золу, да в пору...

— Никак шаргать пора. Вон и солнце на маяке. Должно, уж полдень.

— А ты по-пензячки, по лапотным часам. Видал, как Петька-пензяк мерит время? Станет, отчеркнет тень, смерит, как шесть лаптей — значит полдень...

Все разошлись по своим загонам. Остался один только Семен, подобравший меня молодой мужик, лет тридцати шести. У него худое, муругое, обветренное лицо, но довольно приятное, пожалуй, даже красивое, если присмотреться. Правильный нос с горбинкой, темные брови с глубокой складкой посредине; серые суровые, не улыбающиеся глаза; усы закручены по-солдатски; вместо бороды давно не бритая щетина.

— Как вас зовут-то? Михал... А по батюшке? Лексаных... А меня Семен Палых... Ну вот што, Михал Лексаных, подсаживайся, давай пошаргаем. Што тут нам баба положила...

Он дал лошади овса в торбе, потом, порывшись в телеге, достал ломоть ситного ржаного хлеба, два соленых огурца, солдатский бачок с пшенной кашей пополам с варенцом и деревянную ложку.

— Хлебец-то подобрался, — пояснил он, как бы извиняясь в недостатке хлеба. — Экономить приходится до нового.

После еды он нацедил из бочонка в телеге воду в жестяную кружку, напился и предложил мне:

— Нате испейте. Вода у нас жилогоя, сладкая.

Напив из ведра заржавшую лошадь, он опять принялся за работу. Внимание мое привлек давешний сивобородый старик. Подвязав на шею веревкой ведерко, он захватывал пригоршню зерна и золотым веером разбрасывал ее между заскорузлых пальцев по пашне попеременно в обе стороны, пропуская один шаг, под пра-

вую ногу. Выпрямившись и точно увеличившись в росте, легко и медленно ступал он новыми лаптями по черноземному бархату, и в его поступи и широком щедром жесте чудился простой и выразительный ритм тысячелетий: золотая разгадка смертей и рождений.

— Лешишь, дедушка Мирон! — крикнул ему проходивший мимо по дороге чернявый цыганистый мужик в дырявом зипуне. — Бог на помощь!

— Это у нас лехá называются, когда рассеваешь. Дорожка така золота из семенков, — пояснил мне словоохотливый дед Мирон, высеяв ведро и начав опахивать сев сохой, в то время как мальчишка бороновал верхом на жеребенке.

От большого лысого бугра, который мужики называли шиман, протянулась по ложине длинная лиловая тень. Солнце коснулось горизонта и, глубоко всадив в землю сверкающий лемех, потухло. Сразу похолодало и стало смеркаться. Мужичий табор гуськом двинулся ко дворам, подобрал в телеги сохи или волоча их на волокушах вместе с перевернутыми зубьями вверх боровами.

Когда мы взобрались в гору, совсем стемнело и поперек всего неба засияла широкая звездная леха Млечного Пути.

— А вот и наш выселок, — ткнул кнутовищем в темноту Семен Палыч. — Непочетовкой прозывается. Прежде тут выгон был. Старики сюды выселяли в наказание.

С трудом перебравшись через гать плотины, где в каузе водопадом шумела вода, мы въехали на топкую широкую улицу с редкими огоньками.

XXX

НЕПОЧЕТОВКА

Во многих деревнях есть такие выселки, где мир отводил участки беднякам новоселам и куда старики выселяли неуважительных сыновей в наказание за ослушание, за «непочет». Отсюда и название Непочетовка. Места эти обычно новые, целинные, менее удобные для поселения, где все приходится заводить сначала. Такова же и та Непочетовка, куда меня привез Семен

Палыч. Расположена она на самом бугре у выгона, в сторонке от села, раскинувшегося со своими садами и огородами в ложбине у пруда. Зимой здесь дует вовсю буран, а летом самый припек и вихри пыли из степи. Колодцев на горе нет, и за водой приходится ездить с бочкой или далеко ходить с коромыслами. На огороде без полива растут хорошо только тыква да подсолнухи. Избы в Непочетовке бедней и меньше, чем в селе; у некоторых нет даже дворов. Видно, что хозяйством начали обзаводиться недавно и еще не обстроились.

Изба у Семена Палыча получше, чем у других, крыта тесом, с крашеными ставнями, но тоже какая-то недостроенная, наскоро сколоченная, необжитая — «временная», как поясняет он сам. Хозяйственные постройки на дворе тоже все «временные», из плетня, обмазанного глиной, с соломенным навесом. Ворота несуразные: один столб толстый и высокий, другой тонкий и низкий. Балка попалась просмоленная, от старой баржи, и на ней, как ни стругай, проступает деготь.

— Оно хоть и негоже так, — оправдывается Семен Палыч. — Иной подумат, ворота вымазали дегтем. Ну да ничево, девчонка у меня махонькая. А подрастет, новые отстроим, пофасонистей.

При бедности в Непочетовке — изобилие колючей проволоки; она служит здесь вместо плетней, и ею опутаны огороды, сады и гумна.

— Это когда Деникин подступал, — пояснил мне Семен Палыч, — круг всего города верст на сорок, а то и больше нарыли окопов и опутали проволокой. Ну, опосля, как ушли белые, проволоку-то мы пообрывали для надобностей по хозяйству. От скотины ограда хорошая...

Хозяйка у Семена Палыча — Татьяна Антоновна, бойкая молодая баба; на вид не очень здоровая, неказистая, но на работу спорая, и живут они дружно. Во время войны, еще до замужества, в доме матери она пахала и работала за мужика.

— Сухенька, плохенька, а ни одна не поспеват за мной снопы вязать, — говорит она про себя.

— Наших баб для спанья только и держут, — неодобрительно отзывается вообще о молодых бабах дед Мирон, но Татьяну Антоновну он хвалит.

— Про Семенову жану худого не скажешь. Работница дай Бог всякому.

У них трое детей — двое мальчишек и девчонка. Старший, лет восьми — косой, с бельмом на глазу, недосмотрели, курица клюнула, приняв, вероятно, блестящий подвижной зрачок за вкусную жужелицу. Девочка еще не ходит, хоть и пора, еле стоит на тоненьких негнибających ножках.

— Мякинны ножки. В голодный год родилась. Думали, не выживет, — жалеет ее Татьяна Антоновна.

У Семена Палыча одна лошадь, корова комолая, без одного рога, и пять овец.

— Хорошо хоть скотиной обзавелся. А то опосля голодного году была у нас одна коза... Купил для ребятишек козу на базаре, веду на веревке, а самому стыдно глаза поднять на людей. Какой, думаю, я крестьянин. Нешто это скотина!..

Лошаденка — мелкая, мохнатая, но крепкая и выносливая, киргизской породы. Семен Палыч купил ее по дешевке полудикой и долго бился, пока наконец не обучил ходить в упряжи и пахать.

— Недоглядишь, бывало, сорвется с места, и давай по полю сигать с бороной. Насилу поймашь...

У лошади остался только один большой недостаток, по отзыву хозяина:

— Она никакой сытности не знат...

Корова при мне отелилась. Вся семья озабоченно гадала, кто будет: бычок или телка. Бычка придется зарезать, а из телки можно вырастить вторую корову. Я слышал, как косой Панька, сидя на крылечке, бормотал скороговоркой:

— Господи, пошли телочку! Пошли телочку!

— А зачем тебе телочка? — спросил я.

— Как же, молочко будет, — ответил серьезно восьмилетний Панька.

Ночью Татьяна Антоновна зажгла огонь и разбудила Семена Палыча.

— Буренка мычит. Должно, отелилась.

Семен Палыч вышел и скоро вернулся в избу, торжественно неся на руках мокрого, вылизанного материнским языком новорожденного телка.

— Ну что, Сема? — шепотом спросила Татьяна Антоновна. — Бычок аль телочка?

— Телочка, — ответил Семен Палыч, складывая еще не стоящего на ножках телка в угол у печки.

— Ну, слава Богу,— обрадовалась Татьяна Антоновна.

Телок надолго стал нашим сожителем. Он стучал копытцами неокрепших ножек по половицам, требовательно мычал, доверчиво глядя на людей подернутыми молочной пленкой глазами, тянул, сопя, парное молоко и ходил под себя на соломенную подстилку, заполняя всю избу прелым едким запахом коровьего хлева. Семен Палыч всегда за работой, всегда озабочен и сурово-серьезен, почти не смеется и не улыбается.

— Ну, за этой мордвой не угоняйся. Вот как и до работы жадные,— отзываются о нем соседи.

Я спросил Семена Палыча, почему его называют мордвой.

— А кто их знат. Сказывают, отцов дед пришел сюда из мордовской деревни. Да, может, брешут. У нас в деревне, известно, как заладят, так и пойдет. И мово отца мордвой звали, и меня зовут, и детей моих звать будут!..

Чувствуется, что все хозяйство держится только неустанным, напряженным трудом, мелким копеечным расчетом, недосыпом, недоедом.

— Все, что получше, на базар везем. А что похуже — сами едим. Скотинку зарежешь, мясо продашь, а себе кишки да трубуху. Отведать за то, что за ней дерьмо подчищал...

На летнее время вся семья перебралась в мазанку, служившую зимой конюшней и коровником, а сундуки с одежей и скарбом из боязни пожара перетащили в землянку на дворе. Я остался жить у Семена Палыча в качестве не то дачника, не то постояльца. Иногда работал, помогая сажать и полоть картошку, подсолнухи, бахчи, иногда бездельничал по целым дням и бродил в поле или в соседнем леску. Познакомился с соседями Семена Палыча и иногда заходил к ним в гости по их приглашению: «Гуляйте к нам». Жители Непочетовки привыкли ко мне и за глаза прозвали «Семенов дашник». Мальчишки перестали за мной бегать из любопытства, а собаки остервенело лаять из подворотен. Как больной, впервые вышедший на воздух и солнце, я радовался, что наконец избавился от своих петербургских кошмаров и перестал «сниться самому себе», снова ощутив животную, уютную теплоту жизни.

БАНЯ В ВИШНЕВОМ САДУ

Вокруг колодца рос густым тальником запущенный вишневый сад. Осыпанные хлопьями свадебного розово-белого цвета вишни млели в тонком медоносном аромате и звенели озабоченным пчелиным гудом. Я доставал воду и по неосторожности упустил новое оцинкованное хозяйское ведро. Пришлось вылавливать его навязанной на конец веревки цепкой, остролапой железной кошкой. Колодец темный и глубокий, и подцепить за дужку затонувшее ведро не так-то легко. Перекинувшись через край сруба, я водил кошкой по дну, царапал со звоном по ведру, но вытащить его мне не удавалось. Увлеченный ловлей я и не заметил, как к колодцу подошла босоногая девка с ведрами на коромысле.

— Эй, рыболов, ты што воду мутишь? — окликнула она меня. — Аль ведра упустил? Пусти воды зачерпнуть, а то ты проваландашься тут до темного.

Это — Наташа, племянница Семена Палыча, дочь его старшего брата, смуглая, красивая девушка лет восемнадцати — «девка што надоть», по словам деда Мирона, «только больно озорница, дурманит дурням-парням головы». Наташа задорно повела на меня своими бойкими карими глазами и ловко, пустив между ладонями деревянный вал, сбросила ведро в колодец. Железная, захватанная руками и оттого отполированная ручка чурбана быстро завертелась, и ведро, расплескивая студёные серебряные слитки, стало на край сруба.

— Ишь замутил воду-то, — притворно сердито сказала Наташа, ровно дыша высокой грудью, и, вскинув на плечи новенькое с позолотой коромысло, не расплескивая ведер, легко и стройно пошла по тропке. Из-под подоткнутого красного подола белели голые крепкие ноги.

— Што загляделся? Мотри, нырнешь головой в сруб, придется тебя кошкой вытаскивать, — насмешливо крикнула она, полуобернувшись на повороте.

Уже смеркалось, когда я наконец выудил ведро и вернулся в избу. Был субботний день, и Семен Палыч отправился в баню, наказав через мальчишку прийти и мне. Своей бани у Семена Палыча нет, и он моется

в братниной, неподалеку от пруда, в том же вишневом саду, где колодец. Я подошел к прокопченному приземистому строению и остановился в нерешительности, услышав изнутри голос Татьяны Антоновны.

— Михал Лексаныч, чаво ж вы не идете! — окликнул меня Семен Палыч, высунувшись нагишом из двери.

Раздевшись в холодном дырявом предбаннике, я вошел в полутемную, полную дыма и пара баню. Семен Палыч парился на полку, а Татьяна Антоновна голая сидела на полу, свесив над шайкой болтающиеся груди, и терлась мыльной мочалкой. Взяв шайку, я тоже стал мыться на скамье в темном углу.

— Ты мотри, Сема, не угори на полку-то. Там угарно, — сказала Татьяна Антоновна.

— Ни чаво, угар кровь разгонят по жилам, — отозвался Семен Палыч, однако слез с полка и стал отливаться колодезной водой.

— Покойный родитель мой, — рассказывал он, — бывало, запарится до бесчувствия, выскочит нагишом наружу и давай по снегу валяться. Отойдет, и сызнова в баню. Низменного росту был, а какой кряж...

Семен Палыч с Татьяной Антоновной кончили мыться и ушли. Я уже собирался одеваться, как вдруг услышал из предбанника женские голоса и смех. Дверь скрипнула, и в баню вошла, выделяясь в дымном сумраке белым девичьим телом (я ее сразу узнал), Наташа с сестренкой-подростком.

— Ой! — взвизгнула девчонка, — никак в бане чужой мужик моется!

— Поддай пару, Дуняшка, штоб не видать было! — крикнула озорно Наташа и плеснула из ведра на горячую печку, отчего баня сразу наполнилась облаком пара.

— А ты не смотри, а то ослепнешь. Аль девок голых не видал? — бросила она через плечо в мою сторону.

Они сели на пол и стали мыться, перешептываясь и пересмеиваясь. Мне уже не хотелось уходить, и я сидел на лавке, делая вид, что моюсь, стараясь уловить глазами смутные очертания тела Наташи: округлые плечи, на которых еще недавно она несла золоченое коромысло с ведрами, стоячие крепкие груди, упругие волнистые линии спины и бедер...

Но я забыл о том, что в деревенских банях мыться

можно только у пола, где меньше угара, и скоро почувствовал сильный звон в ушах. Облившись холодной водой, я поспешно вышел в предбанник.

— Аль угорел? — окликнула меня Наташа.

Она тоже вышла в предбанник и стояла передо мной нагая, нисколько не смущаясь, вызываяще поблескивая на свету своими карими глазами и распустив вымытую щелоком косу между грудей почти до колен.

— Бежим вперегонки на пруд, окупнемся! — предложила она и, выскочив наружу, побежала по дорожке к пруду, точно играя в горелки.

Плохо соображая, что делаю, я кинулся вслед за ней. Наташа взбежала на деревянные мостки, с визгом бросилась в воду и поплыла поперек пруда к плотине под ветлами. Я тоже прыгнул и саженками поплыл за Наташей. Непрогретая солнцем вода обжигала холодом, а снизу еще студеным кипятком обдавали ключи со дна. Наташа плескалась ногами, как русалочьим хвостом, и, дразня, выставляла напоказ белую спину. Она выскочила на плотину раньше меня и понеслась назад к бане по тропке среди цветущих вишен. Стараясь догнать ее, я попал в крапиву и услышал впереди громкий смех, очевидно, это было подстроено нарочно. Когда я вбежал в предбанник, Наташа уже накинула платье и застегивалась.

— Што, ожегся! Будешь знать, как мутить воду кошкой в колодце и ходить с девками в баню.

Она ушла вместе с Дуняшей, и скоро из-за вишен в полуоткрытую дверь долетел ее звучный грудной голос, выкрикивающий нараспев задорную частушку:

Ах, мать, пусти
Погулять в кусты.
Во кустях шалаши,
Там робята хороши!

Ошалев от угара и холодного купанья, с малиновым звоном в ушах, вышел я, одевшись, наружу. Над млечной белизной цветущих вишен серебряным яблоком наливался молодой месяц, такой же нагой, крепкий и светлый, как бегущая к пруду купаться Наташа. По краям горизонта, где осели тучи, полыхали красными подолами зарницы, точно озорные девки, ведущие полночью в степи безмолвный колдовской хоровод.

МИРСКОЙ ИСПОЛЬЩИК

— Очами ее, как говорится, не окинешь, — образно говорит Семен Палыч про непочетовскую землю. — А на поверку выходит — земли у нас помалу. Хозяйствовать не на чем. Взять хоть меня с братом. Да нам на двоих лошадях надо десятин двадцать пять, коли не больше. А у меня душевой земли всего-навсего шесть тридцаток. И хоть бы в кучке была. Одного разгону сколько. Только и знашь, что мотаешься по степи...

Да, очами ее действительно не окинешь — взгляд устает следить за однообразной зыбью хлебов и черных барханов пашен, и при таких подавляющих пустотой и безлюдьем просторах постоянные жалобы на тесноту и малоземелье!

Как-то в праздник я пошел вместе с дедом Мироном посмотреть хлеба. Дорогой он показывал мне непочетовские земли и называл их прозвища.

— Прогонно поле — сама лучша земля, раньше помещичья была. А нее, можно сказать, и кормимся... Это поле коло леса прозываются Круги. Тоже ничево земля, только похужей, с супесью. На ней рожь хорошо родится, потому рожь песок уважают... На Маяке солонец ударился. Там у нас бахчи и залежь, непахоть, овец туды гоняют... Над увалом, где падина, — Барсучье поле. Подале за железную дорогу — Дально поле... Наши земли против тех, елшанских, не стоят, у нас земля пылкая, солонцы...

Дед Мирон отлично знает непочетовскую землю, и его постоянно выбирают для переделов и размежевания. Земля не делилась лет пять, и мужики уже поговаривают о переделе: у многих народились новые души, а некоторые получают надел на мертвые. Скоро деду Мирону придется снова в сопровождении галдящей, взволнованной толпы отмеривать неторопливым аршинником своих старческих шагов знакомые загоны и утихомиривать расхившихся спорщиков, недовольных вытасченными из шапки жеребьями.

Невдалеке от дороги, прямо среди поля торчал серый деревянный крест с жестяной иконкой. У его подножья серебряным ковриком стлался кусок нетронутого плугом дерна.

Дед Мирон снял свою долгополую шляпу и перекрестился.

— Убивство тут случилось. Давно, я еще мальчишкой был. Наши непочетовские с елшанскими подрались. Двоих мужиков до смерти кольями убили. Отсель елшанска земля сумежная с нашей...

Я спросил деда Мирона, почему при переделе они так дробят землю, а не дают ее сплошными округленными участками.

— Милый, нешто мы сами не понимаю. Да как ее уравнишь, землю-то, коли она разная? В ином загоне сажень поболее стоит, чем тридцатка. Вот и делим в каждом поле землю на сотни и метам жеребья, кому какой загон достанется. Сами знам, што неудобно. У другого загоньев поболее двух десятков. А как разделишь по-Божески, без обиды?..

Осмотрев озимые, Мирон похвалил их.

— Ржи вот какие, наливные. Не то што прошлый год.

Дорогой он балагурил и рассказывал, как его окрестили Мироном:

— Батюшка у нас был строгий, сурьезный. До протоиерея дослужился, его опосля архиерей взял в город. Там и помер. Ученый был, любил проповеди читать. На Паску служил по-греческому. Имена на крестинах давал мудреные, книжные. Скажут, так, мол, батюшка, желам окстить младенца, а он никаких, окупнет в купель и назовет по-своему. Отец меня Петром хотел назвать, а он окстил Мироном. А на одного мужика осерчал, хотел сына Иудой окстить. Насилу упросили, а то так бы и пропал мальчишка. Куды денешься с таким именем? Прямо хоть на осине вешайся...

Непочетовская земля напоминает мне мое детство, проведенное на такой же приволжской саратовской равнине, бывшей когда-то дном схлынувшего к Каспию и Аралу Хвалынского моря. На пылких с солонцом шоколадных целинах привольно растет одна только серебряно-сизая полынь, которая вместе с сухим, знойным воздухом придает такую нежную сиренево-голубую дымку волнообразному горизонту, что он делается похожим на морской. Да еще засухоустойчивые пшеницы с наливным янтарным зерном, дающие или сразу щедрый урожай за несколько лет, или почти ничего. Тот же выжженный колючий выгон, истыканный норами та-

рантулов — больших ядовитых земляных пауков, — их выгоняют наружу мальчишки водой или мочой, а овцы просто поедают, как лакомство, — вот отчего на овчине можно спать спокойно, не боясь укуса, прямо на норах. Также попадается чертов палец, похожий на человеческий мизинец, — окаменелый обломок морских ископаемых; крестьяне останавливают им кровь и считают, что это ударившая в землю молния. Стайками с сухим треском низко перелетает по ветру прожорливая саранча, поблескивая зеленой, красной и синей перепонкой развернутых крыльев. Степная бабочка-волшебник садится прямо в пыль, сливаясь с ней своей серой окраской, — волшебника очень трудно поймать, приходится подкрадываться против солнца, чтобы не спугнуть его тенью, но он так сторожек, что вовремя снимается и улетает. По увалам на припеке раскидываются бахчи, где по корням и цепким усикам отцеживается сахаром и перегоняется в ананасную белизну дынь и мясистую мякоть арбузов драгоценная облачная влага редко перепавших дождей. Легким дурманым запахом гашиша обдает зеленая, высокая, густая, как крапива, конопля.

— Из конопели рубаха така толста, вошь через рубец не переползет, — шутит дед Мирон.

Он ласково называет: ржица, пшеничка, просцо, а про шипящий белыми султанами ячмень говорит:

— Ячмень вот какой умолотный. Только хрупкий, колос ломатся.

Целыми огненными десятинами цветут подсолнухи, которые, отдав поздней осенью урожай масличных семян, обуглятся сухими скрюченными стеблями в поташную золу на кострах, точно высокие дымные сторожевые вышки встанут в степи, передавая весть о набеге кочевников...

Какое все это знакомое и родное! Как матерински близка мне эта древняя Микулина вотчина, земля-труженица и кормилица, которая, отработав и отмаявшись пыльной и потной летней страдой, укрывается теплым, стеганным на снежной вате одеялом и укладывается тысячеверстным сугробным погостом на долгую зимнюю спячку!

Разве не от нее с полынно-горьким молоком всосано мной с детства все, что еще осталось во мне здорового, жизненного и цельного!

Два десятилетия (и каких! — мировой войны и революции) протопало по этой равнине, а на ней почти не заметно перемен. Так же рядом с однолемешным плугом роет землю железным выбеленным сошником деревянная соха, и держит ее в своих дюжих корявых руках крестьянский Микула и покрикивает на своего верного конька: «В борозду! Бороздой!» Быть может, прослышит его с Волги городской Вольга в буденновском шеломе, подъедет к загону с краснозвездной дружиной да уговорит Микулу вытрясти сошку, закинуть ее за раки-тов куст и отправиться вместе с ним в тракторный совхоз или колхоз...

Те же убогие, крытые соломой, тесные и низкие хлева изб. Кое-где с крыш разобрана солома: зимой скормили голодному скоту. На задах уложены кирпичами навозные кизы из драгоценного удобрения — для вонючего дымного топлива в добавление к валежнику.

Все не только нищее, глиняно-соломенное, деревянное, самодельное, но и «временное» (как метко сказал Семен Палыч) в этом крестьянском хозяйстве. Точно на время кочевой земледелец, мирской исполщик осел на целинную, дикую пустошь, хищнически снял несколько богатых урожаев, обмолотил на току лошадьми и отвеял зерно лопатой, погноил его в ямах и стравил на корм скоту, пожег соломенные ометы, бросил временные постройки и заскрипел, задымил колесами по целине на новые, еще не истощенные пахотой места. Сниматься и трогаться уже как будто и некуда, остались только тундры, тайга да солончаки — вплоть до Великого океана катит свою изумрудно-золотую зыбь Великий, или Тихий, океан хлебов. А все еще жива вековая кочевая хищническая хватка и сноровка...

XXXIII

НОВЫЙ ХЛЕБ

Стояли жаркие, угарные дни и душные зарничные ночи. Из Заволжья напозала знойная красноватая, вредоносная для хлебов, мгла — помха. Боялись, как бы она не подточила еще неокрепшее молочное зерно пшеницы. Но урожай озимых уже обеспечен, началась уборка ржи.

— В прозелени-то косить лучше, она в снопах дойдет, — говорят крестьяне.

Рожь высокая, колосистая, наливная, но не очень частая, — «редьменная», по словам деда Мирона, «сеяли часто, а она выпала». У Семена Палыча осталась еще от отца лобогрейка, и он выехал на ней косить рожь вместе с братом на паре лошадей. Ровно, как золотистые волосы под машинкой в парикмахерской, падают рядами подстриженные колосья. Лошади, не чувствуя за собой тяжести, ступают размашистым, быстрым шагом. Ножи стрекочут и верещат, как железные кузнечики. Семен Палыч сидит на крашеном металлическом стуле, подергивает вожжами на поворотах и покрикивает. Только знай сиди да грей лоб на солнце. Бабы, расхаживая босиком по колкому жниву, торопливо собирают и вяжут золотым поясом снопы, укладывая их в кресты на случай дождя. В поле по-праздничному пестро и оживленно. Больше половины деревни раскинулось здесь на припеке цыганским табором; тут же и едят, и отдыхают, и кормят грудью детей под телегами. Напуганные шумом и суетней жирные перепела перебегают и перелетают в яровое, чувствуя, что скоро кончится их раздолье.

Неподалеку на своем загоне дед Мирон косит рожь крюком: косой с прикрепленными к ней деревянными, похожими на вилы граблями.

— Што мне платить своим хлебом за чужую лобогрейку. Да еще дождайся, покуда люди управятся. Рожь-то и перестоит...

И, звонко пошаркав о косу бруском, он опять принимается за косьбу, циркульным широким взмахом, стараясь не оборвать колоса, ровно и плавно подсекает рожь и отбрасывает в сторону небольшими кучками. На спине у него на выцветшей, неопределенного цвета рубахе проступает большое мокрое пятно, жаркое солнце не успевает высушивать просочившийся пот.

Вдруг к скрежету лобогреек, к шарканью кос и шелесту колосьев, к стрекоту кузнечиков и перекликающимся голосам примешался отдаленный drobный тревожный звук — дон... дон... дон... звук набата с торчащей за бугром белой церковной колоколенки. Над Непочетовкой пыльным смерчем взвился коричневый столб дыма. Все побросали работу и, оцепенев, всматривались в сторону деревни. На лицах у всех выраже-

ние испуга и растерянности: животный вековой страх избяной соломенной деревни перед пожаром. В такую сушь, когда все люди на поле, ничего не стоит красному петуху, перепархивая по ветру с крыши на крышу, дочиста смести в кучу золы за какой-нибудь час всю стодворовую деревню. Еще утром выехал в поле хозяином, а к вечеру вернулся нищим погорельцем. Мужики торопливо трясушимися руками запрягали лошадей или вскакивали верхом. Через несколько минут поле опустело. Точно бешеный пьяный табор летел вскачь и вперегонки, растянувшись, бежал по дороге к деревне. Только вместо песен и визга гармоники слышались бабьи причитания и плач напуганных суматохой ребятишек.

Однако на этот раз обошлось сравнительно благополучно: выгорело только несколько наскоро сколоченных хибарок на окраине, где живут приезжающие на посев из города извозчики.

Скошенную рожь торопятся свезти на гумна. Прошлый год не успели, зарядили неожиданные ливни, и рожь проросла на поле в снопах. Чуть не в двенадцать часов ночи, еще при луне выезжают первые возы и возвращаются на рассвете к выгону стада. Путь в Дальное поле неблизкий, съездил три-четыре раза, вот и весь день, от темного до темного. Движущиеся с вихрастыми копнами снопов фуры кажутся издали не то золотыми ежами, не то желтыми комьями перекати-поля. На задах на гумнах выстраивается причудливым порядком новое, праздничное село из солнечного соломенного теса, гудящее веселой пляской цепов и копыт.

Семен Палыч целый день устраивал ток. Выполол траву, утоптал землю, полил водой, подмел метлой. Ток вышел гладкий, твердый, как глинобитный пол в хохлацкой мазанке. Старший брат привез из поля воз снопов. Семен Палыч стал повивать их и складывать в круглую островерхую, как калмыцкая юрта, одонью. Работа общая, и гумно общее, но хлеб у каждого складывается отдельно.

— Снопы какие-то нестройные, — озабоченно говорит с одоньи Семен Палыч.

— Это они только так, пышатся, — отвечает с возу брат.

Снопы хрустят на железных вилах и осыпаются сухим янтарно-серым дождем.

— Эх, сколько зерен осыпалось, — замечаю я.

— А то нешто мало. Бѣз урону никак нельзя, — отзывается Семен Палыч.

На гумно пришли с цепами Татьяна Антоновна и Наташа, стали таскать за золотые пояса снопы и стелить их желтым половиком на черном току, колосом внутрь, гузовьем наружу. Первый посад решили обмолотить цепами.

— На, бери цеп. Подсобляй. Небось, руки не отсохнут, — подзадоривает меня Наташа.

Я беру цеп и начинаю со всеми молотить, стараясь не оглушить по голове себя или соседей.

— Тебе бы репы обивать, а не хлеб молотить, — задирает Наташа.

— А ты чушь-то не парывай, — останавливает Наташу Семен Палыч и поучает меня. — Уж вы больно энергично бьете. Это дело не в силе, а в ловости.

— Ты ладь, — шепчет мне под гул молотѣбы Наташа, показывая цепом, как надо попадать в такт.

Рядом с нами на выгоне молотит ломовой извозчик из города. Стоя в телеге, у которой к задку привязан каменный каток, покрикивая, гоняет он по снопам рослого битюга-переродка. Сам битюгоподобный, тяжелый, плечистый, со смоляной курчавой бородой до пояса, он в ворохах золотой соломы напоминает мне ассирийского царя на боевой колеснице, и я мысленно даю ему прозвище: Ассаргадон.

— Умолоту много, ужину мало, — решает Семен Палыч, метлой сметая в кучу обмолоченное зерно с мякиной. — Давай еще круг обомнем.

Второй посад стали молотить лошадьми, гоняя их по кругу с прицепленным сзади каменным катком. Лошади, похрапывая, увязая копытами и швыряясь лохмами соломы, охмелев от карусельного круженья, весело бегают по мягкому настилу. Похожий на жернов ребристый камень перекачивается и подпрыгивает, выколачивая зерно и дробя стебли. Бабы ворошат граблями и подправляют солому.

— Держи ближе к берегу, — кричит Семен Палычу брат.

— Как на корде гоням, по-военному, — вспоминает Семен Палыч, передавая вожжи брату и закуривая. — Бывало, в пулеметной команде у нас нашлют из

степи лошадей, диких калмыцких. Вот и гоняшь их на корде, куда не обучишь.

Сегодня Семен Палыч в хорошем настроении и шутит, что с ним редко бывает.

Татьяна Антоновна поскользнулась босой ногой в соломе и чуть не села на грабли.

— Мотри, разорвешь... — крикнул ей Семен Палыч, прибавляя непечатное словцо. — Вещь в хозяйстве тоже нужная.

— Ну, Сема, ты уж скажешь при Михал Лексаныхе-то, — обижается Татьяна Антоновна.

Мужики засмеялись, а Наташа, отвернувшись, ворошила снопы, будто не слышала.

Обмолотив несколько кругов, стали веять. Веялка — кустарной работы немцев-колонистов — старая, пузатая, ржавая, только кое-где в углах остались следы цветных разводов. Семен Палыч лопатой сыплет сорное зерно. Наташа, широко расставив босые ноги, вертит железную ручку. Веялка грохочет и далеко дымит пылью по ветру. Колкая мякина пристаёт к лицу, набивается за шиворот, в рукава рубахи.

— А ну поверти, — предлагает Наташа.

Лицо ее напудрено и подгримировано слоем пыли, в бровях и на ресницах торчат волоски колосьев. Я верчу рукоятку веялки рядом с Наташей, касаясь ее плечом, и чувствую жар разгоряченного молотью, пахнущего свежим потом тела. Заглядываю в ее глаза, она лукаво смеется спелыми вишневыми губами, и вижу, что она не забыла свадебного цвета вишен, угарной бани и озорного купанья при месяце в холодном пруду.

— Рожь натуристая, не волглая, — оценивает на ощупь и на разгрыз ржаное острое янтарно-серое зерно Семен Палыч.

К вечеру кончили веять и насыпали шесть мешков. Семен Палыч погрузил их в телегу и тут же после ужина при месяце поехал на мельницу. Надо поскорей смолоть — в доме уже давно нехватка муки.

В воскресенье по всему двору вкусно пахло свежим печеным хлебом. Корове развели отрубей, лошади дали посыпку на мокрую солому. Ребятишки бегали с кусками сладкого пирога, вымазав губы и щеки лиловой поздником.

Ночью я слышал, как Татьяна Антоновна окликнула мужа:

— Сема, а ты не забыл про отцову ладанку?

Это неожиданное напоминание о ладанке было мне неприятно. Я плохо спал, и мне вспоминались петербургские кошмары.

XXXIV

ГУЛЬБА

В хозяйстве у Семена Палыча чуть было не случилось несчастье: корова объелась чего-то на пастбище, и за ночь ее так раздуло, точно кто накачал автомобильным насосом. Она не могла даже мычать и только тяжело дышала, пробовала лечь, но тут же вставала: мешало раздутое пузырем брюхо. Семен Палыч бросил всю спешную работу и вместе с Татьяной Антоновной возился с коровой. Перепробовали все домашние средства, но ничто не помогало. Тогда Семен Палыч запряг лошадь в старенький плетеный тарантас, взятый у брата, и поехал за ветеринаром, который где-то неподалеку делал прививку скоту.

Татьяна Антоновна забросила стряпню и ходила хмурая, озабоченная, ожидая, что корова вот-вот повалится на бок и сдохнет. Ребятишки присмирели, понимая, что матери сейчас не до них, что в доме несчастье. Веснушчатый Панька озабоченно сопел и испуганно косил бельмом в сторону коровника. Мне вспомнилось, как недавно он подвел меня к телке, привязанной к колышку на траве, и деловито сказал:

— Глянь-кось! Каки сисечки! Вымя растет. Коровка будет...

Ветеринар приехал к вечеру. Не снимая рваного бурого пыльника из брезента, он осмотрел и прощупал корову, приложив к ее боку ухо и елозя на шерсти пыльным кудлатым колтуном. Потом полез за инструментами, наказав Семену Палычу крепко держать корову.

— Ты, Сема, лучше привяжи ее калмыцким узлом, — посоветовала вполголоса Татьяна Антоновна. — А то второй рог обломаешь. И так она у нас комолая.

— Ничего, я сдержу. Действуйте инструментом, — тоже вполголоса ответил Семен Палыч, ухватив корову за рог.

Ветеринар вынул троакр, похожий на толстое шило, и, прощупав ребра коровы, приставил острое и ударил ладонью по рукоятке. Стальной стержень, как вколоченный гвоздь, сразу вошел на несколько вершков в раздутое брюхо. Корова рванулась, и из-под троакра из желудка, как из проколотой шины, со свистом вырвался воздух.

— Растирайте ей бока, чтобы газы вышли, — велел ветеринар. — Да дайте мне подойник с теплой водой развести лекарство.

Влив насильно в разжатые зубы коровы раствор глауберовой соли и указав, что надо делать, ветеринар, громко фыркая, умылся из висячего глиняного ручной мойника, обтерся поданным ему чистым суровым полотенцем, оставляя на нем бурые пятна, и вошел по приглашению Татьяны Антоновны в горницу выпить чаю.

Мне поручили занимать гостя. Коренастый, со свалывшимся войлоком вороных с сединой кудрей, с сырым обветренным волосатым лицом, насквозь пропыленный, пропахший потом, своим и конским, и какими-то едкими специями, ветеринар походил с виду не на старого врача-земца, а на лошадиного барышника. Он шумно отхлебывал с блюдца горячий чай вприкуску, закусывал, чавкая, и словоохотливо разговаривал со мной на разные темы, вставляя изредка латинские выражения и остроты из Чехова, очевидно, его любимого писателя.

— Да-с, батенька, без малого тридцать лет околачиваюсь я в здешних палестинах. Попал сюда прямо со студенческой скамьи. «Выпьем мы за того, кто «Что делать?» писал» и все прочее, как полагалось по штату идейному интеллигенту. Вот уж подлинно могу сказать, что меня здесь не то что каждая собака, любая скотина знает... И все-таки в голодный год чуть не слопали, ну да, в буквальном смысле... *Horribile dictu...** Не верите? А вот послушайте. Занимался я тогда эвакуацией скота в Заволжье. Позвали меня раз к одному больному на хутор. Мне иногда в экстренных случаях *volens, polens*** приходится оказывать медицинскую помощь за врача. Все лучше, чем знахарь или ничего... Ну-с,

* «Страшно сказать...» (лат.).

** «Волей-неволей» (лат.).

вхожу это я в избу, еще, помню, головой больно обо что-то ударился. А может, меня и огрели чем по голове, да сразу я не разобрал сквозь шапку, малахай у меня был здоровый. Сумерки, со свету ничего не видно. Окликаю, никто не отзывается. Чувствую, меня тянут за шею. Оглядываюсь, у печки чьи-то глаза светятся фосфором, по-волчьи. Рванулся я изо всех сил, выбежал на двор, смотрю, а у меня на шее болтается веревка, как у бычка. Будь мой пациент половчей, а главное посильней, с голоду он, видно, ослаб,— несдобровать бы мне. В Пугачевском уезде у нас так пропал без вести один врач. Потом доискались, утюкали его топором в одной избе и съели. Одну только руку просоленную достали из кадушки. Совсем как с капитаном Куком на Сандвичевых или как их там островах. Любопытно, не правда ли?..

Ветеринар почему-то захохотал, хотя смешного в его страшном рассказе ничего не было, и, встав из-за стола, пошел еще раз взглянуть на корову. Обнадежив Семена Палыча, похлопав его по плечу и наотрез отказавшись от денежной платы, которую хотела было вручить ему потихоньку Татьяна Антоновна, ветеринар распрощался и тяжело затопал своими солдатскими ботинками по светлой лунной улице под гору к сельсовету. На рассвете ему нужно было выезжать куда-то на борьбу с ящуром в дальнюю волость.

Семен Палыч долго еще возился под навесом при свете фонаря. Руки у него были перемазаны в коровьих испражнениях. Брюхо у коровы опало, и ей стало легче. Я справился, правду ли мне рассказывал ветеринар.

— А то нешто нет,— спокойно отозвался Семен Палыч,— тогда с голоду все ели: лебеду, глину с корой, всяку нечисть. Понятно, и разум у людей помутился. Только у нас этого не случилось, чтоб живых людей ели. Одну старуху, верно, пымали, варила мертвечину с кладбища...

Корова поправилась, и на радостях Семен Палыч устроил в ближайшее воскресенье гулянку. Обедня уже отошла, и белая колоколенка бросала с зеленого пригорка на ветер медное перекати-поле веселого трезвона. По улице степенно шли, возвращаясь из церкви, старухи в черных и молодые бабы и девки в ярких пестрых платках, поскрипывая новыми башмаками.

На дворе под соломенным навесом Татьяна Анто-

новна поставила стол, накрыла его чистой суровой скатертью, подала ярко вычищенный кирпичом самовар, вишневое варенье и ситный пирог с картошкой. Кроме хозяев и меня за стол сели Алексей Палыч, старший брат Семена Палыча, похожий на него лицом, но с бородой и более добродушный, и форсистый парень лет двадцати трех, Тимошка, круглолицый и безбородый, первый силач и гармонист на селе. Скоро пришел и третий гость: чернобородый ломовой извозчик, которому я дал прозвище Ассаргадон.

— Иудину кавалеру наше почтение, — насмешливо приветствовал его Тимошка, скинув картуз.

— Ну ты, от дворянских кун капелька, — добродушно огрызнулся на него Ассаргадон, здороваясь со всеми за руку.

Табуреток больше не оказалось, и он, пододвинув к столу стоящие под навесом сани, присел на них.

Семен Палыч вышиб ладонью пробку из бутылки и налил водку в стакан, поднося всем по очереди, по старшинству. Каждый залпом выпивал ее, потом брал с тарелки ломоть черного хлеба, нюхал и клал обратно.

— Ежели ее закусывать, Михал Лексаныч, то сколько же надо извести денег, как говорится, чтобы напиток допьяна, — пояснил мне Семен Палыч, опрокидывая полный стакан и тоже вместо закуски нюхая хлеб.

Тимошка вдруг рванул гармонию и, звеня колокольчиками, высоким фальцетом выкликнул дикую частушку, отголосок страшного, голодного 21-го года:

Матросик молодой,
Искалеченный,
На базаре спекульнул
Человечиной...

— Брось. Негоже петь такую песню, — строго остановил Семен Палыч.

Тимошка, лихо сдвинув картуз на затылок и притворяясь уже захмелевшим, заиграл саратовскую, а Семен Палыч, покрывая переливы гармошки, засвистал пронзительным разбойным свистом. Свистел он мрачно и сосредоточенно — может быть, вспомнил, как шел когда-то на фронт с таким же отчаянно-забубенным свистом, пронизывающим грохот медных труб и рев сотен солдатских глоток.

Я поинтересовался, почему Тимошка называл Ассаргадона Иудиным кавалером.

— Это они меня, сукины дети, из еоргиевского кавалера в Иудина переделали, — ухмыльнулся Ассаргадон. — Слыхали, небось, про генерала Николая Иудовича Иванова?

Я с любопытством посмотрел на Ассаргадона. Оказалось, этот бородач-ломовик один из тех георгиевских кавалеров, которых в феврале 17-го года по поручению царя вел генерал Иванов на усмирение революционного Петрограда! Однако мне мало что удалось выпытать у сдержанного и степенного Ассаргадона. Он, видимо, не придавал значения этому событию своей жизни и если бы не прозвище, то и не вспоминал бы о нем.

— Да што ж рассказывать-то, — неохотно отвечал он. — Посадили нас в вагоны и повезли. Дали на каждый взвод по пулемету. Сказали, будто германцы устроили в Питере бунт. Генерал Иванов, строгий такой старик, но справедливый, кричал все на железнодорожных, что тихо везут. Грозился расстрелять. Велел прицепить второй паровоз. Много ему было хлопот и неприятностей. Раз обходили с ним встречный поезд, глядим — у одного матроса из Питера болтается сбоку кортик. Генерал Иванов к нему: «Почему не по форме одет?» А тот ему в ответ: «Теперь, говорит, свобода. Все равны, нет начальства». Старик ажно затрясся весь. «На колени!» — кричит. А матрос на него с кортиком, насилу оттащили. Ден пять, мотри, мы так без толку мотались по станциям взад-вперед. Вернулись в Могилев, в ставку, тут к нам царь выходит прощаться...

Рассказ Ассаргадона никто, кроме меня, не слушал. Тимошка тихо наигрывал, подбирая какой-то мотив, а Семен Палыч разговаривал с братом о том, что пора уже убирать пшеницу.

— Моя пшеница подюжей твоей будет.

— Зато твоя без пера, голенькая.

Татьяна Антоновна налила всем чаю и дала по большому куску пирога, но к ее угощению почти не притрагивались, налегали только на водку. Все заметно охмелели и осовели.

Зачем-то (вероятно, чтобы похвастаться гульбой) решили прокатиться по селу. В коренники запрягли Ассаргадонова битюга, а на пристяжку — киргизку Се-

мен Палыча. Лошадей нахлестывали в два кнута, и они в испуге неслись так, точно почували волков. Телега подпрыгивала на ухабах, чуть не соскакивая со шкворня. Ассаргадон, распушив по ветру свою ассирийскую царственную бороду, правил, стоя на коленях. Тимошка на задке, свесив ноги в новых шегольских сапогах, наяривал на гармошке, обрывая игру на толчках. Семен и Алексей Палыч полулежа бабьими голосами выкрикивали вместо припева: «Ох! Ох! Ох!» На нас с любопытством смотрели, оборачивались и кричали что-то вдогонку. Я уже жалел, что увязался с пьяными, и готовился соскочить в случае, если телега перепрокинется, но мужики, несмотря на хмель, все же жалели лошадей и, прокатившись один раз по селу, вернулись ко двору, где опять стали пить.

На смену очищенной появился самогон. Часам к трем дня Ассаргадон, пошатываясь, ушел спать на гумно, Алексей Палыч прикорнул в сених. Тимошка и Семен Палыч остались за столом вдвоем. Скоро я услышал испуганный крик Татьяны Антоновны:

— Тимошка, что ты делаешь? Пусти, задушишь. Говорят тебе, пусти... Ох, господи!

Семен Палыч подрался с Тимошкой и повалил его на землю. Лежа под Семеном Палычем, Тимошка душил его за горло и кусал за щеку. Лица у обоих были перемазаны в крови и в грязи, так как они валялись на том месте, где недавно мочились лошади. Они так крепко вцепились друг в друга, что их никак нельзя было разнять. Татьяна Антоновна догадалась и вылила на них ведро воды, потом выволокла Тимошку на улицу и закрыла на засов калитку. Он долго буянил и колотил в ворота, потом погнался за дразнившими его мальчишками и свалился посреди дороги.

— Хорошо, что оба на ногах не держутся. А то к им пьяным и подойти-то страшно, того гляди убьют, — говорила Татьяна Антоновна, обтирая мокрым полотенцем окровавленное лицо Семена Палыча.

От нее я узнал, что Семен Палыч зимой сидел в городе в тюрьме два месяца за драку на свадьбе, где чуть было не забили насмерть двух парней из соседней деревни.

На другой день Семен Палыч с раннего утра усиленно хлопотал по хозяйству. На щеке у него синел кровоподтеком широкий шрам.

— Ежели я пропью рупь, то добыюсь его,— сказал он сердито Татьяне Антоновне в ответ на упоминание о вчерашнем и, как бы извиняясь, добавил: — Нешто это мы охальничам! Это водка в нас охальничат...

XXXV

ЛАДАНКА С ЗЕРНОМ

Я разговорился с Семеном Палычем и узнал, что значит случайно подслушанный мною ночью разговор об «отцовой ладанке». Оказывается, его отец Павел Парменыч соблюдал своеобразный обычай. От каждого нового урожая он откладывал в ладанку за иконой три зерна «во имя Отца и Сына и Духа Святого». Откуда повелся в доме такой обычай, Семен Палыч толком не знал, но привык к нему с детства и по смерти отца продолжал пополнять его ладанку.

Как-то раз, прогуливаясь за гумнами по выгону, я забрел на деревенское кладбище, и мне захотелось отыскать могилу Павла Парменыча. Я долго лазил среди заросших бурьяном бугров, стараясь не оступить и не упасть. Говорят, это нехорошая примета и предвещает близкую смерть. Так по крайней мере учила старуха нянька, водя нас, детей, на могилу умершего от дифтерита пятилетнего брата Андрюши, и мы с ужасом, боясь споткнуться, осторожно и напряженно, как канатоходцы над пропастью, ступали вслед за ней по узенькой кладбищенской тропке к белевшей издалека свежей масляной краской оградке... Некоторые могилы уже без крестов и почти сравнялись с землей, на других накренились замшелые столбики без поперечных перекладин. Раз я чуть не провалился ногой в большую черную дыру, зиявшую в осыпавшейся насыпи. В конце кладбища могилы новей и в большем порядке. На крестах прибиты жестяные дощечки с надписями и висят сухие венки из полевых цветов. На одной я прочел выведенное печатными каракулями четверостишие:

Покойся милая мамаша
В тиши обители святой,
Ударит час конца вселенной
И мы увидимся с тобой...

Здесь я отыскал могилу отца Семена Палыча: высокий глиняный, только начинающий зарастать травой холмик с дубовым тесаным крестом и надписью на жести: «Павел Парменов Ламихов, + 1922 г. 21 Мая 67 лет кр. с. Непоч.»... Дальше стояли какие-то замазанные буквы — хотели еще что-то написать, но не хватило места. На дерне валялись осколки крашеной яичной скорлупы — очевидно, от родительской субботы.

Кладбище на пригорке, и с него далеко видны все непочетовские поля. Почти к самой канаве подступают огнеголовые подсолнухи, повыше, на самой вершине, разбита бахча с шалашом и раскоряченным на распялке пугалом. По обеим дорогам, опоясывающим кладбище, часто проезжают возы в поле и из поля. С гумен доносится стук молотьбы и стрекотня веялок. Две бабы, неся в подойниках полуденный удой, тяжело поднимаются из лошины, где отдыхает стадо. Большая, похожая на бешеную собака с поджатым хвостом и разинутой пастью рысцой пересекает выгон — верно, бегала в дальний барак пожрать падали. Здесь, на пригорке, земля медленно выбеливает (как они когда-то лемехи о пашню) кости пахарей, а там внизу, в овраге, выбеливаются кости их верных помощников, лошадей, тоже пахарей.

Я припоминаю, что мне рассказывал Семен Палыч о своем отце, и думаю о Павле Парменыче и о его ладанке. Сколько червонных крупинок от золотоносных волн прошелестевших в вечность урожаев собрал за свою долгую страдную жизнь этот кряжистый, суровый, упрямый, расчетливый старик, державший в подчинении в одном хозяйстве без выдела двух своих взрослых сыновей? Последними положил он в свою ладанку три мелких, худосочных, но драгоценных зерна голодного, 21-го года. Хлеб в то страшное лето в Поволжье не косили, не жали и не вязали в снопы: слишком уж он был редок и низок, не больше четверти. Как библейская Руфь, бродили, нагибаясь, по полю угрюмые жнецы и собирали в руку колосья — вырывали их с корнем, легонько отряхивали землю и складывали в тощие кучки. Не находя корма, скот объедал тальник, камыш, деревья и жалобно мычал на зное, точно чувствуя у горла холодное, как колодезная струя, прикосновение отточенного лезвия. А небо блистательно синело голубым самаркандским изразцом, и губительно кру-

жился снизившийся огромный, огненный аэроплан солнца, отданный в то лето в нетвердые руки какого-то самоуверенного безумца Фаэтона, которому суждено в наказание сгорать, истекая кровью на закатах...

Бродя за канавой кладбища вдоль подсолнухов, я стараюсь представить себе по рассказам последний сев Павла Парменыча и его внезапную смерть в поле...

В ту весну грачи прилетели рано: земля еще была под снегом. Фиолетово-черные, искрясь на солнце радужным золотом, медленно расхаживали они хозяйственной походкой вразвалку (походкой пахаря, идущего в тяжелых сапогах с налипшими комьями по пашне) и долбили толстыми клювами наст, тщетно выискивая лошадиный помет с овсом на редких одноколейных дорогах. Не найдя поживы в полях, грачи нагрянули на село, но и тут все было необычайно пусто и тихо. Побродив по снеговым лужицам, голодные грачи снялись и всей стаей уселись на старых, дуплистых ветлах у пруда и долго возбужденно каркали в мартовскую зелено-вато-палевую зарю, пока совсем не стемнело.

Жуткая тишина, ни собачьего лая, ни петушиного крика, только перезванивают от ветра колокола, то как набат, то как по покойнику, то как пасхальный трезвон.

Павел Парменыч ворочается в овчине на печке и не может заснуть. Мучат мелкие назойливые мысли о хозяйстве, обычные, те же, что и днем, но сейчас, ночью перед рассветом, они принимают преувеличенно мучительные размеры, вызывая тошнотную тоску и ноющую боль под сердцем. Кажется, что хозяйство развалилось и его ничем уже не наладить. Все, что можно было продать или выменять на хлеб, уже продано. Сундуки с одежей пусты, опустел даже кованный светлой жестью с расписными розанами девичий сундучок Наташи, где хранилось ее приданое. Последнее тряпье увез Семен выменивать в Смоленскую губернию на рожь и на овес. Привезет ли, не свалится ли дорогой где в тифу, как Алексей, который вот уже пять недель лежит без памяти в горячке? Удастся ли вовремя получить семена и посеять яровое?

Павел Парменыч слез с печи и, тихо ступая по скрипящим половицам ногами, обутыми в толстые, вязанные из домашней шерсти носки, подошел к Алексею: не помер ли? Потом вышел посмотреть, целы ли лошадь и корова — на ночь их, чтоб не украли, ставили в сенцы.

А перед самым рассветом ненадолго забылся, и ему приснился чудной сон.

Будто идет он в чистых полотняных рубахе и портках босиком по полю и сеет. Через плечи у него вместо ведерка перекинута на липовой лыке ладанка, и сколько ни берет он из нее зерна, ладанка не пустеет. Земля теплая, мягкая, легкая, как пух, сама скользит под ногами и не липнет. Зерна пшеницы — наливные, крупные, как горох, так и летят между пальцев и сами падают рядами, ровно из сеялки. Идет Павел Парменыч и радуется, как легко спорится посев. Потом обращившись и видит, что огромное черное поле пусто, никто сзади не боронует. Только далеко-далеко, спотыкаясь, бежит по пашне Наташа, машет рукой и кричит: «Воротись, дедушка, воротись!» Но Павлу Парменычу не до нее: он боится, как бы грачи не склевали сев. Вороной горластой стаей мотаются они неводом над ним, как над ветлами у пруда, каркают, пакостят, но на пашню не спускаются и пшеницу не клюют. Смотрит Павел Парменыч на зерна и видит, что они не хлебные, а червонные, даже фольга от них пристаёт к руке, и ладонь, и пальцы у него вызолочены и светятся. Наташи позади уже не видно, черное поле кончается, и огненным частоколом стоят на пригорке небывало высокие подсолнухи, а над ними раскрытыми настезь воротами раскидывается тройная радуга...

Когда Павел Парменыч проснулся, старуха уже возилась, гремя ухватками у затопленной печки, а Наташа успела сходить за водой.

— Фаня-то отмаялась. Померла нынче в ночь. Марфушка Наташе у колодца сказывала, — сообщила старуха новость.

— Ей ништо теперь, — равнодушно отозвался Павел Парменыч и, шлепая глубокими кожаными калошами, вышел в сенцы, где Наташа уже доила. Корова недавно отелилась, но с голоду так отошала, что давала мало удою, и молоко было жидкое, синеватое, как снятое, — едва хватало для ребятишек. Исхудалая, понурая лошадь с трудом передвигала ноги, точно опоенная.

— Куды с таким маханом пахать, — уныло думал Павел Парменыч, выводя лошадь, задевшую копытом о порог. Двор пустой и голый, вся солома с крыш разобрана на корм скотине. Жерди и слегы торчат обгло-

данными ребрами. Всех кур порезали еще осенью. Зарезали и овец, и другую корову. А вторая лошадь, на которой Семен уехал на земляные работы на Волгу, пала зимой — с одной сбруей в мешке вернулся он домой пешком. Среди двора, как петух, важно разгуливал крупный лоснящийся грач.

— Ишь какой жирный! — с досадой выругался Павел Парменыч и спугнул непрошеного гостя. Но тот и не подумал улетать, а только отошел подальше к воротам. Слетевшиеся грачи в поисках пищи безбоязненно, как воробьи, лезли прямо под копыта лошади.

— Здорово, Павел Парменыч. Никак ты грачей за место кур доржишь? — окликнул старика неожиданно из калитки звонкий певучий тенорок.

Это Авксентий Егорыч, председатель сельсовета, невзрачный, с реденькой мочальной бородачкой мужичонка, в заячем малахае, хлопотун и говорун. Авксентий Егорыч еще при царе сидел в тюрьме за аграрные беспорядки, и односельчане постоянно выбирают его на мирские должности, хотя и подшучивают, что он «чужие крыши кроет, а своя течет».

— Ты вот што, дядя Павел. Захаживай к полудню в совет. Семена привезли. Выдавать будем на посев.

Услышав про семена, Павел Парменыч заволновался и хотел подробно расспросить обо всем Авксентия Егорыча, но тот уже щелкнул шеколдой и исчез так же неожиданно и быстро, как и появился.

Наскоро позавтракав горячей пустой похлебкой и куском подсолнечного колоба вместо хлеба, Павел Парменыч захватил на всякий случай два мешка и пошел в сельсовет. Здесь уже толпилась кучка взбудораженных галдящих мужиков с худыми скуластыми лицами и лихорадочными глазами. В сенях у весов стояло несколько пятериковых мешков, и около них, проверяя что-то по бумаге, суетился Авксентий Егорыч.

— Павел Парменов Ламихов, — выкликнул он по списку. — Сколько у тебя осенью засеяно и под зябь поднято?

— Две десятины под рожью да десятины две, мотри, с осминником под зябью.

— Из этой получки на твою долю приходится один пуд 24 фунта пшеницы и 17 фунтов овса. Расписывайся и получай.

Расписавшись двумя загогулинами, Павел Парме-

ныч подошел к весам и старательно их уравнивал и проверял, чтобы вес был точный.

— Ты куды залезла! — огрызнулся вдруг один из мужиков на незаметно вошедшую в сени старуху, пытавшуюся утащить пригоршню зерна из мешка. — Пошла вон отселева, стерва.

Но старуха, худая и страшная (на нее уже раз составляли протокол за трупоедство), не ушла, а стояла на пороге и издали трупными глазами жадно и тупо смотрела на отвешивание семян, как опасаящаяся пинка сапогом собака при рубке туши в мясной лавке.

Павел Парменыч получил семена одним из первых и с трудом донес двухпудовую ношу. Несколько раз садился и передыхал от одышки. Дома его все радостно обступили, словно он привез дорогих гостинцев с ярмарки, щупали и перебирали зерно, как бисер.

— Пшеница хорошая, сибирка, — решил Павел Парменыч. — Не знай, как примется. И овес неплохой, только волглый, надо подсушить.

Он перевязал надвое мешок и повесил его к балке, чтобы не залезли мыши. И сразу в угрюмой избе стало уютней и светлей, точно засветили огонь в красном углу. Хотелось хлопотать и работать, как перед большим праздником.

Роясь в сарае, Павел Парменыч наткнулся на старый вентерь и сетку и вспомнил, что щука начинает метать икру. До света, затемно, встал он и пошел на речку. Раздувшаяся от половодья мелкая степная речка бурлила и катилась мутным весенним потоком поверх тальника и камышей. Увязая в глине, добрался Павел Парменыч до знакомого обрыва и стал водить по дну сеткой, как черпаком. Солнце поднималось, и измученный Павел Парменыч уже собирался бросить напрасную ловлю, как вдруг, вытаскивая сетку, заметил в ней блеснувшую большую щуку, тяжело хлопнувшую на берег и бьющуюся высокими прыжками. Павел Парменыч бросился на щуку, но не удержался и покатился вместе с ней по обрыву. Наконец подмял животом и ухватил у самой воды. Щука, матерая и икрная, внезапно выхваченная из весенней снеговой воды, скользила стальным телом, шерилась, кололась перьями плавников и яростно, извиваясь змеей, била хвостом. Но Павел Парменыч вцепился под жабры клешнями пальцев и сунул ее в мешок. Придя домой, он сам разрезал и

выпотрошил все еще бьющуюся шуку и бросил ее в чугун, где она и выпотрошенная долго шевелила голубыми плавниками и дышала кровавыми жабрами, пока вода не закипела.

Хлебая за столом жирную уху и поглядывая на мешок с зерном, Павел Парменыч чувствовал, как с каждой ложкой крепнет и веселеет, точно хищная омутовая щучья сила входила в него и растекалась по высохшим от голодухи жилам.

Сеять яровое Павлу Парменычу пришлось самому: Алексей еще не оправился после тифа, а Семен не вернулся из поездки. О пахоте нечего и думать, лошадь слишком плоха. Нужно прямо посеять по осенней зяби под борону. По дороге в поле Павел Парменыч встретил мужика с телегой, в которую вместо лошади была запряжена корова. Мужик шел понурясь, глядя куда-то в сторону, видимо стыдясь такого срама. Корова еле переступала ногами, мотая пересохшее дряблое вымя. Павел Парменыч пожалел мужика и невольно почувствовал гордость: как-никак, а он все же сумел сохранить лошадь и остаться хозяином.

Семен скоро вернулся и привез мешок ржи. Алексей поправился. Ярового посеяли около двух десятин, да еще посадили картофель, подсолнух и тыкву. Весна выдалась влажная и теплая, проходили частые дожди. Вся степь зеленела и пестрела, как пойма. Высокие хлеба обещали богатый урожай. На Троицу стояло ведро, а Духов день выпал душный и грозовой. Сильно марило, пробегали легкие тучки с дождем, издали гудел гром, солнечное сиянье смешивалось с блеском непрерывно воздвигавшихся и рушившихся радуг. Павлу Парменычу неможилось, мучила одышка и что-то подкатывало под самое сердце. После обедни он, переломив нездоровье, опираясь на палку, пошел в Дальное поле посмотреть озимые. Осмотром их он остался доволен, и, словно чувствуя на себе одобрительный взгляд хозяина, зеленая рожь закланялась и зашуршала. Павел Парменыч даже рукой погладил колосья, как гриву у лошади. Потом присел у края полосы и достал кусок подсолнечного колоба, чтобы поесть. Но тут набежала небольшая серо-серебристая тучка, подкралась, как девка с ведром к парням на Ивана Купало, и с громовым хохотом окатила колодезной водой. Но Павел Парменыч не досадует; теплый дождик только освежил го-

лову. Долго сидел он, жевал колоб, и ему было легко и покойно, но когда встал, чтобы идти, то почувствовал, как вдруг разом разорвалось что-то, долго копившееся на сердце, в глазах сверкнула молния, в ушах прогудел гром, и вся степь зарябила подсолнухами, все небо расцветилось радугами. Павел Парменыч понял, что падает, и сделал шаг в сторону, но не успел,— падая, выронил кусок недоеденного колоба и примял головой зеленыя. А они, освеженные только что пробежавшим дождем, густо волновались и ластились к голове хозяина, кропя брызгами голое темя в венце растрепавшихся паклей волос. Но Павел Парменыч уже не слышал ни их шелкового шелеста, ни хрустальных голосов жаворонков, ни прощального оклика облившей его водой тучки, бросившей с погромывающей на железном ходу по степным поймам громовой телеги из-под расписной, обвитой свадебными радужными лентами дуги озорное девическое «ау»...

Положить в ладанку три зерна от нового урожая Павлу Парменычу не пришлось, это сделал вместо него Семен Палыч, соблюдая по привычке из уважения к памяти отца установившийся в доме обычай.

XXXVI

НЕ МАРЕЙ, НЕ КАТАЕВ, ХОТЯ, МОЖЕТ БЫТЬ, И СФИНКС

— Заря горит, опять дождь будет. И ветер даве полуденный был, а теперь москвич,— замечает Семен Палыч, присаживаясь на берэг тока и закуривая.

Заря и вправду необычно красная, ненастная. От нее и солома на току солнечней, и муругое лицо Семен Палыча багровеет отсветом костра. Прикрытый щитом веялки, он рыскает напряженным зорким взглядом пулеметчика по вечереющему полю, где пороховым дымом стелется пыль от недавно прошедшего стада и цепью в перебежке ощетинились у окопов барака сероголубые репейные заросли высокого татарника.

И вдруг вспоминает:

— Такого убивца, как говорится, поискать, Михал Лексаныч. Сколько я народу покосил пулеметом. Пуль, мотри, поболе высеял, чем зерен. Уж как я с этим пуле-

метом ухитривался, разобрать, починить — моментом. Солдаты, бывало, подшучивали: «А ну, Ламихов, вскипяти-ка австрийцам горяченького чайку на пулемете». Ну, и мне тоже попадало. Насквозь прошли.

Он раздвинул расстегнутый, вылинявший от пота ворот и показал на груди под правым соском шрам от пули.

— К ненастью простреб бывает. А так ничево, не мешат работать... Сколько я этой ерунды повидал...

Семен Палыч при случае охотно расскажет о том, как у него пала лошадь, как он покупал новую, как обзаводился хозяйством после голода, но не любит вспоминать о своем героическом прошлом. Если бы не ненастная заря, не прострел от раны и не мои расспросы, то он, может, и сейчас не вспомнил бы об «этой ерунде».

Вот в такой же теплый июльский вечер, вернувшись из поля с уборки пшеницы, узнал Семен Палыч о мобилизации и, наскоро собравшись за ночь, на рассвете выехал с отцом на телеге в город, к казармам у вокзала. А через несколько дней, выстояв навтыжку торжественный парад и молебен на площади у собора, с музыкой и песнями под крики и приветствия толпы с тротуаров, пройдясь по улицам, вошел в теплушку, которая от сапог и прикладов загудела деревом, как гроб от комьев земли, и, уезжая с эшеленом на закате, высматривал пробегающее за буграми Дальное поле, стараясь различить на нем знакомый загон.

— Угнали в самую страду. Не дали и с хлебом управиться. Оттого, может, и война вышла незадачливая. Не лежало у народа к ей сердце. Все ко дворам тянуло,— высказывает предположение Семен Палыч.— А пройдя две недели, прямо с поезду серед поля в бой бросили. От нашей роты осталось не боле сорока человек.

Со своих приволжских полей Семен Палыч попал на чужие галицийские, вместо лобогрейки ему пришлось управляться с другой жатвенной машиной — с пулеметом, и косить уже не пшеницу, а людей...

— Раз австрийцы ко мне подошли, вон как те ометы. Косишь их, а они все идут и горланят песни. Должно, пьяные были. Тут у меня вся вода выкипела, пулемет зачал осекаться. Думал, пропаду, да наши их отбили штыками,— рассказывает Семен Палыч и

вдруг ухмыляется. — Чудно смотреть, как люди от пуль падают. Ровно игрушки какие...

Солдатские нафабранные пылью усы Семен Палыча шевелятся от оскала недоброй усмешки, и в глазах у него темнеются красные угольные огоньки от заката. «Точно кровь», — думаю я и вспоминаю сказанное им про себя слово: «убивец».

— Смерти пугаться нечего, — рассуждает Семен Палыч. — Малодушного она завсегда возьмет. Только и шуток она не терпит. Был у нас в полку вольноопределяющийся, доброволец. Так, шальной. На спор высовывался с папироской из окопа. Ну, его и ухлопали.

Семен Палыч был несколько раз ранен и получил два Георгия, но за что — умалчивает.

— Такая, значит, удача вышла. Вместо деревянного креста заработал два Егорьевских. А что с их толку? Валяются в сундуке у бабы...

После последнего тяжелого ранения его откомандировали в пулеметную школу в Ораниенбаум. Однако северная гранитная столица ничем его не поразила.

— Што Питер — камень один. Наложу камню, вот тебе и город. Сыми, и нет его...

Революция застала Семена Палыча за обычным занятием — обучением очередной маршевой пулеметной команды и быстро по-праздничному перевернула привычный серый уклад его солдатской жизни. Выгнала из закоулков казарм и стрельбищ и понесла из Ораниенбаума сначала в строю с музыкой к белому барскому особняку Таврического дворца, а потом на грузовиках с пулеметами по грязному шоссе к цитадели Советов — Смольному. Скоро он сменил жестяную трехцветную кокарду на серой шапке на красную жестяную звезду, превратился из солдата в красноармейца и пошел с пулеметом уже не на австрийцев и германцев, а на Колчака и Деникина.

— Ну, Ленин удумал. Разй может один человек все переверотить? Сам народ перемутился. Я учитываю все положение и сужу так с точки зрения моей правильности. Для чего-нибудь живет же человек и удумывает, как лучше быть...

Семен Палыч редко выскажется напрямик, без обиняков. Он долго крутится вокруг да около, словно боится спугнуть свои мысли, медленно наезживает их телегой, как дроф в степи.

— Инвентарю нет... Все мы можем производить по-нашему, по-крестьянскому, а вот с железом нам трудно... Как говорится, один с сошкой, а с ложкой-то и не сосчитаешь сколько,— жалуется он.— Деньги не Бог, они милуют и больше разума дают...

Я смотрю на лицо Семен Палыча, такое же серое, невзрачное, знакомое, как тысячи крестьянских лиц, похожих друг на друга, как один загон в поле на другой, и вдруг вспоминаю стихотворение в прозе «Сфинкс» Тургенева. Вот он, этот мужицкий сфинкс, с муругим скуластым, из серого булыжника высеченным ликом! В желто-соломенной пустыне созревших хлебов, среди приземистых пирамид скирдов и одоний, под тихим немеркнущим заревом поздней летней зари повернул он ко мне простое, плоское, непроницаемое лицо и предлагает разрешить свою, неведомую ему самому загадку...

— От мертвой пчелы кануна не будет,— прерывает мои размышления Семен Палыч и идет подметать метлой с тока в кучу обмолоченное, но еще не провеянное зерно с мякиной.

Мне уже не чудится в нем ничего загадочного, сфинксоподобного. Вероятно, все это было только миражной игрой необычного облачного освещения. Тем не менее неожиданно промелькнувшая мысль о мужицком сфинксе занимает меня, и я обдумываю ее, бродя за скирдами вокруг гумна. Мне вспоминается мужик Марей Достоевского и Платон Каратаев Толстого. Разве Семен Палыч не укрыл меня на пашне от преследования петербургских кошмаров, как Марей напуганного криком о волке мальчика? Разве он не сносил покорно десятилетнюю военную страду, как Платон Каратаев? Но ведь он совсем не похож на них или, вернее, похож только в одном: от него исходят вместе с крепким мужицким запахом те же темные тепловые лучи, как от парной весенней земли, от наливающегося зерна. Около него я чувствую себя так же спокойно, просто и уютно, как мальчик Достоевского около Марeya, как Пьер Безухов около Каратаева. Он, по собственному его выражению, убивец — «такого убивца поискать», но с ним совсем не жутко,— сидя здесь на теплом току около пшеничного умолота и слушая его рассказы, думаешь, что и война, и революция — только глубокая вспашка, сев человеческих жизней для урожаев будущего, а са-

мая отдача жизни кажется такой же простой и нестрашной, как бросание зерна в землю. Что за беда, если часть драгоценных полновесных зерен осыпается зря — «без урону никак нельзя», без этого не совершается севооборот веков у расточительного скопидома — времени. Семен Палыч оторвался со своей Непочетовкой от прошлого и еще не нашел лучшего будущего. Он остановился на полпути, на перекрестке, — он середняк во всем — и в хозяйстве, и в воззрениях; ко всему относится осторожно, выжидательно и все принимает наполовину, мысленно прикидывая на безмен. Он и не хозяин-собственник, и не рабочий, а что-то среднее между тем и другим — мирской исполщик. Неторопливо промеривает он в сотый раз аршинником ног свои загоны, управляя упорной муравьиной тягой лошади, и прислушивается, как невдалеке по соседству тархтит совхозовский трактор. Путь к будущему для него еще темен, он часто сбивается с большака и, потеряв вешки, нащупывает валенком и кнутовищем под рыхлым снегом твердый, накатанный наст, как обоз на розвальнях в буран. И я верю в эти осторожные мужицкие поиски, вспоминая слова Семен Палыча: «Для чего-нибудь живет же человек и удумывает, как лучше быть».

Задумавшись, я не сразу услышал, что меня кличет Семен Палыч: пора идти ужинать. Непроверянное зерно сметено в кучу и лежит на току гигантским уснувшим золотым муравейником. Семен Палыч заворошил его сверху соломой на случай неожиданного дождя и чтоб было незаметней.

Ужинаем мы в темной мазанке, служащей зимой конюшней и коровником. В углу сложена небольшая русская печь, а вдоль стен устроены нары. К запаху свежеспеченного хлеба примешивается прелый запах навоза. Рядом, под навесом, пофыркивая, похрустывает мокрой соломой с мучной посыпкой лошадь и, шумно вздыхая, отрыгивая, пережевывает жвачку корова. Вокруг небольшой керосиновой лампы кружатся стайкой похожие на крупную моль перламутровые ночные бабочки. Они осыпаются в бадейку с жирным топленым молоком и в миску с кашей. Падают в воронку лампового стекла, и фитиль, слизывая их, выпыхивает коротким красным языком.

— Лошадь не работы боится, а разгону, — настави-

тельно говорит, хлебая из общей миски кашу с варенцом, Семен Палыч и метко, к слову отзывается об одном односельчанине, считающемся никудышным человеком: — Он никакого инструмента в руках не доржит. Насилу ложку ко рту таскает...

Наверное, так же отзываются за глаза на селе и обо мне — «ламиховском дашнике», слоняющемся без дела среди работы и что-то записывающем в свою книжечку.

После ужина Семен Палыч берет с печки два овчинных полушубка, и мы идем с ним ночевать на гумно, а то могут украсть зерно.

Уже смерклось и вызвездило. Только на западе светит зеленовато-бледный след не совсем еще погасшей зари. Степные сверчки стрекочут и вопят неистовым хором. По дороге нам попадается знакомый пожилой крестьянин; он считается на селе зажиточным и ведет хозяйство с двумя взрослыми сыновьями. Одоньи у него повыше, чем у других, и на гумне стоит овин, или, как здесь называют, половня. Старик тоже идет караулить хлеб и захватил с собой железные вилы. Я спрашиваю его, почему он не послал вместо себя сыновей.

— Нешто им можно доверить, — качает головой старик. — Народ молодой, погулять хочется. Сам парнем был, у родного отца крал. Отсыпешь в мешок да продашь потихоньку...

На гумне Семен Палыч молча докуривает сигарку и, потушив ее плевком и растоптав, укладывается спать в ворохе пышной соломы поближе к куче зерна. Положив под голову полушубок, я ложусь рядом. В плотном теплом омете слышатся шорох и верещание кузнечиков. Где-то близко на выгоне кричит перепел.

— Это он из поля на гумна пробирается, — позевывает Семен Палыч. — Год урожайный будет, мышь сверху ометы ест...

Умаявшись за день, он скоро засыпает. Но мне спать не хочется, я лежу на спине, лицом к звездам, смотрю на белую, блестящую прямо надо мной в зените Вегу, вспоминаю о мужицком сфинксе и начинаю складывать и шепотом про себя бормотать стихи:

По глазам полянин, по скулам финн.
Миллионы таких безликих обличий,
Чернозема, сутлинка и супеси сфинкс,
Неразгаданный сфинкс мужичий!

В белом мареве дальних полярных морей
Век, как летнюю ночь, со мной коротая,
Родимчик рукоюними, как Марей,
Побалагурь, как Платон Каратаев!..

Но мысли рассеиваются, и стихи не ладятся. Шея у меня горит и зудит от укусов. «Может, вши?» — я отбрасываю полушубок подальше в ноги и ложусь головой прямо на солому, взбив ее повыше. Забываю про стихи и думаю о Наташе, представляя ее лежащей рядом со мной, вместо Семен Палыча, на пышной пшеничной золотистой перине под темно-синим, выстеганным звездами одеялом...

XXXVII

МАЛЬТОВЫЙ АНИС

— Гуляй ко мне свежего медку проотведать, — пригласил меня встретившийся дед Мирон, и я зашел к нему в гости.

Пасеку свою дед Мирон держит неподалеку от двора в саду, на скате к пруду. Десяток старых, замшелых яблонь, заросшие травой кусты крыжовника и смородины, тальник вишневой заросли вдоль плетня — вот и весь сад. Уходом и поливом дед Мирон его не балует, только в сильные дожди выбегает на дорогу и прудит ручьи, чтобы вода текла по канавкам в лунки под деревьями. Однако узловатые, скрюченные ветви густо осыпаны яблоками, пригибаются к земле и надломилась бы от непосильной ноши, если бы не опирались на костыли подставленных рогуль.

— Двенадцать пеньков у меня тут, — поясняет дед Мирон. — Семь ульев да пять колод. В порожне время балуюсь с пчелами. Дело такое, стариковское.

Если прислушаться, то в саду слышен ровный озаченный пчелиный гуд. Дед Мирон ведет меня в свою сторожку — клеть из плетня с соломенным навесом. Внутри врыты в землю небольшой столик и скамейка, в углу же устроена лежанка.

— Присаживайся. Я сейчас свежий сот вырежу. За мной не ходи, рискованно, пчелы кусают. Ко мне они привыкли. У меня дух стариковский, легкий, что от сухого дерева. А от молодого запах тяжелый, плот-

ский. Пчела его не любит, тревожится. У нее природа такая...

Дед Мирон взял небольшое оцинкованное ведро и без сетки и без рукавиц пошел вынимать соты. В сторожке сумеречно и не жарко, пахнет сушняком и воском, в открытую дверцу тянет прохладный сквозняк с пруда. Пчелиное гуденье становится громче и напряженней — видно, что пчелы обеспокоены и озлоблены. Скоро возвращается дед Мирон и ставит на стол ведро с сотом, отмахиваясь от налетевших пчел.

— Ишь скареды какие! Жалко, небось, свой мед отдавать. Што ж, мне задаром, што ли, с этим делом путаться... Проотведай медку-то. Я и яблоков принес. Хороши яблоки мальт — тугие, наливные, што тебе девка. Есть и черно дерево, да зелены еще, не доспели...

Яблоки, действительно, рассыпчатые, сладкие, с румяной нежной кожицей, прямо с дерева, еще покрытые лиловатой пудрой: крупный, скороспелый саратовский мальт. Мед густой и темный, как у шмелей и ос, но вкусный и душистый. Дед Мирон берет чурбан — колбан, как он называет, и тоже присаживается к столу, почесывая руки и шею, хотя на коричневой дубленой коже не заметны следы пчелиных жал.

— Может, хлебца хошь? А то я отрежу. Ситник утрешний, еще не простыл. С медком-то больно гоже...

Он отрезывает перепачканным в меду и воске ножом ломоть хлеба и кладет на стол, потом, зачерпнув из ведерка, подставляет мне жестяную кружку со светлой родниковой водой.

— У нас у всех тут в садах колодцы нарыты и срубы запущены. Вода мягкая, жилавая, только отдает маленько железом... Ты вот говоришь, зачем колоды дорожу. В ульях, дескать, прибыльней. Оно, может, верно, прибыльней, да ульи дороги, опять же и хлопот много. Они и в колодцах ухитриваются, пчелы-ти...

От июльского полуденного зноя, от дикого колодного меда и железистой колодезной воды я слегка хмелею и, разомлев, рассеянно слушаю гудение пчел и стариковского голоса.

— ...Рожь-то у него и сгнила, — неторопливо рассказывает словоохотливый дед Мирон и вдруг огорошивает меня неожиданной новостью: — Што ж он девку-то навзрез берет, как арбуз. Не слыхал, просватали у Алексея Наталью-то?

Я не знал, что Наташа просватана, и мне почему-то это неприятно, но расспрашивать подробности неловко. Посидев недолго у деда Мирона, я покидаю холодок и зелень пчельника и иду бесцельно бродить по деревне. Самый жар — мертвый час, все ставни закрыты, людей не видно, даже куры попрятались и собаки не вылезают из тени полаять из подворотен. Безжизненность жары напоминает чем-то мертвенность холода. Белое солнце спит меловым мгlistым светом, зной оковывает воздух, как мороз, и коричневая теплая зола пыли клубится метельным поземком.

А почему бы мне не зайти сейчас к Алексею Палычу за квасом и яблоками, — наверное, я увижу Наташу. Алексей Палыч живет вместе с младшим братом, восемнадцатилетним парнем, в отцовском доме. Изба и двор у них просторней и лучше и хозяйство налаженней, чем у Семена Палыча. У навеса высыхает на припеке бочка на двухколесном передке, и на нее взлетели, в поисках воды, очумевшие от жары куры. В мазанке в холодке и сумраке у кованных жестью сундуков сидит старуха, Наташина бабка, и, шевеля отекшей толстой ногой в шерстяном чулке, сучит деревянной самодельной прялкой. У ней лицо цвета киновари; правый глаз полуприкрыт веком, а рот перекошен от паралича, а может, и вправду, как говорят, от молнии, влетевшей во время грозы, когда все были в поле, огненным шаром в печь. Татьяна Антоновна рассказывала, что бабку зарывали и обкладывали землей от ожога молнии. Я с трудом втолковываю старухе, что мне нужно, и она кличет Наташу, которая откуда-то появляется на пороге, просвечивая на солнце циркулем ног из-под цветного ситцевого платья.

— Тебе што, квасу? — спрашивает она усмехаясь, словно догадываясь, что я пришел совсем не за тем. — Погоди, достану с ледника...

Она распахивает со скрипом ржавых петель два деревянных подгнивших крыла творила и бойко босиком спускается по шаткой лесенке в яму погреба на оледеневший снег, откуда несет грибной плесенью и затхлой сыростью.

— Мотри, простынь, не испей сразу, — предупреждает меня Наташа, подавая кувшин со студеным пенящимся квасом, отдающим мятой и богородицкой травой. — Яблоков надоть? — опять усмехается она, рас-

крывая все мои планы, и кричит старухе: — Баушка, я пойду яблоков отпустить Семенову дашнику...

Через двор по задам проходим мы в сад к шалашу, где грудями лежат опавшие яблоки, — больше малът, крупный и красный. В ободранном лозняке вишен за колодцем темнеет прокопченными бревнами памятная мне баня. Одернув подол у колен, Наташа присаживается на корточки и молчит; я bestолково роюсь в яблоках, не зная, как начать с ней разговор.

— Што любиуешь? Некогда мне тут с тобой прохлаждаться, — торопит Наташа и вдруг выпаливает задорно и бойко: — Ты што, на наряд взялся Семеново гумно окарауливать? Приходи лучше к нам в шалаш ночевать...

Шутит она или говорит серьезно? Я в упор гляжу ей в глаза и замечаю в первый раз при ярком солнечном свете, что у нее на правом глазу под зрачком небольшое коричневое пятнышко, выделяющееся на карем блестящем райке более темной окраской. Но Наташа не дает мне опомниться, быстро накладывает яблоки и идет к дому, где куда-то исчезает, оставив меня рассчитывать с бабкой. Старуха с жадностью перебирает и прячет медяки, которые пригодятся ей разве только чтобы придавить мертвые веки. В бровях и глазах ее меня неприятно поражает какое-то близкое, хотя и искаженное старостью сходство с внучкой.

Слова Наташи и обрадовали меня и смутили. А что если это озорство, как тогда с крапивой, и я, придя ночью в сад, окажусь в дураках? Все же я засветло высмотрел, как поудобней пробраться к шалашу, мимо бани, по тропке от пруда. После же ужина пошел ночевать будто бы на гумно, а оттуда попоздней стал пробираться украдкой в сад. Месяца нет, и ночь, хотя и звездная, но темная. Только вдалеке, на пригорке, белеет колокольня, а внизу, поперек пруда, отсвечивает Млечным Путем черная вода. Пройдя колодец, я свернул с тропки и, согнувшись, полез прямо под яблони, но в темноте задел головой за ветку, и несколько сорвавшихся яблок с тугим деревянным стуком ударились о сухую землю. Где-то рядом яростно залаяла собака, и я в страхе замер на месте. А что как меня накроют мужики, еще, пожалуй, сочтут, что залез ночью воровать яблоки, — не смогу ведь я сказать им правду! Но собака привязана к дереву: слышно, как она гремит цепью

и, дергаясь, осыпает яблоки. Я пополз было назад, но услышал тихий оклик:

— Дяденька, проходи сюды тропкой...

Это Дуняша, она откуда-то вынырнула из потемок и ведет меня к шалашу.

— Караульщика привела, — встречает меня Наташа. — А я уж собиралась на тебя собаку спустить. Одни бы мохры у тебя остались от штанов. Хорошо, што пришел. Мы спать ляжем, а ты караулить будешь заместо нас. За каку цену срядишься?

— Смотри по достатку, — отшучиваюсь я, повторяя слышанные мною не раз от крестьян слова.

— Мотри, больно-то не заламывай. Все одно не дадим, — поддразнивает Наташа и, позевывая, укладывается на ворох принесенной с гумна недавно обмолоченной соломы.

Я нерешительно подсаживаюсь поближе.

— Правда ль, ты замуж выходишь?

— А то што ж, в девках сидеть буду, тебя дожидаться...

— Кто тебя возьмет с бельмом-то?

— А ты уж все доглядел. У меня не бельмо, а родимое пятнышко на глазу.

Осмелев, я подваливаюсь к Наташе и, обхватив, целую в губы. Она хохочет, отбивается. Яблоки катятся из кучи на солому, как пасхальные яйца с горки.

— Ишь впиваялся. Аль больно сладко? — отплеывается Наташа, но не отодвигается, а прижимается вплотную.

Руки мои скользят под платьем по ее голому девичьему телу от крепко сжатых колен до груди, как по наливному тугому анисовому яблоку...

— Отстань, все одно не добьешься, — отталкивает меня наконец Наташа. — Сладу с тобой нету. Тебе бы, как бугаю, кольцо скрозь ноздрю продеть. Лежи смирно, а то уйду в шалаш к Дуняшке... Гляди, вон уж Стожары занялись. Светать скоро начнет...

Из чаши яблонь взлетает упущенный ночью звездный рой Стожар, а напротив на черном футляре бархата сверкает драгоценное ожерелье полярного Венца, с крупным бриллиантом Геммы посредине.

Колокольня, пробив в последний раз двенадцать ударов, смолкает — дальше счет часам ведут петухи. Повернувшись ко мне спиной и зарывшись в солому,

Наташа засыпает. Я тихо лежу рядом, слушаю ее сонное дыхание и не решаюсь ее тронуть и разбудить... Полудремота — полубессонница... Медленно движутся по циферблату зенита созвездья... Собака, почесываясь, гремит цепью... Ворошит босой ногой солому Наташа... Искрой утреннего пожара перекидывается по крышам крик петухов... Роса тронула груди яблок, и они свежее запашли... Под утро я крепко заснул, и меня растолкала Наташа.

— Вставай, што ль... Ишь разоспался...

Уже рассвело. С пруда поднимается легкий дымок и стелется под яблонями. Дуняша еще спит, свернувшись калачиком в шалаше.

— Из-за тебя коров проспала... Баушка заругается... Уходи скорей отсель,— выпроваживает меня Наташа и, шлепая босыми ногами, бежит к дому.

По задам я пробираюсь на гумно. В деревне скрипят ворота и мычат выгоняемые из дворов коровы. За околицей на пригорке собирается стадо. Винтовочным выстрелом щелкает бич, и на золотом фоне вычеканивается оборванная фигура пастуха. Меловые в розовой пыли овцы перекатываются волнами и с бляньем шуршат острыми копытцами. Отдохнувшие за ночь от жары и мух коровы трясут на бегу пустым выдоенным выменем. Мирской бряк, бугай, с железным кольцом в ноздрях, мотая мясистым кадыком, неторопливо выступает на пыльную арену выгона. Говорят, он раз уже помял пастуха, и я благоразумно отхожу за канаву. Бык косит на меня огненным глазом и проходит мимо, вскинув мокрые ноздри и принявываясь к шарахающимся от него коровам. Два стада — овечье и коровье — скрываются за облаком пыли в ложбине. Из-за Дального поля выкатывается солнце и быстро, заметно для глаза движется вверх по небу, проглатывая дрожашую в перламутровых створках зари жемчужину Венеры.

Становится жарко, и я иду искупаться. Пруд еще в тени, только часть берега у ветел освещена утренним солнцем. Раздевшись, я с разбегу прыгаю с мостков и торопливо саженками плыву к тому месту на плотине, где тогда, весной, озоруя, выскочила на берег нагая Наташа. С тинистого дна, булькая пузырями, тянутся черные уродливые щупальца коряг и корневищ. Выбравшись на плотину, я бегу, разогреваясь, к мосткам. Раскрасневшееся от ожога родниковой воды тело

страхнуло истому и вялость бессонной ночи. Только пальцы правой руки сладостно терпнут, когда я вдруг вспомню темную коричневую родинку в карих, смеющихся солнечных зайчиках глазах Наташи.

XXXVIII

ДВЕ ПОКРАЖИ

Откуда этот дробный, ударный звон бубна, словно кто пляшет за косогором поля?

Нет, это не бубен, а бубенцы: чья-то шалая, притомившаяся от жары тройка, ступая шагом по пыли, позвякивает бубенчиками. Станный звук, слишком уж масленично-праздничный, детски-погремушечный, среди натруженного скрипа крестьянских фур!

Из-за подсолнухов выкатилась на высоких колесах старомодная крытая бричка. Разномастная, не подобранная по росту тройка рысцей вкатила ее на пригорок к гумнам. С передка соскочили двое бородатых мужчин в шляпах и быстро отпрягли лошадей, пустив их пастись на колючем пустыре выгона. Подкатившие две телеги, круго завернув, примкнули полукругом к бричке. Высоко задранными в пыльный буран оглоблями, ярмарочной лоскутной пестротой замаячил, зарябил невесть откуда взявшийся цыганский табор.

— Принес черт гостей,— недовольно пробурчал Семен Палыч.— Таперь смотри, кабы чего не сперли.

К гумну подошли двое цыган в лапсердаках и синих широких шароварах, под напуском которых почти исчезали смазные голенища. Смоляные маслянистые бороды лоснились на солнце, а большие волоокие глаза перебежали и блестили черными тараканами.

— Дай снопков,— попросил один из цыган Семен Палыча, предлагая в обмен самодельные буравчики из темного железа.— В степу травы нема...

Ничего не добившись, цыгане пошли по другим гумнам. Цыганки тоже вышли на добычу: пестрой муруго-красной сворой в серебряных ошейниках монист метнулись они в деревню попрошайничать и гадать девкам за яйца и медяки. Панька вместе с другими ребяташками бегал к табору смотреть, как пляшет медвежонок.

— Мотри, украдут тебя цыгане,— шутливо припугнул его отец.

— Я не дамси... На кой я им? — усомнился Панька, но все же стал держаться от табора подальше.

В дыме костра, на полынном выгоне, в ржании стреноженных лошадей, в сверкании черных глаз из-под ястребиных крыльев бровей, в позвякивании серебряных монист на смуглых невымытых шеях — есть что-то вольное, степное, узывное, но слишком все это убогое, грязное, нищее. Ярмарочный барышник и конокрад Алеко, назойливая гадалка и попрошайка Земфира.

Через гумно проходили, возвращаясь из деревни, две цыганки, одна — молоденькая, почти подросток, другая — старуха.

— Панич! панич! — окликнула меня гортанным клетотом старая цыганка, махая сухой коричневой рукой в красном рукаве.

Думая, что она напрашивается гадать, я сначала не обратил внимания на оклик, но потом, увидя, что молоденькая цыганочка тоже машет и манит меня за скирды, подошел к ним.

— Панич. Русавая краля гостинчик прислала,— таинственно шепнула старая цыганка, схватив меня за рукав и отводя за скирд. Из-под ярко-желтого, не идущего к ее морщинистому поблекшему лицу платка торчат двумя расщелкнутыми половинками хищного клюва крючковатый нос и заостренный кверху подбородок. Но глаза в ободке лиловых теней еще горячие, молодые. У цыганочки — строгое точеное лицо, и, сознавая свою красоту, она, усмехаясь, бесстыдно заглядывает мне в глаза и теребит падающие от висков на узкие костлявые плечи две смоляные, от висков перевитые красной лентой косички, на которых, как сбруя у конского хвоста, болтаются крупные серебряные рубли — тонкие монисты. Встряхнув ширскими складками, старуха вытащила из-за пазухи маленькую черную сумочку и сунула ее мне в руки. Растерявшись от неожиданности, я не успел ничего спросить: обе цыганки, не оборачиваясь, быстро пошли к табору.

От бархатной, черной, вышитой парчовыми крестиками сумочки пахло духами, ладаном и еще чем-то кислым, — вероятно, она долго пролежала за пазухой старой цыганки. Распустив шнурок, я нашел в сумочке записку в розовом дамском конвертике:

*Мы с нетерпением ждем, когда же наконец Вы
раздобудете для нас ладанку. Поторопитесь!*

Эльга.

Я разорвал на мелкие клочки записку и бросил сумочку. Неужели и здесь возможно возвращение моих петербургских кошмаров. Проклятая ладанка! Ясно одно: если я ее не достану, они не оставят меня в покое. Надо во что бы то ни стало, по возможности сегодня же раздобыть ее и передать вместе с бархатной сумочкой старой цыганке.

Разыскав в бурьяне сумочку, я с отвращением положил ее в карман и стал обдумывать, как мне достать ладанку. Я слышал от Семена Палыча, что она спрятана за киотом, но не у него, а в старом отцовском доме, у Алексея Палыча. Сейчас идет молотья на гумне; на дворе в мазанке осталась одна глухая старуха. Изба стоит нежилой, с закрытыми ставнями. Может, мне удастся пробраться туда и выкрасть ладанку.

Взяв жбан для кваса, я отправился к дому Алексея Палыча. Тихо, стараясь не громыхнуть щеколдой, вошел во двор. В мазанке верещала прялка и покашливала старуха. Прошмыгнув по шаткому настилу крыльца в открытые сенцы, я без скрипа приоткрыл дверь и прокрался в горницу. Охватившая меня сразу после солнечного света темнота скоро разрядилась в сумерки, и я различил полосы света от щелей закрытых ставен. Я бывал в гостях у Алексея Палыча и знал, в каком углу висят иконы. Потолок низкий, до него можно достать рукой, привстав на цыпочки. Спугнув с лампы стаю загудевших мух, я нащупал на полке за киотом какой-то мешочек, похожий на кисет для махорки. Поднеся его к узкой полоске света, я увидел, что мешочек туго набит зерном — пшеницей и рожью. Вот она, ладанка покойного Павла Парменыча!

Я хотел положить ее в карман, но одумался: мне почему-то вдруг жалко стало забирать все, точно этим я обездоливал и грабил приютившую меня семью.

Отсыпав около половины зерна в бархатную сумочку, я положил ладанку на место. Под окном послышался звон ведер и голос Наташи. Я опротью отскочил от киота и выбежал в сенцы.

Чего я так дрожу и волнуюсь? Ну, скажу, что пришел в избу, думал, что там кто есть, хотел спросить квасу...

Стука прялки уже не слышно. В полутемной мазанке цыганка громко, нараспев, гадает старухе:

— Внучку замуж отдашь... Пробабкой будишь... Помрешь на саму Пасху... Как у церкви заутреню зазвонят, так и помрешь...

Не заглядывая в мазанку, я прошел на зады, и следом за мной со двора вышла старая цыганка. Я ее издали узнал по подсолнечнику желтого платка.казалось, она знала, что я делаю, и караулила меня. Почти бегом догнал я ее и сунул ей в руку бархатную сумочку. Но цыганка, осклабясь, показала два длинных желтых старушечьих клыка, замотала головой и залопотала что-то непонятное, показывая сухой коричневой рукой на табор. Я разобрал только два слова: «вечор... в степу...»

Я предложил ей деньги, она взяла их, но сумочка так и осталась у меня в руках. Зерно ладанки, казалось, прожигало бархат и бросало меня то в жар, то в озноб. Я боялся, что меня вдруг обыщут и уличат с поличным в воровстве. Спрятать сумочку я тоже не решался — а вдруг ее найдут! Мне было стыдно и Семен Палыча, и Татьяны Антоновны, и в то же время я сознавал, что все это нелепость: разве зерно из ладанки какое-нибудь особенное, отличное от того, которое лежит в куче на току, откуда я мог зачерпнуть пригоршню и насыпать в карман.

После ужина Семен Палыч пошел ночевать на гумно, опасаясь, как бы цыгане не украли хлеб.

— Им ништо. Накладут ночью снопов в телеги, да покатают куды глаза глядят. Ищи их опосля...

Я решил сначала пройти в табор, а потом, если удастся; пробраться в шалаш к Наташе. Ночь еще темнее вчерашней. Сверчки, радуясь темноте и ветру, пронзительно заливаются земляной соловьиной трелью. Только одна деревянная трещотка-колотушка покрывает их неистовый хор. Но отыскать в темноте виновника этого четкого дробного стука так же трудно, как поймать сверчка в бурьяне. Впрочем, неожиданно он попался мне навстречу около пожарного навеса, где и днем и ночью стоит под присмотром дежурного хозяина лошадь с бочкой воды на случай пожара. Ночной караульщик — маленький невзрачный черный сверчок — окликнул меня в темноте и попросил бумаги для курева. Я разговорился с ним и оцупал с любопытством,

как мальчик пойманную цикаду, его деревянную трещотку.

— Что ты зря стучишь? Этак воры по стуку узнают, где ты ходишь.

— Старики велят. Стучи, говорят, чтоб мы слышали, что ты не спишь. Даром, што ль, тебя нанимали?.. Мой караул известно какой. На летне время по поводу пожара. Мужики намаются в поле, спят крепко, коль пожар, не услышат. Да еще будишь, кому в город выехать надо затемно. Вот и вся служба.

— А днем, что ж, отсыпаешься?

— Спать-то летом мало приходится. По дворам хожу, кизы делаю. Хозяйства свою у меня нету. Обезлошадел в голодном году. Подал я заявление в Елшанский колхоз, да не знай, примут ли...

Огонек сигарки вспыхнул последней затяжкой и погас, отлетая вместе с плевком на пыльную дорогу. Бездомный сверчок скрылся в темноте, и скоро издалека затрещала его деревянная бессонная трель. Выйдя за околицу, я побрел напрямик на маячивший среди выгона костер. Вместе с порывом ветра ко мне донесся оттуда чистый ковкий звон металла — стук молота о наковальню. Но звук этот оборвался и больше не повторился.

Костер тлеет малиновой грудой углей, но людей около него не видно. Неужели в таборе уже залегли спать? Из-под задранных оглобель телеги поднимается темная тень и выходит мне навстречу. Старая цыганка! Я сую ей бархатную сумочку, но старуха цепко хватает меня за обе руки и, бормоча что-то, выводит в освещенный полукруг сомкнутых телег.

В бричке на куче тряпья полулежит молоденькая цыганочка и, свесившись, болтает босыми ногами из-под красного подола. Рядом, облокотясь о высокое ошинованное, поблескивающее железом колесо, стоит широкоплечий чернородый цыган (тот самый, что просил «снопков») и, посасывая трубку, равнодушно смотрит на меня волоокими, налитыми блеском костра глазами. Он неторопливо вынимает изо рта трубку и, сплюнув, выколачивает ее о железный обод.

Почему старая цыганка не выпускает моих рук? Или она хочет погадать мне по линиям ладони около костра?

— Пусти, не надо гадать... Вот тебе деньги...

Молоденькая цыганочка взвизгнула и, не спрыгивая с брички, пустилась в пляс на месте, подергивая худенькими плечиками и тряся не налившейся еще орочески-плоской грудью.

Пыль столбоса слево газдэя,
Ах, да тэрны чя улыджия... —

затянула она тонким гортанным голосом.

Я смотрел на ее выбившиеся из-под подола голые, освещенные костром коленки с черным провалом посредине и, как загипнотизированный, слушал непонятные слова дикой таборной песни.

Старуха выпустила мои руки и захлопала в ладоши. Цыган у колеса свистнул не громко, но резко. Неожиданный удар тяжелым сапогом подножку опрокинул меня на землю. Кто-то сзади навалился на меня тушей, скрутил веревкой руки за спину и засунул мне в рот кляп из вонючих тряпок. Лежа на теплой колючей земле, я видел, как цыгане быстро запрягли лошадей и погасили костер, плеснув на угли водой из конского ведра. Меня взвалили на заднюю телегу, и табор тронулся под горку. Может, мужики с гумен услышат и остановят, заподозрив недобное в этом внезапном ночном отъезде? Но цыгане поснимали с лошадей бубенцы и едут по-воровски тихо, чуть поскрипывая колесами.

Слева на темном небе видны перекладины крестов. Значит, мы едем мимо кладбища. Под гору лошадей пустили рысью. Голова моя подпрыгивает на куче вонючего барахла, во рту горчит от вкуса изжеванной кислой тряпки. С дороги своротили на целину (я заметил это по толчкам) и въехали в лес. При одном сильном толчке я подскочил головой в задке телеги на что-то мягкое и пушистое. Шуба? Нет, медвежонок. Проснувшись, он обнюхал и начал сосать мое ухо. Боясь, что он начнет глотать мою голову, я постарался откаться от него подальше.

Перелесок скоро кончился, и мы опять выехали в поле. Цыгане торопились и гнали лошадей. Мне было очень неудобно, и я никак не мог понять, что со мной случилось, но страха не чувствовал. Не станут же они меня убивать? Самое большее — оберут и разденут и пустят где-нибудь подальше, чтобы самим уйти от погони.

Впереди невысоко над горизонтом блеснула звезда.

Уж не Сириус ли? Но нет, звезда слишком яркая, зеленая: семафор. Табор подкатил к какому-то глухому полустанку, к длинному ряду цистерн, платформ и теплушек. Цыган остановил лошадь и соскочил с передка. Старуха подошла к телеге и сказала что-то непонятное, показывая на вагоны. Цыган взвалил меня на спину, как пятерик муки, и бегом потащил вдоль товарного поезда. Другой цыган помог ему вскинуть меня и втащить в одну из теплушек. Дверца тяжело задвинулась. Поезд дернул рывком и застучал буферами. Теплушка дрогнула и затарахтела телегой по стыкам рельс. Голова моя запрыгала по деревянному настилу, и в стуке колес я различил песню молоденькой цыганочки:

Пыль столбоса слево газдзя,
Ах, да тэрны чя улыджия...

XXXIX

ВИЛЛА «ЭЛЬГА»

Качка убаюкивающая, рессорная, и под головой что-то бархатисто-мягкое вроде подушки. Я открываю глаза. Подо мной пружинит бамбуковыми полозьями кресло-качалка. Остекленная теплица веранды наполнена матовым солнечным светом. Потолок и половицы блестят вощенной палубой. На белой скатерти в узкобедрой вазе лиловеют темно-красные пионы. В раме раскрытого окна — Эльга в белом летнем платье. У ее локтя серебряный кофейный прибор, а за плечом тянется между гранитных колонн сосен садовая дорожка из красного песка. В голубовато-серых глазах Эльги собрано сияние всех окружающих предметов: сверкающих стекол, скатерти, серебряного сервиза. Привстав, улыбаясь, она протягивает мне чашку кофе.

— Ну, как ваше самочувствие? Устали от поездки? Наверное, измучились? Воображаю, как вы жили в мужицкой избе... Навоз, тараканы, клопы... Мне приходилось на фронте жить в халупах... Спасибо вам за доставленную ладанку. Я уже возила ее к Григорию Ефимовичу, и он сказал мне, что нужно делать...

Ладанка... Эльга... А что если закрыть глаза и забыться? Может быть, все исчезнет и я увижу непочетовский выгон, гумно, Семен Палыча, Наташу... Но нет,

мне чудится совсем другое. Приторный запах хлороформа, поездной грохот улетающего сознания. Белый стол операционной, расплеснутая фиолетовая кровь пионов, и Эльга, вся в белом, перебирающая ланцеты серебряных чайных ложечек...

Где же действительность? Мощно шумит хвойный прибор сосен. На желтом потолке прыгает солнечный зайчик кофейника. Горячий кофе обжигает язык густыми сливками. Протягивающая мне бутерброд, обнаженная до плеча, загоревшая рука Эльги золотится персиковым пушком, и глаза у нее такие ласковые, внимательные. В широкое отверстие кисейного рукава мне видна смуглая выбритая подмышка и пониже, ближе к груди, мушка-родинка.

По крутым ступенькам высокого крыльца, как по выбленкам, мелкими шажками взбегают военмор Комаров.

— Извиняюсь, Эльга Густавовна. Я весь перемазался. Возился с мотором... Почтальон только что передал мне телеграмму на ваше имя. Она у меня в боковом кармане. Выньте ее, пожалуйста, сами: у меня руки в масле...

Рукава у него засучены и руки грязные, как у монтера. Эльга, улыбаясь, достает из кармана его кожаной промасленной куртки телеграмму. По-видимому, прикосновение ее рук очень приятно Комарову: он стоит навытяжку, по-военному, молодое, почти безусое лицо его заливает густой румянец, а голубые глаза смотрят по-юношески восторженно-влюбленно.

— Я сейчас, Эльга Густавовна, выйду к завтраку, — щелкает он каблуками. — Только умоюсь и переоденусь. Извиняюсь за опоздание.

Эльга вскрывает и просматривает телеграмму:

— Ничего важного. Это из Парижа от наших друзей. Хотите еще кофе?

Я протягиваю свою чашку. Хрупкий фарфор звенит в дрожащей руке.

— Вам надо хорошенько отдохнуть сегодня и выспаться... Присаживайтесь, Матвей Алексеевич!

Комаров умылся и принарядился. Белокурые волосы его припомажены и тщательно приглажены щеткой. От белого кителя из чертовой кожи пахнет духами. Только на ногах остались английские желтые краги.

— Как вы думаете, Матвей Алексеевич, сможем мы завтра вылететь?

— Думаю, что да. У меня все в порядке. Все зависит от погоды. Барометр показывает — ясно.

Эльга дала Комарову прочесть телеграмму, и между ними завязался отрывистый малопонятный разговор с упоминанием неизвестных мне имен. После завтрака они спустились в сад, оставив меня одного на веранде.

Забывая на столе телеграмма шелестела от ветра. Привстав с качалки, я потянулся к ней и прочел:

...Paris... Posdgravlaiem jelaem uspecha...

«Поздравляем, желаем успеха, мысленно с вами!» Значит, опять что-то затевается. Может быть, лучше притвориться больным? Однако, я не удержался и сошел в сад — большой огороженный забором участок соснового бора. Только вокруг дома посажены кусты сирени и жасмина и разбиты клумбы с различными стеклянными шарами и синими елками посредине. Я обошел весь участок, вышел даже за гранитные столбики ворот, где в песке виднелись следы автомобильных шин и висела полукруглая вывеска с надписью золотом: Villa «Elga»*. Бревенчатый, крашенный охрой дом с антенной и флюгером на черепичной крыше напоминает не то блокгауз, не то яхт-клуб. Кругом хвойный лес с песчаными плешинами дюн, поросших лиловым вереском. Вилла с претензией на роскошь, но или не оборудована, или запущена. Нет никаких хозяйственных пристроек, кроме большого деревянного, крытого железом сарая. Большинство клумб — без цветов, дорожки завалены ржавой хвоей и сосновыми шишками. На усыпанной гравием, обнесенной белой проволочной сеткой площадке для тенниса лежит забытый, намокший от дождя мяч. В крытом помещении кегельбана валяются окурки папирос и пустые бутылки. В конце длинной деревянной дорожки торчит несколько несбитых кегель. Брошенный мною пыльный шар загрохотал и заколесил по доске, будя нежилое гулкое эхо.

— Ого! Да вы совсем молодцом. Швыряете такие тяжелые шары! А я еще боялась, что вы не сможете сопровождать нас завтра.

* Вилла «Эльга» (швед.).

Сзади в дверях стоит Эльга. Она брезгливо оглядывает кегельбан.

— Какая тут грязь! Это наши насвинячили, когда стояли здесь весной. Надо велеть убрать.

Она взяла меня под руку и повела по песчаной дорожке к веранде.

— Когда-то это была моя любимая вилла. Я так люблю северное лето и белые ночи. Иногда я наезжала сюда и зимой. Но теперь здесь все так запущено. Мне сейчас не до виллы. И кроме того, как-никак, средства мои уже не те...

Вздвигнув от внезапного мощного гула мотора, я закидываю голову вверх. Где-то близко над соснами, должно быть, летит аэроплан. Но аэроплана никакого не видно, и гул обрывается.

— Что вы там ищете в небе? — смеется Эльга. — Ведь это же Матвей Алексеевич пробует мотор в сарае.

У клумбы с желтыми и красными тюльпанами елозит по земле садовник, похожий на волжского немца-колониста. Эльга заговорила с ним по-шведски. Садовник сплюнул клейкую желтую слюну и что-то ответил, показывая рукой на дачу и двигая одной только левой половиной рта; правая щетинистая щека у него плотно набита какой-то жвачкой, табаком или жевательной смолой. Я уловил одно слово: «фру».

— Это весь штат моей виллы, — говорит полуиронически, полушутливо Эльга. — Он и садовник, и сторож, и повар, при случае. Да еще его глухая дочь, моя тезка, тоже Эльга. Они живут здесь одни круглый год. Простые, грубые люди, но зато на них можно положиться.

На веранде накрывает на стол высокая здоровая девушка в платье, вышитом какими-то необыкновенными пестрыми цветами. У нее овсяные волосы и бледно-голубые, цвета линияющего василька, глаза. Эльга что-то спросила по-шведски. Девушка посмотрела на нее пристально напряженным взглядом глухонемой, потом, сообразив, ответила неприятно резким грациным голосом.

Сервирован стол богато — фарфор, серебро, но обед плохой: молочный мучной суп, какая-то костистая рыба с салатом, редиска, спаржа («Из собственных парников», — шутит Эльга). Зато много консервов и бутылка красного бургундского вина французской марки.

Наливая вино, я нечаянно залил скатерть. Девушка

что-то сердито сказала мне и, отодвинув тарелку, посыпала пятно солью.

— Моя тезка Эльга жалуется, что вы испортили новую скатерть и пятно не отстирается,— погрозила мне пальцем Эльга.— Будьте поосторожней, она у меня очень строгая.

Обед по-петербургскому поздний, вечерний. Финляндский летний день незаметно переходит в янтарные сумерки. На песчаных перекатах дюн смолкает хвойный прибой, гул колеблемых проволочных игл. Дровосеком постукивает, пробуя добротность древесины, дятел. Рыжей крысой переметнулась со ствола на ствол белка. На дорожке у клумбы трясет аэропланым хвостом трясогузка.

Перегнувшись через перила веранды, я люблюсь на молочное небо с оранжевым обрывком облака и вдруг чувствую тоску от этой проволочной хвои, красного песка и светлых сумерек,— острую тоску по пыльному черствому чернозему, по пшеничному омету, по звездной темной ночи у шалаша с яблоками.

— Ложиться уже не стоит. Как вы думаете, Матвей Алексеевич, когда мы сможем отправиться?

Эльга, надев радионаушники, полулежит на диване. Комаров за столом разбирает какие-то авиационные любительские снимки.

— Да во втором часу, я полагаю. Ночи еще светлые. У меня все готово... Вот любопытные снимки нашей школы...

Один из снимков заинтересовал меня: из дымящихся обломков самолета торчала обугленная обезображенная головня, которую только по раскинутым распятым рукам да по уцелевшему шлему на голове можно было признать за человека.

— Угробился один из моих товарищей в Баку. Взорвался бак с бензином. Когда мы его вынимали, от него пахло пригоревшим шашлыком. Вот он снят живым у своего гидроплана...

От фотографии действительно, казалось, пахло горелым человеческим мясом. Неужели это улыбающееся юношеское лицо и молодое стройное тело в белом нарядном кителе обратились в страшную бесформенную головню, так же, как исчез в груди мусорных обломков острокрылый шегольской гидроплан, покачивающийся на поплавках в радужном заливе?

— Хотите послушать «Тангейзера» из стокгольмского театра? — предложила Эльга.

Откинувшись на вышитые диванные подушки, я слушаю несущуюся из-за Балтийского моря вагнеровскую музыку: ржавый железный вой оркестра и резкий, металлический тенор, выкрикивающий неумовимые слова героической мелодии. Зажмурив глаза, я стараюсь представить волшебный полет этих звуков — от самого истока, из отделанного плюшем и золотом зала королевской оперы, над стрельчатыми крышами северного города, через мачты и трубы порта, над бессонной мерцающей гладью зеленого моря, над островками гранитных шхер и рыбацкими шхунами вместе со свистом ветра, плеском воды, гулом сосен, рядами грозы в громоотвод антенны — стекать глухой хриплой усыпительной мелодией в мои зажатые черным обручем виски...

XL

«ORN» *

— Вставайте, соня вы этакий. Мы и так запоздали. Я думала, что вы ушли с ними. Остались бы вы здесь один, как чеховский старик Фирс...

Уронив на пол радионаушники, я вскакиваю с дивана. Эльга — в кожаном шоферском пальто, с биноклем в футляре через плечо и с небольшим саквояжем в руке. Светлые волосы ее выбиваются мальчишескими вихрами из-под надвинутой на брови серой кепки с длинным козырьком.

— Поскорей, поскорей! — торопит она меня.

Глухонемая горничная подает мне чье-то просторное кожаное пальто, желтые краги и кепку. Эльга целует ее на прощанье и отдает какие-то распоряжения по-шведски. Девушка с веранды машет нам рукой и кричит вдогонку резко, по-грачиному. На ходу Эльга всовывает мне в руку свой саквояжик. По скользкому настилу ржавых игл мы пробираемся к песчаному, поросшему редким вереском бугру с одиноко торчащей

* «Орел» (швед.).

искривленной старой сосной, похожей на крымскую. Около нее белый квадратный заборник с надписью по латыни: «соляриум». За ним — низкорослое овсяное поле и большая ровная луговина с дымным поземком росы.

— А вот и наша машина, — показывает Эльга.

Ботинки сыреют, и крошечные белые подсолнечники ромашки, с золотой шляпкой, цепляются за краги. Только подойдя ближе, я заметил, что машина, про которую говорила Эльга, не автомобиль, а аэроплан, четко вычерчивающийся серебристыми плоскостями крыльев на сизом фоне леса. Аэроплан загудел и нетерпеливо пробежал несколько десятков метров навстречу, потом, описав полукруг, оборвал гул и остановился, вереща вентилятором пропеллера. Рысцей, по траве, вдогонку за ним бежал какой-то человек в оленьей вывороченной мехом наружу куртке и меховой шапке.

Слезший с сиденья Комаров, в кожаном шлеме и сверкающем забрале очков, о чем-то долго переговаривался с ним, показывая на восток, отмахнувшись от распросов Эльги.

Самолет довольно большой, с закрытой пассажирской каютой. На его белых крыльях черная надпись — «ORN». Восток розовеет, скоро взойдет солнце, но по широкой выкошенной площадке луга волнами газовой атаки, приземляясь, ползет из леса туман.

— Садитесь! Садитесь! — крикнул вдруг Комаров, распахнув дверцу и помогая Эльге вскинуть ногу в металлическое стремя ступеньки. Вслед за мелькнувшим из-под кожаного пальто ажурным чулком я тоже пролез в тесную низенькую кабинку и сел слева рядом с Эльгой. Мотор оглушительно заревел, и самолет рванулся с места. На ходу в дверцу просунулся блондин в оленьем мехе и сел впереди нас на третье место.

— Застегните пояс, а то стукнетесь головой, — предупредила меня Эльга.

Я поспешно застегнул у живота на пряжку широкий, похожий на ремень для правки бритв пояс. Стремительный подпрыгивающий бег, несколько толчков, и затем плавность поднимающегося вверх лифта и легкость в ногах, во всем теле. В стекло окна слева втиснулось багровое тусклое, как луна у горизонта, солнце, еще невидное на земле. Странно, что не чувствуешь ни

скорости, ни высоты: кажется, что мы висим неподвижно и под нами внизу крутится непрерывная буро-зеленая лента рельефной карты, игрушечная модель земной поверхности.

— Заткните уши ватой, — предлагает Эльга.

Но заткнутые ватой уши — точно залиты водой. Гул мотора, по крайней мере в кабинке, не так уж оглушительен, и можно разговаривать, напрягая незаметно для себя голос до крика, как при разговоре с глухим. Только в горле скоро начинает першить хрипота.

Молодой человек в оленьей куртке (бортмеханик, швед, не говорит по-русски, объяснила Эльга) часто приподнимает один из наушников шлема и прислушивается к гулу. Иногда открывает похожую на вентилятор алюминиевую крышку и, обдавая нас перегаром бензина, ковыряется во внутренностях мотора. Аэроплан покачивается, как шлюпка, на воздушных волнах. Плоскости крыльев чертят рейсфедером по облакам. Синеватая зелень лесов сменяется оцинкованным железом воды.

— Финский залив. А вон там влево Кронштадт, — показывает Эльга, передавая мне цейсовский восьмикратный бинокль.

Но Кронштадт, даже и в бинокль, кажется окутанным грязной дымовой завесой, сквозь которую неясно проступают контуры фортов, судов, зданий, золотого купола. Зато хорошо виден идущий прямо под нами грузовой пароход с распушенной черной лентой дыма.

Аэроплан кренится в боковой качке. Бортмеханик оборачивается и кричит что-то по-шведски, маша рукой вправо.

— Пересаживайтесь на мое место. Вы тяжелей, — объясняет Эльга, и мы меняемся с ней местами, что несколько уменьшает качку.

Займища лугового берега отталкивают назад, к горизонту, речное половодье не похожего на море Финского залива. Карликовая поросль лесов чередуется с чернополосицей полевого лоскутного одеяла. Потрявоженным клопиным гнездом расплзается по соломенному тюфяку пожни бурое коровье стадо. В бинокль я различаю на мгновение старика пастуха, опершегося на посох, и лохматую овчарку около его обутых в лапти и онучи ног. Солнце поднялось, и внизу по земле коршуном скользит отбрасываемая самолетом тень.

Избяные цыплячи выводки испуганно жмутся к белым клушкам церквушек. Прощупывая дорогу рогатой головкой паровоза, осторожно пробирается по железнодорожной ветке дымнопрядная гусеница поезда.

— Высота девятьсот метров... скорость — сто шестьдесят километров в час, — переводит Эльга свой краткий разговор с бортмехаником.

Вдруг аэроплан заплясал по-журавлиному на крыльях и начал козырять бумажным змеем. Под ложечкой заныло мятым холодком, и пол из-под ног ускользал доской качелей. Я съежился и вклешил пальцами в сиденье. Неужели мы падаем? Гул оборвался на секунду, потом мотор снова забасил с удвоенной силой. Бортмеханик обернулся к нам и оскалил белозубую улыбку.

— Воздушные ямы! — крикнула Эльга, тоже, как и я, ухватившись за соломину хрупкого сиденья. Самолет выпрямился, и сосущий холодок под ложечкой растопился в теплой волне сердцебиения. За лесной щетиной щучьей блесной плеснула узловатая проволочная леска какой-то реки, над которой мы скоро пролетели.

— Volkov! — закричал швед, развернув карту.

— Волхов, — не сразу догадался я.

Солнца уже не видно за тучами, и река по-осеннему пасмурна. Самолет забирает вверх и попадает в полосу дождя. Забрызганные окна обкладываются желтой ватой. Полусумрак кабинки ярко освещается электрической вспышкой молнии, и громовой раскат заглушает тревожный рев мотора. Неужели конец? Разве здесь, в тучах, может быть у аэроплана громоотвод? И может ли нас убить молния, раз нет заземления?

Но нет! Раскаты грома замерли, а неповрежденный мотор упрямо ревет, взбираясь в гору. Козлиный запах бензинового перегара щекочет ноздри — это мохнатый бортмеханик опять развернул алюминиевую брюшину и ковыряется в металлическом кишечнике машины. Доска качелей под ногами круто идет кверху. Желтая вата за стеклом светлеет и становится гигроскопической, прозрачной. Бортмеханик опустил стекло у дверцы слева, и в синеве из-под белого крыла блеснуло солнце. Такое сапфирно-чистое небо я видел только у вершины Казбека, и облака внизу стелются, как в ущелье под Левдоракским ледником. Воздух мартовский, весенне-снежный, и дыхание легкое, ушачен-

ное, как на лыжной прогулке. Лететь уже не страшно: так близка внизу мягкая сугробная равнина. Трудно поверить, что мы летим на высоте двух тысяч семисот метров!

В прорыве облаков темнеет широкое ущелье, куда мы начинаем спускаться, опять попадая в полосу мелкого дождя. Бортмеханик в узкое отверстие, как в рупор, о чем-то перекликается с Комаровым.

— Держитесь! Сейчас будет спуск! — предупредила Эльга.

Аэроплан вагончиком американских гор катится вниз и делает крутой вираж.

Кажется, что он падает боком. Земля встает горбом и затеняет все правое окно. Потом выравнивается и быстро несется нам навстречу. Несколько рессорных встряхивающих ударов, и самолет, подпрыгивая трясогузкой, катится по неровному полю. К ногам приливает приятное ощущение земной тяжести. Оглушенный долгим гулом слух не сразу осваивается с тишиной и улавливает дробный шелест дождя. Как хорошо ступать по незыблемому плотному грунту, наворачивая на подметки липкие комья!

Кругом щетинится жнивом ровное поле, и только под самым носом аэроплана зеленеет болотце, в котором мы по счастью не увязли. Невдалеке на телеге стоит мужик с вилами, сзади за ним по пожне стелются кучки разбросанного навоза.

Комаров подошел к нему и о чем-то спросил. Мужик в ответ замахал рукой и показал на лес.

— Что случилось? — высунулась из дверцы Эльга.

— Ничего. Пустяки. Сейчас опять поднимемся, — успокоил Комаров и вместе с бортмехаником заносит и откатывает аэроплан от болотца.

Чернобородый, в оспинах мужик лет сорока подходит к нам. Он даже захватил с собой вилы — второпях от удивления, а может быть, и предусмотрительно на всякий случай: кто знает, какие люди слетели к нему на пожню.

— Небось, дядя, не унесем тебя на небо к Илье-проку, — шутит Комаров и показывает мужику, как надо взяться за руки, чтобы помочь пустить пропеллер.

Мужик, убедившись, что бояться нечего, решительно втыкает железный трезубец в землю.

— Контакт! — кричит швед-механик.

— Так... так... — широко улыбается мужик и загребает мою руку в свою измазанную навозом шершавую ладонь.

Отлакированный дождем пропеллер завертелся вентилятором, и мотор оглушительно взорвался. Мужик отскочил в сторону, бортмеханик и я торопливо влезли в кабинку.

XLI

ПРОШЕНИЕ СУМАСШЕДШЕГО

Когда мы вылезли из кабинки, Эльга больно ущипнула меня за руку и прокричала под ухом:

— Ни слова по-русски... Запомните... Мы иностранцы, шведы... Говорите по-немецки... Вы ведь жили в Берлине... Только не проговоритесь...

Что означало ее предупреждение, я понял только потом, увидев вечернюю газету.

На аэродроме нас встретили несколько военных. Один из них, высокий, седоусый, с малиновыми ромбами, разговаривал по-французски с Эльгой. Подкативший на такси кинооператор вертел ручку аппарата. Потом в автомобиле по Тверской мы проехали в Гранд-отель.

Весь этот сутолочный восемнадцатичасовой московский день отпечатлелся у меня в мозгу каким-то сумасшедшим киномонтажом. Может быть, причиной этого были бессонная ночь и воздушная качка, а может быть, и то, что мы действительно (как это ни странно) начали с сумасшедшего дома.

— Я хочу поехать на Канатчикову дачу, — объявила за завтраком Эльга. — Вы помните, Матвей Алексеевич, я рассказывала вам про мою подругу... Ее муж, полковник-врангелевец, при наступлении красных спрятался в психиатрической больнице в Симферополе. Его записали душевнобольным под чужой фамилией. Одна из сиделок донесла, и его расстреляли вместе со старшим врачом... Бедняжка Валя умерла от преждевременных родов...

— При чем же тут Канатчикова дача? — удивился Комаров. — Ведь это было в Симферополе, и полковника, как вы сами говорите, расстреляли...

— Да, но я все же хочу удостовериться, нет ли там кого-нибудь из наших...

Комаров, привыкший исполнять все капризы Эльги, не стал возражать, и мы отправились на Канатчикову дачу.

Эльга ломаным русским языком объяснила швейцару, что нам нужно, и прошла к дежурному врачу.

В вестибюле по бокам лестницы висят две картины: Ленин в кепке на булыжной мостовой Красной площади и около копны с лежащей косой — Калинин в голубой рубашке с расстегнутым воротом и бруском за поясом. Перед картинами на деревянных стойках лохматятся две карликовые пальмы. Напротив на стене чернеет доска, похожая на классную, и на ней надпись мелом:

Психиатрическая больница
имени П. П. Кащенко

к ... числу ... мес ... состояло мужч ... женщ ...
прибыло ... выписалось ... скончалось ...

Я запомнил только последнюю, итоговую цифру — 1163 — и странную фамилию дежурного надзирателя: Гарают. Портреты, объявления месткома — все так просто, точно мы находимся в каком-нибудь обычном учреждении.

Скоро вернулась Эльга и сообщила, что осмотр больницы разрешен. В провожатые нам дали молодого врача-психиатра, невысокого брюнета в золотых очках и белом халате. Он провел нас под дождем через двор к одному из двухэтажных кирпичных корпусов, разбросанных среди сырой зелени сада. Надзиратель предупредительно отпер ключом дверь и впустил нас в палату.

— Здесь отделение для паралитиков и шизофреников, — объяснил врач. — Прогрессивный паралич на почве люэса... Шизофрения, или правильной схизофрения, от греческого глагола «схизейн» — расщеплять. Расщепление личности...

Палата обычная, больничная, и больные (если не заглядывать им в глаза и не заговаривать), как будто обычные, в нижнем белье и туфлях бродят и лежат на кроватях. Лица изможденные, дизентерийные, — может, это отсвет залитой дождем зелени из-за затененных деревьями окон. Взгляд или напряженно угрюмый,

или идиотский. Вместо речи обрывки бессвязных нелепых фраз. Распростертый на тюфяке длинный худой, заросший бородой мужчина бесстыдно заголился, спустив кальсоны ниже колен, и от него пахнет испражнениями.

Шизофреники лежат под одеялом, согнув ноги и обхватив руками затылок, или застыли в позе родезовского мыслителя. Такое напряжение неразрешимой мысли видел я только на лице задумавшегося Хлебникова. Их черепа — надколотые глиняные кувшины, они несут их бережно на плечах, как данаиды, без конца черпая и выливая в бездонную темноту огненные мучительные мысли. Никто из них не обращает на нас внимания, они всецело заняты своим бесплодным перпетуум-мобиле. Только один голубоглазый юноша, слабоумный Шура, сопровождает нас во время обхода, заговаривает, мычит, размахивает руками и всячески старается услужить.

— Это тихое, благонравное отделение. Сейчас мы перейдем в более буйное, — улыбается врач, проводя нас в следующий корпус.

Такая же палата, только окна разграфлены железными линиями решеток. Больные не лежат, а возбужденно расхаживают, жестикулируют и разговаривают сами с собой. Глаза у них лихорадочные, опьяненные наркозом безумия. Под их взглядом проходишь, как под наведенным дулом револьвера, из пустоты которого каждую секунду может последовать неожиданный взрыв. Мне кажется, что мы вошли в клетку к тиграм, и я невольно держусь ближе к укротителю-психиатру, гипнотизирующему сумасшедших своим белым халатом, ровным спокойным голосом, ласково-покровительственным похлопыванием и испытующим строгим взглядом, падающим из стекол очков холодным душем на воспаленные бритые головы.

Наше появление волнует и привлекает внимание больных. Некоторые принимают нас за какую-то комиссию и, напрягая остатки сознания, бессвязно-отрывочно селятся изложить свои жалобы и просьбу об освобождении.

— Можно спросить, кто вы такие? — обратился ко мне больной с бородкой и в очках, расхаживающий из угла в угол с заложенными за спину руками. У него

серьезное интеллигентное лицо, и на минуту мне кажется, что он совершенно нормален.

— И у меня тоже было резиновое пальто... Я — инженер... Гудрон, асфальт... У меня сейчас нет комнаты... я здесь временно... Прошу перевести меня в санаторий... Не перебивайте, пожалуйста...

Из угла с кровати, из-под синего одеяла, кто-то громко закричал петухом. Врач подошел к нему и хлопнул по плечу. Лицо больного расплылось в идиотскую довольную улыбку. В полутемном проходе нас встретил похожий на Поприщина небритый сумасшедший в халате.

— Бывший директор Даниловской мануфактуры, — показал на него врач.

Услышав знакомое название, сумасшедший улыбается, кланяется и любезно жмет всем нам руки, приглашая сесть на кровать, вероятно, он думает, что принимает нас у себя в служебном кабинете.

Дверь в отделение для буйных заперта, и в ней проделано крошечное окошечко, как для руки кассира. Здесь уже нет кроватей и тюфяки разбросаны прямо на полу. Двое рослых надзирателей все время держатся около нас и унимают больных, хватая их за руки. Укротитель завел нас в самую опасную из своих клеток.

— Так нельзя бить! — вопит смазливый чернявый подросток. — У меня невращения, а меня держат. Выломали два ребра... Так и девочки любить не будут (и он игриво подмигнул Эльге).

— Покажи, где тебе выломали ребра...

Больной поднял рубаху и показал здоровую грудную клетку, куда врач потыкал пальцем.

— И все-то ты врешь, братец... Ну, ступай, ступай.

На полу лежит длинный худой парень (рубаха на плече у него разорвана в клочья) и бормочет трагическим голосом:

— Я не знаю, кто такой Ленин... Не знаю, кто такая Надежда Константиновна... Я не знаю...

— Что плачешь? Сейчас тебя отправят в ванну, — успокаивает надзиратель бородатого больного, который обмочился и ревет, как маленький мальчик, утирая слезы рукавом.

В полутемных каморках возня, вскрики и бормотанье, но жутко туда заглядывать, и я держусь побли-

же к двери, где стоит надзиратель с кастетом ключа в кулаке.

Когда мы выходили из палаты, нас нагнал сумасшедший инженер и подал мне клочок бумаги вместо прошения. Вдогонку нам полетело непечатное ругательство «пошли вы на...» и петушиное «ку-ка-реку».

— Вы спрашиваете, как мы с ними ладим? — улыбается психиатр. — Конечно, если бы они могли действовать согласованно, то разнесли бы всю больницу. Но каждый из них психически изолирован, заключен как бы в одиночку и почти не общается с другими. А вот здесь помещаются больные с менее опасной формой психических заболеваний, выздоравливающие. Мы даже посылаем их на садовые работы.

Лица у больных более спокойные, осмысленные. Некоторые играют в шахматы, другие собрались выходить на работу и ждут, когда перестанет дождь. Девушка-уборщица, со светлой приглаженной косой, выносит проветривать на лестницу тюфяки.

— Брось... нехорошо так, — останавливает высокий, с открытым приятным лицом юноша своего товарища и отрывает его руку от прорехи.

— Возможно ли полное выздоровление? Да, если психическое заболевание произошло от какого-нибудь неожиданного сильного аффекта, потрясения. Вообще же... Сейчас я покажу вам отделение, где находятся больные на испытании, так сказать, кандидаты в сумасшедшие...

Отдельный красный корпус стоит в стороне от других среди сада. Окна без решеток, и палаты чище, хотя кровати и уставлены почти вплотную. Среди десятков шаркающих туфлями больничных призраков, готовых задвинуть в кремационную печь безумия свое разлагающееся сознание, мне запомнились только некоторые.

...Благодушный, всем довольный инженер-строитель, блондин небольшого роста, в пенсне, недавно еще чертивший планы проектов и угощавший шоколадом надушенных дам в золоченой бархатной ложе Большого театра. Он беспрестанно улыбается, поправляет спадающее с носа пенсне, суетится, старается всем помочь и услужить. У него прогрессивный паралич, неужели и ему придется, как тому полутрупы, деревенеть на тюфяке в своих экскрементах?.. Алкоголик, страдающий манией преследования: два неизвестных с ре-

вольверами неотступно следят за ним и хотят пристрельить... Угрюмый больной, похожий на сектанта или толстовца,— он умышленно принижает себя, ходит босиком и напряженно думает о каком-то искуплении, как безумный герой «Красного цветка» у Гаршина... Черный, щетинистый, плосколицый мужчина закрывает глаза руками, всхлипывает и бормочет: «Я покончу с собой... я покончу с собой». Вчера вечером его сняли с пожарной лестницы Большого театра... Молодой эпилептик с дегенеративным арестантским лицом, широко открывая губы, бессмысленно четко отчеканивает окончания слов... Похожая на древнехристианскую подвижницу девушка не ест больше десяти дней и неподвижно лежит на спине, спеленутая простыней, как мумия.

— Ну что же вы, и сегодня не хотите есть? — спрашивает врач, поднимая ее иссохшую костлявую руку.— Тогда придется питать вас искусственно...

Девушка молчит, и по ее пергаментным щекам морщинится блаженная юродивая улыбка.

Рядом через одну кровать мечется и стонет забинтованная благообразная старушка, которая в припадке буйства порезалась оконным стеклом.

— Это безобразие! Почему меня схватили и привезли сюда? Я совершенно нормальна. У меня только пляска святого Витта,— возмущается молодая красивая шатенка.— Я не могу больше... Эта сумасшедшая старуха все время кричит...

На подоконнике у ее изголовья сохнет букет из ромашек и лиловых колокольчиков. Небольшая, изящная, как у ящерицы, голова театрально обмотана тюрбаном... из желтого шелкового платка. Она полусидит на кровати, прикрыв ноги одеялом. Большие светло-карие глаза зовут и умоляют...

Накинув на плечи ризой одеяло, высокая сухопарая больная молится в пустой угол...

Пикантная сероглазая блондинка просит о свидании со своим сожителем, находящемся в мужском отделении, и читает вслух его нежное мелко исписанное письмо. Об этой паре писали в газетах. Она целый год не выходила из комнаты, ее сожитель — инвалид с серебряной трубкой в простреленном горле,— уходя, запирает дверь на ключ. Соседи сообщили об этом в милицию, и ее нашли голой на куче тряпья, под изношен-

ной солдатской шинелью. Среди накопившегося за год мусора на полу валялся окровавленный шприц с морфием.

— Все это раздули газеты... Я выходила по вечерам...

Говорит она вполне разумно, но пальцы ее, держащие папиросу, дрожат, зрачки расширены, точно атропином, и зубы у ней нехорошие, крошащиеся, темные, — наркоманка.

В одной из палат больные занимаются рукоделием. Миловидная молодая девушка истерически хохочет и кокетничает с доктором.

Где граница между здоровым и больным сознанием? Некоторые из больных, встретить я их в другом месте, показались бы мне вполне нормальными. Теперь же, наглядевшись в глаза сумасшедших, я начинаю замечать безумие и в глазах здоровых людей. Какая-то «сумасшедшинка» чудится мне и в пристальном взгляде Эльги. Она попросила разрешения просмотреть поименный список всех больных и, кажется, не нашла среди них никого «из наших».

После обхода сумасшедшего дома я чувствую себя подавленным, унылым — есть что-то заразительное в этом разложении человеческого сознания. Я с облегчением подставляю лоб под бьющую из-под стекла автомобиля свежую струю ветра и последний раз оглядываюсь на этот зеленый оазис безумия среди каменной пустыни города.

Прямо с Канатчиковой дачи мы отправились в Донской монастырь к могиле патриарха Тихона. Монахи давно уже выселены, и монастырские помещения отданы или музею, или под квартиры. Под старыми деревьями на выбитых каменных плитах, ведущих к ступенчатой паперти красного, пышного, в стиле барокко, собора, мальчишки играют в козны. За решетчатым окном сводчатой кельи женщина в синем платье накачивает огненный столбик примуса. В церковь к могиле патриарха нас не пропустили.

— Без билетов нельзя, — объявила бойкая сторожиха в красном платке. — С двенадцати до трех тут музей... понимаете, музей...

Эльга пошла к воротам покупать билеты. Около церкви направо в углу колесом ветряка торчит высокий

крест из сложенных лопастей пропеллера над небольшим холмиком из дерна.

— «Летчик Александр Стефанович Рыбко, 23 лет, погиб на Туркестанском фронте 30 октября 1923 года», — прочел вслух Комаров. — Угробился бедняга в песочек. Совсем еще птенец. И рожица довольно симпатичная, смазливая.

С застекленной фотографической карточки, из жестяного побуревшего венка на нас весело смотрел безумный молодой человек с гладко причесанным пробором. Комаров садится на скамейку и закуривает. Синеватый дымок прозрачной струйкой вьется к залатанным жестью лопастям пропеллера, — точно бензинная вспышка готовящегося взлететь мотора.

Вместо спинки у скамейки — замшелый каменный саркофаг соседней могилы. Я с трудом разобрал полустертую надпись: Донского монастыря наместник архимандрит Аркадий, жития его было 72 года...

Заметив Эльгу, Комаров быстро потушил недокурную папиросу.

— Я купила билеты. Сейчас нас проведут в церковь вместе с экскурсией. Какое безобразие, — возмущается Эльга.

По каменной дорожке среди могил гулко топчут каблуки молодежи. Слышатся шутки и смех.

— Текстильщики, сюда! — звонко, как в лесу на маевке, кричит, приставив рупором руку к губам, высокая с крымским загаром комсомолка в красной повязке.

Эхо ее молодого голоса, отпрянув от толстой церковной стены, теннисным мячом катится по зеленому дерну могил между черных обелисков надгробий к подножью монастырского кремля.

— Ну, куда лезешь? Говорят тебе, без билета нельзя, — останавливает сторожика у двери забрызганного известкой парня, старающегося протиснуться в церковь вместе с экскурсией...

— Мне только приложиться...

— Приходи после трех. Тогда и прикладывайся...

Я вхожу последним и, как и все, наступаю на две чугунные плиты в каменном полу паперти. Из-под рваного веревочного половика, о который вытирают грязные подошвы, ржавеют литые надписи: Здесь положено тело... Здесь погребено тело...

— Товарищи! — ораторствует молодой человек, руководитель экскурсии. — Я уже говорил вам, что попытка православной церкви в лице патриарха Никона подчинить себе государственную власть, наподобие западной католической церкви, окончилась неудачей. Церковь всецело подчинилась правительству и стала чиновничьей организацией. Патриарх Тихон был последней ставкой контрреволюции. Он пытался бороться с советской властью, противился изъятию церковных ценностей во время голода. Но народные массы за ним не пошли. Здесь, как видите, его могила. Верующие украшают ее цветами, служат панихиды, конечно, в те часы, когда не функционирует музей. Мы им не мешаем — религия отмирает сама собой по мере роста агитации и ликвидации неграмотности...

Могила, направо от входа, в простенке между двумя окнами, кажется от развешенной хвои зеленой кушей. Посредине на возвышении под стеклянным колпаком сырной пасхой стоит белый патриарший клобук с золотым крестиком наверху и крылатой головой херувима. Вокруг — подсвечники со сложенными по три в пучок свечами, белые цветы — хризантемы, гортензии, астры и какие-то золоченые металлические, похожие на древнеегипетские, опахала. На стене — серебряный крест, а в окне — фотографическая карточка благообразного седобородого старичка, с добрыми глазами, в белом патриаршем клобуке.

Сухопарая старушка от свечного прилавка, в очках, перевязанных ниткой, и в белом платке, предупредительно поворачивает выключатель, и среди зелени ярко вспыхивает стосвечовая электрическая лампочка.

— Картузы-то, картузы-то снимите, бесстыдники, — укоряет старушка подростков, вошедших в церковь в кепках.

Звонкие голоса и шаги молодежи гулко отдаются под низкими сводами древней кладбищенской церкви. Точно задорный воробьиный выводок влетел в разбитые стекла и, бойко передравшись, прочирывав, выпорхнул из склепного сумрака на солнечный свет.

Эльга опускается на колени и ставит три свечки. Вместе с ней кладет земной поклон обрызганный известкой парень, просивший сторожиху пропустить его «приложиться», — наверное, сезонник-штукатур, он и в церковь захватил с собой длинную кисть, бережно

обернутую на конце бумагой и завязанную бечевкой. Он быстро крестится и часто касается лбом каменных плит,— может, у него в деревне случилось несчастье: пожар, пала лошадь...

Остроносая болтливая старушка показывает Эльге могилу келейника за окном и рассказывает шепотом, как его убили ломившиеся ночью к патриарху грабители.

— После панихиды обязательно пойдите поклониться на его могилку...

Болтовню старушки прерывает вышедший из алтаря служить панихиду священник.

От склепного воздуха мне вдруг делается дурно, и я выхожу наружу. Сажусь на лавочку у могилы летчика и, вспомнив про записку сумасшедшего, вынимаю ее из кармана. Измятый клочок бумаги весь испещрен колонками мелких цифр вроде табель-календаря, но без обозначения месяцев. В конце приписка чернильным лиловым карандашом:

«1) Был Сережа отдал записку Огонек № 10.

2) Ванна лечебная.

3) Баня. 4) Экран № 21

5) Приходила мама с Мишей Преображенское кладбище, о домашнем хозяйстве и о моем здоровье.

6) Все папиросы, вся колбаса и 2 яблока по случаю юбилея Сережи».

О чем просил, что хотел сообщить мне сумасшедший инженер этой жалкой своей запиской? Бумажка кажется мне заразной, и я испепеляю ее зажженной спичкой на саркофаге архимандрита.

Могила келейника, соблюдая иерархию и в смерти, скромно прикорнула зеленой ряской дерна к карнизу церковной стены и, вытягиваясь белым деревянным крестом с надписью «Яков Анисимович Полозов», заглядывает сквозь железную решетку окна на пышно декорированную, облепленную зажженными свечами могилу патриарха.

Тут же, рядом с памятником какого-то князя Голицына, чернеет небольшой гранитный обелиск с надписью:

Верному солдату
Пролетарской революции
павшему от предательских
пуль банд Колчака

тов. Д. М. Смирнову
от Замоскворецкого
Сов. рабоч. и красноарм. депутатов
и Комитета Российск. Коммунистич.
Партии Большевиков.

Даже сюда в бестолково, робко жмушееся вокруг церкви овечье стадо могил бичом ударила, заставив их расступиться, разрядившаяся над торчащей неподалеку гигантской антенной молния революционной грозы.

XLII

ВЫПУСК ПЛАВКИ

«Берегись крана!»

Безмолвный дружески предостерегающий оклик заводского сторожила-столба среди лязга и грохота электромагнитного крана над ржавыми насыпями железного лома.

Из круглых отверстий в заслонках мартеновских печей ослепительно сверкает яйцевой выводок новорожденных солнц: глаза ломит от их нестерпимо белого блеска. Рабочие-плавильщики в синих очках наблюдают за ходом плавки. Управляемая цепями завалочная машина с пронзительным воем и лязгом засовывает свой яростный хобот в огненное влагалище печи и оплодотворяет ее новой порцией чугуна — кажется, будто присутствуешь при случке вулканных чудовищ. А вдруг он обожжет меня раскаленным концом или подцепит и швырнет в солнечный горн?

Я смотрю сквозь синее стекло в огнедышащее жерло прирученных, обмазанных глиной вулканов и вдруг вспоминаю, зачем я здесь на металлическом заводе «Серп и Молот» (бывший Гужон). Эльга дала мне опасное поручение: разбросать пачку прокламаций. Что в них написано, я не знаю — я прочел только заглавие «Къ русскимъ рабочимъ!!!» по старой орфографии, с тремя жирными твердыми знаками, с тремя взрывчатыми восклицаниями. Надо поскорей незаметно уничтожить эти прокламации, если их найдут при мне, не помогут никакие объяснения...

За мартеновским цехом — прокатный. Как рыбаки

осетров из живорыбных садков, выхватывают рабочие щипцами и ломиками раскаленные болванки и на тележках подкатывают к прокатным станам. Вытягиваясь и сплющиваясь, пролезают болванки сквозь узкие норы ячеек. Двенадцатиметровые огненные удавы скользят по железному полу и, подпрыгивая на валиках, целятся на добычу плоской тупорылой головой. Прокатчики бесстрашно ущемляют их длинными щипцами и, подтащив, всовывают в очко прокатного стана.

Но еще эффективнее прокатка проволоки. Молнийные змеи, извиваясь спиралью, быстро скользят по каналам. Я долго люблюсь, как молодой рабочий в толстовке, парусиновых брюках и серой кепке ловко ловит щипцами выскакивающих огненных змей и пропускает в следующее узкое очко — заводской Георгий Победоносец, поражающий сотни змей за восьмичасовой рабочий день. Что если он промахнется и упущенная змея насквозь прожжет ему каленым укусом голую руку или обмотается вокруг туловища, превратив его в одну из статуй Лаокоона? Из-под крыши спорхнули на пол голуби — какой корм находят они себе среди лома и шлака: крошки от завтрака, или их прикармливают?

В листопрокатной — дьявольская игра. В противогазах от серных испарений прокатчики швыряют и подхватывают листы котельного железа. Один рабочий наступает на них тяжелым башмаком и перегибает надвое. Бело-красные листы тускнеют, становятся малиновыми и с грохотом скачут из заготовочных печей в нагревательные, втягиваясь в валы прокатных станов. Подпольная адская типография, где вместо бумажных накладываются раскаленные добела железные листы, которые потом сброшюруют — склепают в паровые котлы!

Большой деревянный чан квасилки, где в купоросном составе смывается с листов окалина, обдает банными щелочными парами. Бабы, как прачки, складывают железные тугонакрахмаленные сорочки. Раздиральщицы ятаганами кривых ножей раздирают слипшиеся листы, машинные ножницы режут их, как черный картон.

В гвоздильном цехе такой пронзительный скрежет и визг обтачиваемых гвоздей, что нельзя говорить, не слышно голоса, хочется защитить барабанные перепон-

ки ватой, как на аэроплане,— так ревет растерянный по сверлильным ущельям станков металлический Терек. Веялки очистительных барабанов грохочут, очищая гвозди от окалины. Рабочие лопатами, как на току, сгребают серо-серебристые кучки — в обмен на крупитчатое золотое пойдет это острое железное зерно с завода в деревню.

После гвоздильного скрежета приятна мягкая музыка моторов тянульного цеха, где сухой протяжкой растягивают вымытую в травильных чанах, высушенную проволоку. Механическая мастерская... Болтовое отделение... Фасонно-литейная, где устанавливают в ямы глиняные кувшины для розлива стального молока... Мы совершили круг и вернулись к мартеновским печам. Экскурсия техникума, с которой мне разрешили осмотреть завод, торопится на занятия. Я один остаюсь дожидаться выпуска плавки.

Вверху с грохотом перекатываются краны, грозя разموжить голову болтающимися цепями с вязанками болванок. Прямо к моим ногам, чуть не прожегши ботинок, падает пущенный пращою щипцов раскаленный болт для заклепки ковша. Резкий стальной звон, точно отбивают склянки на судах.

— Выпуск плавки скорей всего будет у номера первого. Вот и номер четвертый звонит, тоже, значит, готово,— объясняет мне вылезший по лесенке из ковша рабочий.

Лицо у него серое, крестьянское, и он похож на обычных деревенских печников-сезонников, которые складывают печи в домах. Он обмазывает глиной ковши и изложницы для плавки и является здесь как бы представителем от земли, которая не только родит металлы, но и помогает человеку приручать их вулканическую ярость. Да и прародительница этого гиганта завода разве не курная карлица, придорожная хибарка молотобойной кузницы, где куют лошадей и шинуют колеса?

— ...Смотря какой состав. Часов шесть, а то и все восемь. Мастер уж знает, когда готово. Они пробу берут, подсадку делают. Переварится, застыть может. Тогда марган пускают,— растолковывает мне печник процесс плавки.— А желоб затыкают жамотом, доломитом...

Один из кранов подцепил огромный ковш и подвел

его под сток желоба мартеновской печи. Двое рабочих, прикрыв желоб листами железа, начали ломami пробивать отверстие. Солнечная струя стали по наклону ринулась в ковш, рассыпая фонтаны бенгальского огня, снегопад искр.

— Не бойтесь, — остановил меня печник. — Искры, как от соломы. Вот когда шлак выльют на сырую землю, тогда может обжечь... Шлак легче, он поверху плавает и остается в ковше. А сталь вытекает снизу. Там такой стакан с дыркой, под штопором...

Нацепив тысячу двести пудов стальной браги, богатырский ковш на цепи осторожно откатывается от желоба, который еще долго сочится подонками плавки. Сталь льется снизу из ковша в горлышко лейки и наполняет уложенные в канаве глиняные изложницы. Розливом руководит канавный мастер, он смотрит сквозь синее стекло, дирижирует плавным взмахом руки передвижением громоздкого крана, показывая машинисту в вагонетке наверху, куда надо подвинуть неповоротливый ковш, и изредка сует в струю длинную палку, загорающуюся на конце серебряными брызгами.

— Лемня пускает, — поясняет печник.

— Какого лемня?

— Алюминий. Металл такой. Чтобы не густо было. В синее стекло ее хорошо видно. Она белая, как мо-локо...

Налитые стальным удоем бадейки изложниц (из них потом вывалятся болванки) двое рабочих закупоривают сверху крышками. Ковш, протекая тонкой струйкой огня («штопор плохо кроет»), передвигается к следующей лейке и не сразу наводит отверстие стакана на узкое горлышко. Канавный мастер — в легкой синей прозодежде, но скуластое лицо его с торчащими сбоку рыжими стрелками усов распарилось и размокло от банного пота. Сверху, точно с капитанского мостика разгружаемого парохода, наблюдает, облокотясь на перила, бородатый мастер мартеновского цеха, переговариваясь о чем-то с плавильщиком печи номер четвертый. Жарко, несмотря на сквозняк из распахнутых по обе стороны ворот. Опасно долго смотреть на этот солнечный разлив — недаром у одного пожилого плавильщика я заметил под синими стеклами красные, воспаленные веки.

— Точно на солнце смотришь, глазам больно, — говорю я печнику.

— Да, солнце, — ухмыляется он. — Советское солнце!

Ковш с грохотом откатывается в сторону и, медленно перепрокидываясь, выплескивает расплавленный навар шлака, взметнув и рассыпав огненный столб искр, а потом, отцепившись от крана, тяжело брякает на бок на землю.

— Чисто, без козла, — похвалил печник, заглянув в пышущее жаром раскаленное днище. — Козлы такие бывают от шлака. Счищать их трудно. А у меня, видать, сегодня плавки не будет. Запоздал № 1. Сейчас придет вторая смена. У нас тут работа в три смены, и день и ночь без праздников.

Я смотрю на тускнеющую лаву шлака и вдруг, решившись, быстро бросаю в нее пачку прокламаций. Кажется, никто не заметил. А если кто и заметил — не беда: от них не соберешь и пепла. Да и Эльга не узнает, как я выполнил ее поручение. И, распростившись по-приятельски с печником и пожав его руку, обмазанную огнеупорной глиной (той же, что и внутренность разливного для стали ковша), я уйду с завода «Серп и Молот», оставив свой пропуск у ворот.

Эльга только похвалила меня за удачно выполненное поручение. После обеда мы вышли с ней прогуляться по центру города. Напротив Охотного ряда у обнесенной дощатым забором, обреченной на снос церкви Параскевы Пятницы, около спущенных по проволочным канатам колоколов толчется кучка зевак. На колокольне торчат леса и по доскам помоста расхаживают каменщики. Золотые луковички куполов вздымаются к небу, точно крона столетнего дерева, над которым уже занесен топор.

— Князь Голицын строил. Триста пятьдесят годков стояла. И еще столько бы стояла — постройка вечная. Движенью, вишь, мешает...

По голосу говорящего (с черной бородкой, похож на старообрядца-начетчика) не разобрать, жалеет ли он о судьбе старой постройки или просто показывает свою осведомленность. В толпе никто не говорит о церкви. С любопытством рассматривают колокола, спорят, сколько в них пудов весу, читают вслух неразборчивые славянские надписи. Широкоплечий деревенский па-

рень берется на спор поднять язык от одного из колоколов. Натужившись и покраснев, он приподнимает обеими руками саженную гантель за один конец, ставит стоймя и тяжело бросает на мостовую.

В стороне — летучий митинг. Однако спорят не о религии, а о хозяйственных делах. Рабочий-сезонник в домотканом зипуне с большой заплатой, в огромных стоптанных, забрызганных известью сапогах жалуется на тяжелую жизнь в деревне.

— А какой выход? — убеждает его фабричный в кепке. — Коллективно землю обрабатывать. Не столыпинские же отруба...

— Так то участок, собственность... Что хочу, то и молочу.

— А на что тебе собственность? Пиджак есть, вот и вся собственность.

— А жить где? Ты меня, небось, к себе ночевать непустишь...

— Это ужасно, — волнуется Эльга. — Какое тупое равнодушие к религии! Триста лет назад деревенские каменщики на этом месте благоговейно воздвигали эту церковь, а теперь их потомки, такие же крестьяне, разбирают ее на слом! А духовенство на улицах просит милостыню...

У забора жметесь нищий-монашек, не то горбун, не то недомерок. Из порванной скуфейки, как из галчиного гнезда, лезет грязная вата на выбившиеся косички жидких прямых волос. Выгоревшая пыльная ряска юбкой болтается вокруг босых косматых ног с затвердевшими от дикого мяса и грязи каблуками вывороченных пяток.

Монашек вскинул вверх вороний свой нос и, трясая редкой бороденкой, мелкими стежками, как бы благословляя, крестит леса с рабочими у золотой луковницы и читает, как над покойником, нараспев:

— Церкву-то кто? Князь строил. Думал от Бога откупиться. Хоромы его досель стоят, а церковь княжая сгинет. Пусто место, камень-булыжник... Сгинут все сорок сороков... Все на грехах да на крови строены... Одна только и есть церковь в Москве праведная, безгрешная, а какая — неведомо никому... Мне сам старец сказывал перед кончиной... И останется она, как перст, одна-одинешенька... сама откроется народу. От нее, как от зажженной свечи в Пасхальну заутреню, все

купола сызнава затеплятся. И настанет радость великая...

Юродивый или полоумный? От него не добьешься толку. Он был раньше звонарем в Оптиной пустыни, ходил за старцем, теперь живет в склепе под церковью в Даниловом монастыре. Эльга подала ему двугривенный, но юродивый монашек с гадливостью отшвырнул монету на мостовую.

— На кой мне твой антихристов сребренник... Ты мне лучше дай хлебца. Я пожую...

Брошенный двугривенный ловко подобрал маленький беспризорник, видимо, уже знающий повадки юродивого и прикармливающийся при нем, как воробей при голубе. Эльга купила у торговли французскую булку, но монашек не взял и ее.

— Белый для белой кости, для бар. Ты мне дай мужицкого, черненького... с утра не жевал. Одну воднягу испил на Москве-реке. Зубы-ти цингой ноют с самой зимы... Застудил в склепе.

— Давайте, тетенька, деньги, я сбегая за черным хлебом,— предложил шустрый беспризорник, подобравший за пазуху и французскую булку, и побежал в булочную около Дома союзов. Эльга хотела еще порасспросить, но около нее стали останавливаться любопытные, да и юродивый обрезал ее грубо:

— Отстань... Што прилипла... Я те не Гришка...

На Лубянке нам пересек дорогу эскадрон войск ОГПУ. Рослые белые лошади, картинно развевая гривы и изгибая шеи, как запряженные в триумфальные колесницы квадриги бронзовых коней, мчат по мостовой тархтящие, окрашенные в защитный цвет тачанки с пулеметами, точно собираясь рассыпать свинцовый горох по украинским степным шляхам в погоне за гайдамацкими бандами батьки Махно. Заломив голубые тульи с обручами красных околышей, здоровые парни молодецкато гарцуют, побрякивая шашками и поскрипывая желтыми седлами. Сверкающие на солнце серебряными полумесяцами подковы, цокая, высекают искры из лысых булыхжных черепов.

Мы проходили два раза перед входом в комендатуру ОГПУ, где на фронтоне, над дверью под пятиконечной звездой, отлита чугуном барельефом кудлатая голова Маркса и наверху полулежат две статуи красноармейцев в буденовских шишаках, с винтовками,

один — бородатый крестьянин, другой — молодой рабочий.

— Маркс вместо Горгоны, — злобно сострила Эльга.

— Которая обращала в камень одним своим взглядом. Что ж — это надежный щит революции, — ответил ей полушутливо.

Такое же раздражение вызывает в Эльге и другое большое, облицованное бетоном здание, где над скромным входом с двумя небольшими колоннами из отполированного гранита тавром золотых букв на красном фоне выжжена надпись: «ЦК ВКП (б-ов)». В громоздком подворье торгового Китай-города раскинула революция свой генеральный штаб. Под серым каменным черепом в белых клеточках кабинетов кипит напряженная работа мозга. Тысячи нервных нитей расходятся от этого волевого центра по пахотному телу мужицкой страны и сотрясают разрядами высоковольтной энергии ее берложный овчинный сон.

— Что вы здесь разгуливаете? — подозрительно окликнул нас постовой милиционер. — Проходите, проходите на Ильинку. Здесь нельзя ждать...

На Никольской Эльга остановилась перед магазином «Парча, утварь». В правой витрине были выставлены хоругви, ризы, митры, кованые переплеты для Евангелия, чаши для причастия; в левой — шитые золотом красные полотнища знамен, медные наконечники древков с серпом и молотом, революционные значки...

— Какое странное соединение! — удивилась Эльга. — Церковь и революция!

Но мне несоединимое великолепие этих двух витрин кажется наивной эмблемой двуликой Москвы: византийской, уходящей в прошлое, и послереволюционной — в будущее.

На Красной площади у памятника Минину и Пожарскому Эльга зачем-то сунула мне в руку бархатную сумочку и таинственно, по-заговорщицки прошептала:

— Ступайте одни... в мавзолей... Я буду ждать вас около Василия Блаженного...

Почему она так взволнована, что у ней трясутся руки?

Я пересек площадь и стал в хвосте текучей змеей изогнувшейся очереди. Солнце уже заходит, и от Крем-

ля на мавзолей легла прохладная лиловая тень. Только поднятый вымпелом, как над броневой башней готовящегося к ночному бою дредноута, красный флаг над зданием ВЦИКа шелковее в огне. От могил у кремлевской стены веет вечерним запахом цветников. Слышен даже слабый аромат штамбовых роз, разноцветным венком, за решеткой в асфальте, оцепивших помост траурной трибуны. Простая черная надпись «Ленин», и деревянные ступени — вверх для ораторов, приветствующих железными голосами в рупоры громкоговорителей стотысячные толпы ежегодных октябрьских и майских штормов, — и вниз по красной дорожке к стеклянному саркофагу...

Спуск переходов с развешенными минами огнетушителей «Богатырь», тишина — слышны выдохи вентиляторов, — и минутное простое и необычайное видение. Под стеклом, в электрическом свете, на красной подушке — восковая голова Ленина с выпуклым высоким лбом, странно неподвижная рука у пуговиц дешевого рабочего пиджака и махровый мак приколотого на отвороте ордена Красного Знамени. Распластанное на стене вылинявшее старенькое знамя Парижской Коммуны, и застывший с винтовкой, чуть помаргивающий веками безусый красноармеец с мокрым от испарины лицом. И снова, точно ничего не было, — светлое небо, летний воздух, жизнь!

У собора Василия Блаженного я нашел Эльгу. Мы поднялись на расписное теремное крыльцо. Музей уже закрыт. Крутые каменные ступени сточены шарканьем бесчисленных шагов. Отсюда с паперти после ранней обедни Иоанн Грозный смотрел исподлобья ястребом на красную, растерзанную убоину Лобного места, где сейчас бродит бесприютный оптинский юродивый монашек в поисках праведной, безгрешной церкви...

Продолжительный звонок... Над воротами Спасской башни вспыхивает сигнальная лампочка. Из Кремля мимо полосатой бело-красной будки часового бесшумно под уклон скатывается автомобиль... Снова звонок, световой сигнал и автомобиль... Разъезд... Кончилось какое-нибудь важное заседание.

Блеск заходящего солнца напоминает мартеновский цех завода «Серп и Молот». Выпуск плавки: слепительное золото стали льется в изложницы зубчатого Кремля, и краны ночи скоро вытряхнут из них на Крас-

ную площадь темные болванки теней для проката под электрическими фонарями... И революция тоже — выпуск плавки. И Ленин, точно канавный мастер, наблюдал за тем, чтобы расплавленный металл тек в предназначенные формы. Советское солнце!

— Если вы только нас обманули, то берегитесь!

Уже стемнело, когда мы вышли с Красной площади. Эльга хотела зайти к Иверской, но часовню уже закрыли на ночь. С синего звездного купола, из-под золотого ангела с наклоненным крестом загрела металлическим голосом черная гармоника громкоговорителя:

— ...Алло... Алло... Слушайте... Говорит станция имени Коминтерна...

XLIII

ПОСЛЕДНЯЯ ПИЛЮЛЯ

«Шведский самолет в Москве».

Под таким заголовком увидел я в вечерней газете черный смазанный снимок аэроплана с темными человеческими силуэтами, среди которых узнал Эльгу, Комарова и себя. В заметке сообщалось о том, что шведское общество «Аэротранспорт» вместе с финляндским «Аэро» проектирует установить воздушное сообщение Стокгольм — Гельсингфорс — Ленинград (а может быть, и Москва) и что «ORN» («Орел») удачно совершил первый пробный полет.

Так вот почему Эльга запретила мне говорить по-русски!

После обеда я немного отдохнул в номере, но меня скоро разбудил Комаров и сообщил, что ночью мы вылетаем, куда — он не сказал. За столиком в ресторане нас поджидала Эльга.

...Половина первого ночи. В зале довольно много публики... Играет оркестр, танцуют. Эльга — сумрачна, чем-то озабочена и не разговаривает со мной. Комаров же весел и жизнерадостен. Он предложил Эльге потанцевать и, когда она отказалась, нашел себе другую партнершу за соседним столиком. Танцует он с увлечением, никак не подумаешь, что руки, нежно обхватывающие женскую талию, и ноги, ловко выворачивающие на паркетe па чарльстона, недавно еще нажимали на

рычаги и педали аэроплана. Рядом с ним танцует другая пара: пожилой бритый, лысый мужчина с огромными очками в роговой оправе, что делает его похожим на рыбу, и высокая худая девушка с выкрашенными красной хной мальчишескими волосами, с подведенными маковыми тычинками ресниц и карминными пиявками губ. У нее такие тонкие ноги в туфельках-балетках, что кажется, они вот-вот хрустнут и переломятся от неловкого движения.

В залитом электрическим светом аквариуме зала — нерест фокстрота. Траурные самцы трутся черной шевиотовой чешуей о шелковую радужную кожицу самок в жажде вечного оплодотворения. И музыка танца звенит сладострастной жалобой неразрешимой звуковой импотенции...

Тонконогая девушка почему-то заинтересовала меня. Она поднялась вместе со своим кавалером в низкий коридор, где расположены отдельные кабинеты. Я видел, как официант закрыл за ними дверь и, пригнувшись, припал к замочной скважине или пробуравленной дырке. Заметив меня, он быстро выпрямился и отошел от кабинета.

Эльга с Комаровым сидят за столиком и, кажется, не беспокоятся о моем отсутствии.

Я в несколько секунд решил на бегство. Без кепки, без пальто, вниз по лестнице и на улицу. Когда они хватятся, будет поздно — не станут же из-за меня откладывать перелет...

Я благополучно миновал ливрейного сереброгалунного швейцара, бесшумно распахнувшего передо мной зеркальные двойные двери. У подъезда стоял автомобиль, и перед ним шофер в меховой куртке. Он обернулся ко мне, и я узнал нашего бортмеханика-шведа.

— All right! All right! * — хлопнул он меня по плечу: — Wir fahren sogleich **.

И дружески-крепко взяв под руку, болтая что-то на ломаном англо-немецком языке, потащил меня назад в залу ресторана.

Есть что-то тревожное в полночной загородной автомобильной поездке, как будто везут на какое-то недоб-

* «Все в порядке! Все в порядке!» (англ.).
** «Мы едем сейчас» (нем.).

рое дело. По зубам оскоминой саднит холодок и нервничаешь: часы перед рассветом, перед родами солнца, всегда томительны для тех, кто не лежит в забвении. Небо темное, звездное, и мне не верится, что скоро я буду висеть в нем на еще более быстрой, гулкой и шаткой машине.

У Страстного нам перерезал дорогу крытый такси с подозрительной парочкой и, состязаясь в скорости, понесся рядом по Тверской-Ямской. Около Бегов из дверцы протянулась женская рука и, пустив по ветру светлячка непотушенной папиросы и помахав нам, задернула штору. Такси, подпрыгивая задком, свернул в пустынные аллеи Петровского парка.

— Карета любви,— сострил Комаров.

Часовой с винтовкой, проверив при свете фонаря документы, пропустил нас на Ходынский аэродром. Еще рано, не видно ни летчиков, ни пассажиров, хотя в летнем, похожем на дачное помещении станции светится электричество. Но мы туда не заходим и идем прямо на поле, где в темноте белеют два больших самолета: «Дорнье-комета» (Москва — Харьков) и «Юнкерс» (Москва — Берлин). Омытые росой серебристые дюралюминовые крылья поблескивают слабым отсветом звезд и фонарей с шоссе. Невдалеке в сторонке стоит и наш готовый к подъему «ORN».

Странно, что нас никто не провожает и мы улетаем точно украдкой, не дождавшись рассвета.

— Hinein! Hinein! * — торопит меня швед-бортмеханик, подсаживая Эльгу, и, бешеной автомобильной гонкой промерив Ходынку, мы повисаем в ночном воздухе над электрическим сполохом Москвы.

В кабине — полутемно. Устройвшись поудобнее, я скоро задремал. Мне начинает казаться, что я еду в возке по зимней дороге. Это ощущение до того реально, что я слышу скрип полозьев, топот лошадей, покриванье кучера...

Когда я очнулся, солнце уже взошло. День — ясный, но ветреный. Меня, должно быть, укачало: во рту горечь и томительно тянет стошнить. Жаль, что нет готовых пакетиков для рвоты!

Я полез в карман за носовым платком и нащупал

* Здесь: «Залезай! Залезай!» (нем.).

склянку. В желтом далматском порошке перекатывалась круглой свинцовой пушкой кульбинская пилюля. Я высыпал ее на ладонь и проглотил со слюной. Самовнушение? Головная боль и горечь во рту остались, но позыв к рвоте прошел.

Эльге тоже нехорошо. Лицо у нее серое, и она что-то нюхает и смачивает себе виски. Швед-бортмеханик ковыряется в моторе и через рупор переключается с Комаровым. Летим мы невысоко, метров на пятьсот, над лесистой заболоченной равниной.

— Пересядьте вперед! — крикнула мне Эльга.

Думая, что перемещение груза необходимо для уменьшения качки, я сел рядом с бортмехаником. Эльга стала о чем-то переключаться с ним по-шведски. Он угрюмо посмотрел на меня, опустил стекло у дверцы и застегнул пояс у сиденья. Я тоже хотел застегнуть свой пояс, но не успел. Эльга кошкой вцепилась мне сзади в плечо и с криком «предатель» больно хлестнула по лицу бархатной сумочкой. Растерявшись от неожиданности, я привстал, чтобы защититься от ее ударов, но меня схватил и прижал спиной к дверце бортмеханика. Самолет накренился на бок, и в люк окна я вдруг увидел на мгновение со страшной высоты зеленую землю, а затем искаженное ужасом лицо Эльги в красноватом блеске выпыхнувшего из мотора пламени. Дверца под моей тяжестью распахнулась, и я, как стремнина, полетел стремглав в обморочную пропасть. Сквозь трезвон темноты, как далекие голоса переговаривающихся над захлороформированным хирургов, донеслись до меня отрывистый резкий клекот шведа-бортмеханика: «контакт» и неторопливый певуче-акающий мужицкий говор: «Так... Так»...

Я открыл глаза: надо мной голубело дневное небо с огненным метеоритом горящего аэроплана, который скатился падучей звездой и пропал в углу дрогнувшего века. Вместо него выросла надгробным памятником серая бетонная будка с черной надписью: «Не дотрагиваться! Смертельно!», с изображением черепа, двух скрещенных берцовых костей и красного зигзага молнии.

Я хотел отползти от нее подальше, но не смог. Странное ощущение! Ясное сознание, покой, никакой боли, но я совсем не чувствую своего тела, хотя и вижу его, как будто у меня одна голова, а все остальное чу-

жое, не мое. Постепенно это оцепенение проходит, и я начинаю шевелить сначала пальцами, потом руками и ногами, которые не болят, но плохо слушаются, точно я их отлежал или отсидел.

Красная молния на черном черепе кружит, как жирный картофельный бражник Мертвая Голова. Это она гипнотизирует и держит меня в оцепенении. Это ее ожог медленно стекает с меня электричеством в подзольную землю!

Я откатываюсь от бетонного склепа и, полежав немного, осторожно встаю. Нет, это не звон в ушах, а шум воды...

Высокий глинистый берег, и под ним — клокочущая ледоходом порожистой пены взбешенная река с поперечным валом водопада и белым вокзальным зданием гидростанции...

Волховстрой!

XLIV

«ЧУГУННА СЫПЛЕТСЯ ГОРА»

Не широкий, но мощный речной простор кипит беляками, как Волга в половодье при низовом ветре. Наперерез им из-под тройной кружевной фермы железнодорожного моста медленно движется пароход и, выйдя из шторма, ошвартовывается в тихом канале аванпорта у бетонного мола стенки. Теперь он хорошо виден мне с высокого берега. Это — небольшая паровая яхта «Севастополь» с двумя белыми каютами. Ключья дыма из трубы сливаются с пеной клокочущего Волхова. Резко выделяется красное: полоса ватерлинии на смоляном борту, рупор ветрогона и флаг на корме. С яхты сходит кучка пассажиров, вероятно, приехавших из Ленинграда для осмотра Волховстроя. Навстречу им спешат инженеры в белых форменных кителях и вренные в форме войск ОГПУ. Полюбовавшись на чугунный водопад и посмотрев, как ловят сига сакком, ленинградские гости проходят в здание силовой станции.

На противоположном берегу Волхова под обрывом у плотины копошится толпа, но что там делают — не разобрать. У спуска, где стоит часовой с винтовкой, со-

бираются экскурсанты, рассаживаются на бревнах, курят и закусывают бутербродами.

— Раньше одиннадцати часов не пропустят.

— Почему?

— Не знаем. Говорят, Сталин приехал из Ленинграда...

Так вот почему празднично полощется боевым рабочим красным вымпелом у кивача Волховстроя оплесканный студеными невскими, ладожскими и волховскими беляками «Севастополь»!

Сирена белого пара, два гудка, гулкое эхо над ревом водопада и крик в рупор: «На яхту!»

Стоя у колючего проволочного ограждения на краю обрыва, я силюсь рассмотретьдвигающихся по стенке аванпорта людей.

Наверное, это он во френче цвета хаки, в сапогах, чуть-чуть сутулясь и деловито кивнув большой головой, неторопливо вступает на бетонную трибуну перед рукоплещущим ревушим в овациях пленумом волховских турбин. Но нет, слишком далеко, — я плохо вижу.

«Севастополь» тихо проплывает по каналу к шлюзу мимо меня, под обрывом. Я успеваю разглядеть в кучке людей на носу яхты знакомое по портретам резкое, суровое лицо с нависшими черными усами. Ворота шлюза опускаются и, пропустив судно в камеру и скрыв его, снова поднимаются. Видно, как электромотором наворачивают цепи на тумбы для причала. Сейчас там подняли чугунный щит, и вода с шумом ринулась сквозь решетку в донную канаву, подкидывая и выпирая наверх пароходное днище. «Севастополь» медленно поднимается вместе с уровнем воды на десять метров вверх, потом, высадив часть пассажиров у станции, проходит в верхний канал и, сделав большую петлю по широкому тиховодному затону верхнего бьефа, возвращается к шлюзу.

Мне тоже хочется, вслед за гостями с яхты, проникнуть туда, внутрь бетонного святилища, в турбинный зал, где на алтаре генераторов совершаются таинства электричества: претворение клокочущей яростью воды в световую энергию, трансформация убийственных живительных токов. Неужели я, оглушенный шумом водопада, останусь здесь, у входа, как оглашенный?

— Товарищ, я уже сказал, что мы взять вас с собой

не можем. У нас поименный список на тридцать человек, заверенный в Главэлектро. Обратитесь к администрации станции.

В деревянном бараке клуба лекция для экскурсантов уже окончилась и скамьи опустели, но лектор, инженер, еще не ушел и отвечает на вопросы окружившей его кучкой молодежи.

— У меня было два разрешения, но я их отдал,— говорит он в ответ на мою просьбу.— Что ж вы раньше не подходили, когда я об этом объявлял? Ничего не могу для вас сделать. Я не имею права давать пропуска. Обратитесь к заведующему инженеру Дмитриеву. На той стороне, белый дом. Можете переехать на пароме. Пустяки, еще успеете...

Расспросив, как пройти, я мимо домиков рабочего поселка по мощеному взвозу торопливо спустился к Волхову. Решетчатые, склепанные из железных угольников опоры, точно уэллсовские марсиане на высоких ходулях, обвесившись фарфоровыми гирляндами изоляторов со смертоносными скрытыми в медных проводах молниями и связавшись, чтобы легче идти, стальным тросом, чудовищно шагают один за другим гуськом от гидростанции вдоль в поход за сто двадцать шесть верст через пашни, болота, леса на мирное завоевание северной рабочей столицы.

Молчаливый перевозчик за медный обод пятака привычным неторопливым шлепаньем весел гонит по бурому широкому затону верхнего бьефа неуклюжую рыбацью лодку поверх затопленных порогов, вдоль понтонного, похожего на кишечник землечерпалки заграждения от сноса на водопад плотины.

Вот и заметный еще с того берега белый дом, где я должен достать разрешение на осмотр. Перед крыльцом у садика — праздничная компания, вероятно, хозяин с гостями. Лицо одного из инженеров показалось мне знакомым.

— Вы инженер Дмитриев? — обратился я к нему.

— Нет,— ответил он и, точно представляя, указал рукой на другого высокого инженера в белом кителе.

Я изложил свою просьбу о разрешении осмотреть Волховстрой и сослался на то, что я знаком с инженером Графтио.

— Вот он сам здесь. Вы с ним только что говорили. Генрих Осипович, это к вам...

Строитель Волховстроя — да, это он, как я не узнал его сразу. Правда, он сильно изменился.

Маленький, серенький, скромный инженер с зеленым путейским кантом. Я напомнил ему, что встречался с ним когда-то в Управлении по сооружению железных дорог. Он любезно выслушал меня, рассеянно поглядывая на грохочущий в бетоне Волхов. Только что он водил по Волховстрою прибывшего из Ленинграда на «Севастополе» генерального секретаря партии Сталина и, как дирижер стихийного оркестра, разыгрывал перед внимательным слушателем лучшую электрическую водную симфонию к десятилетнему юбилею революции.

Может быть, ему сейчас вспоминаются: первые бараки и землянки среди ржаного поля, где ютились болевшие сыпняком и цингой артели чернорабочих; вольнолюбивый Волхов, яростно бившийся в заваленные камнем срубы перемычки, чтобы затопить кишевший землекопами муравейник котлована на дне русла; торфяные пожары, подползавшие к окопам динамитных погребов; четырехсоттонные железные кессоны, где пьяные от сжатого воздуха подрывники закладывали в шпурсы патроны, — десятилетний упорный (серебром перегоревших волосков на висках и гусиными лапками морщин на лице отлагавшийся), муравьиный ход стройки, и надо всем, как хозяйский глаз, как наказ к победе, — крутолобый ленинский бюст в нимбе электрической люстры, но не гипсовый, не бронзовый, а живой, над красным столом Совнаркома на заседании, решающем судьбу Волховстроя.

— Я сам здесь сегодня на положении гостя, — улыбнулся Графтио и, обернувшись к высокому инженеру в белом кителе, добавил: — Сделайте, пожалуйста, все, что можно...

Заведующий станцией подвел меня к военному в форме войск ОГПУ, сидевшему на крыльце, с папкой, развернутой на коленях.

— Не могу, товарищ, никак не могу, — наотрез отказал он мне. — У нас есть предписание. Разрешения на осмотр станции выдаются только в Главэлектро... Приедете еще раз — тут всего несколько часов езды... Сами понимаете, какое время — шахтинцы, вредительство...

Главэлектро — это магическое слово звучит почти

так же, как Главнебо,— это больше, чем Зевс или Юпитер с их ручными кустарными молниями. Но почему мне так обиден этот отказ, точно я действительно оглашенный и недостойн войти.

Я остановился перед проволочным заграждением около плотины у выхода туннеля, но меня окликнул часовой с голубой тульей:

— Эй, товарищ! Тут нельзя останавливаться. Проходи дальше.

С этой стороны Волховстрой еще величественней. Виден весь фасад силовой станции и перекинутый через всю реку гладкий, точно отполированный, чугунный вал водопада. По кривому скату скользит вниз коричневая затонная вода и, вдруг перелетев лыжным прыжком с трамплина бетонного носка в омут гранитного флютбета, закручивается в яростные белые бугры и бурлящие воронки. Кажется, что этот искусственный Кивач и есть центральная часть всего сооружения, а между тем здесь только переплескивается из верхнего бьефа в нижний ненужный излишек воды. Вся же работа невидимо кипит в здании под турбинным залом, откуда отработавшая ошалелая вода, пробежав по спиральным камерам и ударившись в лопатку турбин, поршнем выталкивается на вспаханный взмыленный простор.

Пониже плотины, у стремнины обрывистого берега, толпятся артели рыбаков. Поочередно всходят они на узкие деревянные козлы и водят саком, длинной жердью с сеткой на конце, в бурной бурой воде: сачат сига. Несколько ловких взмахов, и в сетке голубым серебряным слитком трепещет выхваченная из волховских недр драгоценная рыба.

Ловить приходится мало, больше ждать: народу много, и очередь длинная. Улов сдают тут же на берегу представителю союза, который в грязной тетрадке, против фамилии каждого рыбака единицей отмечает сдачу — по рублю за сига. Только что выловленные черноглазые красавцы сизи отливают по серебру голубой и лиловой тенью. Ловля увлекает меня, я толкусь среди рыбаков и заговариваю с ними. Мне почему-то приглянулся высокий сухопарый старик с длинной мочально-сивой бородкой и небольшими голубыми, ясными еще глазами из-под ершистых плавников бровей. Он мне напомнил бородатого восьмидесятилетнего сара-

товского лодочника под Бабушкиным взвозом, известного на Волге под кличкой «Апостол», — сколько поколений учащейся молодежи с песнями уплывало в майское половодье на Зеленый остров на его свежепросмоленных, проконопаченных трехпарках и двупарках!

— Не идет сиг на плотину-то, — жалуется старик рыбак. — Вишь, рыбоход устроили! А как сигу пройтишь сквозь его сторонкой с запрудой наровень? Какая у ей хитрость, у рыбины, коли она травкой да илом питатца? А тут человек, не догадатца, куда лезть... А через плотину сигу никак не пересигануть. Зря только мучитца, расшибатца в кровь. Мало тут поверху плавает битой рыбы...

Певучая новгородская речь старика, чистое озерное омутовое «о» и золотой чешуей поблескивающее «ц», пеньковая борода и рыбацье вретиче напоминает о каких-то былинных временах деревянных городищ и волхов. Старик рыбак недоволен и ворчит, и ему, как сигу, Волховстрой перегородил тысячелетний путь «из варяг в греки».

— Сиг — наш кормилец. Испокон веков им жили. Место наше такое ловецкое, оно слово — золотой бережок. Богатой народ был, форсистой, а топеря все обенняли. Извели пороги, и сига не видать. И порожцы, и петропавловцы, все тут толчемся, маемся, ждем, когда черед дойдет. А што на кажнова придетца? И похлнуть нечево. Заместо кожанов в лаптях сачим...

Старика окликнули, и он, не докончив, рысцей сбежал по обрыву к козлам. Скоро в саке у него пойманной серебряной бабочкой блеснула рыба.

— Купляй сига! За целковый отдам! — предложил старик. — Да тут и кошель, только без денег!

И он вынул вместе с сигом из сетки размокшую черную тряпку, в которой я сразу узнал бархатную сумочку. Под предлогом, что мне не в чем нести сига, я выторговал и ее.

— Ну, ин ланно. Бери кошель в придачу за трешницу... Травки-то, травки туда положи да водицей спрысни. Он живьем с тобой доедет до Питера...

В наш разговор со стариком вмешался рабочий-экскурсант. Он стал доказывать пользу от Волховстроя, говорил об электрификации, о Днепрострое...

— Волхов изгадили, и Днепр изгадят, — упрямо

стоял на своем старик рыбак. — Уж больно хитры нынче люди-то, иначе хитрей смерти не стали. Не, брат, сме-редушки железом-то не возьмешь. Ее ничем не возьмешь, кроме онной землицы, та и то опосля, как по-мрешь...

И отмахнувшись саком, старик опять пошел к своим козлам.

— Вот она, матушка-деревня! — возмущается ра-бочий. — Волховстрой дает больше сорока тысяч паро-вых лошадиных сил, вертит всю ленинградскую про-мышленность, заменяет миллион двести тысяч рабо-чих, а он тужит о копченном сиге. Да разве в сиге тут де-ло? Хотя, конечно, если разобраться досконально, това-рищ, то придется прийти к выводу, что наша деревня во многом еще действует на манер сига. Прет по старин-ному укладу мелкой собственности, бьется в нищете, как сиг о плотину, а того не видит, что вот рядом здесь же проложен для нее ход в светлое будущее через кол-лективизацию. Тут словами ничего не добьешься, то-варищ. Надо действовать по линии металла... Вот тут определенно сказано...

И он показал мне номер «Красной Газеты» с круп-ным заголовком:

«Об итогах июльского пленума ЦК ВКП(б).

Доклад тов. Сталина на собрании актива Ленин-градской парторганизации».

— «Смычка нужна нам для того, — читает он вслух выделенные жирным текстом места речи, — чтобы приблизить крестьянство к рабочему классу, перевос-питать крестьянство, переделать его психологию инди-видуалиста, переработать его в духе коллективизма и подготовить таким образом ликвидацию, уничтожение классов на базе социалистического общества...» А вот тут выше определенно сказано: «и по линии металла...» Да, товарищ, по линии металла на базе социалистиче-ского общества.

Слова «по линии металла» звучат у него так же, как любимая недавно выкованная строка у поэта. Он сам металлист с «Красного путиловца», но по виду совсем не похож на плакатных пролетариев: плотный, невысо-кий, лет сорока трех, в промасленной кожаной фураж-ке и потертой куртке, такой же серый, незаметный, как и инженер, строитель Волховстроя, — муругое скула-стое лицо, черные обвисшие усы, один глаз слегка вос-

пален и слезится («стружка от станка попала»), и зовут его «Иван Васильевич».

Сиг еще дышит и пошевеливается в черной, не выжатой от воды сумке. Зачем шел он с таким упорством на приступ бетонной твердыни, пробираясь тысячелетним порожистым волоком к верховьям Волхова, из студеной глубины родной Ладоги в бурное илистое Ильмень-озеро? Лишь затем, чтобы распяться на палочке, лосниться закопченной иконной позолотой на лотке бойкого лотошника?

Я спускаюсь к берегу и, оглянувшись, чтобы меня не заметил старик рыбак, выпускаю сига на волю в бурную стремнину. Потом, положив камень в сумку, забрасываю ее подальше в реку.

«Севастополь», дав три гудка, отваливает от стенки аванпорта и, дымясь, выходит на самый стрежень. Высекаемые чугуном валом динамо-машины водопада пенистые разряды волн бьют электрическими скатами в ныряющую низкую корму с развевающимся красным вымпелом, подгоняя яхту вниз по течению...

— Красота! — умиляется путиловец, слегка прищурив левый, пораненный стальной стружкой глаз, и задумчиво повторяет полюбившиеся ему слова:

— По линии металла!

XLV

В ГОСТЯХ У КРАСНОГО ПУТИЛОВЦА

Сиплый фабричный гудок, заглушая далекий колокольный звон, ударяет мне в ухо и стекает в пуховую немоту подушки. Аэроплан, Волховстрой, пароход, поезд — где я? В Ленинграде, за Нарвской заставой, около Путиловского завода в гостях у красного путиловца Ивана Васильевича. Хозяин уже ушел на работу, в квартире никого нет.

— Я, брат, тут один на холостяцком положении. Баба моя в отпуску в деревне. Устраивайся сам, как знаешь, — вспомнились мне его слова.

Какое яркое, почти южное, солнечное утро! И ветер сквозь надувшуюся парусом полотняную занавеску — свежий, озонированный широким водным пространством, хотя и папахивающий угольным выдохом большого

завода. Две чистенькие, беленые комнатки в новом кооперативном доме, кухня и ванная. Вчера хозяин любовно показывал мне, как надо поворачивать рычаги и обращаться с блестящей медно-красной колонкой Юнкерса, чтобы не отравиться газом, но, верно, я плохо запомнил указания: вода из душа течет то холодная до дрожи, то горячая до обжога. Куда я так тороплюсь? Ведь на завод мне надо к часу дня, а сейчас еще нет восьми.

Даже не напившись чаю и отдав, как было условлено, ключ соседке, я вышел на улицу. Новый рабочий поселок кажется светлым оазисом среди темных, старых домов предместья. За высоким грязным деревянным забором над прокопченными приземистыми ангарами завода грохочут краны и откупориваются в небо железные клепаные трубы с коронами громоотводов. Эта грозовая коронация словно свидетельствует о замене самодержавия растреллиевских дворцов и триумфальных столпов диктатурой заводских корпусов и дымогарных обелисков. Недаром сюда, за Нарвскую заставу, к рабочему саду, перенеслась свидетельница кровавого воскресенья 9 января — чугунная витая с золотыми орлами решетка Зимнего дворца.

С улицы Стачек на автобусе я проехал на площадь Урицкого и вышел на Проспект 25 октября, бывший Невский. Вот и Михайловская, теперь площадь Лассаля, знакомая подворотня с глухими железными воротами и вывеской «Сапожный мастер С. Жирнов». Что мне здесь надо? Почему меня, как Раскольников в квартиру убитой старухи, тянет на это проклятое место?

В прохладном каменном колодце двора по булыжнику прыгает на одной ножке, репетируя игру в классы, голоногая девочка с голубым бантом, и с лаем гоняются два фокстерьера. Второй смежный колодец еще уже и темней. Сверху доносятся звуки рояля. Резная дубовая дверь в форме щита открыта — это все, что осталось от «Бродячей собаки». Подвал разгорожен на дровяники. Сквозь деревянную решетку видны поленицы дров, и в куче хлама торчит безголовый одноногий женский бюст черного манекена. Вместо камина зияет пробоина. Штукатурка со стен осыпалась, только в одном месте чуть голубеет клеевая краска — там, где лежала среди экзотических плодов и цветов обнаженная судейкинская красавица. Под ногами хлюпают на-

стланные доски в лужах от дождя или от лопнувшей водопроводной трубы. На дворе чьи-то голоса. Еще подумают, что в дровяник забрался вор. Поднимаясь по лестнице, я зачем-то пересчитываю ступеньки: четырнадцать...

— Вы из какой квартиры будете, гражданин? — останавливает меня у двери дворник с метлой.

Я объясняю ему, что зашел посмотреть подвал, где раньше помещалась «Бродячая собака».

— Какая там еще собака! Ты толком отвечай, зачем ты туда лазил, — наглеет дворник, сразу переходя на «ты».

Музыка наверху обрывается, и через подоконник между горшками цветов свешивается черноволосая смуглая женщина в желтом матине.

— Верно. Здесь раньше был такой ночной ресторан. Только очень давно, — подтверждает она мои слова.

Дворник перестает пререкаться и молча провожает меня за ворота. Мне вдруг делается весело. Но я не сразу понял, что развеселило меня вовсе не недоразумение с бдительным дворником, а то, что я не увидел в подвале ничего страшного, никакого призрака моих былых галлюцинаций. Для того-то я так и торопился туда, чтобы подвергнуть себя испытанию. Так радуется человек, подозревавший у себя тайную опасную болезнь и вдруг с трепетом вскрывший запечатанный конверт с анализом: ничего нет, здоров!

В каком-то мальчишеском задоре мне хочется успеть осмотреть до часу дня и другие места самых мрачных моих галлюцинаций. Площадь Урицкого, бывшую Дворцовую, не узнать: так осветила ее новая желтая побелка зданий вместо прежней угрюмой темно-красной. Два одинаковых входа — который из них тот самый? Кажется, этот, крайний, ближе к Зимнему дворцу. Так и есть, на стене — белая мраморная доска с золотыми буквами:

30 августа 1918 года
на этом месте погиб
от руки правых эс-эров
врагов диктатуры пролетариата
МОИСЕЙ УРИЦКИЙ

*борец и страж социалистической
Революции.*

Ларь убран, и я сажусь на низкий подоконник прямо против белой изразцовой печи и круглых часов, которые показывают половину десятого. Стараюсь представить, как это было, но не могу сосредоточиться. Только выйдя на тротуар, я вдруг вздрогнул, увидев несколько десятков разноцветных велосипедистов, круживших по обросшей зеленой травкой мостовой пустынной площади.

— Что это за велосипедисты? — спросил я милиционера, не совсем уверенный в том, что он их тоже видит.

— Завтра парад физкультурников. Вот они и упражняются...

Сияя никелированными рулями и спицами, отряд юных загорелых самокатчиков в красных, синих и белых майках, точно эскадрон кавалерии, бесшумно размыкается и смыкается по команде, объезжая вокруг Александрийского столпа.

Миллионная, улица Халтурина, широкая, прямая, как поток, соединяющий два пустынных площадных озера. Я быстро шагаю по торцам, стараясь представить себя мчащимся на велосипеде Каннегисера и проверяя свою восприимчивость к возвратным галлюцинациям. Но эти мрачные потуги спугнула вышедшая из молочной девочка с синим кувшином. Она налила в выбоину тротуарной плиты молока и, присев на корточки, угощает белого котенка.

— Ешь же, киска, ешь!

Когда котенок вылакал все молоко и дочиста, как блюдце, вылизал камень, девочка, погладив его, вспорхнула коротенькой юбочкой и засемила голыми ножками к своему подъезду.

Дом № 17, четырехэтажный, желтый, облупленный. В парадном дверь в швейцарскую направо открыта, и за углом у самовара сидит деbeatая, блинной опарой выпирающая из платья женщина в пестрой шали и пьет чай из блюдца.

— Вам к кому? — окликнула она меня.

Я не сразу нашелся, что ответить.

— Здесь ведь поймали убийцу Урицкого?

Женщина встала от самовара и вышла в подъезд.

— Здесь... А что надо-то? — встревожилась она. — Давно ведь это случилось. В осьмнадцатом году. Меня тогда тут не было, я в деревню уезжала...

Узнав, что я хочу только осмотреть лестницу, швейцариха успокоилась.

— Что ж, смотрите, ежели у вас такой антирес. Только тут нет ничего.

Старое трюмо над мраморным камином уцелело и хранит на ртутном дне канувшие отражения. Стены не подновлялись, и в штукатурке звездятся выбоины от винтовочных и револьверных пуль. Так же висит у четвертого этажа над широкой шахтой недействующий решетчатый сквозной лифт. Мне хочется постоять одному на площадке у квартиры № 2, но швейцариха лезет за мной.

— Тут жил князь Меликов. Их тогда выслали.

Она подозрительно поглядывает на меня, уж не жулик ли какой хочет ее провести в отсутствие мужа. Я даю ей на чай, она провожает меня из подъезда и смотрит вслед, куда я пойду. Пройдя несколько домов, я вернулся и вошел во двор. Вот она, та черная лестница направо. Но заходить туда мне уже расхотелось. Двор тройной, на втором за прачечной в открытых окнах краснеют герани, шьет, притулившись на подоконнике, напевая, девушка, и нежится, лежа на выставленных проветриваться валенках, серая кошка. В третьем дворике над кучей щебня белеют обвитые засохшим виноградным плющом колонны. Открытый темный коридорчик с зажженной лампочкой выводит меня в вестибюль к широкой парадной лестнице. Какой-то клуб или школа. Стеклопакеты дверей подъезда, с фанерой вместо разбитого звена, не заперты, и я выхожу на набережную. Обычно мрачная, чугунная, всегда готовая переплеснуться через гранитные парапеты, Нева сверкает в блестящих зайчиках и бликах, а вызолоченный шпиль Петропавловской крепости, отражаясь, падает на воду червонной дорожкой.

День такой гиперборейски светлый, что даже болотистое, затопляемое в наводнение Смоленское кладбище кажется только загородным садом, а не тем жутким местом, где подслушан «Бобок» Достоевского.

Осмотрев памятную мне желто-белую церковь, я разыскал могилу Блока. Как заголовок на книге стихов, крупно чернеет на белом низком кресте знакомая надпись: Александр... Блок.

Приземистый холмик из дерна изголовьем выбился на дорожку, а ногами уперся в корни высокого молодого

го клена. Крест испещрен пошлыми надписями, которые, видимо, счищает чья-то заботливая рука: «спи, автор «Двенадцати» Блок!», «Sic transit gloria mundi»*.

И среди них греется на солнце, как бронзовка в белой розе, большая синяя муха. Мне хочется прочесть вслух реквием Равенны, тот самый, который трубил победно в «Аполлоне» упоенный Италией, славой и любовью молодой Блок, но слова так слабо звучат и гложут в кладбищенской зеленой тишине. Откуда-то со взморья, должно быть, из Кронштадта, слышится гул орудий. Наверху гудит аэроплан. Почему я должен вспоминать поэта у этой кротовой, гробовой норы, а не там, в небе у нимба продолжающего незримо лететь пропеллера, или на Стрелке Елагина острова перед расцветающими любовью фиалками девичьих глаз?..

Поднявшись над соседней могилой, какой-то старичок в белом чесучовом пиджаке, подзывая, таинственно машет мне руками из-за решетки.

— Гроб-то, гроб! — качает он сокрушенно головой.

— Какой гроб? — невольно вздрогнул я.

— Перевернуло в наводнение... Так и лежит на боку... Никто не поправит.

— А большое было наводнение?

— Как же! Все кладбище залило. Боялись простудиться. На крыши залезали (и он показал рукой на верх часовен-склепов). Гроба плыли... Потом зарывали в братской могиле.

Как странно говорит он о кладбище, точно сам покойник!

— Хорошо у нас тут. Зелень какая! Благодать! Березки, ивы... Соловьи весной так звонко пели... Ну теперь уж не поют. А то кукушка залетит...

И старичок, блаженно улыбаясь, закуковал: «Ку-ку, ку-ку...»

Сумасшедший! Хорошо, что нас разделяет решетка.

— А чья это могила?

— Моего шурина (я боялся, что он скажет «моя»)... генерал... Действительный статский советник... Начальник почты... (в голосе старичка послышалась гордость и подобоострастие). Может, слышали? Петр Игнатьич Негопушкин... У... строгий был... Я у него слу-

* «Так проходит земная слава» (лат.).

жил. После революции его с должности-то сняли... Умер от огорчения...

У старичка — робкий взгляд. Видно — почитал и боялся важного шурина и теперь из страха и почтения ходит ухаживать за могилой. Если он и сумасшедший, то, наверное, тихий, даже и в безумии сохранивший департаментскую угодливость и аккуратность: подстриженные седые усы, выбритый подбородок и форменный потертый пиджачок.

Кладбищенский обломок смытого наводнением революции старого чиновничьего Петербурга!

И все же я обрадовался, услышав среди могил голоса других посетителей.

— Что за игра? Я тебе оставлю немного воды в лейке.

Отец поливает цветы, а мать бранит маленького мальчика в синей матроске.

— Не чешись! Говорила — не шали. Вот и обжегся.

— Это не я обжегся.

— А кто же?

— Это сама крапива обожглась.

— Ну иди, попрощайся с бабушкой, а то она рассердится.

И мать подняла мальчика на руки и поднесла поцеловать фотографическую карточку на кресте.

Дорожка упирается в высокий дощатый забор. Перед врытым в землю столиком, под березой на скамейке целуется матрос с девушкой. Дальше, за лазейкой в заборе, за канавой, по низине стелются огороды, болотце с зеленой ряской, грязная речка Смоленка, Голодай — остров Декабристов, холодный серый пляж и стадион КИМа с гребными лодками и яхтами.

Я долго бродил по островам, тщетно отыскивая дом и сад, хотя бы приблизительно похожие на место моего кошмарного заключения, и по Черной речке вышел на Коломяжское шоссе.

— Где здесь место дуэли Пушкина? — обратился я к первому попавшемуся мне на пустынной дороге прохожему.

— А вот я и сам ищу, — неожиданно ответил он. — Давно я тут был. Еще в шестнадцатом году... Помню, что памятник стоял. Вот он никак...

Вправо от шоссе в рощице тополей на зеленой лужайке торчит надгробный памятник, подмазан-

ный цементом, кирпичный, с черной надписью на доске:

Место дуэли
А. С. Пушкина
1799—1837

от отдыхающих и работников домов отдыха
Ленинградского Губпросвета.

— Старый-то памятник был покрасивей. Видно, обломали... Дуэль спервоначала у них была назначена на Екатерингофке. Да Николаю донесли, что, мол, Сашка драться хочет. Он и выслал туда конных жандармов. Тогда Пушкин с Дантесом сюда переехали... Это он ведь про Николая написал:

Ты не знаешь век забот,
Ты живешь в огромном доме,
Я ж средь горя и хлопот
Провожу дни на соломе...

Я много стихов Пушкина наизусть знаю.

И он продекламировал — «Паситесь, мирные народы».

Странный пушкинист! Кто он такой?

— А вы где работаете?

— Официантом в пивной... Вчера выходной день был, так я здесь у знакомого заночевал. Сам-то я ярославский... Хотел в деревне остаться, льном заняться...

Несмотря на ярославскую бойкость и хитрецу, глаза у него синеют цветом льна, а волосы и усы мохнатятся куделью.

— Что ж не остались?

— Да тяжело очень. Мало ли возни со льном. Выдрать, сушить, обить семя, на луговине стелить. Пять недель должен он лежать. Опосля — трепать. А цена одиннадцать рублей пуд. У меня прошлый год лен был двадцатый номер, а его покупали за семнадцатый... Ну, и пошел опять на службу. Не по сердцу она мне. Пьяницы, скандалы. Нальют, наблюют. А ты подчищай за ими. Иной раз не стерпишь, скажешь: «Вы бы аккуратней, гражданин, со стойлом!» Куда там! Не понимают, даже не обижаются... Который час? Никак уж первый... Ну, мне на службу пора. Счастливо оставаться.

Официант-пушкинист — занятная встреча!

- Лежать в тени на траве прохладно и мягко, но с зеленых перин тополей, перетряхиваемых полуденным ветром, летит пух, устилает лужайку, пристаёт к одежде, к волосам.

За линией приморской железной дороги с аэродрома поднимается самолет и пролетает низко над деревьями, напоминая первые бывшие когда-то здесь авиационные состязания.

- Первый полет, который я видел: красиво взлетевший на белой длиннокрылой «Антуанетт» и вдруг плавно упавший на беговую дорожку Латам протянутой властно рукой останавливает рванувшуюся к нему толпу... Попов после долгой возни круто взмывает с деревянных рельсов на неустойчивом, козыряющем змеем «Райте»... Воспетый Блоком юный летчик Смит, целый час поблескивавший в зеркальных кругах перламутровых биноклей, вдруг козырнул в траву, и к месту катастрофы летят черные всадники, и муравейник толпы, прорвав ограждение, заливают трауром зеленое поле... Маленький, весело улыбающийся из-под капральских усиков Пегу посменно на двух своих монопланах фигурным конькобежцем вычерчивает в небе затейливые вензеля мертвых петель и скольжений... Гудя грузовиком, Пуарэ перепрокидывает низко над трибунами воздушную ломовую телегу неуклюжего «Фармана»...

Из развалин здания ипподрома возчики выбирают и складывают на подводы уцелевший кирпич. Но чугунная решетка барьера у трибуны с асфальтовым тротуаром сохранилась. На скаковой дорожке, где когда-то, выигрывая первый приз, карьером проносился на золотшерстном кровном жеребце привставший на стременах, надвое переломившийся у лебяжьей конской шеи американец-жокей негр Винкфильд, теперь идет кавалерийское ученье.

— Первое отделение полуоборот направо! В одну шеренгу! Равнение!.. Рысью марш!.. побыстрей, побыстрей!.. — командует командир с хлыстиком, на высоком гнедом горбоносом донце.

Молодые вспотевшие кавалеристы настороженно ловят слова команды и иногда, не поняв, обращаются за разъяснением: «Товарищ командир...»

- Подковы, как стекло, сверкают на солнце и мягко топают по грунту, бренчат сбруя и шашки, екает оборвавшаяся у какой-то лошади селезенка.

За барьером из метел и за канавкой посредине луга пестроразряженные женщины сгребают в копны сено.

Пора!.. И так уже опоздал...

Там, около Зимнего дворца, музейная тишина, а здесь, около Путиловского завода, бурлит уличная жизнь. Вдоль тротуара раскинулся целый базар, продают мануфактуру, духи, гребни, ягоды, фруктовые воды, мороженое... Шоссе ремонтируют — дымят котлы с круто замешанной варильщиками смрадной кашей, валяются асфальтовые черные караван, елозят на обмотанном тряпками слоновом колене, приглаживая деревяшками черную зернистую икру, асфальтовщики. В куче песка играют дети, нищий-слепец на коленях просит милостыню. На зеленом пустыре гогочут гуси. У ворот под часами и повисшим в безветрии красным флагом жены ждут мужей с получкой, сменяется охрана из красноармейцев.

— Ты что ж опоздал? Я уж думал, ты не придешь, — встретил меня с упреком Иван Васильевич. — Ну пойдем. Я тебе и пропуск раздобыл.

На нескольких стах десятинах болотистой низины, отрезанной в столетней тяжбе от Финского залива, раскинулся Путиловский завод, удобряя наносную топь чугунным шлаком и выстилая ее рельсовой гатью подъездных путей. Не раз его проконопаченные угольной пылью корпуса всплывали севшими на мель кронштадтскими броненосцами и в их кирпичные борта яростно били штормы наводнений.

— Смотри, куда вода доходила, — показал Иван Васильевич на отмеченный на стене одного здания уровень наводнения 1924 года. — Ну да мы приняли вовремя меры. Только мастерские подмочило немного. А вот в наводнение 1824 года, про которое еще Пушкин писал в «Медном всаднике», тогда, говорят, погибло на заводе более ста пятидесяти человек.

— А тут что?

Иван Васильевич остановился и показал пальцем на пустое место около фабричных ангаров.

— Тут в семнадцатом году выступал Ленин. Более тридцати тысяч народу собралось на митинге. Я тоже его слышал. Хотимobelisk поставить, деньги собираем... А вот и наше заводууправление.

Белый бюст Ленина под золотогранной звездой

в малиновой драпировке, черная доска с объявлениями заводоуправления, фабзавкома, ячейки...

Иван Васильевич на минуту скрылся за матовым дверным стеклом, откуда доносилась полуденная ожесточенная трескотня канцелярских цикад, пожирающих бумажные листы.

— Вот тебе пропуск и книга на память о нашем заводе. На досуге прочтешь. Тут все подробно прописано...

И он дал мне юбилейный сборник 125-летия завода «Красный путиловец».

— Горячие цеха сейчас в отпуску. Мы с тобой пройдем в нашу тракторную мастерскую, бывшую пушечную...

Огромные серо-мглистые, как железнодорожные эллипсы для поездов, мастерские тесно уставлены разными станками, стройно без нот разыгрывающими причудливую инструментовку режущих, строгающих, сверлящих, обтачивающих звуков, которым сверху вторит мягкое шуршанье приводных ремней, маслянистое бесшумное вращенье шкивов и блоков.

Иван Васильевич водит меня по узкому проходу и обстоятельно объясняет устройство станков и частей изготавливаемых тракторов. Но я запоминаю только отдельные технические названия, уловить связь между ними мне так же трудно, как понять одухотворенное целое в этом бездушном сцеплении ритмически движущихся металлических механизмов.

— Станки бывают разные: токарные, зуборезные, строгальные, долбежные, фрезерные... Это вот — револьверный станок, суппорт у него вращается, как барабан у револьвера... Мастер знает, на сколько времени самоход поставлен... Специальности тут разные: токаря, сверловщики, долбильщики, фрезеровщики, зуборезы, станочники, одним словом. В горячих цехах, там — литейщики, вальцовщики, вагранщики, формовщики, шишельники...

С пола убирают осыпавшуюся от станков металлическую стружку. Я хотел ее пощупать и больно, до крови порезал палец.

— Что, кусается? — подмигнул красным глазом Иван Васильевич. — Зловредная стружка, вроде стальной мякины. Я из-за нее целый месяц ходил кривым. И сейчас слеза прошибает... А это сборочная мастер-

ская. Здесь идет сборка тракторов. Вот лобовая часть, внутренняя машинная, шестерня, поршневые стаканы, магнето, коробки скоростей...

Из разрозненных частей на моих глазах собирается новорожденный трактор с заводским тавром над сотами радиатора: лучашейся пятиконечной звездой с инициалами «Ф. П.» — Фордзон Путиловский. Заводной взмах пусковой ручки, и внутри мертвого механизма пробегает между свечами электрическая искра жизни, короткой вспышкой взрывчатой смеси заставляя гулко пульсировать четырехцилиндровое сердце. Новорожденный трактор, как ребенок, пробуящий ползать, медленно перекачивается по полу мастерской, нетерпеливым ревом требуя уже прицепки плугов и тягла пахоты.

— После проверки трактор обязательно идет на испытание, — объясняет Иван Васильевич. — Пробуем его в работе у нас на участке или в совхозе — как пригнаны части, не заедает ли... А потом уже выпускаем с завода.

Раньше отсюда на фронт для уродующих землю воронок лихорадочно выбрасывались батареи пушек, а теперь так же лихорадочно выбрасываются для глубокой колхозной и совхозной вспашки тракторные колонны.

Сборочная мастерская с ее звоном и грохотом раскатывающих по полу тракторов напоминает мне что-то знакомое, близкое... Артельную плужную мастерскую, организованную отцом при ссудо-сберегательном крестьянском товариществе в селе Николаевский Городок, где я родился! Закопченную деревенскую кузницу с горном и дощатый сарай на задах, уставленный новенькими выкрашенными в зеленую, черную и красную краску плугами с зеркальными лемехами и отвалами. И щедушный, весь перепачканный слесарь Парфеныч, бывший политический ссыльный, вечно что-нибудь изобретающий — то какую-нибудь новую систему плуга, то фильтр для дистиллированной воды, водит бородатых степенных крестьян по мастерской и объясняет им устройство плугов...

И вдруг мне представилось, что на сиденье новорожденного трактора «Фордзон Путиловский» за рулевым колесом над крыльями сидит мирской испольщик Семен Палыч и за сцепной серьгой, за ворочающимися

железными шпорами обода тянутся не заводские гладкие темные полы, а широкие бархатно-рыхлые черноземные борозды, пересекающие все намеренные дедом Мироном межи и загоны Непочетовского Дальнего поля. Муругое, из серого булыжника высеченное лицо Семен Палыча, как тогда, на гумне, когда дул ветер-москвич, багровеет костровым отблеском ненастной зари, и я слышу его неторопливый, косноязычно-образный мужицкий говор:

— Все мы можем производить по-нашему, по-крестьянскому, а вот с железом нам трудно... Для чего-нибудь да живет же человек и удумывает, как лучше быть... От мертвой пчелы кануна не будет...

Книги Михаила Зенкевича

ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

- Дикая порфира.— СПб., 1912.
Четырнадцать стихотворений.— Пг., 1918?
Пашня танков.— Саратов, 1921.
Под пароходным носом.— М.—Л., 1926.
Поздний пролет.— М., 1928.
Машинная страда.— М., 1931.
Избранные стихи.— М., 1932.
Избранные стихи.— М., 1933.
Братья Райт.— М., 1933. Серия «Жизнь замечательных людей».
Набор высоты.— М., 1937.
Из американских поэтов.— М., 1946.
Сквозь грозы лет.— М., 1962.
Поэты XX века: Стихи зарубежных поэтов в переводе Мих. Зенкевича.— М., 1965. (Серия «Мастера поэтического перевода»)
Американские поэты в переводах М. Зенкевича.— М., 1969.
Избранное.— М., 1973.

ПРИМЕЧАНИЯ

Книга является первым значительным посмертным изданием произведений Михаила Зенкевича, снабженным примечаниями библиографического и текстологического характера. Предшествовавшие ей публикации в периодике открыли важнейшую часть того, что было создано поэтом и не увидело света при его жизни. Материал, собранный в настоящем издании (в том числе ранее не известный), свидетельствует о достижениях автора за почти семь десятилетий его работы в разных литературных жанрах, прежде всего — в поэзии.

Не представлены в книге «Сказочная эра» и ждут опубликования драматическая поэма М. Зенкевича «Альтиметр» (1919—1921 гг.), драматическая поэма «Торжество авиации» (1930-е гг.), поэма «К Сталинграду от Танненберга» (1943), «малая» проза (рассказы). Также не затронуто его громадное переводческое наследие (за исключением переводов, вошедших в книгу «Дикая порфира»).

Основные трудности при систематизации поэтических и прозаических текстов обусловлены тем, что рукописи М. Зенкевича (автографы, машинопись, наброски, варианты, черновики) сосредоточены как в государственных хранилищах, так и в частных собраниях Москвы, Петербурга и других городов. Эта работа еще далека от завершения, и данная книга, к сожалению, не гарантирована от возможных пробелов.

Тексты публикуются в соответствии с современными грамматическими нормами; в отдельных случаях сохранены орфография и пунктуация, передающие особенности авторской речи и синтаксиса.

Разностороннюю помощь оказали составителю Н. А. Кравченко, И. А. Попов, М. И. Синельников, А. А. Гапоненков, а также сотрудники петербургского Пушкинского Дома и Российской Государственной библиотеки.

Стихотворения

По приблизительным подсчетам, в книге собрано две трети стихотворений, написанных Михаилом Зенкевичем. Они датируются 1906—1969 гг. и составили десять разделов, из которых четыре представляют собой воспроизведенные с сохранением авторской композиции сборники «Дикая порфира», «Пашня танков», «Под мясной багрянницей» и «Со смертью на брудершафт» (два последних не вышли при жизни по-

эта и печатаются впервые). В неполном объеме дан неизданный сборник «Лирика», в основе которого фрагменты поэмы «Альтиметр» (включены также два стихотворения 1918 г.).

Сборники Зенкевича, издававшиеся в советское время, не удовлетворительны и не показательны с точки зрения творческих возможностей автора. Представлять их отдельно нет надобности, таким образом, пять разделов (стихи 1920—1969 гг. и некоторые ранние вещи) построены по хронологическому принципу. Стихотворения, не имеющие точной авторской датировки, помещены в ряду ближайших по времени работ. Угловые скобки указывают на предполагаемые даты написания стихов.

Тексты многих достойных внимания поэтических произведений временно недоступны для составителя и поэтому в книгу не попали.

Условные сокращения

- ГЛМ — фонд М. А. Зенкевича в Государственном литературном музее.
ДП — альманах «День поэзии» (Москва)
И—32 — Зенкевич М. Избранные стихи. М., 1932.
И—33 — Зенкевич М. Избранные стихи. М., 1933.
И—73 — Зенкевич М. Избранное. М., 1973.
ИРЛИ — фонд М. А. Зенкевича в рукописном отделе Института русской литературы (С.-Петербург).
КО — еженедельник «Книжное обозрение» (Москва).
НВ — Зенкевич М. Набор высоты. М., 1937.
ПП — Зенкевич М. Поздний пролет. М., 1928.
ППН — Зенкевич М. Под пароходным носом. М.; Л., 1926.
РГБ — фонд М. А. Зенкевича в Отделе рукописей Российской Государственной библиотеки.
СарИ — газета «Саратовские известия».
СГЛ — Зенкевич М. Сквозь грозы лет. М., 1962.
ЧС — Зенкевич М. Четырнадцать стихотворений. Пг., 1918.

1906—1909

С. 37. Казнь. Впервые — ж. «Жизнь и школа» (Саратов. 1906. № 3) с подписью «Мих. З-ичъ». Одно из первых печатных стихотворений Зенкевича; ранее опубликованы стихи «Башня Вавилона» и «Железный Спрут» (Жизнь и школа,

1906. № 1) с той же подписью. Стихотворение — отклик на расстрел участников Севастопольского восстания 1905 г. во главе с П. Шмидтом на о. Березань. При публикации слово «царь» в 8-й строке было заменено многоточием. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 38. «Нам, привыкшим на оргиях диких, ночных...». Впервые — «Весна: Альманах» (СПб., 1908) вместе со стихотворениями «Я б хотел умереть, точно ястреб степной...» и «Протяжно воют ночные звери...» с подписью «С-вичъ». *Астарта* — богиня любви и плодородия у древних сирийцев. Печатается по тексту первой публикации, как и следующие стихотворения этого раздела.

С. 39. **Бред.** Впервые — ж. «Весна» (1908. № 6).

С. 39. **Крик сычей.** Впервые — ж. «Весна» (1908. № 7).

С. 40. «Мы носим все в душе — сталь и алтарь нарядный...». Впервые — ж. «Образование» (1908. № 8).

С. 41. **Бывают минуты.** Впервые — «Венок: Альманах, под редакцией Н. Г. Шебуева» (М., 1909) с ошибочной подписью «М. Сенкевичъ». *Махают крылами...* — употребительная глагольная форма вплоть до начала XX в.; встречается у А. Белого и др. авторов.

С. 42. «Ты, смеясь, средь суеты блистала...». Впервые — ж. «Современный мир» (1909. № 8).

Дикая порфира

Первый сб. стихов М. Зенкевича; издание петербургского «Цеха поэтов», февраль/март 1912 г., тираж 300 экз. Книга открывается эпиграфом из стихотворения Е. А. Баратынского «Последняя смерть» (1827). В составе книги 53 недатированных стихотворения 1909—1911 гг. и два стихотворных перевода — из Ш. Бодлера и Ш. Леконта де Лиля. Почти все стихи, кроме оговоренных ниже случаев, до выхода книги в периодике не публиковались.

Печатается по первоизданию с восстановлением датировки там, где это возможно.

Композиционный принцип «Дикой порфиры» раскрыт автором в рукописном плане книги «Порфибагр» (см. примечания к разделу «Под мясной багряницей»). Помимо вводного и заключительного стихотворений, стихи «Дикой порфиры» располагались по строгим внутренним циклам:

«Пары сгущая в алый кокон...

I. Материя (с 3-й по 40-ю страницу из сб. «Дикая порфира»).

II. История (с 41-й по 76-ю стр.).

III. Лирика (с 77-й по 99-ю стр.).

IV. Переводы (100, 101, 102, 103-я стр.).

Сумрачный бог». (По автографу в РГБ.)

Поясним: в цикл «Материя» вошли стихи от «Гимнов к материи» до «Мясных рядов» включительно, в цикл «История» — от «Марка Аврелия» до «Зорь», в цикл «Лирика» — от «Как янтарь, золотистые зерна пшеницы...» до «На аэродроме».

Ретроспективный авторский взгляд на «Дикую порфиру» и примыкающие к ней стихи содержится в неопубликованной статье Зенкевича «От автора» (предполагавшемся вступлении к сб. «Сквозь грозы лет»): «Несмотря на незначительный тираж, обычный для поэтических книг того времени, мой первый сборник стихов обратил на себя внимание и получил довольно много отзывов в тогдашних газетах и журналах. <...>

<...> Во многих стихах я старался поэтически выразить научную тематику. В этом сказалось мое юношеское увлечение геологией и естествознанием. Увлеченно, с пылкостью юного воображения писал я лирические стихи об эволюции жизни на земле и об исчезнувших гигантских животных, видя в них предков человека и как бы ощущая их кровь в своих жилах. Так были написаны «Темное родство», «Ящеры», «Махайродусы» и другие «геологические стихи». В «Свершении» представлена фантастическая картина того, что станет с нашей землей, если она, как луна, перестанет вращаться вокруг своей оси; а в стихах о зоологическом музее подчеркивалось «скрытое единство живой души и тупого вещества».

В противовес эстетизму и красавости поэзии того времени я не боялся касаться физиологических основ жизни и смело вводил темы и образы, считавшиеся прозаическими, слишком грубыми, антипоэтическими. Одним из первых таких стихотворений были обратившие на себя внимание «Мясные ряды», за которыми последовали «Свиной колют», «Смерть лося» и другие стихи, такие, как «Посаженный на кол», «Тигр в цирке», «Бык на бойне»... <...> В строках «Мясных рядов» «и чудится, что в золотом эфире и нас, как мясо, вешают весы» уже как бы чувствовалось приближение вскоре наступившей человеческой войны первой мировой империалистической войны. <...>

<...> Другие лирические и пейзажные стихи были связаны со знакомым мне с детства степным пшеничным Поволжьем и Волгой. <...>» (По машинописному оттиску в семейном архиве.)

Необходимо отметить, что при перепечатке некоторых стихотворений «Дикой порфиры» в советское время Зенкевич вынужденно изымал слова, связанные с религиозной символикой. Значительной творческой правке стихи этого сборника не подвергались.

«Дикую порфиру» рецензировали Н. Гумилев (ж. «Апол-

лон. 1912. № 3—4; ж. «Гиперборей». 1912. № 2), Г. Чулков (газ. «Утро России» от 14 апр. 1912), Б. Садовской (ж. «Современник». 1912. № 5), В. Гиппиус (ж. «Новая жизнь». 1912. № 3), М. Чулосов (ж. «Новое слово». 1912. № 6), отзывались в обзорных статьях и книгах В. Брюсов (ж. «Русская мысль» 1912. № 7), Вяч. Иванов (ж. «Труды и дни». 1912. № 4/5), С. Адрианов (ж. «Вестник Европы». 1912. № 7), Иванов-Разумник (ж. «Заветы». 1913. № 1), В. Шершеневич (кн. «Футуризм без маски») и др.

С. 45. **Два полюса.** Впервые — ж. «Аполлон» (1910. № 9) без общего заглавия (оно относилось только к первому стихотворению цикла) и в иной редакции: в стих. «Магнит» 2-я строфа звучала: «Глядят, как шхерами и фьордами // Слагаются, сдвигаясь, льды; // И окровавленными мордами // Мерцают в сумраке воды», 2-я строка 4-й строфы: «Чарует жертв, так нас пьянит»; в стих. «Свершение» 4-я строфа: «Лишь кое-где меж льдами зыбкими, // Пригретые лучом луны, // Мхи, лишая ростками липкими // Вскарabкались на валуны», вместо 5-й строфы шли две следующих: «А над другою половиною — // Сама уже устав пылать — // Томится кладбищем-равниною // Лазури огненная гладь. // Там привиденьями костлявыми // Привстав, бескровные цветки // Впились колючками корявыми // В солончаковые пески», 3-я строка 6-й строфы звучала: «В пластах кусками заскоружлыми».

С. 46. **Танец магнитной иглы.** Эпиграф из стих. Ф. И. Тютчева «Un ciel lourd que la nuit...» (1848). В И—73 1-я строка 9-й строфы изменена: «Но неслышно ворожа тенями».

С. 48. **Земля. Иов** — (в Библии) образ многострадального человека.

С. 49. **Воды. Ксеркс** — персидский царь; возглавляемый им флот был разбит греками в сражении у о. Саламис в 480 г. до н. э. По преданию, Ксеркс в гневе приказал высечь плетью морские волны.

С. 52. **Темное родство.** В И—73 отброшены 7-я и 8-я строфы. Вар-т 6-й строки в ПП: «Зачавшие наш солнцесный род».

С. 53. **Ящеры.** Все последующие перепечатки начиная с ПП — без 5-й и 6-й строф.

С. 54. **Махайродусы.** *Махайродусы* — саблезубые тигры, существовавшие в доисторические времена. *Динотерий* — ископаемое крупное млекопитающее.

С. 55. **Человек. И повелитель Вавилона,** // По воле Бога одичав... — по библейской легенде, вавилонский царь Набуходоносор, сойдя с ума, вообразил, что превратился в быка.

С. 56. **В зоологическом музее.** *Федотов* Георгий Петрович (1886—1951) — философ, публицист, друг и земляк Зенкевича. В ПП и позднее печаталось без посвящения.

С. 57. **Радостный мир.** Эпиграф — фраза «тирс из плоти» (фр.) из стих. Э. Верхарна «Хвала человеческому телу» (пер. Г. Шенгели). *Тирс* — жезл Бахуса, трость, увенчанная сосновой шишкой.

С. 57. **Мясные ряды.** Впервые — «Литературный альманах» (СПб., 1912) без посвящения, так же, как и в И—33. В И—33 1-я строка 5-й строфы изменена: «И мучит мысль: — Ужель с полдненным жаром...»

С. 58. **Марк Аврелий.** *Аврелий Марк* (121—180) — римский император, философ-стоик. Дневник Аврелия «Наедине с собой» был одной из настольных книг Зенкевича. *Маркоманны* — свевское племя в Германии.

С. 59. **Коммод.** *Коммод* — римский император, сын М. Аврелия. *Анубис* — в древнеегип. религии бог в образе шакала или человека с шакальей головой, покровитель умерших. *Лупанар* — публичный дом.

С. 60. **К Агуре-Мазде.** Эпиграф из стих. Вяч. Иванова «Рубин» (цикл «Царство Прозрачности»). *Агура-Мазда* — верховное божество в иранской мифологии, огонь — его видимое проявление. *Агни* — бог у древних индийцев, олицетворение священного огня, имеющего очистительную силу. *...соки сомы молочайной...* — божественный напиток в древнеиндийской мифологии; культ напитка и растения сомы — индоиранского происхождения.

С. 61. **Вавилон.** *Вавилон* — древний город и государство в Азии, у христиан — символ суетного величия. *Бел* — вавилонское божество, создатель небесного мира. *Еремия* — иудейский пророк, пленник Вавилона.

С. 62. **Навуходоносор.** *Навуходоносор* — вавилонский царь (604—561 гг. до н. э.), чье войско дважды осаждало и разрушало Иерусалим. *К жвачным буйволам в пустыню // Бог пастишь меня воззвал* — см. прим. к стих. «Человек». *Иегова* — Бог в иудаизме. *Даниил* — иудейский пророк, пленный Навуходоносором.

С. 64. **Поход Александра в Индию.** Впервые — «Литературный альманах» (СПб., 1912) с заглавием «Поход Александра Македонского в Индию». В ряде источников именуется поэмой. Завоевательный поход Александра Македонского в Индию (326 г. до н. э.) ознаменовался гибелью большинства его воинов на обратном пути в Двуречье и последовавшей через три года смертью самого полководца. *И Пор бежал с нестройным скопом* — Македонский разбил войска царя Пора в битве у реки Гидасп на севере Индии. *Неарх* — начальник флота у Македонского. *Ворота Геркулеса* — две горы у Гибралтарского пролива, на европейском и африканском берегах, бывшие, по представлению древних греков, «краем мира». *Айдес* — подземное царство мертвых в греч. мифологии. *Гефестион* — в греч. мифологии

город на о. Самос, получивший свое название от имени бога Гефеста.

С. 65. **Нити парок.** *Парки* — богини судьбы в древнерим. мифологии. *Аид* — то же, что Айдес.

С. 66. **Тени.** В сонете пересказан эпизод из «Одиссеи» Гомера о путешествии главного героя в царство мертвых для того, чтобы узнать о своей будущей судьбе у слепого прорицателя Тиресия. Тени умерших, в том числе Тиресия, должны были напиться жертвенной крови, чтобы обрести память и способность к общению. *Асфodelи* — дикие тюльпаны, растущие в Аиде.

С. 66. **Двойник.** *Натронные* — нейтронные. *Ха* — бог в древнеегип. мифологии, олицетворение Ливийской пустыни. *Озирисов Лик* — солнце; *Озирис* — бог солнца в древнеегип. мифологии.

С. 67. **Валгалла.** *Валгалла* — в древнескандинав. мифологии дворец верховного божества *Одина*, куда его жрицы *валкирии* (валькирии) переносят души павших в бою героев и где последние продолжают прежнюю героическую жизнь.

С. 70. **Князья.** Впервые — ж. «Новая жизнь» (1911. № 12). *Раки* — гробницы с мощами усопших.

С. 74. **Сумрак аметистов.** Эпиграф из стих. И. Ф. Анненского «Аметисты» (цикл «Трилистник огненный»).

С. 78. «**Пусть ищут мудрецы начало жизни хилой...**» *Короний* — газообразный хим. элемент.

С. 82. **Сон ягуара.** Перевод стих. Шарля-Мари-Рене Леконта де Лиля (1818—1894), главы «парнасской школы» поэзии. *Акажу* — тропич. дерево.

С. 83. **Утренние сумерки.** Перевод стих. франц. поэта Шарля Бодлера (1821—1867).

1912—1914

С. 85. «**Над медвяною усладой...**». Впервые — ж. «Гиперборей» (1912. № 2).

С. 86. **Примирение.** Печатается впервые по авторизованной машинописи (ГЛМ).

С. 86. **Взятие Скутари.** Печатается впервые по корректурному оттиску «Нового журнала для всех» (ГЛМ). *Скутари* (Скадр) — албанский город, занятый в 1913 г. войсками Черногории.

С. 87. **Урожай.** Впервые — ж. «Заветы» (1913. № 5).

С. 88. **Узень.** Впервые — «За 7 дней» (1913. № 24). ...*Узень и Малый и Большой...* — реки на западе Казахстана

С. 88. «**Уже за хищной бороною...**». Впервые — «За 7 дней» (1913. № 25).

С. 89. «**Не впитывая с нежной шеи...**». Впервые — «За 7 дней» (1913. № 27).

С. 89. Поздние подсолнухи. Впервые — «За 7 дней» (1913. № 39).

С. 90. «Крестов позлащенных блистанье...». Впервые — «За 7 дней» (1913. № 45). Как и шесть предыдущих стихотворений, печатается по тексту первой публикации.

С. 90. Берлин перед войной. Впервые — ПП. Шуцман — полицейский в Германии до 1945 г. *Тиргартен* — парк в Берлине. *Бранденбургские ворота* — берлинский памятник архитектуры XVIII в. Зенкевич учился в Берлинском университете в середине 1900-х гг. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

Под мясной багрянницей

Неизданный сб. Зенкевича «Под мясной багрянницей» объединил 63 его стихотворения 1912—1918 гг. Находясь после революции в Саратове, поэт хотел издать «Под мясной багрянницей» и «Дикую порфиру» под общим заглавием «Порфибагр» (авторский неологизм от слов «порфира» и «багрянница») как собрание стихов 1909—1918 гг.

«Порфибагр» анонсировался как уже «готовый для печати» в сб. «Пашня танков» (1921), но так и не увидел света. По свидетельству поэта А. Я. Сергеева, в 1960-х гг. Зенкевич вспоминал о неосуществленном замысле выпустить «большую книгу» стихов после первой мировой войны. Очевидно, что речь шла о кн. «Порфибагр», чей объем приближался к 3 000 строк. Автограф плана этой книги (РГБ) позволил уточнить композицию «Дикой порфиры» (см. примечания) и восстановить структуру обширного самостоятельного сб. «Под мясной багрянницей» в соответствии с волей автора. Авторизованная машинопись этой книги (ГЛМ) с редакторской отметкой «Принято к печати 20.10.1922 г.» — подтверждение того, что поэт также пытался издать ее отдельно в 1922 г. Сб. «Под мясной багрянницей» целиком включает в себя «Четырнадцать стихотворений» (1918). Стихи печатаются с учетом позднейшей авторской правки.

С. 92. «Под мясной багрянницей душой тоскую...». Впервые — ж. «Вечера» (Париж. 1914. № 2). Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 93. Посаженный на кол. Впервые — ж. «Гиперборей» (1912. № 2). Эпиграф из стих. А. С. Пушкина «Стамбул гяуры нынче славят...» (1830). В И—33 без эпиграфа. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 93. Смерть лося. Впервые — ж. «Аполлон» 1913 № 3. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 94. Бык на бойне. Впервые — ж. «Гиперборей» (1913.

№ 9/10) с заглавием «Вечная рифма». В И—33 и позднее с заглавием «Бык на бойне». Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив) Вар-т 23-й строки: «С облупленной шкурой литой огрызок» (ГЛМ).

С. 95. **Свиней колют.** Впервые — ж. «Гиперборей» (1913. № 8). Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 96. **Цветник.** Впервые — ПП. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 97. **Тигр в цирке.** Впервые — ЧС. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 98. **Золотой треугольник.** Впервые ж. «Вечера» (Париж. 1914. № 2) с заглавием «Возвращение». *Беатриче* — возлюбленная Данте Алигьери, адресат его сонетов; популярный поэтич. образ. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 98. **Женщине.** Печатается впервые по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 99. **«Видел я, как от напрягшейся крови...».** Печатается впервые по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 99. **Пять чувств.** Впервые — ж. «Гиперборей» (1913. № 8) с иной 3-й строфой: «Своими тысяченожками норы взрывая, // Ты живешь сонливым подобьем крота, // С тобою одним не страшна мировая, // Комками мечущая икру, темнота». Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив). *Мумму Тиамат* — в вавилоно-ассирийской мифологии существо, олицетворявшее первоначальный хаос, прародительница богов.

С. 100. **Удавочка.** Впервые — ЧС. В И—73 с подзаголовком «Песня столыпинских смертников». Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 101. **Петербургские кошмары.** Впервые КО (1993. № 43) без заглавия. Печатается по автографу (семейный архив); датируется по авторизованной машинописи (ГЛМ).

С. 102. **Ноябрьский день.** Впервые — ж. «Гиперборей» (1912. № 2) с заглавием «День в Петербурге», повторенным в НВ. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив). Вар-т 7-й строки: «Воют, и закат клубится тушью» (ГЛМ).

С. 102. **Грядущий Аполлон.** Впервые — ЧС. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 103. **«Хотелось в безумье, кровавым узлом поцелуя...».** Печатается впервые по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 104. **«Небо, словно чье-то вымя...».** Впервые — ж. «Арион» (1994. № 2). Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

- С. 104. «И у тигра есть камышовое логово...». Впервые — ЧС. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).
- С. 104. «Тягостны бескрасные дни...». Печатается впервые по авторизованной машинописи (семейный архив).
- С. 105. «Безумец! Дни твои убоги...». Впервые — ж. «Гиперборей». (1913. № 8). Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).
- С. 105. «В поднебесье твоего безбурного лица...». Впервые — ж. «Вечера» (Париж. 1914. № 2). Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).
- С. 106. В логовище. Впервые — ж. «Гиперборей» (1913. № 9/10). Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).
- С. 106. **Верхом.** Впервые — «Новый журнал для всех» (1913. № 4). Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).
- С. 107. В дрожках. Впервые — «Новый журнал для всех» (1913. № 5). Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).
- С. 107. **Купанье.** Впервые — ЧС. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).
- С. 108. **Лора.** Впервые — ЧС. В ПП и позднее без заглавия. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).
- С. 109. «Подсолнух поздний догорал в полях...». Впервые — ЧС. Вар-т датировки: «сентябрь 17 г.» Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).
- С. 110. «И смертные счастливыцы припадали...». Печатается впервые по авторизованной машинописи (семейный архив).
- С. 110. «Толпу поклонников, как волны, раздвигая...». Печатается впервые по автографу (РГБ, ф. 784, к. 26, е. 1).
- С. 111. «Вы помните?.. девочка, кусочки сала...». Печатается впервые по автографу (РГБ, ф. 784, к. 26, е. 1). Вар-т 22-й строки: «Прыгает, бьется в решетку ребра» (ГЛМ).
- С. 112. **Наваждение.** Впервые — Зенкевич М. Эльга. (М., 1991). Печатается по автографу (семейный архив).
- С. 112. «За золотую гробовую крышкой...». Печатается впервые по автографу (РГБ).
- С. 113. «В качалке пред огнем сейчас сидела...». Печатается впервые по авторизованной машинописи (семейный архив).
- С. 113. «Ты для меня давно мертва...». Печатается впервые по авторизованной машинописи (семейный архив).
- С. 113. «Земля лучилась, отражая...». Печатается впервые по автографу (РГБ).
- С. 114. «Твой сон передрассветный сладок...». Впервые —

НВ. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 115. **По Кавказу.** Написано во время путешествия по Кавказу весной и летом 1912 г. Заглавие восстановлено по автографу ранней редакции (РГБ, ф. 386, е. 55). Печатается впервые по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 116. **Под ресницей.** Печатается впервые по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 117. **«Золотые реснички сквозят в бирюзу...».** Печатается впервые по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 117. **«Под соснами и в вереске лиловом...».** Печатается впервые по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 118. **«В купоросно-медной тверди...».** Впервые — СарИ (1923. № 1) с заглавием «У водополя». Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 118. **Пригон стада.** Впервые — ПП. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 119. **«Как будто черная волна...».** Впервые — Новый мир. 1991. № 3. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 119. **«Жарким криком почуяв среди сна...».** Печатается впервые по автографу (РГБ, ф. 784, к. 26, е. 1) с учетом второго вар-та автографа (РГБ).

С. 120. **«Уж солнце маревом не мает...».** Впервые — СарИ (1922. № 271). вместе со стих. «На поле около болота...» под общим заглавием «В полях Поволжья». В ПП и позднее оба стих-я с добавлением стих. «В степи» (сб. «Дикая порфира») печатались в виде цикла «В степи». Печатается и датируется по автографу (РГБ).

С. 120. **Утренняя звезда.** Впервые — Обзорение театральной, литературной и художественной жизни Саратова. 1922. № 11. Печатается по тексту первой публикации.

С. 122. **В мае.** Впервые — «Дракон. Альманах стихов» (Пб., 1921). *Гелиос* — бог солнца в древнегреч. мифологии. *Ра* — бог солнца в древнеегип. мифологии. *Даждь* — «дай» (старославян.). Печатается по авторизованной машинописи (ГЛМ).

С. 122. **«На поле около болота...».** См. примечание к стих. «Уж солнце маревом не мает...» Печатается и датируется по автографу (РГБ).

С. 123. **Голос осени.** Печатается впервые по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 124. **Встреча осени.** Впервые — «Дракон. Альманах стихов» (Пб., 1921). *И Микулиной силушке...* — Микула Селянинович — богатырь-пахарь, былинный герой. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 125. **Зимовье ворона.** Впервые — «Сирена» (Воронеж. 1919. № 4/5). Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 126. **Поздний пролет.** Впервые — Художественный Саратов. 1922. № 1. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 127. **Проводы солнца.** Впервые — «Тринадцать поэтов» (Пг., 1917) и ЧС. Брат поэта С. А. Зенкевич (1888—1915), студент-математик Московского университета, поступил добровольцем в артиллерию в 1914 г., был награжден Георгиевским крестом и произведен в прапорщики, погиб в Волынской губ. *Косырь* — большой нож с толстым широким лезвием. ...*с твердыни трахитовой...* — *трахиты* — горная порода вулканического происхождения. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив). В ПП и позднее без 10-й строфы.

С. 128. **Травля.** Впервые — ЧС. *Донец* — лошадь донской породы. *Аралник* — охотничья плеть.

С. 129. **В алом платке.** Впервые — ЧС. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 130. **Мертвая петля.** Впервые — ЧС. *Пегу Шарль* — фр. поэт и авиатор, погиб на фронте. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 130. **Мамонт.** Впервые — ЧС. *Кила* — просторечное название грыжи. *Нарвалы* — гигантские морские млекопитающие. В ПП и позднее без 2-й строфы. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 132. **Сибирь.** Впервые — ЧС. *Бруни Лев Александрович* (1894—1948) встречался с поэтом в Петербурге (портрет Зенкевича его работы воспроизведен в кн.: *Мандельштам О. Камень.* Л., Наука, 1990). В ПП и позднее без посвящения и строк 41—44. *Плезиозавры* — крупные ископаемые морские пресмыкающиеся. *Баторий Стефан* (1533—1586) — польский король и полководец. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 133. **Россия в 1917 г.** Впервые — ЧС с заглавием «Россия». *Верши* — плетеные рыболовные снасти. *Бунчук* — короткое древко с привязанным конским хвостом. *Тамерлан* — среднеазиатский властитель и завоеватель. Печатается по тексту первой публикации.

С. 135. **Порфибагр.** Впервые — сб. «Пашня танков» (1921). *Порфибагр* — неологизм Зенкевича, перекликающийся с именем *Порфириона*, одного из гигантов в греч. мифологии. ...*пригвожденный на гелиометре...* — *гелиометр* — астрономический прибор. *Под дремлющей Этной...* — *Этна* — вулкан на Сицилии. *Тартар* — подземное царство мертвых в греч. мифологии. Печатается по тексту первой публикации.

С. 137. **Смерть авиатора.** Впервые — «Цех поэтов» (Пг., 1922, кн. 3) с иной 7-й строкой: «От ужаса в сладострастье

бедрами и боками». Вар-т датировки: апрель 1919 (по автографу в РГБ, ф. 784, к. 26, е. 1). *Альтиметр* — высотомер. *Скала* — измерительная шкала в физ. приборах; показатель твердости материалов; здесь: высшая степень.

Из книги «Лирика»

Сб. Зенкевича «Лирика» намечался к выходу в 1921 или 1922 г. В сб. «Пашня танков» (1921) «Лирика» фигурирует в числе книг поэта: «ЛИРИКА. 1921. Текст и рисунки гравировал худ. Ал. Кравченко». А в анонимной заметке «Гравюры Кравченко» (Художественный Саратов, № 4, 19—24 декабря 1922 г.) читаем: «Возможно, что скоро мы дождемся и «Лирики» М. Зенкевича, богато украшенной графикой того же мастера». Находясь на заключительной стадии издания, «Лирика» не увидела света по неизвестной причине. В ее основе — лирические фрагменты неопубликованной драматической поэмы «Альтиметр», создававшейся в Саратове в 1919—1921 гг., и некоторые другие стихи этого периода. Структура и точный состав сборника неизвестны. В фонде М. А. Зенкевича в Государственном Литературном музее (Москва) и в архиве семьи художника А. И. Кравченко хранятся оттиски некоторых гравюр-иллюстраций к сборнику. В виде гравированного текста дошли стихотворения «Я жду той полночи солнечно-золотой...», «Отчего ты с утра оделась в траур?..», «И я и ястреб распластан...», «Какая пустота охватила меня...», «Лотерея гильотины», «О, ревность, ревность! Одной ее капли...» — все в неполных вариантах, а также фрагмент стих. «Стакан шрапнели» (включенного автором и в сб. «Пашня танков») и отрывок неустановленного стихотворения «О огнесмерти огнесмерчь...» Нумерация этих разрозненных страниц отсутствует; таким образом, расположение стихов в нашем издании — произвольное. Полный текст стихотворений «Лотерея гильотины», «Какая пустота охватила меня...» и «О, не сияй так, Луна! Луна!» (примыкающего к корпусу «Лирики») доступен по публикациям в периодике.

С. 138. «Эх, если бы украсть тебя от мужа...». Печатается впервые по авториз. машинописи (ГЛМ).

С. 139. «Свершилось предрешенное. И вот...». Печатается впервые по авториз. машинописи (ГЛМ).

С. 140. «Я жду той полночи солнечно-золотой...». Печатается впервые по неполному гравированному тексту (архив семьи А. Кравченко). *Махаон* — крупная дневная бабочка желтого цвета с черным рисунком и голубоватыми пятнами.

С. 140. «О, не сияй так, Луна! Луна!..». Впервые — «Культура. Журнал науки и искусства» (Саратов. 1922. № 1). *Актеон* — в древнерим. мифологии охотник, увидевший боги-

ню охоты Диану нагой во время купания и превращенный ею в оленя. Сюжет стихотворения основан на мифе о Диане и Актеоне. Печатается по авторизованной машинописи (РГБ) с учетом текста первой публикации.

С. 141. **Лотерея гильотины.** Впервые — «Художественный Саратов» (1922. № 4). Фрагмент гравированного текста (архив семьи А. Кравченко) в иной редакции: 19-я строка: «Кровь с косыря отсыревшего льет», 22-я строка пропущена, 25-я строка: «Эй граждане, кому нужно голов голье», 26—27-я строки: «Двух любовников, выигравших любовь». Герои стихотворения — фр. король Людовик XVI и его жена Мария Антуанетта, казненные по решению революционного Конвента в 1793 г. Печатается по тексту первой публикации.

С. 142. **«И я и ястреб распластан...».** Печатается впервые по неполному гравированному тексту (архив семьи А. Кравченко) и авторизованной машинописи первых двадцати четырех строк (РГБ).

С. 143. **«Отчего ты с утра оделась в траур?..».** Печатается впервые по неполному гравированному тексту (архив семьи А. Кравченко).

С. 143. **«О, ревность, ревность! Одной ее капли...».** Печатается впервые по фрагменту гравированного текста (архив семьи А. Кравченко).

С. 144. **«Какая пустота охватила меня...».** Впервые — «Культура. Журнал науки и искусства» (Саратов. 1922. № 1). *Тралеры* — (тральщики) — военные корабли, предназначенные для обнаружения мин. Печатается по тексту первой публикации с учетом фрагмента гравированного текста (архив семьи А. Кравченко).

Пашня танков

Третий (из числа изданных) сб. стихов Зенкевича; издание «Саррабиса» (Саратов, 1921, тираж 2 000 экз.). Обложка работы художника Б. А. Зенкевича. В составе сборника 10 недатированных (за исключением стих. «Порфибагр») стихотворений. Большинство стихов до появления в сборнике не публиковалось в периодике. Предположительно, «Пашня танков» представляет стихи 1917—1918 гг.

Печатается по первоизданию с восстановлением датировки там, где это возможно.

«Пашню танков» рецензировали А. Мухарева (ж. «Саррабис». 1921. № 3), С. Городецкий (ж. «Красная новь». 1921 № 4), С. Нельдихен (кн. «Цех поэтов», Пг., 1922, кн. 3), отзывы вались в статьях о поэзии Зенкевича Д. Усов (ж. «Саррабис». 1921. № 3), И. Поступальский (критико-библиографич. бюллетень «Художественная литература». 1934. № 4) и др.

С. 145. *Хоры. Привады* — корма для приманки животных. *Мумму Тиамат* — см. прим. к стих. «Пять чувств» (сб. «Под мясной багряницей»). *Элизиум* — в античной мифологии поле на западном конце земли, где люди живут без труда, в блаженстве.

С. 146. *Пашня танков*. Впервые — «Альманах Цеха поэтов» (Пг., 1921, кн. 2). В ПП и позднее с разночтениями. Вар-т датировки: 1917 (ПП). *Плащицы* — вши.

С. 148. *Голод дредноутов*. Вар-т датировки: 1918 (от руки на печатном оттиске, РГБ). *Дредноуты* — большие корабли-броненосцы. *Ихтиозавры* — крупные ископаемые морские пресмыкающиеся. ...*крупповской брони...* — *Крупп* — фамилия нем. сталелитейных заводчиков. *Битти*, сэр Дэвид — адмирал британского флота, разгромивший германскую эскадру в Северном море 24 янв. 1915 г.

С. 149. *Страда пехоты*. Вар-т датировки: 1917 (от руки на корректурном оттиске, РГБ). *Пироксилиновых роз...* — *пироксилин* — взрывчатое вещество.

С. 150. *Стакан шрапнели*. Стихотворение автор предполагал включить в сб. «Лирика» (см. прим.). Посвящено памяти брата — см. прим. к стих. «Проводы солнца» (сб. «Под мясной багряницей»).

С. 151. *Авиареквием. Латам, Гвинемер, Леганье, Пегу* — франц. авиаторы начала 20 в. *Нестерев* (Нестеров) — один из первых русских летчиков, погиб на фронте первой мировой. *Шавез* — город в Португалии.

С. 153. *Альтиметр. Терция* — шестидесятая доля секунды.

Со смертью на брудершафт

Сб. стихов Зенкевича «Со смертью на брудершафт» готовился к изданию и дополнялся автором в течение трех лет (1922—1924). Один из его вариантов (очевидно, первоначальный) в 1922 г. был принят в издательстве «Круг» (Москва) и неоднократно анонсирован автором в периодике. Ни этот, ни другие варианты не были изданы и не сохранились. В нашем издании за основу взята итоговая авторизованная машинопись и план сб. «Со смертью на брудершафт» (ОР РГБ, ф. 81, ГАИС, р. II, папка XII, е. 222). План включает 23 стихотворения 1916—1924 гг. с их разбивкой на циклы; машинопись содержит тексты 20 недатированных стихотворений с незначительными авторскими пометами. Отсутствующие тексты — «Бухгалтерская баллада» и «Чапаевские поминки» — восстановлены по другим источникам. Текст стих. «Гарнсей» в цикле «Трансокеанская тоска» не обнаружен.

«Смягченным», подцензурным вариантом этого сборника стала книга Зенкевича «Под пароходным носом» (М.; Л.:

Узел, 1926), однако в ней нет разделения на циклы и отсутствуют наиболее интересные стихи сб. «Со смертью на брудершaft», так и не опубликованные при жизни автора.

С. 154. **Стакан шrapнели.** Впервые — ППН без заглавия. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 155. **Нокаут.** Впервые — «Новый художественный Саратов» (1923. № 12). *Демпси, Батлинг Сики, Карпантие* — известные боксеры первой трети XX в. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 155. **Бухгалтерская баллада.** Впервые — ППН. Печатается по авторизованной машинописи (РГБ).

С. 157. **Бессонница.** Печатается впервые по итоговой авторизованной машинописи сб. «Со смертью на брудершaft».

С. 158. **Гибель дирижабля «Диксмюде».** Впервые — ж. «Воздухоплавание» (1925. № 1) с иной финальной строкой: «Выплыл из кругов огненных в даль» (опечатка?). Вар-т датировки: 1923 (авторизованная машинопись, семейный архив). «Диксмюде» — фр. дирижабль, вылетел 18 декабря 1923 г. из окрестностей Тулона в Сев. Африку, был поражен молнией и сгорел 22 декабря. Печатается по итоговой авторизованной машинописи сб. «Со смертью на брудершaft».

С. 160. II. **Голоса на рассвете.** Эпиграф из стих. «Суд над революцией» в кн.: *Гюго В.* Май 1871 года/Перевод Мих. Зенкевича. М., 1923.

С. 160. **Предрассветные голоса.** Печатается впервые по итоговой авторизованной машинописи сб. «Со смертью на брудершaft».

С. 161. **Царская ставка.** Печатается впервые по итоговой авторизованной машинописи сб. «Со смертью на брудершaft».

С. 163. **Чапаевские поминки.** Впервые — «Стык. Первый сб. стихов моск. Цеха поэтов» (М., 1925). Вар-т датировки: 1919 (авторизованная машинопись, РГБ). Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 164. **Поволжье.** Впервые — СарИ (1922. № 184) с заглавием «Воскресающее Поволжье». В ПП и позднее — в сокращенной редакции в составе цикла «Поволжье после голода» (1922). Печатается по итоговой авторизованной машинописи сб. «Со смертью на брудершaft».

С. 164. **Сирены.** Впервые — ППН без заглавия. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 165. «**В безвременье времени турбины воли...**». Впервые — ППН. Печатается по тексту первой публикации.

С. 165. «**О, тихоокеанский мертвый штиль...**». Печатается впервые по итоговой авторизованной машинописи сб. «Со смертью на брудершaft».

С. 166. У элеватора. Впервые — Огонек. 1923. № 28. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 167. На «Титанике». Впервые — «Завтра. Лит.-критич. сб. под редакцией Е. Замятина, М. Кузмина и М. Лозинского» (Берлин, 1923) и ППН. *Эпитрахиль* — часть облачения православ. священника. *Евхаристия* — причащение, одно из семи таинств в Православ. Церкви. *Потир* — чаша для причастия. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 169. IV. В белых балахонах. Впервые в виде цикла — ППН с заглавием «Крещенское купанье». Стихотворения также печатались по отдельности.

С. 169. «В балахонах белых в ночь такую...». С. 170. «Что они ноют томительным стоном...». Печатаются по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 170. «Дороги, какой поживы ища...». Печатается по итоговой авторизованной машинописи сб. «Со смертью на брудершфат».

С. 171. «Налажены лыжи, и узлом сухожилий...». Впервые — СарИ (1923. № 5) с заглавием «По снегу». *Бур* — платформа на стальных полозьях, приспособленная для передвижения по льду под парусами. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 171. «Поцелуй на морозе. Осмелься попробуй!...». Печатается по итоговой авторизованной машинописи сб. «Со смертью на брудершфат».

С. 172. Крещенское купанье. *Налой* — стол в православ. храме, на который при богослужении кладутся Евангелие, крест и иконы. *Майна* — полынья больших размеров. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 173. Пушкин. Впервые — «Стык. Первый сб. стихов моск. Цеха поэтов» (М., 1925) и ППН без эпитафии. Вар-ты финальной строки: «Мы и в хаосе дышим им» («Стык»), «Ритмов дерзостных дышим им!» (НВ), «Мы и в радости дышим им!» (СГЛ). Печатается по итоговой авторизованной машинописи сб. «Со смертью на брудершфат» (вторая строка — по СГЛ).

1920—1941

С. 174. «На журавле в колодец неба...». Печатается впервые по автографу (ИРЛИ).

С. 174. «Нега снегов. Не с ума схожу ли?...». Впервые — газ. «Домашнее чтение» (1994. № 7). Печатается по автографу (ИРЛИ).

С. 175. Водосвятыя Распутина. *Аквариум* — театр и сад на Каменноостровском просп. в Петербурге. *Вилла Родэ* —

отель у Строгонова моста в Петербурге, место кутежей Распутина. *Вырубова А. А.* — фрейлина императрицы Александры Федоровны, покровительствовавшая Распутину. Начало работы над стихотворением относится к декабрю 1916 г. — времени убийства Распутина в Петрограде. Печатается впервые по автографу (ИРЛИ).

С. 176. «И проклятой, и окаянной...». Впервые — «Еженедельник литературы, искусства и науки» (Казань. 1923. № 9) с заглавием «Возрождение исполина». Печатается по: Огонек. 1923. № 38.

С. 177. *Курская руда*. Впервые — Огонек (1923. № 9) с иной 16-й строкой: «Вытек в глазницах шахтенных ям!» *Буйтур Всеволод* — князь Всеволод Трубчевский, боровшийся с половцами. *Не век же размыкивать Игоря горе...* — князь Игорь Новгородский, брат Всеволода, был разбит половцами на берегу Дона. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 177. *Баллада о безногом рояле*. Впервые — И—33. Вар-т датировки: 1925 (экз. авторизованной машинописи РГБ с припиской Зенкевича: «Такую брошенную полуразрушенную виллу я видел в Крыму в 1925 г. — вечером на прогулке я один вошел в пробитый зал небольшой и увидел безногий рояль — баллада написана «с чужого голоса» — от лица кого-то, бывшего здесь... Надо бы вкратце написать такое вступление к этой «балладе». М. З. 1966 г.). Там же начальная строфа, отброшенная автором при публикации: «Как мускат, прозрачная и золотая, // Вероломная осень в Крыму // Бронзой выдубит кожу, латая // Легких больных бахрому». Печатается по тексту первой публикации.

С. 179. *Паводок на Москва-реке*. Впервые — ПП. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 180. «О, сколько б ни было вам весен...». Впервые — ПП. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 180. *Пять декабристов*. Впервые — Новый мир. 1925. № 12. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив). С. 183. *Пестель*. 4-я строка в первой публикации: «Не выдержит царь на допросе». *Ализарин* — краситель, применяемый для окрашивания ткани в красный цвет. *Рассвет жавеловым листом...* — *жавель* — раствор, обесцвечивающий ткань.

С. 184. *Лунная соната*. Впервые — ПНН. *Муций Сцевола* — молодой римлянин, плененный этрусками и сжегший на огне свою руку в знак презрения к ожидавшим его пыткам. Печатается по тексту первой публикации.

С. 185. *Старая Москва*. Впервые в виде цикла — НВ. *Штукатур*. Впервые — Красная нива. 1929. № 47. С. 185. *Угольщик*. Впервые — Красная нива. 1929. № 49. *Ектенья* —

православ. молитва. С. 186. **Шофер от Страстного.** *Страстной* — монастырь в Москве, снесенный в 1938 г. Печатаются по НВ.

С. 188. **Ноябрь.** Впервые — И—33 со 2-й, впоследствии снятой строфой:

С дождем мешая мокрый снег
И ветер повернув на запад,
Ты вдруг напомнишь о весне
И март начнет бурлить и капать.
Закатной меди трубный вой
К октябрьским торжествам готовя,
Кроншь ты облаков шитво
В полотнища огня и крови.
Так выпей же в последний раз,
Льдом леденцовым их лелея,
Дыханье ливадийских роз
У ленинского мавзолея...
Пусть хвоя вместо них, но я
Хочу тех роз, Ноябрь!

Печатается по НВ.

С. 189. **Отходная из стихов.** Впервые — ПП. *Силен* — воспитатель и постоянный спутник Вакха, бога вина и веселья в греч. мифологии. *Верлен Поль* (1844—1896) — фр. поэт, друг Артюра Рембо (1854—1891), в одной из ссор ранивший его выстрелом из револьвера. Рембо бросил писать стихи в возрасте 22 лет. Поводом к написанию стихотворения стало временное (в 1920-х гг.) «отречение» от поэзии акменста Владимира *Нарбуга* (1888—1938), многолетнего товарища Зенкевича. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 190. **В сумерках.** Впервые — ПП. В И—33 без заглавия. Вар-т финальной строки в И—73: «Оброненное: «Его здесь больше нет...» Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 191. **Теплушки с быками.** Впервые — ПП. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 192. **Возка снопов.** Впервые — Красная нива. 1927. № 35. *Как мельничные грохота... — грохот* — проволочное решето для очистки зерна. *Одонья* — круглые клады сена, снопы хлеба. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 193. **Сев озимых.** Впервые — ПП. *...по увалам шимана... — шиман* — бугор. *Леха* — борозда (в говоре Саратовской губернии). Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 193. **На Волхове.** Впервые — ПП. *Волхов* — река на северо-западе России. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 195. **Штиль**. Впервые — ПП с иной финальной строкой: «Утопленника малосольный труп». Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 196. **Орел на бронзе**. Впервые — ПП. *Яйла* — плоскогорье в Крыму. *Мясопуст* — день, в который церковь запрещается есть мясо. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 197. **Пловец**. Впервые — ПП. *Навзикая* — в греч. мифологии фракийская царица. Гомер в «Одиссее» описывает устроенную богиней Афиной встречу Навзикаей и Одиссея на морском берегу. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 198. **На Яйле**. Впервые — ПП с иной 8-й строкой: «Яйлы акрополь из известняка». *Язон* — (греч. миф.) во главе аргонавтов предпринял поход в Колхиду за золотым руном, которое и добыл с помощью Медеи, дочери царя Колхиды. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 198. **Мухалатка**. Впервые — ПП. *Мухалатка* — поселок на южном побережье Крыма. *Мажара* — телега. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 200. **Рассвет на Мясницкой**. Впервые в виде цикла — И—33. Зенкевич жил на ул. Мясницкой в Москве между 1923 и 1927 гг. С. 200. I. «Три часа. Проснулся, когда не надо...». Впервые — ПП с заглавием «Рассвет на Мясницкой». С. 201. II. «Как они упрямы!...». Впервые — ПП. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 202. **Первый трамвай**. Впервые — ПП. *Вабило* — приманка для ловчей птицы. Печатается по тексту первой публикации.

С. 203. **Стих Гафиза на ризе**. Впервые — И—33. *Гафиз* (ок. 1325—1389) — персидский поэт, родился в г. Ширазе на юге Ирана. *Фелонь* — риза. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 204. «**Подавившись обручком дубового пня...**». Печатается впервые по черновому автографу (РГБ).

С. 205. «**Сгустился воздух, как вода...**». Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 205. «**В полях бывает лишь такая...**». Печатается впервые по автографу (ИРЛИ).

С. 206. «**Богиня к смертному на ложе...**». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 206. **Шторм**. Печатается по тексту первой публикации — Звезда. 1930. № 3. *Наяды* — нимфы вод в греч. мифологии.

С. 206. **Кавказской ночью**. Впервые — Новый мир (1930. № 4) с заглавием «Ночь под буркой». Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

зованной машинописи (семейный архив). С. 207. II. «**Взамен светляков сверкают поодаль...**». *Бестужев-Марлинский А. А.* (1797—1837) — писатель-декабрист. *Газыри* — у горцев футляры для патронов на одежде по обеим сторонам груди. *Бешимет* — верхняя одежда у народов Кавказа.

С. 208. **Без солнца.** Впервые — КО. 1993. № 43. Печатается по автографу (ИРЛИ).

С. 209. **И улетели б соловьи...**. Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 211. Из поэмы «**Машинная страда**». Поэма «Машинная страда» (цикл из 16 стихотворений) вышла отдельным изданием в 1931 г. Ее фрагменты также напечатаны в ж. «Новый мир» (1931. № 6), в И—32 и всех последующих сборниках Зенкевича. С. 211. **Заволжье.** Впервые — «Машинная страда» (М., 1931). С. 211. **Машинная страда.** Впервые — «Машинная страда» (М., 1931). Три финальные строфы в виде самостоятельного стихотворения в И—73. С. 212. **Волчиха воеет на луну.** Впервые — Новый мир. 1931. № 6. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 214. **В такую ночь.** Впервые — НВ. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив), датируется по автографу (РГБ).

С. 216. **«Но как бы ни был ствол коряв...».** Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 216. **Огородный сказ с Болота.** Впервые — Красная новь. 1934. № 4. *Разин* Степан — предводитель крестьянской войны 1670—1671 гг., казнен на Красной площади в Москве. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив). Вар-т датировки: сентябрь 1931 (автограф, РГБ).

С. 219. **«Боем Спасских часов насквозь...».** Отрывок, примыкающий к предыдущему стихотворению, печатается впервые по черновому автографу (РГБ).

С. 220. **Донор.** Вар-т заглавия: «Ночной посетитель». Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 223. **У оконной проруби.** Впервые — НВ. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 225. **Вахш.** Впервые — Вечерняя Москва. 17 июля 1934. *Вахш* и *Пяндж* — реки в Таджикистане. *Дойра* — вид бубна, распространенный в Ср. Азии. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 227. **Танец под дойру.** Впервые — Красная новь. 1935. № 1. *Камча* — кнут, нагайка. *Сюзане* — вышитая узорами ткань, настенное украшение. *Гиджак* — узб. народный смычковый муз. инструмент. *Най* — узб. народный муз. инструмент типа флейты. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 230. **Самсонов день.** Печатается впервые по авторизо-

ванной машинописи (РГБ). *Самсон* — библейский богатырь, открывший красавице *Далиле* секрет своей необыкновенной силы и преданный ею врагам.

С. 232. **С оказией на Кавказе.** Впервые — Красная новь. 1935. № 12. *Швальня* — портняжная мастерская. *Буза* — легкий хмельной напиток. *Айран* — молочный напиток. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 237. **Дорожное.** Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 237. **Наперекор.** В виде цикла печатается впервые. С. 237. I. «Полынем побаловой...». Печатается впервые по автографу (РГБ). С. 238. II. **За солнцем.** Впервые — НВ с заглавием «Наперекор». Печатается по автографу (ОР РГБ, ф. 784).

С. 239. **Добывание Огня.** Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 240. «**Полет любви, он невысок...**». Печатается впервые по автографу (РГБ). *Андромеда* — в древнегреч. мифологии дочь эфиопского царя, спасенная Персеем от морского чудовища.

С. 240. «**Стою один на месте том...**». Печатается впервые по автографу (ИРЛИ). *Шавро* (шевро) — мягкая кожа, идущая на изготовление обуви.

С. 241. **Вино поэзии.** Впервые — КО. 1993. № 43. Печатается по черновому автографу (ИРЛИ).

С. 242. «**Искусства участь нелегка...**». Печатается впервые по черновому автографу (РГБ).

С. 243. **Разговор о поэзии.** Впервые — ДП (1967) без заглавия. *Оптина* пустынь — мужской монастырь вблизи г. Козельска. Заглавие восстановлено по черновому автографу (РГБ). Печатается по тексту первой публикации.

С. 243. **Парикмахерская баллада.** Впервые — СГЛ. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 246. **Морошка.** Впервые — «Русская советская поэзия» (М., 1948). Вар-т датировки: 23 декабря 1939 (авториз. машинопись, РГБ). *Понёва* — домотканая шерстяная юбка. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 248. «**Облачные сердолики...**». Впервые — газ. «Домашнее чтение» (1994. № 7). Печатается по автографу (ИРЛИ).

С. 249. **На Медвежьей горе.** Печатается впервые по автографу (РГБ). Написано после поездки в Мурманск и Мурманскую область летом 1938 г.

С. 250. «**Под солнцем тучка сушит кисею...**». Впервые — Новый мир. 1991. № 3. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 250. «**Все это было миллионы раз...**». Впервые — газ. «Домашнее чтение» (1994. № 7). Печатается по автографу (ИРЛИ).

С. 251. «В сознание сияет она, внушая...». Печатается впервые по авторизованной машинописи (ИРЛИ).

С. 251. «Хочу тебе сказать...». Впервые — газ. «Домашнее чтение» (1994. № 7). Печатается по автографу (семейный архив).

С. 252. «Головок детских ласково касаясь...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 252. «Какая тьма! Нигде просвета нет...». Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 253. «Жизнь моя, как летопись, загублена...». Впервые — *Ахматова. А. Requiem*. М., 1989. Посвящено В. Нарбуту (см. примечание к «Отходной из стихов»). Первая строфа — измененные начальные строки стих. Нарбута «Совесть» (1919): «Жизнь моя, как летопись, загублена, // кино-варь не вьется по письму. // Я и сам не знаю, почему // мне рука вторая не отрублена». В 1918 г. Нарбут был ранен в левую руку при вооруженном нападении; кисть руки ампутировали. *Если жизнь прошел ты от Цека // По этапам топким до концлагеря!* — в 1920-х гг. Нарбут работал в отделе печати ЦК ВКП(б), в 1928 исключен из партии, а в 1936 арестован и осужден на 5 лет лагерей. *Оседедец* — прядь волос, оставляемая казаками на бритой голове. ...с поэтом тезкою... — имеется в виду В. Маяковский. *Скорбут* — цинга. *Чтоб в глаза звездой могли уставиться // Два ответных ласковых луча.* — Нарбут, уезжающий в ссылку, и его жена условились ежевечерне в одно и то же время смотреть на одну звезду в надежде «встретиться» взглядами. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 255. *Над Северным морем*. Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 255. «Все прошлое нам кажется лишь сном...». Впервые — КО. 1933. № 43. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 256. «Поэт, бедняга, пыжится...». Печатается впервые по автографу (семейный архив). Вар-т 3-й строки: «Пускай еще попыжится».

С. 256. «Который год мечтаю втихомолку...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 256. *Теорема*. Впервые — газ. «Домашнее чтение» (1994. № 7). Печатается по автографу (ИРЛИ).

С. 257. «Поэт, зачем ты старое вино...». «*Песнь песней*» — фрагмент (поэма) Ветхого Завета любовно-эротич. хар-ра. *Экклезиаст* — (Екклесиаст) одно из произведений Ветхого Завета. Печатается впервые по автографу (ИРЛИ).

С. 258. **Южная красавица.** Впервые — СГЛ. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 259. **«Вот она, Татарская Россия...».** Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 260. **Прощание.** Впервые — СГЛ. Семья поэта эвакуировалась в г. Чистополь на Каме в июле 1941 г.; сам он жил там с октября по декабрь того же года до вызова в Москву Политуправлением Красной Армии. При публикации автором снята предпоследняя строфа начального вар-та: «С запада над тучей темной, // Как сияющее «да», // Излучала свет заемный // Новогодняя звезда». Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 262. **«Просторны, как небо...».** Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 263. **«Начитавшись сообщений о боевых действиях...».** Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 263. **У двух проталин.** Впервые — КО (1991. № 46) без заглавия. Вар-ты 13-й строки: «И троекратно расцеловались», «И троекратно поцеловались». Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 264. **«Землю делите на части...».** Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 265. **Расставание.** Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 266. **Волжская.** Впервые — СГЛ с иной 21-й строкой: «Видно, кровушки немецкой Волге-матушке испить». Печатается по И—73.

С. 267. **На передовых.** Впервые — СГЛ. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 270. **На учете Военмора.** Печатается впервые по автографу (РГБ). *Военмор* — Военно-морское ведомство.

С. 270. **Поэту.** Вар-т 12-й строки: «Прокрадывался Пушкин боком, краем». Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 271. **«Вороны кружат и кричат с утра...».** Печатается впервые по автографу (РГБ). Вар-т 3-й строки 5-й строфы: «Не так уж плохо дело твое».

С. 272. **«Как странно, что сверчок запел за печкой...».** Обращено к семье поэта, находившего в эвакуации. Печатается впервые по автографу с правкой автора (РГБ).

С. 273. **Ночной музыкант.** Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 274. **«Сегодня по-каспийски зелена...».** Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 274. **«Иди потише...».** Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 275. **«К тебе тянусь губами в темноте...».** Печатается

впервые по автографу (ИРЛИ). Обращено к жене поэта — Александре Николаевне Зенкевич. Посылая ей эти стихи в Чистополь из Москвы, Зенкевич писал: «Хочется сказать тебе что-нибудь ласковое настоящее, но в письме это трудно. Напишу лучше лирический отрывок к тебе — пришел он в голову ночью и я его набросал. <...> Стихи не первоклассные, но зато искренние и обращены к тебе — а это главное» (письмо в семейном архиве).

С. 276. «**Баратынский... Сумрачный...**». Печатается впервые по автографу (ИРЛИ). *Руны* — древнескандинав. письмены, которым приписывалось мистическое значение.

С. 277. «**Нелепая, она всю ночь над нами...**». Печатается впервые по автографу (ИРЛИ).

С. 277. **Дуб**. Печатается впервые по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 278. **Всадник по буркой**. Впервые — СГЛ с иной 1-й строкой 8-й строфы: «Эх, сильно мы фашистов рубанули». Вар-т заглавия «Атака». Печатается по И—73.

С. 279. **Три артиллериста**. Печатается впервые по авторизованной машинописи (семейный архив). Посвящено памяти С. А. Зенкевича — см. примечание к стих. «Проводы солнца» (сб. «Под мясной багряницей»).

С. 281. **Весеннее наступление**. Впервые — ж. «Огонек» (1944. № 16) в иной редакции. *Утренник* — весенний мороз. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 282. **В половодье**. Впервые — ДП 1972 и И—73 с неверной датировкой и разночтениями. *Осокорь* — дерево, родственное тополю. Печатается по авторизованной машинописи, датируется по автографу (семейный архив).

С. 284. «**Парк золотел в огне листвы...**». Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 285. **Золотая прядь**. Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 286. **Ивану Никаноровичу Розанову**. Печатается впервые по автографу (ИРЛИ). *Розанов И. Н.* (1874—1959) — литературовед и библиофил.

С. 287. **Дальняя дорога**. Впервые — СГЛ. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 288. **Под лед**. Впервые — СГЛ. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 289. **Негритянка**. Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 291. **Шагни**. Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 291. **Найденыш**. Впервые — Октябрь. 1955. № 11. Датируется по автографу (Рос. Гос. архив лит-ры и иск-ва — РГАЛИ); там же начальный вар-т заключит. строк: «Былое поросло быльем, // Как дальняя сторонushка. // По-но-

вому мы заживем, // Вот наша дочь — Аленушка! // С тобою темной ноченькой // Сдружим сыночка с доченькой». Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

1946—1969

С. 293. «Холопство вотчиной досталось...». Печатается впервые по автографу (РГБ).

С. 293. Основатель Москвы. Впервые — СГЛ. Датируется по черновому автографу, печатается по авторизованной машинописи (семейный архив). Вар-т заглавия: «Москва».

С. 295. Прогульщик. Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 296. Живой роман. Печатается по автографу (семейный архив). Впервые — ж. «Арион» (1994. № 2).

С. 296. Прием поэта. Впервые — СГЛ. В основе стихотворения реальное событие — посещение К. К. *Случевского* (1837—1904) литератором И. М. Касаткиным (1880—1938). Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 298. «Душа — огромный колокол — таит громовый зык...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 299. «Мороз декабрьский дул и жег...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 299. «Широкий путь проложенный...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 300. Гонщик. Печатается по автографу (семейный архив). Вар-т 4-й строки: «Я несусь к голубой вышине». Впервые — ж. «Арион» (1994. № 2).

С. 301. Рождение Пушкина. Впервые — «Русская советская поэзия» (М., 1954). Датируется по черновому автографу, печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 302. «Здесь все предрешено. Ты выйдешь на подмости...». Впервые — КО. 1993. № 43. Вар-т 5-й строки: «Не принимай всерьез игру, запомни шутки». Печатается по автографу (семейный архив).

С. 303. «Гремит огромный океан...». Печатается по автографу (семейный архив). Впервые — ж. «Арион» (1994. № 2).

С. 303. «Тот день прошелестел, блеснул...». Впервые — КО. 1993. № 43. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 304. Хоккеисты. Печатается впервые по автографу (семейный архив). Посвящено памяти хоккейной сборной Военно-Воздушных Сил страны, погибшей в авиакатастрофе.

С. 305. **За стрижами.** Впервые — КО. 1993. № 43. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 305. **«С неба темного воспоминанья...».** Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 306. **Ничто.** Печатается по автографу (семейный архив). Впервые — ж. «Арион» (1994. № 2).

С. 308. **Десантники.** Впервые — СГЛ. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 310. **«Как свежий лист газетный за листом...».** Впервые — КО. 1993. № 43. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 310. **Пробуждение.** Впервые — ДП 1960. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 311. **«Смерть-хищница пронырлива, хитра...».** Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 312. **«Для каждого, как для всего народа...».** Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 312. **Поминание.** Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 313. **«В доме каком-нибудь многоэтажном...».** Впервые — КО. 1993. № 43. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 313. **«Как я, и вы не спите...».** Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 314. **«От попорченной в нерве настройки...».** Впервые — ДП 1975. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 315. **«Родник твоей души...».** Печатается впервые по автографу (семейный архив). *Уклейка* — мелкая рыба.

С. 315. **«Сужается горная тропка...».** Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 316. **«С утра все окна настезь отвори...».** Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 316. **Живут стихи.** Впервые — газ. «Московская правда». (8 окт. 1960) и ДП 1960. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 317. **«Большая мысль ночная...».** Впервые — ДП 1975. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 317. **Солнечная осень.** Впервые — СГЛ. Вар-т заглавия «Осень 1955 года». ...*в лесу Фонтенебло.* — Парк вблизи бывшей резиденции фр. королей. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 318. **«Поэту, как и кораблю большому...».** Печатается впервые по автографу (семейный архив). *Проран* — узкий морской залив.

С. 319. **«У пропасти ты встанешь на краю...».** Печатается впервые по автографу (семейный архив). Вар-т начальной строки: «Пред бездню ты встанешь на краю».

С. 319. **«Перед разлукой неизбежной...».** Впервые — КО. 1993. № 43. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 319. **Вызов.** Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 320. **Один день.** Впервые — Наш современник. 1960. № 2. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 321. **«Десяток яблок я несу...».** Впервые — КО (1991. № 46) с неверной датировкой. Печатается по списку с автографа (архив М. Синельникова).

С. 321. **Лайка в небе.** Печатается впервые по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 322. **Ночная гроза.** Впервые — СГЛ с неверной датировкой (3-я часть без шести начальных строк). С. 322. I. **«Пускай блестят над крышей в небе хмуром...».** Печатается по автографу (семейный архив); заглавие автографа: «Ночное».

С. 323. II. **«Вокруг тебя — безмолвье, мрак, покой...».** Печатается по автографу (семейный архив). С. 323. III. **«Словно огненное опало...».** Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 324. **«Дни, как страницы, листая...».** Впервые — ДП 1975. Печатается по списку с автографа (архив М. Синельникова).

С. 324. **Лучший рецепт.** Впервые — «День поэзии» (Л., 1966). Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 325. **«Чей это голос — не могу понять...».** Впервые — КО. 1993. № 43. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 325. **Позывные.** Печатается впервые по авторизованной машинописи (РГБ), датируется по автографу (семейный архив).

С. 326. **Грачиная сюита (т р и п т и х).** Впервые — газ. «Литературная Россия» (4 апр. 1969) с заглавием «Весеннее». Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 329. **Сказочная эра.** Впервые в виде цикла — СГЛ. С. 329. I. **«По-старому ведем еще мы счет...».** Впервые — ДП 1957. Вар-т 9-й строки в СГЛ: «Звезда большая в лучезарной тьме». Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив). С. 329. II. **«В раздумье над Москвой-рекою...».** Впервые — ДП (1961) с заглавием «Сказочная эра». Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 330. **Неоконченный разговор.** Впервые — ДП 1963. *Голодный* (Эпштейн) Михаил Семенович (1903—1949) — поэт, близкий к кругу Зенкевича. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 331. **Гулянье.** Печатается впервые по авторизованной машинописи, датируется по автографу (семейный архив).

С. 331. **«При хмурой погоде...».** Печатается впервые по

автографу (семейный архив). Зенкевич находился в Венгрии с 20 сент. по 20 окт. 1961 г.

С. 332. **Космический сон.** Впервые — ДП 1962. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 332. **Подожду немного.** Впервые — ДП (1963) с заглавием «В гости к Луне». Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 333. **Иван Грозный и Петр Первый.** Впервые — ДП 1968. Вар-т заглавия: «Вся правда». Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 333. **На острове Рождества.** Печатается впервые по автографу (семейный архив). *Остров Рождества* — один из о-вов Полинезии, на котором проводились ядерные испытания.

С. 335. **Надпись на книге «Грозы лет».** Впервые — КО. 1991. № 46. «Грозы лет» — имеется в виду кн. Зенкевича «Сквозь грозы лет» (М., 1962). Как на извозчицкой пролетке // Ваш «Вечер» в книжный склад я вез... — 10 марта 1912 г. по просьбе Н. Гумилева Зенкевич вывез тираж только что изданных сборников «Вечер» и «Дикая порфира» из типографии на книжный склад М. О. Вольфа в Петербурге. Печатается по списку с автографа (архив М. Синельникова).

С. 335. «О, новый день...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 336. **Мудрость.** Впервые — КО. 1993. № 43. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 336. «Из урны моря...». Набросок стихотворения памяти О. Мандельштама. ...во Владивостоке... — Мандельштам умер в больнице пересыльного лагеря под Владивостоком 27 декабря 1938 г. Пел «Тристии»... — «Tristia» («Скорбные элегии») — книга римского поэта Овидия; с таким названием вышла в 1922 г. вторая книга стихов О. Мандельштама. Печатается впервые по черновику (семейный архив).

С. 336. «Мы творцы разумные Вселенной...». Печатается впервые по черновому автографу (семейный архив).

С. 337. «Скончался папа Иоанн...». Печатается впервые по автографу (ИРЛИ).

С. 337. **Неизбежное.** Впервые — КО. 1993. № 43. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 337. «Горечь соли...». Впервые — КО. 1993. № 43. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 338. «Читай стихи!.. Как поредел...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 339. **Будь стойком.** *Екклесиаст* — см. примечание к стих. «Поэт, зачем ты старое вино...». *Марк Аврелий* — см. примечание к стих. «Марк Аврелий» (сб. «Дикая порфира»). *Эпиктет* (ок. 50—ок. 125) — греч. философ-стоик. Печатается впервые по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 340. «Бывает и в природе ложь...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 340. Звездное время. Печатается впервые по черновому автографу (семейный архив).

С. 341. Чудо. Впервые — ДП 1967. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 342. «Ну что ж! С Землей простясь, постранству...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 342. «Радостью можно со всеми делиться...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 342. «Не вини человечество и не кори...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 343. «Как это случилось...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 344. Первооснова. Впервые — КО. 1993. № 43. Вар-т 5-й строки: «Неисчислимо и неистоцимо». Печатается по автографу (семейный архив).

С. 344. «Измяты подушки...». Впервые — ж. «Арион» (1994. № 2). Вар-т начальной строки: «Уткнулся в подушки». Печатается по автографу (семейный архив).

С. 345. «Все люди со дня рожденья...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 345. «Атомная смета физики...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 345. «На темной улице...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 346. «Как беззащитны голые деревья!..». Печатается по автографу (семейный архив) ж. «Арион» (1994. № 2).

С. 346. «На пригородном поезде в Москву...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 347. «Стал я сразу вдруг...». Поводом к экспромту послужила телеграмма поэта Н. С. Тихонова к 80-летию Зенкевича: «Сердечно поздравляем дорогого старого друга Михаила Александровича, выдающегося русского поэта, с большим днем его жизни и поэтической работы. От души приветствуем доброго поэтического патриарха, желаем много-много лет жизни, счастья, вдохновения. Мария, Николай Тихоновы» (телеграмма в семейном архиве). Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 347. «Все было дано — светлый ум, красота...». Печатается впервые по автографу (семейный архив). Посвящено памяти старшего сына поэта Сергея, умершего 13 окт. 1964 г.

С. 348. «Меченые атомы...». Печатается впервые по автографу (ИРЛИ).

С. 348. Тоже буря. Печатается впервые по автографу (ИРЛИ).

С. 349. Под утро. Печатается впервые по черновому автографу (семейный архив). Посвящено памяти С. М. Зенкевича

(см. примечание к стих. «Все было дано — светлый ум, красота...»).

С. 350. «Две — неразлучницы...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 350. **Перед судом**. Печатается впервые по черновому автографу (семейный архив).

С. 351. **Признание**. Печатается впервые по черновому автографу (семейный архив).

С. 351. «Сколько стариков, старух...». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 352. **Чудо Грузии**. Впервые — ДП 1968. Печатается по авторизованной машинописи (семейный архив).

С. 354. **Гордость Земли**. Впервые — И-73 с неверной датировкой. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 355. «**Рассудком я могу кой-как понять...**». Печатается впервые по автографу (семейный архив).

С. 355. «**А в вырезвителе науки...**». Печатается впервые по черновому наброску (семейный архив).

С. 355. **Не ворчи**. Печатается впервые по списку с автографа (архив М. Синельникова).

С. 356. **Одна минута**. Печатается впервые по черновому автографу (семейный архив).

С. 357. **Камень и папирус**. Впервые — ДП 1971 и И-73 с неверной датировкой. Печатается по автографу (семейный архив).

С. 358. **Забвение**. Печатается впервые по автографу (семейный архив). Позднейшее из обнаруженных стихотворений Зенкевича; единственное исключение — стих. «В память той ночи» (1924—1971), завершённое 11 янв. 1971 г. Стихи «Камень и папирус», «В половодье», «Апрель 1917 года» и «Гордость Земли» неверно датированы 1971-72 гг. в И-73, что оговорено в примечаниях.

ПРОЗА

На стрежень

Печатается впервые по недатированной машинописи с итоговой авторской правкой. Отдел рукописей РГБ, ф. 784 (М. И. Чуванов), к. 26, е. х. 2 (экземпляр машинописного оттиска); ф. 822, к. 2, е. х. 22 (экземпляр машинописи без четырнадцати начальных страниц). Рукопись повести не обнаружена. Работа над ней завершена не позднее конца 1920-х гг.

В центре повествования — убийство министра внутренних дел Дмитрия Сергеевича Сипягина (1853—1902), совершённое саратовским студентом, эсером Степаном Валерьяновичем Балмашевым (1881—1902) 2 апреля 1902 г. в Петер-

бурге. Детали происшедшего в основном совпадают с документальной версией, частично изложенной А. С. Сувориным в его «Дневнике» (М., 1992). Автор повести был знаком с Балмашевым (упоминание о нем есть и в «Мужицком сфинксе»), канва произведения — автобиографическая.

С. 375. ...*про Валериана Осинского...* — Осинский Валериан Андреевич (1852—1879) — революционер-народник и террорист, член «Земли и воли». Арестован и повешен в Киеве.

С. 384. *Мотивчик из «Прекрасной Елены»...* — оперетта Ж. Оффенбаха.

С. 407. ...*на концерте Никиша...* — Никиш Артур (1855—1922) — венгерский дирижер, гастролировал в России.

Мужицкий сфинкс

Впервые «Мужицкий сфинкс» полностью напечатан в ж. «Волга» (№ 1—3, 1991). Ранее публиковались отдельные главы: «У камина с Анной Ахматовой» (в кн.: *Ахматова А. После всего*. М., 1989; в сб. «Воспоминания об Анне Ахматовой». М., 1991); десять глав с небольшими сокращениями (Советская литература. 1990. № 6); «Бутылка с крещенской водой» (Коммунист. Саратов. 24 окт. 1990 г.). Отдельным изданием вышли двадцать семь начальных глав «Мужицкого сфинкса» (*Зенкевич М. Эльга*. М., 1991; заглавие неавторское).

Черновая рукопись беллетристических мемуаров (Рукописный отдел Института русской литературы (С.-Петербург), фонд М. А. Зенкевича) датирована автором 1921—1925 гг. Существует ряд указаний (в т. ч. приводимая ниже памятка А. Н. Зенкевич) на то, что работа над произведением завершена в 1928 г. Первоначальное название в черновой рукописи («Мужицкая ладанка») там же изменено на «Мужицкий сфинкс». Третий вариант названия (очевидно, «компромиссный») возник при подготовке издания «Мужицкого сфинкса» на рубеже 20—30-х гг. («Пл. Урицкого — Путиловский»). Книга издана не была, и создатель беллетристических мемуаров (для краткости он иногда применял к ним термин «роман») восстановил прежний замысел.

Касаясь структуры произведения, автор отмечал: «Роман построен по принципу лирической поэмы, со строфическим, отрывистым чередованием глав, эпизодов и действующих лиц». Цитируется по рукописи «Проекта авторского предисловия» (1927) к неосуществленному изданию «Мужицкого сфинкса» (РО ИРЛИ, ф. М. А. Зенкевича).

Черновая редакция изобилует фрагментами текста, впоследствии снятыми автором. Наиболее крупная купюра — глава «Елшанский котхоз» (следующая за тридцать шестой).

В нашем издании текст печатается по недатированной машинописи с позднейшей правкой автора (частное собрание). К этому экземпляру приложена запись 1978 г., сделанная вдовой поэта Александрой Николаевной Зенкевич (1899—1979):

Слово свидетеля

При жизни автора я была связана словом: «Рукопись не читать!» Тем сильнее книга произвела на меня впечатление теперь. Ведь «босоногая девка из вишневого сада» (Наташа) с родимым пятнышком на глазу — это я. Только жизнь оказалась добрей авторской фантазии — цыганский табор нас не разлучал. Мы прожили друг возле друга около полувека (точнее — 47 лет) — счастливых и трудных.

Кто Эльга? Конечно, Ахматова; точнее, она стала прообразом этой демонической героини. С ней у Михаила Александровича связана, по-видимому, лирическая история предреволюционных лет, едва не закончившаяся трагедией. Долгие, долгие годы в нашем доме сохранялся кинжал (охотничий нож). Его истории я не знала.

В 1973 г. Мих<аил> Ал<ександрович> скончался.

И когда впервые я вынула нож-кинжал из стола — потемневший, страшный, мне стало не по себе. Я не могла уже заснуть.

Что касается моего отношения к Анне Анд<реевне> Ахматовой и к Ник<олаю> Степан<овичу> Гумилеву — талантливым людям, для меня было праздником, когда один студент принес нам с Мих<аилом> Ал<ександровичем> семейное фото этой прославленной пары поэтов с их маленьким «Левушкой».

Муж немало хороших стихов посвятил Ахматовой.

Мужу хотелось, чтобы роман дошел до читателя. Ровно 50 лет он ждал (роман написан в 1928 г.).

*Александра Зенкевич
Москва
<1978>*

Единственная явная погрешность у А. Н. Зенкевич — фраза «Ровно 50 лет он ждал». Автор умер в 1973 г., т. е. спустя 45 лет после того, как завершил свой труд.

О попытке выпустить «Мужицкий сфинкс» в свет говорит по крайней мере одно свидетельство. Это — «Договор № 414» между М. А. Зенкевичем и директором издательства «Федерация» А. Н. Тихоновым от 9 апреля 1930 г.: «<...> М. А. Зенкевич обязуется к 10.IV-30 г. представить «Федерации» в совершенно готовом для печати виде переписанную на машинке в 3-х экз. рукопись романа «Пл. Урицкого — Путиловский», размером около 11 п. л. <...> Тираж договорного

издания определяется в количестве не более 5 000 экз. <...>» (Отдел рукописей РГБ, ф. 822, к. 2, е. х. 24). Подробности этого соглашения, а также то, по чьей инициативе оно было расторгнуто, неизвестны.

Беллетристические мемуары «Мужицкий сфинкс» печатаются в том виде, который максимально соответствует замыслу автора. Правописание отдельных слов (имен, топонимических обозначений) согласовано с действующими нормами. Пояснения к некоторым главам касаются прежде всего стихотворных цитат, литературных аллюзий и т. п.

Вместо предисловия

С. 412. *Перед Яном из Гусинец или Аввакумом Петровым из села Григорова...* — Ян Гус (1371—1415) — национальный герой Чехии, проповедник идей раннего христианства, приговорен к сожжению церковным собором в Констанце. Аввакум Петрович (1620—1682) — опальный деятель Православной Церкви, провел 15 лет в ссылке в г. Пустозерске, где был сожжен по царскому указу.

С. 413. *Как из пламени Пустоозерского сруба на столетия разнеслось: «Не себе славы ищущу, а лишь совесть крепку держу»...* — предсмертные слова Аввакума, снискавшего прозвище «Огненный» за страстную непреклонность и верность своим убеждениям.

I. Синее пальто вместо красной свитки

С. 416. *...будет для меня чем-то вроде дьявольской красной свитки...* — см. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя.

II. Ночной велосипедист

С. 416. *...предложил свою книжечку стихов.* — Сб. «Пашня танков» (Саратов, 1921).

С. 417. *Отправился в Публичную библиотеку к Лозинскому.* — Лозинский Михаил Леонидович (1886—1955) — поэт, переводчик, близкий к акмеистам. С 1914 г. служил в петербургской Публичной библиотеке.

...веет (или мне так кажется) чем-то передоновским... — Передонов — герой романа Ф. Сологуба «Мелкий бес».

...по грудам книг завихрившаяся недотыкомка. — *Недотыкомка* — фантастическое существо из того же произведения Сологуба.

С. 419. ...*призрачные ночные смотры, как в балладе Жуковского*. — Баллада В. А. Жуковского «Ночной смотр» (переложение стихов австрийского поэта Цедлица).

III. У камина с Анной Ахматовой

Описанная в главе встреча произошла 30 ноября 1921 г. в здании Агрономического института в Петрограде (ул. Сергиевская, д. 7). Зенкевич преподнес Ахматовой «Пашню танков» с надписью:

«Анне Андреевне Ахматовой, когда-то освятившей своим именем мои «Мясные ряды». Мих. Зенкевич. 1921. 30.XI. Спб» («Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана». М., 1989. С. 101).

С. 420. *«Лурье написал к нему музыку...»* — Лурье А. С. (1892—1966) — композитор.

«Звенящий голос, горький хмель души расковывает недра» — во всех изданиях О. Мандельштама эти строки из его стих. «Ахматова» (1914) звучат так: «Зловещий голос — горький хмель — // Души расковывает недра». Подмену эпитета можно считать ошибкой памяти Зенкевича. Однако любопытно воспоминание на эту тему другого поэта-современника: «...слышал я эти стихи в чтении автора много раз, и в памяти моей твердо запечатлелось «звующий голос», а не «зловещий». Да и ничего зловещего в голосе Ахматовой не было, и не мог бы Мандельштам этого о ней сказать» (Адамович Г. Мои встречи с Анной Ахматовой // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 70).

С. 421. ...*на собрании «Цеха поэтов» мы сидим с ней в нелепых лавровых венках, сплетенных Городецким...* — Чествование Ахматовой и Зенкевича как авторов дебютных сборников состоялось 10 марта 1912 г. на квартире поэтессы Е. Кузьминой-Караваевой. Это событие упоминается и в записях Ахматовой: «В Цехе, когда одновременно вышла «Дикая порфира» и «Вечер», их авторы сидели в лавровых венках. Хорошо помню венок на молодых густых кудрях Михаила Александровича» (Ахматова А. Десятые годы. М., 1989. С. 78).

А Смоленская сегодня именинница... — неточная цитата из стих. Ахматовой «А Смоленская нынче именинница» (1921).

IV. Ночной визит доктора Кульбина

С. 423. *«Как там у вас про Леганье-то сказано...»* — Леганье — погибший фр. летчик. Имеются в виду строки из стих. Зенкевича «Авиареквием» (1918):

Трех измерений наглое лганье.
Мы видели, как с неба в четвертое падали.

.....
Выпустив руль, с трамплина педали
Прыжком пловца слетел Лганье...

VI. Пассеистические пилюли

С. 427. ...наклейка с надписью от руки: «Пассеистические пилюли д-ра Кульбина». — Пассеистический — обращающий к прошлому и не приемлющий настоящего.

VII. На Проспекте 25 октября

С. 431. ...как мне любви//Твои сухие розовые губы. — Из стих. Ахматовой «Не будем пить из одного стакана...» (1913).

VIII. Вечер в «Аполлоне»

С. 435. ...над строгим моммзеновским лицом... — Зенкевич сравнивает Вячеслава Иванова с нем. историком Теодором Моммзеном, на чьем семинаре в молодости работал Иванов.

С. 436. Остановите, вагоновожатый, // Остановите скорей вагон!.. — Неточная цитата из стих. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (1921).

«Изобретен способ писать стихи из одних знаков препинания, — лепечет <...> Велимир Хлебников. — Я сейчас прочту одно такое стихотворение...» — Эпатирующее выступление Хлебникова имело место 10 января 1914 г. в «Цехе поэтов». «Футурист Хлебников, когда до него дошла очередь читать стихи, заявил, что кубофутуризм, к которому он примыкает, дошел до отрицания понятий, слов и букв. И поэтому он прочтет стихотворение, состоящее из знаков препинания. И он прочел:

!—?—: ...

Поэт Сергей Городецкий резко высказался против дурачеств и нелепостей футуристов...» (Златоцвет. 1914. № 3. С. 16).

С. 437. ...он в пятьдесят лет начинающий поэт с двумя тоненькими книжечками стихов. — При жизни И. Анненского вышла лишь одна книга его стихов. Вероятно, Зенкевич также подразумевает его переводной сборник «Парнасцы и проклятые» (1904).

С. 438. «Вам нравится blanc et noir Валютона «Le mauvais pas»?» — «blanc et noir» — «белое с черным» (фр.), особый графический прием. «Le mauvais pas» — «Трудное место

(спускающие гроб по узкой лестнице)», гравюра фр. художника Феликса Валлотона (1865—1925).

Х. Прокатный велосипед с Марсова поля

С. 447. *Каннегисер!.. Красивый черноволосый, смуглый, как араб, юноша поэт...* — Каннегисер Леонид Иоакимович (Акимович, 1897—1918) — поэт из окружения Гумилева, совершивший покушение на председателя Петроградской ЧК М. Урицкого.

XI. От Мадонны Рафаэля к силуэту тени на стене

С. 456. *...улыбающееся, бритое с бакенбардами лицо художника Георгия Нарбута.* — Нарбут Георгий Иванович (1886—1920) — художник, книжный иллюстратор, брат поэта-акмеиста В. Нарбута.

С. 457. *«...ваша тень от этого не пропадет, как у Петра Шлемиля...»* — Петер Шлемиль, герой повести нем. писателя А. Шамиссо «Необычайные приключения Петера Шлемиля», уступил незнакомцу свою тень в обмен на сказочное богатство.

XII. Карета скорой помощи

С. 459. *Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея...* — Из стих. М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

XIII. П. Б. О.

С. 461. *«...я не хочу преждевременно вводить тебя активным членом в П. Б. О. ...»* — Так называемая «петроградская боевая организация», по подозрению в участии в которой был арестован и расстрелян Гумилев.

...совсем как «Помпей в плену у пиратов»... — Имеется в виду стих. Гумилева «Помпей у пиратов» (1907).

Ему бы уехать куда-нибудь в экспедицию, с Козловым в монгольские пустыни... — Козлов Петр Кузьмич (1863—1935) — путешественник, открывший в 1908 г. развалины древнего китайского города Хара-Хото. Зенкевич знал о намерении Гумилева участвовать в одной из экспедиций Козлова (см.: Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С. 261).

С. 462. *Иеринг* Рудольф фон (1818—1892), *Еллинек* Георг (1851—1911) — нем. правоведы. *Муромцев* Сергей Андреевич (1850—1910) — юрист, председатель 1-й Гос. думы. *Ковалевский* Максим Максимович (1851—1916) — юрист.

XIV. Список 61-го

С. 464. *Желто-серая, как оберточная, толстая газетная бумага со смазанным неразборчивым шрифтом...* — Далее Зенкевич цитирует сообщение о расстреле 61-го участника «контрреволюционного заговора», напечатанное 1 сентября 1921 г. «Петроградской правдой».

XV. Семь зеркал из Луна-Парка

С. 466. *И тая в глазах злое торжество...* — Из стих. Гумилева «У камня» (1911).

С. 467. *Я, носитель мысли великой...* — Из стих. Гумилева «Наступление».

...о мужике, который «обворожает царицу необозримой Руси»... — строки из стих. Гумилева «Мужик», предположительно посвященного Г. Распутину.

Губернаторский дворец... — Из стих. Гумилева «Городок».

XVI. Эльга

С. 469. *Эльга! Эльга!* — эти начальные слова стихотворения Гумилева... — Стих. Гумилева «Ольга» обращено к художнице О. Н. Гильдебрандт-Арбениной ((1899—1980).

XX. Четырнадцать капель нашатыря

С. 482. *«...разве вы забыли «конец августа и безмгlistое начало глубокого и синего, как сапфир, сентября?»* — Строки из стих. Зенкевича «В алом платке» (1915).

XXI. Dicson sons Sheffield

Dicson sons Sheffield — «Сыновья Диксон, Шеффилд» (англ.). Город Шеффилд (центральная Англия) славился ножевыми изделиями из различных марок стали.

XXIII. Поезд Пуришкевича

С. 492. *«Ведь вы доктор Лазаверт? Тот самый...»* — Лазаверт С. С. — врач, принимавший вместе с В. М. Пуришкевичем участие в убийстве Распутина.

С. 493. *«Но я уже говорил Сергею Николаевичу Таганцеву...»* — Здесь и ниже, вероятно, речь идет о В. Н. Таганцеве, руководителе «петроградской боевой организации».

XXIV. Компресс из резиновой гири

С. 499. «...кабы меня сумашедша баба ножиком не пырнула». — В 1914 г. Распутин, находившийся в своем родном селе Покровское в Сибири, был ранен ударом кинжала в живот Х. Гусевой.

С. 501. «Скажи шоферу, пушшай меня в Царско Село везет, в мавзолей...» — Под «мавзолеем» подразумевается часовня в Царском Селе, где недолгое время находилась могила Распутина.

XXVI. Бутылка с крещенской водой

С. 508. «Эх, сколько я этого добра переслал в Покровское к Федоровне». — Прасковья Федоровна, законная жена Распутина, жила в селе Покровском под Тюменью, где он родился.

С. 509. «Пошто они меня позорили, жгли, как Гришку Отрепьева, и мавзолей мой <...> рушили...» — По указанию А. Ф. Керенского могила Распутина была разрыта, а гроб с его телом сожжен в окрестностях Петрограда.

Наверху стоял крест, а под ним розвальни каракуль... — Текст записки Распутина, адресованной семье Николая Второго, вымышлен, хотя Зенкевич точно имитирует его своеобразный грамматический «стиль».

Григорий Распутин-Новый — неточность: в 1911 г. в знак «обновления» Распутин взял фамилию Новых и стал подписываться «Распутин-Новых».

XXVII. Ливадийские розы

С. 511. Вместе с ним были «Lion» и «Tiger». Кто из них (уж не «Queen li Mary»?) погиб потом в Ютландском бою? — Сражение между эскадрой англ. адмирала сэра Дэвида Битти и герм. флотом произошло в мае — июне 1916 г. у полуострова Ютландия.

С. 512. «Скоро будем подходить к Ливадии». — В Ливадии располагалось именно (летняя резиденция) российских императоров.

...с мавританскими, под Альгамбру, колоннами... — Альгамбра — дворец в Испании XIII—XIV вв., образец мавританской архитектуры.

С. 515. «Аликс будет очень рада». — Аликс — семейное прозвище императрицы Александры Федоровны, супруги Николая Второго.

...читая тайком <...> нелегальную брошюру «Отчего студенты бунтуют», данную мне <...> Карлушкой Думле-

ром, приятелем долговязого белобрысого Степки Балмашева... — О С. В. Балмашеве и связанных с ним событиях см. в повести Зенкевича «На стрежень».

С. 516. *«В Екатеринбурге тоже было так — анонимное письмо с обещанием помощи и потом вместо освобождения...»* — Версия гибели царской семьи, в которой фигурируют передававшиеся в Ипатьевский дом «записки, спрятанные в буханках хлеба и бутылках с молоком» (с вестью о скором освобождении), изложена, например, Робертом К. Мэсси в его кн. «Николай и Александра» (М., 1992).

XXXII. Мирской испољщик

С. 535. *...древняя Микулина вотчина... — Микула — былинный богатырь-пахарь.*

С. 536. *...прослышит его с Волги городской Вольга... — Вольга — князь, персонаж былины «Вольга и Микула».*

XXXV. Ладанка с зерном

С. 549. *...самоуверенного безумца Фазтона... — Фазтон (в греч. мифологии) — сын бога солнца Гелиоса. Управляя огненной колесницей отца, Фазтон по неосторожности приблизился к Земле, едва не испепелив ее.*

XXXIX. Вилла «Эльга»

С. 577. *«Хотите послушать «Тангейзера» из стокгольмского театра?» — «Тангейзер» — опера Р. Вагнера.*

XLIV. «Чугунна сыплется гора»

«Чугунна сыплется гора» — переименованная строка из Г. Р. Державина: «Алмазна сыплется гора» («Водопад»).

XLV. В гостях у красного путиловца

С. 619. *Ты не знаешь век забот... — Из стих. А. С. Пушкина «Ты и я» (1820), неточная цитата.*

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

- Авиареквием («Пропела...») — 151
«А в вытрезвителе науки...» — 355
Альтиметр («Какая щемящая высь...») — 153
«Атомная смета физики...» — 345
- Баллада о безногом рояле («...Здесь розы в цвету и вина в пене...») — 177
«Баратынский... Сумрачный...» — 276
Без солнца — 208
«Безумец! Дни твои убоги...» — 105
Берлин перед войной («Студент, увязнувший с ногами в парте...») — 90
Бессонница (I. «И сон — как смерть, и точно гроб — постель...», II. «Рассветный саван раздирая, сипло...») — 157
Бестужев-Рюмин («В бессоннице тоской шалей!..» Пять декабристов. 4) — 182
«Богиня к смертному на ложе...» — 206
«Боем Спасских часов насквозь...» — 219
«Большая мысль ночная...» — 317
Бред («Лежал в бреду я и в жару...») — 39
Будь стойком («Все суета и суета сует...») — 339
Бухгалтерская баллада («Входи осторожно и дверью не торкай...») — 155
«Бывает и в природе ложь...» — 340
Бывают минуты («Бывают минуты... Как красные птицы...») — 40
Бык на бойне («Пред десятками загонов пурпурные души...») — 94
- Вавилон («Средь торжищ золота и мяса...») — 61
Валгалла («С утра звучит призывный вопль валкирий...») — 67
В алом платке («Топит золото, топит на две зари...») — 129
Вахш («По нагорьям холмов выгорает плешь...») — 225
«В балахонах белых в ночь такую...» (В белых балахонах) — 169
«В безвременье времени турбины воли...» — 165
В городе («С асфальтом черным дымные котлы...» Цикл «Летние кошмары») — 75
«В доме каком-нибудь многоэтажном...» — 311
В дрожках («Дрожа от взнузданного пыла...») — 107
Верхом («Я вновь верхом в пространствах, взрытых...») — 106
Весеннее наступление («Какой неуправляемый натиск...») — 281
«Взамен светляков сверкают поодаль...» (Кавказской почью. II) — 207
В зоологическом музее («Ловя сирен далекие отгулы...») — 56
Взятие Скутари — 86
«Видел я, как от напрягшейся крови...» — 99
Вино поэзии («Зачем писать такие стихи...») — 241
«В качалке пред огнем сейчас сидела...» — 112
«В купоросно-медной тверди...» — 118
В логовище («Пускай рога трубят по логу...») — 106
В мае («Голубых глубин громовая игра...») — 122
Водосвяте Распутина («Вот промелькнул и мост Тучков...») — 175
Воды («Вы горечью соли и йодом...») — 49
Возка снопов («Целый день с темного и до темного...») — 192
«Вокруг тебя — безмолвье, мрак, покой...» (Ночная гроза. II) — 323
Волжская («Ну-ка дружным взмахом взрежем...») — 266

- Волчиха воеет на луну («Здесь даже полночь не тиха...») — 212
 «Вороны кружат и кричат с утра...» — 271
 «Вот она, Татарская Россия...» — 259
 «В поднебесье твоего безбурного лица...» — 105
 В половодье («С ветром залетая...») — 282
 «В полях бывает лишь такая...» — 205
 В пшенице («Мечта иссякающая, калась в огне, как жницы...») — 73
 «В раздумье над Москвой-рекою...» (Сказочная эра. II) — 329
 Всадник под буркой («Станичники, донцы, кубанцы, терцы!...») — 278
 «Все было дано — светлый ум, красота...» — 347
 «Все люди со дня рожденья...» — 345
 «Всему — весы, число и мера...» (Цикл «Гимны к матери») — 44
 «Все прошлое нам кажется лишь сном...» — 255
 «Все это было миллионы раз...» — 250
 «В сознание сняет она, внушая...» — 251
 В степи («Словно сирий жар в печи...») Цикл «Летние кошмары» — 75
 Встреча осени («С черным караваем...») — 124
 В сумерках («Не окончив завязавшегося разговора...») — 190
 В такую ночь — 214
 «В такую ночь, где все бело...» (В такую ночь. II) — 214
 Вызов («Как сургуч — из запекшейся крови печать...») — 319
 «Вы помните?.. девочка, кусочки сала...» — 111
 Герасим Грачевник («Нежданной мартовской метелью...» Грачиная сюита. I) — 326
 Гибель дирижабля «Диксмюде» («— Лейтенант Плессис де Грена дан...») — 158
 Гимны к матери — 44
 «Головок детских ласково касаясь...» — 252
 Голод дредноутов («Сирен отсыревшие басы...») — 148
 Голос осени («Над цветом яблонь и вишен в дремах...») — 123
 Гонщик («Мнится мне, что на гоночном треке...») — 300
 Гордость Земли («Не выпрашивай и не моли...») — 354
 «Горечь соли...» — 337
 Грачиная сюита — 326
 Грачиный крик («Тут рифм не нужно никаких...» Грачиная сюита. III) — 328
 «Гремит огромный океан...» — 303
 Грядущий Аполлон («Пусть там далеко в подкове лагунной...») — 102
 Гулянье («Лазурный день сиял так ярко...») — 331
 Дальняя дорога («На душе тревога...») — 287
 Два полюса — 45
 Две крови («Любили мы свои низины...») — 69
 «Две — неразлучницы...» — 350
 Двойник («Мне помнится — перегрузив края...») — 66
 Десантники («Бушует море Черное...») — 308
 «Десяток яблок я несу...» — 321
 «Для каждого, как для всего народа...» — 312
 «Дни, как страницы, листая...» — 324
 Добывание Огня («Любовь! Любовь! Божественное что-то...») — 239
 «Довольно со скарбом скорби...» — 146
 Донор («На лестнице свет еще не был погашен...») — 220
 «Дороги, какой поживы ища...» (В белых балахонах) — 170
 «Дорожкой платиновой серебрясь...» (Кавказской ночью. I) — 206

- Дорожное («Вмывают без усталости...») — 237
 «Дробя с могучего наскока...» — 81
 Дуб («Грозой он еще не повержен...») — 277
 «Душа — огромный колокол — таит громовый зык...» — 298
 «Жарким криком почуяв средь сна...» — 119
 Женщине («Хоть отроческих снов грехи...») — 98
 Живой роман («В нем Я — твое — герой любимый...») — 296
 Живут стихи («Живут стихи, которые с трибуны...») — 316
 «Жизнь моя, как летопись, загублена...» — 253

 Забвенне («Пусть не так закален я и стоек...») — 358
 Заволжье («Прелой полынью дышать горячо...») — 211
 «За золотую гробовую крышкой...» — 112
 За солнцем («Закат. И солнце — вновь у края...» Напере-
 кор. II) — 238
 За стрижами («Со скал домов многоэтажных...») — 305
 Звездное время («Почему...») — 340
 «Здесь все предreshено. Ты выйдешь на подмости...» — 302
 Земля («О мать Земля! Ты в сонме солнц блестела...») — 48
 «Земля лучилась, отражая...» — 113
 «Землю делите на части...» — 264
 Зимовье ворона («Еще вдали под первую звездою...») — 125
 Золотая прядь («Какой был день! Почти июльский, знойный...») — 285
 Золотой треугольник («О, прости, о прости меня, моя Беатри-
 че...») — 98
 «Золотые реснички сквозят в бирюзу...» — 117
 Зори («В златоверхом тереме Солнца красного...») — 72

 Иван Грозный и Петр Первый («Взор Грозного не вспыхнет гневом
 снова...») — 333
 Ивану Никаноровичу Розанову («Вы всех поэтов русских при-
 ютили...») — 286
 «Иди потише...» — 274
 «Измяты подушки...» — 344
 «Из урны моря...» — 336
 «И нас — два колоса несжатых...» — 76
 «И проклятой, и окаянной...» — 176
 «Искусства участь нелегка...» — 242
 «И смертные счастливыцы попадали...» — 110
 «И сон — как смерть, и точно гроб — постель...» (Бессонни-
 ца. I) — 157
 «И улетели б соловьи...» — 209
 «И у тигра есть камышовое логово...» — 104
 «И я и ястреб распластан...» — 142

 «Кавказской ночью...» — 206
 К Агуре-Мазде («Пылай и вечно не иссякни...») — 60
 Казнь («Их вывели тихо под стук барабана...») — 37
 «Какая пустота охватила меня...» — 144
 «Какая тьма! Нигде просвета нет...» — 252
 «Как беззащитны голые деревья!...» — 346
 «Как будто черная волна» — 119
 «Как они упрямы!...» (Рассвет на Мясницкой. II) — 201
 «Как свежий лист газетный за листом...» — 310
 «Как стусок магических зелий...» — 79

- «Как странно, что сверчок запел за печкой...» — 272
 «Как это случилось...» — 343
 «Как я, и вы не спите...» — 313
 «Как янтарь, золотистые зерна пшеницы...» — 73
 Камень и папирус («Сроднился он с веками...») — 357
 Камни («Меж хребтов крутых плоскогорий...») — 50
 Каховский («Каховский, ты? Здорово, брат!..» Пять декабристов. 1) — 180
 Князь («Любо было вам, идя с похода...») — 70
 Коммод («Ты, к славе предков равнодушен...») — 59
 «Котомкою стянуты плечи...» (По Кавказу. I) — 115
 «Который год мечтаю втихомолку...» — 256
 Космический сон («Так снилось, иль было...») — 332
 «Крестов позлащенных блистанье...» — 90
 Крещенское купанье («Изо льда, как из мрамора, крест иссеченный...» В белых балахонах) — 172
 Крик сычей («Тих под осенними звездами...») — 39
 «К тебе тянусь губами в темноте...» — 275
 Купанье («Над взморьем пламенем веселым...») — 107
 Курская руда («Столетия соловьиные горла...») — 177
 Лайка в небе («За спутником первым над миром...») — 321
 Летние кошмары — 75
 «Ломом луч ударил в окна, в прорубь...» (У оконной проруби. I) — 223
 Лора («Вы — хищная и нежная. И мне...») — 108
 Лотерея гильотины («Маркиз, вы спутаете опять менуэт...») — 141
 Лунная соната («Голубая, венозная, то не кровь ли...») — 184
 Лучший рецепт («Стал раздражителен, всем недоволен...») — 324
 Магнит («От тьмы поставлены сатрапами...» Цикл «Два полюса») — 45
 Мамонт («Смотри...») — 130
 Марк Аврелий («Глупцы! Пьянящий вас напиток...») — 58
 Махайродусы («Корнями двух клыков и челюстью громадных...») — 54
 Машинная страда («От золотой бойни...») — 211
 Мертвая петля («В тобой достигнутое равновесье...») — 130
 Металлы («Дремали вы среди молчанья...») — 51
 «Меченые атомы...» — 348
 «Мороз декабрьский дул и жег...» — 299
 Морошка («Мороз... Мороз...») — 246
 Мудрость («Отбушевала ярость...») — 336
 Муравьев-Апостол («Черниговцы! За мной вперед!..» Пять декабристов. 3) — 182
 Muskus («Почуя маток в топкой чаше...») — 80
 Мухалатка («Здесь сухой мускатный горный воздух...») — 198
 «Мы носим все в душе — сталь и алтарь нарядный...» — 40
 «Мы творцы разумные Вселенной...» — 336
 Мясные ряды («Скрипят железные крюки и блоки...») — 57
 На аэродроме («Прерывистый и мощный гул...») — 82
 Наваждение («По залу бальному она прошла...») — 112
 На Волге («Синели дикие просторы...») — 67
 На Волхове («Словно седой...») — 193
 Навуходоносор («Размстав убор павлиний...») — 62
 «Над медвяною усладой...» — 85

- Надпись на книге «Грозы лет» («Тот день запечатлелся чет-ко...») — 335
- Над Северным морем («Над бурным морем Северным...») — 255
- «На журавле в колодец неба...» — 174
- Найденыш («Пришел солдат домой с войны...») — 291
- «Налажены лыжи, и узлом сухожилий...» (В белых балахонах) — 171
- На Медвежьей горе («Кто мог ожидать перед кругом полярным...») — 249
- «Нам, привыкшим на оргиях диких, ночных...» — 38
- «На облачных снегах паря...» — 80
- На обрыве («Вдруг золотом нездешних ослеплений...») — 74
- На острове Рождества («На острове Рождества...») — 333
- Наперекор — 237
- На передовых — 267
- «На поле около болота...» — 122
- «На пригородном поезде в Москву...» — 346
- «На темной улице...» — 345
- На «Титанике» («О, берегись, берегись...») — 167
- На учете Военмора («В тихой гавани Военмора...») — 270
- «Начитавшись сообщений о боевых действиях...» — 263
- «На чьих ресницах драгоценней...» (Утренняя звезда. II) — 121
- На Яйле («Гнездовье грифов здесь, и озираю...») — 198
- «Небо, словно чье-то вымя...» — 104
- «Не внии человечество и не кори...» — 342
- «Не внявши прорицаньям магов...» (Поход Александра в Индию. I) — 64
- Не ворчи («Не ворчи на то, что хмурый, серый...») — 355
- «Не влитывая с нежной шеи...» — 89
- «Нега снегов. Не с ума схожу ли?...» — 174
- Негритянка («Шумит маскарад новогодний...») — 289
- «Недаром, Юрий-князь, ты Долгорукий...» (Основатель Москвы. II) — 294
- Неизбежное («Вдруг снова...») — 337
- «Нелепая, она всю ночь над нами...» — 277
- Неожиданная встреча («Грохочет грузовик трехтонка...» Грачиная сюита. II) — 327
- Неоконченный разговор («В пыли неконченного спора...») — 330
- Неотразимая весна («Все это им давно знакомо...» На передовых. III) — 269
- «Нет, не могу читать! Кровь так звенит...» (У оконной проруби. II) — 224
- «Ни одной звезды. Бледнея и тая...» (Утренняя звезда. I) — 120
- Нити парок («Скрыв под рудой самоцветной, под йодистой влагой хрустальной...») — 65
- Ничто («Что ты меня боишься? Я — Ничто...») — 306
- «Но как бы ни был ствол коряв...» — 216
- Нокаут («В бессоннице ночи, о, как мучительно...») — 155
- Ночная гроза — 322
- Ночной музыкант («Зал зрительный пред ним во мраке...») — 273
- Ноябрь («Ноябрьский день спросонок хмур...») — 183
- Ноябрьский день («Чад в мозгу, и в легких никотин...») — 102
- «Ну что ж! С Землей простяся, постранствуй...» — 342
- «Облачные сердолики...» — 248
- Огородный сказ с болота («Народу-то сколь!...») — 216

- Один день («Каждый день — отрывной календарный листок...») — 320
 Одна минута («Придет минута...») — 356
 «О, не сияй так, Луна! Луна!...» — 140
 «О, новый день...» — 335
 «Опять споткнулся конь степной... Еще бы...» (Основатель Москвы. I) — 293
 «О, ревность, ревность! Одной ее капли...» — 143
 Орел на бронзе («Насмерть раненый орел...») — 196
 «О, сколько б ни было вам весен...» — 180
 Основатель Москвы — 293
 «О, тихоокеанский мертвый штиль...» — 165
 «От попорченной в нерве настройки...» — 314
 «Отупевши от медленной боли...» — 78
 Отходная из стихов («На что же жаловаться, если я...») — 189
 «Отчего ты с утра оделась в траур?...» — 143
 «Очнулся и смотрю, глаза открыл...» (Пробуждение. I) — 310
- Паводок на Москва-реке («Как двух столиц, двух рек глухая
 . тяжба...») — 179
 Парикмахерская баллада («Хоть времени порядочно...») — 243
 «Парк золотел в огне листвы...» — 284
 «Пары сгущая в алый кокон...» — 43
 Пашня танков («Брызгая мозгом, расплущиваемые черепа...») — 146
 Первооснова («Жизнь не бывает никогда мертва...») — 344
 Первый трамвай («Отмычка дня — твоя рукоять...») — 202
 «Перед разлукой неизбежной...» — 319
 Перед судом («Старик, словно облак, кудлатый...») — 350
 Пестель («Ужасно это дело, но...». Пять декабристов. 5) — 183
 Петербургские кошмары («Мне страшен летний Петербург. Возмо-
 жен...») — 101
 Пловец («Как утопающий, и страх, и жалость...») — 197
 Поволжье («Черношоколадные пашни...») — 164
 «Подавившись обрубком дубового пня...» — 204
 Под лед («Это масляной недели...») — 288
 «Под мясной багряницей душой тоскую...» — 92
 «Подняв неслышно два прилива...» — 77
 Подожду немного («Проснулся ночью... Было не до сна...») — 332
 Под ресницей («Вздохнет от пышной тяжести весь дом...») — 116
 «Подсолнух поздний догорал в полях...» — 109
 «Под солнцем тучка сушит кисею...» — 250
 «Под соснами и в вереске лиловом...» — 117
 Под утро («Очнись... Не спи...») — 349
 Поздние подсолнухи («Как бурый кирпич, косогоры...») — 89
 Поздний пролет («За нивами настиг урон...») — 126
 Позывные («Почему это вдруг...») — 325
 По Кавказу — 115
 «Полет любви, он невысок...» — 240
 «Полымем побаловай...» (Наперекор. I) — 237
 Поминание («Посмертное глухое забытье...») — 312
 Порфибагр («Залита красным земля...») — 135
 Посаженный на кол («Средь нечистот голодная грызня...») — 93
 «После весенней последней вьюги...» (В такую ночь. I) — 214
 «По-старому ведем еще мы счет...» (Сказочная эра. I) — 329
 Поход Александра в Индию — 64
 «Поход закончен. И от устья...» (Поход Александра в Индию. II) — 65

- «Поцелуй на морозе. Осмелся попробуй!..» (В белых балахах) — 171
- «Поэт, бедняга, пыжится...» — 256
- «Поэт, зачем ты старое вино...» — 257
- Поэту («О, старая чиновная Россия...») — 270
- «Поэту, как и кораблю большому...» — 318
- Предрасветные голоса («Человеческая кровь вина хмельней...») — 160
- Пригон стада («Уже подростки выбегли для встречи...») — 118
- Прием поэта («Взбрело раз деревенскому парнишке...») — 296
- Признание («Жить только стихами...») — 351
- Примирение («Там, где зверь очумелый от крови маточной...») — 86
- «При хмурой погоде...» — 331
- Пробуждение — 310
- Проводы солнца («Утомилось ли солнце от дневных величий...») — 126
- Прогульщик («Бывает прогульщиком день никудышный...») — 295
- «Прозрачна ночь, и до утра...» (Без солнца. I) — 208
- «Проснувшись, с детским удивленьем...» (Пробуждение. II) — 311
- «Просторны, как небо...» — 262
- Прощание («Не забыть нам, как когда-то...») — 260
- «Пускай блестят над крышей в небе хмуром...» (Ночная гроза. I) — 322
- «Пусть ищут мудрецы начало жизни хилой...» — 78
- «Пусть, нагнетаясь, вспыхивает пустота...» — 145
- «Пусть позади на лаве горней...» (По Кавказу. II) — 116
- Пушкин («Пушкин! Пушкин! И кто его пестовал...») — 173
- Пять декабристов — 180
- 551-му артиллерийскому полку («Товарищи артиллеристы...» На передовых. I) — 267
- Пять чувств («Пять материков, пять океанов...») — 99
- Радостный мир («О какой это радостный, сказочный мир...») — 57
- «Радостью можно со всеми делиться...» — 342
- Разговор о поэзии («Пойми — другого нет пути...») — 243
- Рассвет («О предрасветный, воспетый Бодлером...») — 81
- Рассвет на Мясницкой — 200
- «Рассветный саван раздирая, сипло...» (Бессонница. II) — 157
- Расставание («Стал прощаться, и в выцветших скорбных глазах...») — 265
- «Рассудком я могу кой-как понять...» — 355
- «Ресницы — как с пыльюю черной...» — 76
- «Родник твоей души...» — 315
- Рождение Пушкина («Не загремел салют орудий...») — 301
- Россия в 1917 г. («С коих-то пор...») — 133
- Рылеев («В передней грудой кивера...» Пять декабристов. 2) — 181
- Самсонов день («Кто поймет...») — 230
- Свершение («И он настанет — час свершения...». Цикл «Два полюса») — 47
- «Свершилось предрешенное. И вот...» — 139
- Свет луны («На камыш, на зыбки растенья...») — 79
- Свиней колют («Весь день звенит в ушах пронзительный как скрежет...») — 95
- «Сгустился воздух, как вода...» — 205
- Сев озимых («Хоть в золу, да в пору, а только сей...») — 193

- «Сегодня по-каспийски зелена...» — 274
 Сибирь («Железносонный, обвитый...») — 132
 Сирены («Бывает, кажется ль туман сырей...») — 164
 Сказочная эра — 329
 «Сколько стариков, старух...» — 351
 «Скончался папа Иоанн...» — 337
 Слепцы («Ой, подайте милостыню, родные!...») — 71
 «Словно огненное опало...» (Ночная гроза. III) — 323
 Смерть авиатора («После скорости молнии в недвижимом покое...») — 137
 Смерть лося («Дыханье мощное в жерло трубы лилось...») — 93
 «Смерть-хищница пронырлива, хитра...» — 311
 «С неба темного воспоминанья...» — 305
 Сказки на Кавказе («Пока дымятся фитили...») — 232
 Солнечная осень («Солнечная осень Подмосковья!...») — 317
 Сон ягуара («Насыщен мухами недвижимый воздух пряный...») *Леконт де Лиль* — 82
 «Средь займищ травянисто-влажных...» — 77
 Стakan шrapнели («И надо мною, как над ним...» Сб. «Пашня танков») — 150
 Стакан шrapнели («И теперь, как тогда в июле...» Сб. «Со смертью на брудершафт») — 154
 «Стал я сразу вдруг...» — 347
 Старая Москва — 185
 Стих Гафиза на ризе («Беглянку гарема, капризницу...») — 203
 «Стою один на месте том...» — 240
 Страда пехоты («Ни деревца золотolistвенного, ни кустика...») — 149
 «Сужается горная тропка...» — 315
 Сумрак аметистов («Я радостно смотрю, как ты идешь на убыль...») — 74
 Сумрачный бог («Сумрачный бог многоцветного мира...») — 84
 «С утра все окна настежь отвори...» — 316
 «Сухую охрою ли, в хну ли...» (Без солнца. II) — 208
- Танец магнитной иглы («Этот город бледный, венценосный...». Цикл «Два полюса») — 46
 Танец под дойру («Чертов камень, чертовы пальцы...») — 227
 «Твой сон передрасветный сладок...» — 114
 Темное родство («О темное, утробное родство...») — 52
 Тени («Как кружатся стервятники-орлы...») — 66
 Теорема («Жизнь часто кажется мне ученицей...») — 256
 Теплушки с быками («Дурманит степь цветами...») — 191
 Тигр в цирке («Я помню, как девушка и тигр шаги...») — 97
 Тоже буря («Как в океане...») — 348
 «Толпу поклонников, как волны, раздвигая...» — 110
 «Тот день прошлестел, блеснул...» — 303
 Травля («На взмыленном донце, смиря горячий...») — 128
 Три артиллериста («Ты слышишь, ты слышишь, Сережа...») — 279
 «Три часа. Проснулся, когда не надо...» (Рассвет на Мясницкой. I) — 200
 «Ты дико-сумрачна и косна...» (Цикл «Гимны к Материи») — 44
 «Ты для меня давно мертва...» — 113
 «Ты, смеясь, средь суеты блистала...» — 42
 «Тягостны бескрасные дни...» — 104

- Угольщик («Прикрылся рогожей...») — 185
 Удавочка («Эй, други, нынче в оба...») — 100
 У двух проталин («Пасхальной ночью у двух проталин...») — 263
 «Уже за хищной бороною...» — 88
 «Уж солнце маревом не мает...» — 120
 Узень («Верблюды и волы все реже. Глуше...») — 88
 У оконной проруби — 223
 «У пропасти ты встанешь на краю...» — 319
 Урожан («Кропилом золотым, молебнами...») — 87
 Утренние сумерки («Уж зорю во дворе казарм трубят горнисты...» Из *Бодлера*) — 83
 Утренняя звезда — 120
 У элеватора («К сосцам бетонным,— я смотрю...») — 166

 Фронтальная кукушка («Вповалку на полу уснули...» На передо-
 вых. II) — 269

 Хоккеисты («Свет струится матовый...») — 304
 «Холопство вотчиной досталось...» — 293
 Хоры («Нервов нарыв...») — 145
 «Хотелось в безумьи, кровавым узлом поцелуя...» — 103
 «Хочу тебе сказать...» — 251

 Царская ставка («Ваше Величество, раз вы сели...») — 161
 Цветник («Когда пред ночью в огненные кольца...») — 96

 Чапаевские поминки («Куда ты дивизию свою завел...») — 163
 «Чей это голос — не могу понять...» — 325
 Человек («К светилам в безрассудной вере...») — 55
 «Читай стихи!.. Как поредел...» — 338
 «Что дневные все радости ваши...» — 79
 «Что они ноют томительным стоном...» (В белых балахонах) — 170
 Чудо («Явление великого поэта...») — 341
 Чудо Грузии («В подвалах прохладных в ночи подземелья...») — 352

 Шагни («Смотри: она стоит у плеса...») — 291
 «Широкий путь проложенный...» — 299
 Шофер от Страстного («Луна фонарем зажжена над бульваром...»
 Старая Москва) — 186
 Штиль («Прибоя пульс отстукивая слабо...») — 195
 Шторм («А море все то же. И по сей день...») — 206
 Штукатур («У жесткого дирижабля...» Старая Москва) — 185

 «Эх, если бы украсть тебя от мужа...» — 138

 Южная красавица («Ночь такая, как будто на лодке...») — 258

 «Я жду той полночи солнечно-золотой...» — 140
 Ящеры («О ящеры-гиганты, не бесследно...») — 53

М. А. Зенкевич:

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

- 1886 г.— 9 (21 нового стиля) мая в селе Николаевский Городок Саратовской губернии в семье преподавателя математики Марининского земледельческого училища, коллежского советника Александра Осиповича Зенкевича (1854—1906) и гимназической учительницы Евдокии Семеновны Зенкевич (урожд. Нещеретовой, 1861—1938) родился первенец Михаил.
- После революции, желая уменьшить свой возраст, М. Зенкевич стал указывать годом рождения 1888, 1889, а позднее 1891.
- 1888 г.— рождение младших братьев поэта — Сергея и Бориса.
- 1890-е — начало 1900-х гг.— семья жила в Николаевском Городке и в Саратове.
- 1903 г.— после студенческих волнений в Николаевском Городке А. О. Зенкевич (с 1888 г.— инспектор Марийского земледельческого училища) как неблагонадежный был переведен на службу в Горькое земледельческое училище (г. Горки под Могилевом).
- 1904 г.— М. Зенкевич оканчивает 1-ю мужскую гимназию Саратова, после чего два года изучает философию в университетах Берлина и Иены.
- 1906 г. (весна) — первая публикация стихотворений М. Зенкевича в саратовском еженедельном журнале «Жизнь и школа»: в № 1 от 22 марта — «Башня Вавилона», «Железный Спрут»; в № 3 от 14 апреля — «Казнь». Стихи подписаны «Мих. З-ичъ».
- 1907—1917 гг.— М. Зенкевич жил в Петербурге.
- 1909 г.— знакомство с Н. Гумилевым.
- 1912 г. (конец февраля — начало марта) — выход книги стихов М. Зенкевича «Дикая порфира» тиражом 300 экземпляров.
- 1914 г.— М. Зенкевич окончил юридический факультет Петербургского университета.
- 1915 г. (20 августа) — гибель на фронте брата поэта — Сергея.
- 1917 г.— в конце декабря М. Зенкевич вернулся в Саратов.
- 1918 г.— выход в Петрограде сборника «Четырнадцать стихотворений».
- 1918 г. (июль) — начал работать в отделе искусств газеты «Саратовские известия».
- 1919 г.— вступил во Всероссийский Союз писателей.

- 1919 г. (май) — 1922 г. (апрель) — служил в Красной Армии: секретарем полкового суда, секретарем-протоколистом трибунала при штабе Кавказского фронта, лектором пехотно-пулеметных курсов.
- 1921 г. — вышел сборник стихов «Пашня танков», оформленный художником Борисом Зенкевичем.
- 1921—1928 гг. — работа над беллетристическими мемуарами «Мужицкий сфинкс» (опубликованы в 1991 г.).
- 1922 г. (май) — 1923 г. (апрель) — М. Зенкевич являлся заведующим отделением телеграфного агентства «РОСТА» в Саратове.
Помимо общественной деятельности поэт активно участвовал в литературной жизни Саратова: выступал на вечерах с докладами о творчестве А. Блока, В. Короленко, В. Хлебникова, А. Шенье, других писателей, преподавал в «Литературной мастерской», подготовил к изданию несколько книг стихов, написал драму «Альциметр».
- 1923 г. (весна) — М. Зенкевич переехал на постоянное жительство из Саратова в Москву.
- 1923 г. (апрель) — 1925 г. — работает секретарем журнала «Работник просвещения».
- 1923 г. — выход первой книги переводов М. Зенкевича — Гюго В. «Май 1871 года» /стихи/.
- 1925—1935 гг. — работал редактором отдела иностранной литературы в издательстве «Земля и Фабрика» и в Гослитиздате.
- 1926 г. — выход сборника стихов «Под пароходным носом».
- 1926 г. (29 октября) — М. Зенкевич женился на Александре Николаевне Гусиковой (1899—1979), по профессии — актрисе театра.
- 1928 г. — выход сборника стихов «Поздний пролет».
- 1929 г. (16 апреля) — родился старший сын поэта Сергей (ум. 13 октября 1964 г.).
- 1930-е гг. — частые поездки М. Зенкевича по стране: Украина, Средняя Азия, Кавказ, Ленинград, Мурманск...
- 1931 г. — издана поэма (цикл стихов) «Машинная страда».
- 1932 г. — выход «Избранных стихов».
- 1933 г. — выход биографической книги М. Зенкевича «Братья Райт» в серии «Жизнь замечательных людей».
- 1933 г. — выход расширенного издания «Избранных стихов».
- 1934 г. (июнь) — М. Зенкевич стал членом Союза писателей.
- 1934—1936 гг. — заведовал отделом поэзии журнала «Новый мир».
- 1937 г. — работа над неопубликованной драматической поэмой «Торжество авиации».
- 1937 г. — выход книги стихов «Набор высоты».
- 1939 г. (13 января) — родился младший сын Евгений.

- 1939 г. — издание совместной антологии М. Зенкевича и М. Кашкина «Поэты Америки. XX век». При ее подготовке Зенкевич переписывался со многими американскими поэтами.
- 1941 г. (июль) — семья поэта эвакуирована в г. Чистополь.
- 1941 г. — осенью М. Зенкевич жил в Чистополе до вызова в Москву Политуправлением Красной Армии. На фронт он направлен не был.
- Годы войны — выступления со стихами на передовых, по радио, участие в журнале «Интернациональная литература», редактирование сборников антифашистской поэзии.
- 1943 г. — создание поэмы «К Сталинграду от Танненберга».
- 1943 г. (весна) — родные поэта вернулись из эвакуации.
- 1946 г. — выход книги переводов М. Зенкевича «Из американских поэтов».
- Вторая половина 1940-х гг. — поездки в Прибалтику и Среднюю Азию.
- 1946—1947 гг. — М. Зенкевич руководил литобъединением при клубе МГУ.
- 1950-е гг. — командировки в Литву, Узбекистан, Кабардино-Балкарию.
- 1960 г. (весна) — поездка в США, встречи с Р. Фростом, М. Голдом, другими литераторами.
- 1961 г. (июль) — поездка в Великобританию.
- 1961 г. (сентябрь — октябрь) — поездка в Венгрию.
- 1962 г. — выход книги стихов «Сквозь грозы лет».
- 1962, 1963 гг. — поездки в Югославию.
- 1965 г. — выход книги «Поэты XX века: Стихи зарубежных поэтов в переводе Мих. Зенкевича».
- 1966, 1968 гг. — поездки в Болгарию. В сентябре 1966 г. в Софии М. А. Зенкевичу вручен орден Кирилла и Мефодия I-й степени.
- 1967 г. (май) — поездка в Грузию.
- 1969 г. — выход книги «Американские поэты в переводах М. Зенкевича».
- 1970 г. (май — июнь) — М. Зенкевич последний раз отдыхал в Доме творчества писателей в Коктебеле.
- 1971 г. (2 июня) — поэт награжден орденом Трудового Красного знамени.
- 1972 г. (16 февраля) — смерть Б. А. Зенкевича.
- 1973 г. — выход книги «Избранное».
- 14 сентября 1973 г. в 15 часов 30 минут Михаил Александрович Зенкевич скончался. 16 сентября — похороны поэта на Хованском кладбище в Москве. 26 сентября в «Литературной газете» (№ 39) напечатан некролог, подписанный семнадцатью близкими к М. А. Зенкевичу литераторами.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Лев Озеров. Михаил Зенкевич: тайна молчания</i>	5
--	---

СТИХОТВОРЕНИЯ (1906—1969)

1906—1909

Казнь	37
«Нам, привыкшим на оргиях диких, ночных...»	38
Бред	39
Крик сычей	—
«Мы носим все в душе — сталь и алтарь нарядный...»	40
Бывают минуты	41
«Ты, смеясь, средь суеты блистала...»	42

Дикая порфира (1912)

«Пары сгушая в алый кокон...»	43
Гимны к материи	
«Ты дико-сумрачна и косна...»	44
«Всему — весы, число и мера...»	—
Два полюса	
Магнит	45
Танец магнитной иглы	46
Свершение	47
Земля	48
Воды	49
Камни	50
Металлы	51
Темное родство	52
Ящеры	53
Махайродусы	54
Человек	55
В зоологическом музее	56
Радостный мир	57
Мясные ряды	—
Марк Аврелий	58

Коммод	59
К Агуре-Мазде	60
Вавилоң	61
Навуходоносор	62
Поход Александра в Индию	
I. «Не внявши прорицаньям магов...»	64
II. «Поход закончен. И от устья...»	65
Нити парок	—
Тени (<i>Сонет</i>)	66
Двойник	—
Валгалла (<i>Сонет</i>)	67
На Волге	—
Две крови	69
Князья	70
Слепцы	71
Зори	72
«Как ятарть, золотистые зерна пшеницы...»	73
В пшенице	—
На обрыве	74
Сумрак аметистов	—
Летние кошмары	
В городе	75
В степи	—
«Ресницы — как с пыльцою черной...»	76
«И нас — два колоса несжатых...»	—
«Подняв неслышно два прилива...»	77
«Средь займищ травянисто-влажных...»	—
«Пусть ищут мудрецы начало жизни хилой...»	78
«Отупевши от медленной боли...»	—
«Как сгусток магических зелий...»	79
Свет луны	—
«Что дневные все радости ваши...»	—
«На облачных снегах паря...»	80
Мускус	—
«Дробя с могучего наскока...»	81
Рассвет	—
На аэродроме	82
Сон ягуара (<i>Леконт де Лиль</i>)	—
Утренние сумерки (<i>Из Бодлера</i>)	83
Сумрачный бог	84
1912—1914	
«Над медвяною усладой...»	85
*Примирение	86
*Взятие Скутари	—
Урожай	87
Узень	88

«Уже за хищной бороною...»	88
«Не впитывая с нежной шеи...»	89
Поздние подсолнухи	—
«Крестов позлащенных блистанье...»	90
Берлин перед войной	90

Под мясной багрянницей (1912—1918)

I. Под мясной багрянницей

«Под мясной багрянницей душой тоскую...»	92
Посаженный на кол	93
Смерть лося	—
Бык на бойне	94
Свиной колют	95
Цветник	96
Тигр в цирке	97
Золотой треугольник	98
*Женщине	—
*«Видал я, как от напрягшейся крови...»	99
Пять чувств	—
Удавочка	100
*Петербургские кошмары	101
Ноябрьский день	102
Грядущий Аполлон	—
*«Хотелось в безумье, кровавым узлом поцелуя...»	103
*«Небо, словно чье-то вымя...»	104
«И у тигра есть камышовое логово...»	—
*«Тягостны бескрасные дни...»	105
«Безумец! Дни твои убоги...»	—
«В поднебесье твоего безбурного лица...»	—
В логовище	106
Верхом	—
В дрожках	107
Купанье	—

II. Любовный альбом

Лора	108
«Подсолнух поздний догорал в полях...»	109
*«И смертные счастливицы припадали...»	110
*«Толпу поклонников, как волны, раздвигая...»	—
*«Вы помните?.. девочка, кусочки сала...»	111
*Наваждение	112
*«За золотую гробовую крышкой...»	—
*«В качалке пред огнем сейчас сидела...»	113
*«Ты для меня давно мертва...»	—
*«Земля лучилась, отражая...»	—
«Твой сон передрагсветный сладок...»	114

III. Дары календаря

*По Кавказу	
I. «Котомкою стянуты плечи...»	115
II. «Пусть позади на лаве горней...»	116
*Под ресницей	—
*«Золотые реснички сквозят в бирюзу...»	117
*«Под соснами и в вереске лиловом...»	—
«В купоросно-медной тверди...»	118
Пригон стада	—
«Как будто черная волна...»	119
*«Жарким криком почуяв средь сна...»	—
«Уж солнце маревом не мает...»	120
Утренняя звезда	
I. «Ни одной звезды. Бледнее и тая...»	—
II. «На чьих ресницах драгоценней...»	121
В мае	122
«На поле около болота...»	—
*Голос осени	123
Встреча осени	124
Зимовье ворона	125
Поздний пролет	126

IV. Проводы солнца

Проводы солнца	127
Травля	128
В алом платке	129
Мертвая петля	130
Мамонт	—
Сибирь	132
Россия в 1917 г.	133
Порфибагр	135
Смерть авиатора	137

Из книги «Лирика» (1918—1921)

*«Эх, если бы украсть тебя от мужа...»	138
*«Свершилось предрешенное. И вот...»	139
*«Я жду той полночи солнечно-золотой...»	140
«О, не сияй так, Луна! Луна!...»	—
Лотерея гильотины	141
*«И я и ястреб распластан...»	142
*«Отчего ты с утра оделась в траур?...»	143
*«О, ревность, ревность! Одной ее капли...»	—
«Какая пустота охватила меня...»	144

Пашня танков (1921)

«Пусть, нагнетаясь, вспыхивает пустота...»	145
Хоры	—

«Довольно со скарбом скорби...»	146
Пашня танков	—
Голод дредноутов	148
Страда пехоты	149
Стакан шрапнели («И надо мною, как над ним...»)	150
Авиареквием	151
Альтиметр	153

Со смертью на брудершафт (1916—1924)

С т а к а н ш р а п н е л и («И теперь, как тогда в июле...»)	154
---	-----

I. Нокаут

Нокаут	155
Бухгалтерская баллада	—
*Бессонница	
I. «И сон — как смерть, и точно гроб постель...»	157
II. «Рассветный саван раздирая, сипло...»	—
Гибель дирижабля «Днксмюде»	158

II. Голоса на рассвете

*Предрассветные голоса	160
*Царская ставка	161
Чапаевские поминки	163
Поволжье	164

III. Трансокеанская тоска

Сирены	164
«В безвременье времени турбины воли...»	165
*«О, тихоокеанский мертвый штиль...»	—
У элеватора	166
На «Титанике»	167

IV. В белых балахонах

«В балахонах белых в ночь такую...»	169
«Что они ноют томительным стоном...»	170
«Дороги, какой поживы ища...»	—
«Налажены лыжи, и узлом сухожилий...»	171
«Поцелуй на морозе. Осмелся попробуй!..»	—
Крещенское купанье	172
П у ш к и н	173

1920—1941

*«На журавле в колодец неба...»	174
*«Нега снегов. Не с ума схожу ли?...»	—
*Водосвятыя Распутника	175
«И проклятой, и окаянной...»	176

Курская руда	177
Баллада о безногом рояле	—
Паводок на Москва-реке	179
«О, сколько б ни было вам весен...»	180
Пять декабристов	
1. Каховский	180
2. Рылеев	181
3. Муравьев-Апостол	182
4. Бестужев-Рюмин	—
5. Пестель	183
Лунная соната	184
Старая Москва	
Штукатур	185
Угольщик	—
Шофер от Страстного	186
Ноябрь	188
Отходная из стихов	189
В сумерках	190
Теплушки с быками	191
Возка снопов	192
Сев озимых	193
На Волхове	—
Штиль	195
Орел на бронзе	196
Пловец	197
На Яйле	198
Мухалатка	—
Рассвет на Мясницкой	
I. «Три часа. Проснулся, когда не надо...»	200
II. «Как они упрямы!..»	201
Первый трамвай	202
Стих Гафиза на ризе	203
*«Подавившись обрубком дубового пня...»	204
*«Сгустился воздух, как вода...»	205
*«В полях бывает лишь такая...»	—
*«Богиня к смертному на ложе...»	206
Шторм	—
Кавказской ночью	
I. «Дорожкой платиновой серебрясь...»	—
II. «Взамен светляков сверкают поодаль...»	207
*Без солнца	
I. «Прозрачна ночь, и до утра...»	208
II. «Сухую охрою ли, в хну ли...»	—
*«И улетели б соловьи...»	209
Из поэмы «М а ш и н н а я с т р а д а»	
Заволжье	211
Машинная страда	—
Волчиха воет на луну	212

В такую ночь	
I. «После весенней последней вьюги...»	214
II. «В такую ночь, где все бело...»	215
*«Но как бы ни был ствол коряв...»	216
Огородный сказ с Болота	—
*«Боем Спасских часов насквозь...»	219
*Донор	220
У оконной проруби	
I. «Ломом луч ударил в окна, в прорубь...»	223
II. «Нет, не могу читать! Кровь так звенит...»	224
Вахш	225
Танец под дойру	227
*Самсонов день	230
С оказией на Кавказе	232
*Дорожное	237
Наперекор	
*I. «Полымем побаловой...»	—
II. За солнцем	238
*Добывание Огня	239
*«Полет любви, он невысок...»	240
*«Стою один на месте том...»	—
*Вино поэзии	241
*«Искусства участь нелегка...»	242
Разговор о поэзии	243
Парикмахерская баллада	—
Морошка	246
*«Облачные сердолики...»	248
*На Медвежьей горе	249
*«Под солнцем тучка сушит кисею...»	250
*«Все это было миллионы раз...»	—
*«В сознание сияет она, внушая...»	251
*«Хочу тебе сказать...»	—
*«Головок детских ласково касаясь...»	252
*«Какая тьма! Нигде просвета нет...»	—
*«Жизнь моя, как летопись, загублена...»	253
*Над Северным морем	255
*«Все прошлое нам кажется лишь сном...»	—
*«Поэт, бедняга, пыжится...»	256
*«Который год мечтаю втихомолку...»	—
*Теорема	—
*«Поэт, зачем ты старое вино...»	257
1941—1945	
Южная красавица	258
*«Вот она, Татарская Россия...»	259
Прощание	260
*«Просторны, как небо...»	262
*«Начитавшись сообщений о боевых действиях...»	263

*У двух проталин	263
*«Землю делите на части...»	264
*Расставание	265
Волжская	266
На передовых	
551-му артополку	267
Фронтная кукушка	269
Неограбимая весна	—
*На учете Военмора	270
*Поэту	—
*«Вороны кружат и кричат с утра...»	271
*«Как странно, что сверчок запел за печкой...»	272
*Ночной музыкант	273
*«Сегодня по-каспийски зелена...»	274
*«Иди потише...»	—
*«К тебе тянусь губами в темноте...»	275
*«Баратынский... Сумрачный...»	276
*«Нелепая, она всю ночь над нами...»	277
*Дуб	—
Всадник под буркой	278
*Три артиллериста	279
Весеннее наступление	281
В половодье	282
*«Парк золотел в огне листвы...»	284
*Золотая прядь	285
*Ивану Никаноровичу Розанову	286
Дальняя дорога	287
Под лед	288
*Негритянка	289
*Шагни	291
Найденых	—
1946—1969	
*«Холопство вотчины досталось...»	293
Основатель Москвы	
I. «Опять споткнулся конь степной... Еще бы...»	—
II. «Недаром, Юрий-князь, ты Долгорукий...»	294
*Прогульщик	295
*Живой роман	296
Прием поэта	—
*«Душа — огромный колокол — таит громовый зык...»	298
*«Мороз декабрьский дул и жег...»	299
*«Широкий путь проложенный...»	—
*Гонщик	300
Рождение Пушкина	301
*«Здесь все предрешено. Ты выйдешь на подмостки...»	302
*«Гремит огромный океан...»	303
*«Тот день прошелестел, блеснул...»	—

*Хоккенсты	304
*За стрижами	305
*«С неба темного воспоминанья...»	—
*Ничто	306
Десантники	308
*«Как свежий лист газетный за листом...»	310
Пробуждение	
I. «Очнулся и смотрю, глаза открыв...»	310
II. «Проснувшись, с детским удивленьем...»	311
*«Смерть-хищница пронырлива, хитра...»	—
*«Для каждого, как для всего народа...»	312
*Поминанье	—
*«В доме каком-нибудь многоэтажном...»	313
*«Как я, и вы не спите...»	—
*«От попорченной в нерве настройки...»	314
*«Родник твоей души...»	315
*«Сужается горная тропка...»	—
*«С утра все окна настезь отвори...»	316
Живут стихи	—
*«Большая мысль ночная...»	317
Солнечная осень	—
*«Поэту, как и кораблю большому...»	318
*«У пропасти ты встанешь на краю...»	319
*«Перед разлукой неизбежной...»	—
*Вызов	—
Один день	320
*«Десяток яблоч я несу...»	321
*Лайка в небе	—
Ночная гроза	
I. «Пускай блещут над крышей в небе хмуром...»	322
II. «Вокруг тебя — безмолвье, мрак, покой...»	323
III. «Словно огненное опахало...»	—
*«Дни, как страницы, листая...»	324
Лучший рецепт	—
*«Чей это голос, не могу понять...»	325
*Позывные	—
Грациная сюита <i>Триптих</i>	
I. Герасим Грачевник	326
II. Неожиданная встреча	327
III. Грациный крик	328
Сказочная эра	
I. «По-старому ведем еще мы счет...»	329
II. «В раздумье над Москвой-рекою...»	—
Неоконченный разговор	330
*Гулянье	331
*«При хмурой погоде...»	—
Космический сон	332
Подожду немного	—

Иван Грозный и Петр Первый	333
*На острове Рождества	—
*Надпись на книге «Грозы лет»	335
*«О, новый день...»	—
*Мудрость	336
*«Из урны моря во Владивостоке...»	—
*«Мы творцы разумные Вселенной...»	336
*«Скончался папа Иоанн...»	337
*Неизбежное	—
*«Горечь соли...»	—
*«Читай стихи!... Как поредел...»	338
*Будь стонком	339
*«Бывает и в природе ложь...»	340
*Звездное время	—
Чудо	341
*«Ну что ж! С Землей простясь, постранствуй...»	342
*«Радостью можно со всеми делиться...»	—
*«Не вини человечество и не кори...»	—
*«Как это случилось...»	343
*Первооснова	344
*«Измяты подушки...»	—
*«Все люди со дня рожденья...»	345
*«Атомная смета физики...»	—
*«На темной улице...»	—
*«Как беззащитны голые деревья!...»	346
*«На пригородном поезде в Москву...»	—
*«Стал я сразу вдруг...»	347
*«Все было дано — светлый ум, красота...»	—
*«Меченые атомы...»	348
*Тоже буря	—
*Под утро	349
*«Две — неразлучницы...»	350
*Перед судом	—
*Признание	351
*«Сколько стариков, старух...»	—
Чудо Грузии	352
Гордость Земли	354
*«Рассудком я могу кой-как понять...»	355
*«А в вырезвителе науки...»	—
*Не ворчи	—
*Одна минута	356
Камень и папирус	357
*Забвение	358

ПРОЗА

НА СТРЕЖЕНЬ. Повесть	361
МУЖИЦКИЙ СФИНКС. Беллетристические мемуары	412

Книги Михаила Зенкевича. <i>Прижизненные издания</i>	625
Примечания	626
Алфавитный указатель стихотворений	666
Михаил Зенкевич: <i>краткая биографическая хроника</i>	675

Учебное издание

Михаил Александрович Зенкевич

Зенкевич

СКАЗОЧНАЯ ЭРА:

Стихотворения

Повесть

Беллетристические мемуары

Редактор *И. Н. Баженова*

Художественный редактор *Н. Д. Горбунова*

Технический редактор *Э. С. Соболевская*

ИБ № 39

ЛР № 020513 от 15.04.92.

Сдано в набор 04.04.94. Подп. в печать 20.10.94. Формат 84×108/32.
Бумага типографская. Гарнитура Литературная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 36,12. Уч.-изд. л. 34,80. Тираж 50 000 экз. С 58. Заказ 133.

Издательство «Школа-Пресс» 103051, Москва, Цветной б-р, д. 21/2.

При участии ПКФ «Печатное дело»

Ордена Трудового Красного Знамени ГП «Техническая книга» Комитета Российской Федерации по печати. 198052, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29

Круг чтения:

Школьная программа

ShkolaPress®

